АКАДЕМИЯ НАУК СССР

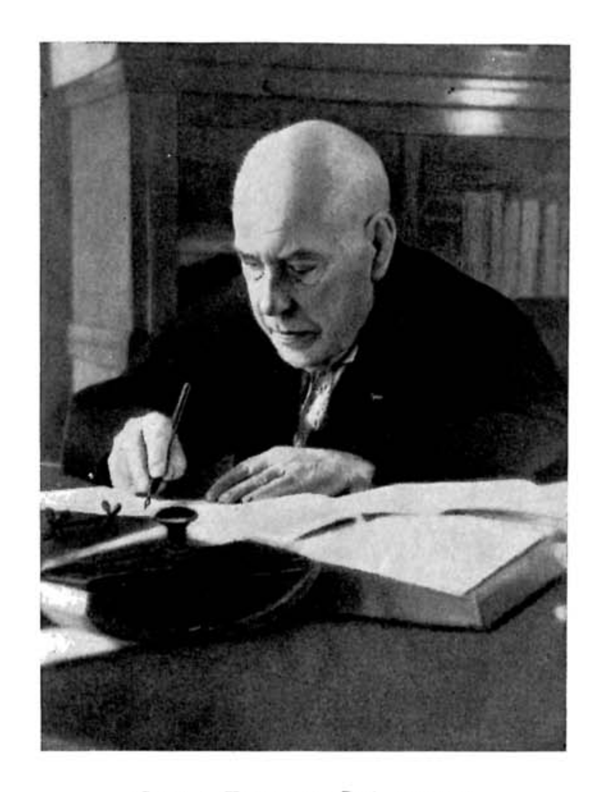
ВОПРОСЫ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВОПРОСЫ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ





Сергей Иванович Соболевский
28 августа 1958 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

ВОПРОСЫ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

7-2-2
320-66

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СОБОЛЕВСКИЙ

Крупнейший советский ученый — специалист по классической филологии, член-корреспондент Академии наук СССР Сергей Иванович Соболевский родился в Москве 13 (25) августа 1864 г. в семье скромного чиновника.

Первоначальное образование Сергей Иванович получил в доме родителей и затем поступил в 5-ю Московскую гимназию прямо в первый класс, минуя приготовительный. В гимназии он неизменно был первым учеником. Его успехи по древним языкам были таковы, что в последнем классе гимназии он давал частные уроки по древним языкам своим одноклассникам: они сами его об этом просили, справедливо полагая, что Соболевский знает гораздо больше, чем репетиторы из студентов. Это был его первый преподавательский опыт.

Окончив в 1882 г. с золотой медалью курс гимназии, С. И. Соболевский поступил на классическое отделение Московского университета. Здесь преподавали тогда такие известные русские филологи, как Г. А. Иванов, Ф. Е. Корш, А. Н. Шварц, В. Г. Зубков и И. В. Цветаев. И тут, на студенческой скамье, Соболевский обратил на себя внимание своими блестящими способностями и необыкновенным трудолюбием. В 1886 г. он окончил университетский курс первым кандидатом, получив золотую медаль за сочинение «Употребление времен и наклонений в греческом языке сравнительно с употреблением их в латинском и в русском», и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре классической филологии.

В первый же год по окончании курса в университете началась педагогическая деятельность Сергея Ивановича. Он преподавал греческий язык в Московской 1-й прогимназии по приглашению тогдашнего директора ее проф. А. Н. Шварца, а затем — в Мо-

сковской 5-й гимназии, где учился когда-то сам. В 1887 г. он был приглашен на должность «стороннего преподавателя» на историко-филологический факультет Московского университета для практических упражнений по греческому языку со студентами.

В 1888 г. он выдержал магистерский экзамен, а в течение 1888—1889 учебного года написал магистерскую диссертацию «De praepositionum usu Aristophaneo», которую защитил 13 апреля 1890 г. За этим последовала докторская диссертация, развивавшая тему магистерской: «Syntaxis Aristophaneae capita selecta». С. И. Соболевский работал над ней два года и успешно защитил ее 13 февраля 1892 г. Обе диссертации молодого ученого, написанные на латинском языке, явились крупным вкладом в изучение языка греческого комедиографа, создали их автору мировое имя и по сей день остаются лучшими исследованиями по синтаксису Аристофана. Так, о последней из них известный американский филолог-классик Бэзил Гильдерслив писал: «Никто, занимающийся греческим синтаксисом и Аристофаном, не может читать произведение профессора Соболевского без пользы. Это не просто собрание сухого статистического материала, но ряд критических очерков, которые возбуждают мысль и поучительны даже там, где вызывают несогласие».

С 1890 г. С. И. Соболевский числился приват-доцентом по кафедре классической филологии историко-филологического факультета Московского университета. В 1892 г. он был назначен сверхштатным экстраординарным профессором. В 1896 г. — штатным экстраординарным, в 1899 г. — ординарным, а 11 мая 1915 г. получил звание заслуженного ординарного профессора; эту должность занимал он до закрытия историко-филологического факультета в 1922 г.

Кроме университета Сергей Иванович преподавал и в других высших учебных заведениях: с 1907 г. он состоял профессором греческой палеографии в Московском археологическом институте, одним из членов-учредителей которого он был, а с 1909 г. преподавал греческий язык в Московской духовной академии.

Наряду с преподавательской деятельностью С. И. Соболевский ежегодно печатал по несколько статей в научных журналах. Из числа трудов, относящихся к первому периоду научной деятельности ученого, следует отметить весьма важную для исторической науки статью «Союз Эгесты с Афинами в V веке и Фу-

кидид VI, 6, 2» (1905) и написанное на латинском языке изложение диссертации А. Н. Шварца о псевдоксенофонтовом трактате «Государственное устройство афинян» (1893). Не ограничивая свои интересы классической древностью, Сергей Иванович публикует в эти годы обстоятельную статью по истории восходящей к Средневековью студенческой песни «Gaudeamus igitur» (1905). Насколько высоко было оценено вышедшее в 1908 г. исследование Соболевского о греческой койнэ, видно из того, что оно в следующем же году было напечатано отдельным изданием в Александрии в переводе на современный греческий язык. Незадолго до начала первой мировой войны С. И. Соболевским совместно с Г. Ф. Церетели было завершено издание двухтомного альбома хранящихся в библиотеках Москвы и Ленинграда греческих рукописей, представляющее собою прекрасное пособие по греческой палеографии.

Наряду с основными своими научными занятиями, главное место в которых принадлежит грамматике древних языков, Сергей Иванович на протяжении всей своей деятельности уделял большое внимание ознакомлению русских читателей с литературой древнего мира и нового времени. Так, им были написаны примечания к русскому переводу романа Генрика Сенкевича «Quo vadis?» (1896), важные для понимания изображаемой писателем эпохи и исторических событий, и переведена на русский язык книга Анри Оветта «Итальянская литература» (1922). Ценнейшим пособием для всех, кто занимается историей, литературой и философией древнего мира, служат сделанные Соболевским переводы речей Лисия (1933), «Сократических сочинений» Ксенофонта (1935) и фрагментов Эпикура (1947), в которых точная передача мысли подлинника сочетается с превосходным русским литературным языком.

Перу С. И. Соболевского принадлежит целый ряд учебных пособий по латинскому и греческому языку, значение которых, однако, далеко не ограничивается рамками учебно-педагогической литературы. Как «Грамматика латинского языка» (первое издание — 1938 г.), так и «Древнегреческий язык» (1948) представляют собой, в отличие от употреблявшихся в прежних гимназиях учебников, совершенно оригинальные, основанные на самостоятельном изучении древних авторов труды, где полнота материала сочетается с необыкновенной ясностью изложения. Истинной

энциклопедией античной мудрости является составленная Сергеем Ивановичем двухтомная хрестоматия из подлинных текстов латинских авторов (1938—1947); образцом исчерпывающего всестороннего комментария к тексту древнего автора служит его комментарий к первым четырем книгам Цезаря (1946—1947).

Особенно интенсивной становится деятельность ученого после Великой Октябрьской социалистической революции.

В этот период С. И. Соболевский ведет преподавательскую и научно-исследовательскую работу во многих учебных заведениях и научных учреждениях. Так, после закрытия историко-филологического факультета в 1922 г. он был назначен действительным членом Научно-исследовательского института истории, литературы и языка и занимал эту должность до февраля 1931 г. В 1924—1928 гг. он преподавал древние языки в литературной студии при Всероссийском союзе поэтов и на Московских курсах профессионального образования. С осени 1934 г. Сергей Иванович был вновь назначен профессором Московского университета по историческому факультету и оставался в этой должности до 1941 г., а с января 1942 г. стал профессором классического отделения филологического факультета. В это же время (с осени 1934 по 1941 год) С. И. был профессором Московского института философии, литературы и истории (ИФЛИ) по обоим древним языкам.

14 января 1928 г. С. И. Соболевский был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению гуманитарных наук.

С осени 1937 г. С. И. Соболевский работает в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР и с 1948 г. заведует в нем сектором античной литературы. В то же время (с осени 1941 до 1951 г.) он состоит профессором древних языков в Московском городском педагогическом институте, а кроме того в 1944 г. был назначен старшим научным сотрудником сектора классической филологии при Институте языка и мышления имени Н. А. Марра.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1959 г. Сергею Ивановичу Соболевскому было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки.

В послевоенные годы под редакцией Сергея Ивановича выходят в свет такие фундаментальные работы, как трехтомная «История греческой литературы» (1946—1960) и двухтомная «История рим-

ской литературы» (1959—1962); многие разделы этих трудов были написаны им самим. В 1954 г. он осуществляет издание комедии Теренция «Адельфы» с обширнейшим введением и комментарием. В 1951 г. выходит его монография об Аристофане, подводящая итог более чем шестидесятилетним занятиям этим автором. Среди меньших по объему, но весьма важных других работ С. И. Соболевского, напечатанных за последние годы, выделяется исследование «Рабы в комедиях Аристофана как литературный тип» (ВДИ, 1954, № 4), «Заметки о греческом произношении на основании наблюдений над строением стиха в комедиях Аристофана и в трагедиях» (1956), где на основании тщательных наблюдений над греческим ударением высказывается новый взгляд на его природу, интереснейшая работа по сравнительному литературоведению «Коринфская невеста» Гёте и ее древний оригинал» (1960) и написанные по-латыни статьи «De Pluti Aristophaneae versu 802 et qui sequuntur versibus (802—818)» (1960) и «Ad locutionem Graecam cognoscendam quid conferat versuum structura?» (1964).

С. И. Соболевским была также проделана огромная работа по редактированию латинско-русского словаря (1949) и древнегреческо-русского словаря (1958). Для последнего из этих словарей им написан «Краткий очерк грамматики древнегреческого языка», представляющий собою ясное и точное изложение основ греческой грамматики.

В последнее время Сергей Иванович был занят подготовкой комментированного издания комедии Аристофана «Плутос» по образцу уже осуществленного им издания «Адельфов» Теренция. Кроме того, у него был и другой любимый труд — составление большой грамматики греческого языка, над которой он работал в течение многих лет, однако, к сожалению, так и не успел ее закончить. Мечтал он также о составлении учебника латинского языка для средней школы, который должен был сопровождаться хрестоматией из оригинального материала, но и этот замысел остался неосуществленным.

Для научного метода С. И. Соболевского была характерна большая глубина и тщательность изучения памятников древней литературы, которые, по его мнению, представляют наиболее надежную основу филологического исследования, и критическое отношение к внешне соблазнительным, но не находящим себе достаточного подтверждения в фактах гипотезам.

В своей преподавательской деятельности Сергей Иванович создал собственный метод преподавания древних языков, дающий право назвать его реформатором в этой области. Метод Соболевского прекрасно виден в его учебниках греческого и латинского языков.

Несравненное знание древних языков и огромная эрудиция сочетались у этого выдающегося ученого с исключительной работоспособностью, которую он в полной мере сохранял до последнего времени своей плодотворной жизни, причем всю работу он выполнял сам, не имея ни секретаря, ни какого-либо другого помощника.

Для тех, кто близко знал Сергея Ивановича, он был особенно дорог как человек необыкновенных душевных достоинств, отличавшийся несокрушимой принципиальностью и необыкновенной добросовестностью.

Сергей Иванович Соболевский скончался 6 мая 1963 г. на 99 году жизни. Русская и мировая наука потеряла в его лице выдающегося ученого, исключительного знатока греческого и латинского языков, подобного которому не было в России и мало было во всей мировой классической филологии. С его кончиной завершилась целая эпоха в истории русской филологической науки.

Отдавая настоящим сборником последний долг нашему учителю и оглядываясь на эту жизнь, обнимающую столетие, мы можем сказать, что образ его навсегда останется в нашей памяти как олицетворение великой мудрости и простоты.

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ С. И. СОБОЛЕВСКОГО[1]

I. ТРУДЫ ПЕЧАТНЫЕ

1. Рецензия на книгу «Синтаксис русского языка, сличенный с синтаксисом классических языков. Составил Киприанович. СПб., 1885». — «Русский филологический вестник», Варшава, т. XV (1886), педагогич. отдел, стр. 33—39.

2. «De praepositionum usu Aristophaneo. Scripsit Sergius Sobolewski». Mosquae, 1890, 229 p. +4 p. index (магистерская диссертация).

3. Рецензия на книгу «Греческо-русский словарь, изданный киевским отделением Общества классической филологии и педагогии. Издание второе, исправленное и дополненное. Обработал А. О. Поспишиль. Киев, 1890». — ЖМНП, сентябрь 1891, стр. 270—278.

4. «Синтаксическое деление времен греческого глагола». — ФО, т. I (1891), кн. 1, отд. 1, стр. 52—53.

5. Рецензия на книгу «Греческая грамматика. По Штегману составил В. Никифоров. Издание второе, исправленное. М., 1891». — ФО, т. I (1891), кн. 2, отд. 2, стр. 168—173.

6. «Syntaxis Aristophaneae capita selecta. De sententiarum condicionalium temporalium relativarum formis et usu. Scripsit Sergius Sobolewski». Mosquae, 1891, 181 p. (докторская диссертация).

7. Οὐδέ(μηδέ) и καὶ οὐ(καὶ μή). — ФО, т. II (1892), отд. 1, стр. 48.

8. «Мелкие заметки к латинской грамматике». — ФО, т. II (1892), отд. 1, стр. 63—64.

9. Рецензия на книгу «В. Мусселиус. Русско-латинский словарь. СПб., 1891». — ФО, т. II (1892), отд. 2, стр. 73—82.

10. «Конструкции союза cum (изложение теории Хеля)». — ФО, т. III (1892), кн. 1, отд. 1, стр. 41—56 и кн. 2, отд. 1, стр. 139—149; также отдельный оттиск. М., 1893, 27 стр.

11. «К учению Хеля о союзе cum (дополнение к стр. 56 предыдущей статьи)». — ФО, т. IV (1938), кн. 2, отд. 1. стр. 194.

12. Рецензия на книгу «О. Петрученко. Латинско-русский словарь. М., 1892». — ФО, т. III (1892), кн. 1, отд. 2, стр. 24—29.

13. «О постановке родительного разделительного в греческом языке». — ФО, т. IV (1893), кн. 1, отд. 1, стр. 51—52.

---

[1] Настоящая библиография является исчерпывающей и включает не только все опубликованные, но и оставшиеся в рукописях труды С. И. Соболевского.

14. Рецензия на книгу «Index Demosthenicus. Composuit Siegmundus Preuss. Lipsiae, 1892». — ФО, т. IV (1893), кн. 1, отд. 2, стр. 14.

15. Рецензия на книгу «И. Голан. О глаголах curandi и употреблении их у Ксенофонта. М., 1892». — ФО, т. IV (1893), кн. 1, отд. 2, стр. 22—33.

16. Рецензия на книгу «Латинская грамматика профессора И. Нетушила. II. Синтаксис. 3-е переработанное издание. Харьков, 1892». — ФО, т. IV (1893), кн. 2, отд. 2, стр. 193—197.

17. Рецензия на книгу «R. Kühner. Ausfürliche Grammatik der griechischen Sprache. I. Teil: Elementar- und Formenlehre. 3. Auflage, besorgt von Dr. Friedrich Blass. Hannover, 1890—1892».— ФО, т. V (1893), кн. 1, отд. 2, стр. 18—22.

18. «Ad Euripidis Medeam». — ФО, т. V (1893), кн. 2, отд. 1, стр. 158—161.

19. «Как выражается по-гречески собственный optativus в косвенной речи». — ФО, т. V (1893), кн. 2, отд. 1, стр. 162.

20. [Ξενοφῶντος] Ἀθηναίων πολιτεία, edidit A. Schwartz, Mosquae, 1891, Scripsit Sergius Sobolewski (изложение по-латыни книги А. Н. Шварца). — «Mnemosyne», т. XXI (1893), стр. 182—195.

21. Перевод на латинский язык части введения к книге «Anecdota Graeco-Byzantina. Pars prior. Collegit, digessit, recensuit A. Vassiliev. Mosquae, 1893».

22. «К учению об условных предложениях в латинском языке», — ФО, т. VI (1894), отд. 1, стр. 97—117.

23. Рецензия на книгу «Э. Черный. Краткое руководство по греческому синтаксису. Издание четвертое, вновь просмотренное и исправленное. М., 1894». — ФО, т. VI (1894), отд. 2, стр. 82—98.

24. Рецензия на книгу «С. Опацкий. Латинский синтаксис в объеме гимназического курса. Издание третье. Казань, 1892». — ФО, т. VII (1894), отд. 2, стр. 61—62.

25. «Ответ г. Черному». — ФО, т. VII (1894), отд. 2, стр. 65—72.

26. Рецензия на книгу «K. W. Krüger. Griechische Sprachlehre für Schulen. I. Teil, II. Heft, Syntax. Sechste Auflage besorgt von W. Pökel. Leipzig und Würzburg, 1891». — ФО, т. VII (1894), кн. 2, отд. 2, стр. 158—165.

27. «Заметки по греческой грамматике», I—VII. — ФО, т. VIII (1895), отд. 1, стр. 75—82 и 153—159 и ФО, т. X (1896), кн. 2, отд. 1, стр. 233—235.

28. Рецензия на книгу «Tycho Mommsen. Beiträge zu der Lehre von den griechischen Präpositionen, Berlin, 1895». — ФО, т. VIII (1895), отд. 2, стр. 172—175.

29. «К учению о члене в греческом языке. О пропуске члена при πόλις и в некоторых других случаях». — ФО, т. X (1896), кн. 1, отд. 1, стр. 103—118.

30. «Конструкция φάναι с ὅτι или ὡς». — ФО, т. XI (1896), кн. 1, отд. 1, стр. 81—85.

31. «Употребление члена при ἄστυ и ἀκρόπολις». — ФО, т. XI (1896), кн. 2, отд. 1, стр. 193—194.

32. «Ad Aristophanem (Plut. v. 1051)». — ФО, т. XI (1896), кн. 2, отд. 1, стр. 194—195.

33. Рецензия на книгу «Русско-греческий словарь. Составил Э. Черный. Изд. 3, вновь обработанное и значительно дополненное. М., 1896». — ФО, т. XI (1896), кн. 2, отд. 2, стр. 160—173.

34. «Критические и экзегетические заметки к VI книге Фукидида». — «Χαριστήρια. Сборник статей в честь Ф. Е. Корша», М., 1896, стр. 249—274.

35. Примечания к роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши?» (Quo vadis?) в переводе В. М. Лаврова. М., 1896 и ряд последующих изданий.

36. «Ad Xenophontis Hellenica IV, 3, 12». — ФО, т. XIII (1897), стр. 118—120.

37. «Ad Thucydidis VIII, 96, 4». — ФО, т. XIII (1897), стр. 120—121.

38. Рецензия на книгу «Сочинения Ксенофонта в пяти частях. Перевел с греческого Г. А. Янчевецкий. Часть IV. История Греции. Изд. 2, исправленное. Ревель, 1896». — ФО, т. XIII (1897), отд. 2, стр. 37—42.

39. Рецензия на книгу «Комедии Аристофана. Перевод с греческого M. Artaud (третье издание 1845 г.). Перевод с франц. В. Т. СПб., 1897». — ФО, т. XV (1898), кн. 1, отд. 2, стр. 59—60.

40. «"Ανθρωποι an ἄνθρωποι Aristophanes dixerit». — ФО, т. XV (1898), кн. 2, отд. 1, стр. 117—118.

41. «Конструкция глагола μέλλειν у аттических ораторов». — ФО, т. XVII (1899), стр. 213—256.

42. «В. А. Шеффер (некролог)». — «Речь и отчет [за 1900 год], читанные в торжественном собрании императорского Московского университета 12 января 1901 г.» М., 1901, стр. 432—440; также отдельный оттиск. М., 1901, 11 стр.

43. «К Медее Еврипида (стих 407 и след.; стих 529 и след.)». — ЖМНП, июнь 1901, отд. классической филологии, стр. 132—135; также в «Commentationes Nikitianae. Сборник статей по классической филологии в честь П. В. Никитина». СПб., 1901, стр. 132—135.

44. «Владимир Григорьевич Зубков (некролог)». — «Речь и отчет [за 1902—1903 г.], читанные в торжественном собрании императорского Московского университета 12 января 1904 г.», М., 1904, стр. 466—484; в сокращенном виде также ЖМНП, март 1904, стр. 98—107.

45. «Союз Эгесты с Афинами в V веке и Фукидид, VI, 6, 2». — ЖМНП, июнь 1905, отд. классической филологии, стр. 267—273 [2].

46. «Песня «Gaudeamus igitur» и ее история». — ЖМНП, декабрь 1905, стр. 539—580.

47. «Ad Aristophanis Nubes et Plutum annotationes criticae et exegeticae». — ЖМНП, март 1906, стр. 128—139.

48. «Суд над Христом и распятие его с точки зрения истории и археологии». — «Странник», СПб., февраль 1906, стр. 233—256 и март 1906, стр. 399—414.

49. «О значении слов «премудростію вонмемъ». — «Странник», СПб., октябрь 1906, стр. 586—588.

50. Рецензия на книгу «С. А. Ананьин. Софист. Диалог Платона. Перевод с греческого с историко-литературным введением и замечаниями к диалогу. Киев, 1907». — «Вопросы философии и психологии», М., март—апрель 1908, стр. 263—270.

51. «Ad Aeschyli Prometheum annotationes criticae et exegeticae». — ЖМНП, апрель 1908, стр. 155—170 и май 1908, стр. 171—192.

52. «Мнение филолога о книге Н. Морозова «Откровение в грозе и буре». Изд. 2-е, М., 1907 г.» — Газета «Московские ведомости», 24 апреля (7 мая) 1908 г., стр. 4.

53. «Κοινή. Общий греческий язык (по связи с библейским)». — «Православная богословская энциклопедия», т. IX (1908), стлб. 603—754; библиографические дополнения — т. X (1909), стлб. 704—705.

54. «Σ. Σομπολέβσκη. Ἡ κοινὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Μετέφρασε Γρηγόριος Παπαμιχαήλ. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ», 1909.

---

[2] В оглавлении журнала автором этой статьи ошибочно назван И. В. Нетушил.

55. «Граф Л. Н. Толстой как переводчик-истолкователь Св. Евангелия». — «Странник», СПб., февраль 1909, стр. 184—191.

56. «Борьба со студенческими беспорядками в Германии сто лет назад». — ЖМНП, апрель 1909, стр. 86—92.

57. «Отношение классической филологии к богословию». — «Богословский вестник», Сергиев Посад, ноябрь 1910, стр. 365—394; также отдельный оттиск. Сергиев Посад, 1910, 30 стр.

58. Рецензия на книгу «Илиада Гомера. Перевод Н. М. Минского. Издание второе. СПб., 1909». — ЖМНП, апрель 1911, стр. 346—360.

59. «Электра Еврипида, ст. 178». — «Serta Borysthenica. Сборник в честь Ю. А. Кулаковского». Киев, 1911, стр. 36—39.

60. Предисловие к переводу «Творений» Исаака Сириянина (см. № 110).

61. «Exempla codicum Graecorum, litteris minusculis scriptorum annorumque notis instructorum. Volumen prius: Codices Mosquenses. Volumen alterum: Codices Petropolitani. Ediderunt Gregorius Cereteli et Sergius Sobolevski». Mosquae, 1911—1913.

62. Рецензия на книгу «Алексей Шарапов. Вторая книга Ездры. Историко-критическое введение в книгу. Сергиев Посад, 1910». — «Богословский вестник», Сергиев Посад, апрель 1913, стр. 855—879.

63. «А. Н. Шварц (краткий некролог)». — Журнал «Гермес», СПб., № 4 (150), 15 февраля 1915, стр. 83—90; также отдельный оттиск из этого журнала, 8 стр.

64. «Александр Николаевич Шварц (некролог)». — ЖМНП, январь 1916, стр. 15—55; февраль 1916, стр. 97—140; март 1916, стр. 38—70; также «Приложение к I части «Отчета о состоянии и действиях императорского Московского университета за 1915 год». М., 1916, стр. 80—234, и отдельные издания. М., 1916, 235 стр. и СПб., 1916, 124 стр.

65. «Русский в Голландии в 1605 году». — Оттиск из неустановленного дореволюционного издания, стр. 99—100[3].

66. Перевод с французского книги «Анри Оветт. Итальянская литература. М., 1922, 356 стр.».

67. 53 заметки о книгах по новейшей истории и международным отношениям (подписанные буквами С. С.). — «Международная летопись», М., 1924, № 2, стр. 113 и след. (5 заметок); № 3, стр. 134 и след. (3 заметки); № 4, стр. 120 и след. (2 заметки); 1925, № 1, стр. 109 и след. (7 заметок), № 2, стр. 125 и след. (15 заметок), № 3, стр. 109 и след. (12 заметок), № 4—5, стр. 154 и след. (9 заметок).

68. «Жизнь и труды Овидия». — Вводный очерк к книге «Овидий Назон, Средства от любви. Перевод в стихах с предисловием и комментарием проф. Г. С. Фельдштейна. М., 1926», стр. 9—22.

69. «По поводу термина «каталография». — «Библиографические известия», М., 1929, № 1—4, стр. 37—38.

70. «Стихотворение А. С. Пушкина «Глухой глухого звал на суд судьи глухого». — «Доклады Академии наук СССР», Л., 1930 (серия В), № 1, стр. 1—3.

71. «Лисий. Речи». Перевод, статьи и комментарии. М.—Л., 1933, 555 стр.

72. «Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Воспоминания о Сократе, Защита Сократа на суде, Пир, Домострой». Перевод, статьи и комментарии. М.—Л., 1935, 417 стр.

73. «Грамматика латинского языка. Часть первая (теоретическая).

---

[3] Оттиск имеется в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

Морфология и синтаксис». М., изд. 1—1938, изд. 2—1939, изд. 3—1948 и изд. 4—1950, 431 стр.

74. «Хрестоматия для переводов с латинского языка на русский. Часть I (морфология)». М., 1939, 288 стр.

75. «Грамматика латинского языка. Часть вторая (практическая). Синтаксис». М., 1947, 592 стр. [5]

76. «Исократ. Панегирик» (перевод). — «Греческая литература в избранных переводах. Составил В. О. Нилендер». М., 1939, стр. 442—451.

77. «Эзоп. Басни» (перевод). — Там же, стр. 482—489.

78. «Темы для диссертаций по классической филологии». — «Тематика научно-исследовательских работ для высших учебных заведений. Сборник VI — филологические науки». М., 1946, №№ 301—305 и 314—317.

79. «Гай Юлий Цезарь. Записки о войне с галлами. С введением и комментариями». Книги I—IV. М., 1946—1947[6].

80. «Сократ и Аристофан». — Ученые записки Моск. гор. педагогич. ин-та имени В. П. Потемкина», т. VI (1947), вып. 1, стр. 7—32.

81. «Эпикур». Перевод и примечания. — «Лукреций. О природе вещей, т. II. Статьи, комментарии, фрагменты Эпикура и Эмпедокла. Составил Ф. А. Петровский». М., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 517—662; также «Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура». М., 1955.

82. «Транскрипция наименования Διογένης Λαέρτιος — Diogenes Laertius». — ВДИ, М., 1948, № 2, стр. 204—208.

83. «Древнегреческий язык. Учебник для высших учебных заведений». М., 1948, 614 стр.

84. «История греческой литературы». М.—Л., Изд-во АН СССР.

Том I (1946) — гипотеза о происхождении аттической комедии, стр. 428;

Том II (1955) — главы I, II, III, V, IX, X;

Том III (1960) — главы VII, §§ 2—6, IX, §§ 2—6 и § 8, XIV, § 2.

85. «Несколько мыслей по поводу статей И. В. Сталина об языкознании». — «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», М., т. IX (1950), вып. 1, стр. 77—79.

86. «Учебник латинского языка». М., 1953, 558 стр.

87. «Публий Теренций. Адельфы. Введение и комментарии». М., Изд-во АН СССР, 1954, 461 стр.

88. «Рабы в комедиях Аристофана как литературный тип». — ВДИ, 1954, № 4, стр. 9—40.

89. «Заметки о греческом произношении на основании наблюдений над строением стиха в комедиях Аристофана и в трагедиях». — Сборник статей «Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию». М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 225—240.

90. «Античные комментарии к пьесам Аристофана». — «Аристофан. Сборник статей [к 2400-летию со дня рождения Аристофана]». Изд-во Моск. ун-та, 1956, стр. 140—156.

91. «Античные комментарии к пьесам Аристофана. Antike Kommentare zu den Komödien des Aristophanes» (несколько сокращенный перевод преды-

---

[4] Издание 1950 года является по существу четвертым изданием книги.

[5] Часть 2-я «Хрестоматии (№ 74)», вышедшая под измененным заглавием.

[6] Намерение автора дать все книги Цезаря в аналогичном издании осталось неосуществленным вследствие отказа издательства от печатания дальнейших выпусков.

дущей статьи). — «Bibliotheca classica orientalis», Berlin, 1961, Heft 1, S. 26—31.

92. «По-новому прочитанный Гомер». — «Литературная газета», 14 июня 1956 г. и см. также: Сурен Кочарян. В поисках живого слова. М., 1960, стр. 538—540 [7].

93. «Аристофан и его время». М., Изд-во АН СССР, 1957, 420 стр.

94. «Краткий очерк грамматики древнегреческого языка». — И. Х. Дворецкий. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958, т. II, стр. 1813—1904.

95. «История римской литературы». М., Изд-во АН СССР.
Том I (1959) — главы X, XII, XVII, XVIII, XXX, XXXI, §§ 1—9;
Том II (1962) — главы III, §§ 1—4, XIV, XVIII, XXI.

96. Перевод эпиграммы Платона «Астеру» (1). — «Греческая эпиграмма». М., 1960, стр. 56.

97. «История двойственного числа в древнегреческом языке, преимущественно по комедиям Аристофана». — «Вопросы грамматики. Сборник статей к 75-летию академика И. И. Мещанинова». М.—Л., 1960, стр. 401—408.

98. «Коринфская невеста» Гёте и ее древний оригинал». — «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», М., т. XIX (1960), вып. 4, стр. 284—300.

99. «De Pluti Aristophaneae versu 802 et qui sequuntur versibus (802—818)». — «Eirene. Studia Graeca et Latina». Pragae, 1960, p. 93—99.

100. «Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах». М., Изд-во «Наука», 1961—1964.

Том I (1961) — перевод жизнеописаний Солона, Фемистокла, Перикла; примечания к жизнеописаниям Тесея, Ромула, Ликурга, Нумы, Солона, Попликолы, Фемистокла, Перикла; послесловие к изданию.

Том II (1963) — перевод жизнеописания Филопемена.

101. «Ad locutionem Graecam cognoscendam quid conferat versuum structura?» — «Eirene. Studia Graeca et Latina II», Pragae, 1964, p. 43—56 (латинский вариант работы № 89).

II. ТРУДЫ ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ

102. «Фукидид», кн. VII. Перевод и объяснение. Лекции, читанные на III и IV курсах классического [и] исторического отдел[ений], 1896—1897, 399 стр., переписанных от руки.

103. «Ἱππῆς. Комедия Аристофана». Лекции, читанные в 1897—1898 академическом году на V—VIII семестрах классического и словесного отделений историко-филологического факультета Моск. ун-та. М., 1898, 260 стр., переписанных от руки.

104. «Медея» Эврипида». Лекции. М., 1900—1901, 304 стр., переписанных от руки.

105. «Лисий». Лекции (речи XXIV, VII, XXII и XXXII). М., 1902, 68+54+29+47=198 стр., переписанных от руки.

106. «Комедия «Мир» Аристофана». Перевод, введение и комментарии, выработанные по лекциям ординарного профессора Соболевского ст[удентом] Фон-Фолькманом и другими, 1907, 175 стр., переписанных на машинке.

---

[7] Коллективная статья за подписью С. И. Соболевского, Н. Ф. Дератани, С. И. Радцига, М. Е. Грабарь-Пассек, С. П. Кондратьева, В. В. Головни, Ф. А. Петровского, В. О. Нилендера, Н. А. Тимофеевой.

107. «Греческая палеография». Курс лекций, читанных в Моск. археологическом ин-те в 1908—1909 г. Моск. синодальная типография, 1909, 83 стр., переписанных на машинке +6 стр. от руки.

108. «Греческая палеография». Лекции 1910—1911. М., 4 стр., переписанных от руки +111 стр. на машинке.

109. «Греческая палеография». Лекции, читанные в Моск. археологическом ин-те. М., 1912, 58+6 стр., переписанных на машинке.

III. РЕДАКЦИОННАЯ РАБОТА

110. «Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина. . . Слова подвижнические. Издание третье, исправленное». Сергиев Посад, 1911, XI+435+X+87 стр.

111. «Латинско-русский словарь. Составили И. Х. Дворецкий и Д. Н. Корольков. Около 40 000 слов». М., 1949, 950 стр.

112. «Древнегреческо-русский словарь. Составил И. Х. Дворецкий. Около 70 000 слов». Том I—II, М., 1958, 1904 стр. (в обоих томах).

113. «История греческой литературы», том I—III (см. № 84).

114. «История римской литературы», том I—II (см. № 95).

115. «Плутарх. Сравнительные жизнеописания», том I—III (см. № 100).

IV. СПИСКИ ТРУДОВ

116. «Список ученых трудов проф. С. И. Соболевского». — «Известия Академии наук СССР. VII серия. Отделение гуманитарных наук». Л., 1928. IV приложение к протоколу 1 заседания Общего собрания Академии наук СССР 14 января 1928 г. Записки об ученых трудах вновь избираемых членов», стр. 451—452 (42 названия).

117. «Список научных трудов С. И. Соболевского». — «Ученые записки Моск. гор. педагогич. ин-та имени В. П. Потемкина», т. VI (1947), вып. 1, стр. 32—34 (104 названия).

118. «Список трудов члена-корреспондента Академии наук СССР С. И. Соболевского». — ВДИ, 1963, стр. 196—198 (93 названия).

V. РЕЦЕНЗИИ НА ТРУДЫ С. И. СОБОЛЕВСКОГО И СТАТЬИ О НЕМ

119. «Сообщение о предстоящей защите магистерской диссертации». — «Московские ведомости», 9 апреля 1890 г.

120. Basil L. Gildersleeve. Рецензия на магистерскую диссертацию (см. № 2).—AJP, vol. XI, 3 (October 1890), p. 371—374.

121. А. Н. Шварц. Рецензия на магистерскую диссертацию (см. № 2). — ФО, т. I (1891), кн. 1, отд. 2, стр. 19—24.

122. П. В. Никитин. Рецензия на магистерскую диссертацию (см. № 2).— ЖМНП, апрель 1891, отд. критики и библиографии, стр. 437—447.

123. E. C. Marchant. Рецензия на магистерскую диссертацию (см. № 2).— CR, vol. V, № 6 (June 1891), p. 258—261.

124. Otto Kähler. Рецензия на магистерскую диссертацию (см. № 2). — «Neue Philologische Rundschau». Gotha, 1891, № 17.

125. Albert Martin. Рецензия на магистерскую диссертацию (см. № 2).— «Revue critique», Paris, tome 33 (1892), № 9; p. 164—165.

126. «Докторский диспут С. И. Соболевского».— «Новости дня», М., 14 февраля 1892 г., стр. 2.

127. А. Н. Шварц. Рецензия на докторскую диссертацию (см. № 6). — ФО, т. IV (1893), кн. 1, отд. 2, стр. 3—13.

128. Basil L. Gildersleeve. Рецензия на докторскую диссертацию (см. № 6). — AJP, vol. XIII, 4 (December 1892), p. 501—504.

129. Otto Kähler. Рецензия на докторскую диссертацию (см. № 6). — «Neue Philologische Rundschau», Gotha, 1894, № 6, S. 81—84.

130. «Соболевский Сергей Иванович». — «Энциклопедический словарь», т. XXX[а] (60), СПб., изд. Брокгауз и Ефрон, 1900, стр. 645.

131. «25-летие ученой деятельности проф. С. И. Соболевского». — «Утро России», М., 11 мая 1912 г., стр. 4 (приложен портрет юбиляра).

132. «Юбилей проф. С. И. Соболевского». — «Русское слово», М., 11 (24) мая 1912 г., стр. 5.

133. Портрет С. И. Соболевского. — «Искры. Иллюстрированный художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами. Выходит еженедельно при газете «Русское слово», М., 1912, № 20 (20 мая), стр. 159.

134. «40-летие деятельности заслуженного профессора С. И. Соболевского». — «Научный работник», 1926, № 4, стр. 98.

135. С. Жебелев, Ф. Успенский, В. Бузескул. Записка об ученых трудах проф. С. И. Соболевского. — «Известия Академии наук СССР. VII серия. Отделение гуманитарных наук. Ленинград, 1928. IV приложение к протоколу 1 заседания Общего собрания Академии наук СССР 14 января 1928 г. Записки об ученых трудах вновь избираемых членов», стр. 449—451.

136. С. И. Радциг. Юбилей профессора МГУ, члена-корреспондента Академии наук СССР С. И. Соболевского. — «Доклады и сообщения филологического факультета Моск. гос. ун-та», 1947, вып. второй, стр. 88—90.

137. Н. Ф. Дератани. Рецензия на «Историю греческой литературы», т. I (см. № 84). — ВДИ, 1947, № 2, стр. 72—81.

138. Б. В. Казанский. Рецензия на «Историю греческой литературы», т. I (см. № 84). — «Вестник Ленинградского университета», 1947, № 4, стр. 166—170.

139. С. Я. Шейнман—Топштейн. Рецензия на «Историю греческой литературы», т. II (см. № 84). — ВДИ, 1957, № 2, стр. 168—175.

140. А. Ч. Козаржевский. Рецензия на «Историю греческой литературы», т. III (см. № 84). — ВДИ, 1961, № 4, стр. 148—153.

141. Я. А. Ленцман. Рецензия на «Записки о войне с галлами», кн. 2 (см. № 79). — ВДИ, 1947, № 2, стр. 85—86.

142. Ф. А. Петровский. Рецензия на «Древнегреческий язык» (см. № 83). — ВДИ, 1949, № 2, стр. 177—180.

143. С. П. Кондратьев. Рецензия на «Древнегреческий язык» (см. № 83). — ВДИ, 1949, № 2, стр. 180—183.

144. Редакционная статья «Выкорчевать до конца буржуазный объективизм и космополитизм». — Газ. «За педагогические кадры» Моск. гор. педагогич. ин-та имени В. П. Потемкина, 30 ноября 1949 г.

145. М. Имшенин. Рецензия на «Латинско-русский словарь» (см. № 111). — ВДИ, 1951, № 1, стр. 189—191.

146. «К 90-летию члена-корреспондента АН СССР профессора С. И. Соболевского». — ВДИ, 1954, № 4, стр. 181—182.

147. Ф. А. Петровский. Сергей Иванович Соболевский. — «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», т. XIII (1954), вып. 4, стр. 375—378.

148. Н. Ф. Дератани. Рецензия на издание «Адельфов» Теренция (см. № 87). — ВДИ, 1955, № 3, стр. 125—129.

149. Соболевский, Сергей Иванович. — Большая Советская Энциклопедия, изд. 2, т. 39 (1956), стр. 460.

150. «Новые труды по античной литературе (интервью с С. И. Соболевским)». — «Советская культура», 31 июля 1956 г., стр. 2.

151. «Le doyen des savants russes». — «Les nouvelles des Moscou», 18 août 1956, p. 7.

152. «Семьдесят лет на кафедре. Сергей Иванович Соболевский — старейший профессор МГУ». — «Советская Россия», 28 сентября 1956 г., стр. 4.

153. В. Ф. Беляев, С. И. Соболевский. Аристофан и его время. S. I. Sobolewski. Aristophanes und seine Zeit (изложение монографии, см. № 93). — «Bibliotheca classica orientalis». Berlin, 1960, Heft 1, S. 25—28.

154. А. Лазебников. Двести седьмой. . . (о трудах С. И. Соболевского). — «Литературная газета», 26 ноября 1957 г.

155. А. Лазебников. В девяносто пять лет. . . — «Москва», 1959, № 4, стр. 223—224.

156. К. Васин. Ученому — 95 лет. — «Вечерняя Москва», 25 августа 1959 г.

157. «К 95-летию члена-корреспондента Академии наук СССР профессора С. И. Соболевского». — ВДИ, 1959, № 3, стр. 225—226.

158. «Приветствие члену-корреспонденту АН СССР Сергею Ивановичу Соболевскому». — «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», т. XVIII (1959), вып. 4, стр. 381—382.

159. «K 95. narozeninám Sergeje Ivanoviče Sobolevského. -- Zprávy Jednoty klasických filologů, Ročník II, 1». Praha, 1960, p. 18.

160. А. Ч. Козаржевский. Рецензия на «Историю римской литературы», т. I. — ВДИ, 1961, № 1, стр. 145—150.

161. А. Лазебников. «Четверги» профессора С. И. Соболевского. — «Советская Россия», 14 мая 1961 г., стр. 4.

162. Извещение о кончине С. И. Соболевского, последовавшей 6 мая 1963 г. — «Правда», 7 мая 1963 г.

163. «Сергей Иванович Соболевский» (краткий некролог). — «Литературная газета», 9 мая 1963 г., стр. 4.

164. В. Ф. Беляев. Сергей Иванович Соболевский (некролог).— «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», т. XXII (1963), вып. 5, стр. 462—463.

165. «С. И. Соболевский» (некролог). — ВДИ, 1963, № 3, стр. 194—195.

166. Wladimir F. Beljajew. Sergei Sobolewski. Nekrolog. — Das Altertum. Berlin, Band 10 (1964), Heft 2, S. 126—128.

167. Auguste Haury. Sergii Sobolevski laudatio. — «Vita Latina», Avignon, № 21 (m. Martio 1964), p. 126—127.

167a. Auguste Haury. Quo consilio quaque ratione epitomam grammaticae Latinae conscripserim. — «3-me Congrès International pour le Latin vivant». Avignon, 1964, p. 118.

VI. ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДСТВА [8]

168. Комментарий к диалогу Платона «Критон» (1882; первая научная работа С. И. Соболевского).

169. Комментарий к IV сатире Горация (1885; студенческая работа).

[8] Бóльшая часть рукописей С. И. Соболевского хранится в Архиве Академии наук СССР в Москве (фонд 695).

170. «Употребление времен и наклонений в греческом языке сравнительно с употреблением их в латинском и русском» (1885—1886).

171. «Ut consecutivum с perfectum conjunctivi при историческом времени у Цезаря».

172. «По поводу некоторых мест Цезаря, где поставлено в косвенной речи praesens conjunctivi или imperfectum conjunctivi вместо perfectum conjunctivi и plusquamperfectum comjunctivi».

173. «Аристотель, Государственное устройство афинян; Посидоний; Палефат; Диодор; Страбон; Псевдо-Лонгин; Арриан; Аппиан; Полиен; Дион Кассий; Геродиан; Бабрий» (1948—1950; очерки, предназначавшиеся для «Истории греческой литературы», т. II (см. № 84), но не вошедшие в нее).

174. «Статистический метод в приложении к хронологии сочинений Платона».

175. «Происхождение аттической комедии (1940); частично вошло в издание «Адельфов» Теренция (см. № 87) и в монографию об Аристофане (см. № 93).

176. «Некоторые параллели между юмором древним и новым» (1927); вторая часть этой работы опубликована на латинском языке (см. № 99).

177. «Литературный тип раба в комедии Аристофана» (с весьма значительными сокращениями напечатано в ВДИ) (см. № 88).

178. «Оракулы и предсказатели в комедиях Аристофана» (предназначалось для оставшегося неизданным сборника в честь академика М. М. Покровского).

179. «Аристофан. «Облака» (лекции).

180. «Миф о Прометее у Эсхила (по Вейлю)».

181. «Софокл. «Электра» (лекции).

182. «Состав хора в трагедии Софокла «Электра».

183. «Еврипид. «Алкестида» (лекции).

184. Библиография по Аристофану (1940; для ИМЛИ).

185. Библиография по Софоклу (1940; для ИМЛИ).

186. Библиография по Еврипиду (1940; для ИМЛИ).

187. Список книг по классической филологии, вышедших в России в XIX—XX столетии (1943; для Моск. гос. ун-та).

188. «Отношение древних эллинов к отечеству и отражение его в литературе» (1942).

189. «Краткий очерк греческого гражданского права и судопроизводства по Даресту».

190. «Навощенные дощечки и ὄστρακα».

191. «Тактика римлян по отношению к германцам в сражении с Ариовистом».

192. «Способы определения дня недели, приходящегося в данное число месяца, для палеографических целей».

193. «Необходимость изучения древних авторов с формальной стороны при изучении истории литературы».

194. «Сборник афоризмов, касающихся школьного дела» (1944; для Моск. гос. педагогич. ин-та иностранных языков).

195. «Пушкин и греческая антология».

196. «Стихотворение Пушкина «Из Горация» («Кто из богов мне возвратил. . .» — Hor. Carm. II, 7)».

197. Перевод Геродотова описания сражения при Фермопилах.

198. Перевод части Платонова диалога «Протагор».

199. Перевод части Платонова диалога «Государство».

200. Перевод отрывка из Платонова диалога «Критон» (1942).

201. Перевод нескольких рассказов Плутарха о патриотизме спартанских женщин (1942).

202. Перевод отрывка из речи Ликурга о патриотизме Кодра (1942).

203. Перевод Лукианова сочинения «Об отечестве» (1942).

204. Перевод двух патриотических стихов Каллина и Тиртея.

205. Перевод «Греческих юридических древностей» Германа и Тальгейма.

206. Перевод с немецкого большого романа Бринкмана «Серебро» (1923).

207. Рецензия на книгу «Софокл. Драмы. Перевод со введениями и вступительным очерком Ф. Зелинского. Том I—III. М., 1914—1915».

208. Рецензия на книгу «Эсхил. Прикованный Прометей. Перевод В. О. Нилендера и С. М. Соловьева. М., 1948».

209. Рецензия на книгу «В. Бузескул. Открытия XIX и начала XXвека в области истории древнего мира. Часть I и II. Пб., 1923—1924».

210. Рецензия на книгу «М. Хвостов. История Греции. Лекции, читанные в Казанском университете и на Казанских высших женских курсах. Под редакций Г. Пригоровского. Изд. 2, дополненное. М., 1924».

211. Рецензия на книгу «Греческая литература в избранных переводах. Составил В. О. Нилендер. М., 1939».

212. Рецензия на книгу «Б. В. Варнеке. История античного театра. М., 1940».

213. Рецензия на книгу «С. И. Радциг. История древнегреческой литературы. М.—Л., 1940» (для Моск. ин-та философии, литературы и истории).

214. Рецензия на книгу «С. И. Радциг. История древнегреческой литературы. Изд. 2. М., 1959» (для ИМЛИ).

215. Рецензия на книгу «История греческой литературы, т. I» (см. № 84) (для ИМЛИ).

216. Отзыв о статьях Б. В. Варнеке «Софокл» и «Еврипид» (предназначавшихся для «Истории греческой литературы» и, возможно, использованных в той или иной степени; см. № 84, т. I, главы XXIII и XXIV).

217. Отзыв о статьях И. И. Толстого «Древнейшая греческая комедия», «Аристофан», «Драматургия Аристофана», «Новая аттическая комедия» (вошедших затем в «Историю греческой литературы»; см. № 84, т. I, главы XXV, XXVI, XXVII и т. III, глава I).

218. Отзыв о статьях С. Я. Лурье «Начатки греческой прозы», «Геродот», «Фукидид», «Ксенофонт» (вероятно, предназначавшихся для «Истории греческой литературы», но не вошедших в нее, где соответствующие разделы принадлежат С. И. Соболевскому и М. Е. Грабарь-Пассек; см. № 84, т. II, главы I, II, III и IV).

219. Отзыв о статьях А. Н. Егунова «Возникновение ораторского искусства в античной демократии» и «Исократ» (вероятно, предназначавшихся для «Истории греческой литературы», но не вошедших в нее, где соответствующие разделы принадлежат С. И. Соболевскому; см. № 84, т. II, глава IX)

220. Отзыв о статье С. И. Радцига «Платон» (вероятно, предназначавшейся для «Истории греческой литературы», но не вошедшей в нее, где соотвествующий раздел принадлежит А. С. Ахманову и М. Е. Грабарь-Пассек; см. № 84, т. II, глава VII).

221. Отзыв о статьях А. В. Болдырева «Греческий роман» и «Вторая софистика» (вошедших затем в «Историю греческой литературы»; см. № 84, т. III, глава XII).

222. Рецензия на книгу «В. А. Домбровский. Латинская хрестоматия.

Учебное пособие для студентов I курса истфака МГУ. На правах рукописи. [М.], 1938».

223. Рецензия на книгу «Н. Г. Крихацкий. Учебник по латинскому языку для высших учебных заведений. [Изд. 29]. Киев, 1940».

224. Рецензия на книгу «А. Н. Попов и П. М. Шендяпин. Латинский язык (элементарный курс). Хрестоматия, грамматика, словари. М., 1940».

225. Рецензия на книгу «А. Н. Попов. Краткая грамматика греческого языка. Издание МГУ. М., 1942».

226. Рецензия на книгу «С. П. Кондратьев и А. И. Васнецов. Учебник латинского языка для 8—10 классов средней школы. М., 1948».

227. Рецензия на оставшуюся неизданной рукопись П. И. Кагана и В. И. Лободы «Начальный курс латинского языка для VIII и IX классов средних школ» (1948).

228. Доклад о научной деятельности Ф. Е. Корша по поводу столетия со дня рождения (1943 и 1945).

229. Доклад о научной деятельности академика М. М. Покровского (1943; для МГУ).

230. Отзыв о докторской диссертации Березовского «История античной литературы».

231. Отзыв о докторской диссертации В. Д. Блаватского «Опыт изучения техники античной скульптуры. М., 1942».

232. Отзыв о научных работах В. М. Боголепова (для медицинского ин-та).

233. Отзыв о докторской диссертации М. Е. Грабарь-Пассек «Феокрит и его античные подражатели. М., 1943» (для МГУ).

234. Отзыв о научных работах А. Ф. Лосева (1943; для МГУ).

235. Отзыв о кандидатской диссертации В. О. Нилендера (для ИМЛИ).

236. Отзыв о работе Ф. А. Петровского «Переводы поэмы Лукреция».

237. Отзыв о научных трудах Ф. А. Петровского (для МГУ).

238. Отзыв о кандидатской диссертации Н. П. Розановой «Археология Таманского полуострова» (1943).

239. Отзыв о научных работах Н. П. Розановой (для Института истории материальной культуры).

240. Отзыв о докторской диссертации Л. Д. Тарасова «Гай Луцилий, римский сатирик» (1943; для Комитета по делам высшей школы).

241. Отзыв о докторской диссертации М. А. Шангина «Византийское книжное письмо» (1940).

242. Комментированное издание комедии Аристофана «Плутос» (1957 и след.; не окончено).

243. Пространная грамматика древнегреческого языка (1942—1946, 1953 и след.; не окончена).

ГРЕЧЕСКАЯ И ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

С. Я. Лурье

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ДЛЯ ВХОДА В РАЙ

В моей статье «Demokrit, Orphiker und Ägypten» в журнале «Eos» [1] я цитировал египетскую книгу «О том, что в загробном мире», которая содержала подробное описание судьбы человека после смерти, являясь как бы путеводителем по загробному миру; я говорил и о том, что выписки из этой книги клались в гроб вместе с покойником, который должен был руководствоваться ими при путешествии в загробный мир и предъявить их небесным стражам. Как я указал там же, в греческих гробах (главным образом в Сицилии) в могилах были найдены золотые таблички, представляющие собой выписки из одного и того же греческого стихотворения, в котором покойнику давалось подробное наставление, как ему достигнуть того света, не попав в ужасную обитель тьмы, где покойник забывает обо всем, пережитом им на земле, и как ему держаться на допросе в загробном мире, чтобы попасть в рай. Делатт [2] остроумно назвал эти таблички «паспортами».

Я позволю себе здесь вернуться к этой теме, так как благодаря любезности проф. Т. Уэбстера в Лондоне мне стали известны два следующих интересных документа, проливающие свет на этот вопрос. Приношу ему за это свою благодарность.

В «Journal of Hellenic Studies» за 1960 год [3] опубликовано несколько изображений на белых лекифах, которые клались в могилу вместе с покойником или покойницей. На одном из этих изображений мы видим покойника, поднявшего руку, в которой он держит табличку. В другом случае покойница стоит с табличкой в руке перед лодкой Харона, переправляющего покойников на тот свет. Издательница Кардара справедливо предположила, что табличка в руках покойника это — именно та золотая табличка, которая кладется в гроб и предъявляется при переходе через границу, как в нынешних таможнях.

До сих пор такие золотые таблички находили в южной Италии и на Крите, т. е. в сфере орфико-пифагорейского влияния.

[1] «Eos», 51 (1961), p. 21—38.

[2] Delatte, «Orphica». — «Musée Belge», 40 (1913) p. 129 сл.

[3] JHS, 55 (1960), p. 150—151 и tab. 40b (Chr. P. Kardara. Four white Lekythoi of the National Museum of Athens).

В 1951 году была опубликована еще одна такая табличка из Фессалии (Фарсал) [4], текст которой почти дословно совпадает с текстом таблички, найденной в Петелии в южной Италии (IG, XIV, 638), но с несколькими строчками, пропущенными в петелийском тексте. Фессалия не была сферой специфического орфико-пифагорейского влияния; кроме того, табличка найдена вместе с пеплом сожженного трупа в урне, а пифагорейские правила запрещали сжигать тело покойника [5].

Это показывает, что в III веке до н. э. эти «паспорта» получили широкое распространение и за пределами непосредственного влияния орфико-пифагорейских сект; новые представления о загробной жизни органически слились с мистериями Деметры и Диониса [6]. Это видно уже и из «Лягушек» Аристофана, где Дионис встречает в загробном мире процессию мистов элевсинской Деметры, которые поют гимн в честь Иакха, отождествленного с Вакхом. Видно это и из сохранившейся надписи из италийских Кум с запрещением хоронить в определенном месте кладбища непосвященных в вакхические мистерии [7].

Интересны в этом отношении также надгробия, собранные в книге W. Peek [8]. Среди этих надгробий резко выделяются две группы: в одной оставшимся в живых рекомендуется есть, пить, наслаждаться и не думать о завтрашнем дне — как только покойник напьется воды из Леты, реки забвения, он уже не увидит ничего из того, что его радует на земле: он не сможет ни зажечь огня, чтобы согреться, ни поесть в свое удовольствие, а назад на землю он уже никогда не вернется [9]. Другая группа обнаруживает прямое или косвенное влияние орфических представлений. Так в № 206 из Фракии (I век до н. э.) говорится, что над покойником не имеет власти ахеронская Лета (οὐ Λάθας ἐπέχεις δῶμ' Ἀχερουσιάδος); в № 399 говорится, что покойница «не умерла, а лишь перешла в лучший мир и живет в блаженстве на Елисейских полях, развлекаясь среди роскоши». Я указывал в своей статье в «Eos» на связь выражения ст. 13—15 нашего стихотворения: δότ' αἶψα ... ψυχρὸν ὕδωρ с типичными египетскими формулировками. В надгробии № 376 (Рим, II—III в. н. э.) читаем: ψυχρὸν ὕδωρ δοίη σοι ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς. В № 406 из Египта (I—II в. н. э.)

---

[4] Μ. Βερδέλη. Χαλκὴ ταφροδόχος κάλπις ἐκ Φαρσάλων. — «Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς», 1950/51, стр. 80—105.

[5] Jambl. Vita Pyth., 28, 154: κατακαίειν δὲ οὐκ εἴα τὰ σώματα τῶν τελευτησάντων.

[6] M. P. Nilsson. Geschichte der griechischen Religion, I², Handbuch d. Altertumswiss, v. 2, 1. München, 1954, S. 600—664.

[7] M. P. Nilsson. Указ. соч., стр. 697 со ссылкой на: F. Cumont. Die orientalische Religionen im römischen Heidentum, 3. Aufl., 1931, табл. VIII, 1.

[8] «Griechische Grabgedichte». Berlin, 1960.

[9] №№ 465, 17 сл., 479, 480; ср. также надпись: O. Masson. Les inscriptions chypriotes syllabiques. Paris, 1961, № 264.

читается: δοίη ψυχρὸν Ὄσιρις ὕδωρ. В № 439 из Александрии (I в. до н. э.), как в надписи на наших табличках (ст. 17, 25), содержится обращение к подземным богам и к Персефоне (χθονίων ἔνερθε δαιμόνων 'ανάκτορες σέμνη τε Φερσέφασσα). Сюда надо еще прибавить IG, XII, 1488: δοῖ σοι ὁ Ὄσιρις τὸ ψυχρὸν ὕδωρ. IG, XII, 1705: Doe se Osiris to psycron hydor.

Речь здесь идет, как мы видим из рассматриваемого стихотворения на табличках, о воде из Мнемосины, источника памяти. Об этой же воде, как я полагаю, говорится и в группе интересных надгробных памятников из северо-западного Причерноморья. Часть этих надписей найдена совсем недавно в Херсонесе и в Тире и будет вскоре опубликована Э. И. Соломоник и А. И. Фурманской (в «Памятниках» Института археологии АН УССР); одна, также из Херсонеса, издана в «Отчетах Археологической Комиссии» за 1896 год (стр. 77 и 185 и сл.) и хранится в Эрмитаже. Все эти надписи сделаны белой краской на черных глиняных сосудах, содержат обычно два слова Πεῖνε (=πῖνε) εὐφραίνου или πίε εὐφραίνου, «Пей и радуйся». Трудно предположить, что все эти сосуды случайно попали в могилы, что они в духе первой группы приведенных выше надгробий обращены к живым: «Пей, радуйся, пока ты не умер!». Я убежден, что это — сосуды, из которых покойник должен пить воду родника Мнемосины, обладающие магическими свойствами. По-видимому, и в кипрской силлабической надписи на сосудах для питья, положенных в могилы, в указанном собрании Массона, №№ 346 и 347: taeteodama piti =τᾶ, 'Ετεοδαμα, πῖθι, «на, Этеодама, пей!», речь также идет о питье из источника в загробном царстве; но, так как надписи относятся к VII веку до н. э., здесь, по-видимому, имело место не орфическое, а непосредственно египетское влияние. Равным образом, как я показываю в моей рецензии на собрание Массона [10], надписи этого собрания на предметах, положенных в могилы, №№ 313 и 314 tapitese aporotai надо транскрибировать τ'ἀμφιθήσε̄ (fut.) ἄ(μ)βροτά οἱ (=τὰ ἀμφι-) («это облечет его бессмертием») [11]. Это, очевидно, также талисман, содействующий получению бессмертия на том свете.

Как мы уже сказали, тексты на табличках, очевидно, представляют собой выписки из одного большого стихотворного текста. Так как выборка делалась по-разному, то часто в одной табличке есть стихи, отсутствующие в другой, но значительная часть стихов одинаковая; небольшие различия объясняются разночтениями в различных экземплярах папирусного прототипа, а также тем, что в одних случаях говорит мужчина, в других — женщина и что некоторые экземпляры написаны на дорийском диалекте.

---

[10] ВДИ, 1963, № 1, стр. 115—116.

[11] Такого же содержания, как я полагаю, была и надпись № 349: tapi .... oe = tapi[tese aporota] oe.

Сопоставляя тексты табличек, можно приблизительно восстановить такой общий текст [12].

ἄλλ' ὁπόταμ ψυχὴ προλίπηι φάος ἠελίοιο
δεξιὸν εἰσίμεναι πεφυλάγμενον εὖ μάλα πάντα. . .
εὑρήσσεις δ 'Αΐδαο δομῶν ἐπ' ἀρίστερὰ κρήνην
πὰρ δ' αὐτῆι λευκὴν ἑστηκυῖαν κυπάρισσον.
ταύτης τῆς κρήνης μηδὲ σχεδόθεν πελασήισθα.
πρόσσω δ' εὑρήσεις τὸ Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης
ψυχρὸν ὕδωρ προρρέον • φύλακες δ' ἐπυπέρθεν ἔασιν. . .
οἳ δὲ σ' ἐρήσονται • «Ὅ τι χρέος εἰσφικάνεις;
τίς δ' εἶ; καὶ πόθεν εἶ ------------------»
τοῖσδε σὺ εὖ μάλα πᾶσαν ἀληθείην καταλέξαι,
εἰπεῖν· «Γῆς παῖς εἰμι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
αὐτάρ ἐμοὶ γένος οὐράνιον· τόδε δ' ἴστε καὶ αὐτοί.
δίψηι δ' αὖος ἐγὼ κἀπόλλυμαι· ἀλλὰ δότ' αἶψα
κρήνης αἰενάου πιεῖν ---------------
ψυχρόν ὕδωρ προρρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης
ἔρχομαι ἐκ καθαρῶν, καθαρὰ χθονίων βασίλεια,
Εὔκλε καὶ Εὐβουλεῦ [χόσοι] θεοὶ δαίμονες ἄλλοι.
καὶ γὰρ ἐγὼν ὑμῶν γένος εὔχομαι ὄλβιον εἶναι,
ἀλλά με Μοῖρ' ἐδάμασσε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
------------------- καὶ ἀστεροπῆτι κεραυνῶι.
ποινὴν δ' ἀντεπέτεισα ἔργων ἕνεκ' οὔτι δικαίων
κύκλου δ' ἐξέπταν βαρυπενθέος ἀργαλέοιο,
ἱμερτοῦ δ' ἐπέβαν στεφάνου ποσὶ καρπαλίμοισι,
Δεσποίναι δ' ὑπὸ κόλπων ἔδυν χθονίας βασιλείας.
νῦν δ' ἱκέτης ἥκω παρ ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν,
ὥς με πρόφρων πέμψηι ἕδρας εἰς εὐαγε[όν]τ[ων]
-------------------------- ἔχω δὲ
Μνημοσύνης τόδε δῶρον ἀοίδιμον ἀνθρώποισιν.»
καί[τοι] σ[ο]ὶ δώσουσι πιεῖν θείης ἀπὸ κρήνης·
«Ὄλβιε καὶ μακαριστέ, θεὸς δ' εἶ ἀντὶ βροτοῖο
(женский вариант:
θεός ἐγένου 'ξ ἀνθρώπου(?). νόμωι ἴθι δῖα γεγῶσα)
Χαῖρε παθὼν τὸ πάθημα, τὸ δ' οὔπω πρόσθ' ἐπεπόνθεις,
καί τότ' ἔπειτα ἄλλοισι μεθ' ἡρώεσσι ἀνάσσεις. . .
λειμῶνάς τ' ἱερούς καὶ ἄλσεα Φερσεφονείας»
ἔριφος ἐς γάλα ἔπετον

V. 1—2 = 20 D. δεξιὸν ἔσθι ἅς δεῖ τινα надп., нелепо и без размера. Даю примерное чтение: ἐξίμεναι, ср. R. 11: εἰπεῖν в смысле повелит. накл. V. 3—7 = 17 D. Verd. εὑρήσσεις D, εὑρήσεις Verd., ἐπ'ἀριστερά D., ἐνδέξια Verd., σχεδόθεν πελάσηισθα — Verd., εὑρήσεις

[12] №№ даем в примечаниях по собранию Дильса (D). Вновь найденный текст обозначен «Verd».

δ' ἑτέραν τῆς D, ἐπυπέρθεν Verd., ἐπίπροσθεν D. V. 8 = Verd. V. 9 = 17a D. V. 10 = Verd. V. 11 = 17 D. Verd. τίς δ'\ ἐσι; πῶ δ' ἐσι; Γᾶς υἱός ἦμι Καὶ 'Ωρανῶ ἀστερόεντος 17a D. V. 12 = 17 D. V. 13 = 17 D. Verd. 17a D: δίψῃι δ' εἰμ' αὔη καὶ ἀπόλλυμαι· ἀλλὰ δότ' αἶψα 17 D, 'Αστέριος ὄνομα· δίψῃι δ' εἰμ' αὖος· ἀλλὰ δότε μοι Verd δίψαι αὖος ἐγὼ καὶ ἀπόλλυμαι· ἀλλὰ πιε̃μ<μ>οι, 17a D. V. 14 = 17a. D. Verd. κράνας αἰενάω ἐπὶ δεξιά, τῇ κυφάρισσος 17 a. D. πιε̃ν ἀπὸ τῆς κρήνης Verd. V. 15 = 17 D. V, 16—20 = 18 D. 19 D. 19 a ἔρχεται 19 a D κοθαρῶ κοθαρὰ χθονί 18 D. Εὔκλῃ καὶ Εὐβουλεῦ καὶ θεοὶ δαίμονες ἄλλοι 19 D. Εὐκλῆς Εὐβουλεύς τε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι 18 D. ὄλβιον εὔχομαι 18 D. εἴτε με Μοῖρ' ἐδαμάσατο *** 19 D. καὶ ἀστεροπῆτι κεραυνῶι 19 D V. 22 = 24 = 18 D (V. 23 дважды). V. 25—26 = 19 D. V. 27—28 = 19aD. v. 29 = 17 D. V. 30 = 18 D. V. 30a = 20 D. 19aD θεὸς ἐγένου ἐξ ἀνθρώπου· ἔριφος ἐς γάλα ἔπετες 20 D. Καικιλία Σκουνδεῖνα νόμωι ἴθι δῖα γεγῶσα, 19 a D. V. 31 = 20 D. V. 32 = 17 D. V. 33 = 17 D. χαῖρε, χαῖρε, δεξιὰν ὁδοιπορ<ῶν> λειμῶνας... V. 34 = 17a D. 20 D. ἔπετες 20 D.

ПЕРЕВОД

«Но когда душа оставит свет солнца, иди вправо, тщательно оградив себя[13] . . . Налево от дома Аида ты найдешь источник, около которого стоит белый кипарис. К этому источнику (т. е. к источнику Забвения, Леты. — *С. Л.*) не подходи близко. Далее ты найдешь холодную воду, текущую из озера Мнемосины (Памяти): над ней стоят стражи[14] . . . которые спросят тебя: «За каким делом ты пришел? Кто ты? Откуда? . . . Им ты говори очень красноречиво всю правду. Скажи: «Я — сын Земли и звездного Неба. Но то, что я потомок небожителей, вы знаете и сами. Я иссох от жажды и погибаю; так дайте же мне поскорее испить из вечнотекущего источника . . . холодную воду, текущую из озера Мнемосины. Я прихожу из (общества) чистых людей[15], о пречистая царица подземных (богов), о Евкл, Евбулей[16] и прочие боги и демоны. Ведь и я горжусь тем, что происхожу из вашего счастливого рода, но Мойра и другие бессмертные боги сурово наказали меня . . . и молнией, свергшейся со звезд . . . Я претерпел наказание за несправедливые дела. Но я вырвался из многострадального тягостного круга[17] и быстрыми ногами вошел в желанную ограду — я упал на лоно Владычицы, царицы подземного царства. И вот теперь я прихожу просителем к благородной Ферсефонее, чтобы она благосклонно послала меня в места

---

[13] Подразумевается «талисманами», «магическими текстами» и т. д., как в египетских текстах.

[14] В египетских текстах — «крылатые драконы».

[15] Т. е. из мистов Деметры и Диониса.

[16] Тайные имена подземных божеств, служащие паролем.

[17] Переселений из тела одного животного в тело другого.

пребывания беспорочных. . .: я имею ведь этот дар Памяти, прославленный у смертных». И они дадут тебе испить из божественного источника: «О счастливый и блаженный, ты стал богом из человека. Радуйся испытав нечто такое, чего никогда не испытывал прежде. Ты будешь с этих пор царствовать вместе с героями; ты (пойдешь) в священные луга и рощи Ферсефонеи. . .»

СТИХОТВОРНЫЙ ПЕРЕВОД М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК

В час, как придется душе покинуть сияние солнца,
Вправо свой путь ты направь и будь осторожен безмерно,
Там, от жилища Аида налево родник ты увидишь;
Возле того родника кипарис возвышается белый.
Но подходить слишком близко к струе родника ты не должен;
Дальше свой путь продолжай и найдешь ты затон Мнемосины,
Хладный источник оттуда течет; там поставлены стражи.
Станут тебя вопрошать: «Зачем сюда ты приходишь?
Кто ты таков? И откуда?»
Им ты (в прекрасных словах) всю чистую правду поведай;
Вот что ты скажешь: «Я — сын Земли и звездного Неба,
Род мой ведется с небес; вы это знаете сами.
Весь я от жажды иссох, погибаю! Скорее же дайте
Вечнотекущей струи мне испить. . . . .
Дайте прохладной воды Мнемосины, затоном рожденной.
Чистым к тебе я пришел, о владычица глуби подземной.
Чистая! Евкл и Евбул и все прочие боги и духи!
Родом блаженным своим и я бы мог похвалиться, —
Но покарали меня бессмертные боги и Мойра,
. . . . пылающей молнией звездной.
Тяжкую участь я нес за деянья, лишенные правды.
Ныне же вырвался я из жестокого круга страданий,
Быстрой ногою вступил в ограду, желанную людям.
В лоно твое погрузился, царица подземного мира.
Ныне с мольбой прихожу я к чистейшей Ферсефонее,
Чтобы меня благосклонно послала в обитель безгрешных
. . . . ибо владею
Даром самой Мнемосины, который средь смертных прославлен».
И разрешат тебе стражи испить божественной влаги.
«Счастлив теперь ты, блаженный! Ты стал из смертного богом.
(*Вар.* Богом из смертной ты стала, по праву ты стала богиней)
Радуйся ты, испытав, чего не испытывал прежде!
Будешь отныне с иными героями царствовать вкупе,
Ферсефонеи ты ýзришь луга и священные рощи».

А. Ф. Лосев

ЧИСЛОВАЯ И СТРУКТУРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ ПЕРИОДА РАННЕЙ КЛАССИКИ

В настоящее время можно считать бесспорным огромное значение понятий и терминов, относящихся в греческой литературе к области математики. Решительно все греческие философы говорили об едином и многом, о конечном и бесконечном, о целом и всём, о непрерывном и прерывном, о мере и порядке, о хаосе и космосе, о гармонии и дисгармонии. Все это является либо терминами чисто математическими, либо структурными, но структура в конце концов тоже является понятием математическим. Совершенно не приходится удивляться тому, что подобного рода терминов в греческой эстетике очень много. Ведь не удивляемся же мы тому, что греческая классика создала скульптуру, ставшую образцом для всей последующей истории искусства. А греческая классическая скульптура как раз и отличается отточенными формами, т. е. такими формами, где число и структура играют первую роль. Ввиду небольших размеров этой работы мы предлагаем вниманию читателя пока только тексты греческих философов до Сократа, вполне отдавая себе отчет в том, что полное представление об этом предмете получилось бы у нас только с привлечением и всех текстов художественной литературы. Тексты цитируются по изд.: «Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechich und deutsch von H. Diels 9 Aufl. herausg. von W. Kranz», I—III. Berlin, 1959—1960. Для русских переводов кое-где использованы издания: «Досократики, перев. А. Маковельского», I—III. Казань, 1914, а также: А. О. Маковельский. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946.

I. ЧИСЛОВЫЕ КАТЕГОРИИ

1. ЕДИНОЕ

Излагая Анаксагора, Аристотель все сущее у него прямо выводит из «единого» и «иного»; также понимает он и «смесь» у Анаксимандра и Эмпедокла (59 А 61). Об едином и многом как об основных категориях у Анаксимандра, Анаксагора и Эмпедокла

опять говорит тот же Аристотель (31 А 46). Об абсолютном едином у элейцев — десятки текстов. (Ксенофан А 4. 29—31. 33—36; Парменид А 7. 8. 23—25. 28. 34. В 8. 6; Зенон А 12. 14. 15. 21. 22. В 2; Мелисс А 1. 5. 12. В 2. 5—9, ср. 21 А 30). Особенно интересен один текст Мелисса (А 6), в котором говорится, что человек вовсе не есть один из элементов, хотя в то же время оказывается чем-то единым, какой-то всеединой сущностью или материей. У Анаксимандра (А 16) — все противоположности — из «единого». У Анаксимена (А 5) «природа, лежащая в основе всего, едина и беспредельна», так что Анаксимен и Анаксимандр (там же) «считали стихию единой, бепредельной по величине». По Гераклиту (В 50), «все едино» (дальше перечисляются основные противоположности, ср. В 57); «из всего — одно и из одного — все» (В 10). О соединении единства и множественности у ионийских и сицилийских философов и, прежде всего, у Гераклита и Эмпедокла, сообщает Платон (31 А 29). Учение Эмпедокла об едином — в А 32. По Диогену Аполлонийскому (А 7) «если бы все [вещи] не происходили из одного, то они не могли бы действововать друг на друга и испытывать взаимное воздействие». У Левкиппа (А 7, то же у Демокрита А 37. 42) ни многое не возникает из единого, ни единое из многого; но у атомистов каждый атом есть абсолютная и несокрушимая единичность.

2. ЕДИНЕНИЕ

Кроме термина hen («единое») в досократовской философии употребляется также и родственный ему термин henosis, что означает «единение», «объединение», «превращение в единство» и просто «единство». Этот термин встречается в материалах из Ферекида (В 3): «Ферекид говорил, что Зевс, намереваясь быть демиургом, превратился в Эрота, потому что, составивши, как известно, мир из противоположностей, он привел его в согласие и к любви и засеял все тождеством и единством — пронизывающим все». Космический принцип Эмпедокла — Любовь — вполне тождествен у него с единством (В 29, ср. В 136), причем единство функционирует у Эмпедокла и при появлении у него отдельных организмов (В 61). У пифагорейцев музыка тоже есть, прежде всего, «объединение разнообразного» (Филолай В 10).

3. НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Термин (syneches) «непрерывность» в этой ранней литературе довольно редок. Свое сущее Парменид называет не только единым, но и «непрерывным» (В 8, стихи 6 и 25). У Анаксагора и Демокрита беспредельное тоже отождествляется с «непрерывным» (59 А 45). Непрерывность, конечно, отрицается у атомистов (67 А 19; намеки на это ср. впрочем уже у Пифагора 58 В 25),

однако учение о непрерывности у атомистов можно понять только в связи с их концепцией бесконечно малых (таково, например, их оригинальное учение о «прикосновении»), хотя, например, у Левкиппа (А 1) выделение земли из первоначального вихря происходит не без применения понятия непрерывности, как и образование млечного пути у Демокрита (А 91. Маков. 160). Кроме того, действительность у атомистов состоит не только из прерывных атомов, но еще и из бесконечной пустоты; а она уж во всяком случае есть сплошная непрерывность. Момент непрерывности содержится в раннеклассическом учении о беспредельном (apeiron), которое мы находим не только у Анаксимандра, но и у других ионийцев (Анаксимен), у пифагорейцев, Анаксагора и у всех элейцев. От понятия apeiron почти неотличимо понятие aoriston. Анаксимандр (А 9а) говорит о «безграничной (aoristas) природе». Анаксимен (А 5) противополагает этому «определенный» воздух. О неопределенной диаде, перешедшей впоследствии к Платону, читаем не раз у пифагорейцев. Вместе с единицей эта диада в качестве континуума является основным принципом у Эврита (2). Вообще о пифагорейской «неопределенной диаде» читаем во фрагментах 58В Ia. 14. 15. Известно, как нужно понимать числа пифагорейцев.

Сейчас, например, мы убедились в том, что диада, т. е. двоица, не имеет ничего общего с нашей двойкой, а представляет собою противоположность точкообразной единице, т. е. она есть неопределенная протяженность и непрерывность. Нетрудно догадаться, что триада или тройка есть соединение единицы и двоицы, т. е. это есть символ первой оформленности или ограниченности непрерывного континуума.

4. РАЗНЫЕ ЧИСЛА

Вот почему пифагорейцы (58 В 17) считали триаду «числом Всего», а Окелл (8) говорил, что «троица впервые соединила начало, середину и конец». По Иону Хиосскому (В 1): «все — три и нет ничего ни больше ни меньше этого числа три. Совершенство каждого отдельного существа есть троица: ум, сила и счастье». Четверица, пятерица и т. д. тоже имели у пифагорейцев меньше всего арифметическое значение, а были принципами организации жизни, человеческой психики, природы и всего космоса. Желающие получить образец подобного рода числовых рассуждений могут читать у Филолая (А 12): «То, что следует за математической величиной, имеющей три измерения, заключается в четверице, качество и цвет проявленной природы — в пятерице, одушевление — в шестерке, ум, здоровье и то, что он называет «светом» — в седмерице; после них, говорит он, любовь, дружба, мудрость и изобретательность получили существование благодаря восьмерке». Все подобного рода рассуждения (ср., например, 58 В 15)

неопровержимо свидетельствуют о том, что числа в понимании пифагорейцев являются оформляющими и организующими силами и что значимость их в первую очередь *эстетична* или *художественна* (имея, конечно, в виду обычное для античной эстетики совпадение художества и онтологии). При этом является неважным то, что создается каждым отдельным числом, так как у пифагорейцев могла быть здесь любая фантастика. Но самый числовой принцип эстетики — чрезвычайно важен для античности. И, кроме того, как мы уже сказали, дело здесь вовсе не в самом пифагорействе, хотя это последнее просуществовало в течение всей античности, влияло почти на все философские школы и его числовые принципы оказались наиболее характерными для всей античной эстетики.

Далее, чтобы покончить с числовыми принципами античной эстетики, укажем еще на несколько числовых категорий, имевших в ней место и представлявших собой не просто числовые принципы, но в известном смысле *распространенные* и обобщенные понятия, наподобие того как «беспредельное» было распространением единицы или двоицы.

5. ЦЕЛОЕ

Таков прежде всего термин holon, что значит «целое». Излагая Парменида и Мелисса, Аристотель дает то, что мы могли бы назвать определением этого термина (28 A 27): «Целому мы даем так же определение: то, в чем решительно все есть, как, например, целый человек или ящик. Как каждая отдельная вещь, точно также и целое в собственном смысле, т. е. то целое, вне которого нет ничего. А то, чему не хватает чего-либо, не находящегося в нем, то не есть целое, чего бы ему ни хватало. Целое же и совершенное или решительно одно и то же или весьма близки по природе. Совершенным же не является ничто из того, что не имеет конца. Конец же есть — граница. Поэтому-то должно считать, что Парменид сказал лучше Мелисса. А именно, последний называет беспредельное целым, первый же говорит, что целое ограниченно, будучи «равноотстоящим от центра» (B 8, 44). Итак, целое есть то, в чем нет ничего такого, чего ему не хватало бы, т. е. то, что решительно содержит в себе свои части без всякого исключения. О «всецелом» мире говорится в этом смысле у Анаксимена (B 2) и Филолая (B 1). «Цельное» бытие имеет в виду и Эмпедокл (B 2, 6), когда говорит о стремлении к познанию; говорили о нем и орфики (I B 11), когда имели в виду происхождение душ с их дыханием, носимых ветрами. Поскольку у Ксенофана его единое бытие абсолютно цельно, то понятно, что бог у него «весь (oylos) видит, весь мыслит, весь слышит», т. е. в нем нет ни одной точки и ни одного момента, которые были бы лишены сознания и мышления.

6. ВСЁ

Также характерен для классической натурфилософии термин «всё», который, вероятно, лучше писать с большой буквы: «Всё», так как относится он в первую очередь ко вселенной, ко всему космосу и вообще ко всему бытию. Философы этой эпохи часто и свои основные сочинения называли «Обо всём». Когда Фалес (А 23) говорит о том, что всё полно демонов, то под этим «всё», очевидно, нужно понимать весь космос.

Анаксимандр учил (А I) о том, что «части изменяются, целое же остается (pan) неизменным». Он же называл воду этим термином, а Анаксимен — свой воздух (30 А5). Гераклит (А 17) говорит о душе всего. У Эмпедокла (В 26, 7) его Любовь и Вражда тоже соединяют и разъединяют *все* вещи. У Анаксагора (А 1) всё состоит из гомеомерий, а холодные и теплые части мироздания тоже выделяются из *всего* (А 12).

По Демокриту (В 167, Маков. 66) «вихрь разнообразных форм отделился от Вселенной» (pantos). У пифагорейцев это понятие тоже употребляется достаточное число раз (58, В 5. 16. 17). Кроме термина pas у досократиков употребляется в том же значении и термин sympas. Этот термин употребляют, например, Демокрит (В 11, 165. 247) и Анаксагор (В. 4. 12). Можно сказать, что не было ни одного греческого философа, у которого это учение обо всём и соответствующий термин не употреблялись бы на самом первом месте.

7. БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ И ПРЕДЕЛ

Если число является в античной эстетике активно оформляющим и организующим принципом, т. е. тем именно, что и создает вещи в их существе, то такие категории, как «целое» или «всё» только конкретизируют эту творческую функцию чисел. Число обеспечивает собою и всю раздельность бытия и весь его нераздельный континуум. Поэтому особенно два направления мысли оказываются интересными для истории эстетики, именно те, в которых античная мысль пытается числовым образом синтезировать раздельность и нераздельность бытия.

Одно направление мысли легко усматривается в пифагорейском учении о *синтезе беспредельного и предела* (Филолай В 2): «Все существующее должно быть или пределом или беспредельным, или тем и другим вместе». Беспредельное есть фон, на котором предел вычерчивает ту или иную фигуру. Это — эстетика конечных структур.

8. ГОМЕОМЕРИЯ

Другое направление мысли на путях объединения конечного и бесконечного, или эстетику бесконечных структур, мы находим у Анаксагора в его учениях о гомеомериях: всякая вещь делится на бесконечное число элементов, так что всякая вещь содержит

все вещи в себе, а каждый из бесконечных элементов данной вещи в свою очередь делится на бесконечное число частей. Получается учение о бесконечности, в которой часть равна целому. А что отождествление части и целого есть признак организма и перевод на математический язык того простого обстоятельства, что данная вещь есть нечто живое, об этом тоже обычно говорится достаточно. Что же касается живого, данного как предмет, одинаково и реальный и идеальный, т. е. и вещественный и представляющий собою самостоятельную содержательную ценность, то известно, что такое живое и есть античная красота. И, следовательно, гомеомерия Анаксагора есть не что иное, как *математическая формула красоты как живого организма*. А так как у древних не было эстетики в качестве самостоятельной дисциплины, то ее с полным успехом заменяла математика. Заметим только, что термин «гомеомерия» встречается не только у Анаксагора, как это обычно все думают, но в неразвитой форме мы находим его и у Мелисса (А 5), признававшего единое с «подобными» одна другой частями, и у Эмпедокла (А 43), учившего о предшествии гомеомерии его четырем элементам, так что эти гомеомерии оказывались у него «элементами элементов» (ср. А 70).

9. ЧАСТИ И МНОГОЕ

Само собою разумеется, что если понятие целого играет такую большую роль во всей космологической эстетике, то такую же большую роль должно играть и понятие «части» (meros). Филолай (А 16) все отдельные моменты своей гармонии сфер называет именно частями целого, а в более общей форме зависимость «прекрасного» познания части от «прекрасного» познания целого рассматривается у Архита (В 1). Члены своих пропорций Архит (В 2) тоже называет частями. Но, пожалуй, ярче всего понятие части как такого элемента, который несет в себе смысл целого, развито у атомистов, составлявших всю реальную действительность из атомов так, как трагедия и комедия составляются из букв. Отчетливейшая концепция части содержится, конечно, и в учении Анаксагора о гомеомериях, в самое название которых входит этот термин «часть», поскольку гомеомерия и есть не что иное, как «состоящее из подобных одна другой частей».

Точно так же часто имеет эстетический смысл и понятие «многого» (ta polla), если этот смысл мы нашли и в понятии единого. Ярче всего, пожалуй, и здесь проявили себя атомисты. По Демокриту, например, «вода и воздух, и каждая из многих вещей, будучи одним и тем же, различаются только фигурой» (30 А 5). Следовательно, фигурность каждого элемента из многого для него специфична. Смешение четырех основных элементов специфично для каждого элемента многого и у Эмпедокла (там же). Ярко выступает эстетическое значение множественности также и у элейцев,

у которых вещи по своему существу едины, т. е. неразличимы, а множественны вещи только по своей видимости (например, 29 А 15).

10. ВЕЛИЧИНА

Наконец из области расширенного применения понятия числа можно упомянуть еще и такую категорию, как «величина» (megethos). При такой большой чувствительности классического грека ко всякому числовому оформлению, которое мы отмечали выше, величина тоже не может оставаться простой прозаической измеренностью вещи, а тоже указывает на оранизованность и четкую оформленность этой последней. Если беспредельное уже у первых милетцев является эстетическим принципом, то такой же характер носит и величина этого беспредельного, свойственная, например, воздуху Анаксимена (А 6). Элейская критика учения о величинах имеет в виду как раз величины в их четком разграничении и противопоставлении (например, 29 А 1). Зенон (А 22) и Мелисс (В 3) прямо говорили о «неделимости» всякой величины, т. е. об ее ясной и ни на что другое не сводимой индивидуальности. Особую четкость и тоже неделимость каждого атома-индивидуума мы находим у Левкиппа и Демокрита.

До сих пор мы рассматривали число в его созидательной, или творящей функции, и почти не касались его структурных функций. Перейдем к этим последним.

II. СТРУКТУРНЫЕ КАТЕГОРИИ [1]

1. СТАТИЧЕСКИ-СТРУКТУРНЫЕ КАТЕГОРИИ. МЕРА

Укажем сначала на статически-структурные функции числа. Если целое отражается в части, а часть в целом, то каждая часть целого, очевидно, существует только в определенных границах, за которыми она уже перестает отражать на себе данный специфический момент целости. Другими словами, всему, что создано числом, соответствует определенная *мера* (metron). Несоблюдение этой меры ведет к разрушению и данного частного момента целости. Уже один из так называемых семи мудрецов Клеобул (10, 3) сказал: «мера — лучше всего», а другой — Фалес (там же) наставлял: «пользуйся мерой». Филолай (А 16), поместивший Гестию в центре всего космоса, объявил ее, между прочим, «связью и мерой природы». А если мы вспомним, что диадические и вообще нечетные начала в числах противополагаются четкой единице как хаотический континуум упорядоченному и измеренному целому, то нам станет понятным также и то пифагорейское учение

---

[1] Структурные категории — это такие категории, которые характеризуют собою отношение целого и частей в вещах.

(Филолай А 14), по которому демоническое чудовище Тифон родился «в четной мере 56». Главным же теоретиком космических мер является Гераклит, по которому Логос является, между прочим, и «мерой назначенного круга времени» (А 8), мировой огонь вспыхивает и гаснет «мерами» (В 30), а солнце «не преступит положенной ему меры», ибо Эринии охраняют его пути (В 94). Всеобщую мерность как результат космического мышления признает и Диоген Аполлонийский (В 3).

Зависящие от понятия metron термины «симметрия» и «асимметрия» (symmetria, asymmetria) больше всего имели хождение в пифагорейских кругах, причем Диоген Лаэртский (VIII, 47) занятия симметрией приписывает уже самому Пифагору. Пифагорейца Гиппаса (18, 4) даже подвергли изгнанию за разглашение тайн симметрии и асимметрии. Пифагорейцы (58 D 4) учили, что «порядок и симметрия прекрасны и полезны, беспорядок же и ассимметрия безобразны и вредны». Это — потому, что, по учению Пифагора (58 В 15), числа и заключающиеся в них соразмерности (symmetrias) суть начала. Симметрию теплого и холодного наблюдал Парменид (А 46), симметрию и ассимметрию при расположении атомов — Левкипп (А 14), в здоровье — Поликлет (А 3). Наконец, чувственные ощущения в зависимости от симметрии пор рассматривали Париенид, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит (28 А 47); этот же последний считал необходимым применять принцип симметрии и к внутреннему состоянию человека (А 167, Маков. 359 а). «Счастье же он называет хорошим расположением духа, благосостоянием, гармонией, симметрией и невозмутимостью».

Если к этому прибавить еще довольно большое количество текстов с понятием symmetros («соразмерный», «соответствующий», «умеренный», «мерный»), то можно без всякого преувеличения сказать, что понятие симметрии в классической эстетике имеет в прямом смысле универсальное значение.

Насколько можно судить по сообщению Филострата Младшего (Imag., Prooem., 8), древние много писали о симметрии и в живописи.

2. ТО ЖЕ. ПОРЯДОК

С понятием «меры» соперничает в области структурной категории античной эстетики понятие «порядка» (taxis). Как обычно, мы здесь нигде не найдем точного определения этого понятия, так как для античной эстетики достаточно только его общеязыкового значения. Что же касается общеязыкового значения, то taxis очень близок к metron; и если чем эти термины и отличаются один от другого, то metron указывает скорее на определенную и единообразную связь частей с целым, taxis же говорит о целой совокупности таких отношений, данных в виде какой-нибудь частичной структуры целого. О «порядке в космосе» (Пифагор 21),

о «порядке в небе» (58 В 4), о «порядке небесных светил» (там же В 35), об «огне Гестии, расположении в определенном порядке вокруг центра» (Филолай А 16) мы читаем уже у пифагорейцев. О «порядке во всецелом космосе» (Анаксагор А 30), о возмездии в определенном «порядке времени» (Анаксимандр В 1), о «порядке и определенном времени для перемены мира согласно роковой необходимости» (Гераклит А 5), об «определенном порядке», свойственном положению солнца (Диоген Аполл. А 6) читаем, очевидно, и у всех главнейших классических натурфилософов.

Однако и здесь атомистов, вероятно, нужно поставить на первое место, потому что этот признак taxis они ввели в самое понятие атома. Известно, что атомы отличаются между собою фигурой, положением и взаимным порядком. Это значит, что атомы не существуют в изолированном виде. Всякий атом предполагает, что на том или другом расстоянии от него находятся другие атомы, с которыми данный атом составляет определенную упорядоченность — «порядок», таким образом, внесен в самое определение атома. Тексты эти следующие :67 А 6, 9. 14. 32; 68 А 38. (Маков. 48), 45 (Маков. 56), 125 (Маков. 272), 135 (Маков. 267). То, что идея порядка играет такую выдающуюся роль в атомизме, ясно из того, что атомизм уже означал переход от абстрактно-всеобщей натурфилософии к натурфилософии конкретно-единичной. И поскольку в ранней классике все наглядно, то и положение всякой единичности тоже трактовалось здесь наглядно. Потому что идея порядка и пронизывает собою весь атомизм с начала до конца.

Наконец, идея порядка безусловно играла большую роль также и во внутреннем мире человека. Порядок должен быть соблюдаем в еде и питье (58 D 4), при подавлении страстей (там же D 3), при соблюдении дружеских отношений (там же D 9), и только детям свойственно нарушать порядок (там же D 8). О том, что у Анаксагора (А 58) «причина всякого порядка заключается в уме», известно из его суждений о Нусе-Уме.

Порядок, выраженный не при помощи слова taxis, но при помощи слова syntaxis, встречается у Демокрита (В 5, 1, Маков. 304) в отношении космоса и у Гиппократа (22 С 1) в отношении музыкальных гармоний.

Наряду с существительным taxis имеет значение и глагол tattō, «привожу в порядок». Филолай (А 16) пишет: «Относительно расположенных в порядке небесных тел бывает мудрость, относительно же беспорядочного мира рождающихся вещей — добродетель, причем первая из них совершенна, вторая несовершенна». Сообщение о *назначенной* мере времени у Гераклита (А 8) мы уже приводили выше в рассуждении о мере. «Не следует, чтобы одни и те же вещи *предназначались* для богов и людей, равно как для свободных и рабов» (58 С 3). Об «определенно упорядоченных формах» Демокрита говорит Феофраст (68 А 163, Маков. 277). Для характеристики чувственного мира Парменид (А 34) употреб-

ляет прилагательное «беспорядочный» (atactos), указывая на его беспредельное движение. В своей «неопределенной двоице» пифагорейцы тоже находили «беспорядочность» (58 В 14). Беспорядочность быстрого движения атомов в пустоте находил и Демокрит (А 43, Маков. 54). То, что идея беспорядочности заметно выступает в космологической эстетике древних, не может вызывать никакого удивления потому, что если «порядок» трактуется эстетически, то так же должен трактоваться и «беспорядок». Кроме того, свой «беспорядок» греки отнюдь не понимали обывательски и рассудочно. Хаос тоже был для них известного рода порядком или упорядоченностью, а именно упорядоченностью хаоса.

3. ДИНАМИЧЕСКИ-СТРУКТУРНЫЕ КАТЕГОРИИ. РИТМ

Динамически-структурной категорией эстетики является категория «ритма» (rythmos или rysmos), которым, по Диогену Лаэртскому (VIII, 47), занимался уже Пифагор. Термин этот употребляется у атомистов как дублет названия формы. А ведь трактовка очертания атома как чего-то ритмического вовсе не тривиальна. Ведь говорят же современные искусствоведы о пространственном ритме. То что атом обладает ритмическим очертанием, это очень хорошо, очень выразительно и притом интересно как раз для эстетики. Вместо «очертания» атомов говорят об их ритме и Левкипп (А 6. 28) и Демокрит (А 38, Маков. 48; А 44, Маков. 55; А 125, Маков. 272). Пространственную ритмику Демокрит видит даже и в сложных телах, а не только в атомах (30 А 5): «Вода и воздух, и каждая из многих вещей, будучи одним и тем же различаются только фигурой (rythmōi)». Слово «ритм» он употребляет, наконец, даже и в отношении политического состояния общества (68 В 266, Маков. 498). Слово «ритм» в смысле музыкального ритма входит в название нескольких не дошедших до нас трактатов из периода классики. Однажды употребляется слово eyrythma (58 D В) в смысле «благоприличное» для характеристики поведения молодых людей наряду с cala «прекрасное».

Впрочем, если не гоняться за самим термином «ритм», который, как мы видим, употребляется в классике очень редко, хотя и в весьма существенной роли, а сосредоточиться на самом понятии ритма, то подобного рода понятие окажется весьма распространенным в греческой натурфилософии, если не прямо одним из самых центральных ее понятий. Вся милетская натурфилософия, основанная на периодическом превращении одних элементов в другие, является несомненно эстетикой определенного космического ритма. Периодическое воспламенение вселенной у Гераклита и периодичность чередования Любви и Вражды у Эмпедокла возможны только для той философии и эстетики, которые признают ритмически пульсирующий космос. Черты такой космической ритмики есть и у Диогена Аполлонийского, и у атомистов. Но

применяемые у них для этого смысловые обозначения — совсем другие, и мы с ними все время встречаемся при изучении космологической эстетики.

4. СТАТИЧЕСКИ-ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ КАТЕГОРИИ. ТОН

Наконец, чтобы завершить рассмотрение античной эстетики структур как статических, так и динамических, необходимо указать еще на ряд идей в рассматриваемый период античной эстетики, которые совмещают в себе и статические и динамические принципы и которые поэтому необходимо назвать *статически-динамическими* принципами строгой классики.

Прежде всего весьма любопытной категорией является здесь то, что древние называли tonos. Очень важным обстоятельством является то, что слово это того же корня, что и греческий глагол teinō «тяну», «натягиваю». Тон — это то, что натянуто, напряжено. Когда речь заходила о музыкальных звуках, получаемых при том или другом натяжении струн, то вполне ясно, что эта натянутость струны метонимически переносилась и на тот звук, который эта струна издавала. Уже и тут виден как динамический момент этого понятия (натяжение), так и момент статический (определенность или устойчивость данного напряжения). Важнее, однако, то, что идея тона с первых же пор античной философии и эстетики стала переноситься и на все бытие, на весь мир, на всю человеческую жизнь, на психику и биологию. Все бытие, таким образом, тоже оказывалось какой-нибудь определенной степенью натянутости или натяжения. Мы не будем говорить здесь об эстетике элейцев или милетцев, у которых хотя и не употребляется понятие тона или соединения тонов, тем не менее фактически это понятие здесь присутствует и является главнейшей характеристикой всего бытия. Ведь сгущение и разрежение элементов, из которых образуются вещи, тоже ведь, собственно говоря, являются не чем иным, как определенным натяжением или натянутостью бытия. Но пифагорейскую гармонию сфер уже никак нельзя понять иначе как систему разных натяжений пространства и времени, т. е. тех тонов, по которым настроены сферы космоса вокруг центрального огня. Ксенофан (В 1, 20) говорит о «тоне относительно добродетели», т. е. об определенном состоянии добродетели, об ее «выдержанности» или «настроенности». Вообще же говоря самый термин tonos в досократовской эстетике очень редок. Мы находим его, например, у Эмпедокла (А 63) в применении к «силе молнии» или у Филолая (А 26) в сообщении о попытках деления им тона.

Настоящее же свое место эта категория получает не в виде термина tonos, но в рассуждениях о том, что греки называли harmonia («гармония»). Это один из тех любопытных случаев,

когда понятие фигурирует вовсе не в своем собственном словесном обличии, но в оформлении при помощи совсем другой терминологии. И вот, между прочим, почему история идей, категорий, принципов или понятий вовсе не сводится на историю терминологии, хотя без истории терминологии тут нельзя ступить и шагу.

5. ТО ЖЕ. ГАРМОНИЯ

Термин harmonia максимально соответствует всем основным особенностям античной эстетики, подобно «мере» и «порядку». Этимология этого греческого слова указывает на слаженность, прилаженность, соответствие (корень ar, который мы находим в массе слов греческого и латинского языка, вроде eirēnē («мир»), или ars («искусство») или artus («член») и т. д.).

Если бы мы захотели найти такой текст, который мог бы служить определением этого понятия, то, кажется, таким текстом может служить следующий фрагмент Филолая (В 10): «Гармония вообще возникает из противоположностей. Ибо гармония есть соединение разнообразной смеси и согласие разногласного». В таком виде гармония присутствует уже в самых первых элементах сущего. Если пифагорейцы называли эти первые элементы числами, то числа у них состояли из симметрий, которые они в то же самое время называли и гармониями (58 В 15). Это и понятно, потому что числа мыслились у пифагорейцев в виде наших вполне упорядоченных множеств. Говорили и специально о «гармонии небесных светил» (В 35). Свой центральный огонь, или Гестию, пифагорейцы называли «первым гармонически устроенным единым» (44 В 7). Следовательно, и весь космос и, прежде всего, небо мыслилось у пифагорейцев устроенными по закону числа и гармонии (58 В 4). Но тут была, конечно, не просто чистая математика, а еще и обычное для античной эстетики творчески бытийственное понимание числовой гармонии. В этом смысле надо понимать интересное сообщение о сиренах, поющих в разных местах космоса (58 С 4): «Что такое Дельфийский оракул? Четверица, т. е. гармония сирен». Священная десятерица также содержит в себе все «арифметические и гармонические отношения» (46, 4). От движения светил «рождаются космические тоны» (58 В 35). Неудивительно также и то, что «все произошло в силу необходимости и гармонии» (Филолай А 1). У этого же Филолая основное рассуждение относится одинаково и к природе и к гармонии (В 6). «Лжи и вовсе не принимает в себя природа числа и гармония, ибо ложь им чужда. Ложь и зависть присущи природе беспорядочного, бессмысленного и неразумного» (Филолай В 11). Таким образом, числовая гармония не только создает собою бытие и космос, но она является также и принципом истинного их устроения, изгоняющим всякую ложь и искажение.

Особенно ярко представлено учение о гармонии у Гераклита. Знамениты его фрагменты о «прекраснейшей гармонии различного» (B 8), о «бытии как о гармонии лука и лиры» (B 51), о «превосходстве невидимой гармонии над видимой» (B 54). Все вещи представляют собой у Гераклита гармонию именно благодаря своим противоположным стремлениям (A 1). Таким образом, всякая вещь и все бытие в целом есть определенная натянутость или натяжение, т. е. взаимодействие двух противоположных сил, данное как единое целое.

Еще новый и тоже космический оттенок носит понятие гармонии у Эмпедокла, понимавшего под гармонией всеобщую взаимопроникнутость космоса в период господства Любви (B 27): «Так под плотным покровом гармонии утверждается округленный, гордый совершенной замкнутостью Сферос». Впрочем, этот же самый термин Эмпедокл употребляет и в отношении всех частей земли, «дивно сплетенных связями гармонии» (B 96). Еще третий оттенок идея гармонии получает у Эмпедокла (B 122, 2) в том месте, где он рисует страшные символы подлунного мира, в котором наряду с Хтонией — Землей, Гелиопой — дальнозорким солнцем и кровавой борьбой находится также и «величавая Гармония».

Принцип гармонии распространялся в ранней классике не только на бытие и космос в целом, но гармонией представлялась и человеческая душа (44 A 23, 53, 4; 58 B 41). Чтобы понять, в каком смысле употребляется здесь гармония, можно исходить, во-первых, из платоновского «Федона» (91d—95b), где Платон критикует это учение как материалистическое: душа есть гармония тела, т. е. пассивная совокупность всех его жизненных функций. Однако в пифагорействе несомненно было еще и другое учение о душе как о гармонии, именно в тех случаях, где душа трактовалась как творчески становящееся число (Гиппас 11, ср. 58 B 4 и 44 B 22). Поскольку число и гармония в пифагорействе часто отождествляются, постольку и учение о гармонии души могло содержать в себе кое-где элементы идеалистического примата души как числовой гармонии над пассивностью и инертностью материального тела. Прилагательное «гармонический» понимали и чисто арифметически, когда говорили о так называемой гармонической пропорции (18, 15). Гармонию находили также и в *биологии*. Например, своеобразное сочетание тонов находили в процессе образования зародыша (22 C 1, 58 B 1a).

Под гармонией, далее, понималось и соотношение элементов в кубе как в правильном геометрическом теле (31 B 96). «Приятной, т. е. гармонической названа земля как куб, согласно учению пифагорейской школы. А именно, они называли куб гармонией, так как он образует гармонические пропорции вследствие того, что имеет 12 ребер, 8 вершин и 6 граней» (то же 44 A 24). В досократовских источниках мы не нашли указания на гармонию как на соотношение разных элементов в других правильных гео-

метрических телах. Но, собственно говоря, точно так же можно было бы говорить и о гармонии пирамиды, о гармонии октаэдра и т. д. Вероятно, так оно и было; но только не осталось соответствующих указаний в сумбуре бесчисленного количества фрагментов из ранней греческой философии.

Общеизвестно также музыкальное значение гармонии. Если семь гармоний сопоставлялись только с семью струнами (58 В 27), а у Гераклита (А 22) о музыкальной гармонии говорится только в смысле общего соотношения высоких и низких тонов, то в других источниках она понималась как одновременный интервал двух тонов (ср. 22 С 1), например, как октава (44 В 6) и даже как лад, или звукоряд, т. е. уже как известная последовательность тонов (45, 1). Общеизвестно греческое разделение музыкальных родов (harmoniōn) на диатонический, хроматический и энгармонический (Архит А 16). Роды эти отличались между собой положением полутона среди тонов, образующих гамму [2]. Говорилось также и о цветовой гармонии (31 В 23, 4; А 86), а магнитное притяжение трактовалось как притягивание пор магнита к притягиваемым предметам, что приводило уже к общефизическому пониманию гармонии (31 А 89).

Принцип гармонии применяется и в субъективной жизни: у Демокрита (А 167, Маков. 359) счастье не только является, как мы видели выше, симметрией, но также и гармонией.

Наконец, гармония и вообще трактовалась общеэстетически (58 С 4): «Что самое прекрасное? Гармония».

Когда пифагорейцы говорили об объединении предела и беспредельного, они употребляли не просто бесцветный глагол «объединять» или «быть объединенным», но говорили о гармонизации предела и беспредельного (44 В 1), когда они же рассматривали познавательную роль числа, они говорили о том, что это число гармонизует все вещи «с чувственным восприятием» человека (В 11; та же мысль у Парменида, Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита, Эпикура, Гераклита, 28 А 47; в этом смысле специально о процессе зрения — 31 В 84, А 92 и о процессах вкуса и прикосновения — А 86). Когда Эмпедокл говорил о связи своих элементов, то эту связь он тоже понимал как гармоническую сплоченность (В 107, 1; в том же смысле глагол enarmottein — в А 48). Когда умерший Филолай запел из своей могилы какую-то песню, то Эврит прежде всего спросил у услыхавшего эту песню пастуха, в каком музыкальном роде была эта песня (45, 1). Гармонизацию очень свободно понимали и гносеологически (31 А 86), и биологически (В 92; Демокрит А 152, Маков. 217), и этически (58 Д 5 в сопоставлении с prepon («подобающим») или в толковании дружбы

---

[2] Подробно об этом можно прочесть в кн.: «Античная музыкальная эстетика» (вступит. очерк и собрание текстов А. Ф. Лосева). М., 1960, стр. 68—70.

как «гармонического (enarmonion) равенства» (в 58 В 1а), и мифологически (31 В 71), когда все элементы объявляются сгармонизованными Афродитой. То ли в виде существительного, то ли в виде прилагательного или глагола, с приставками или без приставок, этот термин с корнем harm во всех подобных областях весьма интенсивно отражал собою эстетическую структуру действительности, давая представление об ее слаженности, сплоченности и взаимосоответственности.

Таким образом, понятие гармония является одним из самых центральных в классической эстетике и имеет множество разных оттенков: 1) общечисловой и творчески организующий, 2) общебытийственный и, в частности, антиномико-синтетический (как единство противоположностей), 3) космический (в частности, максимально-сомкнутый и взаимопроникнутый в огне Любви), небесный, звездный, подлунный, земной, 4) этический, 5) психический, 6) биологический, 7) арифметический, 8) геометрический, 9) музыкальный, 10) цветовой, 11) общефизический, 12) оформляюще-субъективный, 13) мифологический и 14) общеэстетический.

6. ТО ЖЕ. СИМФОНИЯ

Термин symphonia («согласие», «созвучие») в текстах ранней классики относится исключительно к музыкальной области и не имеет такого обобщенного значения как гармония. Гиппас (12 ср. 13. 14) наблюдал также созвучие при ударе по четырем медным дискам определенных размеров. Кварта, квинта и октава трактовались именно как определенного рода созвучия (58 В 18, ср. 47 А 17, ср. 22 С 1). Красота подобного рода «симфоний» подчеркивается у Архита (А 17). В более общем смысле о числовом соотношении созвучий — 47 А 19а, А 16. Единственный текст о «симфонии» в смысле сочетания определенных букв (58 В 27). Только два текста говорят о более общем значении «симфонии». Как известно, свое единство противоположностей Гераклит (В 10) между прочим называл «симфонией». Имеется единственный текст гносеологического содержания — о «симфонии» слышимых предметов со слухом (47 А 18). Таким образом, термин «симфония» означает в эту раннюю эпоху античной эстетики: 1) музыкальный аккорд, 2) консонанс, 3) единство воспринимаемого предмета с восприятием и 4) единство противоположностей вообще.

7. ТО ЖЕ. ПРОПОРЦИЯ

Наконец, к терминам статически-динамическим, структурным, несомненно, относится знаменитый термин «пропорция» (analogia). То, что это является термином статически-динамическим, видно из того, что он предполагает не только отношение двух данных чисел, но и искание того же самого отношения среди всех других

чисел. Необходимо признать, что простое арифметическое понимание пропорции является как раз наименее интересным. Определенного рода числовые пропорции мы находили и между физическими предметами и между правильными геометрическими телами и между музыкальными тонами. В плане систематического изложения все эти сложные пропорции должны рассматриваться у нас только после категорий физических, геометрических и акустических. Но уже и сейчас мы должны выдвинуть на первый план универсальность этой эстетической категории, охватывающей собою весь космос, всю природу и всего человека, наподобие того, какую универсальность мы находили в античных категориях меры, порядка или гармонии. О физических пропорциях — 31 В 96, о геометрических — 44 А 13, о музыкальных — 47 В 2, об арифметических — 42, 4; 47 А 19 и, наконец, о космических — 58 В 16. О трех основных пропорциях, имеющих значение для античной эстетики — арифметической, геометрической и гармонической, — мы имели случай говорить в другом месте [3].

8. ТО ЖЕ. КАНОН

Канон в анализируемых текстах является не только правилом для мышления (68 В 6; А 33) или для распознавания нравственных поступков (47 В 3), или для аттической речи (88 А 18), но и для построения музыки (56, 2), а главное, и как правило, для создания статуй, когда пропорция имеет специфическое художественное применение. Об этом тоже мы говорили в другом месте [4].

---

[3] А. Ф. Лосев. История античной эстетики. М., 1963, стр. 273—295.
[4] Там же, стр. 304—313.

А. А. Тахо-Годи

СТРУКТУРА ПОЭТИЧЕСКИХ ТРОПОВ В «ИЛИАДЕ» ГОМЕРА

За последнее десятилетие в советской классической филологии несомненно оживился интерес к Гомеру. Появилось несколько специальных книг о Гомере (Н. Л. Сахарного, А. Ф. Лосева, С. П. Маркиша, А. А. Егунова) и отдельных исследований (Б. В. Казанского, А. Ф. Лосева, В. Н. Ярхо, Я. А. Ленцмана, С. Я. Лурье, И. М. Тронского). Были переизданы старые переводы Гомера, а также появились и новые переводы (В. В. Вересаев, П. А. Шуйский). Во всех этих работах затрагиваются самые разнообразные проблемы. Однако область поэтического языка Гомера все еще остается у нас недостаточно представленной, хотя изучение стиля писателя в связи с его эпохой и мировоззрением является в настоящее время одной из важнейших проблем литературоведения. Нам представляется интересным на материале древнегреческого эпоса наметить некоторые его характерные черты, относящиеся к поэтическому языку. Правда, в данной небольшой статье мы вынуждены крайне ограничить рамки нашего исследования. Мы займемся лишь одним из составных моментов стиля Гомера — поэтическим языком, да и то не всем, а только поэтическими тропами «Илиады». Однако даже эта, как будто бы узкая область, дает чрезвычайно богатый материал в отношении стиля Гомера и его общественной значимости.

Мы изучаем именно поэтические, а не мифологические тропы Гомера. Мифологический троп мы отличаем от обыкновенного мифа тем, что в нем дается не просто буквальная объективная реальность образа (когда, например, кони Ахилла говорят человеческим голосом или когда Афина превращается в ласточку и в таком виде наблюдает избиение женихов Одиссеем, сидя на потолочных балках), но когда эта буквальность реализации уже начинает пониматься в переносном смысле и служить поэтическим целям. Мифологический троп, таким образом, есть среднее между мифом в собственном смысле слова и тем поэтическим тропом, где ни о каком буквальном отождествлении образа с предметом уже нет и речи и где соотношения образа предмета и самого предмета зависят от свободной фантазии поэта. То, что мифологический троп, как и миф вообще, предшествует поэтическому тропу, это

ясно само собой и едва ли требует пояснений. Мы только указали бы на то, что мифологическое мышление соответствует тем очень ранним ступеням общинно-родовой формации, когда общинно-родовые отношения, наиболее понятные тогдашнему человеку, целиком и без всяких исключений переносятся на природу и на весь мир. В сравнении с этим поэтический троп мог возникнуть только в периоды известного выделения личности из коллектива родовой общины, когда эта личность уже начинала более или менее самостоятельно мыслить, а под этим лежало и определенное развитие социально-экономической жизни, сделавшее необходимым это выдвижение личной инициативы. Здесь мы не будем входить в анализ соответствующих исторических периодов общественно-родовой формации, предоставляя это делать историкам. Но в истории поэзии эти периоды нащупываются очень ясно.

Нами обследованы в «Илиаде» поэтические тропы в их исчерпывающем количестве, т. е. всего 3593 тропа.

В каждом тропе есть его предметная сторона — то, что требует образного выражения, и образная сторона — то, что служит для объяснения самого предмета. И та и другая стороны слиты воедино и в эстетическом восприятии нераздельны, но с точки зрения научной их необходимо и закономерно разделять, изучая самостоятельно предмет и образ тропа. Вместе с тем только их объединение создает базу для научного понимания цельного поэтического тропа.

Наши наблюдения над поэтическими тропами являются результатом их длительного исследования и могут дать представление о характерных особенностях стиля «Илиады».

Интересно, что предметом поэтических тропов Гомера служит область человеческих отношений. Человек во всей совокупности его деятельности — а не природа, не демоны, не боги и не судьба — стоит в центре интересов Гомера. Это тем более характерно, что в сюжетной ткани поэм Гомера всюду сильна тенденция к демонстрации божественного вмешательства в человеческую жизнь и к почитанию (правда, может быть, скорее внешнему, выраженному в жертвоприношениях и молитвах) человеком богов. Далее, совершенно гармонически уравновешена предметная сторона тропа: психологическая и анатомо-физиологическая жизнь человека, личные и общественные взаимоотношения людей и связь человека с богами и природой. Этот факт свидетельствует о равновесии и гармонии, о пластике, которая с расцветом и укреплением патриархального, а затем и классового рабовладельческого общества стала ведущей в греческом искусстве, по своей природе всегда человеческом и материальном.

Изучение образной стороны тропов у Гомера привело нас к любопытному выводу о превалировании образов, связанных с внешним видом человека, с его трудовой и семейной жизнью. Причем между этими тремя областями также наблюдается полное

равновесие и гармония. Но здесь есть еще такая важная деталь — это широчайшее употребление образов природной, стихийной жизни. Их, правда, как мы увидим ниже, почти вдвое меньше, чем образов из сферы человеческой жизни. И наличие их несомненно указывает на какой-то пережиток древнейших эпох, когда жизнь человека была неотделима от жизни природы и он ощущал себя частью великого космоса, сам жил по законам природного мира. Теперь же, накануне цивилизации, эта некогда страшная и бурная природа потеряла свой стихийный, магический характер, ставши предметом эстетического любования и той художественной сферой, откуда черпаются образы для поэтического осмысления и объяснения человека и его жизни.

То, что является предметом тропа, более всего интересует поэта и более всего нуждается в поэтическом объяснении. У Гомера — это человек, во всей совокупности внешней и внутренней жизни. В качестве же поэтических образов, долженствующих объяснить человека, Гомер привлекает сферу, известную ему с древнейших времен — трудовую деятельность человека, его самого, его физическую жизнь и, наконец, стихийные силы природы, которые были неотделимы от примитивной общинно-родовой жизни древнего человека.

Чем же тогда наполнен сам поэтический троп, в его нераздельной слитности предмета и образа? Каковы характерные принципы употребления тропов у Гомера? Наши наблюдения дают возможность наметить восемь таковых принципов. Однако изучение стиля Гомера с других сторон может соответственно увеличить количество этих принципов.

Первый принцип употребления тропов «Илиады» может быть сформулирован как *эстетическое понимание действительности по типу общинно-родовых отношений.*

В тропах «Илиады» со всей своей яркостью отразилась жизнь человека общинно-родовой формации. Жизнь семьи, рода, общины, племен, объединенных в военный союз, — все это послужило как материалом для гомеровских тропов, так и принципом оценки изображаемой в них действительности.

Можно ли пройти мимо вопроса об общинно-родовой формации, когда мы постоянно встречаемся с тем фактом, что индивидуальный человек характеризуется здесь, в первую очередь, как член семьи и рода, как член общины. Внутренний же мир этого человека еще не может быть вскрыт Гомером, поскольку из общинно-родовой формации человек здесь еще не выделился целиком как индивидуальная личность, как субъект. Военный быт гомеровских героев, послуживший материалом для тропов, свидетельствует о том, что здесь мы имеем не только общину, а так называемую военную демократию. Интересно, что предметная сторона тропов из сферы военной жизни характеризуется ремесленно-трудовыми образами, по которым можно судить о повседневном быте человека

общинно-родовой эпохи. Здесь мы находим охоту, земледелие и скотоводство как наиболее ранние трудовые процессы, знаменующие собой первые виды разделения труда.

Вождь именуется у Гомера пастухом (II, 254, 772; IV, 296, 413; V, 143), а все функции его как военного вождя связаны с функциями пастуха, который печется о своем стаде; в других случаях он бык во главе стада (II, 480), баран во главе стада (XIII, 491—495). Битва у Гомера — веянье на току (V, 499—506), веянье бобов (XIII, 588—592), жатва (XI, 67—71), пахота (XIII, 703, 708), молотьба (XX, 495—499). Сражение — это охота (XXII, 189—193). Смерть героя — ловля рыбы (XVI, 406—410), убой быка (XVIII, 521—4; XIII, 571—575), жертвоприношение быка (XX, 403), срезывание колосьев (XIX, 222). Трудовые процессы, связанные с ремеслом, также рисуют нам в образах гомеровских тропов быт одной из поздних ступеней общины. Борьба за тело Патрокла — вытягивание кожи скорняками (XVII, 389—395), построение войска — постройка дома (XVI, 212—215), круговая пляска молодежи — вращающееся колесо гончара (XVIII, 600—602), сватовство — замешивание теста (IX, 394), битва в равновесии — шнурок, натянутый плотником (XV, 410—415). Ранение героя — окраска слоновой кости (IV, 140—146). Смерть героя — рубка деревьев на постройку корабля (XIII, 389—393; IV, 482—486; XVI, 482—485); и вообще сражаться — значит трудиться (XX, 359), а война есть не что иное, как труд (XIII, 239; XXII, 488).

Уже по этим примерам можно судить о том обществе, которое нашло свое отражение в тропах Гомера. Гомеровские тропы не являются продуктом субъективно-фантастического вымысла поэта.

Во всех этих тропах надо отметить чрезвычайно интересную черту: они носят характер внеличный, надличный. Все они рисуют человека в его определенных связях с семьей, с родом, племенем, его трудовую жизнь в общине, его близость к природе, его интересы, в которых личные соображения в конечном счете всегда подчиняются коллективному идеалу. Этот внеличный характер гомеровских тропов постепенно раскрывается перед нами во всех последующих принципах их употребления.

Второй принцип употребления тропов у Гомера — это *принцип смежности предмета и образа в тропе.*

Этот принцип основан на еще недостаточно развитом мышлении древнего человека, когда мысль его была не в состоянии охватить сразу, как нечто единое, различные области жизни. Ассоциации по смежности, наиболее примитивные и доступные мысли этого древнего человека, создают тропы маловыразительные, бледные, внеличные. Можно сказать, что это соединение в тропе предмета и образа по принципу их смежности вполне соответствует характерному для раннеэпического стиля и мышления так называемому закону хронологической несовместимости, когда человек мыслит

события, происходящие одновременно в разных местах, как последовательные, смежные одно с другим. Таким образом, эпический стиль Гомера раскрывается сразу с нескольких разных сторон, одной из которых является образование тропов по признаку смежности.

Так, если мы возьмем ряд примеров, то воочию убедимся, как бледны и невыразительны тропы, основанные на принципе смежности. Войско Гомер называет народом (I, 54), гнев — желчью (I, 81; IV, 36), море — солью (I, 141; X, 428; XIII, 15) или волнами (X, 574); копье — ясенем (IV, 47; XVI, 143), тело — кожей (IV, 137), хлеб — плодом (VI, 142), день — зарей (VI, 175), совет — площадью (VIII, 489), берег — прибоем (VIII, 501) или песком (XXIII, 693), щит — кожей (VII, 266), броню — медью (XI, 16), копье — медью (XVI, 472), корабль — кормой (VIII, 475), ноги — коленями (X, 358), человека — головой (XVIII, 335), город — стенами (XXIII, 81).

Во всех этих случаях происходит выделение одного признака предмета, который заменяет собою предмет, как если бы контур, схема, символ заменяли бы собою живой образ. Другими словами, здесь перед нами огромная склонность поэта к употреблению метонимий. Здесь поэт, уже отошедший от магически-демонического представления о вещи, еще не может дать ее ярко индивидуально и останавливается на полдороге, обращая свое внимание только на обобщающий признак вещи. Разве могут идти в сравнение эти маловыразительные тропы с теми, которые основаны на привлечении образов человеческой жизни для пояснения предмета из мира природы, т. е. основанные на контрастном соединении компонентов тропа и характерные для более развитого мышления? Наконец, образование тропов по принципу смежности способствует их частой повторяемости, схематизму, элементарности, стандартности.

Отсюда и вытекает наш третий принцип — *принцип стандартизации тропов*, основанный на идее вечного круговорота, вечного повторения и возвращения постоянно подвижных событий в пределах устоявшегося и малоподвижного патриархального общества.

Обилие этих схематических и стандартных тропов, бесконечно повторяющихся в «Илиаде», поражает всякого читателя.

Тело Гомер именует 61 раз кожей, 55 раз гнев называется желчью, 70 раз вместо данного погибшего героя говорится труп, 31 раз река называется потоком, 134 раза оружие носит название материала, из которого оно сделано, море 72 раза определяется как соль. Стрела всегда бывает горькой (I, 51; V, 99, 110, 278; VIII, 323), слово — крылатым (III, 155; IV, 169, 203, 312 и т. д.). Смерть — черная (III, 360, 454; V, 22, 652; VII, 254), разумные мысли — плотные (III, 202, 208; IX, 554; X, 302), гибель — крутая (XI, 174, 441; XII, 345, 358; XVI, 288), войско обычно именуется народом (V, 573, 600, 643; VIII, 67; IX, 22), воин —

копейщиком (V, 706; VI, 97, 449; VII, 281); власть — это скипетр (VI, 159; IX, 98, 156), убить значит снять доспехи (XI, 145, 246, 335, 337, 368) или бросить в пыль (XI, 743; XII, 428), начать войну — разбудить ее (XI, 213; XIII, 54; XV, 567, 602).

Во всех этих тропах чувствуется нечто устойчивое, привычное, раз навсегда данное. Жизнь человека воспринимается здесь сквозь призму всем известных словесных формул, которые скрадывают ее трагический характер и набрасывают на все покров мудрого спокойствия. Без этих застывших, бесконечное число раз повторяющихся тропов немыслим эпический стиль. Они придают ему характер жизни замкнутой в себе, лишенной поступательного движения и основанной на вечном возвращении к своим истокам. Здесь, может быть, сказалась одна из характерных черт патриархального уклада, еще не тронутого рефлексией и сомнениями растущей героической личности, которой в конце концов станут тесными рамки этой вековой устойчивости. Эпос Гомера в достаточной мере изобилует материалами, раскрывающими разные этапы жизни и мироощущения целых поколений. Эпический стандарт в поэтических тропах помогает нам вникнуть в одну из сторон этого далекого прошлого.

Подлинную специфику тропов у Гомера можно вскрыть, перейдя к следующим принципам их употребления в «Илиаде». Здесь мы сталкиваемся с нашим четвертым принципом — *принципом оригинальности тропов*: чем более отдаленные друг от друга ступени общинно-родовой формации объединяются в тропе, тем троп оригинальнее.

Этот принцип оригинальности тропов у Гомера, как сразу можно заметить, является полярным по отношению к принципу стандартизации. Если там вещь определяется изолированно, сама через себя, то в рассматриваемом нами сейчас случае, поэту дается большой простор для создания подлинного поэтического и индивидуального образа.

Всякий раз как Гомер, рисуя море, употребляет для его определения образы из сферы человеческой жизни, мы получаем поэтическую картину моря, ничего не имеющую общего с тусклым стандартом «море — соль». У Гомера — волны, извергая пену, плюются (IV, 426), волны кипят, как котел со свининой (XXI, 362—5), волны ревут, как бык (XXI, 237), горбятся (IV, 426), ворота мычат (XII, 460). Также, когда Гомер говорит о том, что мысли ткутся (VII, 324), что страх бледный (VII, 479), что медное небо трубит (XXI, 388) или что печаль бьет человека (XIX, 125), а копье насыщается его телом (XXI, 168), здесь он дает живые, оригинальные образы. Полет Геры быстр, как мысль человека (XV, 80), погоня Ахилла за Гектором подобна сну, в котором один человек никак не может догнать другого (XXII, 199—201).

Во всех этих примерах тропы созданы из соединения абсолютно различных предметов и образов. Здесь мы находим сочетания,

заимствованные из мира природы и из сферы умственной, аффективной и эмоциональной деятельности человека. В подобном контрасте и состоит вся оригинальность рассматриваемых нами здесь тропов. Ясно при этом, что такие оригинальные тропы не могли быть созданы примитивным художественным сознанием, которое выработало массу гомеровских тропов по принципу смежности.

Пятый принцип образования тропов у Гомера — это *принцип стихийно-природного объяснения предмета*. Этот принцип характерен также для ранних ступеней жизни древнего человека, когда он еще не отделял себя резко от безликой силы природы, когда она во многих отношениях была ему ближе и понятней, чем общественные взаимоотношения. Природа открывалась в это время человеку своими бурными, мрачными, хаотическими и дикими сторонами. Стихийная мощь природы невольно подчиняла себе человека, даже зачастую определяла его жизнь, влияла на нее. Вот почему среди гомеровских тропов мы найдем огромное количество таких, образная сторона которых почерпнута из этого космического стихийного мира, все разрушающего и сметающего на своем пути.

Смерть человека всегда связана в тропах Гомера с охотой на дикого зверя, с поединком двух стихий, с гибелью всего живого. Военные подвиги героя есть не что иное, как бурное проявление стихийных сил природы.

В V, 85—93 рисуется картина неустрашимого нападения Диомеда, который сравнивается с наводненной рекой, разрушающей мосты, плотины, полевые изгороди. Гектор налетает на врагов, как камень, обрушенный с утеса весенними водами: он лежал там целые века, а теперь, сдвинутый с места, летит вниз и сокрушает деревья (XIII, 138—142). Аякс нападает на врагов, как река стремящаяся с гор и все сокрушающая (XI, 492—497). Битва — буря на море, которая обрушивается на корабль: корабль покрывается пеной, паруса срывает дикое дыхание ветра и трепещут бледные корабельщики (XV, 624—628); битва — пожар, хищный огонь, который нападает на лес, огненная буря, которая крушит столетние деревья, вырывая их с корнем (XI, 155—60). Шум и стон бега троянских коней сравнивается со стоном черной земли, отягченной бурями, когда разливаются реки и несутся с диким шумом, падая с гор к пурпурному морю (XVI, 384—393). Смерть героя сравнивается с кровавой гибелью животного. Гипподам, умирая, стонет, как вол, которого тащат к алтарю Посейдона для жертвоприношения (XX, 403—406). Арет умирает, как степной телец, которого ударили в голову секирой. Он падает и бьется в крови (XVII, 520—523). Адамас, которого проткнула пика, бьется, как вол, которого пастухи тащат арканом на убой (XIII, 571—575). Смерть Сарпедона рисуется, как смерть быка, гибнущего с ревом под зубами льва (XVI, 486—489). Погибшего Имбрия уносят Аяксы, как львы уносят дикую

серну, высоко держа ее в кровавых челюстях (XIII, 197—200). Мирмидонцы так нападают на врагов, как волки, растерзавшие оленя:

> . . . Их пасти багровы от крови;
> После подходят к ключу черноводному целою стаей,
> Узкими там языками лакают с поверхности воду,
> Кровью убитого зверя рыгая; в груди их косматой
> Дух вполне безбоязнен, и сильно раздуты утробы.
>
> *(XVI, 159—163. Перев. Вересаева).*

Благородный Гектор, ожидающий в засаде Ахилла, рисуется как горный дракон, который подстерегает путника, наевшись ядовитых трав и «исполненный ярости страшной». Отвратительный змей, извиваясь, оглядывается по сторонам, следит за добычей (XXII, 93—95). Война представляется в виде кровавой звериной пасти, все поглощающей (X, 8; XIX, 313). Герой сравнивается со львом на охоте (V, 134—144; X, 485), с быстрокрылым ястребом, поднявшимся с крутого утеса за робкой птицей (XIII, 62—64), со львом, который сокрушает корову и поглощает кровь и горячие внутренности (XVII, 61—65). Мужественный герой имеет львиное сердце (V, 639).

Все эти тропы построены на привлечении стихийной архаики древних времен. И буйное безумство природы, мощной, грозной, надличной силы придает тропам Гомера, а значит и стилю «Илиады» такой же суровый, трагический характер, не знающий жалости и сострадания к судьбе отдельного человека.

Однако в поэмах Гомера мы находим также отражение и более поздних ступеней общинно-родовой эпохи, когда герои — вожди, стоявшие во главе племен и сам народ уже настолько укрепили свое существование, уже настолько стали сильными и независимыми, что смогли увидеть в окружающем их мире не только буйство природы, но и ее красивую, умиротворенно-спокойную, пластически уравновешенную сторону.

Отсюда рождается шестой принцип образования тропов у Гомера — *принцип умиротворенно-пластического объяснения предмета*. И действительно, внимательно изучивши тропы «Илиады», мы найдем среди них немало таких, которые созданы по этому принципу. Именно они создают впечатление об эпическом стиле Гомера как о стиле, исполненном удивительной пластичности, лишенной всяких внутренних бурь, сомнений, вечно ищущего «я», надличной, нечеловеческой, ясной красоты.

Весь мир представляется в таком случае гомеровскому человеку как место, освещенное солнцем и зарей (V, 267), море окрашено в разные краски: оно то седое в пене прибоя (XV, 191), то винного цвета (V, 771; VII, 88), то фиалковое (XI, 298), то пурпурное в лучах заката (I, 482; XVI, 391), радуга на небе

(XVII, 547) и облака (551) тоже пурпурные. «Волоокая» Гера и «Совоокая» Афина, зачастую рисуемые у Гомера мрачными стихийными красками, вдруг неожиданно рисуются как робкие голубки (V, 778). Поколения людей сменяют друг друга, словно листва на деревьях (VI, 146—148). Даже битва есть не что иное, как танец в честь Ареса (VII, 241) и радость (VII, 285). У Гомера море радуется (XIII, 29), а земля смеется под сиянием солнца (XIX, 363). Даже смерть героя представляется Гомеру трогательной идиллической картиной: юноша поникает головой, как маковый цвет, отягченный вешним дождем (VIII, 306—307). Эвфорб, который перевил свои кудри золотом и серебром, падает на землю, как пала молодая маслина, что некогда цвела белым цветом у родника под нежным дыханием ветра (XVIII, 51—58). Мертвый Гектор словно умыт росой (XXIV, 757). Радость, охватившая человека, сходна с росой, павшей на зеленую ниву (XXXIII, 598 сл.). Даже костры вражеского лагеря кажутся поэту звездами вокруг ясного месяца, освещающими высокие мысы, скалы, долины и приводящими в радость пастуха (VIII, 554—559). Гнев, который всюду у Гомера есть не что иное, как желчь, вдруг неожиданно оказывается слаще меда (XVIII, 109), и сама жизнь, описанная Гомером с самых ужасных сторон, именуется у него медовой (XVII, 17).

Это красочное, радостное умиротворенное восприятие даже самых страшных жизненных явлений говорит нам о некоей гармонии, о некоем равновесии сил, царящих в гомеровском мире, и может быть выражено как седьмой принцип в образовании тропов у Гомера — *принцип равновесия, основанный на спокойном, гармоничном объективно-умиротворенном отношении поэта к миру.*

Действительно, если внимательно изучить все тропы «Илиады» со стороны их предметов и образов, то окажется поразительным почти полное количественное равновесие между предметами тропов, воплотивших в себя внутренний и внешний мир человека, а также его военный быт, его общественные взаимоотношения и связь с природой. Человек во всей совокупности его психофизиологической жизни является предметом 571 тропа, военный быт человека представлен в 529 предметах тропа, его общественные отношения в 538 предметах, а природа в 525. Если проследить эту равноценность внимания поэта к предметной стороне тропов еще детальнее, уже в пределах данных областей, то окажется что общебиологическая жизнь человека занимает 242 места, анатомо-физиологическая жизнь — 273, его психология — 292.

Социальная область жизни человека и его отношение к природе и вселенной также основаны на равновесии и гармонии. В качестве предмета гомеровских тропов личные и трудовые взаимоотношения людей упоминаются 246 раз, родо-племенные отношения — 292 раза, деятельность человека в связи с военным бытом общины — 236 раз, его этические, эстетические и религиоз-

ные воззрения — 257 раз, отношение человека к природе — 295 раз и ко вселенной в целом 230 раз.

Из этого удивительного факта можно делать весьма разнообразные выводы и объяснять этот факт можно по-разному. Однако сам по себе этот факт не может не обращать на себя серьезного исследовательского внимания. Необходимо признать, что Гомер совершенно одинаково заинтересован и анатомо-физиологическим человеком и социальной жизнью человека; для него, очевидно, это совершенно равноценная область в смысле его художественного мышления; и нигде не видно в анализе предметной стороны его поэтических тропов, чтобы он отдавал предпочтение той или другой из этих областей. Точно так же разве не является замечательным фактом то, что этот биологический человек и этот социальный человек интересует его равно в той же самой мере, что и явления природы, окружающей такого человека. Еще можно объяснить более или менее случайностью, что военных предметов у него столько же, сколько и других из указываемых нами здесь видов тропов (это можно объяснить, например, просто самим сюжетом «Илиады»); но никакая военная сюжетность не может нам объяснить равенства и одноценности таких областей, как, например, человек биологический и человек социальный, или таких областей, как социальный человек и явления природы. Ничто не может ослабить того удивительного факта, что гомеровское художественное мышление, по крайней мере в отношении указанных предметов поэтических тропов, обладает чертами замечательной гармонии, равновесия и совершенно одинакового внимания к человеку внутреннему и внешнему, или к гражданским и племенным связям, или к человеку в его личных и трудовых связях, или к стихийно-подвижным явлениям природы и к явлениям неподвижным или устойчивым; или к человеку в его внутренних и внешних качествах, с одной стороны, и к оценочным и религиозным взглядам, с другой.

Образной стороне гомеровских тропов тоже присущ этот спокойный, одинаково на всем останавливающийся взгляд поэта. Образов из внешне-человеческой жизни (725) столько же, сколько образов из семейной и ремесленно-трудовой области (728). У Гомера также вполне одинаково направляется внимание на образы из области устойчивых, неподвижных явлений природы, с одной стороны (439) и стихийных сил природы, с другой стороны (419). И в этом факте, как и в остальных, мы узнаем типично-эпическую уравновешенность художественного внимания Гомера, которая является отражением доличного и внеличного первобытно-стихийного бытия, свидетельствует об отсутствии всяких личных предпочтений и субъективизма и которая с одинаковой любознательностью, с одинаковым наивным любопытством рассматривает в жизни и в мире все, что только не попадается на глаза. Здесь все в мире одинаково важно — и стихийное и нестихийное,

и подвижное и неподвижное — все одинаково любопытно и все одинаково заставляет широко раскрывать наивные и почти еще детские глаза.

Может быть, все очарование гомеровского эпоса в том и заключается, что здесь мы имеем, с одной стороны, изображение очень развитой человеческой индивидуальности со всей ее жаждой жизни и подвига, с ее страстным влечением к силе, мощи, богатству, роскоши, со всеми ее капризами и неустойчивостью, а, с другой стороны, этот изображаемый здесь герой эпохи конца общинно-родовой формации все еще отличается старинным эпическим равновесием, старинной наивностью в одинаковой оценке всех сторон жизни и бытия, с какими-то все еще нетронутыми и неразложившимися чувствами жизни, далекими от психологизма и от субъективистической утонченности. Несмотря на огромное обострение чувства жизни и несмотря на появление свободной индивидуальности, выступающей вразрез с общинно-родовым коллективизмом, здесь все еще в глубине сохраняется какая-то нетронутость и наивность, какое-то детское любопытство решительно ко всему, что совершается в жизни, некая безусловная отрешенность от всякой индивидуалистической изоляции и изломанности.

Гомер относится к тем очень трудным для исследования эпохам человеческой истории, которые не укладываются в строго размеренные рамки общепринятых периодов и которые потому сбивают с толку самых крупных ученых и вносят путаницу в самые глубокие и основательные исследования. Дело в том, что Гомер — это именно *переходная эпоха*, которую нельзя характеризовать только чертами общинно-родовой формации или только чертами греческой цивилизации и рабовладельческого строя. Гомер принадлежит и к тому и к другому; и потому можно сказать, что он целиком не принадлежит ни тому, ни другому. Самое главное, однако, что Гомер в то же самое время — нечто чрезвычайно определенное, чрезвычайно специфичное. В нем нет никакой противоречивости, художественной путаницы и сумбура. Он есть не только нечто определенное, но даже нечто простое, даже элементарное; не уловивши этой гомеровской простоты, этой его четкой художественной индивидуальности, невозможно приблизиться к пониманию его тропов. А тем не менее приписать эту простоту какой-нибудь определенной эпохе из тех основных, которые нам известны в истории древнего мира, чрезвычайно трудно. Этим и вызван наш восьмой принцип гомеровских тропов — *принцип равновесия архаизации и модернизации*.

Общинно-родовая формация есть первобытный стихийный коллективизм. Формация классовая, рабовладельческая, пришедшая ей на смену, предполагает освобождение индивидуума и создание уже совсем иного коллектива, а именно не родового, а основанного на единстве интересов свободных индивидуумов. Вот это совмещение надличной простоты, наивности, антипсихологизма,

с одной стороны, и, с другой стороны, чрезвычайно развитого и усложненного личного самочувствия, доходящего до капризов индивидуальности и развитого, прямо-таки тонкого эстетического сознания — вот это совмещение и поражает нас при изучении тропов Гомера. Оно наблюдается в самых разнообразных особенностях построения тропов, из которых мы укажем только главнейшие.

Гомер в своих тропах отражает решительно все ступени общинно-родовой формации. Как это возможно? Это возможно только потому, что ни на одной из этих ступеней общинно-родовой формации он уже, в конечном счете, не находится. Совершенно невозможно указать, какое же место и какую ступень он занимает за пределами этой формации. Он уже вышел за пределы общинно-родовой формации, но в то же самое время он все еще находится в ней самой, подвергая ее своему эстетическому анализу, своей критике, своему любованию, своему художественному мышлению.

Гомер в своих тропах, как показывает подробное исследование, совершенно одинаково и вполне уравновешенно рефлектирует над всеми областями окружающей его действительности. И внутренний и внешний мир человека, вся область природы, вся область общественных отношений интересует его в совершенно одинаковой степени и является равноценным предметом для любознательности. Точь-в-точь как и полагалось бы делать тому наивному эпическому поэту, которому неизвестны нервозы и капризы субъективизма. Но можно ли остановиться на этом, и есть ли это настоящий Гомер? Конечно, нет. Та личность, которая творит подобно Гомеру, есть чрезвычайно развитая, углубленная и изощренная личность. Гомер в своих тропах меньше всего доволен окружающей действительностью, меньше всего доволен своими богами, меньше всего спокоен и невозмутим. Его тянет от современности к старине, и он любит экзотику. Он вполне определенно реставрирует и эстетизирует архаику. Он критикует богов и смеется над ними; и Гераклит напрасно хотел его выпороть розгами, потому что он уже и сам достаточно выпорол самого себя. Можно сказать, что, взойдя на тот хребет, который отделяет общинно-родовую эпоху от цивилизации, он обнял это прошлое одним взглядом и понял его доцивилизаторскую сущность, но не пошел дальше и не стал представителем рабовладельческой цивилизации.

Гомер давно уже преодолел чистую и абсолютную мифологию и превратил ее в поэзию как в творчество свободной художественной индивидуальности. Но можно ли сказать, что это есть просто субъективистическая фантазия эпохи цивилизации? Ни в коем случае. Он выдумывает самые разнообразные сюжеты о богах и героях, которые не знала старая мифологическая традиция; и он реформирует старые мифы так, как только захочется его художественной фантазии. Но всякий скажет, что поэзия Гомера

производит впечатление свежего и наивного творчества, вполне убежденного в реализме своих построений, не знающего и не подозревающего никаких изломов и надрывов индивидуализма и субъективизма. Тропы Гомера ни в каком случае не миф; но они мыслятся так наивно, так непосредственно, так реалистично, так объективно, как это могла делать только старая, вполне нетронутая первобытная мифология.

Можно сколько угодно спорить о том, имеется ли у Гомера религия в настоящем смысле слова или здесь пародия и сатира на религию. Но споры эти не могут привести ни к чему, если мы не уловим того пункта равновесия архаизации и модернизации, о котором гласит наш восьмой принцип. Можно убедиться с цифрами в руках, что божественный мир в тропах Гомера почти не играет никакой роли. С другой стороны, однако, было бы совершенно антиисторично вычеркнуть религию целиком из эстетики Гомера. Достаточно указать хотя бы на такие его постоянные эпитеты, как «божественный» и «священный». Гомер в своих тропах, можно сказать, совсем не фиксирует божественного бытия, как такового, но то бытие, о котором трактуют его тропы, настолько полно и насыщенно, настолько мощно и красиво и настолько роскошно, что не будет большой ошибкой, а наоборот, будет настоящей истиной сказать, что все это сплошь только одна религиозно-мифологическая действительность и это именно есть переход от общинно-родовой эпохи к рабовладельческой цивилизации, когда антропоморфные боги уже критикуются и божественно-демоническая мифология готова перейти в натурфилософию, но еще самой натурфилософии пока еще нет, а есть только роскошь и богатство бытия, постепенно получающего самостоятельное внебожественное значение.

Поражает в тропах Гомера также и совмещение необычайной роскоши и необычайной простоты, роскоши, доходящей тут до упоения, до экзотики, до эстетического увлечения всякой архаикой и просто стариной. Однако все развитые тропы, которые мы находим в сравнениях, настолько просты и наивны, настолько пластичны и наглядны, что производят впечатление детских картинок и даже детских игрушек. Тут архаизирующий эстетизм, но ровно нет никакого эстетства. Здесь чувствуется самый последний продукт общинно-родового развития личности, но совершенно нет никакого формализма и натурализма. Прочитайте любое большое сравнение у Гомера, и вы не назовете это ни архаизмом, ни формализмом или натурализмом. И тем не менее, тут у Гомера действовала архаистическая тенденция, и он здесь несомненно давал большое количество всяких натуралистических деталей.

Все это, однако, и таких особенностей построения гомеровских тропов еще можно было бы назвать очень много, вырастает на весьма специфической и строго определенной социальной почве, именно на почве той пограничной области, которая лежит между

доклассовой общинно-родовой и классовой рабовладельческой формациями. Не уловивши этого момента равновесия между обеими формациями, мы не можем рассчитывать на понимание существа гомеровских тропов.

Рассмотренный здесь нами восьмой принцип употребления тропов в «Илиаде», как мы теперь видим, является существенным уточнением того общего социально-исторического принципа, о котором мы говорили вначале.

Нам остается сказать о тех проблемах гомеровских тропов, которые еще предстоит исследовать и которые мы сознательно исключили из плана своей работы из-за невозможности охватить их одному исследователю.

В нашей работе мы подвергли исследованию только *смысловое* содержание гомеровских тропов с его социально-историческим обоснованием. Все прочие проблемы гомеровских тропов были у нас исключены, и наше исследование является только началом изучения гомеровского мышления тропами, если это мышление брать во всей широте и глубине. А здесь прежде всего необходимо провести исчерпывающее *историческое* исследование. Отдельные этапы развития мышления тропами должны быть изучены самостоятельно.

Точно так же, во-вторых, мы совершенно не касались вопроса о тех тропах, которые можно назвать неполноценными, значение их для общей науки о гомеровских тропах, конечно, не может быть очень большим и решающим; но без учета этих неполноценных тропов мы теряем необходимый эстетический фон и для тропов полноценных, и наши полноценные тропы все же оказываются какой-то изолированной областью, в то время как троп находится в постоянном становлении и между тропом и нетропом залегает бесконечное количество разных, едва заметных, промежуточных звеньев. Изучение всех этих исторических ступеней развития, расцвета и потускнения тропов, как это отразилось у Гомера, только и сможет привести нас к окончательной оценке того, что мы называем полноценными тропами. Без этого наше исследование тропов, как и всякое другое исследование этого предмета, будет еще в течение многих лет оставаться по необходимости неполным и неокончательным.

Далее следует целый ряд проблем *теоретического* характера. Конечно, в своем исследовании мы не могли затрагивать проблем формы или композиции тех образов, которые положены в основу гомеровских тропов; но после того как уже установлены основные принципы мышления тропами у Гомера, ничто не мешает подвергнуть эти тропы формальному анализу. Мы уже столкнулись, например, с тем, что для гомеровских тропов является весьма существенным пластическое изображение беспорядочно стихийных процессов. Однако изучать *композицию образов*, функционирующих в гомеровских тропах, пока не входило в наши задачи.

Точно так же мы почти не касались вопросов внутренней *интонации* образов, лежащих в основе гомеровских тропов, без изучения которой самое глубокое исследование тропов Гомера всегда будет недостаточным и неполным. Когда Гера называет Афину «песьей мухой» (XXI, 421), а Артемиду «бесстыжей сукой» (XXI, 481) и когда гомеровские цари называют друг друга «собачьими мордами» (I, 159), то в этих тропах содержится весьма выразительная интонация, без вскрытия которой эти тропы теряют весь свой смысл и всю свою художественную зарядку.

К этой же группе теоретических проблем относится еще и проблема многосоставного тропа, с которой мы часто встречаемся при чтении Гомера. Дело в том, что многие тропы заключают в себе два, три и даже четыре образа.

Наконец, к вопросам теоретико-литературным также должно относиться и *распределение разных видов тропов по отдельным песням* обеих поэм, например: кривые распределения стандартных тропов, неполноценных, тропов пластических, оригинальных тропов, точно так же графики по песням многочисленных явлений архаизации, модернизации и т. д., и т. д. — все это должно открыть совершенно небывалые горизонты для всякого изучающего тропы Гомера. И тут даже трудно себе представить, какие только обобщения можно будет получить при таком изучении тропов по отдельным песням. Равным образом, можно очень много ожидать и от изучения тропов применительно к отдельным героям поэм или к отдельным событиям, в них изображаемым.

Наконец, *анализ гомеровских тропов должен быть увязан и с непосредственным сюжетом обеих поэм*. Многие констатировали заметные расхождения между употреблением тропов и непосредственным содержанием «Илиады». Вопрос этот, однако, очень сложный, и наши наблюдения имели здесь более или менее случайный и несистематический характер. А между тем, если «Илиада» и «Одиссея» — действительно цельные, живые художественные произведения, то в них должна быть и какая-то художественная цельность в употреблении тропов и построении сюжета. Или, в случае действительного расхождения между построением тропов и сюжетом, это расхождение должно быть по достоинству оценено и художественно и социально-исторически. Ясно только то, что без увязки построения тропов с построением сюжета, анализ тропов опять-таки остается однобоким и не может претендовать на художественную и социально-историческую полноту.

Таковы те нерешенные проблемы вопроса о гомеровских тропах, которые не входили в нашу работу и которые потребуют еще длинного ряда исследований и многолетних усилий со стороны большого числа филологов-гомероведов.

Н. В. Шебалин

О «ГОМЕРОВСКОЙ» ФОРМУЛЕ В АРХАИЧЕСКИХ ГРЕЧЕСКИХ ЭПИТАФИЯХ

Литературная эпиграмма эпохи эллинизма — одно из высших достижений древнегреческой лирики. Этот самый скромный из поэтических жанров связан с именами великого множества греческих поэтов. Поэтому несомненный интерес представляет изучение истоков этого вида поэзии, уходящих в глубокую древность.

Нашу небольшую работу мы посвящаем разбору некоторых прозаических и поэтических формул древнейших эпиграмм-надписей, а именно эпитафий и посвящений, которыми, в сущности, и ограничивается тематика ранней эпиграммы. Не случайным, кстати сказать, является и тот факт, что большинство литературных эпиграмм, дошедших до нас в «Палатинской антологии», — это посвятительные эпиграммы и эпитафии. Особое внимание мы обратим на формулу, которую условно назовем «гомеровской».

В своем великолепном по полноте собрании метрических лапидарных эпитафий В. Пеек, располагая надписи по типам формул и одновременно в хронологическом порядке, выделяет большую группу древнейших надгробных надписей VI—V вв. до н. э., составленных по схеме: μνῆμα (σῆμα) τόδ' ἐστὶν (εἰμὶ) τοῦ δεῖνος [1], противопоставляя эту группу другой, современной ей, составленной по формуле посвящения: μνῆμα (σῆμα) τόδ' ἔστησεν ὁ δεῖνα τῶι δεῖνι (ἐμοί) [2].

Однако первая схема, при более внимательном рассмотрении эпиграмм, распадается на две особые формулы, выделить которые не составляет большого труда.

С древнейших времен в Греции широко бытует прозаическая короткая формула надписи, чаще всего встречающаяся на надгробных стелах и сосудах (как и вообще — на любом предмете), от лица самого предмета заявляющая: «Я принадлежу такому-то (имярек)», τοῦ δεῖνος εἰμί.

Древнегреческие вазы дают нам древнейшие образцы этой формулы, бытовавшей по крайней мере уже в VIII в. до н. э.: например, граффито на родосском сосуде VIII в. — Qοραϙο ἠμι

---

[1] W. Peek. Griechische Vers-Inschriften, B. I, Grab-Epigramme. Berlin, 1955, № 52—110.

[2] Там же, №№ 137—221.

φολιχς[3], или надпись на аттическом скифосе 650 г. — Θαριο ειμι ποτἔριον[4], или на сосуде из Смирны VII в. — Δολιωνος εμι φολαχνη[5], и многие другие. Чаще эта формула имеет более простой вид: τοῦ δεῖνος εἰμί, без указания названия самого предмета[6]. Встречается она и на монетах[7]. В VI—V вв. эта коротенькая прозаическая формула становится основой для более пространных метрических надписей на вазах. Большинство таких надписей с нее и начинается: на первом месте имя владельца в родительном падеже, на втором — глагол εἰμί, а за этой базисной формулой следует остальной текст, например: Γοργίνιός εἰμι ὁ κότυλος καλὸς καλῶ[8]. Наиболее ранние эпитафии, построенные по этой схеме, восходят к VII в. Древнейшая, по-видимому, аттическая стела архаического типа сохранила эпитафию [Φι]λίνō μνε̄μα εἰμί, датируемую по крайней мере рубежом VII и VI вв.[9] В VI в. формула эта уже широко представлена надгробиями во всех районах Греции[10].

Можно с большой уверенностью сказать, что именно эта скромная прозаическая формула впоследствии, к началу VI в. до н. э. (более ранних стихотворных эпитафий мы не имеем), легла в основу метрических эпитафий, составленных по той же схеме, где сама стела говорит о своей принадлежности такому-то умершему. С особенной яркостью эта формула выступает как раз в древнейшей стихотворной эпитафии с Фасоса, датируемой концом VII в.[11], первая строка которой составлена следующим образом: Γλαύϙο εἰμὶ μνῆμα τō Λεπτίνεω. Первые три элемента составляют обычную прозаическую формулу, причем расположены в обычном для нее порядке, а отчество Главка отнесено в конец строки.

Прозаических параллелей много, хотя бы эпитафия с острова Аморгос (середина VI в.): Δημαινετης εμι μνημα της Λαμπσαγορεο[12].

Подобным же образом прозаическая, простая формула древнейших посвятительных надписей ὁ δεῖνα ἀνέθηκε τῶι δεῖνι легла

---

[3] L. H. Jeffery. The local Scripts of Archaic Greece. Oxford, 1961, p. 356, № 1.

[4] T. L. Shear. «Hesperia», 5 (1936), p. 33—34.

[5] A. G. Woodhead. The study of Greek Inscriptions. Cambridge, 1959, p. 17.

[6] См. надписи VII—VI вв.: «Bulletin de la Société Archeologique du Limousin, 1955, p. 67, fig. 1; L. H. Jeffery. Указ. соч., стр. 240, № 11; стр. 323, № 9; стр. 356, №№ 8, 17, 18, 19; стр. 357, № 21 и т. д. (мы выделяем только древнейшие надписи).

[7] L. H. Jeffery. Указ. соч., стр. 363; Галикарнасс: Φαενος εμι σημα (тут σῆμα — клеймо).

[8] См.: P. Friedländer. «Epigrammata», 1948, № 177; ср. там же, № 177, 177c, f, g, m.

[9] G. M. A. Richter. The archaic gravestones of Attica, ed. 2. London, 1961, p. 155, № 1.

[10] См. L. H. Jeffery. Указ. соч., стр. 88, № 13; стр. 99, № 7; стр. 131, № 23; стр. 276, № 26; стр. 304, № 17; стр. 316, № 29 и т. д.

[11] W. Peek. Указ. соч., стр. 677, № 51a.

[12] L. H. Jeffery. Указ. соч., стр. 304, № 17.

в основу метрических посвящений, что убедительно доказано на афинском материалеРаубичеком [13]. И точно таким же образом на первых порах метрическое посвящение робко придерживается прозаической формулы, оставляя ее в том же самом виде, не ломая ее введением новых элементов, а располагая их, по мере возможности, на втором месте.

Вернемся к первой группе стихотворных эпитафий, выделенной Пееком. Если выбрать из этой довольно большой группы надписей те, которые составлены по вышеупомянутой формуле (от лица стелы), сразу бросается в глаза их небольшое количество: едва ли наберется 6—7 образцов [14]. По-видимому, эта формула с трудом укладывалась в гексаметрический размер (3 эпитафии из этого числа: №№ 65, 66 и 51а написаны ямбическим размером), а еще легче предположить, что ее вытеснила другая, чисто поэтическая формула эпитафий, о которой речь пойдет ниже.

Отметим еще несколько особенностей этой небольшой группы метрических надписей. В двух из них (№№ 66 и 67) слово, обозначающее самый предмет (т. е. надгробие), вовсе отсутствует, что сближает их с простейшей прозаической эпитафией этого типа τοῦ δεῖνος εἰμί, которая, должно быть, и является изначальной; в двух случаях мы встречаем слово μνῆμα (№№ 69, 51а), в одном случае σῆμα (№ 76), № 65 в этом месте испорчен, но здесь стояло либо [μνῆ]μα, либо [σῆ]μα; и, наконец, эпитафия № 52 дает слово στάλα. Очевидно, название надгробия в этой формуле не обладает устойчивостью; то же видим и в прозаических надписях этого типа, которые дают два варианта: либо μνῆμα, либо στήλη [15]. Σῆμα в этой формуле употреблялось, может быть, реже чем вышеупомянутые названия. Следовательно, общая схема для этой небольшой группы эпитафий приблизительно такова: имя владельца в родительном падеже, глагол εἰμί и названия предмета: τοῦ δεῖνος εἰμί для двух эпитафий и τοῦ δεῖνος εἰμὶ μνῆμα (στήλη, σῆμα) для прочих. Указательного элемента τόδε в этих надписях нет.

Что же представляют собой прочие эпитафии, помещенные Пееком в ту же первую группу? Их в группе подавляющее большинство [16]. Самые ранние датируются рубежом VII и VI вв., может быть началом VI в. Более ранних метрических эпитафий в нашем распоряжении пока не имеется. Одна из древнейших надписей этой группы — Peek, № 53, из Коринфа: ΔϜενία τόδε [σᾶμα], τὸν ὄλεσε πόντος ἀναι[δές]. Весьма легко выделяется костяк этой

---

[13] См.: Raubitschek. Dedications from the Athenian akropolis. Cambridge, 1949, p. 424.

[14] W. Peek. Указ. соч., №№ 52, 65, 66, 67, 69, 76, 51а (№ 76 — заимствован из А. Р., VII, 509).

[15] См.: IG I², 1001; [στελ]ε ειμι [θανο]ντος [Ἀριστ]ομαχο.

[16] W. Peek. Указ. соч., №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79 (мы отобрали только бесспорные надписи VI—V вв., откинув также сохранившиеся неполностью).

эпиграммы, ее формула: ΔϜενία τόδε σᾶμα, к которой добавлена вторая половина гексаметра. На первом месте имя умершего в родительном падеже, на втором — указательное местоимение τόδε, на третьем — название самого предмета. Точно так же, как и в первой формуле, τοῦ δεῖνος εἰμὶ μνῆμα, объектом надписи является сам предмет, на котором она начертана.

Все прочие пятнадцать эпитафий строятся по такой же схеме, в каждой из них наличествуют все три элемента данной формулы. Семь эпитафий этой группы состоят из одной гексаметрической строки, и как раз они в подавляющем большинстве — наиболее древние (№№ 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62). Остальные длиннее: эпиграмма № 58 содержит полторы строки (второй гексаметр не закончен); эпиграмма № 73 состоит из трех прекрасных гексаметров и относится к самому началу VI в.; из двух гексаметров сложен № 71, тоже VI в. до н. э.; а №№ 70, 77, 78, 79 состоят каждый из одного элегического дистиха, и время их приближается уже к V в. до н. э. Следовательно, гексаметр можно считать древнейшим метрическим размером этой группы.

По типу № 53 строятся семь других эпитафий, следовательно, восемь из шестнадцати: начинаются все они с общей формулы τοῦ δεῖνος τόδε σῆμα, а все прочее добавляется к ней (№№ 54, 55, 58, 70, 75, 77, 78). Эта формула легко выделяется из них в чистом виде. Некоторые даже строятся следующим образом: сначала наша формула, после которой можно поставить точку, а затем совсем новое предложение (см. № 58 — Γνάθōνος τόδε σε̄μα· θέτο δ' αὐτόν ..., или № 78 — 'Ανθεμίδος τόδε σῆμα · κύκλωι στεφανοῦσιν...

В других эпитафиях эта последовательность трех непременных членов формулы может нарушаться по чисто метрическим или иным соображениям (например, № 73 — σᾶμα τόδε 'Αρνιάδα· χαροπὸς τόνδ' ὄλεσεν "Αρε̄ς...). Но лучшим доказательством того, что изначальный порядок членов в этой формуле именно таков, каким мы его предполагаем, являются несколько достаточно древних эпитафий, построенных по этой формуле в чистом виде, т. е. представляющих собой половину гексаметра. П. Фридлендер совершенно заслуженно помещает их в своем сборнике стихотворных надписей[17], отмечая только их неполноту. Надписи таковы: 'Εγδήλου τόδε σᾶμα; Δρωπίδου τόδε σᾶμα; к ним, может быть, следует добавить рекомендуемую эпитафию VII в. до н. э. (одну из самых древних вообще и древнейшую этого типа) из Ахайи: Δαμοχαδεος τ[οδε σαμα][18], и, наконец, эпитафию, сообщаемую Аристотелем, из Элевсина,

---

[17] P. Friedländer. Указ. соч., стр. 146 (раздел III: Incomplete or irregular dactylic schemes, №№ 163a, b).

[18] A. Wilhelm. Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde. 1909, p. 121 f., fig. 69.

тоже, по-видимому, достаточно древнюю: Δηιόπης τόδε σῆμα[19].

Эту формулу отличает еще одна особенность: третьим ее компонентом постоянно является название σῆμα; только в одной эпиграмме (Peek, № 57, конец VI в.) вместо σῆμα мы видим μνῆμα: μνε̃μα τόδ' Αἰνέο σοφίας, ἰατρõ ἀρίστο, но тут заметен отход от традиционной формулы в сторону более высокого стиля: μνε̃μα τόδε σοφίας... («это памятник мудрости Энея...»), где μνε̃μα — «памятник», «напоминание» более уместно, чем простое σῆμα — «знак», «надгробие», «могила».

Кроме того, в отличие от формул «τοῦ δεῖνος εἰμί (μνῆμα, στήλη)», и «ὁ δεῖνα ἀνέθηκε (ἐπέθηκε) τῶι δεῖνι», по которым составляются и прозаические и стихотворные эпитафии и посвящения, в отличие также от чисто прозаических формул с именем умершего в именительном или родительном падеже, формула τοῦ δεῖνος τόδε σῆμα встречается только в метрических, а в чистом виде (т. е. без перестановок) только в гексаметрических эпиграммах. Нет ни одной надписи, составленной в прозе на базе этой формулы: встречаются близкие по построению прозаические эпитафии (их немного), однако в них отсутствует главный элемент, указательное местоимение τόδε, вместо чего стоит просто артикль τό, а иногда и того нет; вот примеры, которые нам удалось собрать (все VI—V вв. до н. э.): ΠασιδαϜο το σαμα[20]; Βυλο το σεμα τοὐτελιονιδο[21]; [- - -]ολλυο σαμα; μναμα Χιõνος[22]. Да и σᾶμα здесь элемент не слишком постоянный. Наконец, следует заметить, что формулы τοῦ δεῖνος εἰμὶ μνῆμα и ὁ δεῖνα 'ανέθηκε τῶι δεῖνι употребляются как в эпитафиях, так и в посвятительных эпиграммах, а формула τοῦ δεῖνος τόδε σῆμα встречается только в эпитафиях.

Все это ставит последнюю формулу в особое положение. Это единственная формула, не восходящая к прозаическому источнику. Ведь думать, что она восходит к формуле типа ΠασιδαϜο το σαμα навряд ли представляется возможным. На втором месте в нашей формуле стоит указательное местоимение τόδε, которое является самым дейктическим из всех указательных местоимений, и, что еще важнее, указательным местоимением первого лица. Это последнее свойство проявляется в двух аспектах: когда человек говорит о себе самом, указывая на себя — ἡμεῖς οἵδε («Илиада», I, 76), или когда человек, указывая на посторонний предмет, обращает на него внимание собеседника (так, в «Илиаде» [23] Приам, указывая Елене со стены то на одного, то на другого из ахейских вождей, спрашивает ее: «ὅς τις ὅδ' ἐστίν», т. е. «кто

---

[19] См.: Th. Preger. Inscriptiones Graecae Metricae. Lipsiae, 1891, № 17.

[20] L. H. Jeffery. Указ. соч., стр. 278, № 49.

[21] D. M. Robinson. «Hesperia», 17 (1948), 141 f., n. 1, pl. 35, 1—2.

[22] L. H. Jeffery. Указ. соч., стр. 229, № 10; стр. 103, № 3.

[23] «Илиада», III, 166—167, 178; 192, 200; 226, 229.

тот, на которого *я* указываю?» — а Елена отвечает ему каждый раз: «οὗτος» — «такой-то», т. е. «тот, на кого *ты* указываешь, такой-то», употребляя при этом местоимение второго лица [24]. Что же сказать об этом самом дейктическом местоимении, когда мы встречаем его в нашей формуле? Можно было бы думать, что и эта формула мыслилась произносимой от лица самого надгробия. Но этой цели служила иная, упомянутая выше формула, причем практического смешения этих двух формул, вернее элементов τόδε и εἰμί (или ἐγώ) мы в надписях не имеем; напротив, в № 74 к формуле τοῦ δεῖνος τόδε σῆμα присоединяется элемент 3 лица ἐστί, а в V в. он уже широко употребляется в сочетании с этой формулой. Только в одной ранней эпитафии VI—V вв. (Peek, № 64): σε͂μα τόδ' εἰμὶ Κρίτο Τε͂λέφο 'Αφι[δναίο] мы встречаем оба элемента, τόδε и εἰμί, рядом. Однако переиздавшая по оригиналу эту надпись Джефферн [25] обнаружила, что резчик начал писать слово ἐστί (традиционное), а потом выправил это неожиданно на εἰμί. Издательница справедливо замечает, что, по-видимому, резчик спутал две формулы. Однако знаменателен самый факт исправления: традиция традицией, а в данном случае резчик мог почувствовать некоторую несуразность этой формулы и поспешил придать указательному местоимению первого лица τόδε достойную окраску.

С другой стороны, трудно предположить, что эпитафия, построенная на этой формуле, мыслилась произносимой как бы самим читателем, указующим на эту стелу (хотя на самом раннем этапе может быть так и было). Следовательно, тут есть какая-то несогласованность.

Могла ли такая формула возникнуть самостоятельно, сама по себе? Думается, нет. Кроме того, еще раз хочется подчеркнуть, что это единственная из всех формул, которая, в сущности, не допускала никаких вариаций (что мы видим по крайней мере на наиболее ранних примерах), и что третьим элементом ее является именно σῆμα, а не μνῆμα. Следовательно, можно с большой долей вероятности предположить, что такая формула должна иметь какой-то литературный источник, источник поэтический, написанный гексаметром. Таким источником могут быть только поэмы Гомера.

Эпиграфисты уже давно обратили внимание на то, что в древнейших эпитафиях часто встречаются гомеровские выражения, словосочетания и т. д. [26] С наибольшей полнотой это показано

---

[24] См.: Ed. Schwyzer. Griechische Grammatik, B. II. München, 1950, p. 208—209.

[25] L. H. Jeffery. The inscribed gravestones of archaic Attica. — «The Annual of the British School at Athens», 57 [1962], № 36.

[26] См., например: Ad. Menk. De Anthologiae Palatinae epigrammatis sepulcralibus. Diss. Marburgi, p. 18; G. Kaibel. Epigrammata graeca e lapidibus conlecta. Berlin, 1878, S. 694.

Фридлендером [27]. Почти к каждой древнейшей метрической эпитафии можно подобрать целый ряд параллелей из гомеровского эпоса, будь то отдельные слова, выражения, сочетания слов или синтаксические построения фраз. В общем ранняя стихотворная эпиграмма пишется языком Гомера (да и не только ранняя), а в целом ряде случаев надпись буквально составлена из разных гомеровских выражений. К тому же и форма древнейших стихотворных эпитафий — гексаметр.

Это не удивительно, если вспомнить, что первые элегики Каллин и Тиртей писали языком героического гомеровского эпоса [28], варьируя гомеровские темы. Можно думать, исходя из вышеизложенного, что уже в VII в., по крайней мере, не только ионийцы, но и население большинства районов Греции было хорошо знакомо с поэмами Гомера. Раз спартанец Тиртей сочинял свои воинственные элегии для спартанцев, которые должны были не только слушать, но и петь на ионийском диалекте Гомера, то это значит, что спартанцы не только понимали, но и знали и любили этот эпос, а многие могли знать его и наизусть. Коль скоро ольвиополиты в I в. н. э., в эпоху развитой письменности, почти все знали «Илиаду» наизусть [29], то греки VII—V вв. до н. э., в эпоху чисто устной передачи поэзии, умели запоминать поэтические произведения с еще большей легкостью. Гомеровский язык и героический дух эпоса также весьма устраивал греков, героизировавших своих умерших предков и стремившихся сравнять их с героями эпических поэм в своих эпитафиях [30].

Остается найти у Гомера то место, которое могло послужить, как нам кажется, основой для возникновения формулы τοῦ δεῖνος τόδε σῆμα. Таким местом представляется нам двустишие из VII книги «Илиады». Гектор вызывает на единоборство любого из ахейцев, оговаривая возможный исход поединка следующим образом: если противник убьет его, Гектора, то пусть он снимет с него доспехи, а тело вернет троянцам. А если Гектор его повергнет, то сам сделает то же самое, вернет тело его ахейцам. Далее он говорит (VII, 85—91):

Пусть похоронят его длиннокудрые мужи ахейцы,
На берегу Геллеспонта широкого холм пусть насыплют.
Некогда кто-нибудь скажет из поздно живущих потомков,
По винночерному морю плывя в корабле многовеслом:
«Воина это могила, умершего в давнее время;
Доблестный, был умерщвлен он блистательным Гектором в битве».
Скажут когда-нибудь так, и слава моя не погибнет.

(Перевод В. Вересаева)

---

[27] P. Friedländer. Указ. соч.
[28] См.: C. M. Bowra. Early greek elegists. Cambridge, 1938.
[29] См.: «Dionis Chrysostomi orationes». B. II. Lipsiae, 1857, p. 48.
[30] См. об этом: P. Friedländer. Указ. соч., стр. 7 и др.; P. Gardner. Sculptured tombs of Hellas. London, 1891, p. 87.

καί ποτέ τις εἴπῃσι...
«ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος,
ὅν ποτ' ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ».

На сходство этого места в «Илиаде» с древними эпитафиями, на его эпиграмматичность обратил внимание совсем недавно Лумпп [31]. Это двустишие формально как бы дает общую схему, по которой строятся эпитафии данного типа. На первом месте та самая формула, причем вместо ἀνδρὸς μέν можно по желанию подставить любое имя, которое подойдет по размеру. Далее следуют мотивы, тоже встречающиеся в эпитафиях.

Но может быть Гомер сам здесь использует готовую формулу эпитафии? Уже вышеизложенные соображения отчасти опровергают это. Добавим к ним еще несколько слов. Во-первых, у Гомера это место не является эпитафией в прямом смысле слова. Это просто фраза, вполне уместная в устах человека, видящего издалека могильный курган и указывающего на него своим спутникам. Именно в этом контексте местоимение τόδε вполне оправдано и совершенно необходимо. Это двустишие восхваляет Гектора-убийцу, а не самого умершего.

Можно сравнить, к тому же, это двустишие с другим, совершенно аналогичным по структуре и контексту — со словами, которые говорит тот же Гектор при прощании с Андромахой (VI, 460—461):

καί ποτέ τις εἴπῃσιν. . .
«Ἕκτορος ἥδε γυνή, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο».

Бросается в глаза полный параллелизм обоих отрывков — и смысловой, и структурный, и образный. Но тут уже совсем нельзя сказать о том, что это похоже на эпитафию.

Наконец, следует привести еще одну параллель к нашему отрывку — советы Нестора Антилоху перед ристаниями (XXIII, 331): указывая ему на будущую мету, на два белых камня у дороги, Нестор говорит: «ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος, или что-нибудь другое, но Ахилл назначил эти камни метой для скачек». Параллелизм снова полный, однако указательного местоимения τόδε нет, так как Нестор уже выше указал сыну на эти два камня. Эти отрывки говорят о том, что «эпиграмматичность» нашего отрывка чисто внешняя.

В том, что Гомер не мог здесь использовать готовой формулы эпитафии, убеждают нас еще и другие соображения. Самый крайний срок создания «Илиады» — это середина VIII в., не позднее. Между тем, древнейшие надписи, имеющиеся в нашем распоряжении, можно отнести лишь к концу VIII в., и то с большой осто-

[31] H.-M. Lumpp. Die Arniadas-Inschrift aus Korkyra. Homerisches im Epigramm — Epigrammatisches im Homer. — «Forschungen und Fortschritte», 37. Jg., Heft 7. Berlin, 1963.

рожностью [32]. И такие надписи — единичны. Очень небольшим, сравнительно, количеством надписей может похвастать и VII в. до н. э. Древнейшие же эпитафии, до нас дошедшие, относятся по крайней мере к рубежу VII и VI вв., скорее, может быть, к началу VI в. Более того, те немногие образцы надгробных стел VIII и VII вв., являющиеся прототипами аттических стел VI в., найденные возле Неандрии и на острове Кимолос [33], никаких надписей не имеют. То же можно сказать и о стелах гомеровской поры, X—VIII вв. с афинского Керамика [34]. К тому же, и в самом тексте гомеровских поэм вообще не упоминается о существовании какого бы то ни было распространенного письма, кроме известного упоминания о загадочных σήματα λυγρά («Илиада», VI, 168), и тем более не имеется никаких намеков на надписи, когда Гомер ведет речь о σῆμα, о надгробии, кургане и т. д. Кроме того, если считать, что Гомер мог заимствовать эти две строчки или, по крайней мере, формулу из подлинных эпитафий, то поневоле нужно предположить, что уже тогда, в IX—VIII вв. до н. э. искусство эпитафии было достаточно распространено, и притом, может быть, весьма широко, и более того, что эта стихотворная формула уже имела широкое распространение. У нас нет оснований так думать.

Зато много соображений можно привести в пользу того, что эта «гомеровская» формула и легла в основу эпитафий разбираемого нами типа. Только такой путь заимствования объясняет нам и наличие в этой формуле указательного местоимения τόδε, и характерную в этой формуле устойчивость элемента σῆμα. Приведем еще несколько соображений. Этот отрывок должен был, несомненно, привлечь к себе внимание сочинителей эпитафий в полном своем объеме. И внимательно изучая тексты эпитафий, мы убеждаемся в том, что это двустишие было хорошо им известно, и все, что можно было выжать из него, было использовано для эпитафий.

О самой формуле сказано было достаточно, упомянем только о том, что в ранних гексаметрических эпитафиях она занимает соответственно то же место: первую половину первого гексаметра. Πάλαι, конечно, не подходит подлинной эпитафии, но оно увлекает за собой и громоздкое κατατεθνηῶτος. Поэтому вместо него в эпитафиях широко употребляется с тем же значением θανόντος, более компактное (ср. Peek, №№ 146, 147, 148, 156, 159, 165 и т. д., все VI в. до н. э.).

---

[32] См.: L. H. J e f f e r y. The local scripts of archaic Greece. Oxford, 1961, p. 258.

[33] См.: L. H. J e f f e r y. The inscribed gravestones of archaic. Attica.— «The Annual of the British School at Athens», 57 [1962], p. 149.

[34] K. K ü b l e r. «Bericht über den VI Internationalen Kongress über Archäologie», 21—26 August, 1939, p. 429.

Ὅν ποτ' ἀριστεύοντα имеет яркие аналогии в ранних эпитафиях. У Гомера это словосочетание, в таком именно виде, в других местах вовсе не встречается, что лишний раз говорит об использовании именно этого двустишия. Ср. Peek, № 321, конец VI в. — вторая строка: ὅς ποτ' ἀριστεύων ἐν προμάχοις ἔπεσεν. Эпиграмма написана элегическим дистихом, что и объясняет отклонение в падеже. Ср. также Peek, № 73, начало VI в. (πολλὸν ἀριστεύοντα ...), а также Peek, № 69. Надо добавить, что наречие ποτέ вообще не встречается в частных эпитафиях, кроме как в этом сочетании. Его можно часто встретить только в polyandria, где оно говорит о том, что между смертью героев в бою и моментом сочинения эпитафии прошло некоторое время [35]. В эпитафии частному лицу оно не слишком уместно, что лишний раз подтверждает факт заимствования всего словосочетания именно отсюда.

Наконец, последняя часть (κατέκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ) находит себе тоже близкие по духу и строю аналогии в архаических эпитафиях: ср. Peek, № 53, начало VI в.:... τὸν ὄλεσε πόντος ἀναιδὲς, Peek, № 1224 (540 г.), вторая строка: ὅν ποτ' ἐνί προμάχοις ὄλεσε θόρος Ἄρες. Тут даже сочетание ὅν ποτ' сохранено, но ἀριστεύοντα нельзя было вставить в пентаметр.

По-видимому, греки VII—VI вв. до н. э., обожествляя своих покойных предков, стремились в эпитафиях уподобить их героям эпоса. Проникнутые живой эпической поэзией своего времени, они старались придать своим надписям на стелах и статуях, как и самим статуям и надгробным стелам, ту величавость, ту героику, которой пронизан гомеровский эпос. Об этом убедительно говорят хотя бы знаменитые аттические высокие надгробные стелы и статуи куросов, которые характерны только для VII—VI вв. до н. э.[36]

Дальнейшую судьбу «гомеровской» формулы эпитафий мы не будем здесь прослеживать. Надо сказать только, что под влиянием этой формулы указательное τόδε вместе с прочно присоединившимся к нему элементом σῆμα постепенно входит, как подчиненная часть, в состав метрических эпитафий второй группы, построенных на основе «посвятительной» формулы. С другой стороны, вскоре, к концу VI в., она присоединяет к себе еще и четвертый элемент ἐστί (ср. хотя бы Peek, № 72). Таким образом, только в первой половине VI в. эта формула бытует в чистом виде, так как память об отрывке из «Илиады» как об источнике и традиции еще свежа.

---

[35] H. T. Wade-Gery. Classical epigrams and epitaphs. — JHS, 53 (1933), p. 76.

[36] G. M. A. Richter. The archaic gravestones of Attica. London. 1961.

Я. А. Ленцман

ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕОЛОГИИ РАБОВ В БАСНЯХ ЭЗОПА

Басни, приписывавшиеся в древности Эзопу, составляют довольно большой [1] и относительно цельный корпус. Материал этот представляет немалые трудности для исследователя-историка. Прежде всего, не установлено время возникновения подавляющего большинства басен. Текст их дошел до нас лишь в изложении, которое не поддается датировке. Свойственная этому жанру фантастичность сюжета [2] в значительной степени затрудняет использование их в качестве исторического источника. Определенную роль в отрицательном отношении к материалам эзоповского корпуса сыграло, видимо, и поветрие гиперкритицизма, в угоду которому чуть ли не все, не поддающиеся точной датировке источники, отвергались как ненадежные. Быть может, всеми этими обстоятельствами во многом объясняется тот, казалось бы, странный факт, что ни один из довольно многочисленных исследователей не предпринял попытки извлечь из «Aesopica» [3] не столь уж скудные сведения о рабах.

Между тем, корпус эзоповых басен имеет, по крайней мере, одно воистину неоценимое преимущество над всеми прочими источниками. Являвшиеся предметом народного творчества

---

[1] Число басен, приписываемых великому баснописцу, значительно колеблется в зависимости от установок издателей; однако оно больше трехсот. Так, Гальм («Fabulae Aesopicae collectae, rec. C. Halm.» Lipsiae, 1852) включил в свое издание 426 басен; Шамбри («Ésope, Fables, par E. Chambry», Paris, 1927) — 358; Гаусрат («Corpus Fabularum Aesopicarum. [CFAes] ed. A. Hausrath», v. I, fasc. 1—2. Lipsiae, 1956—57) — 307, а стремившийся к максимальной полноте охвата материала Перри («Aesopica, a Series of Texts. . . by B. E. Perry», v. I. Urbana, 1952) — даже 472 античные басни (на греческом языке).

[2] Недаром ведь трафаретным определением басни у античных писателей было «ложь, подобная правде» (λόγος ψευδής εἰκονίζων ἀλήθειαν); см.: Theon, Progymn. 3 = «Aesopica», Test. 103.

[3] Этот термин удачно применил Перри в качестве наименования «серии текстов, относящихся к Эзопу или приписываемых ему, или же тесно связанных с литературной традицией, носящей его имя». Собранные Перри в указанном выше I томе его капитального труда, отчасти впервые публикуемые «Vitae Aesopi, Testimonia, Sententiae, Proverbia, Fabulae Graecae et Latinae» представляют собой неоценимое пособие для изучения античной басни.

басни — даже в дошедшем до нас после многочисленных переделок виде — составлялись во многих случаях с иных идейных позиций, чем литературные памятники античности. Авторы последних всегда смотрели на рабов свысока, как бы с некоего пьедестала. Вне зависимости от того, ненавидели ли они рабов, презирали их, или же сочувственно к ним относились, все они рассматривали рабов лишь как предмет, о котором они писали. Античный «гуманизм» [4] в лучшем случае признавал у рабов человеческие качества, считал их, по удачному выражению Ф. Бемера [5], «*тоже* людьми». Между тем, нисколько не менее важно взглянуть на рабов, так сказать, изнутри; важно установить, что́ они сами думали о своей судьбе, какие предписывали себе и друг другу нормы поведения.

В плане исследования рабства основное значение свода эзоповых басен в том и состоит, что он позволяет предпринять такого рода попытку взглянуть на рабов «изнутри».

На протяжении последних 10—15 лет в прогрессивной историографии наблюдается значительный рост интереса к личности Эзопа и к его наследию. Интерес этот объясняется прежде всего тем, что в баснях относительно легко проследить струю народного (в противоположность аристократическому) творчества. В качестве наиболее важных работ следует отметить труды Л. М. Глускиной, М. Л. Гаспарова, Т. Синко, М. Голиаса, И. Тренчени-Вальдапфеля и А. Ла Пенны.

Л. М. Глускина исследовала настойчиво подчеркиваемое во всей античной традиции противопоставление Эзопа дельфийскому жречеству [6]. Рассмотрев в этом аспекте различные версии конфликта между Эзопом и дельфийцами, она пришла к выводу, что традиция о конфликте зародилась в народных слоях, враждебно относившихся к эллинским аристократам и к ближневосточным монархам, которых постоянно поддерживал Дельфийский оракул. Местом и временем возникновения этой традиции Глускина считает Самос VI в. до н. э. Таким образом, исследователь, с некоторыми оговорками, склонна считать Эзопа реально существовавшей личностью, хотя законно сомневается в достоверности дошедшей до нас биографической традиции.

Вопросом об Эзопе, в частности о характере приписываемых ему басен, занимался в самое последнее время М. Л. Гаспаров [7].

---

[4] Тему античного гуманизма в применении к рабам выдвинул и развивает в современной западноевропейской историографии проф. И. Фогт, руководитель майнцской серии исследований по истории античного рабства; см.: J. V o g t. Sklaverei und Humanität im klassischen Griechentum. Wiesbaden, 1953.

[5] F. B ö m e r. Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom, B. I. Wiesbaden, 1957, S. 5.

[6] Л. М. Г л у с к и н а. Эзоп и антидельфийская оппозиция в VI веке до н. э. — ВДИ, 1954, № 4, стр. 150—158.

[7] Этому вопросу посвящена почти вся 1-я глава его кандидатской диссертации (машинопись) «Федр и Бабрий». М., 1962, стр. 6—44 и примечания,

Для нашей темы интересен сделанный им добросовестный и почти исчерпывающий обзор новейшей зарубежной литературы о происхождении и характере древнегреческой басни. Что касается давнего спора между Гауратом и Перри относительно характера сохранившихся сборников басен Эзопа, Гаспаров склонен высказаться скорее в пользу Перри (диссертация, стр. 280 сл.), который отрицает их в основном учебный характер [8] и полагает, что эти сборники были задуманы и составлены прежде всего в качестве справочных пособий для античных ораторов-практиков [9]. В то же время Гаспаров неоднократно отмечает схематизм Перри, недооценку им роли социального фактора в басне. В отличие от Глускиной Гаспаров, видимо, не находит реального исторического зерна в традиции об Эзопе [10]. Впрочем вполне естественно, что Гаспарова интересовал вопрос об Эзопе не сам по себе, а прежде всего как об источнике для творчества Федра и Бабрия [11].

Три серьезных исследования посвятил Эзопу и связанной с ним тематике в последние годы жизни нестор польских филологов-классиков Т. Синко. В первом из них, под названием «В мире греческой сказки» [12], обстоятельно рассматриваются происхождение и различные виды эллинских басен. Среди них, как и следовало ожидать, основное внимание уделено Эзопу. Синко приходит к выводу, что «рабы воплощали свои мечтания в Эзопе, чей ум и хитрость, в сочетании с присущим ему чувством юмора, позволяли ему торжествовать над господами, царями и мудрецами». В докладе «Легендарный Эзоп как представитель крестьянского

стр. 277 сл. См. также его статью: «Социальные мотивы античной литературной басни (Федр и Бабрий)».— ВДИ, 1962, № 4, стр. 48—66.

[8] Гаусрат, как известно (см. PWRE, s. v. Fabel, стлб. 1731 сл.), считал, что «народная книга об Эзопе и эзоповы басни быстро распространились в детской, в школе, на рынке и в пивных». Такой же характер, по его мнению, имел и сборник басен, составленный Деметрием Фалерским, который, как подчеркивает Гаусрат, «невозможно считать пособием для оратора».

[9] См., например, «Aesopica», стр. 296: «Впрочем эзоповы басни были изобретены не ради того, чтобы нравиться детям, читавшим их в школе, или приносить пользу учителям, обучающим детей искусству письма. . . Басни эти должны были в первую очередь служить пособием для ораторов как иллюстрация высказываемых ими мнений и как средство воздействия на слушателей». Ср. также: R. S. K o v a c s. The Aesopic Fable in Ancient Rhetorical Theory and Practice. Abstract of a Thesis. Urbana, 1950.

[10] Упрек, адресуемый им польскому исследователю М. Голиасу, якобы, утверждающему возможность существования наряду с Эзопом «даже других рабов — баснописцев», основан на явном недоразумении. В указанных Гаспаровым местах Голиас, наоборот, ставит под сомнение историчность самого Эзопа.

[11] Из советской литературы об Эзопе мне, к сожалению, оказались недоступными две книги на армянском языке: У. Х а н д а м у р. Жизнь Эзопа. Ереван, 1940; о н ж е. Эзоп. Ереван, 1955.

[12] T. S i n k o. W świecie bajki greckiej, «Meander», 6 (1951), S. 1—17, 71—91.

ума и хитрости», прочитанном на съезде Польского филологического общества, Синко подчеркнул, что «в древнем строе, основанном на рабстве, Эзоп сам являлся рабом, притом самым низким рабом-фригийцем. Как таковой он олицетворял протест всех слабых и угнетенных. . . басня была единственной формой, в которой раб мог осмелиться высказать свои мысли и чувства недоступному господину» [13]. Доклад этот посвящен в основном рассмотрению эволюции античной традиции об Эзопе, в частности его «жизнеописаниям». Ее непосредственным продолжением является третья статья, в которой прослеживаются три последующих перевоплощения Эзопа: Мархолт, Уленшпигель и Швейк [14]. Взятые в целом три исследования маститого польского филолога представляют собой лучшее из всего, что было написано по эзоповедению за послевоенные годы. Автор не скрывает своих симпатий к остроумному представителю античных рабов и бедняков.

Дополнением к трудам Синко может служить небольшая статья М. Голиаса, посвященная в основном вопросу о генезисе и характере греческой басни [15]. В отличие от Перри Голиас подчеркивает народное происхождение басни. Он настаивает на существовании уже в V в. до н. э. не только собрания эзоповых басен, но и его Жизнеописания. Важны рассуждения Голиаса о возникновении эпимифия. Это явление он склонен отнести к позднему, как правило, даже византийскому времени.

Интересна большая статья А. Ла Пенны «Мораль эзоповской басни как мораль низших классов античного мира» [16]. Автор подчеркивает отход басенной морали от религиозного мировоззрения. Отказываясь от попыток датировки эзоповых басен, но все же усматривая, подобно Л. М. Глускиной, рациональное, историческое ядро в традиции о конфликте Эзопа с дельфийскими жрецами, Ла Пенна обстоятельно анализирует различные аспекты морали античной басни вообще. Она резко отличается от морали высших классов античности, но зато близка к морали простого народа до начала XIX в. Характерной чертой басенной морали является убеждение в неизменности социальной действительности, признание царящих в ней противоречий, рудиментарный прагматизм и рационализм.

Таким образом, Ла Пенна приходит к выводу, что басенная мораль может быть приписана «античному плебсу».

---

[13] T. Sinko. Legendarny Ezop jako przedstawiciel chłopskiego rozumu i dowcipu. — «Meander», 6 (1951), S. 258.

[14] T. Sinko. Trzy przemiany Ezopa (Marchołt—Sowidrzał—Szwejk).— «Meander», 7 (1952), S. 3—30, 55—78.

[15] M. Golias. Geneza, rozwój i charakter bajek ezopowych, «Zeszyty naukowe Uniwersytetu łódzkiego. Nauki humanistyczno-społeczne», Zeszyt 7. Łódź, 1957, S. 3—31.

[16] A. La Penna. La morale della favola esopica come morale delle classi subalterne nell' antichità. — «Società», 1961, p. 459—537.

* * *

Ниже будут рассмотрены те места из корпуса эзоповых басен, в которых речь идет несомненно expressis verbis о рабах [17]. Вне намеченных рамок остаются, таким образом, те басни, где говорится, например, о покупке птиц или животных человеком, если в них не встречаются специфически «рабские» или относящиеся к рабам термины.

Последних в корпусе немного; почти все они связаны со словами δοῦλος и οἰκέτης. К ним принадлежат: δουλεία (№№ 133 [18], 173 и 218), δουλεύω (№№ 190 и 256), δουλικός (№ 173), δοῦλος (№ 14), οἰκέτης (№№ 72, 97, 173, 190, 209 и 218), οἰκογενής (№ 261). Кроме того, в одной басне (№ 14) встречается еще ἀπελεύθερος. Обращает на себя внимание полное отсутствие термина ἀνδράποδον и его производных.

Термины распределяются следующим образом по отдельным басням:

№ 14: ἀπελεύθερος, δοῦλος.
№ 55: θεραπαινίς (θεράπαινα) [19].
№ 72: οἰκέτης.
№ 97: οἰκέτης.
№ 133: δουλεία.
№ 173: οἰκέτης, δουλεία, δουλικός.
№ 190: δουλεύω, οἰκέτης.
№ 209: οἰκέτης.
№ 218: δουλεία, οἰκέτης (δοῦλος).
№ 256: δουλεύω.
№ 261: οἰκογενής.

Итак, в общей сложности анализируемые термины встречаются в 11 текстах [20]. Относительно небольшое число басен, в которых прямо говорится о рабах, не может расцениваться как косвенное свидетельство незначительности рабства. Это лучше всего показывает басня о диком кабане, коне и охотнике (№ 238) [21]. В ней конь

---

[17] Не в пример чаще рабы упоминаются в «Vitae Aesopi» и в «Testimonia». Античная традиция согласна в том, что Эзоп был рабом. Немало связанных с его именем эпизодов, например у Федра, локализуется в рабской среде. Однако эти источники более позднего происхождения, чем рассматриваемые здесь басни.

[18] Номера басен даются по корпусу Гаусрата. В его издании нагляднее указаны варианты текста в рукописях.

[19] В скобках даны термины, встречающиеся в разночтениях.

[20] Согласно подсчетам Шамбри (указ. соч., стр. XXXVII) среди 358 публикуемых им басен в 255 действуют только животные, в 75 выступают люди, в остальных 27 фигурируют также боги, растения, времена года и др.

[21] Ср. A r i s t. Rhet., II, 20, 1393b, где вариант той же басни вкладывается в уста Стесихора. Когда гимерийцы, избрав Фалариса стратегом-автократором, постановили дать ему кроме того вооруженную охрану, Стесихор, рассказав им эту басню, закончил ее словами: «конь стал рабствовать (ἐδούλευσεν) у человека. Различие между басней, приводимой в корпусе, и у Ари-

призывает охотника на помощь против кабана. Охотник соглашается прийти на помощь при условии, что конь согласится посадить его на спину и взнуздать себя. В результате конь оказывается привязанным в конюшне. В этой басне нет ни одного рабского термина, поэтому она не включена в нашу таблицу. Тем не менее нет сомнения в том, что ее сюжет относится непосредственно к рабству. В другой басне (№ 194) дикий осел сначала восхищается упитанностью и вкусной пищей осла ручного. Однако увидев затем, как тяжело он нагружен и как избивает его погонщик, дикий осел заявляет: «Вижу, что твое изобилие не лишено больших горестей». И в этой басне отсутствуют специфически рабские термины, хотя она имеет непосредственное касательство к оценке рабства.

В плане отношения сочинителей к рабству включенные в нашу таблицу басни можно подразделить на три группы. К первой мы отнесем те басни, в которых сочинитель не высказывает своего отношения к институту рабства; во вторую войдут басни, осуждающие рабство; в третью те, в которых рабство оправдывается. Естественно, что большая часть басен принадлежит ко второй группе.

В басне № 14 лиса и обезьяна спорили, кто из них более знатного происхождения. Проходя мимо чьих-то могил, обезьяна начала стонать. На вопрос спутницы она, показывая надгробия, сказала: «Как мне не плакать при виде стел вольноотпущенников и рабов моих предков» (τῶν πατρικῶν μου ἀπελευθέρων καὶ δούλων)? На это последовал ответ лисы: «Ври сколько хочешь; ведь никто из них не воскреснет и не уличит тебя».

В этой басне рабы, равно как и вольноотпущенники, выступают лишь в качестве атрибута знатности и богатства. Это не доказывает позднего возникновения басни. Упоминания о рабах, как о мериле богатства, встречаются уже в гомеровском эпосе; например, Od., XVII, 422 сл. (=XIX, 78 сл.): очевидно, уже с очень раннего времени труд рабов являлся основой «хорошей жизни» рабовладельцев.

Те же персонажи (обезьяна и лиса), притом с аналогичным распределением ролей, фигурируют в басне Архилоха (fr. 81 Diehl), который, согласно традиции, жил еще до Эзопа. С другой стороны, басня № 20, в которой собеседником лисы в споре о знатности является крокодил, чьи предки были «гимнасиархами», представляет собой явную переделку изложенного выше оригинала. В то же время предпосылкой реальности сцены, описанной в басне, неизбежно является то, что по тексту надгробной надписи можно было установить статус покойного. Этому условию, очевидно, больше всего соответствует не греческая, а римская практика относительно имен вольноотпущенников.

стотеля, состоит лишь в том, что у последнего противником коня является не кабан, а олень.

В басне № 72 повествуется о трусе, нашедшем золотого льва. Ему и хочется заполучить золото, и в то же время боязно приблизиться ко льву. После длительных рассуждений он, наконец, заявляет: «Я ухожу и приведу сюда рабов (οἰκέται), которые должны взять льва своим множеством; а я издали буду наблюдать».

Эта басня, по общему мнению, — позднего происхождения. В ней не участвуют животные, и она выглядит как школьное сочинение на тему: трус и богатство. И здесь, как в предыдущей басне, рабы считаются принадлежностью мало-мальски богатого дома [22].

В обеих этих баснях нет никакой оценки рабства как такового. Создается впечатление определенной распространенности рабов. Значительно интереснее вторая группа басен, в которых рабство осуждается.

Наиболее характерна в этой группе басня № 218 о голубке и вороне. Сюжет ее таков. Голубка из голубятни гордилась обилием своих птенцов. Услыхав это, ворона сказала: «Перестань хвастаться; чем больше у тебя будет детей, тем хуже будешь стенать от рабства (δουλείᾳ)». Эпимифий гласит: «Самые несчастные из рабов (οἰκετῶν) те, которые рожают в рабстве (δουλείᾳ) много детей» [23].

Думается, что такую басню мог составить только раб или вольноотпущенник. Мораль ее обращена только к рабам. Она вообще неприменима ни к какой иной социальной группе. Не представляется возможным считать ее рассуждением на какую-то абстрактную тему, аналогично басне № 72. Одним из признаков раннего происхождения этой басни следует, видимо, считать ее краткость. Кстати сказать, ни содержание ее, ни эпимифий не умещаются в рамках концепции Перри, согласно которому сборники басен должны были служить пособием для ораторов. Басню № 218 трудно себе представить вне рабской аудитории. Краткость басни обычно принято расценивать как свидетельство ее древности. Только глагол φρυάττω указывает на позднее время.

Автор басни отчетливо осознал безысходность положения рабов и непримиримость их и господских интересов. В его призыве воздерживаться от деторождения звучит нота своеобразного протеста. В то же время протест этот, в согласии со всем обликом Эзопа, пассивен и ни в коей мере не призывает рабов к борьбе за свободу.

Столь же отчетливо ощущается горечь рабской доли и в басне о менагиртах (№ 173) — бродячих жрецах Мена (или Реи-Кибелы). Содержание ее таково: Когда осел менагиртов сдох от

---

[22] Относительно времени создания этой басни см. также замечания Гаусрата в CFAes, № 72; C h a m b r y. Указ. соч., стр. XLIV.

[23] В другом варианте эпимифий несколько смягчен: в нем отсутствует «много», а вместо превосходной степени употреблена сравнительная.

побоев, с него содрали шкуру и сделали из нее бубен. На вопрос встречных менагиртов, они ответили: «Ему достается столько плетей, сколько он не получал и при жизни». Эпимифий: «Так некоторые рабы (οἰκέται) [24], хотя освобождены [25] от рабства, не избавляются от рабских обязанностей [26]».

Сюжет этой басни пользовался большим успехом в первые века нашей эры. На эту тему писали Федр (IV, 1), Бабрий (№ 141), Апулей (Metam, VIII, 24) и Лукиан (Luc., 35). Все же, в отличие от предыдущей басни, у нас нет уверенности в том, что ее сочинителем был раб. Налицо здесь явное противоречие между содержанием басни и эпимифием. Из басни следует, что участь осла после смерти стала еще хуже. В эпимифии же, соответственно условиям реальной жизни, участь вольноотпущенника рисуется все же в несколько более розовых красках, чем судьба рабов. В противном случае мы бы ожидали в эпимифии вывода, что даже смерть не освобождает раба от страданий. Мораль басни, видимо, ближе кругу мыслей вольноотпущенников.

В басне № 190 осел, «рабствовавший» (δουλεύων) у садовника, получал мало пищи и терпел много злоключений. Он стал молить Зевса переменить ему господина (δεσπότης). Его продали гончару, но здесь пришлось носить еще большие тяжести. А попав затем к кожевнику и увидев, что делает его новый хозяин, осел заявил: «Лучше мне было остаться у прежних господ. Этот, как вижу, лишит меня и шкуры». Эпимифий: «Рабы всегда больше всего жалеют о прежних господах, когда испытают новых» [27]. Эта басня проникнута тем же чувством безнадежности. Любое изменение означает для раба лишь ухудшение [28].

Мысль, что рабу нечего надеяться даже на минимальное улучшение его жалкой участи, характерна и для басни № 55 о женщине и рабынях [29]. Некая трудолюбивая вдова поднимала своих рабынь с пением петуха. Те, изнуренные непосильной работой и считая виновником своих бед петуха, задушили его. Тогда хозяйка (δέσποινα), не зная времени, стала будить рабынь еще раньше. Эпимифий: «Так, у многих людей их собственные решения являются источником бед».

Несмотря на отсутствие явных нереальностей, басня оставляет впечатление надуманной. Адресатами ее вряд ли могли быть рабы, как это возможно для предыдущих басен. Недаром эпимифий, правда более поздний, чем сама басня, обращен ко «многим людям», свободным в выборе их поведения.

---

[24] Шамбри здесь, как и в предыдущей басне, переводит οἰκέται, вопреки смыслу, как serviteurs.

[25] δουλείας ἀφειμένοι; вариант — δ. πεφευγότες.

[26] δουλικῶν ἀργῶν; вариант — δ. ἔργων.

[27] Аналогичные мотивы, правда в отнесении к свободным, встречаются и у Федра («Лягушки, просящие царя»), и у Бабрия.

[28] Вариант — οὐδὲ ταφῆς τεύξομαι.

[29] θεράπαιναι; вариант — θεραπαινίδες.

В басне № 133 повествуется, как сбежавшая от птицелова галка возвратилась в свое гнездо, но не могла вылететь оттуда, так как нить, связывавшая ее лапки, запуталась среди ветвей. Перед смертью галка восклицает: «Не вынеся рабства (δουλείαν) у людей . . . я лишилась спасения». В эпимифии заявляется: «Басня эта относится к тем людям, которые, стремясь избежать умеренных опасностей, попадают в худшие».

Итак, здесь рабство изображено как зло, хотя и терпимое. Эпимифий по содержанию и социальной направленности не отличается от предыдущего. Все же остается впечатление, что первоначальными адресатами этой басни могли быть и рабы, которых сочинитель предостерегал от побегов. В этом плане басня полностью созвучна произведению Федра об Эзопе и беглом рабе (Ph. App., 21). Но Федр не жалеет красок в описании мытарств беглого раба [30]. Фактически мораль басни сводится к совету воздержаться от побегов, исходя из принципа «как бы не было еще хуже». Такой совет Эзоп дает убегающему рабу у Федра.

Несколько по-иному рисуется положение рабов в басне № 97 о женщине тяжелого нрава. Муж ее, чтобы узнать, так ли она относится и к рабам (οἰκέται) своего отца, послал ее в родительский дом. Там на нее смотрели исподлобья пастухи. Отсюда вывод: «коль скоро ее ненавидели те, которые на заре уходили со стадами, чего же следует ожидать от пребывавших с ней весь день?». Сочинитель басни локализует ее, очевидно, в крупном рабовладельческом хозяйстве. Отношения между рабами и рабовладельцами рисуются ему, за некоторыми осуждаемыми им исключениями, как терпимые.

Басням, в которых рабы как социальная группа противопоставлены господам и, как правило, враждебно к ним относятся, противостоит одна с принципиально иной моралью. В № 209 рассказывается о диких и ручных голубях. Птицелов поместил в силках в качестве приманки ручных птиц. Схваченные им дикие голуби упрекают ручных как предателей сородичей. Эпимифий гласит: «Не следует порицать тех рабов (οἰκέται), которые из любви к господам, отказываются от дружбы соотечественников». Эта басня явно направлена против идеи единства рабов и защищает интересы рабовладельцев [31]. Тем не менее нет оснований считать ее вымыслом последних, как, скажем, знаменитую басню Менения Агриппы. Мораль ее была бы вполне уместна в устах, например, Евмея из «Одиссеи». Здесь стоит все же отметить, что эта басня отсутствует в древнейшем из дошедших до нас сборников эзоповых басен, в так называемой Августанской рецензии.

---

[30] Как абсолютное зло изображено рабство и в басне № 256. В ее эпимифии лицемерно утверждается, что в случае междоусобицы (στάσις) судьба бедняков предпочтительнее, ибо богачи, не желая лишиться своих богатств, часто становятся сами рабами (δουλεύουσιν).

[31] Ср. La. Penna. Указ. соч., стр. 535.

Любопытные штрихи из быта рабов рисует басня № 261 о попугае и кунице (γαλῆ). Недавно купленный попугай вскочил на очаг и радостно закричал. Куница, спросив его, кто он и откуда прибыл, с возмущением сказала: «Мне, доморожденной (οἰκογενεῖ), хозяева не разрешают даже пикнуть: иначе они бы немедленно прогнали меня. А ты осмеливаешься свободно разговаривать (παρρησιάζεσθαι)»[32]. В ответ на это попугай, иронически величая куницу хозяйкой дома (οἰκοδέσποινα), замечает, что его голос, видимо, приятнее господам, чем голос куницы.

В этой басне как бы изображена сценка из жизни. Беседа ведется между двумя рабами. Доморожденный высокомерно ставит себя во всех отношениях выше вновь прибывшего. Величайшим наказанием он считает изгнание из господского дома. Комизм положения усугубляется тем, что слова эти вкладываются в уста не поддающейся приручению куницы. В глазах такого образцово вымуштрованного раба величайшим преступлением является свобода речи. Все это живо напоминает осуждение автором псевдоксенофонтовой «Афинской политии» распущенности афинских рабов (I, 12). Не менее характерно противопоставление доморожденной кунице недавно приобретенного, обладающего приятным голосом попугая. Симпатии автора явно на стороне последнего. Показательно, что и попугай видит свою ценность в угождении господам.

* * *

В рассмотренных 11 баснях налицо целая гамма нюансов в отношении к институту рабства. Авторы басен, как правило, считают рабство злом, но неизбежным, и не призывают к активной борьбе против него. Это полностью соответствует невысокому уровню классовой сознательности греческих рабов. Тем ценнее мотивы протеста против рабства, отчетливо звучащие в некоторых из басен. Наиболее четко они проявляются в призыве не рожать детей, дабы не увеличивать число рабов. Более завуалирован, хотя все же вполне различим, протест против рабства в рассказах об осле, меняющем хозяев, о менагиртах и в ряде других. Идеям этой группы басен противостоит установка басни о ручных и диких голубях, оправдывающая предательство рабами их соплеменников.

Большая часть рассмотренных басен, очевидно, была составлена рабами для рабов же. В этом плане можно полагать, что существует рациональное зерно в античной традиции, считавшей Эзопа рабом. Впрочем для решения этого вопроса требуется привлечение свидетельств античных авторов об Эзопе и анализ его «Жизнеописаний», что выходит далеко за рамки поставленной нами задачи.

[32] Конец фразы отсутствует в CFAes. Он восполнен по Перри, «Aesopica», Fab. 244, стр. 416.

Н. С. Гринбаум

ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ ПИНДАРА

В государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится греческая рукопись № 699, содержащая олимпийские оды Пиндара [1]. Она поступила в фонд библиотеки вместе с собранием А. И. Пападопуло-Керамевса и впервые упоминается в отчете имп. Публичной библиотеки за 1911 год [2]. В материалах к описанию греческих рукописей А. Пападопуло-Керамевса сохранился переписанный им собственноручно текст рукописи с указанием ее датировки и количества листов [3]. Однако никаких других сведений, касающихся, в частности, ее происхождения, равно как и примечаний или комментария обнаружить у А. Пападопуло-Керамевса не удалось. М. А. Шангин обратил внимание на близость к рукописи Публичной библиотеки греч. 699 академической рукописи Пиндара XXAa/I^{a}, находящейся в Библиотеке АН СССР в Ленинграде [4]. Ленинградская рукопись греч. 699 осталась, по-видимому, неизвестна Ж. Иригуэну, автору капитального труда о текстовой традиции Пиндара; в числе рукописей Пиндара, имеющихся в Советском Союзе, она Иригуэном не упоминается [5].

Рукопись греч. 699 состоит из 59 листов размером 22,0×14,7. Содержит олимпийские оды Пиндара с I, 24 по XII включительно [6]. Начало и конец утрачены. Судя по нумерации тетрадей, в начале рукописи не хватает шести, а в конце (если 9-я тетрадь была доведена до конца), по-видимому, семи листов. Из утраченной начальной части текст первой песни занимал не более двух-трех листов, можно поэтому предположить наличие биографии поэта

---

[1] Е. Э. Гранстрем. Греческие средневековые рукописи в Ленинграде. — «Византийский временник», 8 (1956), стр. 195—196.

[2] «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1911 год». Пг., 1917, стр. 68—69.

[3] Отдел рукописей ГПБ, греч. 863.

[4] М. А. Шангин. Академическая рукопись Пиндара и Эсхила. — «Известия АН СССР», 1927, стр. 501.

[5] J. Irigoin. Histoire du texte de Pindare. Paris, 1952, p. 6442.

[6] Ссылки даются на издание: «Pindari Carmine, ed. B. Snell». Lipsiae, 1959.

σχόλια [illegible]

[illegible]

Μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων
ἀέθλων Οὐλυμπία
δέσποιν' ἀλαθείας ἵνα μάντιες ἄν-
δρες ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπει-
ρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου
εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι
μαιομένων μεγάλαν
ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν
τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν
πληρέονται πρὸς χάριν
εὐσεβέων ἀνδρῶν λιταῖς.

[illegible]

или других, касающихся Пиндара, сведений [7]. В конечной части (семь листов) могли находиться первоначально XIII и XIV песни.

А. Пападопуло-Керамевс датировал рукопись XV веком [8]. В настоящее время эту дату можно уточнить. Водяные знаки: скрещенные мечи (№ 5150 по Брикэ) [9], колокол (№ 3946 по Брикэ), трепало (№ 1715 по Мошину) [10] — свидетельствуют о том, что рукопись написана на бумаге первой половины XIV в. Бумага — французского происхождения. Характер письма и сравнение с другими рукописями [11] дают основание думать, что рукопись греч. 699 должна быть отнесена не к XV, а к середине XIV в.

Рукопись снабжена текстовыми схолиями, написанными черными чернилами (л. 1—55); они доведены до половины десятой оды. На протяжении всех песен имеются выполненные красными чернилами межстрочные схолии; на ряде листов они настолько выцвели, что прочесть их уже невозможно. Красными чернилами написаны заглавия од и метрических схолий, а также спорадические, обведенные линией, примечания, поясняющие содержание и отдельные разночтения.

Рукопись написана несколькими писцами. Можно различить по меньшей мере пять различных почерков. Почерк I (л. 1—3, 6—7, 13—16) с ровными, несколько растянутыми буквами, почерк II — основной (л. 4—5, 8—11, 19—46) с буквами неодинаковой величины, почерк III (л. 12—17) — мелкий, аккуратный, почерк IV (46—52) тоже аккуратный, но более крупный, почерк V (л. 52—59) — размашистый, неровный. Количество строк колеблется от десяти до тринадцати на листе. Текст снабжен диакритическими знаками. Довольно регулярно отмечаются начала строф, антистроф и эподов.

* * *

Рукописей Пиндара, содержащих его эпиникии, насчитывается в настоящее время около двухсот. Из них лишь десять-пятнадцать так называемых старых рукописей, относящихся к XII—XIV вв., сохранили в целостности древнюю традицию, остальные — так называемые новые рукописи XIV—XVI вв. — в той или иной мере подверглись влиянию византийских изданий Плануда, Мосхопула, Фомы Магистра и Триклиния.

«Старые» рукописи принято делить на две группы: амброзианскую, представленную, главным образом, кодексом А, и ватиканскую, представленную рядом рукописей и, прежде всего, кодексом В. С ватиканской связана и парижская группа (рукопись С

---

[7] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 410.

[8] См. выше, стр. 1.

[9] C. M. Briquet. Les Filigranes, t. II. Paris, 1907.

[10] V. A. Mošin, S. M. Traljič. Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka, t. I. Zagreb, 1957.

[11] См. ниже, стр. 102—103.

и др.), которая отличается от предыдущих своим смешанным характером.

«Старые» рукописи составляют, естественно, основной источник, на котором базируются издания пиндарова текста. Вместе с тем исследование «новых» рукописей и выявление в них древней традиции наряду с более поздними наслоениями дают возможность уточнить ряд существенных вопросов, связанных как с взаимоотношением различных рукописных рецензий, так и с историей пиндаровой традиции в послеантичный период.

I

В ленинградской рукописи Пиндара (греч. 699) можно обнаружить определенные следы ватиканской, парижской и амброзианской рецензий пиндарова текста.

Рассмотрим ее связи с каждой из этих рецензий в отдельности [12].

1. ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ И ВАТИКАНСКАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Согласно имеющейся классификации к ватиканской рецензии относятся три группы рукописей [13]: рукописи B(D), EFL (β) [14], GH (γ) [15].

а) Ленинградская рукопись и рукописи B(D) EFL [16].

Для ленинградской рукописи характерны, прежде всего, общие всей ватиканской рецензии ошибки [17].

O III 25: ὤρμαιν'

IV 27: θαμὰ καὶ

Ряд чтений совпадает в ленинградской рукописи и во всех или в отдельных рукописях ватиканской рецензии.

---

[12] Приводимые в дальнейшем данные, касающиеся рукописей Пиндара и их разночтений, почерпнуты в основном из следующих работ: «Pindari Carmina, ed. T. Mommsen». Berolini, 1864; «Pindari Carmina, ed. O. Schroeder». Lipsiae, 1923; «Pindari Carmina, ed. A. Turyn». Cambridge, 1952; «Pindari Carmina, ed. B. Snell». Lipsiae, 1959; A. Turyn. De codicibus Pindaricis. Cracoviae, 1932; J. Irigoin. Histoire du texte de Pindare. Paris, 1952. Там же имеется подробное описание отдельных рукописей и указана соответствующая дополнительная литература.

[13] «Pindari Carmina, ed. B. Snell». Lipsiae, 1959, p. X.

[14] А. Турын (указ. соч., стр. 15—16) объединяет первые две группы в так называемый лавренциано-ватиканский класс.

[15] Так называемая геттингенская рецензия.

[16] B — Vaticanus gr. 1312, XII в.
D — Laurentianus 32, 52, XIV в.
E — Laurentianus 32, 37, XIII—XIV в.
F — Laurentianus 32, 33, XIII в.
L — Vaticanus gr. 902, XIV в.

[17] A. Turyn. Указ. соч., стр. 15.

BEFL	: O	III	9 : αἰνησιδάμου
		VI	6 : φύγοι
		VI	53 : ἐγκέκρυπτο
BEF	: O	IX	80 : εὐρησιεπὴς
		X	93 : τε om.
			94 : ἀναπάσσει
BE	: O	II	32 : ἀλίου
		VI	76 : ποτιστάζει
		IX	112 : ἰλιάδα
BF	: O	X	55 : τὸ δὲ σαφανὲς
BL	: O	VI	75 : πρῶτον L^s
		VII	18 : εὐρυχόρου L^s
			38 : μάτηρ
			69 : ἀληθείᾳ
		VIII	17 : πὰρ
EF	: O	IX	55 : ἰαπετιονίδος
		X	14 : μίλει
			76 : τερπναῖσι
EL	: O	II	72 : περιπνέουσιν
		V	14 : ἀμηχανίας
		VIII	11 : ἔσπητ'
			40 : ἐσόρουσε
			48 : ἰσθμὸν ποντίαν
B	: O	I	26 : ποσειδῶν
			44 : γανυμήδης
			74 : πὰρ ποσὶ
			94 : τῶν
		III	63 : ἀλκᾷ
		II	2 : *κλεινὴν[18]
			7 : θεόδμητον
			18 : *ἀρετᾶς
			26 : ἰστριανὴν γρ.
			44 : στηλᾶν
			45 : *οὐ μὴν
		VI	18 : συρακουσίω
			3» : *μελέτη
		VII	48 : αἰθούσας
		VIII	23 : *πολλᾶ
			59 : ἐν παγκρατίῳ s. l.
		IX	34 : πρὸς
			76 : μιν
		X	17 : ἴλα
			22 : παῦροι τινὲς
			62 : *ἅρμασιν
		XII	6^a : *τέμνοισαι
D	: O	I	72 : τι
		II	4 : ἀκρόθινα
		VI	2 : ὡς ὅτε
		VI	86 : αἰχμηταῖσι
			93 : σκάπτρῳ
		VII	11 : ζωθάλμιος
		VII	19 : αἰχμῇ
		IX	17 : ἴσ | σον
E	: O	III	33 : δωδεκάγναπτον
		VI	20 : σαφῶς
			38 : περ'ἀτλάτου
			44 : κνιζομένα $E^{p.c.}$
			54 : *ἀπειράτῳ
F	: O	IX	106 : ἄμμε
		X	51 : νώνυμος
L	: O	I	31 : ἐπιφέροισα $L^{p.c.}$
		II	29 : νηρῆος
		III	31 : ἴδε
		IV	10 : ἥκει
			25 : χέρες
		V	5 : ἐγέραρεν
			9 : εὐηράτων
		VI	6 : συρακουσᾶν
			16 : θήβαισι
			35 : *ἀφροδίτης
			63 : ἐς χώραν
			92 : συρακουσσᾶν
		VIII	1 : *οὐλυμπία L^i
			20 : πάλη
			31^{sl} : *ποσειδαῶν (L -άων)

Из рукописей лавренциано-ватиканского класса, наиболее заметными оказались в рукописи греч. 699 следы рукописей B и L.

---

[18] Звездочкой (*) обозначаются чтения, не встречающиеся в других ранних рукописях.

б) Ленинградская рукопись и рукописи GH [19].

В ленинградской рукописи представлено некоторое количество чтений, встречающихся в рукописях G и H.

GH	O	V	8 : νικήσας
			9 : εὐηράτων
		VI	1 : συρακοσίῳ
		VII	18 : εὐρυχόρου
		VIII	11 : ἔσπητ'
			20 : ἐξένεπε
			40 : ἐσόρουσε
			82 : ἐνέποι
		IX	34 : πρός
			106 : ἄμμε
		X	17 : ἵλα
			55 : τὸ δὲ σαφανὲς
G	O	II	71 : *νᾶσος
		III	12 : βλεφάρων
		III	15 : *ἄθλων
		IV	10 : ψαύμιδος G^2
		VIII	8 : *λιταὶ G^2
		X	14 : μέλει $G^{p.c.}$
			51 : νώνυμος $G^{p.c.}$
			104 : *κεχραμμένον
H	O	I	31 : ἐπιφέροισα
			53 : λέλογχεν
			53 : κακηγόρους
			58 : κεφαλῆς
		II	72 : περιπνέουσιν H^2
		III	27 : πολυγνάπτων
		VIII	17 : πὰρ

Из рукописей геттингенской традиции наиболее заметными в рукописи греч. 699 оказались следы рукописи G.

2. ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ И ПАРИЖСКАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Проследим связи ленинградской рукописи с основными представителями этой традиции — рукописями CNOØ [20].

CNØ	O	II	96 : συναντώμενος
		III	7 : θεόδματον
			31 : ἴδε
		IV	25 : χέρες
		V	5 : ἐγέραρεν N^2
			13 : ὑψίγυιον
		VI	16 : θήβαισι
			34 : λάχετ'
			38 : περ' ἀτλάτου
			54 : ἐγκέκρυπτο
		VII	29 : ἔκταν'ἐν
			38 : μάτηρ
CNO	O	VII	48 : αἰθούσας
		X	22 : παῦροι τινές
			35 : ἐπειῶν βασιλεύς
			76 : θαλίαισιν
			85 : φάνεν $N^{corr.}$
			94 : ἀναπάσσει
		XI	19 : αἰχματὰν
		XII	12ª : ἐσθλόν
CN	O	I	26 : ποσειδῶν
			75 : ἔειπε
			87 : τε om.
			100 : βροτῷ $C^{p.c.}$

---

[19] G — Gottingensis phil. 29, XIII в.
H — Vaticanus gr. 41, XIV в.

[20] C — Parisinus gr. 2774, XIII—XIV в.
N — Ambrosianus E 103 sup., XIII в.
O — Leidensis Vossianus gr. Q 4 B, XIII—XIV в.
Ø — Vaticanus gr. 915, XIII—XIV в.

		II	29	: νηρῆος $C^{s}N^{s}$
			63	: ἐσθλοὶ
		III	12	: βλεφάρων
		IV	5	: ἐσθλοὶ
		IX	96	: πανάγυριν
			112	: ἰλιάδα
CØ(O)	O	III	27	: πολυγνάπτων
		VI	44	: κνιζομένα
		VIII	3	: ἀργικεραύνου $C^{p.c.}$O
			17	: πὰρ $C^{a.c}$O
			84	: ἐσθλοῖς O
		X	51	: νώνυμος $O^{a.c.}$
NØ(O)	O	IV	19	: καὶ om.
		VI	76	: ποτιστάζει
			92	: συρακουσσᾶν O
C	O	VI	1	: *εὐτυχεῖ
		VII	36	: ἀθαναία $C^{p.c.}$
			89	: δίδου C^{s}·
			94	: μιᾷ μοίρᾳ
		VIII	20	: ἐξένεπε
		VIII	20	: πάλῃ
			40	: ἐσόρουσε $C^{p.c.}$
			45	: πρώτοις
			82	: ἐνέποι
		IX	17/18	: παρ' ἀλφεοῦ
			76	: μιν
N	O	I	53	: κακηγόρους
			82	: *τί κέ τις
			94	: τῶν
			100	: *βροτῷ
		II	72	: περιπνέουσιν
		III	33	: δωδεκάγναπτον
		IV	10	: φαύμιδος
		V	14	: *ἀπ' N^{s} : ἀμηχανίας
		IV	41	: *τῇ μὲν
		IX	103	: ἄνευ δὲ $N^{p.c.}$
			106	: ἄμμε $N^{p.c.}$
		X	20	: *κε $N^{p.c.}$
			36	: *ἴδε $N^{p.c.}$
O	O	VI	93	: *καθαρῷ om.
		VIII	84	: *ἐσθλὰ δ'ἐπ' ἐσθλοῖς

Из рукописей парижской рецензии наиболее заметными в рукописи греч. 699 оказались следы рукописи N, отчасти C.

3. ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ И АМБРОЗИАНСКАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Амброзианская традиция представлена, главным образом, рукописью A [21].

Ее влияние на ленинградскую рукопись очевидно:

O	I	44	: γανυμήδης
		53	: λέλογχεν
	III	12	: βλεφάρων
		34	: *εἰς
		35	: *διδύμοις
		36	: ἐπέτραπεν
		44	: στηλᾶν
	IV	10	: ἥκει
		19	: καὶ om.
	V	8	: νικήσας
		9	: εὐηράτων
	V	14	: ἀμηχανίας
	VI	6	: συρακουσᾶν
		34	: λάχετ'
		38	: περ' ἀτλάτου
		58	: *ποσειδῶν'
		63	: ἐς χώραν
		70	: *τότ' αὖ
		76	: ποτιστάζει
		78	: ἐδώρησαν

[21] A — Ambrosianus C 222, XIII в.

O	VI	90: *φεύγομεν A^corr.		VIII	45: πρώτοις
		92: συρακουσσᾶν		IX	17/18: παρ' ἀλφειοῦ
		105: εὐτερπὲς			76: μιν
	VII	29: ἔκταν' ἐν		X	14: μἕλει
		38: μάτηρ			22: παῦροι τινὲς
		48: αἰθούσας			35: ἐπειῶν βασιλεὺς
		57: *ἁλμυροῖς			55: τὸ δὲ σαφανὲς
		64: *ἐκέλευσε			85: φάνεν
		74: *ἔχον			105: *γανυμήδει
		89: δίδου		XI	19: αἰχματὰν
		94: μιᾷ μοίρᾳ			
	VIII	3: ἀργικεραύνου			

Следы рукописи A в ленинградской наиболее ощутимы в песнях: III, VI, VII и X.

II

Ленинградская рукопись испытала на себе влияние и византийских изданий: Максима Планудa, Мануила Мосхопула и Дмитрия Триклиния.

1. ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ И ИЗДАНИЕ ПЛАНУДА [22]

Общими для ленинградской рукописи и Планудa являются следующие чтения:

O	I	46: δ' ἄφαντος	V	13: ὑψίγυιον
		75: ἔειπε	VI	16: θήβαισι
		78: ἐς		34: λάχε
		87: τε om.		75: πρῶτον
	II	41: ἐριννὺς	VII	12: τ'ἐν ἔντεσιν
	III	31: ἴδε	IX	13: παλαίσμασιν
	IV	6: ἀλλ' ὦ χρόνου παῖ		18: 'αλφειοῦ
		19: καὶ om.	X	13: ζεφυρίων
		25: χέρες		35: ἐπειῶν βασιλεὺς
	V	5: ἐγέραρεν		

2. ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ И ИЗДАНИЕ МОСХОПУЛА [23]

Общими для ленинградской рукописи и Мосхопула являются чтения:

---

[22] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 247—255.
[23] Там же, стр. 270—286.

O I 26 : ἔξελε
28[в] : φρένας om.
48 : ἀμφ'ἀχμὰν om.
52 : ἄπορα
58 : αἰεὶ
65 : om. οἱ ante προῆκαν
74 : πὰρ ποσὶ
80 : ἐρῶντας
82 : οἶσιν
86—86в : ἐφάψατ' ὧν
89 : τέκε δὲ
101 : ἱππικῷ
104 : ἄλλον ἢ
113 : ἐπ'ἄλλοισι

II 52 : παραλύει δυσφρόνων
63 : ἀλκᾷ χερῶν
70 : ἔτειλαν
85 : φωνᾶντα
III 14 : ἀμφιτρυωνιάδας
IV 19 : καὶ om.
VI 18 : νῦν πάρεστι
30 : ἰοβόστρυχον
42 : ἐλευθὼ συμπαρέστασέν τε
100 : λείποντ'
104 : δίδου
VII 89[sl] : δίδου

3. ЛЕНИНГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ И ИЗДАНИЕ ТРИКЛИНИЯ[24]

Общими для ленинградской рукописи и изданий Триклиния являются чтения:

O I 65 : ἀθάνατοι οἱ
73 : εὐρυτρίαιναν
84 : οὑτοσὶ
85 : δίδοι
II 63 : βίοτον
» : νέμονται
V 21 : ποσειδανίοισιν
VI 1 : εὐτυχεῖ
6 : τᾶν om.

VI 28 : γ'ἐλθεῖν
34 : γ'ὃς
35 : ἀφροδίτης
59 : θεοδμήτας
72 : ὄλβος δ'ἅμ'
83 : προσέλκει
101 : ἀπεσκίφθαι
105 : εὐτερπὲς
VII 21 : ἀγγέλων

III

Обращает на себя внимание близость ленинградской рукописи к римскому изданию Каллиерги 1515 г.[25] Эту близость можно проследить на протяжении всех двенадцати од. Ограничимся, однако, в подтверждение сказанного I, VI и X песнями.

O I 26 : ποσειδῶν
41 : ἂν ἵπποις
44 : γαννυμήδης
48 : ἀμφ'ἀχμὰν
52 : ἄπορα
53 : λέλογχεν

I 57 : τὰν οἱ
58 : κεφαλῆς
60 : ἀθανάτων
66 : αὖθις
71 : ἄγχι δ'
74 : πὰρ ποσὶ

[24] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 331—364. Ж. Иригуэн предполагает существование двух изданий песен Пиндара, подготовленных Триклинием. А. Турын отрицает наличие второго издания (см. A. Turyn. The Byzantine manuscript tradition of the tragedies of Euripides. Urbana, 1947, p. 34—35).

[25] «Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. . .». Romae, 1515.

O I 80 : ἐρῶντας
82 : τί κέ τις
84 : οὑτοσὶ
86 : ἐφάψατ' ὧν ἔπεσσι
89 : μεμαλότας
101 : ἱππικῷ
110 : σὺν ἅρματι
O VI 4 : εἰ δ'εἴη
6 : συρακουσᾶν
6 : φύγοι
11 : ποναθῇ
13 : γλώσσης
18 : νῦν πάρεστι
23 : ἤ τάχος
28 : σάμερον γ'
30 : ἰοβόστρυχον
33 : βρέφος γ'
34 : λάχετ'
42 : ἐλευθὼ συμπαρέστασεν
49 : τέκοι
54 : ἀπειράτῳ
58 : ποσειδῶν
59 : θεοδμήτας
63 : ἐς χώραν
70 : τότ' αὖ
75 : πρῶτον
» : δρόμον γ'
76 : ποτιστάζει
78 : ἐδώρησαν
83 : προσέλκει
91 : κρητὴρ
92 : συρακουσσᾶν
95 : δάματρα
100 : ματέρ'
» : λείποντ'
104 : δίδου
O X 3 : ἐμᾶς
8 : 'αμὸν

O X 8 : κατήσχυνε
9 : ὁ τόκος
13 : ἀτρέκεια
» : ζεφυρίων
17 : ἴλα
21 : ὥρμασε
23 : ἔργων
25 : βίη ἡρακλέος
29 : ἄκονθ'
33 : ἅμενον
36 : ἴδε
40 : ἄπορον
42 : ἀντήσας
43 : πίσσᾳ
46 : κύκλω πέδον
47 : ἔθηκε
51 : νώνυμος
» : πολλᾷ
55 : πόρσω
57 : ἄρα ἔστασεν
62 : ἅρμασιν
65 : τρέχων
66 : ἧκεν
67 : δὲ τέλος
71 : φράστωρ δ'
72 : ἅπαντας
82 : γ'ἐν ἅπαντι
83 : ἀρηρότα
87 : ἥκοντι
» : νεότατι
» : το πάλιν
» : φιλότατι
93 : ἵκηται
94 : ἀναπάσσει
95 : ἔχοντι
100 : χειρὸς
103 : γ'ἰδέα
104 : κεχραμμένον

Однако между ленинградской рукописью и римским изданием имеются и определенные различия.

Нередки случаи, когда римское издание совпадает с венецианским изданием Альда (1513 г.) [26], а ленинградская рукопись с ним расходится

[26] «Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. . .», Venetiis in aedib. Aldi, 1513.

O II 91 : ἀκράγαντα : ἀκράγαντι [27]
96 : συναντώμενος : συναντόμενος
III 2 : κλεινὴν : κλεινὰν
6 : χαίτεσι : χαίταισι
7 : θεόδμητον : θεόδματον
21 : ἁγνὴν : ἁγνὰν
28 : πρόθεν : πατρόθεν
30 : ἱερὰν : ἱρὰν
33 : δωδεκάγναπτον : δωδεκάγναμπτον
34 : νιν εἰς : νῦν ἐς
» : εἴσσεται : νίσσεται
41 : εὐσεβῆ : εὐσοβεῖ
IV 5 : ἔσαν : ἔσαναν
25 : χέρες : χείρες
V 6 : πεμπαμέροις : πεμπταμέροις
11 : ὤαννον : ὤανον
19 : ἠπύων : ἀπύων
VI 18 : συρακοσίῳ : συρακουσίῳ
20 : σαφῶς : σαφέως

O VI 31 : κρύψε : κρύψαι
35 : ἀφροδίτης : ἀφροδίτας
37 : μελέτῃ : μελέτᾳ
41 : τῇ : τᾷ
93 : καθαρῷ om. : καθαρῷ
99 : ἀπὸ : οἱ ἀπὸ
VII 48 : δ'ἐν : ἐν om.
80 : μήλων: μάλων
VIII 8 : πληρέονται : ἄν(ν)εται δὲ
16 : πρόφατον : πρόφαντον
23 : πολλᾶ : πολλὰ
26 : ὕπο ἔστασε : ὑπέστασε
32 : τεύξειν : τεῦξαι
38 : ἐσαλώμενοι : ἐσαλλόμενοι
» : κάπτετον : κάπετον
45 : πρώτοις : πρώτοισιν
88 : ἀέξει : ἀέξοι
IX 27 : καὶ om. : καὶ
88 : ἔσχε : ἔσχεθε
X 70 : σᾶμος ἠείδετο : σᾶμ' ἀλιρροθίου

Можно отметить и другие, как правило, незначительные различия между ленинградской рукописью и римским изданием.

O II 87 : παγγλωσίᾳ : παγγλωσσίᾳ
III 10 : νείσσοντ' : νίσσοντ'
23 : ἔθαλλεν : ἔθαλλε
VI 19 : οὐ δύσερίς τις ἐὼν : οὔτ' ὦκ δύσερίς τις
72 : ὄλβος δ' : ὄλβος

VII 64 : ἐκέλευσε : ἐκέλευσεν
VIII 16 : ὃν μὲν : σὲ μὲν
IX 33 : ῥᾶβδον : ῥάβδον
52 : ἀνάπωτιν : ἀνάποσιν
X 66 : μιδέαθεν : μηδέαθεν
73 : παραίθυξε : παραίθηξε

Есть, таким образом, основание предполагать общий источник для ленинградской рукописи и римского издания.

Известно, что базой олимпийских песен в издании 1515 г. является издание Триклиния [28]. Т. Моммзен считал, что в них можно обнаружить следы схолий рукописи B и H и издания

---

[27] Первое чтение — ленинградской рукописи, второе — римского и венецианского изданий.
[28] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 412—413.

Альда [29]. А. Турыну основой Олимпик римского издания представляется рукопись В [30].

Следует отметить, что анализ ленинградской рукописи (см. выше), подтверждая вышеприведенные заключения, проливает дополнительный свет и на источники римского издания, выявляя его связи и с такими рукописями, как А, G, N.

IV

1. ТЕКСТОВЫЕ СХОЛИИ

Текст ленинградской рукописи (л. 1—55 об.) сопровождается схолиями, выполненными черными чернилами и размещенными на полях.

Удалось установить, что это — так называемые новые схолии (σχόλια νεωτέρων), автором которых признается Дмитрий Триклиний. Они весьма близки к схолиям Триклиния в римском издании 1515 г.[31]

Схолии на л. 1 (O I, 24—29) начинаются следующими словами: τὸ ἑαυτου σῶμα διδοὺς ἐν τοῖς δρόμοις, μὴ δεόμενον κέντρου· τῇ νίκῃ δὲ ἥνωσε, τουτέστι νικῆσαι ἐποίησε τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην ἱέρωνα τὸν βασιλέα τὸν συρακούσ' τὸν τῇ ἱππικῇ χαίροντα.

Они совпадают полностью с соответствующими триклинианскими схолиями римского издания. Можно отметить лишь незначительное различие между ними на л. 1 (ad O I, 27):

гр. 699	изд. 1515 г.
περιττῶς καλεῖται	περιττῶς κεῖται
τὸ φαίδιμον	τὸ φαίδιμον

На л. 8 (начало O II) наверху слева красными чернилами сделана отметка: σχόλια τῶν αὐτῶν. До начала схолийб олее темными чернилами и другим почерком вписано вступление (ὑπόθεσις) из старых схолий[32]. γέγραπται δὲ ἐπινίκιος θήρωνι τῶ ἀκραγαντινῶ τῶ ἅρματι νικήσαντι τὴν οζ' ὀλυμπιάδα и т. д. Заканчивается оно словами: ἦν δὲ ὁ θήρων υἱός ε͗νησιδάμου.

Вступление это полностью соответствует триклинианскому [33], от римского издания (старые схолии) отличается в трех случаях:

гр. 699	изд. 1515 г.
τήν πολυζήλου	τὴν πολυζήλου

[29] «Pindari Carmina, ed. T. Mommsen». Berolini, 1864, p. XLIII.
[30] A. Turyn. De codicillis Pindaricis. Cracoviae, 1932, p. 67—69.
[31] A. Turyn. Указ. соч., тетради k — ξ.
[32] «Scholia vetera in Pindari Carmina, rec. A. B. Drachmann», v. I. Lipsiae, 1903, p. 58.
[33] E. Abel. Scholia recentia in Pindari Epinicia, vol. I, Scholia in Olympia et Pythia. Budapestini et Berolini, 1891, p. 106. В ленинградской рукописи отсутствует лишь после ἔγημε слово ἀδελφήν.

ἀδελφοῦ	τοῦ ἀδελφοῦ
ἀδελφοῦ καὶ ἱέρωνος	ἀδελφοῦ ἱέρωνος
ἔγημε	ἔγημε θυγατέρα

На л. 9 об. (ad O II, 26) излагается τῆς Σεμέλης ἱστορία.

Так же как и в римском издании (новые схолии), следуют затем слова: περισσὸν ἦν ἐνταῦθα τὸ κῶλον τό, φιλέοντι δὲ μοῖσαι, однако указание на Дмитрия Триклиния (Δημητρίου Τρικλινίου) дано не в тексте, а на полях красными чернилами.

На л. 11 (ad O II, 46—52) читаем в:

гр. 699	изд. 1515 г.
αἰνησιδάμου υἱὸν	αἰνησιδάμου υἱὸν
τὸν ἱέρωνα	τὸν θήρωνα
φῶς ἀνθρώπω	φῶς ἀνθρώπω
διάδηλον[34]	ἀληθινόν

На л. 12 (ad O II, 61—67) имеется в:

гр. 699	изд. 1515 г.
λόγον λέγει τὴν ἀπόφασιν	ἀνάγκα. ἀνάγκην λέγει τὴν ἀπόφασιν
ἴσον δὲ οἱ ἀγαθοί	ἴσον σὲ νύκτεσσιν. οἱ σὲ ἀγαθόι
ὄχος, τὸ ὄχημα	ὀχέοντι. ὄχος γὰρ τὸ ὄχημα

На л. 12 об. (ad O II, 67—73).

гр. 699	изд. 1515 г.
ἐς τρὶς, τῆς κατὰ Πυθαγόραν[35]	ὅσοι δ' ἐτόλμησαν. ἔνιοι φασὶ, τῆς κατά Πυθαγόραν

В ленинградской рукописи наблюдается пропуск отдельных предложений или целых схолий, сохраненных в римском издании.

На л. 14 пропущено предложение: φυὴ ἡ ἀναδρομὴ τοῦ σώματος· ἐνταῦθα δὲ φυᾶ, ἀντὶ τοῦ φύσει, и схолии начинаются со слов: οἱ μαθόντες δέ.

На л. 15 (начало O III) пропущен большой отрывок (12 рядов), и схолии начинаются лишь со слов: τοῖς διοσκούροις εὔχομαι ἀρέσκειν τοῖς φιλοξένοις.

Пропущено предложение и на л. 19 в начале IV оды.

Начиная с л. 40 об., характер схолии ленинградской рукописи больше отклоняется, а то и совсем отличается от римского издания. Так, например, начало схолий к VIII оде — γέγραπται ὁ ἐπινίκιος ἀλκιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ и т. д. — отсутствует в издании 1515 г., а их продолжение (л. 41 и 41 об.) не полностью с ним совпадает[36].

---

[34] Заслуживает внимания, что вышеотмеченные варианты ленинградской рукописи (τὸν ἱέρωνα, διάδηλον) представлены и в некоторых других рукописях, в частности, в рукописи μ′ (Vindobonensis phil. gr. 219), см. E. Abel. Указ. соч., p. 127 (ad O II, 83—102).

[35] Совпадает с рукописью μ′; см. E. Abel. Указ. соч., стр. 132.

[36] Однако и на этот раз они совпадают с рукописью μ′ и др. (см. E. Abel. Указ. соч., стр. 282—285).

Итак, можно заключить, что текстовые схолии ленинградской рукописи являются по своему происхождению триклинианскими и представляют собой несколько иногда сокращенный вариант новых схолий, сохранившихся в римском издании.

2. МЕТРИЧЕСКИЕ СХОЛИИ

Наряду с текстовыми схолиями ленинградская рукопись содержит метрические схолии к V—X одам. Их заглавия выполнены красными, а текст черными чернилами. Заглавие схолия к V оде (л. 21) гласит: † περὶ τῶν κώλων τῶν στροφῶν καὶ ἀντιστροφῶν τοῦ εʹ εἴδους. ἔστι δὲ τὸ ᾆσμα στροφῶν τριῶν †

Метрические схолии ленинградской рукописи отличаются как от схолий римского издания, так и от соответствующих схолий в издании А. Драхмана. Они совпадают почти полностью с метрическими схолиями Дмитрия Триклиния в издании Е. Абеля [37].

Можно отметить лишь незначительные расхождения. На л. 21 при описании эподов пропущена в ленинградской рукописи последняя фраза: ἐπὶ τῷ τέλει τὰ συνήθη σημεῖα (Abel. E., p. 183).

Числа пишутся в ленинградской рукописи, как правило, прописью:

л. 20 об.: τὸ πέμπτον εἶδος,
л. 45: τοῦ ἐνάτου εἴδους [38].

У Е. Абеля сокращенно:

τὸ έ εἶδος (p. 182)
τοῦ θ′ εἴδους (p. 310)

3. ГЛОССЫ

Кроме текстовых и метрических схолий в ленинградской рукописи имеются межстрочные схолии (глоссы), которые в сжатой форме объясняют отдельные слова или выражения. Они написаны красными чернилами и сопровождают весь текст олимпийских од.

Межстрочные объяснения не везде однородны по своему характеру и происхождению. Однако в подавляющем большинстве они почерпнуты из издания Триклиния. В качестве примера можно сослаться на две оды: II и VII.

O II

гр. 699 (л. 8)	Триклиний [39]
Ст. 1.	Ст. 1.
οἱ τῆς φόρμιγγος	οἱ τῆς φόρμιγγος

[37] E. Abel. Указ. соч., стр. 182. См. такие же схолии в так называемой московской рукописи B (Pindari Opera, ed. A. Boeckh, t. II. Lipsiae, 1819, p. 117).

[38] Вариант ленинградской рукописи совпадает с рукописью μ′.

[39] E. Abel. Указ. соч., стр. 108—110.

ἀνάσσοντες	ἀνάσσοντες
ῷ	ῷ
Ст. 3.	Ст. 3.
ἄνθρωπον	ἄνθρωπον
ὑμνήσομεν	ὑμνήσομεν
Ст. 4.	Ст. 4.
δή	δή
ἐνταῦθα γὰρ ὁ	ἐνταῦθα γὰρ ὁ
ὀλυμπιακὸς ἀγών,	ὀλυμπιακὸς ἀγών,
εἰς ὅν ἀνεφέρετο	εἰς ὅν ἀνεφέρετο
Ст. 5.	Ст. 5.
τόν ὀλυμπιακὸν	τόν ὀλυμπιακὸν
ἀγῶνα	ἀγῶνα
ἀντὶ μιᾶς συλλαβῆς	ἀντὶ μιᾶς δυλλαβῆς
οἱ δύο	οἱ δύο
Ст. 7.	Ст. 7.
ἀπαρχάς	ἀπαρχάς
τοῦ πρὸς αὐγείαν	τοῦ πρὸς αὐγείαν
τὸν βασιλέα ἤλιδος	τὸν βασιλέα ἤλισος

O VII

гр. 699 (л. 33)	Триклиний [40]
Ст. 1.	Ст. 1.
ποτήριον	*ποτήριον
ὥσπερ	†ὥσπερ
ἄνθρωπος	ἄνθρωπος
Ст. 2.	Ст. 2.
εὐδαίμονος	*εὐδαίμονος
†πλουσιοδώρου	†πλουσιοδώρου
†διά	†διὰ
τῆς αὐτοῦ	*τῆς αὐτοῦ
†λαβὼν	*†λαβὼν
Ст. 3.	Ст. 3.
οἱονεὶ πηδῶσαν	*οἱονεὶ πηδῶσαν
ἔστιν ὁρᾶν ἐν	ὥσπερ ἐστὶν
τοῖς καλλίστοις	ὁρᾶν ἐν τοῖς
τῶν οἰνων	καλλίστοις
	τῶν οἴνων
Ст. 4.	Ст. 4.
ἤτοι οἴνῳ	*οἴνῳ
δῶρον παράσχοι	*δῶρον παράσχοι
ταύτην	ταύτην
Ст. 5.	Ст. 5.

[40] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 358.

αὐτοῦ	*αὐτοῦ
πρῶτος ἐκ ταύ-	*πρῶτος ἐκ ταύ-
της γευόμενος	της γευόμενος
†ἅμα τῷ πόματι	†ἅμα τῷ πόματι
καί τὴν φιάλην	καὶ τὴν φιάλην
χαριζόμενος	χαριζόμενος
Ст. 6.	Ст. 6.
†ὥστε ἐνεγκεῖν	†ὥστε ἐνεγκεῖν
Ст. 7.	Ст. 7.
δι'ὅλου χρυσῆν	δι'ὅλου χρυσῆν
†ἐξαίρετον κτῆμα	*ἐξαίρετον κτῆμα
τῶν ἄλλων κτη-	τῶν ἄλλων κτη-
μάτων	μάτων
Ст. 8.	Ст. 8.
τὴν ἡδονὴν	*τὴν ἡδονὴν
†τὸ ἐπαγωγόν	†τὸ ἐπαγωγόν
†τὴν αὐτοῦ	*τὴν αὐτοῦ
συγγένειαν	συγγένειαν

Сравнение указывает на полное совпадение межстрочных схолий обеих од с триклинианскими. Крестиком отмечены, как это делал Триклиний, глоссы Мосхопула.

Итак, анализ текстовых, метрических и межстрочных схолий ленинградской рукописи позволяет сделать определенный вывод: их источником является издание Триклиния.

V

Остается выяснить происхождение заглавий олимпийских од и подписей к ним в ленинградской рукописи.

Заглавия II и III од характерны для ряда рукописей:

O II (л. 8)	θήρωνι ἀκραγαντίνῳ ἅρματι ABCEGHL
O III (л. 15)	τῷ αὐτῷ εἰς θεοξένια BEGH

Начиная с IV оды, заглавия ленинградской рукописи точно совпадают с заглавиями издания Триклиния [41].

O IV (л. 19)	φαύμιδι καμαριναίῳ ἵπποις
V (л. 21)	τῷ αὐτῷ φαύμιδι τεθρίππῳ. ἀπήνῃ καὶ κέλητι
VI (л. 24)	ἀγησίᾳ συρακουσίῳ υἱῷ σωστράτου ἀπήνῃ
VII (л. 33)	διαγόρᾳ ῥοδίῳ πύκτῃ νικήσαντι τὴν ἑβδομηκοστὴν οθ' ὀλυμπίαδα

[41] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 342.

VIII (л. 40 об.)	ἀλκιμέδοντι · παιδὶ παλαιστῇ καὶ τιμοσθένει παλαιστῇ ἀδελφῷ αὐτοῦ 'νεμέα. καὶ μελησίᾳ ἀλείπτῃ.
X (л. 52 об.)	ἀγησιδάμῳ λοκρῷ ἐπιζεφυρίῳ παιδὶ πύκτῃ
XI (л. 57 об.)	τῷ αὐτῷ ἀγησιδάμῳ τόκος
XII (л. 59)	ἐργοτέλει ἱμεραίῳ δολιχοδρόμῳ

На тот же источник — издание Триклиния — указывают подписи, следующие за окончанием од, начиная с IV.

O	IV (л. 20 об.)	ὕμνου τέλος ψαύμιδος καμαριναίου
	V (л. 23 об.)	ὕμνου δευτέρου τέλος ψαύμιδος
O	VI (л. 31 об.)	ὕμνου τέλος ἀγησίου συρακουσίου
	VII (л. 39 об.)	ὕμνου τέλος διαγόρου ῥοδίου
	VIII (л. 45 об.)	ὕμνου τέλος ἀλκιμέδοντος
	IX (л. 52 об.)	ὕμνου τέλος ἐφαρμόστου ὀπουντίου
	X (л. 57 об.)	ὕμνου τέλος ἀγησιδάμου λοκροῦ ἐπιζεφυρίου
	XI (л. 58 об.)	τέλος τοῦ τόκου

Эти подписи, как впрочем, и заглавия од ленинградской рукописи отражают триклинианскую традицию [42]. Их можно найти частично в рукописи σ′ (Vratislaviensis Rehd. 40, XVI в.) [43], более полно в рукописи ν′ (Gottingensis phil. 28, XIV в.) [44], полностью в венской рукописи μ′ (Vindobonensis gr. 219, XIV в.), датированной 1337 годом и происходящей, как полагают, из македонского центра — Серры [45].

Связи ленинградской рукописи с рукописью μ′, одним из главных представителей издания Дмитрия Триклиния, не ограничиваются, однако, как показывает анализ, лишь вышеназванными. Они прослеживаются и на всем протяжении текста олимпийских од. Сошлемся на некоторые примеры:

O II	27a	: om. φιλέοντι δὲ μοῖσαι	O II	62	: ἴσα δ'ἐν
	31	: πείρας		63	: ἀλκᾷ χερῶν
	39	: συναντόμενος		65	: κεινὰν
	42	: ἔπεφνε οἱ		70	: ἔτειλαν
	43	: ἐριπόντι		71	: νᾶσος
	52	: ἀγωνίας παραλύει δυσφρόνων		76	: κρόνος
				77	: ὑπέρτατον
				85	: φωνᾶντα
	56	: ἔχει		91	: ἀκράγαντα
	61	: ἴσον δὲ		95	: ἔβα

[42] J. Irigoin. Указ. соч., стр. 342.
[43] Там же, стр. 366.
[44] Там же, стр. 363.
[45] K. v. Holzinger. Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbibliothek. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, 167. Bd. 4, Abteilung (1911), S. 6.

O II 96 : χρύφον
» : ἐσθλῶν
99 : ἐκεῖνος
O VI 1 : εὐτυχεῖ
6 : om. τᾶν
» : συραχουσᾶν
18 : συραχοσίῳ
19 : δύσερίς τις
20 : σαφῶς
23 : ἤ τάχος
28 : σάμερόν γ'
30 : παῖδ' ἰοβόστρυχον
33 : βρέφος γ'
35 : ἀφροδίτης
37 : μελέτῃ
41 : τῇ
42 : ἐλευθὼ συμπαρέστασεν
59 : θεοδμήτας
60 : λαότροφον
70 : τότ' αὖ
75 : δρόμον γ'
83 : προσέλκει
92 : συραχουσσᾶν
93 : σκάπτρ ῳ
99 : ποτινεισσόμενον
100 : λείποντ'
101 : ἀπεσχίφθαι
104 : δίδου
105 : εὐτερπὲς
O VIII 1 : οὐλυμπία
8 : πληρέονται
» : εὐσεβέων δ'
» : λιταὶ
16 : ὃν
» : πρόφατον
20 : πάλῃ
O VIII 23 : πολλᾷ
26 : ὕπο ἔστασε
32 : τεύξειν
38 : ἐσαλώμενοι
» : κάπτετον
39 : πνοὰς
54 : μειλησία
69 : γλῶτταν
78 : χάν νόμον
82 : ἐνέποι
83 : ὤπασεν
84 : ἐσθλὰ δ'ἐπ'ἐσθλοῖς
88 : ἀέξει
O X 8 : ἀμὸν
» : κατήσχυνε
9 : ὁ τόχος
15 : χυχνεία
21 : ὥρμασε
25 : βίη ἡραχλέος
» : ἐκτίσατο
33 : ἄμενον
42 : ἀντήσας
43 : πίσσᾳ
47 : ἔθηκε
56 : πολέμου δὲ δόσιν
58 : ἐν ὀλυμπιάδι
60 : ποταίνιόν γε
66 : ἧκεν
67 : δὲ τέλος
70 : σᾶμος ἡείδετο
71 : φράστωρ δ'
72 : ἅπαντας
82 : γ' ἐν ἅπαντι
83 : ἀρηρότα
87 : το πάλιν
103 : γ'ἰδέα
104 : χεχραμμένον

Заслуживают внимания два обстоятельства. Почти все варианты, отличающие ленинградскую рукопись от рукописей ватиканской, парижской и амброзианской традиций, в том числе и не представленные или редко встречающиеся в других источниках, имеются и в рукописи μ'[46]. Вместе с тем многие чтения, общие для ленинградской рукописи и рукописи μ', встречаются

[46] Ср. например, O VII, 75: πατρῴϊαν, O VIII, 38: ἐσαλώμενοι, κάπτετον, O VIII, 54: μειλησία с глоссой τοῦ и примечанием διὰ τὸ μέτρον (см.: T. Mommsen. Указ. соч., стр. 73—75).

Ἰωάννης ἀναγνώστης

a. 1337: Palat. phil. gr. 219, f. 66r.

Leningr. gr. 699, f. 8r.

не только в других триклиниайских рукописях (ν', σ', ρ', τ'), но и в ряде рукописей, восходящих к изданиям Мануила Мосхопула (a. k, n, o, q, x) [47]

* * *

Ленинградская рукопись (греч. 699) олимпийских песен Пиндара должна быть отнесена к типу смешанных рукописей, на это указывают сохранившиеся в ней следы нескольких источников. В ее основе лежит, по-видимому, ватиканская рецензия, о чем свидетельствует близость к рукописям B (EF) L. Связи с рукописью L выступают наиболее четко в VI и VIII, с рукописью B — в I, III, VI, VIII, X и XII одах. Влияние геттингенской рецензии и, в частности, рукописи G наиболее ощутимо во II, III, VIII и X песнях. Из рукописей парижской рецензии наиболее близкой к ленинградской оказалась рукопись N. Ее чтения мы находим в I, V, VI, IX и X одах. И, наконец, в III, VI, VII и X одах сохранились явные следы главного представителя амброзианской рецензии — рукописи A.

Если попытаться выделить из названных рукописей основные, то ими окажутся рукописи: B, N и A.

Однако каковы бы ни были источники ленинградской рукописи, окончательная их обработка принадлежит византийским ученым. Можно проследить в ней определенное число чтений Плануда и Мосхопула. И все же наиболее значительными являются связи нашей рукописи с изданием Дмитрия Триклиния. Эти связи наиболее ощутимы начиная с IV оды.

Сличение рукописи с римским изданием Каллиерги 1515 г. позволило установить большую близость и общее происхождение обоих источников.

Ленинградская рукопись греч. 699, написанная в середине XIV в., оказалась, однако, наиболее близкой к венской рукописи μ'. Столь большое сходство между ними может быть объяснено, по-видимому, или тем, что обе рукописи являются копиями одного и того же источника, или, и это не менее вероятно, что ленинградская рукопись представляет собой одну из копий рукописи μ' [48].

[47] Описание перечисленных рукописей см.: T. Mommsen. Указ. соч., стр. XXIV—XXXVI (ниже: римская цифра); J. Irigoin. Указ. соч., стр. 286—370—394 (ниже: арабская цифра).

ν', σ' — см. выше, стр. 32.
ρ' — Estensis III C 21, XV в. (XXXVI, 387).
τ' — Vindobonensis phil. gr. 144, XV в. (XXXVI, 372).
a — Leidensis Vossianus gr. Q 38, XV в. (XXIV, 394).
k — Monacensis gr. 470, XV в. (XXVI, 286).
n — Leidensis Vossianus gr. Q 39, XVI в. (XXVI, 286).
o — Guelferbytanus Aug. 4°, 48, 23, XV в. (XXVI, 370).
q — Vindobonensis phil. gr. 198,. XIV в. (XXVIII, 286).
x — Vratislaviensis Rehd. 30, XIV—XVI в. (XXX, 384).

[48] На это могло бы указывать, кстати, и отсутствие в ленинградской рукописи метрических схолий к IV оде, случайно пропущенных переписчиком в рукописи μ' (см.: K. Holzinger. Указ. соч., стр. 12).

Это предположение подтвердилось при сопоставлении фотокопий обеих рукописей. Опубликованная И. Биком [49] фотография 66 листа венской рукописи μ′ (начало VIII олимпийской оды) полностью совпадает с соответствующим ей 40 листом (оборот) ленинградской рукописи. Их сходство настолько большое, что уместно поставить вопрос, не написаны ли оба кодекса одним писцом (как известно, венская рукопись μ′ написана рукой Иоанна Анагноста) [50]. Можно, таким образом, полагать, что и ранее отмеченные совпадения не являются случайными, сопоставление же полных фотокопий обеих рукописей позволит уточнить их пределы.

Вполне возможно, что ленинградская рукопись Пиндара принадлежит к числу триклинианских рукописей, предназначенных для учебных целей и переписывавшихся в «серийном» порядке в определенных центрах [51].

* * *

Учитывая близость к венской рукописи Vindob. phil. gr. 219 (μ′), предлагаю установить для ленинградской рукописи индекс: μ″ (Leningrad. gr. 699).

Приношу искреннюю и глубокую благодарность главному библиотекарю отдела рукописей ГПБ Евгении Эдуардовне Гранстрем за ценные советы и оказанную мне большую помощь в работе над рукописью.

---

[49] J. Bick. Die Schreiber der Wiener griechischen Handschriften. Wien—Prag—Leipzig, 1920, Tafel XXIII.

[50] Ἰωάννης ἀναγνώστης, см.: K. Holzinger. Указ. соч., стр. 97.

[51] Ср.: A. Turyn. The manuscript tradition of the tragedies of Aeschylus. N. Y., 1943, p. 104; A. Turyn. The Byzantine manuscript tradition of the Tragedies of Euripides, p. 194—195.

В. Н. Ярхо

РАЗМЫШЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПЕЛАСГА В ТРАГЕДИИ ЭСХИЛА «МОЛЯЩИЕ»

Полемика по вопросу о размышлении и решении человека у Гомера и Эсхила, разгоревшаяся в зарубежном литературоведении свыше тридцати лет назад, не утихла до сих пор [1]. Однако только героический эпос изучен в этом отношении достаточно подробно [2]. Что касается эсхиловской трагедии, то лежащие в ее основе принципы изображения человека все еще нуждаются в исследовании, которое по своему объему должно выйти далеко за пределы данной статьи. Здесь мы ограничимся — на материале одного лишь образа Пеласга из «Молящих» — выяснением того, как «отец трагедии» видит и изображает психическое состояние человека, поставленного перед необходимостью принять определенное решение, и чем отличается такой персонаж у Эсхила от изображенного в аналогичной ситуации гомеровского героя. Пеласг выбран нами для этой цели не случайно: его размышления не осложнены ни сознанием предопределенности, как это имеет место, например, у Этеокла, ни необходимостью мстить, испытываемой героями «Орестеи». Среди основных действующих лиц эсхиловского театра образ Пеласга является, несомненно, наиболее нормативным, и это сближает его с гомеровскими вождями, которые также выступают как носители идеальных свойств царя и главы племени.

Впрочем, здесь же начинается и различие: как давно замечено, Пеласг для Эсхила — идеальный «демократический» царь, и характер его власти, резко контрастирующий с образом действий по отношению к массе народа гомеровских царей, интересен для нас не только как анахронизм, отражавший собственное предста-

---

[1] E. Wolff, рец. на кн.: B. Snell. Aischylos und das Handeln in Drama. — «Gnomon» 5 (1929), S. 390; B. Snell. Das Bewußtsein von eigenen Entscheidungen im frühen Griechentum. — «Philologus», 85 (1930), S. 144—147; K. Lanig. Der handelnde Mensch in der Ilias. Erlangen, 1954, S. 55—75.

[2] О современном состоянии вопроса и важнейшей литературе см.: В. Н. Ярхо. Проблема ответственности и внутренний мир гомеровского человека. — ВДИ, 1963, № 2, стр. 46—64.

вление Эсхила о методах управления государством [3]. В стремлении Пеласга опереться на волю народного собрания, пробудить чувство ответственности во *всем* народе видят иногда попытку уклониться от ответственности, укрывшись за решение народа [4]. Подобное мнение представляется нам совершенно ошибочным: Пеласг сначала принимает *свое* решение и только потом выносит его на обсуждение народного собрания, причем доводы в защиту Данаид, приводимые там царем в категорической форме (615—620), представляют не что иное, как результат его собственного длительного размышления. Именно потому, что оценка своих действий с точки зрения интересов всего государства является в глазах Эсхила нормой поведения для его современника — афинского гражданина, показ человека в момент выбора решения, раскрытие мотивов, по которым он совершает свой выбор, представляет актуальнейшую нравственную проблему и для «отца трагедии» и для его зрителей. Как же протекает процесс размышления Пеласга?

После того, как Данаиды доказали свое родство с аргивянами и тем самым получили право на покровительство с их стороны (274—325), они формулируют самое содержание просьбы: не выдавать их детям Египта. Пеласг пытается выяснить, в какой мере дело Данаид справедливо; последние, как известно, все время тщательно избегают обсуждения правовых вопросов, переводя конфликт в другую плоскость: тяжел гнев Зевса, покровителя молящих о защите (343—346). Под влиянием этого довода уже в финальных репликах стихомифии намечается смысл дилеммы, возникающей перед Пеласгом: тяжелое дело — начать войну с неопределенным исходом [5] (341); в то же время Пеласга одолевает страх при виде алтарей, осененных молитвенными ветвями (345). Причину этого страха объясняет хор: тяжел гнев Зевса (346). Таким образом, две стороны альтернативы не только излагаются изолированно одна от другой (в тексте нет какого-либо противительного союза или частицы, вроде αὖ или δέ, которые бы соответствовали нашему «вместе с тем», «с другой стороны» и т. п.), но и вся дилемма поделена при ее возникновении между двумя спорящими сторонами. Две возможности формулируются независимо друг от друга, и зрителю самому предоставляется установить их несовместимость [6].

---

[3] Ср. также демократическое голосование, описываемое в ст. 601—624; см.: H. G. R o b e r t s o n. Legal Expressions and Ideas of Justice in Aeschylus. — CP, 34 (1939), p. 211.

[4] B. S n e l l. Aischylos und das Handeln im Drama. Leipzig, 1928, стр. 60.

[5] πόλεμον νέον. Перевод «новую войну» здесь не годится, потому что зрителю ничего не известно о какой-либо другой войне, которую пришлось в недалеком прошлом вести аргивянам. Поэтому предпочительнее перевод Мазона: «une guerre incertaine».

[6] Полную противоположность этому представляет размышление Агамемнона, о котором сообщается в «Орестее»: здесь смысл дилеммы — принести в жертву собственную дочь или обмануть ожидания союзников — с самого

Впрочем, очень скоро необходимость подобного сопоставления сознается самим Пеласгом. В коммосе, следующем за стихомифией, он не один раз возвращается к двум изложенным выше мотивам, причем связь между ними становится все более тесной и неизбежной. Характерным для развития мысли Пеласга является именно настойчивое *повторение* «ключевых» понятий, неотступно владеющих его сознанием, но только постепенно оформляющихся в четкую логическую антитезу.

«Я вижу, как наклоняет головы (в знак одобрения, νεύονθ') собрание городских богов, осененное свежесорванными ветвями, — говорит Пеласг в ямбическом монологе первой строфы. — О если бы дело согражданок-чужеземок было безвредным и не возникла неожиданная и непредвиденная брань для города; в ней нет нужды для города» (354—358). Здесь κατάσκιον ὅμιλον (354 сл.) соответствует ἕδρας κατασκίους в стихомифии (345), а ἐξ ἀέλπτων... νεῖκος (358) продолжает мысль, сформулированную в ст. 341: πόλεμον νέον. Вместе с тем на первое место выдвигаются интересы государства: два последние стиха энергично завершаются словами πόλις (πόλει) (357 сл.), как и в последующих монологах Пеласга, — ст. 366, 401, 410.

Новый вариант противопоставления — в ямбической части второй строфы: Пеласг не видит средств помочь беглянкам без вреда для города, но и не почтить их мольбы — неблагоразумно, οὐδ' εὔφρον (378). Не оказав помощи молящим, поступив οὐδ' εὐφρόνως, Пеласг совершит нечестивый поступок. Это серьезная опасность, и душевное состояние царя находит выражение в известных словах: «Я в смятенье, и страх [7] обуревает рассудок. Действовать мне или нет? Принять, что посылает судьба?» (379 сл.).

В сущности только в предшествующих стихах впервые четко формулируется дилемма в противопоставлении ее двух взаимоисключающих частей, хотя формально она еще не вполне вычленена: первая ее часть носит не самостоятельный характер, а соединена с предыдущей партией хора. В ответ на предостережение «бойся осквернения» (375) Пеласг говорит: «Врагам моим пусть будет осквернение (ἄγος μὲν...), вам же помощь (ὑμῖν δ' ἀρήγειν...)» и т. д. Зато вторая часть дает явную оппозицию первой посредством οὐδ' αὖ — «но с другой стороны», «но в свою очередь». Итак, вся альтернатива умещается в двух стихах второй строфы, конденсирующих содержание первой строфы.

начала сформулирован с предельной четкостью (βαρεῖα μὲν..., βαρεῖα δ' ..., Agat. 206 сл.), не оставляющей никакого сомнения в том, что Агамемнон сразу же осознал возникшее противоречие как свою собственную этическую проблему.

[7] Φόβος, подхватывая мотив πέφρικα из стихомифии (345), вместе с тем значительно его углубляет: там был почти безотчетный «трепет», «дрожь» при виде молящих у алтарей, здесь — осознанный страх за судьбу государства.

Последний этап размышления содержится в более обширном монологе Пеласга (407—417), примыкающем к лирической партии третьей антистрофы. После вводного образа пловца, ныряющего в глубину, чтобы «смотреть незамутненным взором», Пеласг снова — на этот раз более обстоятельно — формулирует возможный исход событий, сначала в позитивном плане («чтобы прежде всего это было безвредно для города и для меня самого окончилось хорошо», 410 сл.), затем — в негативном: «чтобы война не наложила рук на добычу и чтобы, выдав вас, сидящих так у алтарей богов, не вызвать губительного бога, тяжкого сожителя аластора, который и в Аиде не отпускает умершего» (412—416). Обращает на себя внимание своеобразное «подведение итогов» предшествующих мыслей Пеласга: ἄνατα (410) — βλάβης ἄτερ (377) — ἄνατον (356); πόλει (410 — 401 — 366) (везде в конце стиха); δῆρις (412) — νεῖκος (358) — πόλεμον (341); ἐν θεῶν ἕδραισιν (413) — ὅμιλον τῶνδ' ἀγωνίων θεῶν (355) — τάσδ' ἕδρας (345); ἐκδόντες (414) — μὴ'κδῷς (340); βαρὺν ... ἀλάστορα (415) — ἄγος (375 сл.) — βαρύς γε ... κότος (346). Из этого ясно, что Пеласг в своих размышлениях нисколько не продвинулся вперед по направлению к какому-либо определенному решению; весь коммос показывает, как долго и трудно приходит он только к сравнительно обстоятельному *сопоставлению* двух возможностей. Из самого же монолога, 407 сл., построенного по принципу «кольцевой композиции» [8], видно, что Пеласг больше других нуждается в приведении своих мыслей в ясность. «Необходимо глубокое размышление о спасении», — начинает он свою речь (407). «Так разве вам не кажется, что необходимо размышление о спасении?» — завершает он монолог (417), и эти слова в такой же мере обращены к Данаидам, как и к зрителям, следящим с напряжением за борьбой двух мыслей в голове Пеласга.

Для понимания глубочайшего, принципиального различия в изображении человека в эпосе и у Эсхила коммос Пеласга с Данаидами является одним из самых наглядных доказательств. Конечно, и в «Илиаде» есть разница между коротким, всего в в восемь стихов, размышлением Одиссея в XI книге (403—410) и развернутым внутренним монологом Гектора (XXII, 98—130), в котором формуле ἀλλὰ τί ἤ μοι... предшествует рассмотрение нескольких возможностей поведения героя. И тем не менее конечный вывод — «однако что у меня задумался над этим мой дух?» — совпадает в размышлениях и Гектора, и Одиссея, потому что размышляющий твердо знает, на какую *однозначную норму* он должен ориентироваться [9].

---

[8] W. A. A. van Otterlo. Beschouwingen over het archaische element in den stijl van Aeschylus. Utrecht, 1937, S. 76—105; «Untersuchungen über Begriff, Anwendung und Entstehung der griechischen Ringkomposition». Amsterdam, 1944, S. 1—5, 39—41.

[9] См. В. Н. Ярхо. Указ. соч., стр. 60—62.

Если бы Пеласг мог сказать, наподобие Одиссея в XI книге «Илиады»: «Знаю», οἶδα γάρ! На протяжении семидесяти стихов эсхиловский Пеласг четырежды оказывается перед одной и той же альтернативой и достигает в конечном счете только понимания того, что он все еще нуждается в размышлении [10]: перед ним нет раз навсегда данной нормы, а противостоят два одинаково справедливых тезиса.

Итак, по-прежнему остается необходимость в размышлении. В небольшой лирической партии, тесно примыкающей к монологу Пеласга (δεῖν φροντίδος — φρόντισον, 417 сл.), хор снова повторяет свое требование: «не выдай беглянку». Сказуемое μὴ προδῷς соединяет «хорикон» как с финалом стихомифии (μὴ' κδῷς, 340), так и с коммосом (ἐκδόντες, 414); объект τὰν φυγάδα возвращает нас к началу коммоса (τὰν ἱκέτιν φυγάδα, 349). К этому надо прибавить призыв хора γενοῦ πανδίκως εὐσεβὴς πρόξενος (418 сл.), отвечающий на вопрос Пеласга в финале стихомифии: πῶς οὖν πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω (339), — чтобы проявить свою εὐσέβεια, Пеласг должен взять Данаид под защиту.

Ответ Пеласга на новое наступление хора [11], так же тесно связанный с хоровой партией, как она — с предшествующим монологом (τάδε φράσαι — καὶ δὴ πέφρασμαι, 437 сл.), производит впечатление довольно категорического решения; царю, наконец, стало ясно, что неизбежна суровая война (439, ср. 341) — либо в защиту Данаид, либо против них — последнее, разумеется, не в буквальном смысле слова; без горя невозможен поворот государственного корабля ни в ту, ни в другую сторону (438—442). Однако от войны в буквальном смысле слова, влекущей за собой гибель единокровных с ним граждан (ὅμαιμον αἷμα, 449), Пеласг недвусмысленно хочет откупиться обильными жертвоприношениями богам (450 сл.), ибо предвидит ее печальный исход для Аргоса.

Данаиды переходят в последнее наступление, угрожая повеситься на статуях богов (462, 465). Это очевидное осквернение городских святынь заставляет Пеласга окончательно осознать всю глубину непреодолимых бедствий, обрушивающихся на него, как грозный поток, как бездонное, неприютное, непроходимое море, — от зол нигде нет пристанища (468—471). В последний

---

[10] Декингер Н. (Deckinger. Die Darstellung der persönlichen Motive bei Aischylos und Sophocles, Leipzig, 1911) полагал, что в размышлении Пеласга «самым тщательным образом взвешиваются «за» и «против». Декингер, однако, не заметил истинной природы этой «тщательности», которая создается не путем расширения и углубления аргументации, а в результате неоднократного возвращения к одной и той же альтернативе, — характернейший пример архаического образа мышления с передачей качества через количество!

[11] Ср. ἕδραισιν (413) — ἕδρᾶν (423): Пеласг боится выдать Данаид, *сидящих у алтарей* богов, — они же рисуют перед ним страшную картину, как их станут на глазах у предавшего их царя *оттаскивать от алтарей*.

раз, теперь уже с соблюдением строгого синтаксического параллелизма (εἰ μὲν..., εἰ δ' αὖθ'...), Пеласг формулирует альтернативу: если не выполнить долга по отношению к молящим, грозит безмерное осквернение (μίασμ'... οὐχ ὑπερτοξεύσιμον, 472 сл.); если же встать в битве на их защиту против единокровных им детей Египта, — то не горькая ли это утрата: обагрить землю кровью мужей ради женщин? (474—477) [12]. Заметим, что пролитие крови сограждан по-прежнему беспокоит Пеласга (αἱμάξαι πέδον, 477 — αἷμα μὴ γενήσεται, 449). Характерно в этой связи и различное содержание, вкладываемое Пеласгом в понятие ὅμαιμος: в первом случае (449) совершенно ясно, что царь должен беречь жизнь своих сограждан; во втором случае (474) царю по-прежнему совершенно непонятно, почему он должен защищать Данаид ценой крови аргивян, — ведь он так и не сумел выведать у девушек причину их ненависти к единокровным женихам-братьям. Тем не менее сразу же после того, как дилемма получает в устах Пеласга окончательное оформление, следует и столь же окончательное решение: «Однако неизбежно почитать гнев Зевса — покровителя молящих; ведь страх перед ним — высший страх у смертных» (478 сл.).

Таким образом, размышление Пеласга проходит три стадии, определяемые в чисто формальном отношении выделением двух частей альтернативы.

Первая стадия завершается на ст. 377 сл.; средством оппозиции служит αὖ; в предшествующих стихах либо между двумя возможностями нет формальной связи — каждый стих констатирует изолированный факт: тяжело начать новую войну, страшно смотреть на алтари, осененные молитвенными ветвями (341, 345), — либо две стороны дилеммы не выражены достаточно отчетливо: пусть дело чужеземцев не повредит городу (354—358). Пеласг еще не осознал или боится высказать неизбежную взаимозависимость между защитой чужеземцев и благополучием государства.

Вторая стадия завершается в ст. 410—416; оппозиция четко выражена μήτε..., μήτε...

Третья стадия, включающая в себя почти уже принятое решение (ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται), завершается в ст. 472—477; сильная оппозиция выражена εἰ μὲν..., εἰ δ'αὖθ'... «если... если же напротив...».

Каждой из этих трех стадий размышления соответствует и определенное отношение Пеласга к сложившейся ситуации. В первом случае — ἀμηχανῶ и φόβος (379): царь в смятении, и разум его во власти страха; во втором случае — δεῖ φροντίδος σωτηρίου (407, 417): смятение и страх уступили место размышлению; в третьем случае — ἀνάγκη (478): царь осознал неизбежность почитать гнев Зевса. Фигурирующее здесь понятие φόβος

[12] Ср. ἀτιμάσαι (378) — τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν (401): нельзя не почтить их мольбы, но не скажет ли народ о Пеласге, что он, почтив чужеземных девушек, погубил город?

(479) — совсем не тот страх, который овладел царем при первом четком осознании стоящей перед ним дилеммы; теперь это — священное благоговение перед вечным законом Зевса. Почитая молящих (αἰδόμενος, 362; αἰδοῦ, 344), Пеласг тем самым почитает и гнев их покровителя Зевса (αἰδεῖσθαι, 478), т. е. становится εὐσεβής (339, 419).

Коммос «Молящих» показывает, как прокладывается путь от лирической «амехании» к гражданской ответственности индивида. Поставленный перед необходимостью собственного выбора, герой Эсхила сознает ложащуюся на него ответственность за последствия его поведения. При этом ответственность не ограничивается его личным благополучием: в размышлениях Пеласга только раз звучит пожелание, чтобы для него самого все кончилось хорошо (411); мысли его заняты судьбой государства. В этом — еще одно существенное отличие эсхиловской трагедии даже от наиболее поздних в идеологическом отношении слоев эпоса: Эгисф, пренебрегши предостережением богов, навлек гибель «вопреки судьбе» на себя самого; спутники Одиссея, убившие вопреки запрету священных коров Гелиоса, сами все погибли в морской пучине; и женихи Пенелопы, позволившие себе позорить гостеприимный очаг Одиссея, сами пали жертвами собственной ὕβρις. В каждом из этих случаев «гордыня» или «безрассудство» непосредственно виновных обрушивается только на них, а не на их род и тем более — государство.

В условиях победы демократической государственности проблема *действия* индивида выходит за рамки его личного благополучия; если бы эсхиловский Пеласг нарушил закон Зевса-Гостеприимца, он навлек бы не только вечное проклятие на свой дом и потомство, чем угрожают ему Данаиды (434—436), но и несмываемое осквернение на все государство.

Впрочем, следует помнить, что дилемма, стоящая перед Пеласгом, еще не носит трагически противоречивого характера: он боится, оказав помощь Данаидам, развязать войну, которая грозила бы благу его страны, но спасение Аргоса достигается в конечном счете именно благодаря тому, что, приняв под свое покровительство молящих, он избегает угрозы осквернения. Слов нет, это более трудный и сопряженный с жертвами путь, но вместе с тем и наиболее надежный, поскольку он освящен божественным законом. Кроме того, каждый из тезисов, составляющих альтернативу, не содержит в себе ничего преступного: естественно и справедливо желание Пеласга избежать войны, но столь же естественно и справедливо его стремление не отвергать молящих о защите. Избирая правильную норму поведения, Пеласг не приходит в противоречие с какой-либо другой, столь же правильной, нормой.

В этой связи чрезвычайно показательно, что на протяжении всего коммоса определяющим в психическом состоянии Пеласга является не эмоциональный, а интеллектуальный фактор. Хор

призывает Пеласга «судить» их дело, он сам называет его «делом, не легко поддающимся суду», т. е. размышлению, и просит не избирать его судьей (396 сл.). Дальше речь идет все время о работе мысли: φροντίς и φρόντισον (407, 417 сл.), φράσαι и πέφρασμαι (437 сл.), γνῶθι, ἴσθι (426, 434 — «познай», «узнай»), противопоставление ἄϊδρις — σοφός (453, «несведущий» — «знающий»). На протяжении всего коммоса только один раз Пеласг говорит о своем эмоциональном состоянии: угрозу Данаид повеситься на алтарях он называет «словом, бичующим сердце» (μαστικτῆρα καρδίας λόγον, 465); но и здесь удовлетворенные произведенным впечатлением Данаиды резюмируют: «Ты понял» (ξυνῆκας 467), — слово, поразившее «душу» Пеласга, благодаря этому оказывает незамедлительное действие на его разум.

Таким образом, едва ли есть основание, как это делают многие исследователи [13], считать Пеласга «замученным», чуть ли не «затравленным» безысходностью положения, в котором он оказался. Пеласг, несомненно, находится перед очень трудным выбором, и само осознание альтернативы дается ему тоже с трудом, но он ни на один момент не теряет способности здравого размышления, которое и является, таким образом, гарантией правильного (т. е., в представлении Эсхила, совпадающего с миродержавной волей Зевса) решения. Показательно, что в дальнейшем развитии трилогии Пеласг не принимал участия: его решение сыграло свою роль в судьбе Данаид и не имеет других последствий для граждан Аргоса; все, что могло произойти в последующих частях трилогии, как бы мы себе ее ни представляли, относится к роду Даная, а не Пеласга. Иначе обстояло дело в фиванской трилогии (как видно из «Семерых», причиной всех бедствий, обрушившихся на род Лая, являлись неукрощенные, выходящие из-под контроля разума, эмоции и самого Лая и его потомков [14]) и особенно в «Орестее», где противоречивое единство отмщения и вины порождает и более сложное соотношение в человеческом поведении интеллекта и эмоций. Но это — особая тема. Здесь же мы только стремились показать, что даже наиболее нормативный и наименее трагический герой Эсхила приходит к своему решению гораздо более сложным путем, чем эпический вождь: у последнего в важнейших вопросах этики в сущности не может быть выбора, ибо отступление от «сословной» нормы для него совершенно немыслимо; для героя же Эсхила обоснование своего поведения становится — впервые в греческой литературе — нравственной проблемой.

---

[13] Например: M. Croiset. Eschyle. Paris, 1928, p. 58; W. Kranz. Stasimon. Berlin, 1933, s. 56; R. Cantarella. Eschilo. Firenze, 1941, p. 121; Н. Л. Сахарный. О «Просительницах» Эсхила.— «Наук. зап. київськ. держ. педаг. інст.», т. VII, № 2, 1948, стр. 195.

[14] Παράνοια φρενώλης (756 сл.) — у Лая; βλαψίφρων (725) — о Эдипе; φοῖτος φρενῶν (661) — о Полинике; ἔρωτος ἀρχά (688), ὠμοδακὴς ἵμερος (692) — об Этеокле; ἀσεβὴς διάνοια (831), ὀξυκάρδιοι (907), ἔρις μαινομένα (936) — об обоих братьях.

М. С. Кожухова

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА О ТВОРЧЕСКОЙ МАНЕРЕ ЕВРИПИДА

(к вопросу о прологах Еврипидовых драм)

В древней и новой критической литературе можно встретить самые противоречивые отзывы о творчестве Еврипида в целом и о его художественной манере в частности. Среди исследователей можно найти страстных противников поэтической техники поэта и горячих поклонников его таланта. Некоторые критики поразному оценивают отдельные драмы поэта, а также различные приемы его творчества. Такая противоречивость в оценке одного из трех великих греческих трагиков заставляет нас пересмотреть критику о Еврипиде. В нашем кратком обзоре мы коснемся только высказываний древних писателей.

ДРЕВНЯЯ КРИТИКА О ТВОРЧЕСТВЕ ЕВРИПИДА

(греческие и римские писатели)

Для современного исследователя наибольший интерес, естественно, представляет древняя критика. Первыми критиками трагедий Еврипида были его слушатели. У нас теперь нет возможности определить, насколько благосклонно его драмы принимались аудиторией. Однако материал дидаскалий в какой-то степени позволяет судить об успехе трагедий Еврипида в античном театре. Ὑποθέσεις, основывающиеся на сведениях, полученных из дидаскалий, отмечают, что Еврипид удостоился первой премии пять раз (т. е. 20 драм поэта были признаны лучшими, так как в каждом представлении было по четыре драмы); одна первая премия была получена после смерти поэта при постановке его драм Еврипидом Младшим [1].

Это количество может показаться незначительным по сравнению с общим числом написанных поэтом драм — 75—92—98 (в разных источниках указывается разное число) [2]. Однако нужно принять во внимание, что Еврипиду следовало победить на состязаниях первоклассных поэтов древности — Эсхила и Софокла. Понятно, что победа доставалась нелегко, нужно было превзойти

[1] Suidas, s. v.; см. также схолий к ст. 67 «Лягушек» Аристофана.
[2] A. Gellius, 17, 4,3; Suidas, s. v.

их обоих и удовлетворить вкус публики, знакомой с драмами его предшественников. Так, нам известно, что «Медея» Еврипида была удостоена третьей (низшей) премии — драма, которая получила признание среди потомков и вызвала многочисленные подражания как в литературе древности, так и в литературе нового времени (сюжет «Медеи» неоднократно обрабатывался поэтами и художниками). При постановке первую премию получил драматург Евфорион, который иногда ставил трагедии своего отца (возможно, что и в этом случае он ставил не свою пьесу). Вторую премию получил Софокл. С. И. Соболевский так расценивает провал «Медеи»: «...в этом году произошло состязание трех великих трагиков, и хотя драма Еврипида тогда была забракована, это не значит, что она была плоха. Это значит только, что она показалась судьям хуже произведений его соперников» [3]. Кроме того, на долю Еврипида выпадала иногда и вторая премия, например за трилогию троянского цикла [4].

То обстоятельство, что Еврипиду приходилось чаще довольствоваться второй премией, объясняется, по нашему мнению, не несовершенством его поэтической техники, а новым идейным содержанием его драм: критическим отношением к установившимся верованиям и морали, насыщенностью философскими вопросами, откликами на актуальные проблемы своего времени. Драмы Еврипида показывали не божества и исключительные героические характеры, как это было у Эсхила и других поэтов того времени. Героями Еврипидовых драм стали люди с их человеческими страстями, стремлениями, слабостями, недостатками и даже пороками.

Новое содержание вызвало оппозицию со стороны консервативных кругов. Однако если и были поэты, которых предпочитали афинские зрители, то все же и Еврипид не был совершенно лишен признания современников.

Еще большее признание получил Еврипид среди потомков. Доказательством признания поэта в последующие века может служить то, что литературное наследие Еврипида дошло до нас в большей сохранности, чем произведения всех других трагиков древности. Если от Эсхила и Софокла вместе сохранилось 14 драм, от менее значительных поэтов не уцелело ни одной полной пьесы, а некоторые трагики нам известны лишь по именам, да иногда упоминаются названия их драм, то от одного Еврипида мы имеем 19 полных драм (не сохранился конец «Ифигении в Авлиде», то же предполагают о заключительной сцене «Троянок»; принадлежность «Реса» Еврипиду оспаривается; однако эти частности в данном случае не имеют большого значения). В византийскую

---

[3] С. И. Соболевский. «Медея» Эврипида. Стеклограф. лекции. М., 1900—1901, стр. 42.

[4] Aelianus, II, 8.

эпоху драмы Еврипида читали, переписывали, комментировали. В последующие столетия трагедии Еврипида стали программным школьным чтением. Большой интерес читателей к трагедиям Еврипида на протяжении столетий доказывает, что Еврипид не был плохим поэтом, не владевшим поэтической техникой, как утверждают, вслед за Аристофаном, многие исследователи нового времени. Плохие пьесы были бы забыты сразу после представления. Драмы же Еврипида вызывали широкий отклик в афинской публике. Еврипида высмеивали, пародировали, упрекали за введенные им новшества. Его творчество составило значительное явление в литературе древней Греции, оно вызвало ожесточенную критику со стороны его современников. Рассмотрим, какова была эта критика.

ГРЕЧЕСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЕВРИПИДЕ

Аристофан. Безусловный интерес для нас представляет литературная критика современников поэта, в первую очередь Аристофана. Из одиннадцати сохранившихся комедий Аристофана невозможно указать ни одной, где прямо или косвенно Еврипид не подвергался бы нападкам. Но из этого еще не следует категорического вывода об отрицательном отношении Аристофана к Еврипиду. Прежде всего само обилие его выпадов против творческой манеры Еврипида указывает на то, что Еврипид представлял значительное явление в поэзии своего времени. Если бы Еврипид был плохим поэтом, вряд ли был бы смысл так много уделять ему внимания. Только широкая известность произведений трагика делала понятными и целесообразными намеки и пародии на отдельные места из его трагедий.

Не приходится сомневаться в том, что многочисленные упоминания Еврипида в комедиях привлекали к нему большое внимание аудитории, способствовали популяризации его имени. Если даже предположить, что цель этих упоминаний — беспощадная критика и осмеяние поэта, то мы не должны забывать, что Аристофан — тенденциозный поэт, что самый жанр комедии позволял сгустить краски, иногда довести явление до абсурда, перемешав действительное с вымыслом.

Однако при всей осторожности в подходе к Аристофану как к источнику нельзя не оценить всей важности материала его комедий хотя бы уже потому, что оба поэта жили в одно время, что часто вскоре после постановки трагедии следовала постановка комедии.

Упреки Аристофана, обращенные к Еврипиду как к поэту (часто можно найти выпады и против личности поэта), слишком многочисленны и разнообразны, так что охватить их в небольшой статье нет возможности. Остановимся на самых существенных и возьмем за основу комедию «Лягушки», которая целиком посвя-

щена литературной критике [5]. Аристофановская критика касается содержания и формы творчества Еврипида.

Исходя из высокого назначения поэта — учить людей, делать их лучшими (ст. 1030—1031), Аристофан устами Эсхила (который представлен как действующее лицо комедии «Лягушки») обвиняет Еврипида (тоже действующее лицо «Лягушек») в том, что он изображал не идеальных людей, а людей обыкновенных, притом такими, как они есть, не прикрывая их недостатков. По мнению Аристофана (высказанному здесь Эсхилом), поэт должен скрывать язвы действительности (ст. 1053—1056). В качестве оправдания Еврипид (персонаж комедии) приводит веский аргумент: его оправдывает сама жизнь, эти явления не выдуманы им, а взяты из действительности, образы его правдивы. Сам Аристофан склоняется к мнению, высказанному в его комедии Эсхилом, однако то, что Еврипид опирается на факты из жизни, позволяет думать, что часть аудитории (если не большинство) признавали это качество в творчестве Еврипида положительным и для разуверения их и ввел комик этот спор.

Следующий упрек относится к тому, что Еврипид свел героев трагедии с пьедестала, с героической высоты, сделал их обыкновенными. Аристофан подвергает осмеянию критику Еврипидом традиционных религиозных представлений и богов. На заявление Еврипида, что он молится своим богам, Дионис насмешливо спрашивает (ст. 890): «Как? собственным и нового чекана?» Далее Еврипида упрекают за философские отступления в драмах (часто комик пародирует такие места), а также за введение словесных состязаний героев (ст. 1069), что было откликом на явления общественной и политической жизни — определялось влиянием школы софистов.

Вторая группа упреков Аристофана касается формы, в частности пролога. Целая сцена его комедии посвящена сравнительному разбору прологов трагиков. Это позволяет сказать, что те новшества, которые ввел Еврипид не только в области содержания, но и в области формы, особенно в прологе, не прошли незамеченными современниками. Еврипид уделял большое внимание прологу, считая его первой, важнейшей частью трагедии (ст. 1119—1121). Первое достоинство прологов Еврипида, по его собственному утверждению, заключается в том, что они вносят ясность в действие. Поэт не заставляет публику продолжительное время догадываться, что́ происходит на сцене, кто там находится, пока поет хор, а сразу дает слово актеру, который рассказывает о себе нужное (ст. 945—947). (Напомним, что древний театр не имел ни афиш, ни программ, поэтому ввести зрителя в курс дела с помощью пролога, действительно, было целесообразно.) Далее

---

[5] Aristophanis Ranae, ed. J. van Leeuwen. Lugduni Batavorum, 1896.

Еврипид упрекает Эсхила за то, что он предпочитает в экспозиции хор, т. е. лирический элемент повествовательному — монологу пролога. Кроме того, Еврипид ставит себе в заслугу, что его герои не напускают на себя таинственности, они говорят простым и ясным языком (в то время как Эсхил «не скажет слова в простоте» — ст. 927) и самый предмет его речи понятен и доступен: «Заговорил я о простом, привычном и домашнем» (ст. 959—960). Как положительное качество своих прологов отмечает Еврипид и то, что у него не встречается повторений. Рассказ строен и последователен (ст. 1178), в нем нет ничего лишнего. Все сказанное выше он подытоживает в ст. 1197: «Все врешь, я прологи хорошо пишу». После этого идет испытание конкретных прологов; между прочим, в качестве образцового пролога Еврипид демонстрирует пролог «Медеи» в ст. 1382.

Хотя Аристофан в своей комедии ставит Еврипида в положение побежденного, вся комедия показывает, что драмы Еврипида были хорошо известны публике, что его имя было очень популярно. Может быть, именно в целях противодействия растущей славе поэта Аристофан и пытается осмеять его. Во всяком случае, мы видим, что Аристофан наряду с теми сторонами творчества, которые ему казались недостатками, приводит также и достоинства творческой манеры Еврипида. Интересно также отметить, что сам Аристофан использовал каноническую форму Еврипидовского пролога для начала своей комедии «Законодательницы».

Аристотель. Высокую оценку творчества Еврипида находим в трудах Аристотеля. Свидетельства Аристотеля в некоторых отношениях более ценны, чем свидетельства Аристофана: по времени Аристотель отстоит от Еврипида не слишком далеко (разрыв примерно в 30 лет), память о поэте была еще свежа. Вероятно, кроме литературного наследства, ученый имел в своем распоряжении и воспоминания младших современников поэта. Кроме того, объективный подход ученого позволял беспристрастно выделить положительное в творчестве трех поэтов, полемические цели у него отсутствуют, тогда как Аристофан не всегда заслуживает доверия из-за тенденциозности. Аристотель многократно упоминает о Еврипиде в произведении, большая доля которого посвящена анализу трагедии как жанра,— в «Поэтике» [6].

Касаясь вопроса о том, что хорошая трагедия должна представлять переход людей от счастья к несчастью (1452b—1453a), притом не всяких людей, а именно хороших и славных в прошлом, а также отмечая, что этот переход к несчастью должен быть следствием ошибки, а не преступности героя, Аристотель ставит в заслугу Еврипиду то, что в его трагедиях это качество соблюдено, что все они кончаются несчастьем для хороших людей; тут же

---

[6] Aristoteles. De arte poëtica, ed. W. Christ. Lipsiae, 1910.

автор считает необходимым указать на ошибку тех, кто упрекает за это Еврипида (1453а). Следовательно, в целом Аристотель считает трагедии Еврипида хорошими и, может быть, даже образцовыми, так как они удовлетворяют одному из самых важных требований — правильно избирают событие.

Далее, с полной беспристрастностью отмечая недостатки Еврипида в распределении материала, Аристотель все же дает ему высшую оценку как «трагичнейшему из поэтов» (1453а). Аристотель часто приводит трагедии Еврипида как образец. Так, он считает непозволительным для поэта менять существо мифа и как пример такого сохранения зерна сказания приводит «Медею» Еврипида, у которого Медея, в соответствии с мифом, убивает своих детей (1453b). Правда, ниже (1454b) Аристотель отмечает недостаток заключительной сцены «Медеи» — deus ex machina, но эта частность не меняет общей высокой оценки трагедии.

Говоря о необходимых чертах характера в трагедии, Аристотель подчеркивает четвертое качество — последовательность (1454а). Характер должен быть последовательным даже в непоследовательности. И как пример такого последовательного характера указывает на Менелая в «Оресте» Еврипида. Это замечание Аристотеля особенно важно, так как обычно в оценке характера отдают предпочтение Софоклу с его цельными идеальными героями.

Аристотель дает положительную оценку приему узнавания, применяемому трагиком, находит удачным и правдоподобным узнавание Ифигении в «Ифигении в Тавриде» по письму (1454b). Показывая, как из общего представления о сюжете драмы развиваются его конкретные детали, Аристотель разбирает фабулу «Ифигении в Тавриде» (1455а).

Дальше автор выступает против эпических длиннот в трагедии. Он находит, что причина неудач многих авторов в том, что они брались показать события, касающиеся разрушения Трои, целиком, а не по частям, как Еврипид (1456а).

Многие исследователи вплоть до наших дней, особенно те, которые занимаются творчеством Софокла, предпочитают идеальные Софокловские характеры Еврипидовским. Между тем Аристотель не отдает предпочтения первым, а находит вполне уместным изображать людей не только такими, какими они должны быть, но и такими, каковы они есть в действительности (1460b).

Очень часто новые исследователи упрекают Еврипида за применение им пролога и deux ex machina. У Аристотеля таких упреков нет. Напротив, он считает пролог одной из основных частей трагедии наряду с эпизодием, эксодом, песнью хора (в ней парод и стасим) и дает определение пролога как целой части трагедии до выхода хора (1452b). Не порицает автор также применения deus ex machina целиком. Он только указывает, что развязка должна вытекать из самой фабулы, и находит возможным и нуж-

ным пользоваться deux ex machina для изображения событий, происходящих вне драмы, т. е. того, что произошло раньше драмы, или того, что произойдет позже и что можно представить, чтобы дать законченность событию, лишь в виде предсказания божества, так как божество способно знать все, даже будущее, в отличие от человека (1454b).

Некоторые высказывания, касающиеся пролога, находим и в «Реторике» Аристотеля [7]. В задачу «Реторики», понятно, не входит анализ и критика драмы, в ней можно найти лишь попутные замечания. Так, например, Аристотель доказывает, что речь оратора должна иметь вступление, подобно тому как в поэзии имеется пролог, а в музыкальном искусстве вступление (III, 14, § 1). К сравнению προοίμιον судебной речи с прологом драмы и со вступлением эпического произведения автор обращается неоднократно (III, 14, § 13) и устанавливает одинаковое их назначение — заранее очертить пределы изложения предмета (III, 14, § 19). Значение вступления также в том, чтобы расположить слушателя к себе или, напротив, возбудить его против враждебной стороны (III, 14, § 25), а также добиться внимания аудитории сообщением о важности излагаемого предмета (III, 14, § 28).

Как видим, Аристотель уделяет большое внимание вопросу о вступительной части как в речи оратора, так и в художественных произведениях — в эпосе и драме. Он считает, что такие вступления объяснительного характера имеются у каждого трагика — у Еврипида сразу вначале драмы объяснительная часть пролога; у других поэтов также существо драмы излагается в прологе (III, 14, § 18). Пролог драмы и эпоса автор берет за образец для ораторской речи. С похвалой отзывается Аристотель также и о языке Еврипида: поэт пользуется привычным разговорным языком, а это создает впечатление естественной речи (III, 2, § 13).

Схолии. Для оценки творчества Еврипида большой интерес представляют также схолии. Источником для схолий послужили труды александрийских и пергамских ученых III и II вв. до н. э. Над Еврипидом работал Аристофан Византийский, александриец, и его ученики. В I в. до н. э. труды этих ученых были пересмотрены александрийским ученым Дидимом и сведены им в одно целое [8]. Позже неизвестный Дионисий составил свод комментариев к Еврипиду, а из труда Дионисия и еще какого-то неизвестного нам ученого взяты дошедшие до нас схолии. Они взяты из хорошего источника и важны для понимания и для критики текста, а также для оценки произведения. Схолии имеются только в рукописях первого класса, т. е. к девяти трагедиям:

---

[7] Aristotelis de arte rhetorica libri tres, ed. Christophorus Schrader. Helmstadi, 1672.

[8] Didymi Chalcenteri grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt omnia. Lipsiae, 1854.

к «Гекубе», «Оресту», «Финикиянкам», «Ипполиту», «Медее», «Алкестиде», «Андромахе», «Ресу» и «Троянкам» [9].

В схолиях мы не найдем оценки всего творчества поэта или его художественных приемов, так как схолиаст комментирует конкретно данное место, а не дает общей оценки всего произведения, поэтому часто замечания схолиастов бывают противоречивы. В одной драме какой-то прием автора удостаивается похвалы схолиаста, в другой тот же прием вызывает порицание. К тому же большая доля комментария посвящается истолкованию реального смысла текста.

Для примера рассмотрим высказывания схолиастов о прологах Еврипида, так как именно прологи его больше всего подвергались нападкам исследователей.

Высокой оценки удостоился пролог «Андромахи» в ὑπόθεσις за ясность изложения. С похвалой отзывается схолиаст о прологе «Медеи», отмечая патетический его тон. Впрочем, пролог «Медеи» получил всеобщее признание и в позднее время. Но даже пролог «Финикиянок», который осуждается теперь за бесстрастный тон, за длинное генеалогическое отступление, также положительно оценивается в схолии к ст. 4.

Интересны и некоторые более частные замечания схолий. Так, к ст. 12 «Финикиянок» схолиаст говорит, что автор намеренно подчеркивает имя героини в прологе, так как в других, более ранних, произведениях она известна под другим именем. Отмечено схолиастом также и то, что пролог указывает на место действия (см. схолий к ст. 46 «Ореста»). В некоторых случаях схолиаст подмечает явления, повторяющиеся у данного автора или вообще у трагиков. Так, к ст. 35 «Медеи» он замечает, что Еврипиду вообще свойственно излагать заранее то, что должно произойти в драме, и ее развязку. Также к ст. 1 «Финикиянок» схолиаст отмечает обычай трагиков заставлять своих героев оплакивать свои несчастия перед богами. Разбирая первый стих «Троянок», схолиаст сравнивает его с началом пролога «Вакханок» и отмечает постоянно наблюдающееся у Еврипида единообразие в начале прологов, которые произносятся божеством. В примечании к ст. 35 «Медеи» обращается внимание на патриотические мотивы у Еврипида; к ст. 28 «Ореста» — на критику божества. Схолиаст порицает автора за недостаток действия в прологе «Троянок», за повествовательный тон пролога, предназначенного прямо для зрителя.

Из небольшого обзора лишь некоторых высказываний схолиастов о прологах Еврипида видим, что у них, как и у большинства новых исследователей Еврипида, нет определенного взгляда на

[9] В рукописях, содержащих по три пьесы, есть схолии поздние, принадлежащие ученым XIV—XV вв. Эти схолии малоценны. Схолии к указанным девяти трагедиям изданы: S c h w a r z. Scholia im Euripidem, t. I—II. Berolini, 1887—1891; G. D i n d o r f. Scholia Graeca in Euripidis tragoedias. Oxford, 1863 (три тома).

пролог как на часть трагедии, присущую каждой драме и выполняющую определенную функцию в произведении. Их оценка касается каждого отдельного случая, поэтому наряду с отрицательной оценкой одного пролога мы можем встретить похвальный отзыв о другом прологе. Все же можно выявить общее направление их оценки: схолиасты одобряют все то, что ведет к ясности, что помогает с первых стихов понять содержание; при этом они предпочитают краткую форму изложения и соединение рассказа с выражением чувств героя (см., например, схолий к ст. 1 «Гекубы» [10] и к ст. 1 «Электры»).

Мы видим, что уже в древности наметились два противоположных направления в оценке творчества Еврипида. Первое, критически-отрицательное, представленное Аристофаном, субъективное и тенденциозное, выраженное в художественном произведении (критика в основном направлена против содержания трагедий Еврипида, но заодно осмеиваются и художественный метод поэта и даже его личность; часто несправедливо и намеренно карикатурно выведен сам трагик); второе — положительное, объективное, подходящее к оценке поэта с позиций художественных требований своего времени, а не личного вкуса, выраженное Аристотелем в теоретическом труде о трагедии как жанре. Промежуточное положение между двумя этими крайними направлениями занимает оценка схолиастов: в одних случаях они выражают восхищение мастерством Еврипида, в других порицают неудачные места. Такая раздвоенность в оценке объясняется характером их работы: они комментируют конкретно какое-то место и оценивают именно это место, не поднимаясь до теоретического обобщения. В позднейшей литературе вплоть до наших дней сохранились все эти три взгляда: резко критический, восходящий к Аристофану; положительно-объективный, восходящий к Аристотелю; большая часть новых исследователей Еврипида занимает промежуточную позицию.

РИМСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЕВРИПИДЕ

В римской литературе мы не можем указать специальных работ о Еврипиде, поэтому здесь будут приведены отдельные высказывания о Еврипиде, которые встречаются в работах разных направлений.

Квинт Гораций Флакк. В первую очередь обратимся к сочинению Квинта Горация Флакка о поэтическом искусстве «Epistola ad Pisones». В этом произведении Гораций указывает два возможных способа изобразить событие в драматическом произведении: либо событие представляется на сцене

[10] У Шварца этого места нет; см.: Nestle. Die Structur des Einganges in der attischen Tragödie. Tübingen, 1930, стр. 12 (автор цитирует по Диндорфу).

происходящим перед глазами зрителей, либо о нем сообщается в рассказе:

Aut agitur res in scenos, aut acta refertur [11].

Как видим, во времена Горация считалось, что драматический элемент мог быть заменен повествованием без ущерба для художественного произведения. Больше того, оба эти способа изображения Гораций считает равноценными. Правда, впечатление зрительное сильнее, чем слуховое (ст. 180—182), но тут же автор советует писателю быть осторожным в выборе материала для представления. Не следует представлять на сцене того, что скоро будет рассказано очевидцем; нужно также избегать представлять зрелища ужасные и неправдоподобные, ст. 182—184:

Non tamen intus
Digna geri, promes in scenam multaque tolles
Ex oculis, quae mox narret facundia praesens

(Однакож на сцене берегись представлять, что от взора должно быть сокрыто, или что скоро в рассказе живом сообщит очевидец!)

В качестве примера удачной замены представления рассказом Гораций приводит эпизод убийства детей Медеей, ст. 185:

Ne pueros coram populo Medea trucidet

(Нет! Не должна кровь детей проливать пред народом Медея.)

Как видим, древние не только допускали повествовательный элемент в драме, но в известных случаях он представлял единственную возможность для автора изобразить событие так, чтобы оно не утратило своей правдоподобности и не вызвало отвращения в душе зрителя. Греческие трагики, и в частности Еврипид, действительно, никогда не изображали кровавых безобразных сцен. Приведенные стихи из «Послания к Пизонам» указывают на две установки Горация: во-первых, в драматическом произведении можно пользоваться и рассказом, и представлением события как равноценными приемами; во-вторых, в известных случаях возможен только рассказ, в противном случае будет нарушено впечатление от художественного произведения, или, как говорит Гораций в ст. 188:

Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi

(Я не поверю тебе, и мне зрелище будет противно!)

Следовательно, с точки зрения древней критики, повествовательное, а не драматическое начало всех трагедий Еврипида

---

[11] Q. Horatii Flacci epistola ad Pisones, ed. P. Hoffman Peerlkamp, 1859, ст. 179; перевод М. Дмитриева. «Наука поэзии, или Послание к Пизонам Квинта Горация Флакка». М., 1853.

не должно было вызывать удивления или порицания, тогда как в новейшей критической литературе одним из главных недостатков в прологах Еврипида считается их неизменно повествовательная форма и недостаток действия в экспозиции.

Марк Туллий Цицерон. Еврипид в древнее время служил образцом не только для драматургов и поэтов. Многие знаменитые ораторы римского времени неоднократно обращались к произведениям Еврипида и находили их полезными для своих речей. Так, Цицерон многократно цитирует его стихи. Часто можно встретить в различных сочинениях Цицерона стих Еврипида в подлиннике. Неоднократно оратор сам переводит Еврипидовские стихи на латинский язык, в том числе и стихи из прологов [12]. Правда, Цицерон не дает оценки поэта как художника, он считает, что должен отметить в художественном произведении то, что может быть использовано оратором: «Atque id primum in poetis cerni licet, quibus est proxima cognatio cum oratoribus...» [13] С этой точки зрения он не отдает предпочтения ни одному из трех греческих трагиков и удостоивает их одинаковой похвалы наряду с некоторыми римскими поэтами: «... quam apud Graecos Aeschylus, Sophocles, Euripides quamquam omnibus par paene laus in dissimili scribendi genere tribuatur» [14].

И в частной переписке, в письмах, Цицерон многократно цитирует Еврипида; а его брат Квинт в ответ на письмо Марка говорит, что он каждый стих Еврипида считает за изречение: «Насколько ты ему веришь, не знаю, я, во всяком случае, считаю изречением каждый его стих» [15].

Марк Фабий Квинтилиан. Высокую оценку творчеству Еврипида дает литературный критик сравнительно более позднего времени (I в. н. э.) — Марк Фабий Квинтилиан [16]. Подход Квинтилиана к оценке поэта несколько односторонний: он рассматривает творчество писателя с точки зрения использования его оратором как образцового материала. Он признает за Эсхилом право считаться первым греческим трагиком, «отцом трагедии», признает его возвышенный, величественный стиль, но отмечает, что часто Эсхил впадает в крайность, что торжественность выражений иногда доходит до тяжеловесности, что он не всегда сообразуется с правилами драматического искусства [17].

---

[12] См.: Marci Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta, ed. Casp. Orellius. Turici, 1826—1838, vol. VII, pars II, стр. 243—244.

[13] De oratore, III, 7, § 27; указ. изд., t. I, стр. 326—327.

[14] Там же.

[15] «Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту», т. II. Пер. и комм. В. О. Горенштейна. М.—Л., 1950.

[16] Marcus Fabius Quintilianus. Institutio oratoria, X, 1, 67—69.

[17] «Tragoedias primum in lucem Aeschylus protulit, sublimis et gravis, et grandiloquus saepe usque ad vitium, sed rudis in plerisque et incompositus...» (там же).

Еще более осторожен оратор в оценке Софокла и Еврипида: он рассматривает их вместе, не отдает предпочтения ни тому ни другому, сознательно оставляет открытым вопрос о том, кто из них превзошел мастерством другого, но отмечает, что они оба значительно продвинули трагическое искусство вперед [18].

Но для искусства оратора Еврипид более полезен, чем Софокл [19]. Стиль его речи ближе к стилю ораторскому (за что его порицали те, кому больше нравится возвышенный стиль Софокла), речь полна сентенций; Еврипид, подобно философу, часто трактует философские вопросы. Исключительного мастерства достиг Еврипид в умении вызывать те или другие чувства в слушателях, и особенно чувство сострадания [20]. Последующие писатели во многом подражали Еврипиду, особенно Менандр в правдивом изображении человеческой души.

Приведенные мнения Цицерона и Квинтилиана могут показаться недостаточно авторитетными в оценке поэта: то, что полезно для оратора, может совершенно испортить художественное произведение, отдельные удачные в реторическом отношении пассажи могут нарушить целостность всего произведения — такой взгляд нередко высказывается критиками нового времени. Однако не следует забывать, что Цицерон был не только оратором и политическим деятелем — его произведения столь же художественны, как и сочинения поэта, а язык по богатству и красочности, по изяществу выражения сохранял значение нормы и образца для многих поколений. Естественно, если Цицерон рассматривал свои речи как художественное произведение, он не мог подходить иначе к сочинениям поэта.

Особенно любимым писателем стал Еврипид в византийскую эпоху. Его драмы читали и комментировали, изучали в школах, переписывали. Может быть, именно этому интересу к Еврипиду в византийскую пору мы и обязаны тем, что драм Еврипида до нас дошло больше, чем драм других писателей.

---

[18] «Sed longe clarius illustraverunt hoc opus Sophocles atque Euripides» (там же).

[19] «Illud quidem nemo non fateatur necesse est, iis, qui se ad agendum comparant, utiliorem longe fore Euripidem» (там же).

[20] «In affectibus vero quum omnibus mirus, tum in iis, qui miseratione constant, facile praecipuus» (там же).

С. Я. Шейнман-Топштейн

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ИСТОКАХ ДРЕВНЕАТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

«В древности традиционный праздник Дионисий справлялся просто («по-народному» — δημοτικῶς) и весело: кувшин вина и виноградная лоза, затем кто-нибудь тащил козла, другой шел за ним с корзиной фиг, и наконец — фалл» [1]. Мимо этого знаменитого описания старинного фаллического шествия на празднестве сельских Дионисий, данного Плутархом, не может пройти ни один исследователь вопроса происхождения древнеаттической комедии. Не может потому, что в основном нашем историко-литературном источнике — «Поэтике» Аристотеля — говорится о происхождении комедии от запевал фаллических песен [2].

Приведенное сравнительно позднее свидетельство Плутарха находит как бы живую иллюстрацию в сценке празднования сельских Дионисий в комедии Аристофана «Ахарняне» [3].

В шествии, устраиваемом крестьянином Дикеополем, наше внимание останавливает одна деталь: нести изображение фалла — главный символ Диониса — поручается домашним рабам; следовательно, они выступают здесь как участники шествия. Свидетельство Аристофана в соединении со свидетельствами других литературных и археологических источников, о которых мы скажем ниже, заставляет нас вспомнить о той роли, которую тип раба играет в античной комедии на всем протяжении ее развития, начиная с древнеаттической комедии, затем в средней и новой аттической комедии и, наконец, в комедиях Теренция и Плавта.

Характеристика типа раба в древнеаттической комедии в историческом и литературном аспектах блестяще выполнена С. И. Соболевским в статье «Рабы в комедиях Аристофана как литературный тип» [4].

Определяя роль раба в замысле и композиции аристофановской комедии, С. И. Соболевский замечает, что рабы выступают там

---

[1] Plut., De cupid. divit., 527 D.
[2] Aristot., Poet, 4, 1449a.
[3] Aristoph. Ach. 237—279.
[4] ВДИ, 1954, № 4, стр. 9—40.

не только в качестве второстепенных персонажей, которые не являются носителями основной идеи пьесы, но одновременно и в качестве бытовых типов, наделенных реальными жизненными чертами. Если, по Соболевскому, законом изображения главных действующих лиц — «носителей той или другой идеи» — является у Аристофана гротеск, несоразмерное с реальной действительностью преувеличение, остро комический шарж, то изображение второстепенных персонажей — более спокойное, беспристрастное и, следовательно, более жизненно правдоподобное.

Мы бы несколько уточнили это рассуждение: дело здесь не столько в принадлежности к главным или второстепенным персонажам, сколько в принадлежности к персонажам положительным или отрицательным. Излюбленные аристофановские персонажи — крестьяне (Дикеополь, Стрепсиад, Хремил и др.) даются у Аристофана в реальном, бытовом ракурсе, а между тем они, несомненно, являются носителями основных идей аристофановской комедии, более того, ее главными положительными героями. Эти лица в определенной степени реальны, и не только потому, что они второстепенны, но и потому, что они ближе по духу автору, и житейские их качества, как достоинства, так и мелкие забавные недостатки, обрисовываются с любовью и вниманием. Гротеск — одно из основных художественных средств комедии Аристофана, — естественно, применяется там, где нужны осмеяние, резкая критика. В этом же плане должен стоять вопрос о степени и причинах реализма Аристофана в изображении рабов. В нашем изложении он будет тесно связан с другим, основным вопросом: не указывает ли значительная роль, которую раб как персонаж играл в развитии античной комедии, на то, что рабы могли в какой-то мере, наряду с крестьянами, быть творцами фольклорной комедии, из которой затем развился литературный жанр? И если да, то каковы были социальные отношения, при которых такое участие стало возможным?

Основной социальной средой, в которой зародилась древнеаттическая комедия, было беднейшее крестьянство [5]. Пользуясь свободой сельских дионисийских празднеств, крестьяне подвергали осмеянию своих угнетателей: ночью они под окнами домов богатых граждан или на всенародной пирушке, в веселом праздничном шествии, — не ритуальном, а профанном, «карнавальном», — пели задорные, язвительные инвективы. Традиционной

[5] См.: С. Я. Шейнман-Топштейн. Фольклорные истоки древнеаттической комедии. Роль парабазы в развитии жанра, гл. II, § 2; гл. IV. М., 1954 (канд. дисс.). — Ср. И. И. Толстой. Инвективные песни аттического крестьянства в древней комедии. — Сб. «Академику Марру». М.—Л., 1935. См. также гипотезу С. И. Соболевского о происхождении аттической комедии, в которой подчеркивается сельский, народный характер ее истоков («История греческой литературы», т. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1946, стр. 428).

формой этих инвектив и были, по всей очевидности, те фаллические песни, из которых зародилась комедия [6].

Культ Диониса в Греции, как известно, принадлежал к демократическим, низовым культам, крестьянским по самой своей сущности (культ виноградной лозы, вина и особенно — плодородия). Свобода дионисийских празднеств отчасти распространялась и на рабов: они могли держать себя здесь против обыкновения вольно, что дало повод Плутарху жаловаться на ужасный шум и улюлюканье, которое они обычно поднимают на Дионисиях [7]. Наибольшее количество убежищ было посвящено Дионису [8]. Как мы уже видели у Аристофана, рабы наравне со свободными принимают участие в шествии. Еще один пример такого участия находим в «Лягушках» Аристофана: раб Ксанфий присутствует на празднестве мистов (Ran., 337—338; 414—415; 437—439) и до некоторой степени участвует в нем (414—415).

К нашему вопросу можно привлечь еще один очень интересный источник: это — знаменитая коринфская ваза VI в. до н. э.[9] с изображением двух рабов, ворующих вино, и их надсмотрщика, которая послужила основой теории дорийского происхождения актеров древнеаттической комедии, созданной в свое время Кёрте [10]. Если даже рассматривать то, что изображено на этой вазе, не как воспроизведение комедийного действия, а просто как сценку из обихода дионисийского празднества (имя надсмотрщика — 'Ομρικός — толкуется обычно как эпитет самого Диониса), — то и тогда она будет служить благодарным материалом для нашей темы, так как рабы на ней изображены в непосредственном контакте с Дионисом, а их воровство вина также, несомненно, включается в бытовой обиход дионисийского праздника. Однако все говорит за то, что здесь перед нами — типичная комедийно-фарсовая сценка, к тому же явно фаллического характера.

Это — основные источники по интересующему нас вопросу, которые позволяют бросить взгляд во времена долитературной комедии, хотя при желании, несомненно, может быть привлечен значительно более обширный археологический материал. Тщательный анализ доаристофановских комедийных фрагментов также снабдил бы нас дополнительным материалом, и эта работа еще впереди. Теперь же посмотрим, как относились к этому вопросу

---

[6] См.: С. Я. Шейнман-Топштейн. Указ. соч., гл. III, §§ 1—3.

[7] См.: Plut., Quaest. conviv., 1098B. — Ср. Л. А. Ельницкий. О социальных идеях Сатурналий. — ВДИ, 1946, № 4, стр. 56.

[8] См.: Ф. Г. Мищенко. Очерк истории греческой драмы.— «Киев. Унив. Изв.», 1884, № 4, стр. 259; W. Wundt. Völkerpsychologie, Bd. II, стр. 572, примечание 4.

[9] См.: M. Bieber. Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum. Berlin u. Leipzig, 1920, fig. 123.

[10] См.: A. Körte. Archäologische Studien zur alten Komödie. — JDAJ. VIII (1893).

античные ученые — филологи, философы, риторы — в послеаристофановское время.

Прежде всего обращает на себя внимание замечание Аристотеля в «Этике к Никомаху»: сравнивая между собою древнюю и новую аттическую комедию и отличая остроумие последней от шуток первой, как остроумие человека воспитанного от острот человека невоспитанного, «деревенщины» (ὁ ἀγροικός), он также характеризует эту разницу как разницу между шуткой свободного (новая комедия) и раба (древняя комедия) [11]. Разумеется, это нельзя понимать слишком буквально и приписывать Аристотелю утверждение, будто идеология древней аттической комедии была рабской, тем более, что для Аристотеля вообще характерно отношение к сатирической поэзии (ямбам и другим ее видам) как к поэзии низшего пошиба, «грубой» [12]. Но не остается сомнения, что основная жанровая примета древнеаттической комедии, ее ἰαμβικὴ ἰδέα, носит, по Аристотелю, «рабский» характер.

Позднее идеологи эллинистической Греции и Рима полностью поддержали и развили эту точку зрения на древнеаттическую комедию. Острой, резкой сатире древней комедии они противопоставляли «скрытую» насмешку комедии Менандра. Стиль Менандра, его последователей был возведен в идеал. Комедия Аристофана, как правило, считалась более примитивным, низшим родом комической драмы. Подобной точки зрения придерживался Плутарх, говоривший о «чрезмерной серьезности и развязной дерзости» древнеаттической комедии [13], ее склонности к грубому шутовству (βωμολοχία) и наглым насмешкам и т. д.

Для отношения к комедии Аристофана аристократического Рима очень характерно мнение Цицерона: он хвалит остроумие, стиль Аристофана [14], но содержание его комедий, их идейная сущность, острая злободневная политическая критика и связанная с нею персональная инвектива — все это вызывает его резкое осуждение. Замечательно при этом, что гнев Цицерона вызывает не столько самый прием инвективы, сколько ее направленность против знатных афинян [15].

Дальнейшее развитие этого взгляда на древнеаттическую комедию мы можем проследить в сочинениях известного оратора II в. н. э., приближенного императора Марка Аврелия — Публия Элия Аристида. В симбулевтической речи «Περὶ τοῦ μὴ δεῖν κωμῳδεῖν» («О вреде комедийных насмешек») Аристид обрушивается на вкоренившийся обычай «злоречья» во время дионисийских комосов. Соображения Аристида, на первый взгляд чисто морального порядка, очень скоро обнаруживают, как и у Аристотеля,

[11] Aristot, Eth. Nicom., 1128a20.
[12] См., например: Aristot., Poet. IV, 1448.
[13] Plut., Quaest. conviv., VII, p. 711.
[14] De legg. II, 37; Ad Q. fr. III, 1, 19.
[15] De rep. IV, 11.

свою классовую природу. Речь Аристида изобилует противопоставлениями большинства, толпы (οἱ πολλοί) немногим «приличным» людям (οἱ ἐπιεικεῖς, ἀστεῖοι), которые незаслуженно терпят насмешки во время комосов и вынуждены откупаться от поношений деньгами [16].

Осуждая любителей злоречья, Аристид считает их прямыми наследниками древнеаттической комедии [17].

Свое завершение эта идеологическая линия получила в настойчивой борьбе с обычаем насмешек (γέλωτα ἐπικινεῖν) во время дионисийских маскарадов, которую вела молодая христианская церковь (ср. 62 канон Константинопольского собора от 691 года). Блаженный Августин с воодушевлением цитирует цицероновское порицание древней комедии [18].

Во всех приведенных нами выше социальных характеристиках древнеаттической комедии содержится противопоставление «толпы», «большинства» (куда, как правило, включаются крестьяне — или в римское время «плебс» — наряду с рабами и чужеземцами) немногим избранным, богачам.

Такое же сближение бедного крестьянина и раба мы наблюдаем в комедии Аристофана, среди ее персонажей.

Существует мнение, что раб как персонаж в сущности не играет серьезной роли в аристофановской комедии. Такого мнения держится отчасти и С. И. Соболевский, считающий, что только в последних комедиях Аристофана — «Лягушках» и «Плутосе» — роль раба становится значительной. Это не совсем верно. Три раба в комедии «Всадники», воплощающие Никия, Демосфена и Клеона, — это роли двуплановые, и, являясь пародиями на полководцев и политиков, они все же остаются рабами; в качестве рабов они и действуют на всем протяжении комедии, начиная с пролога, который они открывают и проводят целиком, подобно тому, как это происходит также в «Осах» и «Мире» (здесь, правда, заканчивают пролог другие лица), отчасти в «Фесмофориазусах» (выход слуги Агафона), «Лягушках» и «Плутосе».

Значение роли раба в комедии Аристофана следует проанализировать для каждого случая в отдельности. При этом надо отметить, что композиционная функция раба, как прологовой роли, типична для аристофановской комедии. Посмотрим вкратце, как и в какой связи выступают рабы в каждой из комедий.

1. В «Ахарнянах» в очень незначительных ролях выступают два раба: раб Еврипида, обнаруживающий не совсем обычную изощренность интеллекта, пародийно напоминающую софистику Еврипида (ст. 396—402), и слуга Ламаха (ст. 959—960 и 1174—1189), выступающий как обычный исполнитель приказов своего хозяина.

---

[16] Περὶ τοῦ μὴ δεῖν κωμῳδεῖν, p. 510.
[17] Там же, стр. 511.
[18] Aug., Civdei., II, 9.

2. Во «Всадниках» рабам, как уже было отмечено, принадлежат ведущие роли. Все три «раба» относятся к остро карикатурным персонажам комедии, но если отделить «рабский» план роли от главного идейного плана комедии, то окажется, что это — рабы, со всеми присущими им в аристофановской комедии (и в афинском быту) качествами: необычным для комедии Аристофана здесь является лишь то, что ввиду необходимости выдерживать основной план этих ролей особенно подчеркнуты отрицательные черты рабов (или, точнее, рабского состояния): трусость, льстивость, завистливость, вороватость, пьянство, склонность злословить о хозяине. Самые тягостные из этих пороков, как правило, не характерны для аристофановских рабов.

3. В комедии «Облака» рабу Стрепсиада принадлежит всего несколько слов о нехватке масла в ночнике (что указывает на домашний характер его работы) и полудерзость в ответ на выговор Стрепсиада (ст. 56 и 58).

4. В «Осах» Сосий и Ксанфий, открывающие пролог, рисуются в общем симпатичными чертами: это — усталые работяги; разговаривая между собою, они критикуют демагогов и все афинское государственное устройство. Затем они выполняют чисто прологовую функцию, обращаясь от лица автора к зрителям с кратким изложением содержания пьесы. В целом же они поддерживают молодого хозяина, Бделиклеона в его борьбе с сутягой-отцом и его соратниками-судьями («осами»), хотя и проявляют при этом известную трусость (ст. 420, 428—429). В конце пьесы (ст. 1292—1325 и эксод) Ксанфий вновь выступает в роли вестника, предваряющего своим рассказом последующее действие. При этом упоминается также о палочных ударах, которые он получил от своего хозяина Филоклеона.

5. В прологе «Мира» рабы трудятся в поте лица, помогая хозяину, крестьянину Тригею. Они проявляют заботу о нем, стараясь удержать от задуманного им опасного полета на небо. На протяжении всего дальнейшего действия они также выступают как советчики и помощники Тригея. В отношениях между ним и слугами чувствуется патриархальная простота: нередко раб указывает хозяину, что тот должен делать и т. д. В ст. 873—874 содержится ясный намек на совместную попойку на празднике Артемиды Бравронской.

6. В прологе комедии «Птицы» выступает птица-раб. Роль этой птички-прислужника незначительна, но интересно, что птичье государство, пародийно имитирующее афинское общество, не может обойтись без его характерного атрибута—раба.

7. В «Лисистрате» рабы не выступают; раб, сопровождающий Кинесия, ничего не произносит, оставаясь «немым лицом».

8. В «Фесмофориазусах», в прологе, домашний раб поэта Агафона выступает примерно в такой же роли, как слуга Еврипида в «Ахарнянах», т. е. он является пародийным двойником своего

хозяина. Одновременно он — вестник, рассказывающий о том, что происходит с его хозяином за сценой.

9. В «Лягушках» Ксанфий, раб Диониса, открывает пролог и является одним из главных действующих лиц на протяжении всей первой половины комедии. Там же появляется и «адский» раб Эак, с которым Ксанфий обсуждает невзгоды рабского житья-бытья, а также основное событие комедии — соперничество Эсхила и Еврипида и их шансы на победу. Образ Ксанфия очерчен рельефно, со множеством характерных типических черточек. Ниже мы остановимся на этом подробнее.

10. В комедии «Экклесиазусы» служанка появляется в эксоде как вестница и прислужница своей госпожи Праксагоры; интересно, однако, что она, подобно всем аристофановским рабам с прологовой ролью, обращается с призывом к зрителям как бы от лица автора (ст. 1141—1143).

11. Наконец, в «Плутосе» раб бедняка-крестьянина Хремила выступает во всех возможных ситуациях: он и прологовый вестник, и преданный помощник и советчик своего хозяина (см. особенно ст. 25), и пародийный шут.

Уже из этого беглого перечня ясно, что роль раба занимает значительное место в древнеаттической комедии на всем протяжении ее жизни [19], а не только в последний период творчества Аристофана. Можно, правда, говорить о большей многогранности образа раба в комедиях «Лягушки» и «Плутос» сравнительно с ранними пьесами. Это легко объясняется общей тенденцией древнеаттической комедии последнего периода — ее переходом от обобщения и гротеска к акцентированию бытовых моментов. В этом могли также сыграть роль те социальные перемены, которые лежали в основе перехода от острой политической сатиры к комедии нравов и которые также обусловили больший интерес к личности раба. Но удельный вес роли раба в первой и во второй половине творчества Аристофана примерно одинаков.

Какие же можно отметить типичные черты аристофановского раба?

С. И. Соболевский, тщательно анализируя этот вопрос, подчеркивает, что рабы представлены у Аристофана в основном как положительные персонажи [20]. Даже трусость не является их неотъемлемым качеством. Ксанфий («Лягушки») храбр и великодушен в противоположность своему хозяину — трусливому, изнеженному и мало благородному (во всяком случае, в отношении своего раба) Дионису. Образ Ксанфия особенно интересен и тем, что, как на это указывает и С. И. Соболевский, он является «одним из первых типов рабов в аттической литературе, — по крайней мере, дошедшей до нас, — с ярко очерченным классовым ха-

[19] О том, что рабы выводились и в пьесах других авторов древнеаттической комедии, мы имеем ясное свидетельство самого Аристофана.

[20] С. И. Соболевский. Указ. соч., стр. 28.

рактером». Действительно, отношения между Ксанфием и его хозяином являются ярким образчиком классового антагонизма: Ксанфий все время протестует против эксплуатации его труда, не упускает случая отметить плохое обращение с ним Диониса, пользуется всяким поводом зло и остроумно подшутить над ним и поставить его в смешное или тяжелое положение. При этом симпатии Аристофана целиком и полностью на стороне Ксанфия. Не раз упоминается также, что если бы Ксанфий участвовал в морских сражениях, то получил бы равные права со своим господином (ст. 33—34, 190—191).

Подобный антагонизм не подчеркивается во всех остальных случаях у Аристофана. Рабы, как уже отмечалось выше, являются у него обычно преданными исполнителями воли и советчиками своих хозяев.

Причина этой разницы представляется нам совершенно ясной: только Ксанфий является рабом богатого и могущественного хозяина, остальные рабы у Аристофана (разумеется, речь идет о тех, роль которых хоть сколько-нибудь значительна), как правило, находятся в услужении у мелких собственников (Филоклеона, Тригея, Хремила), по большей части — крестьяне. Хремил — бедняк из бедняков, почти нищий, однако не следует удивляться, что и у него есть раб, и даже не один (Plut., 26—27, 816): как отмечает С. И. Соболевский, не иметь слуги — это уже было признаком крайней нищеты [21].

Аристофан, как правило, изображает патриархальные отношения между бедняком-крестьянином и его домашними слугами-рабами. Мы подчеркиваем «домашними», потому что у Аристофана выступают в говорящей роли только такого рода рабы. Здесь очень ценно наблюдение С. И. Соболевского, высказавшего предположение, что рабы, играющие активную роль в комедиях Аристофана — эллинского происхождения, а если и варварского, то все же воспитаны с детства в эллинском доме [22]. С. И. Соболевский отмечает высокую культурность выведенных у Аристофана рабов, их начитанность в греческой литературе и самостоятельность суждений о ней, чистый аттический язык, которым они выражаются, знание греческих обычаев и т. д. Рабы у Аристофана не только рассуждают о достоинствах и недостатках поэзии, но и цитируют греческих трагиков и дифирамбических поэтов и сплошь и рядом употребляют в своей речи поэтические выражения. С. И. Соболевский поэтому решает в положительном смысле вопрос о присутствии рабов на театральных представлениях [23].

В свете всего этого нам рисуется следующая картина возможного участия рабов в народном комедийном творчестве: сопровождая своих хозяев-крестьян в праздничном шествии, они могли

---

[21] См.: С. И. Соболевский. Указ. соч., стр. 26.
[22] Там же, стр. 17.
[23] Там же, стр. 19, сн. 4.

принимать участие в их манифестациях против богатых обидчиков. В VI в. до н. э. — веке зарождения аттической комедии — отношения хозяев и рабов носили более патриархальный, менее антагонистический характер, чем позднее, во времена высшего развития рабовладельческой формации. Тем более такой характер должны были носить отношения, складывавшиеся между рабом и неимущим хозяином, у которого раб мог быть его единственным реальным достоянием.

В сочинении сатирических песен, направленных против богатых эксплуататоров, вместе с крестьянами могли принимать участие их рабы, которые, как отмечает С. И. Соболевский [24], пользовались относительной свободой слова в демократических Афинах. Не удивительно, что на подъеме демократического крестьянского движения это могло привести к временной солидаризации интересов беднейших крестьян и рабов.

Во всяком случае значительная роль, которую играют рабы в комедиях Аристофана, их прологовая функция, отчетливо шутовской характер и явно сочувственное отношение к ним комедиографа — отношение, которое кроме них распространяется только на излюбленные Аристофаном образы крестьян, — все это вместе с приведенными выше античными свидетельствами дает основание для нашей гипотезы об участии рабов Аттики в фольклорном комедийном творчестве. Гипотеза эта должна быть, несомненно, проверена привлечением большего количества археологических памятников и комедийных фрагментов.

---

[24] С. И. Соболевский. Указ. соч., стр. 32.

Т. А. Миллер

К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИИ АНТИЧНОГО ДИАЛОГА

Диалог как особый жанр входит в греческую литературу в начале IV в. до н. э. и, может быть, больше, чем любая другая художественная форма, связан своими истоками с тем переломным периодом культуры Греции, который заслужил название эпохи Просвещения. Ломка архаической традиции сказалась в победе полисной демократии, в расцвете классического стиля в искусстве, она же ознаменована и открытием парадоксов в человеческих представлениях о мире. В знаменитых «апориях» элейского философа Зенона была поставлена под сомнение правильность обычных понятий времени, пространства, движения. Рушилось единство слова и вещи, и вставший в это время перед эллинским миром вопрос о ценности традиционной этики получил ответ в двух, возникших тогда, концепциях человека. Софисты провозгласили полную условность и произвольность той картины мира, которую строит в своем уме человек («человек есть мера всех вещей»), и тем самым отвергли объективность этических ценностей, сведя жизненную задачу человека к наиболее умелому использованию слова как знака, независимо от реальной сущности вещи. Их противником выступил Сократ, который, хотя и признал парадоксальность традиционных понятий этики, не отверг, однако, их абсолютной сущности и ее раскрытие поставил целью человеческой жизни.

Беседы Сократа были записаны по памяти целым рядом его учеников, и эти записи положили начало жанру сократического диалога. Изображение современника и будничной, бытовой обстановки вошло в греческую литературу с сицилийскими мимами Софрона и «Воспоминаниями» Иона Хиосского (V в. до н. э.). Сократический диалог переносит эту традицию в аттическую прозу и соединяет ее с показом нового героя-философа.

В сократическом диалоге, впервые в античной литературе, серьезная тема рассматривается без всякой трагической или эпической дистанции, не в абсолютном прошлом мифа и предания, а сквозь призму непосредственного и даже фамильярного контакта героя с живыми современниками [1]. Этот способ изображения

[1] См.: М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, стр. 142—144.

кладет начало новой художественной традиции. Как таковой он осознается уже Платоном — самым талантливым автором сократических диалогов. Платон предлагал заменить эпос и трагедию диалогом и определял его сущность как соединение серьезного и смешного. Это, оформившееся в диалоге, мироощущение серьезно-смешного делается затем характерной чертой многих жанров эллинистической литературы (мениипповой сатуры, диатрибы, пира, диалога мертвых) и продолжает жить в сценах средневековых мистерий.

Большая часть этой литературы утрачена, и главным источником наших сведений о своеобразии этой художественной традиции остаются сократические диалоги Платона. Особенно интересны его ранние «апоретические» диалоги, в которых Сократ показан в те моменты, когда он заставляет своего собеседника увидеть парадоксальность его обычных представлений, и ситуация всего разговора приобретает драматическую напряженность.

Темой разговора, который завязывается между Сократом и его партнером, служит одно из общих этических понятий типа «друг», «мужество», «благочестие» и т. д. Собеседники ставятся перед необходимостью найти онтологическое определение этих понятий, но им известны лишь функциональные определения их, и все попытки возвести функциональное определение до уровня онтологического оказываются несостоятельными. В диалоге воспроизводится ход логических рассуждений, приводящий подобную попытку к абсурду. Это индуктивное философское рассуждение вписывается как компонент в более широкую ситуацию, инсценируемую в платоновском диалоге.

Нас в данном случае интересуют принципы композиции именно этой обрамляющей ситуации. Она строится как воспроизведение одного из обычных эпизодов афинской жизни: беседы Сократа с друзьями на улице, в палестре, в доме друга и т. д. На материале «Лисида» мы попытаемся выявить те приемы организации словесного материала, которые превращают обмен репликами в картину законченной, целостной ситуации.

Объектом изображения в «Лисиде» служит сценка в палестре, предметом философского обсуждения — онтологическое определение понятия «друг». «Лисид» относится к числу повествовательных диалогов, т. е. инсценировка дается в нем в форме пересказа состоявшихся некогда бесед и вводится с помощью повествовательных ремарок типа «я сказал», «он ответил» или несколько более пространных описаний обстановки и обстоятельств разговора.

Эпизод, представленный в «Лисиде», получает свою пространственную и временную фиксацию. Он начинается с внезапного соединения персонажей:

«Шел я из Академии прямо в Ликей по дороге, что за стеной вдоль самой стены. Поровнявшись с малыми воротами, где панопов ручей, встретил я там Гиппотала, Иеронимова сына, и пэ-

анийца Ктесиппа, стоявших вместе с другими юношами. И когда я подходил к ним, Гиппотал, завидя меня, воскликнул:

— Куда идешь, Сократ, и откуда?

— Из Академии, отвечал я, — иду прямо в Ликей» [2] (203 А).

Заканчивается диалог столь же внезапным разъединением персонажей:

«Проговорив это, я уже намеревался затронуть кого-нибудь из старших, но тут как демоны какие-то приблизились к нам дядьки Менексена и Лисида, ведя за собой их братьев и с криком приказывая им возвращаться домой, потому что уже было поздно. Сначала и мы, и стоявшие возле нас пробовали отогнать их, но они не обращали на нас никакого внимания, а продолжали кричать, выражая ломаным языком свое негодование, причем нам казалось, что, выпивши по случаю Гермий, они недоступны уговорам; ввиду всего этого мы уступили им и прекратили беседу. Все-таки, когда они уже уходили, я сказал еще...» (223 АВ).

Введенные таким образом в диалог персонажи ставятся в фамильярные, личные отношения друг к другу, и разговор их окрашивается характерными чертами диалогической речи — интонацией легкого юмора, репликами, мимикой, жестами [3]:

« — Наперед хотелось бы услышать, что мне за это будет, и кто у вас там первый красавец?

— У нас, говорит, Сократ, одному один кажется, другому — другой.

— Ну а тебе-то кто, Гиппотал? Вот ты мне что скажи! — *Он же в ответ на это покраснел.* А я сказал: — О сын Иеронимов Гиппотал, можешь этого и не говорить, любишь ли ты кого-нибудь или нет, потому что я вижу, что не только любишь, но и далеко зашел в любви. Относительно чего другого я слаб и никуда не гожусь, но уж это мне от бога так дано, что я сразу умею отличать того, кто любит или любим. — *А он, услыхав это, еще более покраснел.*

Ктесипп же и говорит:

— Право, это забавно, Гиппотал, что ты краснеешь и не решаешься сказать Сократу имя, а побудь он с тобой хоть немножко, и ты уморишь его, не переставая повторять это имя. По крайней мере нас, Сократ, он оглушил, прожужжав нам уши Лисидом» (204 В—С).

Мелкие штрихи, которые попадают при этом в поле изображения, очерчивают контуры портретных зарисовок. В портрет включается поза, жест, манера держать себя и с этим внешним

---

[2] Цитаты даются в переводе Вл. Соловьева («Творения Платона», т. 1. М., 1899). Изменена транскрипция имен и внесены поправки в отдельные места перевода.

[3] См.: Л. П. Якубинский. О диалогической речи. — «Русская речь» (сб. статей под ред. Л. В. Щербы), вып. 1. Пг., 1923, стр. 96—195.

рисунком неразрывно связывается раскрытие субъективной стороны персонажа — его эмоций и настроений. Движение, поза, жест делаются как бы знаком, выражением субъективных свойств персонажа. Набор мелких подробностей, рассыпанных на всем протяжении диалога, оказывается связанным в единую цепь мотива. Одним из таких мотивов в «Лисиде» выступает любовь Гиппотала к Лисиду. В приведенном выше отрывке этот мотив обусловливает поведение (мимику) персонажа и тему общего разговора. В дальнейшем ходе рассказа он еще раз неоднократно всплывает в деталях позы персонажа и в теме беседы. Таким образом, картина, помещенная автором в заданные им временные и пространственные границы, получает целостность, оказывается взаимосвязанной в своих деталях благодаря наличию ассоциативных связей между отдельными ее отрезками.

Помимо этой линии развертывания сцеплений, мелкая деталь, штрих служит и тем конструктивным элементом, с помощью которого очерчивается и внутренняя структура отношений между персонажами. В качестве примера приведем один из отрывков «Лисида», лежащий на общей линии нескольких мотивов (мотив любопытства Лисида, мотив любви Гиппотала к Лисиду, мотив дружбы Лисида и Менексена) и в то же время имеющий свою особую структуру, благодаря которой все эти элементы организуются в упорядоченную ситуацию:

«— Сделаем так, — сказал я, и, взяв Ктесиппа, направился в палестру; прочие пошли вслед за нами. Войдя в палестру, мы застали там мальчиков в то время, как они, только что совершив жертвоприношение и окончив священные обряды, играли в кости, одетые все по-праздничному. Большинство было занято игрой во дворе снаружи, а некоторые в углу раздевальной комнаты играли в чет и нечет с помощью большого количества костей, которые они доставали из особых корзин; другие же стояли вокруг, смотря на игру.

В их-то числе и находился Лисид. И стоял он между мальчиками и юношами, увенчанный и выделяясь всем своим обликом, мало сказать красивый, а изящный и благородный. Мы же, отойдя в противоположный угол — там было поспокойнее, — сели и начали кое о чем разговаривать между собой. А Лисид то и дело оглядывался на нас и, видимо, очень желал подойти к нам, но все не решался, боясь идти один. Тут во время игры вошел со двора Менексен и, как только заметил меня и Ктесиппа, пошел, чтобы сесть рядом с нами. Увидев это, Лисид последовал за ним и тоже присел к нам рядом с Менексеном. Тогда подошли и другие и Гиппотал в том числе; увидев, что стоит много народу, и боясь рассердить Лисида, он спрятался за другими, ставши в таком месте, где Лисид, по его мнению, не мог его видеть, и стоя таким образом, прислушивался к разговору. А я, обратившись к Менексену, спросил его...» (206 E—207 C).

Содержание данного повествовательного отрывка тесно связано с содержанием предшествующих диалогических реплик, вернее подготовлено ими (203 В—204 А и 206 Е; 206 С и 207 А В).

Рисуемое здесь изображение включает в себя два компонента:

1. *Статичное изображение обстановки палестры.* Рассказчик запечатлевает ту картину, которая предстает его взору в момент вступления в палестру. Обрамлением картины служат указания на действия самого рассказчика:

«Войдя в палестру, мы застали там ... (следует описание палестры). Мы же, отойдя в противоположный угол — там было поспокойнее, — сели ...»

Статичность изображения создается нагромождением причастных форм перфекта и настоящего времени (τεθυκότας — совершивших обряды; πεποιημένα — сделанные; ἀστραγαλίοντας — играющих в кости; κεκοσμημένους — разодетых; προαιρούμενοι — доставая; θεωροῦντες — наблюдающие; ἐστεφανώμενος — увенчанный; διαφέρων — отличающийся), а также глаголов в имперфекте, перфекте и синонимичных им формах (ἔπαιζον — играли; ἠρτίαζον — играли в чет и нечет; περιέστασαν — стояли вокруг; εἱστήκει — стояли) без какого-либо указания на хронологические границы этих действий. Тем самым действия воспринимаются как одновременные.

Описание выдержано в плане зрительного восприятия рассказчика, т. е. действия и состояния описываются тут так, как их видит наблюдатель, в их внешнем проявлении, без указания на причину их.

2. *Динамичное описание поведения персонажей диалога.* Отрывок от слов «А Лисид то и дело оглядывался...» до слов «тогда подошли и другие...» содержит два элемента, которых нет в предыдущей статичной картине.

а) Динамику описания, т. е. изображение действия в их временной последовательности. Употребление слов θαμὰ — то и дело; τέως — ἔπειτα (всё) до тех пор — а затем ...; ὡς — как только — устанавливает хронологические отношения между описываемыми действиями.

б) Психологическое мотивирование описываемых действий. Называние действия или состояния сопровождается указанием на его психологическую причину: ἐπεσκοπεῖτο — ἐπιθυμῶν προσελθεῖν — оглядывался, *желая* подойти; ἠπόρει τε καὶ ὤκνει προσιέναι — был в нерешительности и *боялся* подходить; ᾔει παρακαθιζόμενος — пошел, *намереваясь* сесть рядом; προσέστη — δεδιὼς — встал рядом, *боясь*.

Ситуация, включающая эти два элемента, приобретает характер процесса, который распадается на несколько этапов и протекание которого связано с преодолением препятствия:

1) Необходимость действия, его психологическое мотивирование: «А *Лисид* то и дело оглядывался на нас и, видимо, *желал подойти к нам...*»

2) Психологическое препятствие к осуществлению действия: «но все не решался, *боясь идти один*».

3) Вмешательство постороннего фактора. Внешний толчок: «Тут во время игры *вошел со двора Менексен* и, как только заметил меня и Ктесиппа, *направился к нам, чтобы сесть рядом*».

4) Преодоление препятствия, осуществление действия: «Увидав это, *Лисид* последовал за ним и *тоже присел к нам рядом с Менексеном*»

Вычленяемая нами здесь структура эпизода — импульс к действию, препятствие, внешний толчок, преодоление препятствия — есть частный вид схемы конфликта и его разрешения. Подобные конфликтные ситуации лежат в основе большинства повествовательных отрывков «Лисида», вводимых рассказчиком как фон диалогического разговора. В общей композиции целого такое структурирование материала играет двойную роль, совмещая в себе выразительную и конструктивную функцию. Конфликтная ситуация придает, с одной стороны, напряженность изображаемому моменту; с другой стороны, она служит своеобразным механизмом, разрывающим нить разговора, переводящим беседу в другую колею, тем самым дающим возможность соединять в диалоге разные «диалогические ходы» (темы), устанавливать между этими ходами определенные отношения и объединять их в некую систему. Попытаемся проиллюстрировать нашу мысль на примере:

207 D. «*Собирался* я после этого *спросить, кто из них справедливее и умнее*, но тут кто-то подошел и заставил встать Менексена, сказавши ему, что его зовет преподаватель гимнастики, потому что, как мне казалось, он был приставлен к жертвоприношению, и он ушел, а я *обратился с вопросом* к Лисиду:

— А правда, Лисид, тебя горячо любят отец и мать?» (207 D).

В композиции всего диалога этот повествовательный отрывок служит как бы стрелкой, переводящей ход беседы на другие рельсы. Вопрос: «Менексен или Лисид справедливее и умнее?» заменяется теперь вопросом другого рода: «А правда, Лисид, тебя горячо любят отец и мать?». Ситуация, описанная в отрывке, этот механизм переключения внимания с одной темы на другую, складывается из нескольких актов и в более сжатом виде повторяет уже знакомую нам схему преодоления препятствия:

1) Необходимость действия: «Собирался я после этого спросить...»

2) Внешнее препятствие к действию: «Но тут кто-то подошел и заставил Менексена встать... и он ушел».

3) Осуществление действия. Изменение его направления: «а я обратился с вопросом к Лисиду».

Введение переключающей конфликтной схемы в структуру диалогических отрезков позволяет поместить рассуждение об онтологическом определении понятия «друг» в рамки бытовой

интимной сценки и использовать картинку личных отношений как структурный и изобразительный компонент. Разбор функциональных определений включается как составной элемент в ту общую цепочку, из которой складывается ситуация диалога и которая членится на звенья (реплики — переключение внимания — новые реплики). Логический анализ в апоретическом диалоге проходит через три апории, т. е. в нем воспроизводятся три логических хода, кончающихся неудачей. Поворотные пункты рассуждения показываются Платоном в форме показа личностных отношений между персонажами, возникающих по поводу данного рассуждения.

Конфликтная ситуация, включаемая в эти отношения, вводит в логический анализ напряженную интонацию. Весь ход поисков ответа на вопрос, что́ такое в существе своем друг, дается на фоне интимных отношений партнеров. Логическому обсуждению предпосылается следующая сценка:

«Услыхав это, я взглянул на Гиппотала и чуть было не наделал беды, а именно мне пришло на мысль сказать ему: Так-то, мол, следует разговаривать с любимцем, Гиппотал, смиряя его и укрощая, а не так, как бы, раздувая его гордость и потворствуя ему; но, увидев, как он мучается и как возмущен нашим разговором, я вспомнил, что он нарочно стал таким образом, чтобы Лисид не мог его заметить; тогда уж я спохватился и не сказал ничего.

А между тем вернулся Менексен и сел рядом с Лисидом на прежнее место. И вот Лисид совсем по-детски притянулся ко мне и ласково проговорил, так чтобы Менексен не мог его слышать...» (210 E—211 A)

Этот отрывок, рождающий ассоциации с предыдущими описаниями, переключает внимание читателя с логического хода мысли рассказчика на эмоции изображаемых им персонажей. Ум читателя отдыхает перед началом анализа сложного логического ответа на вопрос, что́ такое друг? Субъективное настроение участников диалога подчеркивается в этом отрывке как самой лексикой (ἀγωνιῶντα — он мучается; τεθορυβημένον — возмущен; φιλικῶς — ласково, дружески), так и всей ситуацией отрывка, которая строится на столкновении двух субъективных факторов. Ситуация эта, как и в предыдущих случаях, включает в себя столкновение готовности к действию и препятствия к этому действию и может быть представлена в виде следующей схемы:

1. Психологическая предпосылка действия: «Услыхав это, я взглянул на Гиппотала и чуть было не наделал беды, а именно мне *пришло на мысль сказать ему*...»

2. Психологическое препятствие к действию. «...но, увидав, как он мучается и как возмущен нашим разговором, я вспомнил, что он нарочно стал таким образом, чтобы Лисид не мог его заметить».

3. «Преодоление» препятствия — отказ от действия: «Тогда уже я спохватился и *не сказал ничего*».

После введения философской темы обмен репликами приобретает целый ряд новых черт: пред ним ставится точная цель (определение понятия «друг») и задаются пути движения к этой цели (предлагаемые собеседниками гипотезы и способы логического рассуждения). При этом у персонажей складываются особые отношения *по поводу* различных способов этого движения. Мы получаем своеобразную ситуацию, которую можно сравнить с ситуацией игры, поскольку в ней присутствуют такие элементы, как правила, действия по этим правилам и особые отношения, возникающие у партнеров по поводу этих действий. Этот последний элемент строится в «Лисиде» в виде обычных переключающих ситуаций. Там, где автору необходимо ввести новый логический ход, он разрывает нить абстрактного рассуждения и воспроизводит ситуацию поведения персонажей, внося в нее эмоциональную окраску и схему конфликта. Так, например, между рассмотрением первой гипотезы (друг — тот, кто любит, или тот, кого любят) и второй (подобное друг подобного) помещен отрывок такого рода:

«— Разве мы вообще неправильно исследовали дело, Менексен? — спросил я.

— Мне кажется, неправильно, Сократ, — сказал Лисид, — и, сказавши это, покраснел, потому что, как мне показалось, эти слова сорвались у него с языка сами собою, так напряженно следил он за тем, что говорилось; и было очевидно, что он все время слушал с таким же вниманием.

Тут, желая оставить Менексена в покое и в то же время обрадовавшись любознательности Лисида, я обратился к нему и завел с ним речь...» (213 D).

При разборе третьей гипотезы промежуточная сценка достигает наибольшей выразительности. В метафоре охотника и добычи персонифицируется игровой характер отношений между партнерами, и резкий перелом их настроения придает драматическую окраску неудавшемуся исходу беседы:

«Они согласились, что это так, и всячески стали подтверждать. Да я и сам очень радовался, любуясь добычей, как какой-нибудь охотник. Но потом, не знаю откуда, нашло на меня какое-то досаднейшее подозрение, а именно, что то, на чем мы согласились остановиться — ошибка; и опечаленный, я тотчас же сказал им...» (218 E).

Конец логическому рассуждению кладется уже цитированной выше сценкой (223 AB).

Подводя итог, мы можем сказать, что в «Лисиде» предмет изображения — зарисовка кусочка афинской жизни с ее бытовыми подробностями и подобием живого разговора — оформляется в сложную целостную и законченную ситуацию. Деталь наделяется

в ней двойной ролью — изобразительной и конструктивной. Благодаря взаимосвязи деталей и вводу «переключающего механизма», ситуация членится на композиционно связанные друг с другом эпизоды. Портрет персонажей при этом сквозь призму позы, жеста, мимики воспроизводит картину психологических настроений, а ведущееся партнерами логическое рассуждение строится по схеме игры. Серьезное содержание диалога преломляется через интонацию интимного и смешного.

А. И. Доватур

ПЛАТОН ОБ АРИСТОТЕЛЕ

Среди вышедших за последнее время работ об Аристотеле видное место занимают статьи, обязанные своим возникновением тому, что один видный зарубежный ученый назвал особым способом читать Аристотеля [1].

Корни этого способа следует искать в дважды издававшейся книге В. Иегера [2], заставившей специалистов по-новому взглянуть на литературное наследие Аристотеля. Если для средних веков Аристотель был непогрешимым учителем мудрости, создателем имевшей непреходящее значение, законченной и всеобъемлющей философской системы, и такое представление о нем в какой-то степени еще долго определяло собой отношение к сохранившимся его трудам со стороны ученых нового времени, то после книги Иегера и сторонники его и противники совершенно отказались от старой точки зрения. Литературное наследие основателя Ликея стало изучаться с новых, «генетических» позиций [3]. В произведениях Аристотеля начали искать следы постепенного их возникновения и отражение эволюции аристотелевской мысли даже в пределах одного и того же произведения. Искания автора, изменение самого хода его мыслей, обогащение последних — вот что стало объектом изучения как в больших исследованиях, посвященных творчеству Аристотеля в целом или отдельным его большим произведениям, так и в статьях, разрабатывающих вопросы более детального порядка.

---

[1] J. Bidez. A propos d'une manière de lire Aristote. — «Académie R. de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques», 5me série, XXX (1944), p. 43 sq.

[2] W. Jaeger. Aristoteles, Grundlagen einer Geschischte seiner Entwicklung. Berlin, 1923 и 1955.

[3] На генетической точке зрения (с бо́льшими или меньшими отклонениями от Иегера) стоят в своих работах, например: H. v. Arnim. Zur Entstehungsgeschichte der aristotelischen Politik. — «Akademie d. Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte», Bd. 200, Abh. 1 (1924), p. 12 sq.; E. Barker. The life of Aristotle and the composition and structure of the Politics. — CR 45 (1931), p. 162 sq.; W. Siegfried. Zur Entstehungsgeschichte von Aristoteles' Politik. — «Philologus» 88 (N. F. 42), (1933), p. 362 sq.; W. Theiler. Bau und Zeit der aristotelischen Politik. — MH 9 (1952), p. 65 sq.

Наметилась (в этом и состоит новый способ чтения Аристотеля) еще одна линия исследований. Делаются удачные попытки связать отдельные места в произведениях Аристотеля с обстоятельствами его жизни. Задача эта, разумеется, не легкая. В противоположность поэту или прозаическому писателю, ученый и философ, как правило, не фиксирует в своих произведениях мимолетные или даже длительные настроения и факты своей биографии. Тем не менее средствами филологической экзегезы оказалось возможным с достаточной степенью правдоподобия установить связь между одной высказанной в утраченном диалоге мыслью (правда, облеченную в яркую образную форму) и одним (с полным основанием предполагаемым) эпизодом жизни Аристотеля. В диалоге «Περὶ φιλοσοφίας» имелось сохраненное нам Цицероном (De natura deorum II, 37 = fr. 12 Rose) необычное для позднейшей писательской манеры Аристотеля красочное место. Речь шла о воображаемых людях, которые проводят свою жизнь под землей и никогда не выходят на ее поверхность; при этом они обладают прекрасными жилищами, которые украшены статуями и картинами. Эти люди знают понаслышке о существовании богов. Внезапно земные недра раскрываются. Обитатели их выходят на поверхность земли. Они видят землю, моря, небо, узнают величину облаков и силу ветров, созерцают солнце, познают его величину, красоту и действие — оно производит день, рассеяв лучи по всему небу; когда же ночь спускается на землю, они видят рассыпанные по небосводу и украшающие его звезды, а также изменение света луны, то возрастающей, то убывающей, вместе с тем — восход и заход светил и их рассчитанные навеки неизменные движения. Увидя все это, люди немедленно поверили бы в существование богов и признали бы творением богов все то, что представилось их взору.

Остроумной догадке филолога мы обязаны интересным комментарием к этому месту [4]. Есть известие о том, что, по инициативе Филиппа Македонского, были обследованы заброшенные рудники на предмет выяснения возможности их дальнейшей эксплуатации. Это произошло, вероятно, тогда, когда Аристотель жил в Македонии в качестве воспитателя Александра. Вполне правдоподобно участие Аристотеля в этом обследовании. Спускаясь под землю, он, после довольно продолжительного пребывания там, мог подниматься наверх в разное время суток и, следовательно, не раз испытал нечто подобное тому, что он приписывает своим воображаемым обитателям внутренних частей земли. Само собой разумеется, мы не вправе решительно отрицать отталкивание Аристотеля от знаменитой пещеры Платона в «Государстве» (VII, 1—2), но при любом решении вопроса об отношении образов Аристотеля к образам Платона решающую роль в создании пер-

---

[4] Bidez. Указ. соч.

вых придется отвести собственным переживаниям Аристотеля во время выполнения им ответственного правительственного поручения.

Изучение писем и завещания Аристотеля помогает подойти к пониманию личности философа, уяснить себе его «человеческое лицо» и тем самым вдохнуть жизнь в довольно скупые факты его биографии [5].

Имеется и очень тщательное маленькое исследование сочинений Аристотеля с точки зрения отражения в них внешней обстановки, в какой читались его лекции [6]. Стандартные примеры, которые любит приводить Аристотель, наводят на мысль, что в аудитории был трехногий стол, деревянное ложе, бронзовая статуя, бронзовый глобус, диаграммы и изображения на белом фоне (λεύκωμα) — для курсов этики, логики, зоологии, ботаники, анатомии. Во время своих лекций Аристотель указывал пальцем на соответствующее место в своих диаграммах, как это ясно видно из одного пассажа «Истории животных» — θεωρείσθω δὲ τὰ εἰρημένα ταῦτα ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τῆσδε (III, 1, 510a, 29 sq).

Предлагаемый ниже опыт интерпретации одного античного свидетельства о словах Платона по поводу занятий Аристотеля является результатом знакомства с работами охарактеризованного выше направления. Если внести поправку в традиционное понимание этого свидетельства, то, как кажется, получается возможность уловить один оттенок в отношениях между руководителем Академии и его великим учеником.

Сообщение, которым предстоит заняться, находится в Vita Marciana (Rose [7], p. 428, 1 sq.=Düring [8], p. 98, S. 6 sq): «καὶ οὕτω φιλοπόνως συνῆν (scil. ὁ Ἀριστοτέλης) Πλάτωνι, ὡς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἀναγνώστου οἰκίαν προσαγορευθῆναι, θαμὰ γὰρ Πλάτων ἔλεγεν «ἄπιμεν ὡς τὴν τοῦ ἀναγνώστου οἰκίαν» καὶ ἀπόντος τῆς ἀκροάσεως ἀνεβόα «ὁ νοῦς ἄπεστι, κωφὸν τἀκρωτήριον» — «и в общении с Платоном он (Аристотель) проявлял такое трудолюбие, что дом его получил название дома читателя; ведь Платон часто говорил: «пойдем к дому читателя», и когда он (Аристотель) не присутствовал на лекции, восклицал: «разум отсутствует, аудитория глуха!».

Почти то же дает Vita Aristotelis latina (Rose, p. 443, 12 sq.= Düring, p. 152, § 6 sq. — эта биография переведена с греческого, но не с Vita Marciana): «et tantam adeptus est dilectionem Plato-

---

[5] См.: «Aristotelis epistolarum fragmenta cum testamento ed. et ill. M. Plezia». Varsoviae, 1961; M. Plezia. The human face of Aristotle. — «Classica et Mediaevalia», 22 (1961), p. 16 sq.

[6] H. Jackson. Aristotle's lecture-room and lectures. — «Journal of Phillology», 35 (1920), p. 191 sq.; см. также: J. Düring. Aristotle in the ancient biographical tradition (Acta Universitatis Gothoburgensis 63, № 2), Göteborg, 1957, p. 371 sq.

[7] «Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta coll. Valentinus Rose». Lipsiae, 1886.

[8] См. примечание 6.

nis et diligentiam circa studium philosophiae quod Plato domum Aristotelis domum lectoris vocabat et frequenter dicebat «eamus ad domum lectoris» et ipso absente a lectione clamabat «intellectus abest, surdum est auditorium».

В обеих биографиях словам Платона об Аристотеле-читателе (анагносте) безоговорочно придается почетный для Аристотеля смысл. Традиция поздней античности (неоплатоническая) [9], отразившаяся в «Vita Marciana», считала слова Платона данью уважения учителя трудолюбию ученика. Ученые нового времени иногда повторяют такую интерпретацию [10].

Наша задача — попытаться уяснить себе смысл оценки Платоном занятий Аристотеля, исходя из конкретных культурно-исторических условий.

Начнем с вопроса: есть ли уверенность в подлинности самого свидетельства? Вопрос этот не должен считаться праздным. Ведь жизнеописания Аристотеля, в частности и «Vita Marciana», содержат, наряду с достоверными данными, и явно недостоверные сообщения — например, будто Аристотель посетил много земель как спутник Александра (Rose, p. 428, 7; 431, 8 — Düring, p. 98, § 8; p. 100, § 23).

Речь идет о том, что Аристотель много читал. Чтение не могло вызывать удивления и, во всяком случае, быть объектом особого внимания со стороны окружающих в эллинистическую эпоху, когда собирались большие библиотеки и степень образованности человека зависела в сущности от большего или меньшего количества знакомых ему книг; всякий занимавшийся философскими или научными изысканиями был тогда усердным читателем. Трудно представить себе, чтобы в эпоху книжной культуры могли быть придуманы слова Платона об Аристотеле-читателе. Они понятны на фоне условий классической Греции, когда книга и чтение еще не заняли в культурном обиходе того места, какое они завоевали впоследствии [11].

---

[9] Ad. Busse. Die neuplatonische Lebensbeschreibung des Aristoteles. — «Hermes» 28, (1893), p. 252 sq. — Поправку к этой статье дает Дюринг (Düring. Указ. соч., стр. 116 сл.): существовало жизнеописание Аристотеля, написанное Птолемеем; из этого жизнеописания была сделана Epitome, которая, в конечном счете, и отразилась в имеющихся у нас биографиях.

[10] См., например: J. Th. Buhle. Aristotelis vita per annos digesta (Aristotelis opera omnia I. Biponti, 1791, p. 86): «Sicut etiam idem (= Plato), cum inexplicabili cupiditate antiquiorum philosophorum scripta legendi omnes aequales superaret Aristotelem hunc ἀναγνώστου nomine ornasse fertur». M. Carrière. De Aristotele Platonis amico eiusque doctrinae iusto censore, Gottingae 1837, p. 17 sq.; quum (scil. Aristoteles) nunquam languescens antiquorum opera philosophorum legendi studio omnes aequales longe superaret, Stagiriten hunc ἀναγνώστου nomine ornavit».

[11] A. et M. Croiset. Histoire de la littérature grecque IV. 2-me éd. Paris, 1900, p. 744; «Век книжной учености начинается с Аристотеля. До этого Греция пела, говорила, слушала, но читала мало. Большие библиотеки появляются лишь при Птолемеях. Аристотель один из первых в Греции стал

Много ли читали люди, принадлежавшие к кружку Сократа? Насколько мы можем представить себе их времяпрепровождение, они занимались преимущественно собеседованиями. У Ксенофонта (Memorab. IV, 2) Сократ беседует в шорной мастерской с Эвтидемом, который намерен заняться государственной деятельностью и для этого собирает книги и, надо думать, читает их; Сократ в процессе беседы доводит Эвтидема до сознания, что тот ничего не знает, т. е. научает его тому, чему не могли бы научить книги. Характерно, что в комедии Аристофана «Облака» при описании фронтистерия не упоминаются книги — есть астрономические и землемерные инструменты (ст. 201—202), географическая карта (ст. 206). Нет никакой возможности отнести слова ἀστρονομία, γεωμετρία, γῆς περίοδος к свиткам, содержащим изложение соответствующих научных дисциплин — ведь на вопрос, для чего нужна «геометрия», ученик Сократа отвечает: «для измерения земли», а после упоминания о γῆς περίοδος он объясняет: «здесь Афины». Схолиаст делает ремарку к стиху, в котором сказано об «астрономии», — «указывает на сферу», а к дальнейшим стихам — «указывает на астрономические и географические чертежи». Присутствия свитков мы не видим и в конце комедии, хотя здесь, в сцене пожара, они, как горючий материал, не были бы забыты, если бы автор считал их необходимой принадлежностью фронтистерия. У Аристофана и его современников место, где занимаются умственной деятельностью, не ассоциируется с представлением о коллекции книг, о библиотеке.

С этим вполне согласуется то, что нам известно о первых собраниях книг. Такое собрание было у Еврипида и позднее, более богатое, у Аристотеля [12]. Начитанность Еврипида, как известно, не вызывала уважения со стороны Аристофана. Иронически окрашенные слова в «Лягушках», пусть вложенные в уста самого Еврипида, свидетельствуют об обратном: он давал «сок болтовни, процеживая его из книг» (ст. 943).

Чтобы уловить оттенки, казалось бы, не вызывающего никаких вопросов суждения Платона, следует обратиться к высказываниям Платона о книгах и чтении.

Прежде всего, однако, остановимся еще на самом разбираемом нами свидетельстве. Оно предполагает вполне конкретную ситуацию. Идя к дому Аристотеля со своими учениками, Платон говорит: «пойдем к дому читателя», тем самым намекая на занятие, которому Аристотель предается в домашней обстановке.

много читать». — Hippolyte Taine. Les jeunes gens de Platon. Essais de critique et d'histoire. 5-me éd. Paris, 1887, p. 156: «Философия родилась в Греции не так, как у нас — в кабинете, среди бумажных груд, — а на свежем воздухе, под ярким солнцем, там, где молодые люди, утомясь от палестры и прислонясь к колонне гимнасия, беседовали с Сократом об истине и о благе».

[12] Düring. Указ. соч., стр. 336 сл.

Отпадает, следовательно, предположение об использовании Аристотеля в качестве чтеца в Академии [13].

В «Протагоре» (17, 329 A) Платон делает сравнение между книгами и людьми. Первые не умеют ни отвечать на вопросы, ни задавать вопросов.

Но и люди не одинаковы. Хотя все они способны отвечать, но ораторы произносят длинные речи и дают длинные ответы. Протагор же, хотя речи его и длинны, обладает будто бы способностью отвечать кратко. Иначе говоря, идеальным является общение с теми, кто умеет задавать вопросы и кратко отзываться на вопросы собеседника. Книги меньше всего соответствуют этому идеалу.

Та же мысль о неспособности книг удовлетворять возникающие у читателя запросы выражена более детально в «Федре» (58, 274 C—275 D). Сократ рассказывает здесь об изобретении письмен египетским божеством Февфом, которому человечество обязано также открытием числа, счета, геометрии, астрономии, игры в шашки и игры в кости. Египетский царь Фамус, знакомясь с изобретениями бога, спрашивает, какая будет польза от каждого из этих изобретений, и в зависимости от ответа одно одобряет, другое порицает. Когда дело доходит до письмен, изобретатель говорит: «Эта наука, о царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми — ведь найдено средство приобрести память и мудрость» (274 E). Царь не обнаруживает склонности согласиться и возражает: изобретателю не дано судить о пользе и вреде его изобретения, решающее слово произносит другой. По мнению царя, употребление письмен отнюдь не укрепит память, так как люди, выучившись записывать, перестанут заботиться об укреплении памяти.

Не согласен царь признать письменность и подсобным средством для приобретения мудрости: это будет мудрость не подлинная, а лишь кажущаяся; грамотным людям будет легко познакомиться со многими предметами и благодаря этому, не обладая настоящим образованием, создавать иллюзию богатства мыслей (275 A). В сущности, книги оказываются подобными произведениям живописи, которые можно принять за живые, «однако, если им задать какой-нибудь вопрос, они очень торжественно молчат» (275 D). Так и литературные произведения, как может показаться, говорят разумно, но на самом деле в ответ на вопросы о смысле сказанного умеют только всякий раз твердить одно и то же [14].

---

[13] Такое предположение см.: A. Gercke. PWRE, Bd. II (1896), col. 1013, s. v. Aristoteles 18.

[14] Любопытное, хотя и не вполне параллельное место находим у Ксенофонта (Mem., I, 4, 3). На вопрос Сократа о том, какие люди вызывают у него восхищение своей мудростью, Аристодем называет автора эпических поэм Гомера, автора дифирамбов Меланиппида, автора трагедий Софокла и жи-

Не чтение, а живая беседа была главной формой умственной деятельности и умственного общения философов Академии. Надо думать, иногда читались и законченные произведения; чтение было обязанностью раба-анагноста [15]. Затем происходило обсуждение вопросов, которым была посвящена прочитанная книга. Но гораздо чаще положение или замечание, высказанное кем-либо из собеседников и служившее исходной точкой для беседы, не имело отношения к книгам. Во всяком случае из диалогов Платона не видно, чтобы они непосредственно вырастали из мыслей, навеянных только что прочитанной книгой.

Начавшая входить в обиход культурного человека книга не сразу вытеснила устную беседу в качестве основного средства умственного воздействия на молодежь. Сторонником примата беседы над книгой Платон прямо выступил в приведенных выше местах своих диалогов, относящихся к тому времени, когда Аристотель не был еще слушателем Академии [16]; в дальнейшем он нигде не отрекался от своего мнения [17].

После всего сказанного нельзя видеть в отзыве Платона об Аристотеле только выражение восхищения учителя перед безграничной любознательностью ученика. Ведь чтение, с точки зрения Платона, — не столь уж плодотворное занятие. Нельзя, впрочем, отрицать и элемента похвалы в этом отзыве — он и дал возможность биографам поставить слова Платона об Аристотеле-читателе рядом с другими его словами, об Аристотеле-разуме [18]. Естественнее всего понимать слова Платона как похвалу с оттенком

вописца Зевксида. Дальше собеседник подводит его к заключению, что создатели людей (т. е. боги) более достойны изумления, нежели те, кто создал «лишенные мысли и неподвижные изображения». Слово εἴδωλα можно отнести только к произведениям ваяния и живописи, но не к литературным произведениям или к их героям. Во всяком случае произведения литературы уже поставлены рядом с неразумными и неподвижными произведениями резца и кисти.

[15] О рабах-анагностах и о позднейших анагностах, выступавших с публичными чтениями, см.: Mau, PWRE, Bd. I (1894), col. 2025, s. v. anagnostes. Имеется и надпись на могиле анагноста в Неоклавдиополе («Studia Pontica, III, Recueil des inscriptions grecques et latines du Pont et de l'Arménie». Bruxelles, 1910, № 70b). Об анагностах христианского мира см.: E. H a n t o n. Lexique explicatif du «Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Asie Mineure. «Byzantion», IV (1927—1928), p. 63 sq.

[16] «Протагор» относится к раннему периоду писательской деятельности Платона, он написан, возможно, еще при жизни Сократа; «Федр» создан не позднее 392 г. — См.: Ed. Z e l l e r. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, T. II, Abt. 1, 5. Aufl. Leipzig, 1922, p. 528, 539.

[17] Вероятно, ко времени споров о преимуществах книжного или устного обучения восходит и поговорка о том, что живой голос обладает большей действенной силой, нежели безгласные учителя. Об этой поговорке см.: Boot ad Cic. ad Att. II, 12, 2.

[18] Впрочем, впервые заподозривший иронический смысл в словах Платона об Аристотеле-анагносте Дюринг усматривает иронию и в наименовании «разум» (D ü r i n g. Указ. соч., стр. 109).

иронии в духе Сократа: последний любил возвеличивать собеседника, но главным образом для того, чтобы посмеяться над ним [19]. За словами, как будто констатирующими похвальный факт, скрывается недоверчивая улыбка, с какой нередко представители уходящей фазы человеческой культуры встречают новшество, знаменующее собой приход нарождающейся новой фазы.

---

[19] О сократовской иронии (применительно к словам Алкивиада о Сократе в «Пире», 33, 216E, ср. 34, 218D) — см.: U. v. Wilamowitz—Moellendorff, Platon, I, 2. Aufl. Berlin, 1920, p. 572, № 1.

И. М. Нахов

НАУКА И РЕЛИГИЯ В ИДЕОЛОГИИ КИНИЗМА

Тернист и извилист путь человечества к познанию, культуре и коммунизму. Здесь не обходится и без парадоксов: призывы к прогрессу и машинизации на поверку оказываются подчас реакционными, а те, кто бросает клич «назад, к природе!», в действительности помогают расчищать джунгли предрассудков, извращенности и насилия. Порой отрицание становится союзником прогресса, негативное оборачивается действенным средством в поступательном движении цивилизации. Все дело в том, в какой конкретный момент истории и в интересах каких общественных слоев выдвигается лозунг.

Известен ошеломляющий на первый взгляд ответ Жан-Жака Руссо на конкурсный вопрос Дижонской Академии наук: «Содействовало ли возрождение науки и искусств улучшению и прогрессу нравов?». Плебей, он сказал «нет» обществу, построенному на неравенстве и угнетении, отверг его культуру, плодами которой могли воспользоваться только имущие.

У великого французского просветителя были дальние предшественники. Как и он, они видели, что цивилизация одним несет роскошь и удобства, а другим, своим создателям, — еще бóльшую бедность и порабощение. Ненависть к поработителям угнетенные наивно переносят на орудия и блага, производимые ими. Раб, замечает Маркс, «...дает почувствовать животному и орудию труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно обращаясь с ними и con amore подвергая их порче, он достигает сознания своего отличия от них» [1].

Нигилистическое отношение к материальной культуре и науке чуждого строя — незрелый плод классовой борьбы ее наивных участников.

Общеизвестны высказывания Энгельса и Ленина о революционно-демократическом духе раннего христианства. Рабы, вольноотпущенники, свободная беднота, из которых вышли первые христианские проповедники, не могли принять классическую цивилизацию не только потому, что это была цивилизация ненавист-

---

[1] К. Маркс. Капитал, т. I. М., 1955, стр. 203, примечание 17.

ных язычников-иноверцев, но, главное, потому, что это была культура угнетателей-рабовладельцев. «Во времена раннего христианства представление о науке и знании ассоциировалось с ненавистными языческими высшими классами, и на них смотрели с подозрением». Именно поэтому первоначальные христиане были преисполнены «решимости не иметь никакого дела с греховной классической культурой угнетателей» [2]. Даже в Средние века наиболее радикальные народные движения отвергали культуру как порождение неравенства. Ярким примером являются попытки крестьянско-плебейской массы чешских таборитов (XV в.) уничтожить старую культуру, монополизированную церковью и дворянством, заменить недоступную народу книжную ученость новой народной культурой [3].

Пока общество расколото на антагонистические классы, обездоленные инстинктивно отгораживаются от угнетателей, ищут спасения в сохранении своего примитивного быта и образа жизни, «близкого к природе». Конечно, такая самозащита иллюзорна, но у слабых иного способа в прошлом порой не бывало. Первобытные племена в отдаленных уголках нашей планеты, соприкоснувшись с цивилизацией «белых господ», держатся от нее подальше, предпочитая свободу в хижинах рабской службе в дворцах, — свидетельства такого характера рассыпаны по книгам этнографов и путешественников. Датский этнограф Й. Бьерре сообщает подобные факты о бушменах Южной Африки [4], польский путешественник А. Фидлер — об индейцах бассейна Амазонки [5]. От этих жестов отчаяния и идеализации дикости — прямая дорога к протесту против хищнической, враждебной цивилизации капитала, к концепции «антипрометеизма».

Дело не только в том, что культура, наука, образование господствующего класса ассоциируются с самим господствующим классом. Кроме этого субъективного момента, в эксплуататорском обществе материальный прогресс имеет объективно отрицательную сторону: калечащее действие разделения труда, о котором говорил Маркс, превращает людей в придатки машин; автоматизация процессов труда устраняет из них творческий момент, происходит общая «дегуманизация» условий труда. Указанные процессы деформируют человеческую личность, нарушают ее гармоническое развитие.

Происходят сдвиги в сознании. Увлечение техницизмом ведет к умалению духовных ценностей, появляется пресловутая проблема «физиков» и «лириков», подлинная культура подменяется

---

[2] Д. Бернал. Наука в истории общества. М., 1956, стр. 154, 152.

[3] И. Мацек. Табор в гуситском революционном движении, т. II. М., 1959, стр. 155 сл.

[4] Й. Бьерре. Затерянный мир Калахари. М., 1963, стр. 172—173, 176.

[5] А. Фидлер. Рыбы поют в Укаяли. М., 1963, стр. 153—154.

ремесленным «массовым» искусством. Маркс и Ленин неоднократно указывали на отчуждение культуры в капиталистическом обществе, на ее антигуманистическую и антинародную сущность. Крупная капиталистическая промышленность, говорил Маркс, «отделяет науку, как самостоятельную потенцию производства, от труда и заставляет ее служить капиталу»[6]. В. И. Ленин подчеркивал: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития»[7].

Все сказанное до сих пор — не простая дань времени и публицистика. Отношение киников, народных философов древней Греции, к науке, культуре и религии, его противоречивость, социальный смысл и историческая обусловленность могут быть понятыми до конца лишь в широком историческом контексте, включенные в общую картину жизни, в связи с предшествующим и при выяснении тенденций будущего. Только в связи с современностью изучение античности приобретает смысл и оправдание.

Если в Средние века и при капитализме культура служила главным образом привилегированным классам, то в рабовладельческом обществе она целиком обслуживала рабовладельцев. Вся система науки и просвещения, сосредоточенная в руках одного класса, в древней Греции носила особенно ясно выраженный классовый, рабовладельческий характер, противопоставляя образование, достойное свободного человека (ἐγκύκλιος παιδεία), ремеслам, занятиям, связанным с физическим трудом и потому приличествующим рабам (τέχναι βάναυσοι). Эта дуалистическая система сохранилась до поздней античности с ее septem artes liberales[8], а отголоски ее дошли вплоть до нашего времени.

Ранняя натурфилософия занималась выяснением первопричин материального мира, новая этическая философия (софисты, Сократ, Платон) выясняла роль свободного человека в его государстве. И первое и второе было чуждо социальным низам, чужим на своей земле.

Но даже в пору становления и расцвета наука по существу оставалась далекой интересам производства, не стремилась совершенствовать ремесла и сельское хозяйство, облегчить положение тружеников, поднять производительность их труда. В античности «...наука развивалась богатыми гражданами в первую очередь не для целей практического ее применения, которые они

---

[6] К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 367.

[7] В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 436.

[8] Интересный материал для характеристики классового характера образования в античности собран в докладе Кюнерта (ГДР), прочитанном на Международной конференции исследователей античности в Ленинграде (апрель 1964 г.).

презирали»[9]. Даже Фидий считался только ремесленником, а об Архимеде, гениальном ученом, создателе многих полезных машин и приборов, Плутарх мог заявить: «Он смотрел на работу инженера и на все, что служит удовлетворению потребностей, как на неблагородное и простонародное дело»[10]. «Чистая» наука противопоставлялась технике. Пальма первенства отдавалась философии, литературе, высокому искусству, а эти формы общественного сознания почти целиком были подчинены задачам идеологической обработки народа в духе безоговорочного признания разумности существующего строя. Ничего, кроме крайней враждебности к современной культуре, включенной во всю систему рабовладельческих отношений, у рабов, батраков, бедных ремесленников и разоряемых крестьян нельзя было ожидать.

Обычно в буржуазной историко-философской литературе киники красноречиво изображаются врагами науки и культуры. Так они и вошли в историю: нечесаными бродягами, поносящими все и вся. Буржуазная наука даже не пытается показать, точно ли киники враждебны цивилизации, какой именно культуре враждебны они и что они предлагают взамен[11]. Конечная причина такой интерпретации — желание буржуазии унизить или вовсе зачеркнуть своеобразную и непонятную для нее демократическую и материалистическую школу античности.

Низкое социальное происхождение и положение большинства киников и тех слоев, идеологию которых они выражали, обусловили их резкую оппозиционность ко всей греческой рабовладельческой цивилизации. Господствующие наука и культура, по их убеждению, не только не принесли им никакой пользы, но, более того, содействовали угнетению. Кинические моралисты, совсем как Руссо в XVIII в., считали, что наука и культура способствовали нравственному падению общества, отдаляли его от справедливости естественных установлений. Ненависть к существующему строю киники переносили на свое понимание исторического процесса, в соответствии со своим отрицательным отношением к современности они строили и свою пессимистическую концепцию истории. Поднимающаяся рабовладельческая демократия и ее философия разрабатывают идею прогрессивного раз-

---

[9] Д. Бернал. Указ. соч., стр. 137; Ср.: Г. Дильс. Античная техника. М.—Л., 1934, стр. 35.

[10] Плутарх. Жизнеописание Марцелла, 14.

[11] В данной статье преимущественно рассматриваются взгляды древних киников, основателей школы, которые внесли наиболее серьезный и целостный вклад в теорию кинизма (к сожалению, эти взгляды дошли, как правило, в поздней передаче). Понятно, что для принципиальной постановки проблемы не обязательно прослеживать ее на протяжении почти тысячелетней истории кинической школы. Естественно, из поля зрения исключены лжекиники, «попутчики» кинизма, которые представляют интерес исключительно культурно-исторический и социальный, а не философско-теоретический.

вития человечества — от первобытной дикости к совершенствованию и благосостоянию (Эсхил, Протагор, Аристотель, Феофраст, Эпикур, Лукреций). Киники, выражавшие мировоззрение классов без будущего — обнищавших свободных, люмпен-пролетариата, рабов,— свои идеалы искали в прошлом, утверждая, что со времен Кроноса легкая жизнь, уготованная богами для людей, постоянно ухудшалась. Так думал крестьянин из бедной Беотии Гесиод, такого взгляда придерживался и терявший под ногами почву аристократ Платон. С позиций превосходства «природы» над человеческими «установлениями» критиковали действительность некоторые софисты (Гиппий, Антифонт), Еврипид. Так учил и киник Диоген: «Боги дали людям легкую жизнь, но в погоне за вкусной пищей, благовониями и тому подобным они утратили ее» (Диоген Лаэртский, VI, 44; в дальнейшем — Д. Л. Ср. Юлиан, речь VI, р. 193—194 А). У каждого из них была своя причина недовольства настоящим, и она выливалась в тоску по утраченному блаженству золотого детства человечества.

В согласии с этой концепцией и своим ведущим, воспринятым у софистов лозунгом «κατὰ φύσιν» (в соответствии с природой), киники (а по их следам и стоики) идеализировали первобытное состояние, не искаженное привнесенными человеком «законами», идеализировали «естественного человека», «варвара» (скифов, гетов и др.) [12], не знакомого с порабощающей цивилизацией. «Естественные» люди благодаря своим элементарным потребностям ни к чему не привязаны, не нуждаются ни в семье, ни в частной собственности, способны сами себя обслуживать и удовлетворять (автаркия), т. е. их личная свобода и независимость ничем не связаны. Тот, кто ни в чем не нуждается, подобен богам (Д. Л. VI, 105). В «естественном человеке» громче звучит голос нравственного чувства, он морально чище «испорченного» горожанина. В борьбе за освобождающее ограничение потребностей все люди равны, на основе нищеты равенство становится достижимым, реальным, а не только желаемым. Обильная, простая, нравственная и свободная жизнь в далеком прошлом, свобода и равенство на основе бедности, аскетизма и ограничений в настоящем — такова нехитрая социология киников.

Понятно, что логическим продолжением идеализации человека близкого к природе, является моралистическое провозглашение жизни животных образцом естественности и непритязательности. Киники считали, что животные превосходят человека и уподобляли им свою жизнь. Собака (κύων) для киника не только символ, но и идеал. У Лукиана Диоген призывает: «Твой голос пусть будет грубым, как у варвара, а речь незвучной и безыскусственной, как у собаки. Надо вообще быть диким и во всем походить на

[12] См.: Дион Хрисостом. Речи, 69, 6; 10, 30; 15, 20.

зверя» («Продажа жизней», 10)[13]. Животные довольствуются малым, не нуждаются ни в жилищах, ни в одежде, ни в огне, ни в обильной и вкусной пище, ни во врачах и лекарствах, а живут столько, сколько им назначено природой (Дион, VI, 208, 205, 206; Gnom. Vat., 534; Лукиан, «Петух», 27). Они выше людей физически и морально (Дион, I, 48; IV, 145; Д. Л., I, 51; II, 73). Даже дикие звери не охвачены такой жаждой убийства и насилий, как люди (Дион, речь X, 305). В соответствии с таким морализирующим отношением к царству животных киники в своих уличных проповедях охотно использовали «животные» сравнения и обращались к народному жанру животной эзоповской басни, в которой осуществлялись и другие кинические эстетические принципы — смешение «приятного с полезным», «серьезного со смешным», персонификация, этопея и др. Использовал басни Антисфен (Аристотель, Политика, III, 13 р. 1284а 14—17) и Диоген (Д. Л., VI, 80). Кинизирующие писатели часто включали басни в свои произведения с обличительными целями (Дион Хрисостом, Лукиан и др.)[14]. Вполне вероятно существование «кинического Эзопа» — басенного сборника, который использовали и популярные философы-моралисты и плебейские баснописцы вроде Федра. Киникам была близка и сама фигура Эзопа — «варвара», раба и обличителя. В эзоповых баснях человеческие достоинства и пороки выступали под личинами представителей животного царства, и обращение к миру животных служило средством острой критики действительности. Народных философов животные привлекали также и тем, что среди них царит природная справедливость и равноправие — здесь нет тиранов, рабов и господ. «Ведь ни лев не находится в рабстве у другого льва, ни конь у коня, как человек у человека...» (Плутарх, «Моралии», р. 987 D). Даже между людьми и животными существуют отношения сотрудничества и доброжелательности, а не деспотизма и ненависти (пастухи и стадо, охотники и собаки и т. п. — Дион, I, 50). Обличая тиранию Александра, псевдо-Диоген замечает, что такого не встретить даже у волков, этих самых зловредных зверей (письмо 40, 2, р. 255, 11—15). Под влиянием кинических идей находится дидактическая тенденция сочинения «О природе животных»[15] Клавдия Элиана. Сопоставление животных и человека здесь явно не в пользу последнего: животные показывают образцы мужества,

[13] Ср. Дион Хрисостом, VI, 21: «Только боги, говорит Гомер, живут легко, тогда как люди проводят свою жизнь в трудах и заботах. Подобна жизни богов и жизнь животных... Люди же, напротив, живут в постоянном беспокойстве, вредят друг другу, всегда бедствуют и никогда не могут быть спокойными, даже в дни священных праздников и когда объявлен божеский мир. И все это они делают и претерпевают только ради единственной цели,— чтобы жить, и непрестанно охвачены беспокойством, как бы не иссякли необходимые им вещи...»

[14] Ср.: R. Hirzel. Der Dialog, B. II. S. 108, Anm. I.

[15] Сочинение Περὶ Ζῴων φύσεως было и у Антисфена (Д. Л., VI, 15).

силы, великодушия, дружбы, благодарности, умеренности и т. п., т. е. всего того, чего не хватает человеческому обществу.

Таким образом, идеализация первобытной жизни и естественного состояния, отрицание достижений враждебной культуры закономерно вызывали к жизни лозунг «назад, к природе» и стремление возродить утраченное блаженство золотого века Кроноса. Можно легко согласиться с предположением академика В. П. Волгина, что из мифа о золотом веке выросла теория естественного состояния и что именно киникам принадлежит первая коммунистическая редакция этого мифа [16]. Идеализация далекого прошлого несла в себе зерно отрицания настоящего, недовольства им.

В концентрированном виде взгляды киников на человеческий прогресс, культуру, естественное состояние и животных выражены Диогеном в передаче Диона Хрисостома (VI, 21 сл.):

«Жизнь людей из-за их изнеженности более несчастная, чем у животных. Животные пьют воду и едят траву; большинство из них всегда наги, у них нет жилищ, они не нуждаются в огне и живут столько, сколько им определено природой, если их только не убьют. Все они всегда сильны и здоровы, не испытывают нужды ни во врачах, ни в лекарствах. Люди же, которые привязаны к жизни и изобрели столько способов борьбы со смертью, по большей части не доживают до глубокой старости, их всегда терзают болезни, которые даже трудно перечислить. Им мало тех лекарств, которые производит для них земля, — они нуждаются еще в железе и огне. Но ни один из врачей, будь то Хирон или сам Асклепий или кто-нибудь из его сыновей, не могут им помочь из-за их распущенности и злобы. Не поможет им ни пророк со своими пророчествами, ни жрец со своими искупительными жертвами.

Люди сосредоточиваются в городах, чтобы защищать несправедливость. Они пускают в ход самые худшие средства, чтобы причинять друг другу зло, будто бы именно с этой целью они объединились. Здесь кроется смысл сказания о Прометее, которого Зевс покарал за изобретение и похищение огня, ибо это было для людей первым шагом к изнеженности и роскоши. Ведь у Зевса нет ненависти к людям, и он полон к ним благожелательности...

Человек стал неженкой только благодаря своему образу жизни. Обычно он избегает солнца, как и холода. Отсутствие у него шкуры тут ни при чем. Лягушки и немало других животных созданы еще более нежными, чем люди, и у них меньше шерсти на теле. И все же они не только переносят холод и жар в воздухе, но даже зимой могут жить в ледяной воде. Глаза и лицо человека ведь тоже не нуждаются в защите. Вообще, ни одно живое существо

---

[16] В. П. Волгин. Очерки по истории социализма. М.—Л., 1935, стр. 24.

не рождается в таком виде, чтобы не быть в состоянии жить. В противном случае, как же существовали бы первобытные люди? Без огня, без жилищ, без одежды и пищи, кроме той, которая родится сама по себе. Позднейшим поколениям их искусства, разнообразные изобретения и сложные приспособления не принесли никакой реальной пользы, ибо люди используют свои творческие способности не для добродетели и справедливости, но для наслаждений. Чем больше они охотятся за наслаждениями, тем безрадостней и тяжелее становится их жизнь. Они приходят в жалкий упадок, чем больше они стараются обеспечить свое существование. Поэтому справедливо, что Прометей, как рассказывает миф, был прикован к скале, и орел пожирал его печень...»

В интерпретации киников, в соответствии с их взглядами на исторический прогресс и роль культуры, Прометей вовсе не благодетель человеческого рода, а «умник и софист», ставший жертвой собственного тщеславия. Вместе с его дарами в мир пришли изнеженность, роскошь, вырождение и всякое зло. Прометей принес с собой культуру, которая лишила людей счастливой невинности золотого века. От природы человек ни в чем не нуждался; только с ростом культуры у него появились ложные кумиры, выросли новые потребности, сделавшие его зависимым от внешних благ. Возможно, отрицательная трактовка образа Прометея восходит к самому Антисфену, написавшему три сочинения о Геракле, в одном из которых принимает участие «софист» Прометей. «С именем культуры у Антисфена связывается представление о вырождении, а с именем общества — представление о рабстве» [17]. В кинической интерпретации образа Прометея как нельзя ярче отразилась враждебность киников ко всей рабовладельческой цивилизации. Под киническим влиянием Дион Хрисостом изобразил Прометея софистом (VIII, 33), сделал отличительной чертой его характера тщеславие, вывел его виновником проникновения в человеческое общество развращающей роскоши (VI). Кинически окрашен образ Прометея и у Горация («Оды», I, 3) [18]:

После кражи огня с небес,
Вслед чахотка и с ней новых болезней полк
Вдруг на землю напал, и вот
Смерти день роковой, прежде медлительный
Стал с тех пор ускорять свой шаг.
Высь небес испытал хитрый Дедал, надев
Крылья — дар не людей, а птиц;
Путь себе Геркулес чрез Ахеронт пробил.

---

[17] «История философии», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 148.

[18] Это не случайное совпадение. Гораций нередко обращался к киническим источникам.

Нет для смертного трудных дел:
Нас к самим небесам гонит безумье, — так,
Наших ради деяний злых,
Бог Юпитер не мог молний ослабить гнев.

(Перевод Н. С. Гинцбурга)

Изворотливым софистом, ловким спорщиком и сутягой представлен Прометей и в диалоге Лукиана «Прометей, или Кавказ» (киническое влияние на него несомненно).

Такой же недоброй репутацией пользовался у киников и Дедал, мифический строитель критского лабиринта, архитектор, создатель статуй и зачинатель художественных ремесел (в приведенной выше оде Горация имя его недаром стоит рядом с именем Прометея). С образом Дедала у греков также было связано устойчивое представление о «культурном» герое, носителе материального прогресса. Дедала они также считали виновным в отлучении людей от первозданного блаженства.

Культура, образование, наука после появления классов, уже у самых своих истоков, носили клеймо кастовости, объединялись с теми, кто угнетал. Как идеологи низов, киники выступали против этих враждебных им сил в теории и на практике.

В теории, идеализируя первобытное состояние, придерживаясь номиналистической логики, утверждавшей бессодержательный принцип равенства отдельной вещи самой себе, отрицая реальность понятий, абстракций, обобщений, киники выступали против углубленных исследований, создания подлинной науки о мире, природе и обществе [19]. Киников, как и большинство современных им философов, интересовал отдельный человек, его поведение и место в обществе, короче — этика, а не вопросы космогонии, законы природы и загадки мироздания. «О логике и физике они ничего не хотели знать... их внимание направлено только на этику... Они отрицают также общепринятые науки (τὰ ἐγκύκλια μαθήματα). Антисфен обычно говорил: кто достиг мудрости, тот не должен интересоваться наукой, книгами (γράμματα), чтобы его не отвлекали посторонние вещи и мнения» (Д. Л., VI, 103—104, ср. там же, 39; Юлиан, IV, 190а).

Отрицание науки у киников находится в комплексе других характерных для них практических требований нравственности и социальных антипатий. На вопрос, кого он считает лучшим из людей, Диоген ответил — того, кто отвергает богатство, науки, удовольствия и т. п. (Стобей, «Антология», 86, 18, 89). Антисфен выдвинул принцип: добродетель заключается в делах, поступках и не нуждается ни во множестве речей, ни в науках [20]. Мудрецу

---

[19] О «номинализме» киников, их логике и гносеологии см. мою статью «Киники против Платона». — В сб. «Вопросы классической филологии», вып. I. М., изд. МГУ, 1964.

[20] Д. Л. VI, 11: τὴν ἀρετὴν τῶν ἔργων εἶναι, μήτε λόγων πλείστων δεομένην μήτε μαθημάτων. Ср. Лукиан, «Продажа жизней», 11.

не обязательно учиться читать и писать (Д. Л., VI, 103), он благороден по природе (Дион, VI, 29—33). Диоген сравнивал книги, книжную мудрость с «нарисованными фигами» и говорил, что предпочитает им настоящие (Д. Л., VI, 48). Он поносил математиков, геометров, астрономов, грамматиков, риторов, музыкантов, атлетов, иначе говоря, — все дисциплины, из которых состояло образование свободных (Д. Л., VI, 27, 28, 39, 65, 73, 104; IV, 53; Дион, XIII, 245). Все эти знания Диоген считал «бесполезными и необязательными» (Д. Л., VI, 73). «Математики, — говорил он, — изучают солнце и луну, а того, что под ногами, не замечают» (там же, 28). Сходные мысли высказывали в более поздние времена Бион и Демонакс (Стобей, 80, 3 В). «Когда некто исследовал, одушевлен ли космос и имеет ли он форму шара, Демонакс заметил:

«Вы тщательно изучаете мировой порядок, а о порядке в собственной душе не заботитесь» (Стобей, Эклоги. II, 1, 11). В связи со сказанным христианский апологет II в. н. э. Татиан мог не без основания назвать киников своего времени «философами, которые не были философами» («Речь к грекам», 3).

Вместе с тем, и в высказываниях киников, и в их практической деятельности нельзя не заметить бьющих в глаза противоречий. Притом, эти противоречия характерны не только для радикального древнего кинизма, но и для поздних периодов. Попробуем наметить эти противоречия и разобраться в них.

Хотя номинализм стоял на пути научных обобщений, однако он представлял необходимую и исторически закономерную ступень в познании мира. Эмпирический пафос номинализма, внимание к единичным фактам содействовали их пристальному и придирчивому обследованию, без чего невозможно было бы заложить фундамент науки.

В выступлениях киников против современной им науки нет ничего от воинствующего мракобесия или проповеди невежества. Их отказ от нее означал лишь замаскированное требование другой науки. Киники отвергают не всякую науку, не науку вообще, а только господствующую науку своего времени в ее конкретно исторической форме как науку преимущественно умозрительную, оторванную от практики, не дающую ощутимых результатов в воспитании внутренне свободного трудящегося и бедняка, споспособного сопротивляться натиску враждебных условий жизни. «Диоген говорил: бедность сама по себе учит философии, ибо философия старается убедить делать на словах то, что бедность принуждает делать в действительности» (Стобей, 95, 11). Напротив, философия, призывающая к делам, а не к словам, проповедующая упражнения в добродетели и для которой нужна только «сократовская сила» (Д. Л., VI, 11), признается истинной и необходимой. Правда, наука и образование нужны только в объеме, направлении и форме, отвечающих требованиям кинической морали.

В этом смысле киники высказывались за связь науки и жизни, теории и практики.

В свете изложенного понятна похвала философии и порицание риторики в устах Антисфена. На вопрос, чему он станет обучать сына, основатель кинизма ответил: «Если он захочет общаться с богами, — философии; если с людьми, — риторике» (Стобей, IV, 407).

Выступления киников против науки, их внешнее опрощенчество, дерзкий вызов, брошенный общепринятым нормам, не мешали им пользоваться плодами просвещения. Антисфен известен как плодовитый писатель, затронувший в своем творчестве наиболее острые теоретические вопросы современности и прошлого (Д. Л., VI, 15—18; Дион, LIII, 276). Даже неистовый ниспровергатель всех и вся Диоген — автор многочисленных диалогов, трагедий, знаток и интерпретатор Гомера (Д. Л., VI, 80). Кратет — очень образованный человек и тонкий писатель и поэт (Стобей, III, 95, 21). От тех, кто хотел пойти к нему в обучение, Антисфен требовал прежде всего грамотности. Когда один из будущих учеников спросил, что он должен захватить с собой, Антисфен ответил: «Новую книжку, новый грифель и новую дощечку» (Д. Л., VI, 3) [21]. Диоген требует, чтобы в котомке его последователя было немного еды и полно «книг, исписанных с обеих сторон» (Лукиан, «Продажа жизней», 9).

Во всем этом противоречие мнимое. Основатели школы, люди образованные, вооруженные современными знаниями, производили их переоценку («перечеканку»), отбирали в них то, что, как им казалось, было полезным и доступным для массы последователей кинизма, не отпугивало бы книжной премудростью простых людей, фактически лишенных возможности разбираться в диалектических тонкостях науки. Поэтому нужно было громко заявить, что кинизм «не требует особых знаний» (Юлиан, VI, 187), что добродетель нуждается не в словах и науках, а в делах (Д. Л., VI, 11), что «самая важная наука — отучиваться от зла» (там же, 7).

Понятно, что при такой внешней доступности к кинизму было легко пристать, выучив несколько броских правил его этики, облачившись в нищенский наряд странствующего философского проповедника. Человек, даже внешне похожий на киника, пользовался симпатией в народе. Поэтому в последние века античности (под влиянием разных причин) появилось немало лжекиников. Даже «наиболее невежественные из риторов — все бросились в кинизм. Они признали дубинку, посох, длинные волосы, невежество, наглость и т. п.», — рассказывает Юлиан (VII, 255; ср. Дион Кассий, 65, 13).

---

[21] Здесь непереводимая игра слов: καινοῦ (новую) — καὶ νοῦ (и ум).

Подлинный же кинизм неотделим от разума, благоразумия, интеллекта, здравого смысла. Рационализм киников был их классовым оружием, критерием истинной оценки человеческих достоинств. В нем заключалось демократическое начало. Не родовитость и знатность, не богатство или положение в обществе важны для человека и составляют его силу, а ум и добродетель. Разум нужен человеку, чтобы самому с его помощью все на свете проверить и взвесить, не полагаясь на чужое мнение или авторитет. Мысли, единственно неотъемлемое достояние человека, никому неподвластны и истинно свободны (Эпиктет, «Рассуждения» 3, 24).

Разуму в кинической теории отведено почетное место. Он помогает кинику в утверждении добродетели, является самой крепкой стеной (Д. Л., VI, 13), наиболее прочным из оплотов, помогающих устоять в жизни (там же, 73). Рассудок, разум должен руководить человеком: именно он укажет, что нравственно и чего следует избегать, чтобы не попасть в кабалу страстям. Люди, не способные обуздать свои страсти и желания, неразумны и потому несчастны. Разум необходим, чтобы осмыслить и выбрать средства для скорейшего достижения счастья. Человек должен стать благоразумным или подыскать себе веревку (Плутарх, «О противоречиях стоиков», 14). Разум — враг предрассудков, суеверий, религии. Из сказанного становится понятной та роль, которая отводится мудрости и мудрецу в системе кинической философии. Киники придерживались этического рационализма и интеллектуализма, нужного им для осуществления целей своей практической морали [22].

Наряду с интеллектом, большое значение киники придавали воспитанию, обучению, педагогике, что явно противоречит поверхностному взгляду на мнимое киническое невежество. Добродетель — центральная часть демократической этики киников — покоится на знании, а не является врожденным преимуществом аристократов: ей может научиться всякий (Д. Л., VI, 105). Воспитание и образование — единственное богатство бедняка [23]. По-

[22] E. Brehier. Histoire de la philosophie, Paris, 1926, p. 276. Напротив, Ф. Сейер, фальсифицируя учение киников, заявляет, что киники были «антиинтеллектуальны» («Diogenes of Sinope: a study of Greek cynicism». Baltimore, 1938, p. 6).

[23] Д. Л., VI, 68: «Диоген говорил: «Образование для молодежи — средство воспитания (благоразумие), для стариков — утешение, для бедняков — богатство, для богатых — украшение». Ср. изречение Демокрита: «Воспитание — украшение в счастье и прибежище в несчастье» (Стобей, II, 31, 58). Кажется, еще никем не отмечено, что прославление наук и образования у Цицерона в речи в защиту поэта Архия, 7, 20 (haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium praebent...) перекликаются с приведенными словами Диогена. Таким образом, знаменитые стихи Ломоносова («Науки юношей питают...»), перефразировавшего Цицерона, в действительности имеют кинический первоисточник.

этому ἀμαθής, ἀνόητος и ἀπαίδευτος (непросвещенный, необразованный, неразумный, невоспитанный) — в специфическом понимании киников — человек, лишенный кинических добродетелей, погрязший в пороках, развращенный культурой, не знающий, что такое добро и зло (ср. Дион, XIII, р. 431). Παίδεια (воспитание, образование) бедняка противопоставляется «невоспитанности» богача. Ученик Диогена Моним говорил: «Лучше быть слепым, чем невоспитанным» (ἀπαίδευτον — Иоанн Дамаскин, «Антология», II, 13, 88). Женщина-киник Гиппархия гордилась тем, что вместо того, чтобы сидеть у прялки, она посвятила это время образованию (εἰς παιδείαν: Д. Л., VI, 98).

Киническая традиция изображает Диогена идеальным педагогом, используя в качестве примеров его пребывание у коринфского богача Ксениада воспитателем его детей. Вопросам кинического воспитания была посвящена книга Клеомена (Д. Л., VI, 75) и «Продажа Диогена в рабство» Эвбула (там же, 30). Воспитательные идеи киников сыграли немалую роль в истории педагогики.

Как философия неимущих и наиболее эксплуатируемых социальных низов, включая рабов, кинизм настроен нигилистически по отношению ко всей рабовладельческой культуре и науке, чуждой и даже враждебной им, но для борьбы с ее антинародным использованием он берет это же хорошо проверенное оружие, т. е. философию, литературу, науку, образование, и требует создания новой, доступной и полезной массам культуры.

Особое отношение киников к науке, как было показано, вовсе не означает отказа от нее. Их здравый смысл привел к стихийному признанию материальности мира, первичности материи. Этим, в конечном счете, объясняется неутомимая и бесстрашная борьба киников с религией, суевериями и предрассудками. Они — враги и критики вульгарных мифологических представлений, антропоморфности богов, мистицизма, религиозных обрядов и культов. А в классической древности более, чем в любое другое время, критика религии смыкалась с критикой существующего строя, так как религия здесь не была отделена от государства, она освящала существующий правопорядок и была общественным, а не личным делом. В своей критике религии и атеистической пропаганде киники имели предшественников в лице первых натурфилософов-материалистов, Ксенофана, элеатов, Анаксагора, атомистов, ряда софистов (вспомним сожжение атеистического сочинения Протагора в Афинах). Отрицание богов в той или иной степени всегда сочеталось с материализмом.

В своих взглядах на религию и благочестие киники далеко отошли от своего мнимого первоучителя Сократа, который, несмотря на выдвинутое против него обвинение в безбожии, по существу оставался глубоко религиозным человеком, верным традиционным богам полиса, как и его законам. Отвергая все

государственные установления как несправедливые, киники отворачивались и от религии, почитание которой входило в круг обязанностей гражданина. Вера в богов, соблюдение обрядности, ритуала — все это только оковы, налагаемые государством на свободу личности; они несовместимы с критическим разумом киника. Человек создал богов по образу и подобию своему, идеализируя свою собственную сущность. В этом (как и в некоторых других отношениях) прямое влияние на киников оказали известные выступления Ксенофана [24] против антропоморфности богов [25]. Вера в богов утвердилась благодаря незнанию, предрассудкам и обычаю [26]. От природы никаких богов не существует. Наиболее резкие выпады против религии связаны с именем Диогена. Его насмешки и издевательские замечания по адресу богов даже приписывали в древности знаменитым атеистам Диагору Мелосскому и Феодору-киренаику, прозванному Ἄθεος — «безбожник». «Когда продавец лекарств Лисий спросил (Диогена), верит ли он в богов, тот ответил: «Как мне не верить? Тебя-то я считаю их врагом». Некоторые приписывают эти слова Феодору» (Д. Л., VI, 42). В другом месте (VI, 59) есть указание, что насмешка Диогена над жертвоприношениями могла принадлежать Диагору. Сильный аргумент Диогена против существования богов приводится Цицероном в сочинении «О природе богов», III, 36, 88: «Процветание и благополучие негодяев, по словам Диогена, свидетельствуют против всякой силы и могущества богов». Атеистические высказывания имеются и в так называемых «письмах Диогена» (22, 25) [27].

Известную трудность для истолкования представляет бесспорное высказывание Антисфена о богах, которое обычно толкуется в духе философского или «христианского» монотеизма. Основатель кинической школы в своем натурфилософском трактате «Физик» говорит: «по установленному обычаю существует много богов, по природе — один» (Филодем, «О благочестии», 7a=Diels, Dox. 538). И еще: «Бога нельзя узреть глазами, и он ни на что не похож; поэтому его никто не может узнать по изображению» (Theodoret Graec. Affect Curat. I, 75. Ср. Климент, «Протрептик», VI, 71, 2; «Строматы», V, 14, 108, 4).

Уже Цицерон понимал, что учение Антисфена о божестве направлено против официальной религии: «Антисфен в своей книге под названием «Физик», утверждая, что народных богов множество, а по природе существует лишь один, устраняет силу

---

[24] Это обстоятельство, вероятно, первым отметил К. Иоэль (указ. соч., т. II, стр. 771, 873). Ср.: G. A. Gerhard. Phoinix von Kolophon, 1909, S. 178.

[25] См.: C. J. De Vogel. Greek Philosophy. Leiden, 1963, S. 34.

[26] Подобные взгляды были уже высказаны Демокритом и его последователями (см.: Платон, Законы, 889 E), некоторыми софистами.

[27] G. A. Gerhard. Указ. соч., стр. 81.

и природу богов» («О природе богов», I, 13, 32). Сопоставляя учение киников о материальности мира, их отрицание бессмертия души (о чем свидетельствует полнейшее безразличие киников к погребению и смерти) с антисфеновскими мыслями о «едином боге», который ни на что не похож, мы имеем серьезные основания видеть в этом «едином боге» наивное обожествление мира, природы, своеобразный философский пантеизм [28], или деизм, который в античности прикрывал материалистические и атеистические идеи ничуть не хуже, чем в новое время у Джордано Бруно, Спинозы или Вольтера. Гомперц говорит о «бесцветном монотеизме», а Бернайс — о «деизме» киников с общепринятыми религиозными взглядами и в конечном счете оба они говорят об исторически ограниченной форме кинического атеизма.

Единый природный «бог» киников (κατὰ δὲ φύσιν ἕνα) больше всего похож на «единое» (ἕν) элеатов. По свидетельству Аристотеля, Ксенофан, «воззрев на небо в его целости, заявил — единое, вот что такое бог» («Метафизика», I, 5, 986в 18). «Всеединое Ксенофан называл богом» (Симпликий, «Физика», 22, 22). Таким образом, мир, вечный и единый, вселенная в ее единстве — вот подлинный «единый» бог Ксенофана и киников. Материалистическое учение Ксенофана, нанесшего жестокий удар антропоморфной религии греков, выступает в теологической оболочке. «Бог» Ксенофана есть абстрактно, метафизически понимаемый материальный субстрат космоса... Самый мир, рассматриваемый в его всеединстве, он называл богом» [29]. Учение Антисфена о «едином боге» по сути дела ничем не отличается от ксенофановской космологии. Форма, в которую облекали свои взгляды античные атеисты, почти всегда была теологической: у них не было религии, но была теология, даже у таких великих материалистов, как Демокрит и Эпикур [30].

Со всей очевидностью антирелигиозность киников раскрывается в их отрицании всех видов и форм богопочитания.

Для здравомыслящего человека культ богов, обрядность, молитвы, жертвоприношения, мантика (гадания) и т. п. — такой же вздор, как и сама вера в богов. На просьбу жреца сделать пожертвования в честь матери богов Кибелы Диоген ответил: «Я не кормлю матери богов, которую кормят боги» (Д. Л., VI, 4, 39, 42, ср. Климент, «Протрептик», VII, 75, 3). Киники не признавали святости изображений богов и храмов. Диоген бросил в огонь даже статуэтку своего «святого» патрона Геракла и не считал святотатством унести что-нибудь из храма (Д. Л., VI, 73). Вообще

[28] Слова Диогена: «все полно богом» (Д. Л., VI, 37) — могут быть истолкованы пантеистически.

[29] Th. Gomperz. Griechische Denker, II. Leipzig—Berlin, 1903, стр. 133; J. Bernays. Lucian und die Kyniker. Berlin, 1879, стр. 31.

[30] «История философии», т. I, 1956, стр. 64.

он предпочитал держаться подальше от храмов [31], которые, как он утверждал, ничем не отличаются от других мест.

Жертвоприношения и молитвы преследуют эгоистические цели и бессмысленны (Д. Л., VI, 28). Только добродетель делает людей равными богам и может служить средством их почитания (Юлиан, VI, 200a), а вовсе не жертвоприношения, в которых боги не нуждаются (Д. Л., VI, 105. Ср. Лукиан, «Киник», 12). Молитвы не имеют смысла по двум причинам: в них люди обычно выпрашивают у богов не имеющие истинного значения материальные блага или воздают благодарность за удачу или благополучие. Но за блаженство, добываемое добродетелью, люди обязаны не богам, а самим себе. И, кроме того, они молят богов не о действительном благе, а о том, что им представляется таковым (Д. Л., VI, 42, 63). Эти идеи, встречающиеся и у поздних киников (Бион), перекликаются отчасти с мыслями Сократа и Платона (Ксенофонт, «Меморабилии», I, 3, 2).

Как и эпикурейцы, киники отвергали гадания, пророчества, оракулы, толкования снов, веру в приметы и проч., считая их смешными свидетельствами человеческой глупости (Д. Л., VI, 24, 43, 48). Когда Диоген встречался с кормчими, врачами и философами, он думал, что люди — самые разумные существа, когда же он видел толкователей снов и пророков и людей, которые к ним направлялись, то полагал, что нет никого глупее человека (Д. Л., VI, 24). Против мантики высказывается Диоген и в 10 речи Диона Хрисостома.

Не менее резкой насмешке и критике подвергался и культ мертвых, забота о погребении, которым древние придавали столь большое значение (Д. Л., VI, 52, 79; IV, 48). Душа человека смертна, поэтому нелепо верить, что мертвые хотят есть и пить; мертвому безразлично, как его похоронят. Диоген запретил даже предать свое тело после смерти земле [32]. Бион остроумно замечал: сначала сжигают труп, полагая, что он ничего не чувствует, а затем обращаются к останкам как к живым (Д. Л., VI, 48). Отрицали киники и мистерии (там же, VI, 39).

Из всего сказанного неоспоримо вытекает, что киники стояли в решительной оппозиции ко всей системе традиционной античной религии и мифологии. Причем эта антирелигиозная позиция характерна не только для древнего кинизма, но и для киников эллинистическо-римской эпохи. Кратет и Бион пародировали представления Гомера о богах, Менипп и Мелеагр высмеивали богов в своих сатирах. Наивысшего взлета кинический, да и, пожалуй, античный атеизм в целом достигает в стихах Керкида из Мегалополя (III в. до н. э.) и в «пропитанном кинической язвительностью» сочинении Эномая Гадарского (II в. н. э.) — «Уличение

---

[31] E. Zeller. Philosophie der Griechen, B. II, S. 329.
[32] Цицерон. Тускуланские беседы, I, 43, 104. Ср.: Д. Л., VI, 79

шарлатанов». Здесь подвергаются нападкам не только боги и оракулы, жрецы и предсказатели, но и сама вера в провидение, судьбу — последний оплот всякого религиозного чувства. В своей антирелигиозной борьбе киники выступали как смелые просветители народа, борцы с невежеством и суевериями.

Однако точка соприкосновения с мифологией и народной религией у киников все же была. Наблюдая огромную популярность мифологических преданий и легенд и признавая за ними большую художественную ценность [33], киники не отбрасывали их целиком, как Ксенофан, а умело использовали в своих пропагандистских целях. Не искажая подробностей мифа, они показывали его нелепость с точки зрения здравого смысла и в то же время, пользуясь его общеизвестными образами, воспитывали народ в своем духе, находя в мифологии нужные аллегории, идеалы и образцы для подражания. Так поступали еще Парменид, Эмпедокл, Анаксагор, Метродор, Протагор, Продик; эту традицию восприняли киники, по-своему интерпретируя мифы и легенды (особенно Гомера) [34]. Повсюду они стремились найти моральный пример, поучение, объяснить скрытый этический смысл, «подтекст» (Ксенофонт, «Пир», III, 6). С этой точки зрения атеизму киников не противоречит ни их почитание Геракла, одного из самых популярных в народе мифических героев, ни ссылка на богов как на идеал для автаркии мудреца (Д. Л., VI, 51, 105). Частое обращение к богам и их примеру — старая традиция, которой следовал даже Лукреций, великий материалист древности. Нельзя не учитывать также, что кинические высказывания нередко передаются поздними авторами религиозно-стоического толка (Дион Хрисостом, Эпиктет, Юлиан). Что касается императора Юлиана, то он даже старался очистить Диогена от обвинения в атеизме (VI, р. 199В), что само по себе уже свидетельствует о репутации Диогена-безбожника.

Критика религиозной традиции как одной из главных форм идеологии господствующего класса, облегченная для многих киников их негреческим происхождением, подрывала веру в эллинских богов и, помогая разложению основ полисной идеологии, прокладывала путь к исторически более прогрессивным идеологическим и государственным формам. Своей атеистической пропагандой киники объективно подрывали веру в любых богов и тем самым содействовали созданию подлинно научного материалистического мировоззрения.

---

[33] Ср.: F. Dümmler. Antisthenica. Bonn, 1882, стр. 16.

[34] Называют 12 или 13 сочинений Антисфена, посвященных аллегорической экзегезе гомеровских поэм (Д. Л. VI., 15—18).

Б. Л. Галеркина

ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА В «УГРЮМЦЕ» МЕНАНДРА

В предисловии Г. Ф. Церетели к комедиям Менандра, изданным в 1936 г., мы читаем: «... В основе всех ее (новой бытовой комедии) сюжетов лежали три мотива, а именно — мотив насилия, мотив выкидывания ребенка и мотив его признания родителями». Только с 1958 г., с опубликованием новонайденной комедии Менандра «Угрюмец», стало ясно, что новая бытовая комедия не была ограничена этими мотивами. Мало того — ни одного из вышеперечисленных мотивов нет в этой комедии.

Драматургическая техника Менандра в «Угрюмце» чрезвычайно отлична от всего известного нам до сих пор. Традиционные помощники героя, раб и парасит, в этой комедии никак не влияют на развитие действия, они как бы самоустраняются [1]. Парасит Херей мог бы помочь герою, если бы речь шла о похищении гетеры, т. е. об обычном для новой бытовой комедии явлении, но помощь в законном браке со свободнорожденной — непривычное для него дело (ст. 58 сл.) [2]. Отговорка парасита и возвращение раба Пиррия, не сумевшего выполнить поручения влюбленного, вызывает у юноши желание обратиться к ловкому рабу Гете, ибо он изобретателен и опытен в разнообразных делах (ст. 183—184).

Казалось бы, что отступления от трафарета, ощущаемого зрителем в диалоге с паразитом, не произойдет. Вот сейчас на сцену выйдет раб-проныра и все уладит. Однако Менандр не идет по привычному пути. Раба не оказывается дома, и за дело берется сам герой Сострат (так зовут влюбленного юношу), сам начнет устраивать свои дела. Активность героя — элемент, непривычный для менандровой драматургии.

Сострат, потеряв надежду убедить Угрюмца отдать за него замуж свою дочь, обращается за помощью к Горгию, брату девушки (ст. 269 сл.), последний предлагает юноше переодеться [3]

---

[1] И. М. Тронский. Новонайденная комедия Менандра «Угрюмец». — ВДИ, 1960, № 4.

[2] Все ссылки по изд.: «Menandri Dyscolos, ed. Jean Martin». Paris, 1961.

[3] Переодевание — типичный фольклорный мотив. Герои многих сказок различных народов переодеваются, чтобы добыть возлюбленную. И Одиссей, переодевшись в рубище нищего, добивается права на свою собственную жену, и Деметра в поисках похищенной Аидом дочери принимает облик старой женщины.

в платье сельского простолюдина и таким образом приобрести благосклонность отца девушки. Сговор этот рассчитан на то, что старик случайно увидит переодетого юношу работающим в поле, а это может обеспечить влюбленному успех; во имя такой случайности Сострат готов идти куда угодно (ст. 360—367). Мотив переодевания как бы становится на службу случайности, но само по себе это переодевание, как мы знаем из комедии, не привело действие комедии к ее развязке. Сострат так и не встретился с Угрюмцем в своем новом обличии простолюдина до тех пор, пока тот не упал в колодец.

Случайно (ст. 43) именно Сострат, а не любой другой юноша оказался претендентом на руку девушки. Пан решил отблагодарить дочь Угрюмца за ее почтение к нему и нимфам (ст. 36), поэтому он вызвал у Сострата, случайно оказавшегося вблизи святилища бога, страсть к девушке (ст. 44). Однако, несмотря на благожелательство Пана, юноша ничего не может изменить в ходе событий, и все его ухищрения напрасны.

Таким образом, в самом начале комедии говорится как бы о двух пружинах ее действия: о Пане и о некоей случайности. В известных нам прежде комедиях Менандра Тиха выступала с самостоятельным монологом (например, в «Comoedia Florentina»), или типичные для нее мысли излагало Неведение (в «Отрезанной косе»), которое одновременно выполняло и функции прологиста, в нашей же комедии нет такого персонажа, который бы выполнял функции Тихи. Роль Тихи в комедии являлась непосредственным откликом на глубокие исторические перемены в обществе, жизнь которого, с упадком мощи полиса, привела к ощущению непрочности человеческого бытия, к признанию богини Случая. Комедия «Угрюмец» писалась именно в этих социально-политических условиях, и, конечно, рассуждений по поводу Тихи мы встречаем здесь немало. Горгий говорит о перемене обстоятельств у людей счастливых и несчастных; благополучная судьба зависит, по мнению того же Горгия, от морального облика человека (ст. 276—277): мы вынуждены нести то, что дает Тиха (ст. 339—340), продолжает он. Сам влюбленный юноша, доказывая отцу целесообразность своей женитьбы на бедной девушке, утверждает, что богатство всецело во власти Тихи, она может передать его и недостойному (ст. 800 сл.).

Однако все рассуждения о Тихе, переодевание во имя случайности ни к чему не приводят; они присутствуют в комедии как некий ретардационный элемент, нанизывающий события, но не ведущий их вперед. Только случайность (ἀπὸ τύχης, ст. 584—585), по которой старику понадобилась кирка, приводит Угрюмца на дно колодца (служанка уронила кирку в колодец) и поворачивает ход событий в комедии.

Позволительно предположить, что наша случайность, в результате которой старик оказался в колодце, является литератур-

ным отображением распространенного сюжета, известного по Эзопу. Басни его (316, 316b, ed. Halm) свидетельствуют о том, что падение в колодец в античности считалось делом Тихи. Утомленный длительным переходом путник засыпает у колодца. Во сне он чуть не упал в него. Появившаяся Тиха разбудила путника, чтобы он не мог обвинить ее, богиню, в своем падении в колодец. В другом варианте этой басни Тиха разбудила мальчика, чтобы он не свалился в колодец и чтобы все не обвинили в этом ее. По-видимому, где-то в глубинах античного фольклора падение в колодец воспринималось как результат непосредственного вмешательства Тихи, и было принято обвинять в этом падении самую богиню, не случайно у Эзопа сделан упор на «все» (ἐμὲ τὴν Τύχην καταμέμφωνται πάντες).

Точно так же судьба предначертала смерть в колодце молодой девушке в северной русской сказке. Зная об этом, родные в день ее семнадцатилетия затянули колодец кожей, однако девушка не избегла предначертанного [4].

Наш Угрюмец, как указывалось выше, упал в колодец в результате случайности (ст. 584). В литературном сюжете это уже только случайность (с маленькой буквы), а не судьба или богиня Случая, однако случайность эта оказала решающее влияние на судьбы всех персонажей, а также на драматургическое решение комедии в целом. После пребывания в колодце Угрюмец больше не стоит на пути молодых людей, и комедия быстро движется к развязке. Можно предположить, что падение в колодец в комедии «Угрюмец» является рудиментарным следом некогда широко распространенного фольклорного мотива, в котором падение в колодец воспринимается как волеизъявление Тихи.

«Мотив падения в колодец и извлечения из колодца нередко встречается в аттической комедии: Лисипп, Βάκχαι, fr. 1; Платон, Ἑλλὰς ἢ Νῆσοι, fr. 21; Аполлодор из Гелы, Ἀπολείπουσα, fr. 1, ср. также заглавия Εἰς τὸ φρέαρ у Александра, Φρέαρ у Дифила и Анаксиппа.

Однако все эти фрагментарные материалы не дают представления о контексте, в котором находился этот мотив» [5]. А во вновь найденной комедии перед нами фабула, в которой трижды говорится о падении в колодец.

Сперва выступает дочь Угрюмца, которая рассказывает зрителю, что их старая служанка Симиха утопила в колодце ведро. Девушка хочет оттянуть момент, когда на старуху обрушится гнев отца, и она отправляется за водой к источнику нимф. Именно здесь, в конце первого акта, произойдет встреча героя с героиней. Юноша, как мы уже знаем, еще прежде видел девушку, но перед

---

[4] Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1908, стр. 350, № 147.
[5] И. М. Тронский. Указ. соч., стр. 66, примечание 34.

зрителем она еще не выступала [6]. Встреча героев, во имя соединения которых разыгрывается комедия, обусловлена случаем — в колодец упало ведро (ст. 190—191). Действие комедии после этой мимолетной встречи продолжает развиваться путем нанизывания отдельных эпизодов, среди которых центральным является переодевание героя, опять-таки, как уже говорилось, не приведшее комедию к ее завершению.

Второй раз зритель уже не слышит рассказа о каких-то действиях, происходящих у колодца, а становится свидетелем горя служанки, безуспешно пытающейся вытащить ведро. И наконец, уже в третий раз, зритель окажется свидетелем того, как в колодец падает Угрюмец и как его оттуда извлекают.

Начинается история с колодцем со ст. 576 [7] (упоминание о ней мы уже имели в ст. 189 сл.) в конце III акта и формально кончается ст. 691, когда старика вытащили из колодца, по существу же ст. 773, концом IV акта, когда появляется Каллиппид, отец жениха. Все диалоги и монолог Угрюмца, вытащенного из колодца, являются непосредственным результатом того перелома, который произошел с нелюдимым стариком и который дает комедийному сюжету быстрое развитие. Следовательно, переломный момент в драматургической ткани комедии — история с колодцем — занимает конец III и почти весь IV акт, т. е. центр всего произведения. Это драматургическая кульминация комедии «Угрюмец».

Пребывание в колодце вызвало у Угрюмца резкое осуждение собственного поведения. Он обещает больше не вызывать раздражения у окружающих (ст. 692—694). Идейный смысл пьесы заключен в речи Угрюмца, которую он произносит перед своей бывшей женой и пасынком после того, как его вытащили из колодца [8]. И то, что обычный ямбический триметр сменяется трохаическим тетраметром, усиливает важность этого момента для комедии. Старик ошибался, он стремился к жизни без других людей, к автаркии (ст. 714), — он не видел того, что в реальной жизни людям необходима взаимная помощь. Увлекшись своими идеями, хотя в целом и справедливыми, он настолько оторвался от жизни, что, только перенеся потрясение, попав в колодец, он начинает замечать повседневную реальную жизнь.

Люди, которые отрываются от действительности, заглядываются на небо и не видят лежащего перед ними мира, всегда по-

---

[6] Самый факт появления свободнорожденной девушки перед зрителем также является отступлением от привычного канона (И. М. Тронский. Указ. соч., стр. 65).

[7] Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt. Menanders Dyskolos und die Timonlegende, RhM, 102 (1959), S. 162) указывает, что мотив падения в колодец у Менандра грубее и бурлескнее, чем можно было предположить у автора, интересующегося душевными движениями героев, и это явно следы доменандровой комедии.

[8] И. М. Тронский. Указ. соч., стр. 68.

падают в колодец: такова фольклорная традиция. Так, в басне Эзопа об астрологе (72 ed. Halm) рассказывается, что звездочет настолько увлекся рассмотрением звезд на небе, что сам не заметил, как упал в колодец. Привлеченный его криками прохожий сказал: «Ты пытаешься рассмотреть происходящее на небе, а того, что на земле — не видишь». Как указывается в морали басни, здесь имеются в виду хвастуны, которые на самом деле не умеют даже того, что умеет каждый.

Этот фольклорный сюжет настолько распространен, что античность сохранила его нам в диалоге Платона «Теэтет» (174 a—d). Сократ рассказывает, как Фалес, заглядевшись на небо, упал в колодец, а прелестная служанка фракиянка, издеваясь над ним, сказала: «Хочет он знать, что происходит на небе, а то, что перед ним и под ногами — скрыто от него». И Сократ подтверждает, что такой человек действительно не осведомлен ни о ближнем своем, ни о соседе, ни даже о том, что он делает. Именно такой человек из-за неопытности попадает в колодец и испытывает всяческие затруднения. Высокомерие этих людей вызвано простым незнанием обыденного, того, что под ногами.

Некоторое, хотя и отдаленное сходство обнаруживает с этим и Угрюмец Менандра, который чуждается соседей, чурается близких и совершает безрассудные поступки оттого, что далек от реальной жизни, оттого, что творит свой собственный идеал, забывая о других. Поняв это, он обещает не вызывать раздражения у окружающих (ст. 693).

Плутарх в «Политических предписаниях» (2, 799) прибегает к тому же сравнению. Люди, по плану и размеренно предающиеся политической деятельности, как бы спускаются в колодец постепенно и осторожно и, спустившись в него, они не брюзжат (ἀλλ' ὥσπερ εἰς φρέαρ οἶμαι τὴν πολιτείαν... τοὺς δὲ καταβαίνοντας ἐκ παρασκευῆς ... χρῆσθαι ... πρὸς μηδὲν δυσκολαίνειν); кто же занимается политической деятельностью без плана — тот как бы обрушивается в колодец.

Чрезвычайно соблазнительно предположить, что уже в фольклоре существовал рассказ, как в результате спуска в колодец человек перестал быть брюзгой. Ведь именно это произошло с Угрюмцем Менандра: он спустился (κατέβαινε) и упал (πέπτωκεν) (ст. 627—628) в колодец. Тот же состав слов мы встречаем и у Плутарха. Нежелание считаться с мнением окружающих его людей происходило у Угрюмца от незнания, так же как у платоновского философа. Еще Ксенофонт называл людей необразованных δύσκολοι, именно в силу отсутствия воспитания они проявляют недовольство в общении (Xen., Cyr. II, 2, 2).

Угрюмец после пребывания в колодце постигает смысл неизвестных ему дотоле вещей. В результате падения в колодец Угрюмцу открылась некая мудрость, новая правда.

Колодцы мудрости известны и фольклору, и культу. Широко распространена пословица «правда находится на дне колодца» [9]. В древнегерманском языке бытовали выражения: «колодец — источник мудрости и правды» и «слово бога — это колодец мудрости» [10] (ср. церковнославянское «кладезь премудрости»).

Священные колодцы занимают значительное место в религиозной жизни паломников Индии. Один из наиболее известных — это Gyān Kūp, или «колодец знаний». Бог Шива, покровитель этого места, живет в колодце, и каждый пилигрим окропляет голову и тело водой из него [11]. Вода из колодца часто обладает даром прорицания, о чем рассказывает кельтский фольклор [12], в германском фольклоре есть колодец, вода которого заставляет танцевать [13]. Античность рассказывает, что вокруг некоторых священных колодцев исполнялись хороводные танцы [14]. О дочерях Этекла, помогающих богиням и в пляске падающих в колодец, рассказывают геопоники [15]. Эпитетом Деметры является Φρεάρροος и такая Δημήτηρ Φρεάρροος засвидетельствована в надписях [16]. Известно, что элевсинский храм Деметры находился недалеко от священного колодца, и раскопки подтверждают это [17]. В гомеровском гимне к Деметре (ст. 99) говорится о том, что богиня в облике старой женщины, в поисках своей дочери, уселась у девственного колодца (παρθενίῳ φρέατι), или у божественного колодца (πὰρ θείῳ φρέατι), как нашел возможным прочесть это Вольф[18]. Конъектура Вольфа представляется нам весьма правдоподобной, так как «божественный колодец» объясняет нам некоторые действия мистов, которые, сидя у колодца, изображают печаль Деметры [19], а самый колодец называется колодцем, предназначенным для прекрасных плясок [20]. У этого колодца происходили священные пляски и песни в честь богини [21].

---

[9] И. Тертерян. Жоржи Амаду, которого мы знаем. — «Иностранная литература», 1963, № 5, стр. 198.

[10] J. u. W. Grimm. Deutsche Wörterbuch, II. Leipzig, 1860, S. 434.

[11] J. Hastings. Encyclopaedia of Religion and Ethics. V. I. N. Y., 1908—1922, S. 467b.

[12] Указ. соч., стр. 784 a.

[13] Johannes Pauli. Schimpf und Ernst. Berlin, 1924, № 54.

[14] Philo de Vit. Mos., I, 624. Параллели к стиху 99 гомеровского гимна к Деметре дает Lobeck, Aglaophamos, 1829, p. 285.

[15] Geopon, XI, 4, 797.

[16] C. I. A, III, 375.

[17] F. Noack. Eleusis. Berlin, 1927, S. 13; 75 sq.; 218.

[18] Для греческого языка словосочетание παρθενίῳ φρέατι так же характерно, как и πὰρ θείῳ φρέατι, которое встречается у Paus. I. 38, 6.

[19] Clem. Alex. Protr. II, 205, 15, 25 stal.

[20] Именно такое понимание καλλίχορον в ст. 273 гимна к Деметре, а не название источника Каллихор предлагает Л. Дейбнер (L. Deubner. Attische Festen. Berlin, 1956, S. 74). Да и название, по Павзанию, должно относиться не к источнику, а к колодцу: Paus. I, 38, 6 (φρέαρ... καλούμενον καλλίχορον).

[21] G. E. Mylonas. Eleusis and the Eleusian Misteries: N. Jersey, 1961, S. 73.

Фольклору известно падение в колодец ведра, решета или корзины [22], т. е. предметов, с помощью которых герой должен выполнить какие-то трудные задачи, стоящие перед ним. Такого прямого назначения мы в нашей комедии не находим, но в результате того, что Угрюмец в гневе (в душевном смятении, в горе прыгает в колодец и падчерица за упавшим веретеном [23]), в поисках ведра и кирки, лежащих в колодце, попадает на его дно, комедия получает свое сюжетное разрешение.

Герой менандровой комедии после пребывания в колодце как бы прозрел и исцелился от своих заблуждений. О ритуальном излечении, совершаемом с помощью воды из священного колодца, мы узнаем из многих источников [24].

Угрюмец после пребывания в колодце и полного смятения говорит о себе как о человеке, которого теперь ждет смерть (ст. 730), а потому он отдает последние распоряжения; самого себя называет уже умершим (ст. 692) [25], а мы знаем, что о колодцах живой и мертвой воды речь идет в известной сказке о Сивке-бурке, вещей каурке [26], и в немецких рассказах о богах есть колодец Hulda или Holda, обладающий силой оживлять умершего, и в иудейском сказании действует мистериальный колодец, ожививший Мириам [27]. В немецкой сказке рассказывается о трех волшебных колодцах: в одном жизнь, в другом смерть, а в третьем красота и юность. Такое отделение колодца красоты и юности от колодца жизни, по-видимому, результат последующего фольклорного расщепления [28]. Таким образом, это все — элементы реновации, претерпеваемой человеком в результате действия на него воды из магического колодца.

---

[22] Bolte-Polivka. Anmerkungen zu den Kinder u. Hausmärchen der Brüder Grimm. I. Leipzig, 1913, S. 221; Litz Mackensen. Handwörterbuch des deutschen Märchen. Berlin, 1930/33, S. 341.

[23] J. u. W. Grimm. Kinder und Hausmärchen, № 24.

[24] Hastings. Указ. соч., II, 833a.

[25] В толковании этого стиха считаем необходимым отказаться от принятого во всей нашей работе издания Жана Мартена и вернуться к первому изданию (ed. Victor Martin. Bibliotheca Bodmeriana, 1958). Предложенное впервые Барреттом, а затем принятое всеми последующими издателями (Lloyd-Jones, Oxford, 1960; Jean Bingen, Leiden, 1960; C. Gallavotti, Napoli, 1959; J. Martin, Paris, 1961) чтение этого стиха τεθαρρηκώς или τεθάρρηκ, основанное на аналогии с Eur. Hipp., 1456) представляется нам неоправданным. Не говоря уже о контекстном несоответствии «Ипполита» и «Дискола» и об ином составе слов, текст папируса не дает возможности после А усмотреть остатки Р (правда и N недостаточно ясно выражено, хотя и вполне возможно). В нашем же восстановлении элементов фольклора в литературном произведении естественнее чтение τεθνηκώς — умерев.

[26] А. И. Афанасьев. Народные русские сказки, II, 2; II, 7. М.—Л., 1936.

[27] Wunsche. Die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser. Leipzig, 1904, S. 75, 85.

[28] Hugo Winckler. Die Weltanschauung des Alter Orient. Leipzig, 1904, S. 92.

Колодец как место превращений — обычная для фольклора вещь [29], но трансформация героя в нем идет по линии превращенио стариков в молодых[30], людей в зверей [31], бедных в богатых [32], ня не по линии нравственных категорий: злой не превращается в доброго и негодяй не становится праведником. Только в литературе физические превращения фольклора приобретают форму нравственного перерождения.

Интересной ступенью между сказкой и Менандром является Аристофан. В его «Всадниках» старик Демос груб и брезглив (ст. 41—42), так же, как и менандров Угрюмец (ст. 202, 956). После того, как Демоса сварили в кипятке, он становится вновь молодым и красивым, начинает понимать неразумность своего поведения в прошлом и объясняет это тем, что он был безумен и стар (ст. 1349, 1355). Здесь перед нами типичный фольклорный мотив реновации физической (молодость, красота) и умственной, произошедшей незамедлительно через погружение в воду. Нравственными переживаниями героя Аристофан не интересуется, обновленному герою нет никакого дела до былого, оно полностью отвергается: в фольклоре всегда только черные и белые тона.

В эллинистический период центром внимания писателей становится духовный мир, появляется попытка использовать не только черные и белые краски для характеристики героя. Фольклорный мотив, став частью литературного сюжета, приобретает новые, чисто литературные черты. Угрюмый и грубый старик Кнемон попадает в колодец. После того как его спасли, он начинает понимать, что он брюзгливый старик, мешающий всем (ст. 747), и решает отойти от дел. В колодце, думая о близости смерти (ст. 715, 730), он прозревает, начинает давать оценку прежнему своему поведению и искать его причину.

Если бы перед нами был чистый фольклор, даже в той степени как у Аристофана, то никаких размышлений не должно бы быть: Кнемон просто зачеркнул бы прошлое и стал бы милым приятным юношей. Но он физически не изменился — остался стариком, и его нравственная трансформация предстает перед нами в форме оценки былого и попытки сохранить за собой право на индивидуальность поведения — «позвольте жить, как желаю» — говорит он (ст. 734—735). Однако старик уже совсем не прежний, он уже не настаивает, а умоляет оставить его в покое (ст. 868—869). И все же ничто не помогает Угрюмцу. Литературная обработка фольклорного мотива дала возможность герою оттянуть время

---

[29] J. u. W. Grimm. Kinder und Hausmärchen, 53; Bolte-Polivka, I, 455 (ср. 463) III, 305 sq.

[30] Bolte-Polivka. Указ. соч., III, S. 198; Grimm. Указ. соч., стр. 147.

[31] Bolte-Polivka. Указ. соч., I, стр. 82.

[32] Grimm. Указ. соч., стр. 191; Карельский фольклор. Петрозаводск, 1948, стр. 104.

полного перевоплощения, вступить еще раз в борьбу за сохранение своей индивидуальности, и все же он оказывается побежденным. Угрюмец не мешает героям ни соединяться брачными узами, ни вести свои дела, однако, памятуя о своей прежней неприязни к обществу людей, отказывается присутствовать на свадьбе молодых людей. Но все же рабы волокут Угрюмца на пир. Эта трафаретная для комедии сцена служит здесь тем же целям, что и мотив колодца: нравственному перерождению Угрюмца. Свои успехи в споре со стариком рабы расценивают как победу (ст. 958), себя они называют победителями (ст. 959) и просят публику воздать им должное.

Последние слова комедии обращены к деве Нике, богине победы, благожелательной к рабам, преодолевшим упрямство старика. Только с последним стихом комедии Угрюмец окончательно побежден (над этим трудились с 850 до 969 ст.) и оказывается от прежних заблуждений. Таким образом, одного пребывания в колодце (в литературном сюжете) уже недостаточно для окончательного перерождения старика; к окончательному отказу от былого его вынуждают еще и усилия рабов.

Перед нами, по-видимому, наглядный пример олитературивания фольклорного мотива перерождения старика после пребывания его в воде, в подземном мире, в колодце [33].

Поскольку речь идет о духовном переломе, происшедшем с героем комедии, мы вправе ожидать, что в момент драматургической кульминации перед нами произойдет психологический конфликт героев-антиподов. На первый взгляд антиподом юноши является угрюмый старик; это он стоит на пути соединения молодых людей. Между тем, старик и юноша обнаруживают общие черты.

Образом своей жизни и всем ее строем Угрюмец пренебрежительно относится к богатству, идеалом его, по-видимому, служит элементарный достаток (ст. 745). Сострат также презирает богатство, считая его слишком непрочным достоянием (ст. 800). Старик тяжко трудится, обрабатывая скалистую почву (ст. 3—4), не уклоняется от труда и юноша, желая добыть возлюбленную (ст. 767). Старик обрушивает всю силу своего гнева на болтунов, появившихся в стране (ст. 161); в устах юноши слово «болтун» также является ругательством. Кирка, мотыга неразрывно связаны с жизнью старика; и юноша переодевается, берет кирку

[33] А. И. Доватур. Куропатка Клеобеи. — «Язык и литература», VI, 1932, стр. 269 (колодец — место соприкосновения надземного мира с подземным); В. Я. Пропп. Эдип в свете фольклора. — «Уч. зап. ЛГУ», 1945, № 72, серия филологич. наук, вып. 9, стр. 141, 163, 173. (Святым становится герой после пребывания под землей, в пещере, в могиле. Именно в колодец попадали люди, которым надлежало искупить свою вину. Андрей Критский, посаженный в колодец, поднимается с его дна, когда он прощен. Мать и сына ввергают в два разных колодца, а их выход наружу означает прощение бога.)

и мотыгу и начинает обрабатывать землю (ст. 375, 415 сл.). У старика было желание выдать свою дочь за человека, подобного ему (ст. 337); и, как выясняется после его спасения из колодца, Сострат и есть человек, достойный уважения по его отношению к труду и капризам судьбы (ст. 764 сл.).

Следовательно, конфликт Сострат — Угрюмец, лежащий на поверхности, иллюзорен. Сострат пытается сам уладить свои дела, у него нет чудесных помощников, так как по замыслу комедии ему не предстоит борьба с антагонистом.

Конфликт заложен в самом старике, брюзге, он как бы выступает сам против себя. Все его положения, в результате которых не могло произойти воссоединение молодых людей, что задерживало развитие сюжета, опровергаются им же после возвращения из колодца.

В комедии «Угрюмец» выступают как бы два разных начала в одном человеке (до падения героя в колодец и после его возвращения), т. е. перед нами некая психологическая раздвоенность, представленная путем хронологической дифференциации «до» и «после», типичной для фольклора, со всеми отступлениями, свидетельствующими о внимании к внутреннему миру героя (неудачная попытка отстоять хоть в чем-то свою индивидуальность). Колодец в качестве орудия судьбы — Тихи, в качестве источника мудрости и места реновации героя — сюжет, распространенный в сказках, религиях и мифах различных народов. Сопоставление ряда мифологических мотивов с исследуемой нами комедией дает основание предполагать, что мотив колодца, возможно, проникает в драматургию Менандра из фольклора и становится, как это было показано выше, в комедии «Угрюмец» местом драматургической кульминации в борьбе героя с самим собою. Однако фольклор, используемый литературой в процессе ее становления, приобретает чисто литературные черты.

К. П. Полонская

ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА НОВОАТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ У МЕНАНДРА И ТЕРЕНЦИЯ

Общеизвестно, что и типы и сюжеты новоаттической комедии сформировались до Менандра, что он в своих пьесах следовал традиционным маскам и трафаретным сюжетным схемам.

В пяти комедиях Менандра, содержание которых можно установить по имеющимся у нас еще с начала XX в. отрывкам, разрабатывается сходный мотив — насилие или обольщение девушки. В двух случаях («Третейский суд» и «Герой») молодой человек спустя некоторое время женится на своей жертве, причем оба не подозревают, что уже были близки. Во всех пяти пьесах на свет появляется ребенок или близнецы. Везде (кроме «Земледельца») ребенка (детей) выбрасывают или отдают; в двух комедиях («Третейский суд» и «Самиянка») он еще мал, в трех остальных дети (брат и сестра) уже взрослые (впрочем, это могло быть второй темой и в «Самиянке»). Во всех пяти пьесах дети находят родителей, а родители детей, происходит свадьба или примирение супругов.

Обольщение девушки, последующее узнавание ее отцом или братом и счастливая женитьба были содержанием «Андриянки», «Самоистязателя» и «Евнуха» — трех комедий Теренция, в основе которых лежат пьесы Менандра. В четвертой взятой Теренцием у Менандра пьесе «Братья» содержатся те же мотивы, но нет узнавания.

В комедиях Плавта, сюжеты которых были заимствованы у Менандра («Шкатулка», «Бакхиды», возможно «Клад» и «Пуниец») встречаются эти же мотивы. Еще одна восходящая к Менандру пьеса Плавта «Стих» выпадает из стандартной схемы.

По заголовкам и фрагментам новоаттической комедии установлены два наиболее широко распространенных мотива — освобождение молодым человеком любимой девушки, которая находится у сводника или хвастливого воина, и женитьба на ней, а также насилие над девушкой и рождение ребенка. Обычно эти мотивы сочетаются с узнаванием, примирением или свадьбой. Узнавание имеется в половине дошедших до нас пьес римской паллиаты. Так как отход от стандартной схемы в пьесах, заимствованных римскими

комедиографами у Менандра, отмечался редко, то его приписывали скорее подражателям Менандра, чем ему самому. Так, буффонаду в финале «Стиха» склонны были рассматривать как отклонение Плавта от его греческого оригинала.

В последнее время появились основания считать, что Менандр не был педантично верен устойчивому сюжету, что иногда он отступал от традиционных канонов комедии, а подчас на свой лад критиковал привычные театральные приемы.

Поэт отходит от традиционного сюжета в комедии «Ненавистник» (Δύσκολος — такой перевод представляется вернее, чем «Угрюмец»), впервые опубликованной в 1958 г. Это — вторая его пьеса, поставленная в 316 г. до н. э. и заслужившая первую награду. Сказочный мотив — освобождение девушки и женитьба на ней — реализуется не совсем обычным образом: юноша стремится к законному браку со свободной афинянкой, она не была в детстве подкинута, не находится ни у сводника, ни у воина, а живет в доме отца (как, впрочем, и в «Кладе» Плавта); при этом она даже принимает участие в действии (этого нет в большинстве пьес римских подражателей Менандра). В комедии не применяются обычные средства добывания девушки, помощник юноши не используется, отсутствует обольщение, рождение незаконного ребенка, традиционное в комедии узнавание. Действие в ней идет по необычному пути, а так как зрители не были, по-видимому, подготовлены к отклонениям от схемы, то они с интересом следили за развитием сюжета, и эта заинтересованность была новым для античного театра явлением, отсутствовавшим в трагедии и сближающим новоаттическую комедию с драмой нового времени.

Другим средством заинтересовать зрителей был отказ от поступков, почти обязательных для данной маски.

Поллукс описал 44 маски основных типов комедии (IV, 143—154), которые давали возможность дифференцировать функции внутри каждого типа и довольно точно охарактеризовать роль того или иного персонажа в пьесе. Маски помогали угадать общий характер событий, взаимоотношения действующих лиц. Так, например, стоило появиться на сцене девушке с расчесанными на обе стороны волосами и черными бровями, как всем было ясно, что она в детстве была выброшена, выросла как рабыня или гетера, и в пьесе будет узнавание. По светлым волосам узнавали женщину, над которой было совершено насилие и которая после этого вышла замуж (например, Памфила в «Третейском суде»). От нее отличалась маска девушки, которая была совращена, но замуж еще не вышла (Планго в «Земледельце»). Из семнадцати женских масок пять изображали различные типы свободных молодых женщин, три маски соответствовали типам старух, две — служанок и семь масок характеризовали гетер. Благородная, веселая и изящная гетера носила прическу со спускающимися на уши локонами, «золотая» (т. е. имеющая в волосах золотые

украшения) маска обозначала разбогатевшую и преуспевающую гетеру и т. д. Варьировались маски стариков (девять различных типов), для юноши было одиннадцать масок, для раба — семь.

Маска обозначала функции того или иного персонажа в комедии и намечала в общем характер событий, но она оставляла поэту полную возможность заинтересовать публику ходом действия. Менандр же заставляет своих персонажей поступать не так, как ждут зрители, привыкшие к обязательному для данной маски кругу поступков. В «Ненавистнике» этот отход от поведения данной маски ничем, кроме желания привлечь внимание зрителя, не мотивирован. Выведенный в экспозиционной сцене парасит Хэрей не обладает ни жадностью, ни льстивым подобострастием, — основными чертами этой маски. Он не принимает никакого участия в дальнейшем действии, но его роль не ограничивается только тем, что он выслушивает признания Сострата.

Парасит нередко выступает в роли помощника молодого человека. Как и раб-интриган, он устраивает его дела, помогает освободить девушку, способствует женитьбе. О такой помощи и просит Хэрея Сострат. Хэрей хвалится своим искусством в этой области и рассказывает, как он действует в различных случаях: если нужно достать для юноши гетеру, он ее крадет, подпаивает, стремится все сделать быстро и ловко; при этом он мотивирует свою поспешность поставленной задачей (ст. 62—63). Если же нужно помочь юноше жениться на свободной, то, как говорит Хэрей, торопиться не следует. Нужно выяснить, велико ли состояние девушки, какого она происхождения, справиться о ее характере, одним словом, проявить предусмотрительность.

Зрители, еще до начала действия подготовленные к повторению определенных мотивов и ситуаций, не сомневаются в сценической функции Хэрея. Узнав, что Сострату и его помощнику придется иметь дело с серьезным противником, они сразу же воспринимают эту привычную ситуацию как нечто вполне естественное и ждут от прихлебателя поступков, обусловленных маской. Но Хэрей ведет себя неожиданным образом. Сперва он пытается оттянуть время (ст. 131), затем робеет и вовсе отказывается от возложенной на него роли (ст. 145) — поступок, неожиданный для уже включившейся в традиционную игру маски. Таким образом, намеченная интрига в самом начале обрывается, появление парасита в функции помощника юноши не оправдывается, а зрители, уже настроившиеся на определенный лад, возвращаются к исходному положению.

Зрителям скоро дают понять, что помощником юноши будет Гета, раб отца Сострата (ст. 183—184). Вторичное упоминание о помощи Геты (ст. 216) создает в этом уверенность, но и она оказывается тщетной: Гета выступает в комедии лишь как компаньон повара и не проявляет себя поступками, обязательными для раба-интригана.

Наконец намечается третий вариант развития интриги, когда помощником юноши должен выступить его друг. Сострат надеется на содействие Горгия (ст. 320), даже приглашает его к обеду, рассчитывая извлечь из этого для себя пользу (ст. 560), но и этот прием не доводится до конца, а пьеса еще раз отклоняется от схемы. Очевидно, поэт, вводя определенную маску, всякий раз сознательно направляет действие по ложному пути, чтобы тем больше заинтересовать зрителей ходом интриги.

Конфликт в «Ненавистнике» разрешается самым неожиданным с точки зрения традиции образом, но это решение не противоречит, как это будет видно, общей концепции творчества Менандра. Услуга Горгия Сострату проявляется не в интриге против старика, мотиве, типичном для комедии, но в помощи ему, так как Горгий вместе с Состратом спасают упавшего в колодец Кнемона. Высокие моральные качества, проявленные при этом Горгием, заставляют старого ненавистника поверить в благожелательность людей, и он, примирившись с пасынком, дает согласие на брак дочери и Сострата.

В такой обстановке обман, хитрости, интрига против кого-либо из персонажей вряд ли были бы уместны, а прием, которым поэт пользуется, чтобы владеть вниманием зрителей, оказывается весьма кстати. Возможность насилия над девушкой (как это было, например, в «Евнухе») осуждается Горгием как аморальный, заслуживающий наказания смертью поступок (ст. 292), и Сострат, который тоже считает неприемлемой для себя мысль об этом, с ним соглашается (ст. 310). Честность намерений Сострата вознаграждается, доверие рождает ответное доверие, и он получает руку девушки, напутствуемый добрыми пожеланиями Горгия: «А ты только таким и оставайся» (ст. 771).

Менандр уже в этой пьесе делает шаг вперед сравнительно с другими греческими комедиографами. Его не удовлетворяет интрига раба, обман, насмешки и издевательства над отцом, которые были, очевидно, в пьесах других авторов и которыми будут наполнены комедии Плавта. В соответствии с общей социальной направленностью своего творчества Менандр «призывает к смягчению имущественных противоречий внутри состоятельной части населения» [1]. В его решении интриги возникает новый и очень существенный фактор — это добрые дела добрых людей, которые заменяют сказочного помощника и исключают одурачивание. Финал комедии «Ненавистник» не противоречит этой общей идее пьесы. Хотя он и содержит осмеяние Кнемона, но это осмеяние не существенно ни для интриги, ни для характеристики действующих лиц и их взаимоотношений. Он содержит черты древнеаттической комедии, сохранившиеся в новом жанре, как сохра-

[1] И. М. Тропский. Новонайденная комедия Менандра «Угрюмец». — ВДИ, 1960, № 4, стр. 59.

няется в комедиях Менандра хор подвыпивших молодых людей, не играющий никакой роли для содержания пьесы, но органически к этому содержанию подключающийся.

Известные нам более поздние пьесы Менандра ближе, как кажется, к требованиям традиционной схемы, но близость эта лишь внешняя, формальная. Она — результат возросшего мастерства поэта, творчество которого обогащается, хотя и остается в рамках общепринятых сюжетов. Что это так — видно по тому, какую роль играет узнавание в его пьесах.

Узнавание, а затем примирение поссорившихся в результате недоразумения, но любящих друг друга супругов находится в центре комедий «Третейский суд» (оно здесь происходит по кольцу, как в «Авге» Еврипида) и «Отрезанная коса» (по вещам, когда-то положенным в колыбель подброшенных детей, как в еврипидовых «Алопе» и «Ионе»). Но в этих пьесах узнавание уже нисколько не способствует развитию действия, хотя и дает объяснение событиям, имеющим внутреннюю мотивировку. Разрешение конфликта между любящими и их примирение вытекает из нового, не существовавшего еще в «Ненавистнике», обстоятельства — из характеров людей, оно является результатом их чуткости, добрых чувств и взаимного уважения. У Харисия такое отношение к отвергнутой им жене возникло после того, как он услышал ее разговор с отцом. До этого думавший только о себе, Харисий теперь понял и оценил в Памфиле великодушие, благородство, широту взглядов, недоступные ему самому, он облагораживается под воздействием поведения жены. Совершенно независимо от идущей традиционным путем интриги, независимо от узнавания ребенка по кольцу, которое произойдет позже, чтобы привести, как это и положено, к примирению супругов, Харисий, даже допуская неверность Памфилы в прошлом, самостоятельно приходит к тому, чтобы не считать ее виноватой в происшедшем с ней несчастье — рождении внебрачного ребенка и готов к примирению (ст. 605—607, 609—610). Тот факт, что ребенок Памфилы оказался также и его ребенком, оказывается уже не движущей пружиной действия, а формальной данью сюжету, он по существу не нужен для решения конфликта и лишь санкционирует при помощи традиционной схемы то новое, что вносит Менандр в пьесу.

Разрешение конфликта между мужем и женой дано в комедии дважды — сперва через внутреннее переживание Харисия, который, осознав невиновность Памфилы, психологически подготовлен к тому, чтобы примириться с ней, а затем, в соответствии с традицией, через признание им ребенка Памфилы своим благодаря кольцу.

Необычное для новоаттической комедии явление — готовность героя принять решение, не навязанное ему извне, — требовало необычной мотивировки. Поэт дважды изображает поведение сво-

его героя — сперва в традиционной, затем в новаторской для комедии форме.

Вначале раб Онисим, подобно вестнику в трагедии, информирует зрителей о событиях в доме. Он, в соответствии с функциями маски, лишь описывает поведение молодого хозяина, но не в состоянии проникнуть в его чувства. Этого было достаточно, когда требовалось раскрыть внешние моменты интриги, но не вполне убеждает теперь, когда поэт примиряет героев без узнавания, психологически осмыслив их взаимоотношения. И Менандр, не нарушая ни характера комедии, ни ее хода, вводит новый по стилю прием, вытекающий только из душевного состояния Харисия, — его монолог, который отличается от рассказа раба, дан в новом ключе и как бы изнутри мотивирует примирение, идущее параллельно с внешним действием.

Как Харисий в «Третейском суде», так и в «Отрезанной косе» Полемон, в результате недоразумения оскорбивший свою возлюбленную, тяжело переживает ссору с ней, но для примирения ему вовсе не нужно, чтобы Гликера нашла отца. Уже до введения этого мотива в душе воина произошел перелом, он раскаялся в своей грубости и сам был бы рад примириться с незаслуженно оскорбленной им девушкой. Сознавая свою вину, Полемон умоляет Патэка добиться для него прощения у Гликеры (ст. 255—259). Тем не менее именно узнавание, которое не кажется необходимым современному читателю, ставит на привычные рельсы события, которые психологически назрели уже сами собой.

Внутреннее содержание этих двух комедий, идущее параллельно с внешним, традиционным, заключается не в интриге, не в завершающем пьесу узнавании подкинутого ребенка, даже не в подходе к счастливой развязке, хотя все это есть в пьесах, но в том новом понимании жизни и человеческих отношений, которые вносит в комедии Менандр. Поэт увидел, как из-за случайных, нелепых и возникших в результате недоразумения обстоятельств *страдают люди*, он понял, что источником их страданий нередко являются их собственные заблуждения, взаимное непонимание, незнание истинного положения вещей и причин, заставляющих их партнеров действовать так, а не иначе. Он осознал, что ключ к устранению страданий людей находится в них самих, и это понимание как бы отодвигает на второй план Тиху, становится движущей силой в его комедиях. Харисий заблуждается, полагая, что Памфила изменила ему, он любит ее и несчастен, как несчастен и Полемон, думающий, что Гликера ему неверна. Чтобы развеять эти огорчения, осложняющие человеческую жизнь, нужны, по мнению Менандра, добрая воля, взаимопонимание, душевная щедрость. Только благодаря этим качествам в его пьесах восстанавливаются благородные взаимоотношения между людьми, укрепляются прерванные было связи, в семьях воцаряются мир, любовь, дружба. Поддержка Тихи

остается, и случай все еще играет большую роль в жизни людей, но скорее как силы исходной. Для развязки он становится в значительной степени формальным моментом.

Сосредоточив внимание на чувствах людей, их доброй воле и человечности, показав, как много значат эти качества в жизни, Менандр отодвигает на второй план также и интригу. Рабу-интригану нечего делать в «Третейском суде», и Онисим, передав кольцо своего хозяина гетере Габротонон, как бы передоверяет ей вместе с кольцом и интригу. В свою очередь и Габротонон обнаруживает качества, выходящие за рамки традиционной маски гетеры, но необходимые для создания той атмосферы благожелательности, в которой происходит развязка комедии. Лишен ряда традиционных черт маски хвастливого воина и Полемон, и уже не маска, а чувство к Гликере определяет его поведение. Харисия преображает проснувшаяся в нем человечность, Сострату чужда даже мысль о насилии над девушкой, которую он полюбил, и самое недолгое соприкосновение с людьми, благожелательными и добрыми, уже умиротворяет Кнемона.

Отказавшись в ранней своей пьесе от некоторых приемов новоаттической комедии, Менандр в дальнейшем приходит к более высокому этапу — он дискредитирует принцип жанра. Этого нет или почти нет в пьесах Плавта, но это было воспринято Теренцием, которому близка была аристократическая направленность творчества Менандра с его проповедью филантропии.

В комедиях, заимствованных Теренцием у Менандра, то менее, то более отчетливо выступает противоречие между сюжетной схемой и несущими определенное этическое содержание типами. Высокое мастерство здесь заключается в том, что поэт, не выходя, в отличие от Менандра в «Ненавистнике», за рамки традиционной схемы, находит каждый раз новое решение и все более углубляет свое понимание жизни и человеческих отношений.

Это ясно видно уже в первой комедии Теренция — переделке «Андриянки» Менандра. Сюжет здесь строится традиционно, большинство мотивов повторяется в других пьесах: молодой человек хочет жениться на девушке, которая уже ждет ребенка от него, отец препятствует этой женитьбе, а раб помогает юноше; наконец происходит узнавание, которое делает возможной женитьбу.

Этическое содержание комедии четко выражено. Так, Симон верит в порядочность сына, не хочет быть несправедливым к нему (ст. 526—527), говорит о своей готовности не обращать внимания на его прежние увлечения (ст. 186—187), и, введенный в заблуждение притворным послушанием Памфила, собирается женить его на дочери Хремета. Памфил любит свою избранницу, чтит отца, ему претит обман (ст. 260—262). Хремет в свою очередь благожелательно относится к соседу, подчиняясь соображениям дружбы, он даже рискует счастьем дочери и соглашается, было, выдать ее за Памфила, хотя, впрочем, не вполне уверен

в том, что следует уступить настояниям Симона (ст. 820—822), который очень ценит эту дружескую услугу (ст. 570). Все эти проявления чувств героев и создают в комедии ту атмосферу благожелательности, которая характерна для комедий Менандра, а затем и Теренция.

Однако это общее настроение не способствует решению конфликта, возникшего между Симоном и Памфилом. Отец и сын скованы функциями маски и сюжетом. Подчиняясь этим условностям, они никак не могут объясниться, найти психологическую основу для развязки. Объяснение между ними происходит довольно поздно (V, 3), и Симон, выяснив истинное положение вещей, не обнаруживает по отношению к сыну ни широты взглядов, ни терпимости, которых можно было бы ожидать по первому акту. Узнав о затруднениях Памфила, он, в соответствии с обязательным поведением строгого отца, и слушать не хочет оправданий сына, прилагает все усилия к тому, чтобы добиться согласия Хремета на брак сына с его дочерью, и это ему удается. Таким образом, ни чувства действующих лиц, ни их характеры не становятся действенным элементом интриги, не могут заслонить маску и вызвать поступки, которые бы шли в разрез с требованиями традиционной схемы или были мотивированы психологически. Естественно, что решение конфликта в этих обстоятельствах целиком переносится на узнавание.

Донат (в примечании к ст. 891 «Андриянки») писал, что в оценке мотивов Симона чувствуется серьезное отношение *Теренция* к этим вопросам. Значит уже не Менандр, а именно Теренций то ли не мог выйти за рамки схемы, то ли пытался осмыслить маску сурового отца применительно к римской действительности, а это существенно повлияло на характер комедии.

Впрочем, достоинства «Андриянки» иного рода. Они заключаются в том совершенстве, до которого поэт довел интригу.

В одном из дошедших фрагментов из «Перинфянки» Менандра, которую Теренций вместе с «Андриянкой» положил в основу рассматриваемой нами пьесы, раб Дав рассуждает о том, что невелика заслуга раба, если он обманул хозяина бездеятельного и беспечного. В этом случае он только одурачивает глупца [2]. По-видимому, гораздо выше ценится борьба, которую раб ведет с достойным противником. Таким противником Дава в «Андриянке» и оказывается старик Симон.

Зрители хорошо знали стандартные пути развития сюжета (уже в «Ненавистнике» трижды критикуется традиционная схема), предвидели интригу раба и ждали от раба-интригана выдумки и инициативы, угадывая те его уловки, которые парализовали бы намерения Симона, т. е. расстроили бы свадьбу и содействовали

---

[2] «Menandri quae supersunt. Pars 1. Ed. A. Koerte». Lipsiae, 1957, p. 131 (Perinthia, fr. 1b (393)).

планам Памфила, стремящегося жениться на Гликерии. Но такое «содружество» зрителей уже мешало поэту, сковывало его, заставляло искать новые пути развития интриги, а для того, чтобы старик имел достойного противника, он должен был не хуже зрителей знать, в каком направлении развивается интрига раба. И действительно, Симон не доверяет Даву, с самого начала пьесы он, без всякого повода со стороны раба, держится с ним настороже (ст. 159) и предвидит все возможности интриги, которыми тот в соответствии со своими функциями в пьесе должен воспользоваться. Предубеждение против раба и его интриг доводит Симона до крайней степени подозрительности: он не верит даже тому, что происходит на самом деле. Так, роды Гликеры он принимает за мнимые, ребенка ее от Памфила — за подкинутого по ходу интриги, приезд Критона, старика с острова Андроса, который должен сыграть роль deus ex machina в комедии и привести все к благополучному концу, — за подстроенный и даже подвергает сомнению узнавание.

Подозрения старика сковывают Дава, вынуждают его к пассивности, теперь даже самый невинный его совет только повредил бы планам юноши. Шаблон интриги, таким образом, дискредитируется в самой комедии, как дискредитируются и некоторые отдельные мотивы, связанные с интригой.

Тем не менее поэт находит новое, отнюдь не стандартное решение, великолепный вариант «интриги наизнанку», полностью отбрасывающий трафарет. Он подает правду под видом обмана, заставляет поверить в факты тем, что опровергает их. Хремет, зная функции раба, верит не в то, что Дав *утверждает* в блистательно разыгранной сцене со служанкой Гликерии, а в то, что он притворно *опровергает* (IV, 3). Таким образом, Хремет узнает правду и отказывается выдать дочь за Памфила. Хотя Симон все еще не хочет поверить в то, что стало очевидным, все возможности интриги в конце концов исчерпаны, и только узнавание Гликерии, оказавшейся дочерью Хремета, приводит пьесу к благополучному концу.

В «Андриянке» доведены до предела возможности интриги, здесь виден тупик, в который она могла бы зайти. Новые перспективы комедии лежали в другой плоскости. У Менандра они были реализованы в «Третейском суде» и «Отрезанной косе», у Теренция — в «Братьях». Пьеса «Самоистязатель» — важнейший этап на этом пути.

Теренций поставил «Самоистязателя» через три года после «Андриянки». В прологе он отмечает, что эта комедия относится к другому роду пьес (возможно, сравнительно с «Андриянкой»), что это — «спокойная» комедия (stataria), и что он хочет пробудить в Риме интерес к авторам, пишущим «новые пьесы без недостатков» (ст. 28—30), т. е. пьесы, углубляющие этическое содержание.

Комедия «Самоистязатель» не контаминирована, однако не исключено, что именно Теренций ввел параллельную любовную интригу (это можно предположить из слов Пролога: «она сочинена как двойная из простой фабулы» ст. 6) — duplex quae ex argumento facta est simplici.

Как и в известных нам поздних пьесах Менандра, движущей силой действия выступает неведение, взаимное непонимание, несчастное недоразумение, возникшее между стариком Менедемом и его сыном Клинией (ст. 155—156). Это непонимание и приводит к тому, что ещѐ до начала действия Менедем, в соответствии с поведением отца в комедии (ст. 100), грубо обошелся с сыном, влюбившимся в бедную и неизвестного происхождения девушку. Клиния, вместо того, чтобы попытаться обмануть отца при содействии раба-интригана, как это обычно бывало в комедии, подчинился его требованиям, отказался от своей привязанности и уехал в Азию. Впрочем к началу действия он (тайком от отца) уже вернулся домой и мечтает о встрече с девушкой. Но интрига не может состояться, так как переменился и Менедем. Он перестал быть суровым отцом, отошел от традиционной маски, стал лицом страдающим. Менедем, пусть с опозданием, понял душевное состояние сына, он испытывает моральную ответственность перед Клинией, раскаивается в проявленной жестокости. Не находя себе покоя, он, в наказание за собственную грубость и вспыльчивость, изнуряет себя тяжелой работой, не думает об удовольствиях, ни даже просто об отдыхе до тех пор, пока не дождется возвращения сына (ст. 147—150), которого готов принять с распростертыми объятиями (ст. 423—425).

В первой сцене комедии Менедем напоминает Кнемона. Очевидно, общий рисунок его роли сохраняет традиционные черты сердитого старика, маски, известной из древнеаттической комедии, но по существу поведение Менедема не укладывается в рамки схемы, указывает на его личное отношение к окружающим. Узнав о возвращении сына, он решительно отбрасывает маску сурового старика. «Satis pater durus fui»,— восклицает он (ст. 239) и готов немедленно примириться с сыном и удовлетворить все его желания (ст. 858, 867—868). Но героям комедии нельзя, оказывается, вести себя, следуя логике своего характера, если рядом возникают противоречащие ей требования схемы. В «Третейском суде» и «Отрезанной косе» оба эти момента совпадали, здесь же, так как в соответствии со схемой сын *должен* бояться отца и не *смеет* встретиться с ним, Клиния не может непосредственно обратиться к Менедему. Поэтому он живет в доме соседа, скрывается от отца и ведет себя в соответствии с традиционной маской (ст. 433—435), а раб Сир старается закрепить мнимый конфликт отца и сына и держит юношу в страхе перед данным по условию, но реально не существующим гневом отца [3].

[3] «Immo ut patrem tuom vidi esse habitum, dum etiam turbas dabit», —

По требованиям схемы интрига должна быть направлена на обман отца, и так как комедия отвергает другой путь к примирению, то Менедем, которого по сути дела совершенно не нужно обманывать, сам стремится стать жертвой обмана и всеми доступными ему средствами способствует его осуществлению, лишь бы только скорее примириться с сыном.

Quod sensisti illos me incipere fallere,
Id ut maturent facere: cupio illi dare
Quod volt, cupio ipsum iam videre.

(ст. 495—497)[4]

Однако прощение сына и согласие отца на его женитьбу происходят лишь в конце пьесы, хотя они давно уже внутренне мотивированы и психологически подготовлены, а узнавание девушки, которая оказалась дочерью соседа, и то обстоятельство, что теперь Клиния может на ней жениться, имеет лишь сценическую функцию, как, впрочем, и в рассмотренных выше пьесах Менандра. Но оно необходимо, так как действие вращается в кругу стандартных мотивов и требует традиционного разрешения, а благополучная развязка должна быть санкционирована извне.

Комизм пьесы построен на контрасте в поведении двух стариков. Менедем ведет себя разумно, его действия психологически мотивированы и уже тем самым оправданы, а значит к нему неприменима интрига раба, а Хремет, последовательный носитель традиционной маски, воображает себя необыкновенно дальновидным, вмешивается в дела Менедема, подстрекает раба на интригу, — одним словом ведет себя в соответствии с требованиями трафарета. Верность маске ведет к тому, что Хремет по всем правилам комедийной игры сам оказывается жертвой обмана и запутывается в расставленных для него сетях, причем раб, как и в «Андриянке», использует «обман правдой». Но, в отличие от аналогичных ситуаций у Плавта, раб, даже одержав победу, не оказался триумфатором. Как справедливо отмечали[5], удачная интрига не радует поэта, он скорее сочувствует обманутым, чем обманывающим.

В развязке комедии оказавшийся под угрозой разорения Хремет обнаруживает деловую смекалку и хитрость и оказывает на сына решительный нажим, чтобы заставить его отказаться от ра-

---

говорит Сир (ст. 402), но слова эти никак не вытекают из отношения отца к сыну. Они скорее объясняют позицию Сира, который затеял сложную интригу в пользу второго юноши.

[4] Жалоба легкомысленного сына на то, что отец его добр и уступчив и не дает повода себя обмануть, содержится и в комедии Цецилия «Друзья юности» (Synephebi). Об этом см. трактат Цицерона «О природе богов» (II, 29, 72).

[5] A. Thierfelder. Die Motive der griechischen Komoedie. — «Hermes», 71 (1936), p. 334.

зорительной связи с гетерой. Финал этот не обусловлен ни маской, ни узнаванием, а целиком вытекает из сложившейся ситуации. Возможно, что именно Теренций нашел для характеристики поведения Хремета в финале типично римские черты, обнаруживающие трезвость суждений, настойчивость, силу отцовской власти, — качества, пробудившиеся в отце, когда поведение сына стало угрожать его собственному благополучию.

В «Братьях» скрестились, наконец, пути, по которым шли старики и юноши в комедиях Менандра, а за ним и Теренция. Тема взаимопомощи, дружеской поддержки звучит здесь особенно убедительно. Уже в «Самоистязателе» молодые люди с готовностью помогали друг другу, но при этом ни Клиния, ни Клитифон ничем один ради другого не пожертвовали бы, каждый ставил свой интерес выше всего («Что со мною, тебе дела нет, а ему ты советы даешь?», — упрекает Клиния Сира, ст. 715), и услуга одного из приятелей принимается другим как должное.

В «Братьях» близость молодых людей подчеркивается тем, что они не только друзья, но и родные братья. Ново и то, что помощь, которую Эсхин так охотно оказывает, принимается Ктесифоном с благодарностью (ст. 254—257). Конфликт в комедии не дан заранее, но возник из-за того, что, отбивая для брата подружку у сводника, Эсхин скомпрометировал себя не только в глазах стариков, но и публики, так как дает повод заподозрить себя в неверности по отношению к обесчещенной им девушке. Что это не так — обнаруживается довольно поздно (IV, 4). Выход из ложного положения, в которое он попал, Эсхин видит не в интригах раба, а в том, чтобы, отказавшись от всяких условностей схемы, сделать то, чего не делали юноши других комедий,— честно во всем признаться отцу.

Этические мотивы, лишь в самом общем виде намеченные в других пьесах, расширены и углублены в «Братьях», особенно в сцене, где Эсхин признается во всем Микиону (IV, 5) и выражает ему свою любовь и признательность (ст. 681—683). В свою очередь Микион как бы уподобляется Менедему, но он не повторяет его поведения, объяснявшегося воздействием схемы. Микион с полуслова понимает сына, мягко укоряет его за то, что тот не открылся вовремя и создал ненужные осложнения (ст. 692—693). Чувства Микиона выходят наружу, реализуются в действии, благожелательность его активна, она распространяется на других людей, понятна окружающим и оценена ими по заслугам (ст. 708—711). Впервые звучит в комедии тема дружбы и полного взаимопонимания между стариками и молодыми, тема, снимающая конфликт и упраздняющая интригу.

Устранено в этой пьесе и узнавание, ненужное людям, которые обо всем могут договориться и так хорошо понимают друг друга. Автор делает возлюбленную Эсхина свободной, давая тем самым и социальную санкцию на брак молодых без узнавания.

Женитьба Эсхина — естественный результат взаимоотношений молодых и доброй воли их родителей.

Рабу-интригану тоже нечего делать в этой комедии. Ему остается только мелкий, «вспомогательный» обман — он заставляет незадачливого Демею долго блуждать по улицам в поисках Микиона, т. е. отсутствовать именно в тот момент, когда на сцене происходят решающие события (IV, 2). Сир, таким образом, не реализует заложенные в его маске возможности, и только Демея, единственный персонаж пьесы, подчиненный условностям своей маски, убежден в активной роли раба. Демея считает Сира причиной всех несчастий («...te esse huius rei caput», — говорит он в ст. 567), хотя поведение раба никак не предполагает такого мнения о нем. Позиция Демеи полностью соответствует функциям его маски, и он один, никем не понятый и лишний в общей атмосфере благожелательности и взаимопонимания, теряется в лабиринте собственных заблуждений, как в кривых улочках, по которым он бродит, поддавшись на обман Сира.

Роль Демеи и его реабилитации в финале комедии не имеют отношения к оригиналу Менандра. Теренций, давая Демее возможность восторжествовать над Микионом, осуждает не столько поведение Микиона, сколько капитуляцию его перед братом.

Вывод поэта однозначен: доброта творит чудеса, но она не должна превращаться в бесхарактерность; нельзя отступать перед теми, кто использует мягкость партнера для навязывания ему своей воли.

Отход на второй план роли раба-интригана, активность молодого человека в последних пьесах Теренция связаны с углублением в них этического момента. Именно в «Братьях», последней и наиболее зрелой пьесе Теренция, решительно сломаны традиции схемы, и конфликт разрешается не благодаря удачно проведенной интриге или узнаванию, но через добрую волю отца и сына, их благородство и такой простой с точки зрения жизненного правдоподобия, но недоступный прежде для комедии прием — непосредственное объяснение, возможность взаимопонимания, желание договориться.

Теренций, несомненно, вносил коррективы в комедии Менандра, но он верен его филантропической, идеализирующей действительность направленности, и его литературная деятельность развивается таким образом, что и типизированная маска, и стандартный сюжет, и узнавание все более и более отступают перед характерами, сильными чувствами, психологической мотивировкой событий. Схема отходит на второй план, это сопровождается обнажением, сознательным огрублением, критикой театральных приемов, отказом от некоторых условностей. В этой среде уже вызревают качественные изменения всего сценического действия.

М. Е. Грабарь-Пассек

МЕТРИКА СТИХОТВОРЕНИЙ ФЕОКРИТА

Исследование стихосложений античных поэтов сводится обычно к изучению и классификации различных стихотворных размеров и их комбинаций. Нормативный подход к стиху обычно берет верх над подходом историческим. Поэтому исследование стихосложения какого-либо одного поэта или одной литературной группировки является делом нелегким: оно либо обречено только на констатирование определенных фактов формального характера, значение которых не может быть оценено по достоинству ввиду отсутствия связи с предыдущим и последующим, либо оно предполагает настолько широкий охват исторических стадий, через которые прошло то или иное явление в развитии стиха, что для получения бесспорных результатов требуется работа многих исследователей. Тем не менее мы попытаемся наметить некоторые особенности стихосложения в произведениях Феокрита и произвести, хотя и на довольно ограниченном материале, ряд сопоставлений с его предшественниками и последователями.

Для изучения строя стиха надо заранее наметить те основные моменты, на которые — как на явление типичное — следует обращать преимущественное внимание. Одни из них имеют более общий характер и могут быть исследованы в стихах любого языка, независимо от того, какая система стихосложения является господствующей в данном языке; другие органически связаны только с определенной системой.

Первым моментом общего характера, представляющим интерес для стихосложения в любом языке, можно считать использование материала слов данного языка в стихе, так называемое «словозаполнение» стиха, колона или строфы. Стих, построенный из трех или четырех длинных слов, звучит иначе, чем стих того же размера из восьми или десяти коротких; стих, в котором все слова имеют одинаковое число слогов, производит другое впечатление, чем тот, который построен из слов различной длины. Каждое слово представляет собой определенную ритмическую величину. В древнегреческом языке комбинация слов в стихе играла еще бо́льшую роль, чем в языках, пользующихся преимущественно тоническим стихосложением. Она характеризовалась

двумя факторами: во-первых, — расположением долгих и кратких слогов и, во-вторых, — положением и тоном ударения. Взаимодействие этих факторов создавало такую ритмически-мелодическую ткань, которую мы не можем ясно себе представить. Единственное, что нам доступно, это — точное статистическое исследование античного стиха с точки зрения расположения и объема заполняющих его слов.

Для нас было бы чрезвычайно важно знать, занималась ли этим вопросом античная поэтика и существовали ли определенные нормы для использования слов различного размера в определенных поэтических жанрах. К сожалению, тот материал, которым мы располагаем, не дает нам права на решительный ответ. Но что античная мысль в этом направлении работала, ясно из того, что вопрос об использовании слов различного характера для различных типов поэтических произведений ставится уже Аристотелем («Поэтика», гл. 22, 1458b, то же «Риторика», III, 9). Правда, он говорит не столько о размере слов, сколько об их стилистическом характере (о словах заимствованных, архаических, новых, обиходных и т. п.), но вопрос о словах составных рассматривается им, по-видимому, не столько с точки зрения их смысла, сколько именно с точки зрения их протяженности и тяжеловесности, придающей торжественный тон. Впоследствии этим вопросом занимались эллинистические метрологи, которые придали ему чисто нормативный характер, интересуясь, главным образом, тем, какие слова допустимы в определенных частях стиха, как должны заканчиваться стопы и т. п.

Каждый язык представляет поэту свои особые возможности: можно, например, вводить некоторые изменения в звуковую ткань слов. В греческом языке такими средствами изменения слова являлись элизия, синтез и красис, а также так называемая долгота или краткость гласного звука по положению. Исследуя греческий стих, нельзя пройти мимо этих явлений.

Чрезвычайно существенным моментом для построения стиха вообще является наличие и характер цезуры. О важности цезуры для греческого гексаметра говорить не приходится. В частности, следует обратить внимание и на вопрос о так называемой «буколической цезуре», само название которой указывает на ее значение для работы над Феокритом.

Так же важно и расположение спондеев по отдельным стопам гексаметра: спондеи играют огромную роль в звучании стиха, и античные поэты, несомненно, знали это. В частности, выделяется вопрос о так называемом στίχος σπονδειάζων, т. е. о спондее в пятой стопе, считающемся тоже характерным для эллинистического гексаметра.

Наконец, последним моментом, подлежащим исследованию в греческом стихе, является соотношение того ударения, которое данное слово несет на себе в прозаической речи, с положением

этого же слова в арсисе или тесисе стопы. Для истории стихосложения было бы чрезвычайно важно установить, существует ли определенное соотношение между обычным ударением и сильной частью стопы, или здесь господствует случайность. И далее, если такого рода соотношение имеется, то нельзя ли проследить в нем нарастающей тенденции к совпадению ударения с сильной частью стопы, т. е. к известному равновесию между тоническим и метрическим принципом.

Перечень использованных произведений и результаты их исследования даны в сводных таблицах в конце статьи.

Из произведений, написанных гексаметром, были взяты отрывки по 50 стихов каждый. Кроме стихотворений Феокрита, которые проработаны почти полностью, отрывки из произведений других авторов были выбраны с учетом их характера, — повествовательного, разговорного или описательного: отчасти, чтобы охватить возможно более разнообразный материал, отчасти в надежде заметить колебания в нормах для стихотворений различного характера.

Ввиду того, что ямбический триметр на одну четверть короче гексаметра, отрывки из ямбических стихотворений брались не в 50, а в 65 стихов, причем они подобраны тоже с учетом их различного характера, а именно — рассказы вестников, диалоги с длинными репликами и стихомифии. Абсолютные числа слов в избранных отрывках были довольно постоянны: они колебались в пределах от 330 до 400 слов. Поэтому и прозаические отрывки были взяты в том же размере (350—400 слов).

Наиболее характерными элементами для построения стиха являются, с одной стороны, односложные, с другой — многосложные слова. Группа односложных слов по своему смысловому характеру состоит главным образом из союзов, артиклей, предлогов и частиц, причем эти последние несут особенно ответственную роль; именно они придают греческому стиху ту живость и выразительность, которая для него характерна. Однако, кроме своей смысловой роли, они играли, по-видимому, и роль чисто технического средства построения. Дело в том, что односложная краткая частица, будучи элидирована, не занимает собой слога, но может играть для строя стиха важную роль, во-первых, для предупреждения зияния, во-вторых, для удлинения предыдущего слога, оканчивающегося на одну согласную. Наибольшую роль в этом отношении играют частицы δέ и τε; частица γε с ее более ярко выраженным значением не является уже только техническим средством. Долгие по природе частицы, как δή или те, которые легко становятся долгими по положению, как μέν, тоже часто употребляются как средство скрепления стиха. Большую роль играет союз καί, который в зависимости от своего положения может быть и долгим, и кратким. А так как при общей тенденции греческого языка, — вплоть до самой высокоразвитой

художественной прозы, — к паратактическому построению использование союзов и частиц вообще очень распространено и развито до тончайших оттенков, то можно себе представить, каким мощным средством построения стиха являлись эти «маленькие» слова для поэта и даже просто для опытного версификатора, знавшего, как они могут помочь «спаять» отдельные части стиха. Надо прибавить, что цифры односложных слов, и без того довольно значительные, увеличиваются еще за счет элидированных пиррихиев и хореев; однако это дает лишь небольшой прирост в 5—10 слов.

В обращении к односложным словам, и в особенности к приему элизии их для избежания зияния и для удлинения предыдущего слога, можно заметить при внимательном наблюдении известные различия у разных авторов, и здесь особенное внимание следует обратить на Феокрита. На первый взгляд абсолютные числа односложных слов в его буколиках не сильно отклоняются от классических норм Гомера и Гесиода. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что в группе буколик замечается явный перевес односложных долгих слов над односложными краткими, чего в эпиллиях незаметно. Далее, если заняться более детальным анализом случаев элизий и долготы по положению, то мы увидим, что Феокрит старается именно в буколиках избегать по возможности и того, и другого — т. е. он стремится давать слова в их, так сказать, естественном состоянии, не пользуясь ими как чисто техническим средством. В этом, может быть, и заключается одна из тех тайн, которые делают стих Феокрита простым и легким. Из таблицы II мы видим, что у Гомера, Гесиода и Аполлония элидируется в среднем $^1/_4$ — $^1/_3$ односложных слов, у Феокрита самое большее — $^1/_5$, а иногда меньше $^1/_{10}$. Что касается удлинения слов с краткой гласной по положению, то наиболее часто это встречается в поэмах Гомера — от $^1/_4$ — $^1/_2$ всех слов, дальнейшие авторы снижают это отношение до $^1/_5$, Феокрит иногда — до $^1/_8$ — $^1/_9$, притом, что абсолютное число долгих односложных слов у него выше, чем у всех других авторов.

Резкое снижение общего числа односложных слов замечается уже только у Нонна: является ли это его индивидуальным вкусом или это зависит от утери в его эпоху того плавного паратактического строя греческой классической речи, о котором говорилось выше, без более детального анализа сказать нельзя.

Еще больше раскрываются индивидуальные черты авторов и литературных эпох при наблюдении над употреблением многосложных слов. Речь идет в первую очередь о словах четырехсложных и — реже — пятисложных; первые всегда имеют значительный перевес над вторыми; слова с бо́льшим числом слогов насчитываются единицами. В среднем у Гомера и Гесиода на 50 стихов приходится около 50 таких слов, т. е. 11—19% всего

словесного состава. Но когда мы переходим к позднейшим эпическим поэтам, картина меняется: число многосложных слов все возрастает; у Аполлония Родосского и Каллимаха оно поднимается до 60 (17—25%), а в эпосе эпигонов — Квинта Смирнского, Нонна, Трифиодора до 70 (20—30%), в одном же из отрывков Нонна достигает 93 (32%). По-видимому, именно длинные слова считались настолько характерными для эпического гексаметра, что каждый поэт в употреблении их старался превзойти своих предшественников. Общая тенденция развития эпического стиха идет, таким образом, в сторону его загромождения и усложнения. Единственный поэт, чуждый этой тенденции — это Феокрит в своих буколиках, в которых, наряду с повышением числа односложных слов, он явно старается снизить число многосложных, доводя его до 35, а в некоторых стихотворениях даже до 20 слов на 50 стихов (5—15% всего словесного состава). Но надо заметить — и это чрезвычайно характерно, — что эта тенденция явно выражена у Феокрита только в буколиках и мимах, а в эпиллиях и энкомиях, произведениях, носящих более традиционный и официальный характер, он придерживается даже не любимой гомеровской нормы в 50 слов, а скорее эллинистической — в 60 слов на 50 стихов (17—23%).

Такое постоянство в числовых отношениях случайным быть не может; между тем, как авторы эпоса усиленно культивировали пользование многосложными словами, Феокрит сознательно избегал их именно в тех произведениях, в которых он был самобытен. Придерживаясь в эпиллиях тех норм, которые и он признает характерными для эпоса, в стихотворениях нового, созданного им жанра он пытается провести реформу гексаметра: он хочет сделать его, во-первых, проще и точнее, освободив по возможности от приемов элизии и искусственной затяжки там, где эти приемы играют чисто техническую роль; во-вторых — сделать его легче, разбивая стих на большее число кратких слов и не загружая его длинными.

Как мы видим, дальнейший эпос не только не примкнул к Феокриту, но пошел далее по пути, начатому эллинистическим эпосом. Феокритовы буколики и мимы остались стоять особняком в общем ходе развития гексаметра. Он был новатором в стихе и, как мы увидим по его последователям, его новаторство не осталось совсем непонятым, но оно было воспринято не поэтами-эпиками вообще, а было сочтено специфической чертой именно буколического стихотворения.

Интересно попытаться установить, откуда проникла в стихотворения Феокрита эта тенденция к перестройке словесного материала стиха. По самому содержанию стихотворений Феокрита ясно, что он пытается передать в традиционном стихе гораздо более простую разговорную речь, чем та, которую мы имеем даже в отрывках эпоса, передающих речи и беседы. Кроме того, из

разнообразия произведений Феокрита видно, что он тщательно изучал стих самых разных родов поэзии, как лирики, так и драмы. Так, например его эолические стихотворения являются исключительно плодом такого изучения, а не плодом акустического воспроизведения действительно знакомого ему живого наречия, как его стихотворения на дорическом диалекте, которые, правда, тоже не передают подлинную народную речь Сицилии, а стилизуют ее. Поэтому тенденция к изменению характера гексаметра могла идти из трех источников: из художественной прозаической речи, из лирики (элегического дистиха или ямба) или, наконец, из драмы. И дистих, и ямб по самой своей задаче — то увеселять, то поучать, то порицать — должны стоять ближе к разговорной речи, чем гексаметр, а драматическое произведение должно как можно больше придерживаться разговорных форм, чтобы производить впечатление естественности и не быть трудным для произношения играющего актера.

Рассмотренные прозаические отрывки не дали возможности сделать вывода о том, что тенденция к снижению числа длинных слов идет из художественной прозаической речи. В них имеется довольно большой процент многосложных слов, даже несколько превышающий норму гомеровского гексаметра (11—22% вместо 11—18%). Однако, если ближе рассмотреть характер самих этих слов, то это близкое совпадение процентного отношения в прозе и гексаметре оказывается внешним и как бы случайным: в прозаической речи многосложными словами являются преимущественно глагольные формы (например, аорист пассива, плюсквамперфект, причастия среднего залога и т. п., особенно от глаголов с приставками), а в эпосе — составные прилагательные (украшающие эпитеты) и существительные; но остается фактом, что прозаическая речь часто пользуется длинными словами, а некоторые ораторы, как Демосфен и Исократ, используют их явно в целях художественных.

Напротив, при использовании односложных слов прозаическая речь далеко оставляет за собой нормы эпоса, достигая норм 33—40%. Если в эпосе эти односложные слова, при всей их эмоциональной значимости, все же во многих случаях играют лишь служебную техническую роль, то в прозе именно они придают фразе выразительность, подчеркивают и выделяют отдельные мысли, именно они настраивают слушателя в том духе, в каком этого желает оратор. Эта роль односложных слов, по-видимому, была вполне понята Феокритом, который в соответствии с этой тенденцией обыденной речи повышает в буколических стихотворениях процент односложных слов до 26—38% сравнительно с 24—30% древнего эпоса — нормы, которой он приблизительно придерживается в эпиллиях и энкомиях (17—28%), все же несколько снижая ее и здесь.

Когда мы переходим к элегическому дистиху и ямбу, то, наоборот, при прежнем количестве односложных слов (в элегии разговорно-интонационные частицы не играют особой роли), мы уже замечаем известную тенденцию к снижению числа многосложных слов (10—16%), хотя и не очень ярко выраженную. Но в общем надо сказать, что элегический дистих придерживается довольно точно норм классического гексаметра, и вряд ли Феокрит мог почерпнуть из него что-либо для изменения его строя.

Остается третья область, которая могла оказать влияние на стихосложение Феокрита, а именно — драма. И достаточно взглянуть на те нормы, которые дают трагедия и комедия, чтобы ясно увидеть, кто именно является учителями Феокрита в области стихосложения.

Подсчет слов в драматических отрывках раскрывает перед нами еще более постоянные соотношения, чем подсчеты в эпосе. Норма односложных слов полностью совпадает с нормами прозаической речи (в прозе 33—40%, в драме — 31—40%). Резкое снижение многосложных слов (5—9%) тоже представляет собой неизменное явление. Нормы Феокрита в его буколиках — односложные слова 26—38%, многосложные — от 5 до 16%. Сходство между драматическим языком и языком буколики настолько явно, что невозможно предположить случайность этого совпадения.

Таким образом, исследование стиха Феокрита с точки зрения словозаполнения стиха приводит нас к выводу, что Феокрит под влиянием приемов стихосложения драмы попытался ввести некоторые черты этих приемов в традиционный гексаметр, использованный им для создания его собственного нового жанра, и что именно благодаря этому он достиг той простоты и легкости, которая отличает его стих.

Однако наряду с этим выводом, касающимся только Феокрита, напрашивается и другой, значительно более важный, а именно — что существуют определенные неписаные и никем не сформулированные законы использования слов разного размера в эпическом и драматическом стихе. Как указано, для исследования брались отрывки разного характера, даже можно было заметить у отдельных авторов некоторые индивидуальные стилевые особенности, но над ними всеми господствует одна общая художественно-техническая традиция, воспринимаемая каждым поэтом и воспроизводимая им, по всей вероятности, совершенно бессознательно, но почти с математической точностью. Это наблюдение вводит нас уже не в творческую лабораторию того или иного поэта, а в многовековую лабораторию эпической поэзии.

Нам остается сделать еще несколько замечаний о более редких приемах приспособления слов к размеру, чем элизия и изменение долготы звука по положению — о таких, как синицез, диэрез и красис.

Как известно, в поэмах Гомера наиболее часто подвергаются первому изменению звуки εω в окончаниях родительного падежа. У Феокрита эта форма родительного падежа менее употребительна, и синицез встречается преимущественно в первом лице слитных глаголов на εω, например: Θαρσέω. Βάλλε κάτωθε τὰ μόσχια (IV, 44); Αἰνέω τάν τε Κρότωνα... (IV, 32); Μισέω τὰς δασυκέρκους ἀλώπεκας (V, 112); Μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προθύροισιν (VII, 122).

Однако синицез звуков у Феокрита вовсе не обязателен, например: Κοῦτι τυ κερτομέω. Πόταν ὠγαθέ (I, 62). Имеется один случай интересного синицеза между двумя раздельными словами, притом при двух долгих гласных: Ἤδη τις, Μόρσων, πικραίνεται ἢ οὐχί παρῄσθευ (V, 120). По-видимому, в данном случае, сливающиеся долгие звуки произносились как обычный дифтонг ευ. Также своеобразен синицез в последнем слоге шестой стопы Ἀργεία κυάνοφρυ, σὺ λαοφόνον Διομήδεα (XVII, 53). Но, вообще говоря, синицез насчитывается в стихотворениях Феокрита единицами и не играет существенной роли в его поэтической технике.

Несколько чаще встречается диэрез, которому подвергается, кроме дифтонгов ευ и αυ, и дательный падеж единственного числа третьего склонения при долгом гласном в окончании.

Например: αἴγειροι πτελέαι τε εὔσκιον ἄλσος ὕφαινον (VII, 8); ἅ τοι τᾶν ὀΐων ἕπεται σκοπός. ἃ δὲ βαΰσδει (VI, 10); Φαντί νιν Ἡρακλῆϊ βίην καὶ κάρτος ἐρίσδειν (IV, 8); Τῷ μὲν ἐγὼ πορθμῆϊ καλυδνίῳ αἶγα τ'ἔδωκα (I, 57).

Многие случаи диэреза следует считать спорными; он не всегда вытекает из размера с полной убедительностью. Так, в приведенном стихе 10 из VI идилии ἅ τοι τᾶν οἴων ἕπεται σκοπός. ἃ δὲ βαΰσδει в первом случае можно прочитать οϊ и как дифтонг, так как тогда во вторую стопу попадает правильный спондей; в последнем же слове дифтонга быть не может, так как спондей в пятой стопе оказался бы неправильным.

Но эти спорные случаи не оказывают никакого влияния на общую ткань стихотворений Феокрита, прибегающего и к диэрезу не более одного-двух раз в стихотворении, а чаще и вовсе не пользующегося этим средством.

Последнее средство изменения слов в целях приспособления их к размеру, красис — пользуется, наоборот, большей любовью Феокрита. Особенно много случаев красиса в мимах, в «Колдовстве» и в «Любви Киниски». В красис попадают и член, и местоимения, и союз (даже перед собственным именем).

Ἦνθ'ά τωὐβούλοιο καναφόρος ἄμμιν Ἀναξώ (II, 66); Ὡργεῖος κἠγὼν καὶ ὁ Θεσσαλός (XIV, 12); Ὤμοι ἐγών, τί πάθω (III, 24); κἀμφίστειλαμένα τὰν ξυστίδα (II, 74); χὼς ἴδον, ὡς ἐμάνην (II, 82); κἤπεί κά νιν ἐόντα (II, 100).

Предпочтение, которое Феокрит оказывает этому средству изменения слов перед всеми другими, имеет, по всей вероятности, то основание, что красис является естественным явлением в живой речи любого языка. Это же явление слияния очень часто употребляющихся комбинаций слов и воспроизводится Феокритом в его стихотворениях. Между тем, другие два средства, синицез и диэрез, вряд ли могли быть замечены в живой речи, так как можно предположить, что в эпоху Феокрита продуктом синицеза уже являлся, в речи либо просто дифтонг, либо долгий гласный, диэрез же вообще — искусственный способ разложения дифтонга для построения стиха. Таким образом, есть все основания предполагать, что предпочтение, оказываемое Феокритом красису, есть только один из характерных для него моментов тяготения к воспроизведению живой речи.

Переходим к следующему вопросу — о характере цезуры в древнем и эллинистическом гексаметре. Как оказывается, числовые соотношения между стихами с различными видами цезуры обладают постоянством не меньшим, а даже бóльшим, чем соотношения между группами слов. Во всех отрывках из Гомера господствующей является женская цезура (κατὰ τρίτον τροχαῖον), хотя преобладание ее над мужской и не очень значительно; иногда же все число стихов распадается на две равные части.

Спорным вопросом метрики, что касается гомеровского периода, является вопрос о цезуре trithemimeres в соединении с hepthemimeres [1]. Когда в стихе имеются словоразделы и в середине и на местах trithemimeres и hepthemimeres, то порой бывает трудно решить, который из словоразделов звучит сильнее. Поэтому возможно, что то число цезур trithemimeres и hepthemimeres, которое приведено в таблицах, несколько снижено; в них внесены только такие случаи, где эти обе цезуры выступают очень ярко, а основная всецело остается в тени.

Пример: καὶ οἱ ἀεὶ / δριμεῖα χολά / ποτὶ ῥινὶ κάθηται (I, 18); ἐργαζῇ / καὶ μὰν πρότερόν / ποχα μουσικὸς ἦσθα (X, 23); ἀλλ' ἔμπας / ἐν τοῖς στεφάνοις / τὰ πρᾶτα λέγονται (X, 29); ἢ ποίας / ἔλιπον γραίας / δόμον ἅτις ἐπᾴδει (II, 91) [2].

Довольно часто встречается у Феокрита одна trithemimeres, соединенная и с основной и с буколической цезурой, например: "Ὣς ἐφάμαν. / ἃ δ' ἦνθε καὶ ἄγαγε / τὸν λιπαρόχρον (II, 102).

Что касается основной цезуры, то у Феокрита можно как будто заметить слегка намечающуюся тенденцию к преобладанию мужской цезуры; правда, она не настолько явно выражена, чтобы говорить и здесь о попытках какого-то новаторства в построении

---

[1] В таблице III стихи с цезурой trithemimeres и hepthemimeres стоят в рубрике T+H.

[2] В последнем примере цезура поддержана внутренней рифмой.

стиха. Однако он все же расходится со своими современниками, Аполлонием и Каллимахом, у которых неоспоримо продолжает господствовать женская цезура. Что поэты-эпигоны, особенно Нонн, культивировали женскую цезуру, известно.

Наиболее интересным явлением можно считать, конечно, так называемую буколическую цезуру, отсекающую в качестве самостоятельного отрезка стопы пятую и шестую. Буколическая цезура имеется уже у Гомера, и отнюдь не в малом количестве стихов, в большинстве случаев более чем в половине стихов каждого данного отрывка (54—74%).

Но у Феокрита число стихов с такой цезурой еще значительно повышается, и так как его подражатели тоже примыкают к нему в этом отношении, то, очевидно, эта особенность его стиха была ими воспринята именно как специфика буколики. Если в буколиках Феокрита видеть какую-то связь с подлинной народной песней его времени, то, может быть, стоит обратить внимание на то, что самый высокий процент стихов с буколической цезурой встречается как раз в песне о смерти Дафниса в I идиллии, «риторнелях» Комата и Лакона в V идиллии и в серенаде пастуха в III идиллии. Однако эта разница не настолько ясно выступает, чтобы решиться говорить о подлинно народном происхождении буколической цезуры. Она могла быть просто использована автором как определенная манера разбивки стиха и как таковая же подхвачена его подражателями.

Частое пользование буколической цезурой является таким же выражением основного стремления Феокрита сделать стих более легко обозримым и легко произносимым, как и его обращение со словом как таковым.

Коснувшись вопроса о буколической цезуре, нельзя не обратить внимания на структуру тех стоп, которые она выделяет в самостоятельную группу. В пятую и шестую стопы входят пять слогов: эти пять слогов могут быть заполнены словами разной длины (3+2, 2+3, 4+1, 1+4, 5 односложных слов, одно пятисложное) и будут звучать по-разному; а звучание именно этих двух последних стоп является, так сказать, заключительным аккордом каждого стиха. Феокрит использует все возможные комбинации (кроме пяти односложных слов) и достигает удачных звуковых эффектов в окончании стиха, мало чем отличаясь в этом отношении от Гомера, кроме только одной черты — значительно более редкого заполнения пятой и шестой стопы одним словом; очевидно, он делает это потому, что длинные слова он вообще использует неохотно, а в качестве заключительного момента стиха считает их слишком тяжелыми. Впрочем, следует обратить внимание на умелое использование им в пятой и шестой стопах греческих собственных имен, которые, даже и будучи длинными, вследствие своей привычности, не могли производить впечатления нарочитой тяжеловесности. Таковы, например, стихи:

μάτηρ ἁ χαρίεσσα περίφρονος Ἀλφεσιβοίας (III, 45); εἴληχας μέγα ἄστυ παρ' ὕδασι Λυσιμελείας (XVI, 84); καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν Αἰθιοπήων (XVII, 87).

Переходя теперь к знакомству с результатами исследования расположения спондеев по стопам, мы оказываемся в области достаточно строгих закономерностей. Как у Гомера, так и в эллинистическом эпосе и у Феокрита спондеи сосредоточены в первой и второй стопах: пределами колебаний для первой стопы у Гомера являются 26—37%, у Аполлония 21—33%, у Феокрита 24—44%, для второй стопы у Гомера 25—42%, у Аполлония 33—40%, у Феокрита 23—44%. У всех них наименьшим успехом пользуется третья стопа, именно та, в которой при наших тонических передачах метрического размера спондей читается наиболее легко. К четвертой стопе Гомер еще несколько тяготеет, у него встречаются еще довольно высокие цифры процентов в этой стопе, эллинистический эпос решительно снижает ее роль.

Характерной чертой эллинистического гексаметра принято считать спондей в пятой стопе, образующий так называемый στίχος σπονδειάζων. Этот спондей придает концу стиха очень своеобразное звучание, тяжелую замедленную концовку. В огромном большинстве случаев пятая и шестая стопы заполняются одним четырехсложным словом с тремя или даже четырьмя долгими слогами, например: ... πολιὸν λόχον ἀθρήσασα (XI, 24); ... Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο (XIII, 44); ... δειναὶ θεαὶ ἀγροιῶταις (XIII, 45); ... ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται (II, 35).

Чрезвычайно редко встречаются стихи, где пятая и шестая стопы раздроблены на отдельные слова, как, например, у Аполлония: ὣς δ'ἴδε δάκρυσιν ὅσσε πεφυρμένα, φώνησέν μεν (III, 673) или, наоборот, часть слова выходит за пределы пятой и шестой стоп, как у Феокрита в стихе: παρθένος ἑξαέτης κόλπῳ ἔπι / θυμή / σασα (XIV, 33). Мнение о всеобщей распространенности στίχος σπονδειάζων у поэтов эллинизма не вполне справедливо; оно основывается, по-видимому, главным образом на стихотворениях Каллимаха и отчасти только на поэме Аполлония, который, правда, лишь в некоторых частях поэмы охотно пользуется этим стихом. Что же касается Феокрита, то он пользуется этим стихом не чаще, а даже реже, чем Гомер; в некоторых стихотворениях спондеи в пятой стопе вообще не встречаются. Надо заметить еще, что среднее число спондеев в греческом стихе не очень велико, на 50 стихов оно колеблется от 55 до 70; число стихов без спондеев тоже довольно значительно.

Последним вопросом, на котором следует остановить особое внимание, является вопрос о совпадении ударений с сильной частью стопы. Та надежда, с которой начато было обследование этой стороны стиха, а именно — найти еще в недрах метрической поэзии постепенно развивающуюся тенденцию к переходу метрики

в тонику — эта надежда оказалась напрасной. С тем же изумительным и, можно сказать, утомительным постоянством повторяются цифры в самых разнохарактерных отрывках и в весьма отдаленные друг от друга эпохи; процент совпадений нигде не опускается ниже 35% и нигде не поднимается выше 57%, огромное же большинство цифр колеблется от 40 до 50%. Ни драматические отрывки, ни элегический дистих не выпадают из этих норм. И вместо ожидавшейся картины развития новых форм стихосложения внутри стархы перед нами раскрывается, наоборот, картина исключительно живучей и мощной традиции стихосложения, которая создает огромной величины произведения, — каковы поэмы Квинта Смирнского, Нонна или Григория Назианзина, — по тем же принципам, как и поэмы Гомера, хотя живой язык окружающей среды уже не дает акустической базы для этих форм стихосложения. Единственным прорывом, который заслуживал бы специального изучения, являются поэмы Григория Назианзина, написанные не гексаметром, а ямбом и касающиеся более простых и обиходных тем, чем его поэмы в гексаметре. В этих ямбических поэмах процент совпадения поднимается до 60.

Совпадение арсиса и ударения внутри стиха было рассмотрено еще с двух точек зрения, а именно: во-первых, — где этих совпадений больше, в первом или втором колоне, во-вторых, — где эти совпадения попадают больше на самостоятельные значимые слова и где они чаще попадают на слова служебные. Совершенно ясно, что служебное слово — ударная частица, союз или предлог — более просто поддается перестановке и дает более широкие возможности комбинаций, чем самостоятельные слова. И если в какой-то мере совпадение арсиса и ударения считалось желательным, то его легче было достичь оперированием со служебными словами, чем со значимыми.

Относительно распределения случаев совпадения ударения и арсиса в первом и во втором колонах стиха приходится отметить, что в греческом гексаметре цифры не дают ярко выраженной тенденции к значительному преобладанию второго колона над первым. Чаще всего отношение числа совпадений во втором колоне к числу совпадений в первом колеблется от 1,2 до 1,5. Но что касается совпадений в самостоятельных и служебных словах, то всегда можно заметить, что второй колон отделан тщательнее первого. В первом колоне в арсис очень часто ставятся ударные служебные слова (μέν, δέ, σύν, в особенности же союз καί), во втором же совпадение происходит преимущественно на словах с самостоятельным значением. Произведения более слабые, подражательного характера, например, Βουκολίσκος (неподлинная XX идиллия Феокрита) широко используют для совпадения арсиса и ударения именно служебные слова.

Статистическое исследование античного стихосложения позволяет нам констатировать существование определенных внут-

ренних законов построения стиха в отношении использования слов, расположения их в стихе, дробления этого стиха на отрезки с помощью различного рода цезур, способов укорочения и удлинения слов и стоп, и, наконец, соотношения ударений и сильных частей стоп. Эти неписаные законы создались в поэмах Гомера и в течение веков сохранялись неизменными. Трудно предположить, что они когда-либо были ясно сформулированы; они держались только на слуховом изучении образцов и являются доказательством веками создававшейся и хранившейся художественной техники построения стиха.

Эта изумительная, до тонкости разработанная слухом и слухом же воспринимающаяся техника раскрывается перед нами в результате кропотливых и утомительных, а, на первый взгляд, даже скучных статистических подсчетов. Но это изучение как будто бы чисто внешних моментов стиха вводит нас в ту лабораторию, в которой создавались произведения, очаровывающие нас своим благозвучием. Даже у самых поздних эпигонов встречаются необыкновенно красивые по звучанию стихи, и мы можем только изумляться этой мощи вековой техники.

Но в этой силе техники заключена и ее слабость; в тот момент, когда она становится только техникой, когда в нее уже не вливается свежее содержание, она становится пустой формой. И среди длинного ряда «гомеридов» и иных поэтов, писавших гексаметром, только один Феокрит попытался кое в чем реформировать древнюю технику, именно тем, что, вливая в нее новое содержание, он хотел обогатить ее и новыми приемами. Однако древняя техника оказалась сильнее его, и еще много веков после Феокрита стихи продолжали строиться строго по образцу Гомера.

Лишь некоторые приемы стихосложения Феокрита, как, например, буколическая цезура и пользование красисом, были восприняты его ближайшими подражателями. Однако столь велика была сила литературной традиции и преклонение перед ней, что эти новые, введенные им черточки были сейчас же, в свою очередь, восприняты как основы новой традиции, как новые нормы, нормы «буколические», несколько отклоняющиеся от эпических, но, по возможности, столь же нерушимые. Продолжатели Феокрита подражали не его замыслу — дать новое содержание в новом языке и новых приемах, — а самому этому новому содержанию и несколько измененным приемам, которые в их руках очень скоро стали более трафаретными нормами, чем нормы эпоса, так как новое содержание было мельче и незначительнее древнего эпоса и легче подвергалось схематизации. Этот процесс стабилизации литературных приемов Феокрита начался вскоре после него, уже во II в. до н. э. Но сам Феокрит, создавший эти приемы, остается своеобразным и самобытным явлением в вековой истории греческого стихосложения.

Таблица I

Распределение слов по числу слогов (в %)

Автор и отрывки	Общее число слов	1-сложн.	2-сложн.	3-сложн.	Много-сложн.
Гексаметр					
Гомер					
1. «Илиада» I, 1—50	399	26	33	23	18
2. «Илиада» V, 1—50	338	24	37	22	17
3. «Илиада» VI, 478	378	30	40	18	12
4. «Илиада» XI, 307—356	356	30	34	22	14
5. «Илиада» XVIII, 478—527	371	30	33	24	13
6. «Одиссея» I, 1—50	353	27	35	21	17
7. «Одиссея» VI, 149—198	382	33	37	19	11
8. «Одиссея» XI, 413—462	348	24	39	22	15
9. «Одиссея» XIX, 386—435	359	29	35	19	17
10. «Одиссея» IX, 116—165	338	25	38	19	18
Гесиод					
1. «Теогония» 1—50	328	26	34	21	19
2. «Теогония» 571—620	349	25	36	23	16
3. «Труды и дни» 274—325	376	35	30	24	11
Батрахомиомахия					
1. 1—50	341	27	36	19	18
2. 224—273	358	27	34	24	15
Гомеровские гимны					
1. «К Гермесу» 1—50	315	18	39	22	26
2. «К Афродите» 143—192	355	29	33	22	16
3. «Дионис и разбойники» 1—50	348	25	39	20	16
Аполлоний Родосский «Аргонавтика»					
1. I, 1—50	307	21	29	25	25
2. I, 727—770	336	25	31	24	20
3. III, 616—665	349	27	35	19	19
4. III, 55—104	340	30	32	18	20

Таблица I (*продолжение*)

Автор и отрывки	Общее число слов	1-сложн.	2-сложн.	3-сложн.	Многосложн.
Каллимах					
1. «Гимн Зевсу» 1—50	350	23	40	20	17
2. «Гимн Артемиде» 1—50	336	27	34	21	18
3. «Гимн Делосу» 11—50	364	29	30	22	19
Никандр					
«О животных ядах» 1—50	340	21	32	24	23
Квинт Смирнский					
«О событиях после Гомера»					
1. VI, 232—281	331	22	34	20	24
2. V, 268—318	377	27	37	16	20
3. VII, 443—492	332	21	36	20	23
Трифиодор					
«Падение Илиона» 562—611	316	22	31	24	23
Коллуф					
«Похищение Елены» 121—170	307	19	29	22	30
Нонн					
«Поэма о Дионисе»					
1. I, 46—95	301	19	29	26	25
2. IX, 55—104	295	16	27	25	32
3. XXVI, 21—70	296	16	33	27	24
Григорий Назианзин					
«О душе» 1—50	371	28	40	20	12
«Похвала девству» 1—50	316	21	38	22	18
Феокрит					
«Буколики»					
Iа, 15—64	373	31	36	20	12
Iб, 66—130	402	26	46	23	5
III, 1—54	374	39	27	22	12
IV, 1—50	388	36	33	22	9
V, 80—129	377	35	33	22	10
VI, 1—46	369	36	34	21	9
VIIа, 1—50	356	29	33	23	15
VIIб, 51—100	367	28	36	21	15
VIIв, 101—150	348	27	32	27	15
X, 1—50	387	33	35	19	13
XI, 1—81	374	26	40	24	10
«Мимы»					
II, 64—121	376	32	37	22	9
XIV, 1—50	356	24	44	21	11

Автор и отрывки	Общее число слов	1-сложн.	2-сложн.	3-сложн.	Много-сложн.
XV, 1—50	359	28	43	19	10
«Эпиллии»					
XIII, 25—74	330	23	34	23	20
XVIII, 9—58	348	26	37	20	17
XXII, 27—76	352	28	35	20	17
XXIV, 11—60	333	17	43	22	18
«Энкомии»					
XVI, 60—109	314	20	37	23	20
XVII, 1—50	319	21	36	20	23
Подражатели Феокрита					
«Буколики»					
VIII, 1—31, 64—83	374	28	40	23	9
«Мимы»					
XXI, 1—50	358	31	37	20	12
XVII, 1—50	388	26	43	25	6
«Эпиллии»					
XXV, 218—267	347	24	38	22	16
XXIII, 1—50	317	32	39	20	9
Бион					
«Плач об Адонисе», 1—52	364	28	34	26	12
Мосх					
«Европа», 101—150	370	27	35	21	17
Элегический дистих					
Феогнид					
1—50	339	24	43	22	11
731—780	317	21	40	24	15
Тиртей					
«Элегии»					
5, 12	334	25	38	24	13
Мимнерм					
«Элегии»					
1, 2, 7, 12, 14	319	21	43	21	16
Солон					
«К самому себе»					
1—50	328	24	40	25	11
Ямбический триметр					
Семонид Аморгский					
«Против женщин»					
1—65	365	27	37	26	10
Софокл					
«Филоктет»					
251—316	414	31	44	16	9

Таблица 1 (*продолжение*)

Автор и отрывки	Общее число слов	1-сложн.	2-сложн.	3-сложн.	Многосложн.
«Эдип-царь» 1000—1064	444	35	47	13	5
«Электра» 558—623	437	36	41	17	6
«Трахинянки» 179—243	415	32	45	16	7
Еврипид					
«Геракл безумный» 992—987	400	30	40	22	8
«Ифигения в Тавриде» 495—560	481	35	39	18	8
«Медея» 214—279	407	31	42	20	7
«Киклоп» 102—166	415	32	42	19	7
Аристофан					
«Лягушки» 1—65	451	40	36	14	10
«Облака» 126—190	383	31	36	19	14
«Всадники» 80—145	403	30	36	22	12
«Плутос» 1—65	417	36	33	19	12
Проза					
Лисий					
«Против Алкивиада»	385	36	29	19	16
«Об убийстве Эратосфена»	398	35	31	20	14
Исократ					
«Панегирик»	384	35	32	21	12
«Похвала Елены»	371	36	30	16	18
Фукидид					
I, 1—3	428	36	28	16	20
II	385	33	26	22	19
Ксенофонт					
«Анабасис» I, 1—8	369	33	26	19	22
«Гелленика» II, 1—5	406	37	28	17	18
«Меморабилии» I, 4, 1—6	388	33	33	18	16
Платон					
«Протагор» 1—2 гл.	443	40	34	15	11

Таблица I (*окончание*)

Автор и отрывки	Общее число слов	1-сложн.	2-сложн.	3-сложн.	Много-сложн.
«Законы»					
II, 1—5	369	36	34	17	13
Демосфен					
«Против Аристогитона»	355	37	25	18	20
«Против Формиона»	386	35	28	15	22

Таблица II

Элизия и долгота по положению

Автор	№ отрывка	Краткие односложн. слова		Долгие односложн. слова	
		всего	из них элидированные	всего	из них по положению
Гомер	6	49	12	48	16
	7	60	17	67	15
	8	43	10	41	10
	9	64	25	40	12
	10	34	9	43	23
Гесиод	1	53	23	32	6
	2	43	22	42	4
	3	77	26	54	12
Аполлоний	1	34	10	31	6
	2	50	16	35	13
	3	46	15	45	5
	4	60	22	47	9
Феокрит	Iа	57	8	60	12
	Iб	40	8	64	5
	III	71	6	75	10
	IV	50	6	90	11
	V	56	6	79	11
	VI	54	11	78	11
	VIIа	45	7	59	10
	X	43	9	81	16
	XI	49	14	50	10

Таблица III

Цезуры и спондеи

Автор и отрывки	Цезуры, %				Спондеи на стопе, %				
	Муж.	Жен.	Т + Н [1]	Бук.	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Гомер									
1	42	52	6	62	37	25	12	22	4
2	32	62	6	64	37	32	4	24	3
3	36	62	2	66	26	28	17	28	1
4	42	44	14	62	40	30	12,5	12,5	5
5	42	52	6	68	32	30	17	17	4
6	42	56	2	70	23	40	12	20	5
7	36	54	10	74	35	27	15	18	5
8	38	58	4	54	34	35	5	22	4
9	48	46	6	64	31	33	13	21	2
10	50	50	—	54	26	42	14	14	4
Аполлоний									
1	44	52	4	66	26	33	21	14	6
2	46	48	6	54	27	37	10	13	3
3	36	58	6	52	33	41	12	12	2
4	38	56	6	58	21	40	19	12	9
Никандр									
	32	62	6	50	28	39	4	25	4
Феокрит									
«Буколики»									
Ia	44	28	8	78	27	44	14	12	9
Iб	54	34	12	86	24	43	21	9	3
III	54	42	4	84	44	32	13	11	—
IV	41	57	2	82	40	38	13	9	—
V	54	46	—	88	40	40	14	4	2
VI	47,5	52,5	—	82	40	40	11	9	—
VII	44	50	6	80	33	40	16	7	4
X	54	42	6	66	30	35	20	15	—
XI	53	43	4	66	41	23	16	18	2
«Мимы»									
II	48	50	2	78	36	34	20	10	—
XIV	48	46	6	74	47	26	13	12	2
XV	50	46	4	50	25	26	17	30	2
«Эпиллии»									
XIII	28	62	10	56	35	33	11	17	4
XVIII	46	50	4	60	36	28	17	19	—
XXII	32	58	10	64	30	38	8	20	4
XXIV	28	58	14	58	31	42	16	12	9

[1] T + H = trithemimeres + heptamimeres.

Автор и отрывки	Цезуры, %				Спондеи на стопе, %				
	Муж.	Жен.	Т+Н	Бук.	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
«Энкомий»									
XVI	26	62	12	46	37	33	5	18	5
XVII	20	72	8	42	42	30	2	20	6
Подражатели									
«Буколики»									
VIII	64	30	6	68	26	22	18	11	—
IX	42	42	16	55	25	36	14	25	—
XX	40	56	4	84	28	33	25	14	—
«Мимы»									
XXI	46	48	6	68	32	40	18	10	—
XXVII	42	46	12	76	45	31	12	2	—
«Эпиллии»									
XXV	24	68	10	62	24	45	6	19	6
XXVI	50	50	—	40	35	31	16	16	2
XXIII	34	64	2	74	33	39	11	17	—
Бион	24	72	4	78	32	34	7	18	9
Мосх	46	52	2	74	30	42	20	6	6

Таблица IV

Соотношение икта и акцента (*в* %)
(Цифры даны в последовательности
разобранных отрывков)

Гомер. «Илиада» — 36, 43, 46, 44, 39; «Одиссея» — 47, 44, 37, 36, 42. Гесиод — 38, 48, 39. «Война мышей» — 44, 39. Гомеровские гимны — 42, 52, 45.

Аполлоний — 37, 35, 40. Каллимах — 40, 46, 45, 50. Никандр — 41.

Квинт — 37, 39, 5, 40. Трифиодор — 36. Нонн — 40, 39, 45. Коллуф — 45. Григорий — 43, 39.

Феогнид — 57, 42. Тиртей — 48. Мимнерм — 48. Солон — 53. Семонид — 44. Софокл — 50, 52, 47, 50. Еврипид — 55, 47, 44. Аристофан — 46, 5, 46.

Феокрит. «Буколики»: Iа — 45, Iб — 58, III — 52, IV — 52, V — 48, VI — 45, VII — 43, 49, 41 X — 46, XI — 45. Другие произведения: II — 46, XIV — 45, XV — 46, XIII — 41, XVIII — 41, XXII — 51, XXIV — 40, XVI — 36, XVII — 41. Подражатели: VIII — 48, IX — 53, XX — 47, XXI — 42, XXVII — 56, XXV — 41, XXVI — 35, XXIII — 57. Мосх — 42. Бион — 43.

Таблица V

Отношение II колона к I колону

(Цифры даны в последовательности разобранных отрывков)

Гомер: «Илиада» — 1,14, 1,40, 1,05, 0,98, 1,36; «Одиссея» — 1,20, 1,01, 0,90, 1,37, 1,20. Гесиод — 1,17, 1,75, 1,30. «Война мышей» — 1,80, 2,00. Гомеровские гимны — 1,20, 1,00, 1,06.

Аполлоний — 1,24, 1,25, 0,92, 1,08. Каллимах — 1,26, 1,26, 1,7. Никандр — 1,60.

Квинт — 1,36, 1.33, 1,54. Трифиодор — 1,20. Коллуф — 1,9. Нонн — 1,50, 1,90, 1,50. Григорий — 1,11, 1,23.

Феокрит: Буколики: I — 1,3, 1,0, XIV — 1,2, IV — 1,4, VIII — 1,2, VI — 1,3, VII — 1,6, 1,3, 1,3, X — 1,4, XI — 1,5. Другие произведения — II — 1,3, XIV — 1,0, XV — 1,0, XIII — 1,4, XVIII — 1,1, XXII — 1,3, XXIV — 1,7, XVI — 1,1, XVII — 1,1. Подражатели: VIII — 1,0, IX — 1,1, XX — 1,2, XXI — 1,4, XXVII — 1,2, XXV — 1,4, XXVI — 1,5, XXIII — 1,1. Мосх — 1,5. Бион — 1,1.

А. П. Смотрич

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ В МИМИЯМБАХ ГЕРОДА

Язык мимиямбов Герода как средство характеристики персонажей еще не стал предметом внимательного изучения. В исследованиях, посвященных Героду [1], преобладает метод описательный: ученые констатируют и классифицируют те или иные факты языка, но не показывают в какой связи они стоят с характеристикой персонажей.

По своему жанру произведения Герода тесно связаны как с живой действительностью, так и с традициями ямбографии. Этим обусловлено и противоречие в языке Герода: с одной стороны его сближение с живой разговорной речью, а с другой — использование традиционного диалекта ямбографии — ионического. Возможно, что причина этого лежит в двух источниках творчества Герода — фольклорном и литературном.

Такое противоречие характерно для эллинистической литературы вообще [2]. Обычно эллинистические поэты стремились примирить его тем, что для характеристики предметов возвышенных употребляли традиционные архаические формы языка, а для передачи обыденного содержания пользовались языком близким к разговорному. Это яснее всего видно на примере Каллимаха и поэтов его круга. Совершенно по-другому подходит к этому Герод. Отдельные архаические формы у него служат не средством характеристики предмета, а средством характеристики персонажей.

1

Характеристика персонажей в мимиямбах Герода дается различными языковыми средствами: лексическими, фонетическими и грамматическими (в области и морфологии и синтаксиса).

Важным лексическим средством является выбор диалектных форм, на которых мы прежде всего и остановимся.

---

[1] Ярким примером может служить новое исследование: Domenico del B o. La lingua di Eroda. Torino, 1962.

[2] И. М. Т р о н с к и й. История античной литературы. М.—Л., 1951, стр. 226—228.

Чтобы решить вопрос о диалекте мимиямбов Герода, надо напомнить, что за два столетия до Герода на Косе, месте действия большинства мимиямбов, жил Гиппократ, произведения которого написаны на ионийском диалекте. Правда, согласно традиции, это объясняется преклонением Гиппократа перед Демокритом, но не исключено также, что ионийский диалект был диалектом косской интеллигенции. Из косских надписей можно увидеть проникновение ионийского элемента в язык жителей этого острова. Оно особенно усиливается [3] к III в. до н. э.; но так как язык ряда надписей архаизован, можно предполагать и более раннее проникновение ионизмов в живой язык. Этим, по-видимому, можно объяснить смешение ионийских и дорических форм в мимиямбах Герода. Трудно предположить, что в этом смешении повинен переписчик: рукопись мимиямбов изобилует ошибками, характерными скорее для людей малограмотных, чем для эрудита-литератора, правящего тексты по своему усмотрению. В нашем распоряжении имеется только одна рукопись мимиямбов, а отрывки, известные до того, как был найден текст, слишком скудны для сравнения.

Смит (указ. соч., стр. 46) и Гоффман [4] утверждали, что язык мимиямбов не имеет никакого отношения к разговорному языку. Его основой, по их мнению, является подражение ионийскому диалекту Гиппонакта; все, что не соответствует этим нормам, подлежит исправлению как ошибка переписчика. Напротив, Мейстер [5], говоря о наличии α и αι в существительных I склонения, подчеркивает «полную надежность рукописной традиции», хотя в случаях замены ει на ι, проведенных крайне непоследовательно (иногда даже в пределах одного и того же слова) издатели вынуждены исправлять текст. Появление в отдельных случаях аттических форм может быть художественно оправдано: так, в II, 28 или VII, 28 можно говорить об аллитерации; аттическая форма νὴ Δία [6] (II, 81) вполне уместна в судебной речи, где использованы приемы афинских ораторов. Вместе с тем у Герода находим формы (типа χασκεύσῃ — IV, 42, τεμεῦσα — IV, 89; δραμεῦσα — V, 54), которые исследователи считают гиперионическими [7]. Однако подобные формы можно встретить и в косских надписях, и в идиллиях Феокрита, написанных на дорийском диалекте и близких по своим приемам к мимам [8]. В надписях, найденных на Косе, нередки

[3] H. W. Smyth. The sounds and inflections of the Greek dialects. Oxford, 1894, p. 101.

[4] O. Hoffmann. Die griechischen Dialekte, Bd. III. Der ionische Dialekt. Heidelberg, 1898, S. 195—197.

[5] R. Meister. Die Mimiamben des Herondas. Leipzig, 1893, S. 844.

[6] Вместо вполне возможного метрически ναὶ Δία.

[7] J. A. Nairn. The mimes of Herodas. Oxford, 1904, p. LXI.

[8] W. R. Paton, E. L. Hicks. The inscriptions of Cos. Oxford, 1891 (в дальнейшем IC) № 13, 27; № 5, 5 и др. Theocr. 3. 18; 5, 85; 4.53 (χασκεύμενος). О формах типа Ἀλίῃ см.: E. Barth. De dialekto Coorum. Basel, 1896, S. 86 ff.

формы ʽΑ и т. п. Это позволяет поставить вопрос: не вызваны ли отклонения ионийского диалекта мимиямбов от норм школьных грамматик стремлением автора воспроизвести живую речь его времени?

Полемизируя с Доменико Бо, К. Катауделла [9] отметил народный характер языка мимиямбов, на что тот не обратил должного внимания. Вслед за Пуччони [10] Катауделла говорит, что нельзя считать Герода представителем того же литературного направления, как Каллимах или Аполлоний Родосский, которые смешивали различные диалектные формы, чтобы показать свою ученость узкому кругу образованных читателей [11]. Вместе с тем, как правильно отмечает Катауделла, нельзя забывать, что язык мимиямбов — литературный язык. И то, что именно ионийский диалект был взят Геродом, представляется не случайным. Этим поэт подчеркивал свою связь с традициями ионийской ямбографии, а не с мимами Софрона, которые были написаны на дорийском диалекте и которым в ряде случаев подражал Феокрит (как это отмечали уже античные комментаторы «Сиракузянок»). Использование различных диалектов в произведениях было, по-видимому, одним из спорных вопросов в среде литераторов того времени. Об этом позволяет думать отрывок из плохо сохранившегося 13-го «Ямба» Каллимаха, целиком посвященного литературной борьбе. Там читаем: ... ἀείδω οὔτ' [Ἔφεσο]ν ἐλ[θών] οὔτ' [Ἴω]σι σιμμίξας, и это противопоставлено ἐμπ[έ]πλεκται ... Ἰαστὶ καὶ Δωριστὶ καὶ τὸ σύμμικτον. По-видимому, какой-то противник Каллимаха в своем произведении смешивал различные диалекты.

Диалект, на котором говорят персонажи мимиямбов, не был для Герода самоцелью. Непоследовательность в употреблении то -σσ-, то -ττ- характерна для языка папирусов. Таким образом, в диалекте мимиямбов Герода отражено стремление поэта к жизненной правде (μίμησις τοῦ βίου). Нельзя забывать, что Герод жил в эпоху, когда границы между различными диалектами были разрушены (ср.: Nairn. Указ. соч., стр. LX).

О стремлении приблизить речь персонажей к обыденному разговору свидетельствует и метрика Герода. Уже холиямбический размер говорит об этом: согласно Аристотелю («Поэтика», 4, 14, 9а), ямбический размер наиболее близок к разговорному языку. Для метрики Герода характерно наличие значительного числа случаев красиса и синидзесы. На то, что обилие синидзес характеризует разговорный язык, указывал Нерн (стр. LXI), Т. Синко [12] указывает, что и большое количество красисов характеризует разговорный язык. Правда, среди исследователей очень распро-

---

[9] «Gnomon», 36, Heft 1 (1964), S. 31.

[10] «Herodae mimiambi a cura di G. Puccioni». Pisa, 1946, p. XI.

[11] На возможность полемики Каллимаха с Геродом мы указали в работе «Eronda e il vecchio». — «Helikon», II (1962), 3—4, p. 605—614.

[12] T. Sinko. Literatura grecka, t. II, cz. I. Kráków, 1947, p. 247.

странен взгляд, что красис — явление не типичное для языка этой эпохи. Против этого возражал еще Крузиус [13], и знакомство с папирусами вполне подтверждает возражение Крузиуса. В папирусах мы встречаем формы: τἆλλα (Lond. I, p. 30, 2; Par. 29, 23; 42, 1 и т. д.; Grenf. I, 21, 8; Tor. VIII, 56) и τὰ ἄλλα (Par. 44, 2; 45, 1) καὐτός (Artem. 6) и καὶ αὐτός (Par. 45, 2; 46, 4) καὐτοί (Par. 42, 1; 43, 2; 44, 1; Lond. II, p. 9) и καὶ αὐτοί (Petr. II, 40, 9). Интересно, что в ряде стихов на папирусе красис не отмечен (например, Par. 2, col. 5). Это дало возможность Майзеру (указ. соч., стр. 160) предположить, что и в прозе написание не воспроизводит точной картины. Конечно, наиболее правдоподобно, что формы типа τὰ ἄλλα, καὶ αὐτοί в действительности во времена Герода произносились τἆλλα, καὐτοί, другими словами, что их не следует трактовать как синидзесу.

Встречаемся в мимиямбах и с гиатом, правда, не очень часто. Гиат у Герода выполняет различные функции. Наиболее правдоподобным представляется взгляд об употреблении гиата в мимиямбах в метрических целях (II, 43). В случае ὦ ἄναξ (IV, 18) можно бы усматривать влияние поэтической традиции, когда в слове ἄναξ чувствовалась предшествовавшая гласной дигамма. В других местах наличие гиата можно объяснить необходимостью подчеркнуть оба произносимые слова в контексте (I, 48: οὐδὲ εἷς; I, 73: μηδὲ ἕν; V, 10: τί ἐστί. Для языка папирусов гиат не характерен (Mayser. Указ. соч., стр. 160—162). Зато в папирусах мы встречаемся с элизией, характерной и для метрики мимиямбов.

Конечно, ряд особенностей может быть объяснен также и требованиями метрики, но вряд ли можно отрицать тенденцию к приближению речи персонажей к живому разговорному языку.

Диалектными и метрическими особенностями, связанными со стремлением приблизить речь персонажей к живому языку, язык мимиямбов не ограничивается. Средством характеристики персонажей как людей, современных поэту, являются также своеобразные формы и конструкции в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Конечно, говоря о своеобразии их, мы имеем в виду не то, что они вообще не встречались в литературе. Своеобразие их состоит именно в том, что эти формы и конструкции в большинстве случаев свойственны и литературному и разговорному языку, который мы можем частично реконструировать по данным папирологических и эпиграфических памятников. Это не дает основания говорить о намеренной архаизации языка Герода.

---

[13] W. Schmid. Der Attizismus in seinen Hauptvertretern von Dionysius von Halikarnaß bis auf den 2. Philostratus dargestellt, B. III. Stuttgart, 1893, S. 294; G. N. Hatzidakis. Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig, 1892, S. 312 ff. («Bibliothek indogermanischen Grammatiken, Bd. V); E. Mayser. Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, Bd. I. Berlin — Leipzig, 1923, S. 158, где есть (примечание 2) указание на мнение Крузиуса, сообщенное ему в письме.

Когда мы исследуем фонетические особенности речи персонажей мимиямбов, приходится считаться с возможными ошибками переписчика нашей рукописи. Так, например, принадлежность форм: ἐγκεῖσαι (V, 3); ἔμβυσον (II, 82); ἐμβλέπειν (II, 68), ἐγδοῦσα (VI, 92) (такая ассимиляция очень показательна для папирусов и косских надписей[14]) к особенностям фонетики[15] может быть оспорена на том основании, что мы встречаемся с ними и в таких литературных памятниках, сохраненных на папирусах, где для подобных особенностей нет достаточных данных[16]. Тоже можно сказать и о характерном для языка папирусов переходе ει>ι, засвидетельствованном также и в аттических надписях[17]. Переходы ᾶι>ᾶ; ηι>η должны быть признаны несомненно чуждыми Героду, так как в папирусах не засвидетельствованы ни разу, ηι>η принадлежит к очень редким в III в. до н. э. явлениям, которые развились после этого периода.

Наоборот, очень частое употребление в мимиямбах «ν» подвижного, не свойственного, как сообщает Августан[18] ионийскому диалекту, свидетельствует об отображении характерного для III в. до н. э. фонетического явления, которое уже в последующем столетии идет на убыль[19]. Правда, из 30 случаев подвижного «ν» больше половины можно объяснить metri causa[20], но не исключено также, что в отдельных случаях переписчик пропустил «ν»; ведь оно тогда уже, по-видимому, совершенно не чувствовалось в произношении.

Интересно наличие псилозы в тексте мимиямбов. Маловероятным кажется мне предположение, что ее наличие связано с ошибкой пишущего, который уже не чувствовал аспирации в живой речи[21]. Вероятно, во времена Герода аспирация уже не чувствовалась особенно четко, и вследствие этого появляются параллельные формы κἤτερον и χἤτερον; κἤ и χἠ и проч. Заслуживает внимания также форма ἀμιθρέω (вместо ἀριθμέω), которую находим в VI, 6. Характерно, что она встречается только в фрагментах ионийской

---

[14] Примеры в указ. соч. Майзера, стр. 226—235; 1С № 9, 4; 10а, 23.

[15] Наряду с ассимилированными формами выступают также и неассимилированные.

[16] В отрывке из Сапфо (Par. 2 col. 3, 4): προσιδοισαμ φάος; из «Федона» Платона (Petr. I, 8 (2), I): τούτωμ μενόσωμ μη.

[17] E. Schwyzer. Die Vulgärsprache der attischen Fluchtafeln, «Neue Jahrbücher für die klassische Altertumswissenschaft, Bd. V, 1900, S. 251.

[18] По изданию: «Gregorius Corinthius, ed. Schaefer». Lipsiae, 1811, S. 699.

[19] E. Mayser. Указ. соч., стр. 236—242; материалы из надписей привлекают: H. Maaßen. De littera Graecorum paragogica questiones epigraphicae. London, S. 237; E. Schweizer. Grammatik der pergamenischen Inschriften. Beiträge zur Laut — und Flexionslehre der gemeingriechischen Sprache. Berlin, 1898, S. 137; E. Nachmannson. Laute und Formen der magnetischen Inschriften. Upsala, 1903, S. 110, 112.

[20] Наиболее яркие примеры: II, 27; II, 54; III, 85; VII, 7.

[21] Так переписывающий 24 песню «Илиады» пишет ἀπο τ' Ἕκτορα (London, I, p. 105 ff.).

поэзии. Из эллинистических авторов встречаем ее у Каллимаха и Феокрита. У Каллимаха наличие этого слова можно связывать с эпической окраской всего произведения. Однако в «Гиласе» Феокрита, написанном на дорийском диалекте, появление подобного рода ионийской формы звучит очень странно. Не более ли уместно предположить, что ἀμιθρέω выступало и в языке времен Феокрита, в частности в диалекте жителей Коса?

В итоге, картина, которую мы наблюдаем, свидетельствует о том, что Герод дает только выразительные штрихи для более четкого подчеркивания того, что изображаемые им персонажи — живые люди его времени. Это же в полной мере относится и к именной системе языка мимиямбов. Здесь в ряде случаев наблюдаем смешанные контрагированные и неконтрагированные формы, главным образом в родительном падеже единственного и множественного числа. В родительном падеже существительных мужского рода I—II склонений в единственном числе преимущественно выступает -εω, причем в ряде случаев приходится думать, что -εω является только графической условностью, так как приходится читать -ε͡ω. Но вряд ли эту форму читатели воспринимали как архаизм. Несомненно архаической формой была бы форма на-οιο, но она у Герода не засвидетельствована. Формы на -εω,-ω находим в ионийских надписях IV—III вв. до н. э. Формы множественного числа, родительного падежа — εων, и -ῶν выступают параллельно: наряду с πυρέων (II, 80), ἀστροδιφέων (III, 54), Μουσέων (III, 71), Ἐρυθρέων (VI, 58),δαφιλέων (VII, 84), ἡμέων (I, 2) встречаем: IV, 26 и VII, 84: καλῶν ἔργων ποδίσκων (VII, 94), κἠτέρων. . . σαμβαλίσκων (VII, 125), ἡμῶν (VII, 38) и т. д. Следует отметить, что при чтении формы на-εων сливаются в -ε͡ων, и таким образом, являются только графической условностью, данью литературной традиции.

В дательном падеже множественного числа существительных I—II склонений встречаемся с окончаниями-αις,-αισι,-ῃς,-ῃσι (I скл.), -οῖς,-οῖσι (II скл.). Нерн (указ. соч., стр. LXV) полагал, что у Герода окончание -σι выступает перед словами, начинающимися с согласного, а σ- — в случае, если следующее слово начинается с гласного. Однако эта мысль не подтверждается текстом мимиямбов (III, 20; IV, 83; VI, 14). Во всех случаях, когда мы имеем дело с конечной гласной ι, наличие ее можно объяснить требованиями метрики, а не стремлением поэта архаизировать речь своих персонажей. Появление типично ионийской формы на-ῃς связано, несомненно, с диалектом мимиямбов.

Очень интересно наличие контрагированных форм типа — πλοῦς наряду с неконтрагированной — πλόος (ср. II, 48 и II, 54). Можно предположить, что употребляя контрагированные формы, Герод отображает разговорную речь своего времени, для которой подобные формы были характерными. Не случайно они встречаются в надписях Коса (IC 2, 5; 27).

В существительных III склонения наиболее заслуживают внимания основы на -ι с родительным падежом единственного числа на -ιος; возможно, окончание -ι было в дательном падеже единственного числа [22]. Этот тип III склонения характерен для ионийского диалекта и вместе с тем не чужд и греческому языку эллинистического периода. Правда, в родительном падеже единственного числа формы на -ιος и -εως чередуются в папирусных памятниках [23], равно как и в косских надписях (IC 3, 4, ср. 16, 8). Во всех остальных случаях нельзя увидеть какой бы то ни было сознательной архаизации склонения [24], нет ее и в степенях сравнения.

Что касается местоимений, то нужно в первую очередь отметить широкое использование форм νιν и μιν. Последняя форма воспринималась в I в. н. э. как архаизм. Эта редкая форма, равно как и другая σφιν, была предметом исследований грамматиков, и не случайно Филипп Фессаконикский, порицая их, говорит:

Любо ловить вам союзы, гоняться за «сим» и за «оным»,
Спорить, держал ли собак в гроте своем Полифем. . .

(AP, XI, 321. Перевод Л. Блуменау)

Как обстояло дело во время Герода с этими формами, судить трудно. В остальных случаях Герод очень точно следует ионийскому диалекту. Об этом свидетельствуют такие местоименные формы как μεῦ (I, 58), σεῦ (I, 38) и т. д., τεῦ (II, 98), τέο (VIII, 1) и т. д. На этом фоне форма σοῦ (I, 85) даже кажется внесенной переписчиком мимиямбов, для которого геродовские формы уже не были формами современного ему языка.

Среди числительных, в общем не представляющих каких-либо архаистических тенденций, особенно выделяется слово δοιά (I, 64), характерное для гомеровского эпоса, и мы на нем более подробно остановимся, когда будем говорить о лексике.

В области глагола хочется отметить, что те случаи, которые могли бы характеризовать как типично ионийские (контракция ε+ο=ευ, переход глаголов группы -μι в группу ω и т. д.)

---

[22] Вследствие частого смешивания в рукописи ει и ι трудно судить, надо ли в IV, 24 читать βάσι или βάσει; в V, 5 πρόφασῖς (Acc. Pl.) или προφάσεις.

[23] Так Ἄπιος (Tebt. 5, 77) и Ἄπεως (Par. 5 col. 7, 11; col. 13, 6); Βουσίριος (Zen. pap. 59151, 1; Hib. 53, 21; 67, 20; 72, 1) и Βουσείρεως (Hib. 116, 2); σεμιδάλιος (Zen. pap. 59 004, 22. 24. 27. 31. 39. 47. 49) и σεμιδάλεως (PSI VI, 580, 3).

[24] Форма ῥαφῆες, несомненно, звучит архаически для Герода. Поскольку в тексте она не сохранена (VII, 37), а является лишь дополнением Бюхелера, мы на нее не обращали внимания, тем более, что предложенное Крузиусом дополнение этого места (οἱ βυρσοδέψαι) более соответствует контексту.

имеют место также в косских надписях [25] или папирусах [26]. С влиянием разговорной речи, возможно, следует связывать и спряжение типа εἶπα (III, 26), εἶπας (V, 27) или οἶσθας (II, 55) [27]. Часто Герод опускает приращение, но и это явление было, повидимому, свойственным разговорному языку [28].

В синтаксисе речи представителей эллинистического общества в мимиямбах тоже имеются свои особенности. Т. Синко [29] характеризует их как эллинистические наслоения в противовес «идеальному» следованию ионическим формам (в области морфологии). Остановимся в первую очередь на употреблении перфекта в мимиямбах, прежде чем перейти к собственно синтаксическим явлениям.

Известно, что в процессе исторического развития греческого языка перфект, означавший результат действия, которое продолжается в настоящее время, получает новое значение — вернее, оттенок — совершившегося действия в прошлом, что сближает его с аористом. Это второе значение вытесняет первое, и в папирусах постоянно смешиваются эти два оттенка греческого перфекта [30]. С. Витковский [31] полагает, что этот процесс можно наблюдать в начале «Лахеса» Платона, где προσεσχήκατε = προσέσχετε.

Подобное явление наблюдаем и в мимиямбах.

I, 33: κεκαύχηται (в настоящем времени).

IV, 2: ὅς... Κῶν ᾤκηκας (который... живешь на Косе).

Наряду с этим:

II, 16 ἐξ Ἄκης ἐλη[λουθ]α [πυρ]οὺς ἄγων κἤστησα τὴν κακὴν λιμόν (*прибыл* из Аки, везя хлеб и *прекратил* ужасный голод) или: IV, 76: ὅς... μὴ παμφαλήσας ἐκ δίκης ὀρώρηκεν (который... *посмотрел*, не *похвалив* по справедливости).

---

[25] IC 36а, 19 — νευμηνίαις; 5.5 — νοσεύντων; 12 — προαιρεύμενος, 14 — ποιεύμενος.

[26] Это явление описано Майзером (указ. соч., стр. 122), который собрал большой фактический материал. Интересна (немного устаревшая) работа: K. Dieterich. Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert n. Chr., Lepzig, 1898, S. 216 ff.; F. Blas-Debruner. Grammatik der neutestamentlichen Griechiych, 6. Aufl., § 93 ff.

[27] Ср. Papiri della Società Italiana, IV, 391, 23; VI, 659, 2.6.10; IV, 434, 8; VI, 639, 2; Zen. pap., 59300, 8. Эти формы встречаются уже в «Эдипе в Колонне» Софокла (322; 896; 1099); οἶσθας (Zen. pap. 59207, 33) наряду с οἶδας (Petr. II 4 (7), 2; Tebt. III, 760, 1).

[28] διαλάμβανον (Tebt. 24, 30); καταπλεύσεν (Petr. III, 20, 2, 8); ἀγόρασεν (Zen. pap. 59499, 51); ἀξίωσεν (Pap. Lille 7, 10); ε'ικάζων (Papiri della Societa Italiana, V, 522, 2); ἀπόλεσεν (Pap. Ox. IV, 743, 22).

[29] Т. Sinko. Указ. соч., стр. 247.

[30] E. Mayser. Указ. соч., т. 2, ч. 1, стр. 139, где приведены примеры из папирусов. Ср. E. Rodenbusch. Beiträge zur Geschichte griechischen Aktionsarten, «Indogermanische Forschungen», 21 (1907), S. 123; R. Kunst. Die Aktionsarten in ihren wechselseitigen Beziehungen, «Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien», 60, 1909, S. 687 ff.

[31] S. Witkowski. Historyczna skladnia grecka. Lwow, 1936, s. 180.

Особенностью синтаксиса мимиямбов является также употребление артикля вместе с указательными местоимениями, что характерно для языка этого времени, отраженного в папирусах [32]. Предикативное употребление прилагательных (типа IV, 95: ἄμ' ἀρτίηςτῆς μοίρης) тоже встречается в папирусах (E. Mayser. Указ. соч., т. 2, ч. 2, стр. 172—175). Очень интересно явление аттракции относительных местоимений (E. Mayser. Указ. соч., т. 2, ч. 3, стр. 101 и сл.), сущность которого состоит в ассимиляции винительного падежа единственного или множественного числа с родительным падежом указательного местоимения τούτου (или τούτων) в форме οὗ или ὧν. Этот вид ассимиляции, по-видимому, наиболее древний [33] и особое распространение он получил в эпоху развития κοινή.

Хорошо известно, что для греческого языка классического периода характерно согласование сказуемого, выраженного глаголом в 3-м лице *единственного числа*, с подлежащим, выраженным существительным среднего рода, стоящим во *множественном числе*.

Однако в VIII, 11 читаем: οὐ τὰ ἔρια σε τρύχουσιν, где сказуемое согласовано с подлежащим во множественном числе. Такого типа согласование можно найти и в папирусных памятниках, причем оно иногда чередуется с более ранним типом. Наиболее типичен пример последнего: SB 6982, 2: ἔγραφας περὶ τῶν ὑποζυγίων ἵνα παραγένηται καὶ ἐργάσηται ἡμέρας ι, ἣ δέ ἐστιν αὐτοῖς ιη ἡμέραι, ἀφ' οὗ εργάζονται.

Очень интересно, что артикль употребляется в функции указательного местоимения для соединения придаточных определительных с главным. Например, II, 64: τῆς τελέω τρίτην μισθόν; IV, 17: τὰς ἀπέχησας ἐπ' ἠπίας σὺ χεῖρας. Это явление характерно для синтаксиса поэм Гомера и можно бы полагать, что здесь мы имеем дело с очень своеобразным синтаксическим архаизмом. Однако вряд ли случайно то обстоятельство, что в сельских идиллиях Феокрита эта конструкция используется для обрисовки грубого и некультурного парня из простонародья [34]. В других идиллиях мы встречаем ее чрезвычайно редко. Мы знаем, что Феокрит стремился в какой-то степени отразить своеобразие

---

[32] I, 12: τὴν θύρην ταύτην; I, 78: τοῦτων τῶν λόγων. Cr. Petr. III, 21 (g), 12: κατὰ τὸ ἔγκλημα τόδε; Zen. pap., 59001, 19: ἡ συγγραφὴ ἤδη; SB 5942, 12: τὰς τοιαύτας χρείας παρέχεσθαι; SB 7188, 26, 29: ἐν τῇ δὲ τῇ συγγραφῇ: P. Lill. 3, 78: τούτους τοὺς τόπους; Tebt. 48, 27: διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν; UPZ I, 9: τὴν ἱκετηρίην ταύτην; UPZ I, 12: τὰ γράμματα ταῦτα.

[33] E. Herman. Die Nebensätze in den griechischen Dialektinschriften im Vergleich mit den Nebensätzen in der griechischen Literatur. Leipzig, 1912, S. 237; Ср. IV, 43: ὧν λέγω вм. τούτων, ἃ λέγω и Petr. II, 32: ὥστ' εἶναι τὸ πᾶν, ὧν ἐξενή [νοχε] (Sc. δράχμας) или BGU 1002, 4. 8: ὧν ἔχω ἐν ἀμφισβητ[ήσει].

[34] III идиллия (4 примера), X идиллия (2 примера).

речи своих персонажей, сицилийских пастухов[35]. Может быть, подобные способы подчинительной связи сохранились и в языке жителей Коса.

Для синтаксиса мимиямбов характерны еще два явления, присущие разговорной речи: превалирование паратаксиса над гипотаксисом [36] и частые пропуски сказуемого в тех случаях, когда по ходу действия нужно подчеркнуть быстрый темп событий. Это наблюдается и в комедии [37], и, по всей вероятности, точно отражает факты разговорного языка [38—39].

Таким образом, в области фонетики, морфологии и синтаксиса Герод вводит элементы, сближающие язык персонажей с языком живых людей его времени, но не превращающие его в копию разговорной речи. Поэт выбирает в большинстве случаев те формы, которые, будучи свойственны ионийскому диалекту, не были чужды и речи его времени. Конечно, в ряде случаев наши предположения в связи с возможностью ошибок в тексте могут быть оспорены. Но это касается в первую очередь фонетики и морфологии, где переписывавший мог заменить непонятную геродовскую форму более близкой его эпохе формой. Напротив, когда мы имеем дело с синтаксисом мимиямбов, трудно предположить, что переписчик мог менять по своему произволу структуру геродовских предложений. Поэтому следует признать, что поэт использовал по возможности различные грамматические средства языка для характеристики персонажей.

2

Выше мы показали, что все действующие лица мимиямбов говорят на одном и том же смешанном диалекте греческого языка и что Герод использует целый ряд фонетических и грамматических средств. В речи всех персонажей встречаются поговорки и выражения, близкие по своей структуре к поговоркам. Можно ли говорить в таком случае об индивидуализации персонажей с помощью языковых средств?

[35] Из Светония («Виргилий», 43) мы знаем, что некий Нумиторий, пародируя «Буколики», осмеивал простонародную форму cuium pecus (вместо cuius pecus), бывшую в тексте Вергилия. Появления подобного рода форм, вероятно, следовало бы связывать с традицией, согласно которой в произведениях этого жанра были вполне допустимы простонародные выражения.

[36] Ср. F. Prister. Die parataktische Darstellungsform in der volkstümlichen Erzählung. — «Wochenschrift für die klassische Philologie», 28 (1911), S. 809—813.

[37] W. Dittmar. Sprachliche Untersuchungen. zu Aristophanes und Menander. Leipzig, 1933, S. 54—93.

[38—39] Д. П. Шестаков. Опыт изучения народной речи в комедиях Аристофана. Казань, 1913. Ср. критику этой работы у А. Сонни. Аристофан и аттический разговорный язык. — ЖМНП, 1916, 61; стр. 6—32 сл. и ответ автора на критику в работе «К вопросу о народной речи в комедиях Аристофана». Казань, 1917.

Лексика мимиямбов изучена до настоящего времени недостаточно. Кроме указателя слов, встречающихся только в мимиямбах, который имеется в работе Мейстера (указ. соч., стр. 868), нет работ, посвященных этому специальному вопросу. Да и Мейстер не учитывал папирусных находок, в которых встречаются геродовские слова. Т. Синко (указ. соч., стр. 257) полагает, что Герод использует глоссы, чуждые разговорной речи. Хотя мы, действительно, ряд слов из мимиямбов находим в лексиконе Гесихия, трудно установить, были ли эти слова просторечные и диалектные, или это слова устаревшие. Необходимо отметить, что в эпоху Герода был ряд слов, которые, не входя в разговорную речь, в то же время широко употреблялись в литературе. Эти слова, обычно называемые «поэтическими», требуют нового подхода в связи с тем, что не всякое слово, употреблявшееся в поэзии, было чуждым живой речи. Так, в литературном немецком поэтическом языке употребляется слово Roß, а в обыденной речи — Pferd с тем же значением. Однако в диалектах немецкого языка (в частности, в южнонемецких) в обыденной речи употребляется не Pferd, а Roß [40]. Поэтому надо быть особенно осторожным, говоря о словах, которые якобы не употреблялись в разговорной речи. Кеннеди [41] показал, что в лексике «Нового завета», который отражает язык периода κοινή, сохраняется около 17% слов, которые встречаются в трагедиях.

В своей основе лексика мимиямбов Герода — народная, т. е. отображает лексический состав обыденной речи. Об этом свидетельствует в первую очередь широкое употребление уменьшительных суффиксов, характерное для речи всех персонажей. Если сопоставить лексику мимиямбов не только с эпиграфическими или папирусными, но и с литературными памятниками, можно увидеть, что слов, употребляемых только в поэтическом языке, не так уж много[42], да и они могли употребляться также и в живой речи. Стоит остановиться на слове ἀφέρπειν (VI, 98): оно считалось свойственным поэтической речи (ср. Soph. Trach. 813; Oid. Col. 490; Ajax 1161); однако оно выступает (без префикса) в «Сиракузянках» Феокрита, написанных в форме мима со стремлением отобразить носительниц дорийского диалекта (ст. 26; 42; 48), и, по-видимому, оно употреблялось в разговорной речи жителей Коса. Отметим, что мы встречаемся у Герода с интересным явле-

---

[40] Пример заимствован у Тумба (A. Thumb. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Straßburg, 1901, S. 220).

[41] Его работа «Sources of New Testament Greek» была мне недоступна. Его выводы известны по указанной выше работе Тумба, стр. 222 сл.

[42] Лексика Герода проверялась по следующим словарям: «Thesaurus Graecae linguae ab H. Stefanus constructus». Paris, 1832—1842, vol. I—VIII; Δ. Δημητρακοῦ Μέγα Λέξικον τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, Ἀθῆναι, τ. τ. I—V, 1933—1939; «A Greek-English Lexicon by Liddel-Scott». Oxford, 1953; Thayer. Greek-English Lexicon to the New Testament. N. Y., 1899; F. Preisigke. Wörterbuch der griechschen Papyruskunden, vol. I—III. Berlin, 1925—1931.

нием — с изменением значения слова в сравнении с классическим периодом. Так, глагол ἐκπορθέω в языке классического периода имел значение «разорять» [43], а в эллинистическую эпоху, как показывают папирусы, он получает новое значение «красть», семантически близкое первому: именно оно отображено в мимиямбах (III, 5; ср. VI, 101).

Действующие лица в первом мимиямбе — Метриха и сводница Гиллида — очерчены как две разные индивидуальности.

В речи Гиллиды проявляется архаизирующий элемент, например, в типичных поэтических оборотах, свойственных поэзии, типа: γῆρας καθέλκει [44], σκιὴ παρέστηκεν [45], ἔρωτι καρδίην ἀνοιστρήθεις [46], в словечках типа δοιά, δραίνω. Стремясь расхвалить живущих в Египте женщин, она сравнивает их с богинями, которых судил Парис, но тут же суеверно восклицает: λάθοιμ' αὐτὰς [εἴπουσα]. Обращаясь к Метрихе, она неоднократно употребляет слово τέκνον, но в различные моменты речи в него вкладываются различные оттенки. В ст. 13 это ласкательное обращение, вполне уместное после восклицаний Метрихи, радостно встречающей Гиллиду. В ст. 21 ὦ τέκνον должно подчеркнуть то глубокое сочувствие, которое якобы проявляет к Метрихе Гиллида, и что с особой силой чувствуется в ее восклицании τάλαινα (ст. 36). Обращение ὦ τέκνον в ст. 61 несет уже другую стилистическую нагрузку, чем в ст. 21. К нему присоединено μοι Μητρίχη, и оно должно подчеркнуть любовь Гиллиды к Метрихе, якобы руководящую всеми поступками сводницы. После решительной отповеди Метрихи в речи Гиллиды снова появляется обращение τέκνον (ст. 85; 87) с тем же оттенком, что и в начале произведения. Показательно наличие в ее речи не только поэтических оборотов, но и профессиональных (ст. 25: πέπωκεν ἐκ καινῆς; ст. 55: ἄθικτος [ἐς] Κυθηρίην, σφρηγίς; ст. 61: μίαν ταύτην ἁμαρτίην δός· τῇ θεῷ κατάρτησον σαυτήν).

Индивидуальность Метрихи проявляется в гораздо меньшей степени, чем сводницы Гиллиды. Это, может быть, следует объяснять тем, что текст произносимый ею, почти втрое короче. Тем не менее, нельзя не заметить, что отношение ее к Гиллиде на протяжении мимиямба заметно меняется. Если в ст. 8—10 краткие предложения передают радость ее из-за встречи с Гиллидой и она в ст. 18—19 разрешает себе даже шутку в адрес сводницы (χἠτέρους ἄγχειν), то начало ее отповеди (ст. 67: τὰ λευκὰ τῶν τριχῶν ἀπαμβλύνει τὸν νοῦν) уже дает основания думать о другом отношении к Гиллиде. И вместе с тем синтаксическое строение ее речи передает сдержанность, с которой она относится к своднице.

[43] Ср. Soph. Trach. 1104; Eur. Troad. 142.

[44] Глагол καθέλκω употребляется в отношении к судам. В этой связи ср. Eur. Alc. 260: ὁρῶ σκάφος ἐν λίμνᾳ (о приближающейся смерти).

[45] Ср. Hom., Il., XVI, 853; Lucr. III, 959; Mors. . . adstitit.

[46] Ср. Eur., Bacch. 979.

Иронически звучат слова Метрихи (ст. 76; 84), в которых она один раз повторяет слова сводницы, другой раз отвечает ей, как будто бы продолжая ее речь. Показательно, что в языке Метрихи отсутствуют слова и выражения, в принадлежности которых языку эллинистического периода возникали бы сомнения.

Языковая характеристика сводника Баттара во втором мимиямбе представляет собою яркий образец того, как Герод умеет ярко и точно с помощью иногда еле заметных штрихов создать тип человека. В его речи мы встречаемся с весьма двусмысленными остротами (ст. 14, 45), звучащими в данной ситуации вполне естественно, но вместе с тем характеризующими его уровень.

Бросается в глаза, что в лексике Баттара встречается много слов [47] и выражений, заимствованных из судебной терминологии (προστάτην νέμειν — ср. Isocr., p. 170 в; Plut. Mar. 5; ψῆφον φέρειν — Dem. p. 271, 28; Plut. Mor. p. 298 B; и др. Заслуживает внимания и то, что ряд выражений, свойственных трагедии, получает в речи Баттара совершенно своеобразное освещение. Когда он жалуется, что старость помешала ему расправиться с Фалетом, а то тот бы τὸ αἷμ' ἐξεφύσεν, это нам напоминает стих из Aesch., Agamemn., 1388 или Soph., Ajax, 918; Обращение Баттара εἴ σευ θάλπεταί τι τῶν ἔνδον (ст. 81) можно сопоставить с Aesch. Prom. Vinc., 615, причем особенно ярко видно, как возвышенный оттенок θάλπομαι получает совсем другую, непристойную окраску у Герода. Не чуждо речи Баттара и употребление (правда, редкое) слов, имеющих оттенок торжественности. Так форма τ]εθώρ[η]γμαι (ст. 15) уже носит несколько архаизирующий оттенок; это слово употребляется главным образом в эпосе (ср. Hom., Od., XXIII, 369; Il., VIII, 530 и др.). Возвышенный характер придает стилю ст. 77—78 выражение ἔκητ' ἀλκῆς, где значение ἀλκή гораздо ближе к Гомеру и трагикам, чем к прозаическим авторам, живущим в более позднее время, у которых ἀλκή потеряло свое абстрактное значение «сила» и получило значение конкретное «военная сила» («армия»). Частица ἔκητι тоже употреблялась преимущественно у трагиков (Aesch., Choeph., 994; Pers., 940; Eur., Cycl., 647; Iph. Aul., 865; Hel., 182). В целом же лексика речи Баттара характерна для обыденной жизни эллинистического периода.

Очень интересен язык персонажей третьего мимиямба — «Учитель», в котором на первый план выдвинута Метротима, женщина из простого народа; Ламприск, учитель, является здесь второстепенным персонажем [48].

---

[47] Например, ἐπισπάω (ст. 47). Ср. Tebt. 5, 218 (II): Magd., 24, 6; Magd. 27, 4; Близкие по значению слова τίνω и τελέω характерны также для папирусных текстов, связанных в той или иной степени с юриспруденцией.

[48] «Herodae mimiambi a cura di Giulio Puccioni» (Bibliotheka di studi superiori, vol. X, Filol. Graeca), p. 46.

В большом монологе Метротимы в сравнении с другими действующими лицами мимиямбов большое место занимает бытовая лексика, связанная с предметами домашнего обихода. Некоторые слова встречаются только здесь, но их наличие в разговорном языке доказывают однокоренные образования (παίστρη только в стихе 11, но имеется слово παιστρία). Наряду с этим в морфологии языка Метротимы показательно наличие отдельных форм, восходящих к поэтическому языку эпоса и чуждых живому языку времени Герода. Мы имеем в виду формы типа ἀνώγωμεν (ст. 31); ἴδωμι (ст. 43). Форма βῶσῃ (ср. IV, 41 — βῶσον) тоже скорее всего восходит к временам Гомера и, хотя она употребляется у Геродота и Гиппонакта, она была свойственна, по-видимому, поэтическому языку времен Герода. Характерен и тмесис (ст. 5), свойственный поэзии. Речь Метротимы в высшей степени образна. Характерно наличие большого числа сравнений, эпитетов. ἡψυχή... ἡκακή (о сыне); ἡθύρη... ἡ πικρή (о доме учителя, куда приходится носить плату за сына); ἡ τάλαινα δέλτος... ὀρφανή (об отношении Коттала к учению); λιπαρω τεραὶ πολλὸν... τῆς ληκύθου ἡμέων (об игрушках Коттала); ὄκως ἐκ τετρημένης (sc. κύλικος) ἡθεῖ (о чтении Коттала); ὄκως καλλίης (о Коттале); ὥσπερ ἴτρια (о черепице, хрустящей под ногами Коттала). Образность речи Метротимы хорошо оттеняет отдельные глагольные формы из поэтического арсенала.

Возможно, это дало основание утверждать, что монолог Метротимы подражает греческой трагедии (G. Puccioni. Указ. соч.; стр. 46), и как образец называть «Хоэфоры» Эсхила. Однако для такого вывода язык Метротимы оснований не дает, хотя при ее крайней бедности, конечно, жалобы на сына звучат с понятным оттенком трагизма. Другое дело, что язык Метротимы поэтичнее, чем язык Баттара или Метрихи. В этом, может быть, проявляется стремление Герода в какой-то мере опоэтизировать бедную простую женщину из народа, которая все свои силы отдает сыну, но не получает того результата, которого бы хотела.

Учитель Ламприск обрисован с точки зрения языка очень скупо. Единственное, и, пожалуй, наиболее показательное, начало его ответа Метротиме ⟨μὴ⟩ ἐπεύχεο. Форма повелительного наклонения ἐπεύχεο совершенно чужда языку III в. до н. э. Это, несомненно, гомеровская форма; она, очень уместная в устах человека, занимающегося чтением Гомера со школьниками, звучит величественно и показывает сразу же лицо Ламприска — ученого грамматиста, важно восседающего среди учеников и, конечно, чувствующего себя на целую голову выше Метротимы. В обращении к Котталу звучит саркастическая интонация (ст. 62: αἰνέω τἄργα... ἅ πρήσσεις). Ламприск представляет собой характерный для школы тип magistri plagosi, и поэтому Герод больше показывает его в деле (порка Коттала), чем в теоретических рассуждениях.

В четвертом мимиямбе изображены две косские женщины, Коккала и Кинна, принесшие в жертву Асклепию петуха за исцеление одного из членов их семьи. Бросается в глаза резкое противопоставление двух стилей в их речи: возвышенный — когда они говорят о делах, касающихся жертвоприношения (этим стилем написаны также и реплики неокора), и обыденный — когда они оживленно болтают, бранят рабыню и т. д. Для первого характерно наличие поэтических архаизмов (лексических и морфологических). Это очень четко видно в молитве Кинно (начало мимиямба). Гомеровские слова μέδω (ст. 1), πέρθω (ст. 7), форма γλυκῆαν (вм. γλυκεῖαν) создают впечатление сознательной архаизации языка. Однако это в данном случае вполне уместно, так как ст. 1—18 представляют собой обращение к божеству, и архаизация служит средством выражения религиозного чувства. Характерно, что еще сильнее эти тенденции выражены в истолковании неокором результатов жертвоприношения Асклепию (ст. 80—85). Выражение: τὰ ἱρὰ ἐς λῷον ἐμβλέποντα характерно для языка оракулов, как отмечает Нерн (указ. соч., стр. 56). Свойственна поэтическому языку также и частица ἦπερ. В ст. 84 ἔασ' ὀπυιητίτε καὶ γενῆς ἄσσον последнее выражение является поэтическим синонимом ἀγχιστεῖς и употреблено Геродом для архаизации речи неокора, равным образом как и форма ἔασι. Устаревшая форма повелительного наклонения на- εο (ст. 89) в устах Коккалы тоже связана с обращением к неокору. Во всех остальных случаях Кинно и Коккала используют слова, употреблявшиеся в III в. до н. э. Синтаксис обращения Кинно (ст. 25—40) изобилует конструкциями, воспроизводящими живую речь: опущение сказуемого, обороты типа ἐρεῖς λαλήσει, но наряду с этим в ст. 22— тмесис, который тогда вряд ли уже был в разговорном языке. Так, в речи Кинно уживается бытовое с возвышенным. Это находит выражение не только в тмесисе, свойственном поэзии, но и в отдельных словах и выражениях, получающих особый оттенок в контексте. Так, в ст. 77 читаем: μὴ παμφαλήσας ἐκ δίκης ὀρώρηκεν. Схолиаст к II, 127 «Аргонавтики» Аполлония Родосского указывает, что ἐπιπαμφαλόωντες = ἐπιβλέποντες μετ' ἐνθουσιασμοῦ, и это слово встречается у Анакреонта и Симонида. Учитывая содержание ст. 78, можно думать, что слово παμφαλήσας использовано здесь сознательно. Также и в словах Кинно (ст. 39—51) нарочито подчеркнутый бытовой элемент, находящий выражение в лексике, сильнее оттеняется тмесисом (ст. 49) и формулой, заимствованной из гомеровского эпоса: ἔσσετ' ἡμέρη κείνη ἐν ᾗ τὸ βρέγμα τοῦτο τὤσυρὲς κνήσῃ (ст. 50—51) — «Настанет этот день, когда ты почешешь свое мерзкое темя»). При этом создается впечатление, что тмесисы и поэтические слова в обыденной речи как-то уже сами по себе подчеркивают более высокий уровень Кинно в сравнении с Котталой. Та, по-видимому, более суеверна (ст. 57—58) и набожна, чем ее подруга.

В пятом мимиямбе больше действующих лиц, но не все они с точки зрения языка очерчены достаточно ярко. Из 85 стихов произведения — 60 принадлежат ревнивице Битинне, являющейся главным действующим лицом этого мимиямба, остальные 25 стихов делят между собой ее рабы — Кидилла и Гастрон (14 и 11). Не удивительно поэтому, что наибольший материал мы имеем для характеристики языка Битинны. Здесь мы не встречаем ни одного слова, которое могло бы быть с правом отнесено к архаическим, напротив, все слова употребляемые в этом мимиямбе, принадлежат к бытовой лексике. В речи Битинны характерны выражения, показывающие ее как тупую и ограниченную женщину, для которой главное в жизни — σκέλεα κινεῖν. Такие слова как ὑπερκορής (ст. 1), ἁλινδεῖ (ст. 30), ποδόψηστρον (ст. 30), παντοέρκτης (ст. 42), κατηρήτος (ст. 44), ἡ ἀνώνυμος κέρκος (ст. 45), ἑπτάδουλος (ст. 75) достаточно показательны в этом отношении. В речи Битинны часто употребляются формы повелительного наклонения (16 раз), что подчеркивает ее властный характер. В речи Гастрона использован народно-песенный оборот[49] μὴ τόμευ αἷμα νύκτα κἠμέρην πῖνε. Речь рабыни Кидиллы характерна тем, что совершенно по-другому она обращается к рабу Пиррию (ст. 55—62), чем к своей хозяйке Битинне (ст. 69—73). Нежное обращение τατί в сочетании с παραιτεῦμαι и неоконченное упоминание о приближении праздника (ст. 80) резко противопоставлены обращению ταλάς, κωφέ к Пиррию и выражениям σημάτων φῶρα, τοῖς δύο ἐπόψεθ' ἐς τὰς ἀνάγκας и др.

Ярко индивидуализирован в седьмом мимиямбе образ сапожника Кердона посредством большого количества слов, относящихся к его ремеслу. Ст. 56—61 являют собой настоящий каталог обуви, которую носили во времена Герода. Показательно обращение Кердона к покупательницам. Убедившись, что они ничего не купят в его мастерской, он так обращается к одной из них: φωρὴ ἄρηρεν ὁπλή' βοὸς ὁ λακτίσας ὑμᾶς (ст. 117) и к другой: ἡ μέζον ἵππου...κιχλίζουσα (ст. 123). А перед этим (ст. 111): θεῶν ἐκεῖνος οὐ μακρὴν ἄπω [κισται], ст. 110: ἔχεις γὰρ οὐχὶ γλάσσαν ἡδονῆς ἠθμόν; ст. 115: τὰ καλὰ πάντα τῆς καλῇσιν ἁρμόζει. Эти выражения по своей форме напоминают нам любовную поэзию архаического периода, хотя в сущности очень от нее отличаются.

Подружки Метро и Коритто (шестой мимиямб), рассуждающие о предмете сомнительной пристойности, обрисованы сходными чертами и в языковой характеристике, но вместе с тем чувствуется, что Метро более хитра, и это ее свойство, как и притворная ласковость по отношению к подруге, выступает достаточно ярко. Коритто более вспыльчива, она умеет крепко

---

[49] Также и слова Симефы в «Колдуньях» Феокрита (ст. 55) я склонен объяснять влиянием фольклорного элемента в поэзии Феокрита.

ругаться: χαιρέτω πολλὰ φίλη ἐοῦσα τοίη (убирайся к черту, голубушка, раз ты такая! — ст. 31). Она рекламирует изделия Кердона; здесь преобладают сравнения, эпитеты (ὀρθά, ἡ μαλακότης ὕπνος, ἔρι' οὐχ ἱμάντες), Кердон назван εὐνοέστερος.

Таким образом, с помощью мелких, зачастую незначительных штрихов, Герод создает образы представителей эллинистического общества, каждый из которых обладает своими характерными индивидуальными чертами.

Н. А. Чистякова

ГРЕЧЕСКАЯ ПОЭТЕССА ЭРИННА

История античной греческой литературы изобилует именами малоизвестных и малоизученных авторов. Среди них есть и такие, которые своим творчеством определили появление и развитие литературных школ, направлений, а иногда даже целых периодов в истории литературы. Но и в их числе загадочная поэтесса Эринна стоит особняком.

По словам александрийских поэтов, восторженных почитателей Эринны, она занималась поэзией тайно, страшась гнева матери, целые дни проводила за прялкой и умерла на двадцатом году жизни [1]. Скудно ее литературное наследие: поэма на смерть подруги Бавкиды [2], два эпитафия той же Бавкиде и одна вотивная эпиграмма [3].

Тем не менее Эринна оказалась предвозвестницей александрийской поэзии, вдохновительницей и наставницей эллинистических поэтов [4].

Особенно сильное влияние оказало творчество Эринны на поэтов так называемой «косской школы», откуда вышли Филет, Феокрит, Асклепиад, Посидипп и Герод [5].

---

[1] AP IX 190; VII, 11.

[2] Древние называли эту поэму «Прялка», но возможно, что таково было заглавие сборника стихов Эринны. Большой папирусный фрагмент поэмы был впервые найден и опубликован в 1928 г.: C. Vitelli. Frammenti della Conocchia di Erinnaq. — «Bull. de la Soc. arch. d'Alexandrie», 24, 1928, p. 9. Текст дошел в очень плохом состоянии, из восьмидесяти гексаметров нет ни одного целого стиха. Из последующих изданий текста см.: E. Diehl. Anthologia Lyrica Graeca, I², p. 486 sq.; P. Maas. «Hermes», 69 (1934), p. 206 sq. и т. д.

[3] AP VII, 710, 712; VI, 352. О них см.: G. Luck. Die Dichterinner der griechischen Anthologie. — MH, 11 (1954), S. 170 sq.

[4] F. Susemihl. Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, B. I. Leipzig, 1891, S. 527; J. Geffcken. Studien zum griechischen Epigramm. — «Neue Jahrb. für Kl. phil.», 39 (1917), S. 103 сл.; O. Crusius, s. v. Erinna. — PWRE, VI (1909), p. 455 sq.; P. Maas. s. v. Erinna. — PWRE, Suppl. VI (1935), p. 54 sq.

[5] C. M. Bowra. Erinna's lament for Baucis. Greek poetry and life. Essays presented to G. Murray. Oxford, 1936, p. 326 сл.; P. Collart. La poétesse Erinna. Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, 1944, p. 54 сл.

Первые упоминания об Эринне относятся к началу III в. до н. э. В нашем собрании греческих эпиграмм сохранены лишь слабые отголоски ее огромной былой славы [6]. Первое издание ее стихов было подготовлено Асклепиадом и открывалось его эпиграммой [7]. В начале I в. н. э. поэт Антифан называет Эринну и Каллимаха теми великими поэтами, славу которых бессильны поколебать яростные нападки завистников и пристрастная критика ученых педантов (АР, XI, 322). В VI в. н. э. в Константинополе, в термах Зевксиппа, было выставлено 80 статуй великих деятелей прошлого, среди них находились всего две статуи античных поэтесс — Сапфо и сидящая за прялкой Эринна [8].

Полное отсутствие сведений об Эринне до III в. до н. э. заставило в свое время О. Бенндорфа отнести творчество Эринны непосредственно к предэллинистическому периоду [9]. По мнению многих современных исследователей, языковые, метрические и художественные особенности ее поэзии характерны для литературы IV в. до н. э. Однако этот аргумент наиболее слаб, так как поэма Эринны очень плохо сохранилась, эпиграммы ее не дают достаточного материала для столь ответственных выводов, поэзия же этого периода известна мало.

К середине IV в. до н. э. относит Эринну и одно византийское свидетельство — «Хроника Евсевия в переложениях Георгия Синкелла и Гиеронима»[10].

Но наряду с утвердившимся в современной науке представлением об Эринне — современнице Александра Македонского и Демосфена, Платона и Аристотеля, Кратета и Диогена, существует другая, в прошлом значительно более популярная версия об Эринне — соотечественнице, современнице и подруге Сапфо [11]. В начале прошлого века эта версия казалась настолько авторитетной, что ради сохранения обеих версий была предложена гипотеза о двух различных поэтессах с одинаковыми именами [12]. Ее отголоски живы еще и по сей день [13].

---

[6] АР, VII, 11—13, 173; IV, 1, 2; IX, 26, 190; XI, 322.

[7] АР, VII, 11. См. также: С. W. B o w r a. Указ. соч.

[8] АР, II, 69 сл., 108 сл.

[9] O. B e n n d o r f. De anthologiae graecae epigrammatis, quae ad artes spectant. Bonn, 1862, p. 5 sq. Еще до него Ф. Рихтер назвал Эринну поэтессой времени Александра Македонского (F. R i c h t e r. Sappho und Erinna nach ihrem Leben beschrieben. Quedlinburg-Leipzig, 1833, S. 68 sq.).

[10] «Eusebii Chronicorum canonum, ed. A. Schöne», t. II. Berlin, 1866, p. 112 sq.

[11] F. S c h n e i d e w i n. Delectus poesis graecorum. Götting, 1838, p. 323; F. W e l c k e r. De Erinna et Corinna poetriis. — «Kleine Schriften», t. III. Bonn, 1845, p. 145; Th. B e r g k. Poetae lyrici graeci, t. III, 1882, p. 141; Ag. C a r l a t o. Erinna antica poetessa greca. Venezia, 1885.

[12] F. J a c o b s. Anthologia graeca, t. XIII. Leipzig, 1814, S. 890; S. M a l z o w. De Erinnae Lesbiae vita et reliquiis. Diss. Petropol, 1836.

[13] См. новое издание: «Harper's Dictionary of classical Literatur and Antiquities». N. Y., 1962, s. v.

В действительности же нет никаких оснований считать Эринну уроженкой Лесбоса, жившей в VII в. до н. э.

Единственные свидетельства этого приведены в словаре Суда и в комментарии к «Илиаде» Евстафия [14]. Причем они настолько близки между собой, что одни считают именно Суда источником Евстафия, а другие предполагают существование какого-то источника общего обоим. В любом случае подобный источник представлялся византийцам настолько убедительным, что позднейший корректор Палатинской антологии назвал в своих приписках Эринну лесбосской, а один раз даже митиленской поэтессой [15]. Эпиграмма IX, 190 раскрывает перед нами историю любопытного недоразумения, возникшего из-за того, что византийские ученые отнеслись к поэтическому тексту как к биографическому свидетельству, основанному якобы на античном жизнеописании Эринны [16]: Λέσβιον Ἠρίννης τόδε κηρίον· εἰ δέ τι μικρόν, ἀλλ' ὅλον ἐκ Μουσέων κιρνάμενον μέλιτι. οἱ δὲ τριακόσιοι ταύτης στίχοι ἶσοι Ὁμήρῳ, τῆς καὶ παρθενικῆς ἐννεακαιδεχέτευς· ἣ καὶ ἐπ' ἠλακάτῃ μητρὸς φόβῳ, ἣ καὶ ἐφ' ἱστῷ ἑστήκει Μουσέων λάτρις ἐφαπταμένη. Σάπφω δ' Ἠρίννης ὅσσον μελέεσσιν ἀμείνων, Ἤριννα Σαπφοῦς τοσσον ἐν ἑξαμέτροις. («Это лесбосский медовый сот Эринны. Если даже он несколько мал, то музы наполнили его весь целиком медом. А триста стихов ее подобны Гомеру — ее, девятнадцатилетней девушки. Она, страшась матери, тайно общалась с музами за прялкой или же стоя за ткацким станком. Сапфо настолько выше Эринны в лирических песнях, насколько Эринна выше Сапфо в эпических»).

«Лесбосский медовый сот» послужил основанием перенести Эринну на остров Лесбос. Сравнение ее стихотворений с поэзией Сапфо в сочетании с первым стихом оказалось достаточным для синхронного сопоставления обеих поэтесс.

В действительности же перед нами поэтическая фикция, возникшая из обращения неизвестного автора к художественным образам своих предшественников, первым из которых является Пиндар. Первые два стиха эпиграммы парафразируют отрывки из III немейской оды: χαῖρε φίλος· ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι, κιρναμένα δ' ἔερσ' ἀμφέπει, πόμα ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν, .. («Радуйся друг! Я посылаю тебе этот мед, смешанный с белым молоком, напиток, прославленный эолийскими дуновениями флейт; чтит (его) даже разбавленная влага. . .» (ст. 76—80).

Назвав свою песню медом, Пиндар обращается к известному поэтическому образу Гесиода, рассказавшего о музах, которые

[14] Sud. s. v.; Eust. ad Il. II, 711.

[15] AP, VII, 12; 13, 710; IX, 190.

[16] В свое время Г. Флах критиковал исследователей, пытавшихся отыскать в этой эпиграмме и схолиях к ней ссылки на античное жизнеописание Эринны (H. Flach. Zum Leben der Erinna. — RhM, 38 (1883), S. 464.

проливают на язык поэтов сладостную влагу (γλυκερὴν ἐέρσην), чтобы из уст их струились медовые речи (ἔπεα μείλιχα)[17].

Песни Пиндара названы также «даром муз», «струящимся нектаром» (Olym., VII, 77). Поэт молит муз о меде, которого жаждет его язык (Paean, VI, 54).

Но в отрывке из III немейской оды важно другое. Пиндар превозносит здесь свою поэзию над эпической, которую он обозначает гесиодовским термином ἔερσα. Адресату оды шлет поэт «напиток, прославленный эолийскими дуновениями флейт», т. е. эолийскую песню, которую он противопоставляет эпической и связывает с именем лесбосца Терпандра[18].

Автор эпиграммы следует Пиндару, но называет произведения Эринны не τόδε μέλι, а τόδε κηρίον, отыскав у Пиндара же основу для подобного парафраза[19]. Пиндар называет свои песни эолийскими, в эпиграмме стихотворения Эринны названы лесбосскими. В обоих эпитетах раскрывается не локальная принадлежность поэта, а характеризуется жанр его поэзии. Для Пиндара и его современников термин «эолийская» применяется к отличной от эпоса лирической поэзии, которую они неизменно связывают с лесбосским поэтом Терпандром[20]. Для эллинистических поэтов лирическая поэзия ассоциируется с образами Алкея и Сапфо, также поэтами Лесбоса. Сохранен в эпиграмме и свойственный Пиндару полемический мотив, получивший иное переосмысление. Пиндар сравнивает свои песни с медом, смешанным с молоком; стихам Эринны чужды всякие примеси: ее медовый сот наполнен только чистым несмешанным медом — ὅλον ἐκ Μουσέων κιρνάμενον μέλιτι. Перед песнями Пиндара склоняется даже эпическая поэзия — κιρναμένα δ'ἔερσ' ἀμφέπει.

Во времена упадка эпической поэзии противопоставление лирики эпосу и ее возвеличивание было актуальной первостепенной задачей, Пиндар утверждал свою славу великого лирического поэта Эллады. В александрийский период изменилось отношение к эпосу, который уже не представлял непосредственной опасности для всех прочих видов поэзии. Споры александрийцев об эпосе сводились скорее всего к тому, следует ли использовать эпическое наследие и какое, или же нужно вообще от него отказаться[21].

---

[17] Hes. Theog. 81. О символике воды в античной поэзии см.: E. Maas. Untersuchungen zu Properz und seinen griechischen Vorbildern. — «Hermes», 31 (1896), S. 375 sq.

[18] Пиндар сам определял свое творчество как эолийскую песню.— Olym. I 102. См. также: Pyth. II, 69; Фр. 191. О Терпандре — фр. 125.

[19] Фр. 152 — μελισσοτεύκτων κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά; см. фр. 123.

[20] Лесбосским певцом, без добавления имени, греки называли Терпандра. На этом основании даже возникла распространенная в Афинах поговорка — μετὰ Λέσβιον ᾠδόν (Cratin, 243).

[21] W. Wimmel. Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens in der Augusteerzeit. Wiesbaden, 1960 («Hermes», Einzelschr. 16).

В отличие от каллимаховского направления, пропагандировавшего гесиодовский стиль повествовательной поэзии [22], поэты косского направления и прежде всего Феокрит ориентировались на переработку гомеровского стиля. Разделяя взгляды последних, автор разбираемой эпиграммы сравнивает творчество Эринны с гомеровскими стихами — ее стихи ἶσοι Ὁμήρῳ. Но здесь же он указывает на преимущество Эринны перед Гомером: ее сочинение, равное Гомеру, высокое по своим художественным достоинствам, мало по объему — μικρόν. В эпиграмме имелось указание на еще одно достоинство стихотворений Эринны, которое наряду с малым объемом превыше всего чтили александрийцы. Творение Эринны, ее «лесбосский медовый сот», назван «сладостно приятным» — ἁδύ. Чтение εἰ δέ, предложенное Ф. Якобсом вместо рукописного традиционного ἁδύ и принятое в дальнейшем издателями, совершенно необосновано и противоречит всему содержанию текста [23]. Определение песни или поэзии как сладостной — γλυκύς — обычно у Пиндара [24]. Асклепиад (AP, VII, 11), называя стихотворения Эринны — «этот сладостный труд» — ὁ γλυκὺς' Ἠρίννης οὗτος πόνος, в свою очередь обращается к той же самой третьей немейской оде Пиндара [25]. В анонимной эпиграмме IX, 190 эпитет ἁδύ почти синонимичен пиндаровскому и асклепиадовскому γλυκύς. Но тут он более уместен, так как в сочетании с «медовым сотом» напоминает об аромате последнего [26], а в метафорическом приложении к поэзии характеризует ее в традициях поэтики александрийцев [27].

Таким образом, вновь восстановленное начало эпиграммы IX, 190 гласит: «Λέσβιον Ἠρίννης τόδε κηρίον ἁδύ· [28] τί μικρόν, ἀλλ'. . .» («Это сладостный лесбосский сот Эринны. Он несколько мал, но . . .»).

Неслучайно появилось в данной эпиграмме и сравнение Эринны с Сапфо. Дело не только в том, что обе были женщинами. В эллинистическую эпоху лесбосским назывался определенный вид поэзии, связанный с именами Сапфо и Алкея. И Эринна, пользуясь размером эпической поэзии, гекcаметром или элегическим дистихом, подробно и много рассказывала о себе, как это

[22] См.: Call. Ep. 28 Pf.; U. Wilamowitz. Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, B. I. Berlin, 1924, S. 206.

[23] Чтение ἁδύ представлено не только в рукописи Палатинской антологии и у Плануды, но и в вышеуказанной схолии Евстафия, где цитируется разбираемая эпиграмма.

[24] Nem., IX, 3; Olym. I, 109; Nem., V, 2; Isthm., II, 7 и проч.

[25] Nem., III, 12. В Pyth. VI, 52—53. Пиндар говорит о γλυκεῖα φρὴν и μελισσᾶν τρητὸς πόνος. Картина дружеского пира становится метафорой поэтического творчества.

[26] Theocr., I, 27 — ἁδέι κηρῷ.

[27] Theocr., I, 7, 65; VIII, 76; XX, 28. Call. Ep. XIII5; XVI, 3 и др.

[28] Пунктуация предложена в кн.: V. Harberton. Meleager and the other poets of Anthology from Plato to Leonidas Alexandrinus. London, 1895.

делала Сапфо. Возможно, как считает Боура, из-за этого древние сближали стихотворения Эринны, хотя они и были по форме ἔπη, с мелосом Сапфо [29].

В четвертой, пятой и шестой строках разбираемой эпиграммы, где рассказывается о девятнадцатилетней девушке, тайком от матери сочинявшей стихи, автор цитирует, вероятно, поэму самой Эринны [30].

Итак, эпиграмма IX, 190 была единственным и ненадежным источником, из которого византийские авторы черпали свои сведения об Эринне. На нее ссылается и полностью приводит Евстафий в конце своего рассказа об Эринне. С ней же тесно связана эпиграмма Асклепиада, которая по общему мнению открывала подготовленный поэтом сборник стихов Эринны. Уже давно было высказано предположение об использовании Асклепиадом вышеуказанной анонимной эпиграммы, автором которой мог быть кто-либо из известных александрийских поэтов, возможно, даже Каллимах [31]. Это категороически отверг такой авторитетный знаток греческой эпиграммы, как Штадтмюллер, приписав без достаточных оснований (mihi videtur) эпиграмму Антипатру Сидонскому, использовавшему Асклепиада [32]. Оставляя вопрос об аттрибуции открытым, все же следует отметить, что данная эпиграмма отражает литературные вкусы александрийских поэтов, но по содержанию она ближе к программе поэтов «косского направления», к которым принадлежал Асклепиад, призывавшим к обновлению классического наследия [33].

Почти каждая эпиграмма, посвященная Эринне, содержит пиндаровские парафразы, причем, используя одни и те же образы, авторы этих эпиграмм прибегают к взаимоцитированию.

Для анонимного автора VII, 12 стихи Эринны — «весна рожденных пчелами гимнов» (μελισσοτόκων ἔαρ ὕμνων) [34]. Прялка Эринны превращается у него в аттрибут Мойры, а выражение γλυκὺς πόνος, которое у Асклепиада является парафразом из Пиндара, становится бесцветным ἐπέων καλὸς πόνος.

---

[29] С. М. B o w r a. Указ. соч., стр. 342 сл. Термин ἑξάμετρα обозначал у греков эпическую поэзию — Arist. Rhet. 1404^a 34; Poet. 1449^a 27, а μέλος — лирическую поэзию — Herod., II, 135; V, 95; Pind. Olym., IX, 1.

[30] В строке 37 папирусного текста ясно читается ἐννεα[και]δέκατος, а в 39 — ἀλακάταν ἐσορει. . .

[31] O. B e n n d o r f. Указ. соч., стр. 7, примечание 1.

[32] «Anthologia graeca», B. III, p. 1. Leipzig, 1906, S. 149.

[33] Любопытно, что среди произведений Феокрита встречается идиллия «Прялка» (XXVIII). Ее размер — большой асклепиадов стих, а диалект эолийско-дорийский, близкий к языку поэмы Эринны. Заключение Мааса о том, что эта идиллия не имеет никакого отношения к «Прялке» Эринны, вряд ли правильно. Интересно также, что Латте, анализируя язык и метрику поэмы Эринны, обнаружил у нее буколическую цезуру (K. L a t t e. Erinna. — «Nachr. Gesellsch. d. Wiss. zu Götting., Phil.—hist. Klasse, 3, 1953, стр. 80 сл.)

[34] Pind., стр. 152.

В эпиграмме VII, 13 поэтесса уподоблена пчеле, собирающей цветы муз.

Антипатр Сидонский (VII, 713) главную заслугу Эринны видит в краткости и лаконичной выразительности ее стихов. Его высокопоэтичная эпиграмма, нашедшая широкий отклик в римской поэзии [35], непохожа на эпиграмму IX, 190. Но в последних стихах Антипатр парафразирует ту же самую третью немейскую оду Пиндара, которая звучала в эпиграммах IX, 190 и VII, 11. За использованными в IX, 190 стихами Пиндара в оде следует страстный полемический выпад поэта против своих противников, которых Пиндар, сравнивающий себя со стремительным орлом, называет презрительно «крикливыми воронами» (κραγέται κολοιοί) [36]. Многочисленные произведения незадачливых поэтов, обреченных на забвение, Антипатр называет «криком ворон» (κρωγμὸς κολοιῶν). В этом же стихотворении Пиндара заставляет вспомнить и образ черной ночи, своим крылом затмевающей свет, и краткая песня лебедя в весенних облаках.

Эпиграмма IX, 190 вместе со всеми связанными с нею поэтическими и прозаическими рассказами об Эринне и ее стихах не приводит никаких достоверных биографических сведений. Полностью несостоятельной оказывается также основанная на ней версия об архаической лесбосской поэтессе. Столь же неубедительны попытки опровергнуть позднюю датировку на основании прочих второстепенных свидетельств [37].

Крайне недостоверны наши сведения о месте жительства Эринны. Словарь Суда и Евстафий называют четыре различных острова — Теос, Телос, Лесбос и Родос. У Стефана Византийского указан только один остров — Тенос [38]. Приняв его свидетельство, большинство издателей исправляют Теос на Тенос в словаре Суда и в эпиграмме Эринны VII, 710, 7. В начале прошлого века Ф. Рихтер отметил, что появление в рукописных текстах трех географических терминов, равносложных и начинающихся с одной буквы, вызвано скорее всего ошибками писцов. Он же предположил, что реальным местом рождения и жизни Эринны следует признать Телос или Родос [39]. Гипотеза Рихтера теперь подкреплена установленной связью Эринны с поэтами «косской школы». Родина ее должна скорее всего быть где-нибудь неподалеку от Коса и Книда. А таким местом мог быть и островок Телос, лежав-

---

[35] Lucret., IV, 182; Verg. Aen., VIII, 369.

[36] Pind. Nem., III, 80 сл.

[37] Как например, упоминание вскользь раннехристианским оратором Татианом бронзовой статуи Эринны, созданной скульптором Навкидом, жившим в начале IV в. до н. э. (Adv. graec. 52). На ошибку Татиана указал А. Калькман (A. Kalkmann. Tatians Nachrichten über Kunstwerke. — RhM, 42 (1887), S. 502 сл.

[38] Steph. Byz. 622, 4 s. v. Τῆνος.

[39] F. Richter. Указ. соч., стр. 65 сл.

ший возле Родоса и входивший по словам древних в принадлежащую Родосу область [40].

Скудны, спорны и противоречивы наши сведения о поэтессе Эринне. Но в них представлен в высшей степени ценный и интересный материал для изучения ее творчества и его роли в формировании как литературных школ и направлений, так и тех разногласий александрийских поэтов, которые затем были унаследованы Римом [41].

Не с Эринной ли связана загадка литературной полемики александрийцев, не из-за нее ли попали во флорентийском комментарии в число врагов Каллимаха Асклепиад и Посидипп, не здесь ли ключ к расшифровке VII идиллии Феокрита, и т. д. и т. п.?!

---

[40] Herod., VII, 153; Plin. H. N., V, 36; См. C. M. Bowra. Указ. соч., стр. 339.

[41] Напомним между прочим о сапфических мотивах в поэзии Асклепиада и Посидиппа, о ссылке на Эринну в одном из мимов Герода (VI, 20 — см. O. Crusius. Untersuchungen zu Herondas. Leipzig, 1892, S. 118 sq.). Есть основание предполагать, что Эринну превозносил и ссылался на нее Проперций.— Prop., II, 3, 22.

С. В. Полякова

ЭЛЕМЕНТЫ КУРТУАЗНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛЮБВИ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Начиная с эллинистического времени, в древнегреческой поэзии и прозе появляются черты своеобразного комплекса представлений, характерного для памятников средневековой куртуазной литературы с ее культом обожествляемой дамы, которой влюбленный служит как вассал [1]. Эти черты не всегда складываются в стройную — наподобие позднейшей — систему, так что можно говорить лишь о становлении близкой к средневековой концепции, точнее о предвестниках культурно-исторического феномена, которому суждено было развиться за пределами античной эпохи. Наиболее полно элементы куртуазной догмы представлены в греческом романе.

Вместо вассального служения социально равной даме в послеклассической греческой литературе, в соответствии с эпохой выступает рабское служение, вместо платонического обожествления замужней женщины — земная любовь к своей госпоже или господину (оба случая почти равноправны), не ограниченная их местом в обществе. В качестве владычиц или владык, рабом которых является влюбленный, выступают и гетеры, и свободнорожденные, и — как в греческом романе — будущие или настоящие супруги.

Обычно сам бог Эрот покоряет влюбленного и затем отдает в рабство человеческим повелителям. Характерный пример этого — роман Ксенофонта Эфесского, где Эрот покоряет юношу, делает его своим пленником — aichmalōtos (I, 13) и затем принуждает «служить деве рабом» (I, 4).

Об этом же говорит эпиграмма Руфина: «Боопида, дарующий сладкие дары Эрот отдал меня тебе в рабство, впрягши в страсть как по собственной воле идущего, добровольного, рабски покорного, не противящегося, охотно подчиняющегося и не просящего нежеланной свободы быка» (Anth. Pal. ed. Beckby, V, 22. В дальнейшем «Антология» цитируется по этому изданию).

Аналогичны следующие свидетельства: «Теокл, тебе отдала меня богиня, повелительница Желаний, тебе дал меня легкообу-

[1] Систематическому обследованию подвергся следующий материал: греческие романы, эпиграммы Палатинской антологии и эпистолография.

тый Эрот, укротив крепкой уздой» (Anth. Pal., XII, 158, Мелеагр) или «Некий бог (т. е. Эрот.—*С. П.*) продал меня тебе, как Геракла Омфале» (Ach. Tat., II, 6).

Отношение влюбленного к любимой или любимому мыслится как рабство: Ферсандр, вначале надеясь на успех, всецело был рабом Левкиппы (Ach. Tat., VI, 20); «Отныне считай меня своим рабом», — говорит другой влюбленный (Ach. Tat., VIII, 17).

Любить — значит служить любимому или любимой рабом (latreuein: Anth. Pal., XII, 169, Диоскорид), слугой (theraps: Anth. Pal., XII, 229, Стратон), находиться в рабстве (duleuō: Char., I, 2), разделять его иго с прочими любящими (homodulos: Anth. Pal., XII, 81, Мелеагр).

Представление о плене влюбленного — вариант только что рассмотренного представления о рабской службе: «Этот Псаммид видит Антию у купцов и, увидев, попадает к ней в плен» (Xenoh. Eph., III, 11). «Он попал к ней в плен, увидев ее» (Ach. Tat., II, 16).

В каком бы обличьи влюбленный не встретил красоту, он становится ее пленником (Long., IV, 17). «Нельзя было, встретившись с нею, не попасть в плен» (Hel., II, 25).

Эпиграмматические преувеличения, задача которых подчеркнуть необыкновенную красоту любимого юноши, строятся по устоявшейся схеме: Эрот представляется пленником такого красавца, т. е. его рабом: «Сам крылатый Эрот в эфире попал в плен, уловленный твоими глазами, Тимарион» (Anth. Pat., XII, 113, Мелеагр). «Юноши, храните благоговейное молчание: Арксесилай ведет Эрота на пурпурном аркане Киприды» (Anth. Pal., XII, 112, неизвестный автор).

Соответственно наличествует образ повелительницы или повелителя, которым erastēs служит. Любимая — владычица — despoina (Ach. Tat., II, 4; II, 6; V, 20; VIII, 17), anassa (Anth. Pal., V, 26, неизвестный автор), любимый — anax (Anth. Pal., XII, 158, Мелеагр), despotēs (Auth. Pal., XII, 196, Стратон; Ach. Tat., I, 14; V, 11), desposynos (Anth. Pal., XII, 169, Диоскорид; XII, 246, Стратон).

Греческий erastēs, как средневековый рыцарь, совершает подвиги и терпит опасности ради своей дамы. Желая доказать свою любовь, влюбленный готов на все: «Вели плыть — войду в волны, терпеть удары — снесу, вырвать свое сердце — готов, пройти сквозь огонь — он меня не обожжет» (Phil. Epist., 23 (45)).

Другой доказывает свое подданство менее романтическим образом — он обслуживает свою даму как раб или слуга: «. . . в настоящее время все мои стремления, — говорит он, — направлены только к тому, чтобы выполнить поручения Исиады из Хеммиса. Ей я возделываю землю, ей все доставляю. Из-за нее я бодрствую ночью и днем, ни в чем ей не отказывая. Для меня даже является наказанием или тягостью, если эта Исиада не дает

мне каких-либо — то важных, то незначительных — поручений. Теперь я бегу, как видишь, чтобы исполнить поручение возлюбленной, принести ей эту птицу: нильского финикоптера» (Hel., VI, 3).

В литературе уже давно было обращено внимание на куртуазный дух некоторых греческих романов [2]. В романе Харитона героические подвиги совершаются единственно вследствие и ради любви (Херей и Дионисий), а некоторые сцены «Эфиопики» Гелиодора отмечены чертами куртуазности; в сцене состязания, например, когда влюбленный Феаген бежит, не спуская глаз с Хариклии, и целует ей руку, получая от девушки победную награду (Hel., IV, 4), или утверждает, что уверен в победе, так как больше него никто не стремится приблизиться к Хариклие (IV, 2).

Так же, как в средневековой литературе, объект любви — существо высшего порядка. Древние наделяют его не только божественной красотой, но и божественной природой: «Такой красоте подобает, как статуям богов, храм» (Anth. Pal., V, 15, Руфин). «Тебя одну (т. е. возлюбленную. — *С. П.*) я признаю богиней» (Anth. Pal., V, 137, Мелеагр). «Ведь судьба сделала тебя богом, и от тебя зависит моя жизнь и смерть» (Anth. Pal., XII, 158, Мелеагр). «Ты мечешь из глаз искры, богоподобный Ликин» (Cuth. Pal., XII, 196, Стратон).

Точно так же герой романа Харитона видит в Каллирое богиню и готов перед ней преклоняться (II, 3).

Рассмотренная фразеология, даже в случае преувеличений, естественных в жанре любовной эпиграммы и топических для стиля греческого романа, укладывается в рамки определенной системы воззрений и не может считаться, пользуясь термином Макса Мюллера, только болезнью языка.

---

[2] А. Кирпичников. Греческие романы в новой литературе. Харьков, 1876.

С. С. Аверинцев

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА В БИОГРАФИЯХ ПЛУТАРХА

Целью настоящей работы является выяснение некоторых черт биографической техники Плутарха, которые до сих пор оставались вне круга интересов исследователей [1]. Мы сознательно исключаем из нашего рассмотрения те стороны писательского облика Плутарха, которые могут считаться достаточно изученными.

Наше внимание концентрируется на тех чертах структуры «Параллельных жизнеописаний», которые выделяют этот сборник среди известной нам биографической продукции классической древности, а такой подход требует широких сопоставлений, поэтому статья выходит иногда за рамки монографического изучения автора. Наше положение было бы легче, если бы общие, родовые черты античной биографии составляли в науке предмет твердого consensus'а. Между тем всякий, кто знаком с работами по этому вопросу, знает, что это не так [2].

---

[1] См.: С. С. Аверинцев. Биографические сочинения Плутарха в зарубежной науке XX века. — ВДИ, 1964, № 3, стр. 202—212.

[2] Ф. Лео попытался дать развернутое сопоставление биографической техники Плутарха и Светония и на основе этого сопоставления построить систематическую классификацию всей античной биографической литературы (F. Leo. Die griechisch-römische Biographie. Leipzig, 1901). Однако точность его характеристик была убедительно оспорена как для Плутарха (A. Weizsäcker. Untersuchungen über Plutarchs biographische Technik. Berlin 1931), так и для Светония (W. Steidle. Sueton und die antike Biographie. — «Zetemata». I. München, 1951); что касается его общей конструкции, подкупающе четкой, но совершенно умозрительной, то ее несостоятельность стала очевидной уже к 20-м годам (W. Uxkull-Gyllenband. Plutarch und die griechische Biographie. Stuttgart, 1931).

Под впечатлением неудачи Лео немецкие филологи (особенно последовательно Вайцсеккер) перешли к чисто монографической характеристике «Параллельных жизнеописаний», добросовестно отмечая все, что им случилось усмотреть в их структуре, но забывая задать простой вопрос: мог ли античный биограф или писатель-биограф вообще поступить в том или ином случае иначе?

Критики немецкой филологии в романских и англо-саксонских странах (Стюарт, Барбу и др.) немало иронизировали над этим; но положение не улучшилось от того, что вопрос о литературных закономерностях плутарховых биографий оказался подмененным аппеляцией к абстрактному биографическому принципу, якобы определяющему в равной степени работу Плутарха, Светония и любого из современных беллетристов-биографов порядка А. Моруа.

Изучение литературной стороны жизнеописаний Плутарха всегда страдало от этого обстоятельства. При констатации того или иного их признака обычно остается неясным историко-литературное значение сделанного наблюдения: идет ли речь о специфической особенности индивидуального творчества Плутарха, о свойстве какого-то направления в биографическом жанре, об античном биографическом жанре в целом, о чертах греческой повествовательной прозы определенной эпохи, или, наконец, о всяком литературном «жизнеописании» во все времена? Этот пробел в работе над Βίοι παράλληλοι совершенно понятен, более того, он до конца не может быть устранен уже потому, что мы не знаем непосредственных литературных предшественников Плутарха: огромная биографическая литература эллинизма известна нам только по заглавиям [3]. Писательская оригинальность Плутарха плохо поддается исследованию еще и потому, что весь склад этого автора препятствовал ей принять форму резкого, бросающегося в глаза «новаторского» акта.

Но именно поэтому не должна быть упущена ни одна возможность сопоставить по тому или иному признаку жизнеописания Плутарха с остальной дошедшей до нас биографической продукцией классической древности и выделить их из общей массы. Нелегкое выяснение отношений части — биографий Плутарха — к целому —«античному биографическому жанру»[4] — приходится

---

[3] До 1912 г. наука не располагала ни одним образцом эллинистической биографии хотя бы в виде фрагмента, объем которого позволил бы делать серьезные заключения о литературных особенностях текста. В IX томе Оксиринхских папирусов (№ 1176) был опубликован большой фрагмент принадлежащей Сатиру биографии Еврипида. Эта находка оказалась в полном противоречии со всеми домыслами об «александрийской» биографии и лишний раз напомнила, что невозможно и пытаться реконструировать все многообразие форм эллинистических жизнеописаний умозрительными методами.

[4] Говоря о «биографическом жанре» в античной литературе, мы имеем за собой usus самых древних авторов, говоривших в этом случае о genus scripturae (Непот, вступление, ср. также Плутарх «Александр», I). Но, разумеется, слово это приходится употреблять с большой осторожностью: этот поздний, слабо конституированный и по самой своей природе не слишком поддающийся конституированию genus не идет ни в какое сравнение с поэтическими или риторическими жанрами античной литературы. Самые границы его очень расплывчаты. В этом отношении характерно рассуждение из вступления к сочинению Иеронима «О славных мужах», где христианский биограф перечисляет своих классических предшественников: сначала его перечень строго соблюдает границы биографического жанра (Гермипп, Антигон, Сатир, Аристоксен, Непот, Светоний и др.), но уже через несколько фраз к нему прибавляется «Брут» Цицерона (имеется в виду данный там «перечень ораторов»). Совершенно невозможно отделить от биографии биографически оформленный энкомий.

Когда мы говорим специально о Плутархе, приходится учитывать, что у него, как неоднократно отмечалось, даже традиционные, устоявшиеся формы приобретают известную «текучесть» (см. замечания А. В. Болдырева в кн.: «История греческой литературы», под ред. С. И. Соболевского и др., т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 174, 183 и др.).

начинать с самого начала, и притом, как убеждает неудача попытки Лео, возможно более эмпирическими методами, идя к цели от частностей.

* * *

Как известно, «Параллельные жизнеописания» — именно в силу своей «параллельности» — образуют формальное единство, замкнутую целостность на трех уровнях одновременно: на уровне отдельной биографии; на уровне пары биграфий, объединенных, как правило, общим послесловием (συγκρίσεις)[5] и, в 50% всех случаев, также общим введением[6], на уровне всего сборника в целом.

До сих пор при изучении композиционной структуры отдельных биографий совершенно не учитывалась ее взаимозависимость с организацией материала на двух других уровнях. В этом научный анализ только шел за современным читательским восприятием. Уже распространенный usus издания текстов и переводов отдельных или «избранных» биографий закрепляет в нашем сознании представление о том, что единственным видом художественного целого в «Параллельных жизнеописаниях» является отдельная биография [7], а их соединение в сборнике чисто механично и заслуживает внимания разве только по своей связи с идейным замыслом Плутарха (посредничество между Грецией и Римом

---

[5] Оно отсутствует только в 4 случаях из 22-х пар — «Фемистокл» — «Камилл»; «Фокион» — «Катон Младший»; «Александр» — «Цезарь»; «Пирр» — «Марий». Вопрос о том, отсутствовали ли эти «синкрисисы» с самого начала или выпали в результате порчи текста, едва ли разрешим; в пользу как одного, так и другого положения раздавались одинаково авторитетные и решительные высказывания. Что касается предлагавшейся в свое время Р. Гирцелем и другими исследователями атетезы, то ее приходится признать окончательно опровергнутой (ср.: С. С. Аверинцев. Биографические сочинения Плутарха в зарубежной науке . . ., стр. 211).

[6] В 12 случаях: «Тесей» — «Ромул»; «Эмилий Павел» — «Тимолеонт»; «Пелопид» — «Марцелл»; «Кимон» — «Лукулл»; «Никий» — «Красс»; «Серторий» — «Эвмен»; «Фокион» — «Катон Младший»; «Агид» — «Клеомен»; «Тиберий Гракх» — «Гай Гракх»; «Демосфен» — «Цицерон»; «Дион» —«Брут», «Деметрий» — «Антоний»; «Александр» — «Цезарь»; «Филопемен» — «Тит Фламинин», где соединяющий две биографии проойминий предпослан не первой, а второй биографии.

[7] Надо сказать, что такой подход проявляется весьма рано: если Фотий в своей «Библиотеке» излагает известные ему 19 биографий Плутарха, соблюдая порядок «параллельности», то цитируемый им же Сопатр Софист эксцерпирует в IX—XI книгах своих «Извлечений» жизнеописания (вперемежку с «Моралиями») без всякой последовательности. Обращает на себя внимание то, что у Сопатра фигурируют только греческие герои Плутарха; можно предположить, что в его время имел хождение соответствующий сборник, где менее популярные среди грекоязычных читателей римляне были отброшены, или же этот отбор произвел сам Сопатр. Как бы то ни было, это исключение. В целом для античного и византийского времени сохраняет свою силу взгляд именно на пару биографий как основную единицу структуры «Параллельных жизнеописаний»; это хорошо показывает, в частности, так называемый «Ламприев каталог» сочинений Плутарха.

и т. д.). В этом же направлении действует и укоренившаяся оценка структуры плутархова сборника с его «параллельной» группировкой биографий как искусственного и абсурдного приема, досадного продукта влияния риторики, по счастью не затрагивающего художественной природы самых жизнеописаний [8].

Можно было бы сказать, что сама эта оценка, сложившаяся сравнительно недавно, достаточно субъективна (известно, что такой ценитель Плутарха, как Монтень, усматривал особо ценную черту «Параллельных жизнеописаний» именно в «сопоставлениях»)[9]. Но дело не в этом, и мы ни мало не намерены противопоставлять одному оценочному суждению другое. Для научного осмысления литературной природы плутарховых биографий важно не то, нравится нам или нет идея их автора расставить своих героев попарно и произвести им смотр в синкрисисах, но единственно то, для чего и как он это сделал и какие это имело последствия. Перефразируя давно высказанную максиму [10], скажем, что историк литературы имеет не больше права игнорировать «неудачный» прием, в особенности, если он оригинален и характерен, чем ботаник — отбрасывать «некрасивый» цветок.

* * *

Насколько мы можем судить по биографическим энкомиям Исократа («Эвагор») и Ксенофонта («Агесилай») и в особенности по многочисленным заглавиям и мелким фрагментам, дошедшим до нас от биографической литературы эллинизма, античная биография складывалась на материале двоякого рода. Ее обычными героями были либо монархи, тираны и прочие политические деятели, как-то выходившие из полисных норм, либо профессиональные деятели Geistesgeschichte — поэты, музыканты, живописцы, философы, риторы и грамматики. Обе эти, казалось бы, столь разнородные группы героев в равной степени возбуждали живой интерес не только своими «деяниями», но самым своим образом жизни, потому, что именно в этих типах реализовалась новая, чуждая полисному укладу индивидуальная свобода.

В своем дальнейшем развитии античная биография в целом остается верной этой тематике [11].

---

[8] Ср., например: Ц и г л е р. Указ. соч., стлб. 909. Между тем, еще Виламовиц (указ. соч., стр. 260) в свое время указывал, как опасно забывать, что «биографии связаны друг с другом попарно». Так, недавно была сделана попытка более серьезно отнестись к Плутарховым «сопоставлениям» в статье: H. E r b s e. Die Bedeutung der Synkrisis in den Parallelbiographien Plutarchs. — «Hermes», 84 (1956), 398—424.

[9] «Опыты», кн. II, XXXII.

[10] П. П. Б л о н с к и й. Философия Плотина. М., 1918, стр. 275.

[11] См.: С. С. А в е р и н ц е в. Подбор героев в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха и античная биографическая традиция.— ВДИ, 1965, № 2, стр. 51—67.

Когда Плутарх писал, с одной стороны, биографии римских императоров от Августа до Вителлия и жизнеописание Артаксеркса, с другой — биографии Гесиода, Пиндара, поэта Арата (не смешивать с дошедшей биографией Арата Сикионского!) и философа Кратета, он шел в выборе героев по проторенному пути [12]. Но «Параллельные жизнеописания» явно стоят особняком среди известных нам по текстам или хотя бы заголовкам биографических циклов античной литературы. В центре сборника стоят такие образы полисной классики, как Солон, Аристид, Перикл, Пелопид, Тимолеонт — для Греции, как Камилл и Фабий Максим — для Рима, такие республиканские деятели, как оба Катона и Цицерон или Брут; разумеется, Цезарю и особенно Александру также предоставлена довольно почетная роль, но персонажи вроде Деметрия или Антония оттеснены на периферию[13]. Нам трудно отрешиться от вековой привычности Плутарховой галереи героев, идея которой кажется нам естественной до банальности, — однако то обстоятельство, что Плутарх использовал для попытки монументально задуманного апофеоза гражданских добродетелей такой полисной старины такой принципиально немонументальный и негражданственный жанр, genus leve et non satis dignum, каким была античная биография, оказывается при ближайшем рассмотрении едва ли не беспрецедентным и заставляет задуматься [14].

Понятно, что жизнеописания монархов или деятелей наук и искусств очень легко объединялись в циклы на хронологической

[12] То же можно сказать и об утраченных биографиях мифических и легендарных героев — Геракла, Даифанта, Аристомена. Интерес биографии к мифологическому материалу (дошедшие жизнеописания Эзопа, Гомера и Гесиода, а также «Тесей», «Ромул», «Ликург», «Нума» Плутарха) стимулировался примером того типа эпоса, который порицает Аристотель в VIII главе «Поэтики».

[13] Непот, «О прославленных мужах», вступление.

[14] Непот здесь в счет не идет. Его биографические выписки и заметки о героях греческой старины, призванные сообщить римскому читателю некоторый минимум сведений справочного порядка, не могут быть приравниваемы к биографиям типа Плутарховых. К тому же особенно скупо и невыразительно у него трактованы как раз такие персонажи, как Аристид или Кимон, а в центре стоят скорее какие-нибудь Датам, Евмен и Ганнибал (особое положение занимает, конечно, биография Аттика).

В немецкой филологии неоднократно выдвигалась гипотеза, проицировавшая тематику «Параллельных жизнеописаний» в биографическую литературу эллинизма: уже в то время якобы было создано большое количество биографий государственных мужей полисной классики, и Плутарху оставалось только перерабатывать их. Факты не подтверждают этого мнения; в частности попытки Эд. Мейера («Forschungen zur alten Geschichte», II, Halle, 1899, p. 1—87) и Лео (указ. соч., примечание к стр. 154) реконструировать эллинистическую биографическую литературу о Кимоне весьма сомнительны. Было бы, разумеется, неосмотрительным решительно отрицать a priori существование каких бы то ни было эллинистических жизнеописаний таких деятелей, как Перикл и т. п., но все что мы знаем об эллинистической биографии, убеждает нас в том, что главные ее интересы лежали не в этой области.

основе. Здесь можно видеть, как исторический жанр естественно, сам собою переходит в биографический. Политическая история при монархической структуре общества легко может быть представлена как история правителей, оформляемая как цикл биографий [15]. В истории наук и искусств на место отношения преемника к предшественнику становится отношение ученика к учителю: «диадохии» философов — прямая аналогия династиям монархов. Даже в нашем веке, когда мы так далеко ушли от времен Гиберти и Вазари, Г. Вельфлин еще мог говорить об отмежевании «истории искусства» от «истории художников» как о насущной проблеме, для античности же единственным видом истории той или иной дисциплины духовной культуры была «история философов», «история поэтов» и т. д., биографически оформленная (тип «De viris illustribus») или хотя бы биографически ориентированная (тип «перечня ораторов» в цицероновом «Бруте»).

Если для расширения сопоставляемого с «Параллельными жизнеописаниями» материала мы обратимся к ранней византийской агиографии, в чисто жанровом отношении достаточно гомологичной позднеантичной прозе, то увидим ту же самую картину»[16]. Оставляя в стороне тип агиографического энкомия, обратимся к двум другим жанрам: βίος καὶ πολιτεία — собственно «житие» и διήγησις — монашеская история, запись подвижнического предания. Последний литературный вид определенно тяготел к традициям истории философских школ, подобно тому как сама аскетическая практика постоянно сопоставляется у христианских писателей патристической эпохи с практикой позднеантичного моралистического философствования [17].

---

[15] Характерно, что продолжающаяся держаться монументальных форм историография римской империи имеет не только сильную биографическую окраску (образ Тиберия у Тацита!), но нередко и чисто биографическую структуру. Яркий пример последнего — Аммиан Марцеллин: раздел, посвященный тому или иному царствованию, и начинается и кончается как жизнеописание императора по чисто энкомиастическим шаблонам, и только между этими кусками биографического изложения внедрен имперсонально-исторический материал. Так, при появлении на сцене Юлиана (XVI, 1) следует обычное для биографического энкомия вступление; в последующем изложении основной, исторический план время от времени сменяется биографическим (mores, XVI, 5 сл., ἀποφθέγματα, 10 сл.), а после описания смерти дается систематическая характеристика per species в духе биографии Светониева типа (XXV, 4).

[16] Ср.: Хр. Лопарев. Византийские жития святых VIII—IX вв. («Византийский временник», XVII, 1910, стр. 1—224; XVIII, 1911, стр. 1—147; XIX, 1912, стр. 1—151), особенно XVII, стр. 6—7 и 16.

[17] Евсевий характерным образом употребляет слово φιλοσοφία как terminus technicus для обозначения подвижнической жизни. Ср. также: Jo. Leipoldt. Griechische Philosophie und frühchristliche Askese. Berlin, 1961 и старую работу: E. Lucius. Die Anfänge des Heiligenkultus in der christlichen Kirche, 1904, S. 58, 508.

Классическим образцом монашеской διήγησις может служить знаменитый «Лавсаик» Палладия (написан около 419—420 гг.)[18], где историческое повествование о монастырях Нитрии и Фиваиды естественным образом распадается на 71 эпизод, в центре каждого из которых стоит один герой. Если мы отвлечемся от присущей этим сказаниям фольклорной «Lust zu fabulieren», столь далекой от интонации биобиблиографических справок Диогена Лаэртского, — структурные особенности обоих сборников окажутся не такими уж различными.

Но если династическая история царей, тиранов, римских императоров, так же как история поэтов, риторов и грамматиков, философских школ и монашеских обителей легко распадалась на биографии, то биографическое повествование легко переходило обратно в историческое. Мы говорим сейчас не о появлении в биографии «исторического» материала, но о регулярных разрывах структурной замкнутости жизнеописания. Один из многих наглядных примеров — начало Плутархова «Отона»[19] (совершенно немыслимое в «Параллельных жизнеописаниях»), которое сразу напоминает о том, что перед нами не замкнутая в себе биография, но как бы «глава», тематический раздел, эпизод истории римских цезарей. Широко распространены формы, совмещающие обзорно-историческое и биографическое изложение: такое сочетание особенно обычно для истории наук и искусств (характерные заглавия эллинистических сборников «О поэтическом искусстве и о поэтах», «О живописи и прославленных живописцах»; исторические разделы «о грамматиках и риторах» Светония, гл. 1—4 и 25), но не чуждо и сборникам биографий государственных людей (обзорная глава «о царях» в сборнике Непота, гл. 20—21).[20] В «Цезарях» Светония такой контаминации истории и жизнеописания препятствует большая разработанность биографической формы, но и там самый порядок повременного следования биографий с необ-

---

[18] Ср.: И. Троицкий. Обозрение источников начальной истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1907; D. C. Buttler. The Lausiac History: a critical discussion. Cambridge, 1904 (Texts and studies, VI, № 1); R. Reitzenstein. Historia monachorum und Historia Lausiaca (Forsch. z. Religion. . ., XXIV, 1916).

Жанр монашеской διήγησις и впоследствии процветал в Византии: самые прославленные примеры — Λειμών Софрония и Λειμωνάριον (русское «Лимонарь») Иоанна Мосха. На Руси такие сборники назывались патериками. Однако мы предпочли взять для сравнения с античными сборниками биографий и апофтегм философов именно Палладия потому, что у него «житийная» специфика еще не так поглощает интерес к факту.

[19] Биография начинается с того момента, на котором окончилась предыдущая, т. е. с воцарения Отона: ὁ δὲ (частица δὲ подчеркивает непосредственное продолжение повествования) νεώτερος αὐτοκράτωρ ἅμ' ἡμέρα προελθὼν εἰς τὸ Καπιτώλιον ἔθυσε. . .

[20] А что представляют собой поздние латинские бревиарии вроде «De viris illustribus urbis Romae» или сочинений Аврелия Виктора и Евтропия — распадающуюся на биографические очерки «историю» или сливающиеся в «историческое» повествование vitae?

ходимостью вызывает разделы, по своему содержанию стоящие вне биографической структуры и только «приписанные» к тому или иному жизнеописанию [21].

Одним из частных следствий той ориентированности на некоторое конкретное тематическое единство, лежащее вне пределов единичной человеческой жизни (история династии, historia artis), которая присуща «нормальному» типу античного биографического сборника, является установка на исчерпывающую «каталожность». Костяк такого сборника — хронологический перечень имен, вроде того, который дает для 12-ти цезарей Авсоний в своих моностихах (CCVI). Поэтому автор сборника нимало не смущается, если все, что он может сообщить о том или ином своем герое, и сводится к имени (но включенному в какую-то схему, причисленному к какой-то рубрике), как это часто приходится делать тому же Диогену Лаэртскому. Требовать от такой биографии целостности, архитектонической замкнутости, уравновешенности с другими и т. п. было бы так же странно, как ожидать этих свойств от статьи в справочном издании[22]. Здесь императив иной — полнота перечисления: «. . . Hortaris, Dexter, ut. . .ecclesiasticos scriptores *in ordinem digeram* et quod ille (т. е. Светоний) *in enumerandis* gentilium litterarum viris fecit. . .ego in nostris faciam», — определяет свою задачу Иероним[23]. Еще на заре эллинистической биографии эта тенденция получила образцовое для всей поздней античности воплощение в грандиозных био-библиографических перечнях Каллимаха: Πίνακες τῶν ἐν πάσῃ παιδείᾳ διαλαμψάντων καὶ ὧν συνέγραψεν (в 120 книгах) и Πίναξ καὶ ἀναγραφὴ τῶν κατὰ χρόνους καὶ ἀπ'ἀρχῆς γενομένων διδασκάλων [24].

В обычном биографическом сборнике жизнеописания как бы «лепятся» друг к другу, их архитектоническая вычлененность

[21] Например, «Гальба», 1 представляет по существу послесловие ко всему разделу сборника, посвященному Юлиям — Клавдиям. Ср. также «Веспасиан», 1 и др.

[22] Было бы упрощением объяснять это исключительно тем, что мы имеем дело с «научной», чуждой «беллетристичности» биографией. Если это можно сказать о Диогене, то Светоний, как хорошо показал Штайдле (указ. соч.), с точки зрения античных критериев далеко не стоит за пределами belles-lettres; не чужд стремления к литературному изяществу и ciceronianus Иероним. Вообще античную биографическую литературу гораздо труднее разделить на Kunst и Wissenschaft, чем это представлялось Лео.

[23] «De viris illustribus», praef. 1. Об «инвентаризирующей тенденции античной биографии интересные замечания в статье: A. Gudemann. Satyros ὁ περιπατετικός. — RE, 2° Reihe, III, 1921, Sp. 228—235.

[24] Даже если мы не примем заманчивую гипотезу Лео (указ. соч., стр. 131), согласно которой πίνακες Каллимаха были с самого начала задуманы как своего рода пособие или предварительная наметка для коллективной биографической работы александрийских ученых (или персонально для ученика Каллимаха—Гермиппа), не подлежит сомнению, что практически они играли именно такую роль на протяжении не одного столетия греческой биографии.

и противопоставленность друг другу очень слаба. Совершенно естественно поэтому, что соотношение их объемов не регулируется ничем, кроме объема материала, которым располагал автор о том или ином из своих героев: в зависимости от количества сведений биография может разрастаться ad libitum или сокращаться до голого имени. Обычно количество материала более или менее пропорционально значению героя биографии: мы находим естественным, что жизнеописания Цезаря и Августа занимают почти половину объема «Цезарей» Светония[25]. Так же странно было бы удивляться тому, что объем Диогеновой биографии Платона примерно в 659,2 (!) раза превышает величину его же заметки о Кебете Фиванском. Но эта чисто автоматически возникающая «пропорциональность» совершенно случайна: у Непота биография Аристида занимает 48 строк тейбнеровского издания[26], биография Евмена — 324 строки (в 6,75 раза больше), не говоря уже о 509 строках биографии Аттика (в 10,6 раза больше). Так и Иероним уделяет некоему Поликрату Эфесскому примерно в 10 раз больше места, чем Василию Кесарийскому или Амвросию Медиоланскому. Наши примеры взяты наугад и могут быть неограниченно увеличены на материале любых других биографических сборников античности, например биографий риторов Филострата и Евнапия.

Возвращаемся от нашей затянувшейся характеристики биографических сборников классической древности вообще к «Параллельным жизнеописаниям».

Первое, что мы должны отметить, — это то, что уже сама по себе плутарховская система группировки биографий, решительно порывающая с эмпирией времени и места, тем самым создает предпосылки для несравнимо более обособленного, замкнутого, самостоятельного положения биографии (и промежуточного целого — пары биографий) в рамках сборника, чем это можно наблюдать во всех известных нам биографических циклах античности[27]. Конечно, жизнеописания Плутарха подчинены некоторому тематическому единству — в своей совокупности они создают цельный идеализированный образ греко-римской госу-

---

[25] О смысловом месте этих двух образов см.: М. Гаспаров. в кн.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964, стр. 276.

[26] Мы пользовались изданием: Vitae, post C. Halmium rec. A. Fleckeisen. Lipsiae, 1890. Вот еще выборочные данные в этом же исчислении «Кимон» — 77,5; «Алкивиад» (излюбленный герой эллинистической биографии) — 286; «Фокион» — 77; «Датам» — 257 (!); «Гамилькар» — 75; «Ганнибал» — 292; «Катон» — 62.

[27] Принцип построения Плутархова сборника был, несомненно, беспрецедентным; удивление, которое он вызывал, передает известная эпиграмма Агафия (Anth. Palat., XVI, 331). Впоследствии схему Плутарха воспроизвел его подражатель Аминтиан; о его сборнике известно, что в нем Дионисий Сиракузский шел в паре с Домицианом и Филипп Македонский — с Августом (ср. RE, I, 1896, стлб. 2008).

дарственной и моральной цивилизации; но единство это носит слишком абстрактный характер, чтобы идти в сравнение с обычными темами античных биографических сборников. «Параллельная» расстановка героев есть прежде всего радикальный способ уйти от всякой контаминации биографических и исторических принципов организации изложения[28]. Для Плутарха каждый из его героев есть автономная морально-психологическая проблема, и он ничем не мог отчетливее выявить свой подход, как изъяв героя из диахронической последовательности истории и поставив его лицом к лицу с человеком иного времени и иного народа. Разумеется, это «антиисторизм», но было бы в свою очередь неисторическим забывать, что без него были бы невозможны достигнутые в «Параллельных жизнеописаниях» возможности психологической рефлексии и пластичной, выпуклой, разработанной биографической характеристики.

Но если биографии Плутарха не могли просто «лепиться» друг к другу на правах рубрик или эпизодов единого, слабо расчлененного изложения, если они не нанизывались на шнурок хронологии, — это ставило перед их автором особые проблемы, которых не знала античная биография в целом. Нужно было заново привести к единству и равновесию эти замкнутые в себе и в самих себе имеющие свою внутреннюю центрированность единицы изложения.

Конечно, Плутархов сборник [29] образовывал единство уже (и прежде всего) в силу такой наглядной внешней особенности, как унифицированный (слегка варьирующийся лишь в случае тетрады Агид—Клеомен—Гракхи) способ группировки биографий [30]. Можно было бы сказать также, что сборник «Параллельных жизнеописаний» объединен общей мыслью, общим пониманием материала. Однако и первый признак, слишком внешний, и вто-

---

[28] Мы говорим именно об организации изложения, а не о материале. Как известно, у Плутарха есть биографии, почти не дающие собственно личных сведений и построенные в основном на чисто историческом (resp. легендарном) материале, — например, «Аристид», куда вошла чуть не вся история греко-персидских войн, и особенно «Нума» и «Ликург».

[29] По всей вероятности, сборник издавался самим Плутархом в порядке отдельных пар биографий: противоположное мнение выдвигалось в нашем веке только И. Мевальдтом («Hermes», XLII, 1907, стр. 564—578), но было убедительно опровергнуто (см.: C. S t o l t z. Zur relativen Chronologie der Parallelbiographien Plutarchs. Lund, 1929, «Lunds universit. Arssk.», N. F. I, XXV, 3, 58—95). Излишне доказывать, однако, что у самого Плутарха постоянно проявляется принципиально для него важное отношение ко всему сборнику в целом как к единству — достаточно напомнить постоянно цитируемые вступления к «Эмилию Павлу» и Тесею».

[30] Еще одним чисто внешним скрепляющим фактором должно было служить общее посвящение всех биографий Соссию Сенекиону, которое было, по убедительной гипотезе К. Циглера (указ. соч., стлб. 689), предпослано недошедшей, но первоначально открывавшей сборник паре «Эпаминонд — Сципион».

рой, характеризующий исключительно сферу содержания, сами по себе содержат скорее требование собственно литературной целостности, нежели ее гарантию.

Одним из элементарнейших компонентов облика литературного произведения является его объем. Эта сторона дела, очень важная для непосредственного читательского восприятия, не привлекала к себе внимания исследователей литературной формы античной биографии, — вероятно, именно по своей элементарности (иногда кажется, что своего рода потребность в соблюдении хорошего тона постоянно побуждала Лео полностью абстрагироваться от количественных показателей)[31].

Между тем очевидно, что при подлинно конкретном подходе более сложные конструктивные компоненты литературного текста должны быть соотнесены с его протяженностью.

Как уже говорилось выше, античный биографический сборник обычного типа не знает уравновешивания объемов своих составных частей. Это и понятно. В строго деловой биографии типа жизнеописаний Диогена объем непосредственно определен количеством наличных сведений. В более «беллетристической» биографии порядка «Жизнеописаний софистов» Филострата и Евнапия или в позднейших агиографических циклах вроде уже упоминавшегося «Лавсаика» Палладия самое резкое противопоставление объемов отдельных биографий, структурно осмысленных как эпизоды единой διήγησις (см. выше) не только не избегается, но скорее желательно как фактор ποικιλία; этому вполне аналогична разница в объемах λόγοι у Геродота.

У Плутарха, несомненно, существует (возможно, подсознательно) некоторое представление о норме объема его жизнеописаний. В пределах сборника он старается от этой нормы не отклоняться. Конечно, норма эта жесткая, и Плутарх весьма далек от педантической унификации объема своих биографий. Но присутствие ее чувствуется и немало способствует формальному единству сборника.

Приводим цифры (объем каждой биографии исчислен в количестве строк — с точностью примерно до 0,25 строки — по старому тейбнеровскому изданию К. Синтениса).

Данные по тетраде «Агис — Клеомен — Гракхи» следует рассматривать отдельно, поскольку структура тетрады приравнивает отдельной биографии обычной пары не биографию, но скорее пару своих жизнеописаний. Эти данные суть: «Агис» — 607,5; «Клеомен» — 1230; «Тиберий Гракх» — 675, «Гай Гракх» — 559. Первая пара в совокупности дает 1937,5 строки, вторая — 1234 строки: обе цифры вполне соответствуют нормам, которые можно констатировать на нижеследующей таблице:

---

[31] Например, указ. соч., гл. 2 (сопоставление «Цезарей» и биографий грамматиков, риторов и поэтов у Светония).

1. «Помпей»	2748,5	22. «Ликург»	1248
2. «Александр»	2719	23. «Кориолан»	1237
3. «Антоний»	2527	24. «Тимолеонт»	1230
4. «Катон Младший»	2244,22	25. «Никий»	1214,5
5. «Цезарь»	2190	26. «Солон»	1129,75
6. «Лукулл»	1808,5	27. «Марцелл»	1124
7. «Марий»	1699,5	28. «Фокион»	1117
8. «Деметрий»	1668	29. «Лисандр»	1092
9. «Дион»	1607,5	30. «Аристид»	1079,5
10. «Цицерон»	1602,5	31. «Фемистокл»	1069
11. «Брут»	1596	32. «Катон Старший»	1054
12. «Сулла»	1528	33. «Тесей»	1034
13. «Агесилай»	1447	34. «Фабий»	1014,75
14. «Пирр»	1431	35. «Нума»	981
15. «Красс»	1373	36. «Серторий»	922
16. «Камилл»	1370,25	37. «Кимон»	789
17. «Алкивиад»	1358	38. «Попликола»	778
18. «Перикл»	1343,25	39. «Тит Фламинин»	775
19. «Эмилий Павел»	1282	40. «Евмен»	761,5
20. «Ромул»	1255	41. «Филопемен»	761
21. «Пелопид»	1253	42. «Демосфен»	732

Жизнеописания Арата и Артаксеркса не образуют пары и не входят в цикл «Параллельных жизнеописаний»[32]. Однако они были подверстаны к нему в силу очень давнего недоразумения (уже для Фотия «Арат» и «Артаксеркс» относились к «Параллельным жизнеописаниям», см. «Библиотека», cod. 245; то же в так называемом «Ламприевом каталоге», № 7). Здесь мог действовать объем этих биографий, вполне соответствующий нормам нашей таблицы: 1592 строки и 1276 строк. Биографическая техника обоих жизнеописаний также однородна с системой приемов «Параллельных жизнеописаний». Напротив, совсем иные цифры дают две биографии, сохранившиеся от раннего биографического цикла Плутарха: «Гальба» — 750 строк, «Отон» — 568,5 строки.

Возвращаемся к нашей таблице. Конечно, приведенные в ней цифры достаточно разнятся между собой — без сопоставления с соответствующими данными по другим сборникам античных биографий может, пожалуй, показаться, что они не подтверждают, а опровергают наше положение о количественной нормированности Плутарховых жизнеописаний. На деле это не так. Если самая объемистая биография сборника превышает самую краткую примерно в 3,754 раза, то эта разница совсем невелика даже сравнительно с разницей между «Божественным Августом» и «Божественным Титом» Светония (в 9,157 раза), не говоря о цифрах, которые можно было бы подобрать по Диогену (ср. выше) по SHA и т. п. Подавляющее большинство биографий (29 из 42 — при исключении тетрады) имеет объем в пределах амплитуды 2000—1000 строк.

Важно и другое. Распределение объемов между отдельными биографиями по возможности учитывает степень важности их

[32] См.: Циглер. Указ. соч., стлб. 398, примечание 1.

героев. Конечно, если на первых местах по объему стоят не дорогие сердцу Плутарха греки полисной поры, а (вместе с очень важным для Плутарха[33] Александром) римляне конца республики, то это предопределено перевесом в количестве материала. Но Диона, Агесилая, Алкивиада, Перикла мы также встречаем на достаточно почетных местах нашей таблицы. Наименьший объем отведен действительно малозначительным Попликоле, Титу Фламинину, Эвмену, Филопемену и Демосфену, к которому Плутарх относился с несправедливой антипатией. Примечательно, что Катону Младшему и Цезарю (объект синкрисиса уже у Саллюстия), Цицерону и Бруту, Алкивиаду и Периклу, Аристиду и Фемистоклу — героям исторически особенно близким друг другу, но в системе «Параллельных жизнеописаний» разнесенным по разным парам — отведено почти одинаковое место.

Мы не можем в пределах этой статьи показать с достаточной наглядностью, при помощи каких технических средств Плутарх достигает этого количественного равновесия, преодолевая резкие различия в объеме материала. Ограничимся общим указанием на регулирующую роль ассоциативного введения дополнительного материала через отступления, экскурсы и т. д. Этими элементами особенно изобилуют жизнеописания малого объема, где чувствовался недостаток собственно биографического материала: напротив, такие биографии, как «Александр», «Помпей», «Цезарь», почти не имеют столь характерных для Плутарха отступлений и допускают их только по необходимости.

По-видимому, современное читательское восприятие требует от популярного, беллетристически оформленного биографического сборника известного равновесия между объемами составляющих его жизнеописаний, так что и в этом Плутарх ближе к нашему пониманию биографии, чем остальная биографическая литература античности. Разумеется, это наблюдение еще нуждается в проверке на конкретном материале.

---

[33] Ср. две юношеские декламации «Об удаче или доблести Александра»; первая гораздо более содержательна и характерна для Плутарха, чем это казалось Циглеру (указ. соч., стр. 721—724; ср. предисловие М. Поленца в кн.: Plutarch. Moralia, übers. v. W. Ax, Leipzig, 1950, S. XVIII).

Л. А. Фрейберг

КОМПОЗИЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАКТАТА ПЛУТАРХА «КАК ЮНОШЕ СЛУШАТЬ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

Для софистики периода поздней античности, называемой обычно «второй софистикой» (I—IV вв. н. э.), характерно стремление изучить и сохранить наследие классической эпохи, отобрать из него наиболее значительное и дать свою оценку тем авторам и произведениям, которые пользовались известностью в это время. Удобным подступом к оценке был метод сравнения σύγκρισις, применяемый в различных областях литературного творчества и хорошо известный нам по «Параллельным жизнеописаниям» Плутарха. О проникновении этого метода в литературоведение можно судить на основании хотя и немногочисленных, но достаточно убедительных фактов. А именно, в числе «Моралий» Плутарха находится краткое изложение, по всей вероятности, большого в первоначальном виде сочинения — «Сравнения Аристофана с Менандром»; в перечне несохранившихся произведений ритора Цецилия мы находим «Сравнение Демосфена и Цицерона» и «Сравнение Демосфена и Эсхина».

Весьма распространенным и актуальным был вопрос об отборе отдельных произведений и авторов в целом, которыми следовало руководствоваться в деле воспитания юношества. Можно указать здесь на канон древних авторов, составленный Квинтилианом для риторских школ (Inst., X, 8). Из специальных сочинений на эту тему полностью сохранились восемнадцатая речь Диона Хрисостома «Об упражнении в искусстве речи» и трактат Плутарха «Как юноше слушать поэтические произведения». Как указывают сами названия, тема отбора лучших произведений классической древности трактуется у каждого автора в соответствии с его целью. Дион стремится дать начинающему оратору ценный материал как в отношении языка, так и по содержанию, материал эффектный и увлекательный для слушателей; Плутарх видит в эллинской литературе средство и помощь для того, чтобы подготовить юношество к восприятию философии. Краткая речь Диона написана легким, доступным языком и легко воспринимается по композиции. Диапазон указанных в ней авторов

довольно ограничен (Гомер, Еврипид, Менандр, Ксенофонт и некоторые мало известные историки). Трактат Плутарха обстоятелен, что, главным образом, вызвано необходимостью изложить большие теоретические вопросы искусства поэзии (например, теория подражания, вопросы стиля); в нем обнаруживаются следы использования множества различных источников, упоминается масса имен, — и все же при чтении этого безусловно ценного памятника дидактической литературы римского периода можно убедиться, что изложение Плутарха выходит за пределы сухого и специального языка.

Трактат Плутарха разбирался во многих аспектах. «Одна эта книжка, меньше, чем в 60 страниц, открывает нам возможность наблюдать всего Плутарха», — писалось о нем в начале XX в.[1]. Исследовались вопросы отношения Плутарха к отдельным авторам, к Гомеру, к лирическим поэтам, к трагикам, изучались источники этого произведения[2].

В последнее время внимание ученых привлекла концепция сущности и назначения поэтического искусства, изложенная Плутархом, главным образом, в этом трактате[3]. Но не менее интересной представляется и другая сторона, а именно, — композиция трактата, содержащиеся в нем художественные приемы и стилевые особенности.

Короткая вступительная часть трактата представляет собой обращение к некоему Марку Седатию[4]. Плутарх осуждает увлечение молодежи легкомысленной и низкопробной литературой в ущерб занятиям философией.

Затем излагается цель произведения: оградить от вредных влияний младшее поколение — сверстников возраста Соклара, сына Плутарха, и Клеандра, сына Марка Седатия, и научить их воспринимать поэзию в определенном плане.

За этим посвящением следует основная, повествовательная часть, которая отчетливо делится на три тематических отдела: 1) определение сущности поэзии и поэтического творчества (главы I—VI); 2) восприятие юношей читаемого (главы VII—X); 3) практические советы преподающему (главы XI—XIV). Мысли автора развиваются в строгой логической последовательности.

---

[1] J. J. Hartmann. De Plutarcho scriptore et philosopho. Lugd. Bat., 1916, p. 12.

[2] A. Schlemm. De fontibus Plutarchi commentationum De audiendis poetis. et De fortuna Romanorum. Göttingen, 1893; A. Mühl. Quomodo Plutarchus Chaeronensis de poëtis scaenicis iudicaverit. Neuburg, 1901; H. Amoneit. De Plutarchi studiis Homericis. Königsberg, 1887.

[3] G. v. Reutern. Plutarchs Stellung zur Dichtkunst. Interpretation der Schrift De audiendis poëtis. Kiel, 1932; K. Schläpfer. Plutarch und klassische Dichter. Zürich, 1950; L. Scazzochio. Poetica y critica letteraria en Plutarco. Montevideo, 1957.

[4] Имя это (видимо, одного из друзей Плутарха) больше нигде не упоминается.

Природа поэзии двойственна. Наряду с приятным и полезным началом в поэзии содержится и нечто такое, что может внести разлад в душу читателей. Следует ли отказаться от чтения поэтических произведений? Плутарх дает на это следующий ответ: «Желающим заниматься философией следует не избегать поэзии, а учиться философски мыслить уже при чтении поэтов». Дальше автор обращается к отрицательной стороне поэзии. Реальность воспроизводится поэзией лишь условно. Поэты искажают действительность отчасти умышленно, предпочитая правде вымысел как материал, легко поддающийся всякого рода изменениям, а отчасти и непроизвольно, касаясь вещей мало им знакомых, как например, вопросы, связанные с богами, прибегая однако при этом к «нагромождению страшных слов», которые и воздействуют скверно на душу слушателя.

Но без вымысла нет поэзии, говорит Плутарх, подкрепляя эту мысль авторитетом Сократа. Поэтому он переходит затем к анализу поэзии как подражательного искусства и делает вывод, что искусство подражания важнее воспроизводимого объекта. В ряде случаев поэт сам может выразить свое отношение к тому, что он изображает. Эти оценки самого автора читатель должен научиться быстро и правильно воспринимать. В случае отсутствия такой возможности необходимо привлекать материал из других авторов. За этим следуют главы, посвященные восприятию и пониманию поэтических текстов и, наконец, седьмая глава, в которой осуществляется переход к следующей теме, повторяет тему двойственности поэзии, но уже в измененном виде. Теперь Плутарх говорит уже не о положительном и отрицательном началах поэзии, а о сочетании более сложных и противоречивых свойств этого подражательного искусства, которое «использует прикрасы и блеск для изображения событий и нравов, а с другой стороны стремится к правдивости, потому что подражание успешно лишь тогда, когда оно убедительно».

Так, подытоживая все сказанное, писатель незаметно переносит главное внимание на юношу, которому предстоит знакомиться с поэзией. Преподносится ряд конкретных случаев анализа отдельных мест из эпоса и трагиков. Настоятельно подчеркиваются требования сознательного отношения к читаемому и четкого различия хорошего и плохого, причем на первом плане для Плутарха — содержание, на втором — форма: «Сначала пусть юноша разберется в положительных и отрицательных персонажах и характерах данного произведения, а затем уже присматривается к словам и поступкам, которыми поэт наделил соответственно каждое действующее лицо» (гл. 10).

И опять этот вывод, которым заканчивается второй тематический раздел трактата, служит переходом к третьему и последующему разделу — к наставлениям преподающему, главная обязанность которого, по мнению Плутарха, состоит в том, чтобы в

случае необходимости извлечь и показать читателям полезную и нужную часть поэзии. С этим связаны практические указания в заключительных главах — извлечение положительных примеров, возможные конъектуры в текстах, по примеру стоиков, широкое применение мыслей, содержащихся в данном произведении.

«Хорошее руководство в чтении необходимо юноше для того, чтобы никто его не осуждал предвзято, — заканчивает Плутарх свой трактат, — ведь получив предварительную подготовку, юноша перейдет от поэзии к философии, уже любя эту науку и чувствуя в ней себя как дома».

Плутарх по языку и стилю занимает промежуточное положение между сторонниками строгого аттицизма и азианистами. Неправильные конструкции, цветистость, обилие риторических фигур и вместе с тем тщательная обработка лексики и фонетической стороны (избегание столкновения гласных — зияний) создали писателю репутацию «вольного приверженца архаического стиля» (Der freie Archaist) [5]. Все эти свойства нашли свое полное выражение и в рассматриваемом трактате. В данном случае мы остановимся на некоторых художественных приемах, которые делают чтение трактата легким и увлекательным.

Обращение к Марку Седатию начинается параллелизмом: по мнению поэта Филоксена, в изысканно приготовленном мясе или рыбе больше всего ценится отсутствие их подлинного вкуса. Это утверждение нелепо, но оно приложимо к молодежи, которая увлекается тем, «что далеко от серьезных философских рассуждений».

Этот параллелизм как бы дает основной тон всей первой (теоретической) части. Поэзия — духовная пища, которая может быть доброкачественной и недоброкачественной, — поэтому все изложение первого круга вопросов сопровождается соответствующими сравнениями. Например, наслаждение от чтения сравнивается со вкусной приправой, двойственная природа поэзии — с головой полипа [6], вымысел в поэзии — с мандрагорой, которая «сообщает свой букет вину и скрашивает сон опьяневших» [7], ложные убеждения поэтов — с отравой в пище [8].

Интересно изменяется содержание сравнений в последней части, где желая подчеркнуть всю трудность и ответственность труда преподающих и воспитателей, Плутарх обращается к наиболее распространенному во все времена символу трудолюбия — к образу пчелы. Сравнение это приходит не сразу, оно подготовлено определенным логическим ходом мысли: три главы подряд, десятая, одиннадцатая и двенадцатая, начинаются сравнениями,

---

[5] E. Norden. Die antike Kunstprosa, Bd. 1. Stuttgart, 1958, S. 724.
[6] Гл. 1; голова полипа — лакомое блюдо у древних.
[7] Гл. 2.
[8] Там же.

представляющими достаточно четко эту внутреннюю динамику. Приведем эти сравнения полностью.

Глава 10: «Нередко, подобно плоду, затерянному в листьях лозы и в молодых побегах, полезная и нужная часть поэзии *скрыта* в поэтических выражениях и мифах. Ни терпеть, ни избегать этого нельзя.

Глава 11: «На лугах и пастбищах пчела *ищет* цветы, коза — зеленые побеги, свинья — корни, а иные животные — семена и плоды. Также и в чтении поэтических сочинений один тщательно исследует содержание, а другого целиком захватывает красота слов и их расположение».

Глава 12: «Пчела, в силу природного инстинкта, *выискивает* в душистых цветах очень сладкий и очень нежный мед. Так и дети, если они будут правильно воспринимать поэтические произведения, так или иначе научатся извлекать нужное и полезное даже из тех мест, которые дают повод к нелепым и дурным подозрениям».

Подобные сравнения эпического масштаба — лишь одна часть художественного фонда Плутарха. Там, где возникает необходимость в большей убедительности, писатель прибегает к смелым и сильным метафорам.

Так, он говорит о поэзии, которая временами «в погоне за одним только удовольствием и славой, не зная меры, с необузданной дерзостью и наглостью, открывает нам свою фантастичность и неестественность. В этом случае мы помешаем ей и заставим ее замолчать[9].

Суждение о дидактической поэзии настолько ярко, что на него, в той или иной связи, обращали внимание все исследователи: «Поэмы Эмпедокла и Парменида, сочинение о животных Никандра и гномические изречения Феогнида — все это произведения, которые взяли взаймы у поэзии размер, чтобы избежать хождения пешком»[10].

Изложение у Плутарха часто прерывается шутками, анекдотами, назначение которых, видимо, заключается в том, чтобы дать слушателям небольшую передышку. Интересно, что такие отступления иногда следуют после особенно серьезных мыслей и выводов. Анекдот о хромом Демониде, который мечтал, чтобы украли его сапоги, но не нашлось вора, которому они подошли бы, служит заключением к анализу подражательного начала поэзии[11]. Рассуждения о противоречии в поэтических произведениях

---

[9] Глава 1. Следует отметить, что это сравнение напоминает II главу «Сравнения Аристофана с Менандром»: «Его поэзия подобна уличной девке, в зрелом возрасте подражающей замужней женщине».

[10] Глава 2. См.: J. W. H. Atkins. Literary criticism in antiquity, vol. II. London, 1932, p. 372; K. Schläpfer. Plutarch und klassische Dichter. Zürich, 1950, S. 44 u. a.

[11] Глава 3.

подкрепляются ссылкой на остроумное замечание Мелантия: «город афинян долго спасала распря среди ораторов».

Вторая половина трактата, как сказано, содержит в основном толкование отдельных мест из греческих авторов. Плутарх хорошо владеет иллюстративным материалом, он свободно цитирует эпос и трагиков, поэтому и сами объяснения у него живы и содержательны.

Почти во всех этих толкованиях, при изложении отрывков эпоса, он употребляет настоящее время (praesens historicum), что не только создавало контакт лектора и аудитории, но и усиливало впечатление от разбираемого эпизода.

Приведем такой пример. Анализируя XXIV песнь «Илиады», Плутарх говорит об Ахилле: «Человек суровый, горячий, легко поддающийся гневу, не лицемерит, а всеми силами остерегается того, что может раздражать его»[12].

Таким образом, трактат о слушании поэтических произведений представляет собой отнюдь не сухое изложение научных фактов, а живую, занимательную беседу автора с читателем. Четкая композиция, использование риторических средств, постоянное обращение к разнообразному иллюстративному материалу свидетельствует о большом педагогическом и литературном мастерстве Плутарха.

О том, что это – запись прочитанной писателем лекции, можно заключить из следующих слов вступительной части: «Я написал и решил послать тебе то, о чем я недавно говорил в беседе о произведениях поэтов» [13].

В отличие от многих других сочинений Плутарха, это сочинение поддается довольно точной датировке. Сыну Плутарха Соклару должно было быть от 12 до 15 лет, когда мог встать вопрос о выборе чтения для него. Наиболее вероятной датой женитьбы Плутарха принято считать начало 70-х годов. Следовательно, данный трактат написан в 81—85 гг. н. э.[14]. Это были годы правления Домициана — мрачное время жестокого террора. Эдикт против философов, изданный императором после расправы с участниками философской оппозиции, запрещал ученым длительное пребывание в Риме. Это повлекло за собой резкое снижение образованности, упадок культуры, о котором современник Плутарха, Тацит, сказал: «Наше время, опустошенное, лишенное славы красноречия, едва сохранило даже название «оратор»[15].

---

[12] Глава 11.

[13] Это место дало основание Виттенбаху утверждать, что трактат — не подлинное произведение Плутарха, а конспект лекции, составленный кем-то из учеников писателя. Как уже доказал Шлемм, это предположение лишено всяких оснований. Ср.: D. Wittenbach. Animadversiones in Plutarchi «Moralia». Lipsiae, 1807.

[14] F. Ziegler. Plutarch v. Chäronea. — PWRE, Bd. 41, S. 709.

[15] Tac. Dial. de or., 1.

В трактате Плутарха мы находим горячее стремление поднять образованность современного ему общества, путь к этому он видит в усиленном занятии философией. Сознавая, что литература его времени уже не может подняться до уровня бессмертных произведений авторов классического периода, Плутарх стремится максимально использовать наследие в первую очередь Гомера и великих греческих трагиков. В трактате звучит тема гордости за свою родину, которой суждено было уже в те времена играть ведущую роль в области культуры и образования.

В этом отношении интересен конец десятой главы, где изложение эпизода столкновения троянцев с греками в X песне «Илиады» сопровождается следующими сентенциями: «Предусмотрительность свойственна утонченным натурам эллинов, а безрассудное дерзание и удальство — дурным людям и варварам» или «Умолять и быть побежденным — дело варваров, а эллины могут лишь побеждать в сражении или умирать».

Все это дает основание считать трактат Плутарха одним из выдающихся произведений не только в числе «Моралий», но и среди произведений поздней греческой литературы.

Т. В. Попова

ТРАКТАТ ЮЛИАНА «ПРОТИВ ГАЛИЛЕЯН»

Трактат императора Юлиана «Против галилеян» посвящен критике христианского вероучения. По свидетельству Либания, трактат написан зимой 362—363 гг. в Антиохии. «Юлиан прибыл в великий город Антиоха . . . Здесь много было проведено процессов, много издано законов, написано много книг в защиту богов» [1]. «Когда же наступили долгие зимние ночи, Юлиан, попрежнему неустанно трудясь над своими прекрасными творениями, обратился к изучению тех книг, в которых человек родом из Палестины выдается за бога и сына божия; и в пространной полемике, силою своих доводов Юлиан доказал, что такое почитание смешно и называется пустословием; он проявил себя в этом труде мудрее тирийского старца» [2].

К сожалению, это произведение Юлиана дошло до нас не полностью. Мы располагаем только первой его книгой, да и то частично: от нее сохранились довольно значительные отрывки: их цитирует христианский автор V в. Кирилл Александрийский во II и VII книгах труда «Против сочинений безбожного Юлиана» [3]. По свидетельству Кирилла Александрийского, сочинение Юлиана состояло из трех книг[4], а по свидетельству Иеронима — из семи [5].

Приведенные Кириллом цитаты собрал К. Нейман и на их основе реконструировал трактат Юлиана, озаглавив его «Против христиан»[6]. Заголовок неверен, ибо Григорий Назианзин свидетельствует о том, что Юлиан всегда называл христиан галилея-

---

[1] Л и б а н и й. Монодия на Юлиана, §§ 17, 18. Цитаты из речей Либания здесь и далее даны в переводе С. Шестакова с небольшими стилистическими изменениями (Л и б а н и й. Речи, т. I, II. Казань, 1914—1916).

[2] Л и б а н и й. Надгробная речь Юлиану, § 178. Тирийский старец — философ-неоплатоник Порфирий (III—IV вв.) родом из Тира, автор несохранившегося сочинения «Против христиан».

[3] PG, t. 76. Небольшие отрывки из этого сочинения перевел на русский язык В. В. Латышев (см. ВДИ, 1948, № 4, стр. 225—226).

[4] Там же, I, 3, 4 и VI, 3.

[5] И е р о н и м. Письмо к Магненсию, IV, 2.

[6] «Juliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt. Rec. K. Neumann». Lipsiae, 1880.

нами[7]. Действительно, в тексте сохранившейся части трактата и других сочинений, особенно писем, где Юлиан очень часто говорит о христианах, он всегда называет их Галилеянами.

Насколько можно судить по первой книге трактата, замысел автора заключался в следующем: сначала дать критику основных положений Ветхого Завета, затем — Нового. Критика Ветхого Завета сохранилась до настоящего времени, а о замысле Юлиана подвергнуть критике Новый Завет мы знаем на основании следующих высказываний самого автора: в одном месте первой книги он говорит о своем намерении «исследовать в дальнейшем коварство и обман Евангелий» (218 А)[8]. Немного далее, касаясь вопроса о происхождении Христа, Юлиан пишет: «Ведь Матфей и Лука уличаются в том, что они придерживаются различных взглядов на родословие Христа. Но мы, намереваясь тщательно исследовать всю правду во второй книге, сейчас отложим это» (253 Е).

Кроме того, критика Ветхого Завета на протяжении последней трети книги ведется с вполне определенной целью: доказать, что в Ветхом Завете нет ни одного пророчества относительно рождения и появления Христа, и тем самым уничтожить важную опору христианской религии. Таким образом, весь пыл своей полемики Юлиан стремился направить в основном только против христиан. Именно поэтому первые же цитируемые Кириллом строки юлиановского произведения дышат яростным гневом против людей, исповедующих новую веру. Они свидетельствуют о давно сдерживаемой автором ненависти к этим людям, ненависти, наконец-то прорвавшейся. «Мне кажется, — говорит Юлиан, — настало время рассказать всем, каким образом я пришел к убеждению, что коварные происки галилеян — самая настоящая выдумка людей, склонных к пороку; в них нет ничего божественного; только любителям всяческих вымыслов, ребячества, душам глупым и неразумным выгодны эти происки, в результате которых небылица принята за истинную веру» (39 АВ).

В силу того, что трактат Юлиана известен лишь в отрывках, полностью охарактеризовать его художественную сторону невозможно: мы не в состоянии проследить даже композиционную линию этого произведения. О ней мы знаем только по следующему изложению Юлианом плана своих рассуждений: «Вначале следует немного сказать о том, откуда и каким образом к нам при-

[7] Григорий Назианзин. Первое обличительное слово против императора Юлиана, § 76 (PG, t. 35, p. 645).

[8] Перевод отрывков из трактата Юлиана здесь и далее мой. — *Т. П.* Сделан перевод по изданию «The works of the emperor Julian, translated by W. C. Wright». London, 1923, v. 3 («Loeb classical library, ed. by E. Capps, T. E. Page, W. H. D. Rouse»). Пагинация греческого текста трактата Юлиана в том виде, в каком мы его имеем в настоящее время в этом издании, соответствует пагинации в издании Шпангейма 1696 г. сочинения Кирилла Александрийского «Pro christiana religione».

шло понятие о боге; затем сравнить, что рассказывается о божественном у греков, а что — у евреев. После этого мы спросим у того, кто ни грек и не еврей, но кто принял учение галилеян: почему они предпочли мнение галилеян нашему? Затем, почему они и этому мнению не остались верны, а отказались от него и пошли своим собственным путем, утверждая, что нет ничего хорошего и незыблемого ни у нас, греков, ни у евреев, которые следуют закону Моисея» (42 Е—43 А).

Как видим, этому плану нельзя отказать в последовательности, четкости. Но из-за отрывочного состояния текста вряд ли можно правильно судить о том, как сочеталась одна часть рассуждений автора с другой, а также о том, насколько точно и последовательно выдержан этот план в целом. И все же нельзя отрицать того, что каждый из сохранившихся отрывков представляет собой вполне определенную часть в цепи рассуждений Юлиана; нельзя отрицать и того, что каждый из этих отрывков в той или иной степени обладает художественными достоинствами, помогающими в большинстве случаев образно, ясно и понятно выразить мысль автора.

Так, если рассмотреть начальные строки трактата, перевод которых мы уже приводили, то станет ясно, что здесь использованы многие средства художественной выразительности. Прежде всего, обращает на себя внимание тенденциозный подбор лексики: σκευωρία — «коварные происки», πλάσμα — «выдумка», συντεθέν — «изобретенный», κακουργία — «порок», φιλόμυθοι — «любители вымыслов», παιδαριώδης — «ребячество», ἀνοήτῳ ἡ ψυχὴ μορίῳ — «души глупые и неразумные», τερατολογία — «небылица». Десять слов из двадцати восьми выражают обличительный смысл[9]; они оскорбляют, клеймят позором тех, в адрес кого направлены. Кроме того, антитетическое построение фразы (ἔχουσα μὲν οὐδὲν θεῖον, ἀποχρησαμένη δὲ τῷ φιλομύθῳ) и простой синтаксис — все это способствует наиболее ясному выражению мысли автора. А мысль его подчас бывает очень сложной. Нередко Юлиан трактует философские, мировоззренческие вопросы; так, когда в начале его рассуждений ему необходимо доказать, будто человеку извечно присуще свойство верить в существование чего-то божественного, то он очень умело пользуется антитезой: «не по наущению, а по природе людям свойственно знание о боге» (52 В). Именно антитеза (οὐ διδακτόν, ἀλλὰ φύσει), заключающая в себе основной смысл фразы и потому поставленная в ее начале, как нельзя лучше способствует не только передаче мысли Юлиана, но и усвоению ее читателем.

Касаясь религиозных воззрений древних греков, Юлиан со всей объективностью признает, что «греки сочинили о богах невероятные, диковинные мифы» (44 В). Но сравнивая с этими

---

[9] Служебные слова во внимание не приняты.

греческими мифами учение иудеев о божьем рае, о созданных богом Адаме и Еве (75 АВ), Юлиан вполне справедливо обращает внимание на то, что замысел бога при создании Евы как подруги Адаму в конце концов привел к результату совершенно противоположному, ибо «для него самого (т. е. Адама. — *Т. П.*) и для нее это явилось причиной изгнания из полного удовольствий рая» (75 А). «Все это — чистая сказка, — делает вывод Юлиан. — Можно ли признать разумным, что существо, созданное богом в помощь Адаму, принесло ему не добро, а зло?» (75 В).

Юлиан задумывается почти над каждой строкой Ветхого Завета; он даже задается ехидным вопросом о том, на каком языке змей разговаривал с Евой. «Уж не на человеческом ли? — спрашивает он не без сарказма. — И чем все это отличается от вымышленных греками мифов? Разве не высшая степень нелепости то, что бог запретил созданным им самим людям распознавать добро и зло? Что может быть более безрассудным, чем неумение познавать прекрасное и дурное?. . Бог запретил человеку вкусить от кладезя знаний, а для человека вряд ли что-нибудь другое могло быть лучше этого» (89 АВ). И далее: «Так что змей,— делает вывод Юлиан, — оказался скорее благодетелем, нежели совратителем рода человеческого» (93 Е).

Касаясь рассказа Моисея о сотворении мира, Юлиан справедливо указывает на неясность многих частей этого рассказа. Так, он обращает внимание на то, что Моисей, утверждая, будто бог создал небо и землю, день и ночь, Солнце и Луну[10], не говорит, «была ли бездна сотворена богом, а также тьма и вода[11]. . . Моисей вообще ничего не говорит об их возникновении, хотя часто упоминает их. Точно так же Моисей умалчивает о том, откуда появился дух божий, который носился над водою[12]. Кроме того, он не упоминает ни о рождении, ни о возникновении ангелов, ни о том, как они были сотворены» (49 D). И далее Юлиан делает очень важный для нас вывод, раскрывающий ту цель, какую он преследовал в своей критике ветхозаветного Иеговы: «Итак, из рассуждений Моисея о телах, рассеянных по небу и земле, ясно, что бог не был создателем чего-то бестелесного, а только организатором подвластной ему материи» (49 Е), т. е. в своей критике библейского бога Юлиан не пытался отрицать существование бога вообще, а только сводил его роль к роли демиурга вселенной.

Та же цель заметна и в последующих рассуждениях Юлиана, построенных им таким образом, чтобы доказать преимущества языческого мировоззрения по сравнению с ветхозаветным учением. Привлечение материала языческой мифологии, философии состав-

---

[10] Бытие, I, 1—6.

[11] Там же, I, 2, 3: «Земля же была бесформенна и пуста, и тьма над бездною. И дух божий носился над водою» (цит. по синодальному переводу).

[12] Там же, I, 3.

ляет ту особенность юлиановской критики христианства, которая отличает его от других критиков, выступавших с подобными произведениями, например, от Цельса с его «Правдивым словом» и от Порфирия, автора трактата «Против христиан», о котором есть упоминания в сочинении Макария Магнета (V в.) «Апокритик»[13]. Дело в том, что Цельс и Порфирий выискивали несоответствия, противоречия в тексте священного писания, но не противопоставляли им языческих взглядов, так как не были столь убежденными язычниками, каким был Юлиан[14]. Юлиан же все свое доказательство строит именно на таком противопоставлении. Прежде всего, он сопоставляет ветхозаветную космогонию с теорией Платона, как она изложена в «Тимее». По мнению императора, первая не вскрывает причины возникновения различий между небом и человеком, между человеком и животным, наконец, между пресмыкающимися и рыбами; ведь, по учению иудеев, все они созданы одним демиургом. Платон же говорит, что если бы каждое из перечисленных существ было создано общим для всех демиургом, то эти существа должны были бы стать бессмертными[15]. Согласно учению языческого философа, демиург, породив богов, в которых смертное и бессмертное соединено вместе, приказал им породить смертные существа трех родов, т. е. людей, животных и растений (58 CD, 65 CDE). Потому-то люди, животные и растения и отличаются от богов тем, что смертны, — отмечает Юлиан. Однако причина отличия животных от растений и людей от тех и других остается у Платона такой же неясной, как и у Моисея. Даже не пытаясь хоть как-нибудь объяснить эту неясность, Юлиан вновь делает следующий вывод: «Надо думать, что бог евреев — не родитель-творец всего мира и не всеобщий властелин; нет, как я уже говорил, его следует считать одним из многих других богов, принимавших участие в сотворении мира, а власть его считать ограниченной, ибо она разделена между другими богами» (100 C).

Далее, касаясь причин различия национальных характеров и обычаев, Юлиан опять противопоставляет языческие взгляды греков иудейским, и опять не в пользу последних, так как, утверждает он, «различия в характерах и законах не разъясняет ни Моисей, ни какой-либо другой пророк» (138 А). Юлиан находит возможным объяснить эти различия не только на стоический лад климатическими условиями (143 Е), но еще и религиозными причинами : здесь мы сталкиваемся с вполне оригинальной тео-

---

[13] Из этого сочинения сохранилась небольшая часть; ее издал П. Фукар: Μακαρίου Μαγνήτος Ἀποκριτικός ἢ Μονογενῆς. Parisiis, 1776. Правда, в ней нет опровержения Порфирия, и нам трудно судить, как оно было осуществлено.

[14] Эту особенность подметил Я. Алфионов в книге «Император Юлиан и его отношение к христианству». М., 1880, стр. 419.

[15] Платон, Тимей, 41 ABC.

рией Юлиана о существовании богов — покровителей того или иного народа или города (115 D, 143 A). «Каждый из этих богов, — утверждает Юлиан, — правит в своем собственном наделе, выпавшем ему по жребию» от бога-отца (115 D).

Переходя к вопросу о различии языков у разных народов, Юлиан характеризует рассказ Моисея о вавилонском столпотворении как «совершенно баснословный» (134 D) и доказывает свою мысль следующим образом. Во-первых, «если бы все люди, населяющие вселенную, воспользовались одной речью и одним языком, все равно они не смогли бы выстроить башню, доходящую до неба, если б даже они устлали кирпичами всю землю. Ведь потребовалось бы бесчисленное множество кирпичей, и каждый — величиной с землю, чтобы люди могли достичь хотя бы орбиты Луны» (135 BC). Во-вторых, рассказ Моисея о том, каким образом бог смешал языки людей, выдает, по мнению Юлиана, одну черту этого бога, свидетельствующую об его слабости: для смешения языков ему пришлось спуститься с неба. «Видимо, бог не мог этого сделать оттуда, сверху, если б не спустился на землю», — остроумно замечает Юлиан (138 A). «Кроме того, — продолжает он, — . . .Моисей изображает смешение языков делом не одного бога. Ведь он говорит, что бог сошел не один, а со спутниками, и притом многими; кто же они такие — он не сказал» (146 B). В самом деле, в Бытии читаем: «И сошел господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. *Сойдем же и смешаем* там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого» [16]. Действительно, далее нигде в Библии не разъясняется, кто еще спустился с богом на землю, чтобы помешать людям построить башню. В-третьих, говорит Юлиан, из этого рассказа Моисея ясно, что бог испугался намерения людей забраться на небо (135 C) и возможности того, «что они сделают что-нибудь супротив него» (137 E). Кроме того, Юлиан ссылается на подобный этому рассказу гомеровский миф о том, как сыновья Алоэя задумали взгромоздить одну на другую три горы [17], чтобы сделать доступным небо. Правда, он признает, что «и это — небылица, близкая к той» (135 B). Негодуя, автор обращается к христианам со следующим, вполне логичным вопросом: «Скажите же ради богов, почему вы принимаете вашу выдумку и отвергаете гомеровский миф?» (там же).

---

[16] Бытие, II, 5—7. Курсив мой. — *Т. П.*

[17] Оссу на древний Олимп взгромоздить, Пелион многолесный
Взбросить на Оссу они покушались, чтоб приступом небо
Взять, и угрозу б они совершили, когда бы достигли
Мужеской силы.

(Гомер, «Одиссея», XI, 315 сл. Перевод В. А. Жуковского)

Вызывают у Юлиана возражение, точнее, как он сам говорит, «удивление», и десять заповедей Моисея. Автор не без основания замечает, что, если исключить первую заповедь («Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» [18]) и четвертую («Помни день субботний, чтобы проводить его свято» [19]), то вряд ли можно найти какой-нибудь другой народ, который «полагал бы, что не следует придерживаться остальных заповедей» (152 D). «Напротив, другие народы соблюдают их в такой степени, что за нарушение их определили различные меры наказания — то более суровые, то схожие с теми, которые предписал Моисей, а то и более гуманные» (там же).

Неверно толкуя эпитет бога ζηλώτής (ревнитель, ревностный сторонник, последователь), — понимая его как «завистник» [20], Юлиан утверждает, что в первой заповеди Моисея содержится клевета на бога: автор недоумевает, как можно бога назвать «ревнителем, наказывающим детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения» [21]. Юлиан задает свой излюбленный в таких случаях риторический вопрос: «Итак, если человек завистлив и кажется тебе виновником злой клеветы, станешь ли ты обоготворять его? А здесь бога называют завистником!» (155 D). Создается даже впечатление, что Юлиан намерен взять под защиту бога-отца, которого, по его мнению, иудеи оклеветали, назвав его завистником. Но вскоре же Юлиан отступает от своего намерения: уже в следующих строках он стремится доказать, что Иегова не достоин того почитания и прославления, какое ему уделяют иудеи; не достоин потому, что он слишком часто и слишком сильно гневался на иудейский народ, даже желал уничтожить его (161 А). Приводя рассказ о том, как сам Иегова признает, что первосвященник Финеес «отвратил ярость» его «от сынов израилевых» [22], впавших в идолопоклонство, Юлиан опять задает риторический вопрос, на который напрашивается ответ, неприятный для тех, кто исповедует иудейскую религию: дело в том, что из-за одного израильтянина, обратившегося к вере в вавилонского бога Ваала, бог хотел уничтожить весь израильский народ, числом не менее 600 тысяч. Юлиан особо заостряет на этом эпизоде внимание, ставя следующий вопрос: «Разве из-за одной ты-

[18] Исход, 20, 3

[19] Там же, 8.

[20] Среди значений глагола ζηλόω, действительно, есть значение «смотреть с завистью», «завидовать», и христиане употребляли слово ζηλωτής в смысле «ревнитель», «ревностный поклонник», «ревностный последователь». В данном месте Бытия это слово следует понимать в том смысле, что Иегова ревностно оберегает «принадлежащие ему одному права на поклонение со стороны людей» и не допускает, «чтобы свойственные ему слава и прославление воздавались идолам» (Пророч. Исайи, 42, 8; 48, 11) — «Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания», т. I. СПб., 1904, стр. 337.

[21] Юлиан ошибается: это говорится не в первой заповеди, а во второй (Исход, 20, 5)

[22] Числа, 25, 11.

сячи (Юлиан даже допускает, что виновных была тысяча. — *Т. П.*) должны сразу погибнуть 600 тысяч? Что касается меня, то, по-моему, во всяком случае было бы лучше, если б спасся один дурной человек вместе с тысячами хороших, чем если бы эти тысячи погибли вместе с тем одним» (161 А).

Интересен вывод, сделанный Юлианом в результате приведенных выше рассуждений. По его мнению, учение язычников «лучше учения иудеев и вот почему. Философы приказывают нам по мере возможности подражать богам, учат, что это подражание заключается в созерцании реальных вещей: совершенно очевидно, — хотя я и не говорю об этом, — что это созерцание свободно от страдания и находится за пределами страдания. А в какой мере мы, созерцая существующую реальность, освобождаемся от страстей, в той же мере мы уподобляемся богу. Какого же рода подражание богу прославляется у иудеев? Гнев, негодование и ужасная зависть» (171 Е).

Снова обращаясь к неверному толкованию значения слова ζηλώτής, Юлиан считает возможным утверждать, будто Иегова завидует языческим богам, которым «против его воли поклоняются все остальные народы» (155 D). «Мало того, — не без ехидства замечает Юлиан, — по-видимому, Иегова не очень могуществен, если он даже в своей сильной зависти не смог запретить поклонение другим богам» (155 DE). «Или он просто не захотел этого?» — восклицает со злой иронией автор (155 Е). — А если он запретил поклонение другим богам, то как же христиане могут поклоняться «его незаконному сыну, тому, кого Иегова никогда не считал и не признавал своим собственным»? (159 Е).

Мы подошли к той части трактата, где Юлиан осуществляет свою главную цель: доказать, что Иисус Христос — вовсе не бог, что его выдумали евангелисты и что христиане нарушают заповеди Иеговы, поверив в Иисуса Христа. Юлиан делает вид, что не знает содержания второго псалма Давида: «Почтите сына, чтобы он (бог-отец. — *Т. П.*) не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем» [23]. «Могла ли Мария, — обращается к христианам Юлиан, — родить бога, будучи, по вашим же словам, человеком? Кроме того, ведь бог ясно сказал: «Я есмь и нет кроме меня спасителя» [24]. Вы же осмеливаетесь назвать спасителем рожденного от нее» (276 Е — 277 А). «И ведь по вашим же словам, — говорит Юлиан, — бог от бога есть Слово (λόγος) и появился он из субстанции отца по воле отца; почему же вы говорите, что богородица — Дева?» (там же).

Рассуждения на эту тему занимали, по-видимому, значительное место в трактате Юлиана, ибо даже в извлечениях Кирилла Александрийского они составляют около семи печатных страниц

---

[23] Псалом 2, 12.

[24] Перефразировано из Второзакония, 32, 39.

по указанному изданию Е. Капс и др. (с 253 В по 291 А включительно и с 327 А по 333 D). Материал по этому вопросу Юлиан подбирает очень и очень тщательно; это ясно хотя бы из того, что только в сохранившихся отрывках трактата приведена двадцать одна цитата из Ветхого и Нового Завета, не подтверждающая, по мнению Юлиана, учения христиан о Христе. Таким образом, Юлиан прибегает не к голословному опровержению христианского учения, а к опровержению при помощи цитат из Ветхого и Нового Завета. Причем, почти все цитаты очень точны; исключение составляют лишь две, приведенные в изложении автора [25]. Подобной тщательности в подборе материала мы не найдем ни в какой другой части трактата [26]. Это лишний раз подтверждает, что опровержению учения о Христе Юлиан придавал чрезвычайно большое значение. Это ощущается и в особенно злой иронии автора, в плохо скрываемом им раздражении, вернее — в той яростной атаке, какую предпринял Юлиан против тех, кто признает Христа и верит в предсказания о его рождении.

На этом последнем доводе остановимся более подробно: здесь особенно ясно видно, какое большое разнообразие идейно-художественных средств привлекает Юлиан для достижения своей цели. Так, прежде всего, автор бросает в адрес христиан обвинение в преднамеренном искажении ими текста священного писания, чтобы он гласил о будущем пришествии Христа: Юлиан утверждает, что слова Ἕως ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ («пока не придет положенное ему») христиане изменили в Ἕως ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται («пока не придет тот, кому предназначено (прийти)» (253 D) [27].

---

[25] См. 253 С — цитата из Деяний апостолов (3, 22); 253 D — из Бытия (49, 10); 261 Е — из Евангелия от Иоанна (1, 3); из книги Чисел (24, 17); из Второзакония (4, 35); 262 В — там же (4, 39; 6, 4; 32, 39); 262 С — из Евангелия от Иоанна (1, 1); из книги пророка Исаии (7, 14); 262 D — из Евангелия от Иоанна (1, 18), из Послания к Колоссянам (1, 15), из Евангелия от Иоанна (1, 3); 276 Е — из книги пророка Исаии (37, 16); 290 ВС — из Бытия (6, 2; 6, 4); 290 Е — из Исхода (4, 22); 291 А — из Второзакония (6, 13); 327 В — из Евангелия от Иоанна (1, 14); 333 С — там же (1, 18); 333 D — там же (1, 19). 262 Е — перефразировано из книги пророка Исаии (26, 13); 276 Е — 277 А — перефразировано из Второзакония (32, 39).

[26] Так, в связи с вопросом о жертвоприношениях, которым Юлиан придавал огромное значение, он тоже приводит немалое количество цитат из Ветхого и Нового Завета, но все же их только шесть: 299 С — из Левита (16, 15); 305 В — из Левита (7, 20); 314 С — из Деяний апостолов (10, 15); 346 Е, 347 А — из Бытия (4, 4—7); 347 В — из Бытия (4, 3—4). Следующая, шестая цитата, была приведена Юлианом из Деяний апостолов (15, 28—29), но эта часть трактата нам неизвестна; о том, что цитата была приведена, мы знаем из слов Кирилла Александрийского — см. примечание № 6 в указ. изд., 3, стр. 411. Следует указать еще на одну цитату в изложении автора: 356 Е — из Бытия 15,1—6).

[27] Русский синодальный перевод очень далек от обоих вариантов подлинника («Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и ему покорность народов»), и поэтому мы не смогли им воспользоваться.

Затем Юлиан отступает от намеченного ранее плана — дать в первой книге критику только Ветхого Завета — и достаточно много внимания уделяет критике Нового Завета (327 А — 335 D). Прежде всего, он утверждает, что «ни Павел, ни Матфей, ни Марк не осмелились назвать Иисуса богом» (327 А). Иоанн первым, по мнению Юлиана, «осмелился назвать Иисуса богом» (327 В) после того, как услышал, что много людей во многих городах Греции и Италии стали исповедовать христианство (там же). При этом Юлиан упрекает Иоанна в том, что тот называет Иисуса то Христом, то Логосом; он усматривает в этом что-то нечестивое (333 С).

В этой части трактата Юлиан особенно изощряется в сочинении необыкновенно смелых метафор, сравнений, эпитетов, вставляя их в текст очень умело: он дает их в таком количестве, что они не создают навязчивой пестроты слов, затемняющей смысл рассуждений. Из расположения этих фигур ясно, что автор прибегает к ним в тех случаях, когда ему необходимо опровергнуть противника или убедить читателя в своем мнении. Например, желая раскрыть тонкий ход рассуждений Иоанна, свидетельствующих, как говорит Юлиан, об его «коварстве и способности к обману» (333 С), автор пользуется метким метафорическим выражением, прекрасно передающим его мысль: «Иоанн нигде не называет божьего сына ни Иисусом, ни Христом, до тех пор, пока не назвал его богом и Логосом; но потом, как бы незаметно и тайно вкравшись в наш слух, он ссылается на свидетельство Иоанна-крестителя относительно Иисуса Христа»... (327 С) [28].

Интересно и другое обвинение, брошенное евангелисту Иоанну; оно очень выразительно благодаря использованию двух образных выражений, характеризующих, по мнению Юлиана, «хитрый» способ рассуждений «коварного» Иоанна: «Вы только посмотрите, как осторожно, незаметно и тайно достраивает Иоанн рассказ до вершины нечестия — настолько он коварен и способен к обману, что опять увертывается, добавляя: «Бога не видал никто никогда» [29]... (333 С). Нельзя не отметить очень удачно выбранное для второй метафоры слово ἀναδύεται, сохранявшее в языке, наряду с переносным значением «увертывается», «уклоняется», «избегает» и др., свой первоначальный смысл — «выныривает», «всплывает», «поднимается на поверхность». Именно благодаря этому первоначальному значению, так легко ощутимому в данном глаголе, мысль автора получает наиболее полное выражение.

Стоит ли говорить об определениях, относящихся к слову ἐπεισάγει — εὐλαβῶς («осторожно»), ἠρέμα — («незаметно») и λεληθότως («тайно»), а также об эпитетах, даваемых Юлианом Иоанну, — πανοῦργος («коварен») и ἀπατεών («способен к обману»)? Их нагнета-

[28] Евангелие от Иоанна, 1, 6—7.
[29] Там же, 18.

ние в определенной последовательности задерживает внимание читателя и тем самым служит более полному воплощению замысла Юлиана разоблачить свидетельство о Христе евангелиста Иоанна, от которого, по мнению Юлиана, «пошло это зло» (335 B), — так называет Юлиан христианское учение.

В другом месте Юлиан называет христианство болезнью, а христиан — «людьми, пораженными этой болезнью» (πολὺ πλῆθος ἑαλωκός. . . ὑπὸ ταύτης τῆς νόσου) (327 B). В этих определениях также нельзя не увидеть сильного раздражения языческого императора против сторонников новой веры и его стремления показать, будто увлечение этой новой верой хотя и опасно, но преходяще.

О ярости, охватившей Юлиана вследствие зарождения и распространения христианства, говорят и прямые выпады его против христиан. Почитание ими Христа он называет «трупопоклонством» (194 D); его возмущает то, что христиане припадают «к деревянному кресту, начертывая на лбу его изображение (т. е. крестясь. — *Т. П.*) и рисуя его на своих жилищах» (там же). С гневом разоблачает Юлиан и обряд крещения: «В состоянии ли вода смыть пороки и достаточно ли ее для очищения того, что проникло в душу?» (245 C).

Сильное негодование вызывают у Юлиана язычники, принявшие христианство; он утверждает, что эти люди, предавшись почитанию одного бога, будут «пользоваться жестоким, суровым законом, вобравшим в себя многое от дикости и варварства, вместо мягких и гуманных наших законов» [30] (202 A); а для выражения самой сути своего понимания поведения этих людей Юлиан прибегает к очень меткому сравнению: «Сейчас же вы похожи на пиявок — оттуда [31] высосали наихудшую кровь, а более чистую [32] оставили» (там же).

Любопытно следующее за тем утверждение автора, гласящее о том, что во времена Тиберия и Клавдиана не было ни одного человека, знакомого с учением христиан (206 B). Но все же в словах языческого императора звучит признание того могущества, какого достигло христианское учение к его времени. Правда, он не понимает, почему это произошло, и говорит, что завоевание христианами такого положения удивило бы даже Иисуса и Павла: «. . .ведь они не надеялись на то, что вы достигнете такого могущества» (206 A). И тогда Юлиан стремится опровергнуть божественность Иисуса; он признает только существование в прошлом человека, носившего это имя: Иисус появился менее, чем триста лет тому назад; он был одним из подданных Цезаря Августа (213 A) и вместе с отцом и матерью был внесен в список при переписи жителей, впервые произведенной в Сирии, в правление

[30] Т. е. законов языческих.
[31] Т. е. из учения христиан.
[32] Т. е. учение язычников.

Квириния [33] (там же). «Но явившись на свет, — продолжает Юлиан, — какие блага принес он своим соплеменникам?. . Ведь говорят, они не хотели повиноваться ему» (213 В). В то же время Юлиан не отрицает существования заповедей, данных Иисусом [34], а только утверждает, что христиане «нарушили все его заповеди без исключения» (351 В). Особенно негодует Юлиан на христиан за их отказ приносить жертвы (305 В, 343 CD, 346 Е, 347 В).

К сожалению, по всей вероятности, конец первой книги для нас потерян, ибо после цитаты 358 Е Кирилл Александрийский излагает своими словами рассказ Юлиана о полученном им знамении по полету птиц [35]; нет никаких выводов, заключения, непременно присутствующих во всех сохранившихся сочинениях Юлиана. Разумеется, нельзя не пожалеть о плохой сохранности этой книги, как и последующих, относительно которых мы даже не знаем, сколько их было — три или семь. Небольшие фрагменты, помещенные в издании E. Capps, T. E. Page, W. H. D. Rouse [36] и относящиеся, возможно, к последующим книгам, настолько незначительны, что дают самое смутное представление о характере критики Нового Завета, развернутой Юлианом в этих книгах. И все же следует признать, что сохранившаяся часть первой книги расширяет наши знания об идеологической борьбе того времени и о той роли, какую сыграл в ней последний языческий император.

---

[33] Евангелие от Луки, 2, 2.

[34] Евангелие от Матфея, 5, 21 — 48.

[35] PG, t. 76.

[36] «The works of the emperor Julian», t. 3, London, 1923, p. 428—433.

З. А. Покровская

LAUDES ЭПИКУРУ В ПОЭМЕ ЛУКРЕЦИЯ[1]

Поэма Лукреция посвящена жизни природы в самом широком смысле слова, но это не просто натурфилософское сочинение, а многогранное произведение. Все вопросы, затронутые Лукрецием, подаются в свете антирелигиозной борьбы, поэма насыщена полемическим задором и поэтической страстностью. Научное содержание поэмы подается в форме художественного произведения со всеми присущими ему особенностями. Борьба науки и религии составляет драматическую коллизию произведения, которое начинается с образного описания конфликта между мрачной богиней Религией и Эпикуром, воплощающим светлый человеческий разум. Именно этот эпизод служит завязкой поэмы. В торжественных laudes, посвященных Эпикуру, воплощается идеальный образ человека, победившего мрак суеверия; в них звучит преклонение перед учителем, посвятившим всю жизнь борьбе с человеческим невежеством.

Мы знаем, что чистота эпикуровских нравов вошла в пословицу [2], а сам Эпикур вызывал преклонение своих учеников как человек высоких моральных качеств, сумевший силой рассудка заглушить мучительные приступы смертельной болезни. Таким мы видим Эпикура по его письмам [3]. Об этом же свидетельствует и Цицерон [4]: «Сам Эпикур был хорошим человеком, и многие эпикурейцы прежде были и теперь верны в дружбе, стойки и серьезны в любых жизненных обстоятельствах, и свои намерения подчиняют не удовольствию, а долгу. Мне кажется, что они поступали лучше, чем говорили».

---

[1] На сходную тему написана статья Я. М. Боровского «Образ Эпикура у Лукреция (в кн.: Г. Лукреций Кар. О природе вещей, т. II. — М., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 181—197). В статье Я. М. Боровского раскрывается противоположность мировосприятия Эпикура и Лукреция. В нашей статье мы пытаемся проследить laudes Epicuri с точки зрения композиции поэмы, гносеологических и этико-эстетических принципов Лукреция.

[2] А. И. Герцен. Письма об изучении природы. М., 1947, стр. 163.

[3] См.: L., X, 32.

[4] Cic. de fin, II, 25. 8.

В этом отзыве об Эпикуре имеются традиционные для Цицерона — хранителя староримских традиций [5] — термины, характеризующие идеального добропорядочного человека-гражданина: это — bonus vir, он умеет facere melius свой долг перед государством и друзьями — officium. Ему присущи и другие обязательные для римского гражданина качества, такие, как верность в дружбе — in amicitiis fideles; серьезность и стойкость в любых жизненных обстоятельствах — in omni vita constantes et graves; а также умеренность — sonsilia moderantes.

Лукреций в своих laudes также дает образ Эпикура в морально-этическом плане, отмечая его virtus, res gestae и воздавая ему за это славу (gloria).

В начале I книги Лукреций рисует мрачную картину власти Религии, наводившей ужас на людей. Но картина резко меняется, когда один из смертных осмелился поднять голову против нее и решительно устремился исследовать сокровенные тайны природы; попытка оказалась успешной, и Эпикур, открыв людям тайны природы, возвращается победителем из своего умозрительного путешествия по вселенной:

Humana ante oculos foede cum vita iaceret
In terris oppressa gravi sub religione,
Quae caput a caeli regionibus ostendebat
Horribili super aspectu mortabilis instans.

(I, 62—65)

В первых двух строчках картина позорного унижения людей дается в образе поверженного человека, где удивительно метко подобраны слова — разные части речи (наречия, глагол, причастие, прилагательное, предлог и существительное), каждая из которых дополняет и уточняет образ (foede — iaceret — oppressa — gravisub — religione). В следующих двух строчках дается образ торжествующей Религии, построенный на последовательной антитезе: угнетенные и униженные, с одной стороны, мрачное торжество — с другой.

1) in terris — in caeli regionibus; 2) foede iaceret — horribile aspectu ostendebat; 3) sub — super; 4) oppressa (part. perf. pass. — instans part. praes. act.).

Кроме того, слова *super — instans* являются поэтическим эквивалентом термина superstitio [6].

---

[5] Относительно значений моральных категорий римской древности см. кн.: С. Л. Утченко. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 55, 68, 185 и др.

[6] Superstitio — в гексаметре невозможно. Сервий, древний комментатор Вергилия, поясняет (ad Aen., VII, 187): «aut secundum Lucretium superstitio est superstantorum rerum, id est caelestorum et divinarum, quae super nos stant, inanis et superfluus timor», см. ниже ст. 59—64, VI кн.

Поэтическое чутье подсказало Лукрецию поместить этот образ в начале поэмы, так как дальше он развивается как в художественном, так и в научном плане. Лукреций совершенно справедливо объясняет появление религии из невежества (ignorantia causarum).

Все остальное, что здесь на земле созерцают и в небе
Смертные, часто притом ощущая и страх и смущенье,
Дух принижает у них от ужаса перед богами
И заставляет к земле поникать головой, потому что
В полном незнаньи причин вынуждаются люди ко власти
Вышних богов прибегать, уступая им царство над миром [7]

(VI, 50—55)

Здесь подчеркивается снова момент угнетения человеческого духа (faciunt animos humilis formidine divum depressosque premunt ad terram).

Особенно людей поражают небесные явления, и это вызывает в них религиозные верования и представления о всемогущих богах.

Si tamen interea mirantur qua ratione
Quaeque geri possint, praesertim rebus in illis
Quae supera caput aetheriis cernuntur in oris
Rursus in antiquas referuntur religiones
Et dominos acris adsciscunt, omnia posse
Quos miseri credunt . .

(VI, 59—64)

Об этом же он говорит и в VI книге: не понимая законов вращения небесных тел и связанных с ними явлений, люди как к убежищу прибегали к идее о божеской власти.

Ergo perfugium sibi habebant omnia divis
Tradere et illorum nutu facere omnia flecti.

(V, 1186)

Это и побудило Лукреция в первых же стихах поэмы заявить, что он собирается объяснить «высшую сущность небес и богов» (de summa caeli ratione deumque — I, 54) и дать себе отчет в небесных явлениях (superis de rebus — I, 127).

Нарисовав мрачный образ Религии, Лукреций дает характеристику Эпикуру:

Primum Graius homo mortalis tollere contra
Est oculos ausus primusque obsistere contra.

(I, 66)

В этом двустишии достигнута предельная выразительность и насыщенность мыслью. Лукреций подчеркивает прежде всего пер-

---

[7] Стихотворный перевод везде Ф. А. Петровского.

венство Эпикура в борьбе (primum — primus). При этом имя его не упоминается, так как он здесь предстает противником богини, и сам своей смелостью приравнивается к богу, а по религиозным обычаям настоящее имя бога упоминать нельзя [8]. Торжественная перифраза Graius homo вместо обычного Graecus звучит особенно сильно в сочетании со словами, говорящими о его смертной сущности (mortalis oculos), и в эпифоре (contra — contra), подчеркивающей его богоборческую деятельность.

Эпикур не испугался грозного имени богов и наводящих ужас молний и грома, а лишь смелее устремился узнать тайны природы.

Quaem neque fama deum nec fulmina nec minitanti
Murmure compressit caelum, sed eo magis acrem
Irritat animi virtutem, effringere ut arta
Naturae primus portarum claustra cupiret.

(I, 68—71)

Так, уже в первых стихах поэмы проницательная сила ума (acris animi virtus) оказывается достойным противником всевышних и смело бросается на штурм крепких врат природы (arta naturae portarum claustra).

В этих строчках особого внимания заслуживают слова о молнии и громе, внушающих смертным сильный страх, о чем Лукреций говорит неоднократно в поэме и, рисуя картину грозного неба, строит ее на звуковом эффекте обильного повторения сочетаний со звуком «r» (prae — ter — for — tra — cor — rep — bra — re — horr — torr — tre — per — curr — mur — mur).

Praeterea cui non animus formidine divum
Contrahitur, cui non correpunt membra pavore
Fulminis horribilis cum plaga torrida tellus
Contremit et magnum percurrunt murmura caelum.

(V, 1218—1221)

Этих грозных звуков боятся не только народы, но и гордые цари, видя в этом приближающееся время расплаты за злодеяния.

Non populi gentesque tremunt regesque superbi
corripiunt divum percussi membra timore
Nequid ob admissum foede dictumve superbe
Poenarum grave sit solvendi tempus adactum?

(V, 1222 сл.)

В этой связи Лукреций неоднократно в поэме пародирует традиционный образ Юпитера-громовержца, доказывая, что невоз-

---

[8] Лукреций лишь однажды дает имя Эпикура там, где он представлен не как богоподобный человек, а как, хотя и величайший, но все-таки смертный (см. III, 1042).

можно быть одновременно повсюду (omnibus inve locis esse omni tempore praesto — II, 1099), нелепо метать молнии в пустыне, разве только для того, чтобы поупражняться, подобно гимнасту (VI, 391—395).

Cur etiam loca sola petunt frustraque laborant
An tum bracchia consuescunt firmantque lacertos?
In terraque patris cur telum perpetiuntur
Obtundi? Cur ipsi sint neque parcit in hostis.

(I, 396 сл.)

Странно, что Юпитер при этом прячется за тучу, как бы опускаясь ближе к земле и точнее прицеливаясь (VI, 402), и для чего он мечет молнии в пучины морские?

Самое несуразное — щадить виновных и поражать невинных (saepe nocentis praeteriit exanimatque indignos inque merentis — II, 1104). И совсем уж дико разбивать свои собственные храмы и святилища (VI, 417 сл.). Хотя Лукреций сам и высмеивает религиозные заблуждения, однако считает, что Эпикуру нужна была большая смелость, чтобы выступить против вековых представлений и суеверий. Он бесстрашно прошел мыслью по безграничным пространствам и вышел победителем благодаря живой силе духа.

Ergo *vivida vis animi pervicit*, et extra
Processit longe flammantia moenia mundi
Atque omne immensum peragravit mente animoque
Unde refert nobis victor quid possit oriri,
Quid nequeat. . .

(I, 72—76)

В сатирических диалогах Мениппа из Гадар (III в. до н. э.) встречается в виде фантастического обрамления образ умозрительного путешествия. Лукреций этот образ использует в совершенно серьезном плане и тем самым полемизирует с Мениппом, у которого были сатиры на тему о рождении Эпикура, ненавистного киникам.

В заключение Лукреций рисует торжество эпикуровского учения, и в его словах звучит великий оптимизм и вера в безграничную силу человеческого разума:

Quare religio pedibus subiecta vicissim
Obteritur, nos exaequat victoria caelo.

(I, 78 сл.)

Этот отрывок носит характер совершенно законченного поэтического произведения. Это своеобразное стихотворное рондо, начинающееся с образа поверженного человека, а заканчивающееся образом побежденной Религии (vita humana taceret *opp*ressa *sub* religione — religio pedibus *sub*iecta *ob*teritur) и полным торжеством человека (nos exaequat victoria caelo), сравнявшего его в славе с небом, откуда когда-то наводила ужас Религия.

Итак, здесь уже вырисовываются моральные качества Эпикура: он обладает смелостью (audacia) — Tollere contra est oculos *ausus*, качеством, обязательным для идеального человека [9]; он проявляет свою доблесть (virtus), но только эта доблесть особого качества, это — смелость ума — acrem *animi virtutem* vivida vis animi, оказавшаяся победительницей (pervicit, victor); за этот подвиг полагается ему слава — nos exaequat victoria caelo. Однако все эти качества идеального человека приобретают у Лукреция совершенно иной характер, так как Эпикур борется с религией, оплотом древнего Рима — religio pedibus subiecta. . . obteritur. И он высказывает парадоксальную с точки зрения добропорядочного римлянина мысль: религия совершила немало преступных и нечестивых деяний: religio peperit *scelerosa* atque *impia* facta — I, 83. Так из источника благочестия (pietas) религия сама становится преступницей. В этой похвале разуму имеется еще один чрезвычайно важный момент. Эпикур совершил подвиг необыкновенной смелости: он шагнул мыслью далеко за пределы доступного человеческому разуму мира (extra processit longe flammantia moenia mundi — I, 73). И совершил грандиозное умозрительное путешествие по вселенной — Atque omne immensum peragravit mente animoque — I, 74.

В начале III книги (1—30) образ Эпикура возводится на новую ступень величия. Он — слава и честь Греции, озаривший светом своего учения тайны природы, открывший ее законы людям, духовный отец и наставник людей:

E tenebris tantis tam clarum extollere lumen
Qui primus potuisti inlustrare commoda vitae.
(III, 1)

Для Лукреция, поэта-просветителя, особое значение имеет антитеза «свет и тьма» (e tenebris — clarum lumen — inlustrans). Лукреций с восторгом и благоговением следует по стопам учителя, сознавая его превосходство над собой:

Te sequor, o Graeciae gentes decus inque tuis nunc
Ficta pedum pono pressis vestigia signis,
Non ita certandi cupidus quam propter amorem
Quod te imitari aveo; quid enim contendat hirundo
Cycnis aut quidnam tremulis facere artubus haedi
Consimili in cursu possunt et fortis equi vis?
(III, 3—8)

Чтобы сильнее подчеркнуть значение Эпикура, Лукреций умышленно умаляет свои достоинства, подчеркивая эту мысль пословицей о ласточке и лебеде, о коне и козлах и употребляя торжественную эпическую перифразу (inque tuis ficta pedum pono pressis vestigia signis).

---

[9] См.: С. Л. Утченко. Указ. соч., стр. 55.

Дальше Эпикур рисуется в роли заботливого отца человечества:

Tu, pater, es rerum inventor, tu patria nobis
Suppeditas praecepta, tuisque ex, inclute, chartis
Floriferis ut apes in saltibus omnia libant,
Omnia nos itidem depascimur aurea dicta,
Aurea, perpetua semper dignissima vita.

(III, 9—13)

Роль Эпикура как духовного отца человечества подчеркнута словами pater, patria praecepta, а значение его учения выражениями rerum inventor, aurea dicta, aurea, perpetua semper dignissima vita. Себе же Лукреций отводит место скромного трудолюбивого ученика, собирающего, подобно пчеле, золотые мысли учителя [10].

Как только учение Эпикура появилось, то сразу рассеялись страхи души и стал понятен ход вещей в бесконечном пространстве:

Nam simul ac ratio tua cepit vociferari
Naturam rerum, divina mente coorta
Diffugiunt animi terrores, moenia mundi
Discedunt, totum video per inane geri res.

(III, 14—17)

Здесь подчеркивается гносеологическая линия laudes. Поистине разум божественен (divia mente coorta), если он обладает такой чудодейственной силой: проникать в тайники природы и уничтожать суеверие. Возможности бесконечного познания мира открываются перед Лукрецием, и это вселяет в его душу священный трепет восторга:

His ibi me rebus quaedam *divina voluptas*
Percipit *atque horror*, quod sic natura tua vis
Tam manifesta patens ex omni parte retecta est.

(III, 27—30)

Природа, закрытая прежде на крепкие затворы (arta naturae portarum claustra — I, 71), стала теперь открытой и понятной для человека (manifesta *patens* ex omni parte *retecta* est). Лукреций, постигший учение Эпикура, видит, как рушится власть богов и природа встает свободной, создающей все собственной силой:

. . . natura videtur
Libera continuo *dominis privata* superbis,
Ipsa sua per se sponte omnia *dis* agere *expers.*

(II, 1090)

Синонимические выражения показывают абсолютную свободу природы и ее полную независимость от воли богов.

---

[10] См.: Я. М. Боровский. Указ. соч., стр. 181.

В этих словах звучит мысль, полностью созвучная новому времени и едва ли высказанная с таким жаром кем-либо из древних. Это проявляется в нарочитом накоплении синонимических выражений и самой мысли о свободе в природе: libera natura, которые напоминают такие звучащие уже не по-античному термины [11], как «свободная воля», разорвавшая законы рока (libera. . . fatis avulsa voluntas — II, 256) благодаря существованию естественных законов. Это, в свою очередь, перекликается с мыслью Лукреция о том, что лишь с помощью свободного броска ума, смелого вторжения его в беспредельное пространство открывается возможность научно-обоснованных гипотез, научного предвидения

Quaerit enim, rationem animus, cum summa loci sit
Infinita foris haec extra moenia mundi,
Quid sit ibi quo *prospicere* usque velit *mens*
Atque *animi jactus liber* quo pervolet ipse,

(II, 1044—1047)

где словосочетание animi iactus liber вовсе не является эквивалентом технического термина animi iniectus (II, 740), представляющего кальку с эпикуровского ἐπιβολὴ τῆς διανοίας (ad Her. 38) [12].

Преодоление Эпикуром естественного рубежа в познании окружающего мира неоднократно подчеркивается Лукрецием: extra *pro*cessit longe flammantia *moenia mundi* (I, 73); infinita *foris* haec *extra moenia mundi* — *pro*spicere. . . mens (II, 1044); *moenia mundi dis*cedunt, totum video per inane geri res (III, 16).

V книга открывается снова похвалой эпикуровскому учению; нет слов и стихов, которые могли бы достойно воспеть и прославить величие его открытий:

Quis potis est dignum pollenti pectore carmen
Condere pro rerum maiestate hisque repertis?
Quisve valet verbis tantum, qui *fingere laudes*
Pro meritis eius possit, qui talia nobis
Pectore parta suo quaesitaque praemia liquit?
Nemo, ut opinor, erit mortali corpore cretus!

(V, 1—6)

Кто в состояньи найти в своем сердце столь мощную силу,
Чтобы достойно воспеть все величие наших открытий?
Кто же владеет словами настолько, что мог бы прославить
Должно заслуги того, кто собственной силою духа
Столько сокровищ добыл и оставил их нам во владенье?
Нет, я уверен, никто из рожденных со смертною плотью.

---

[11] «История эстетики», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 150.

[12] Как убедительно доказал это Я. М. Боровский (указ. соч., т. II, стр. 185).

Риторические вопросы варьируют мысль о невозможности выразить восхищение Лукреция глубиной и значительностью эпикуровского учения. Мысль эта подчеркивается повторением синонимических выражений о необходимости необыкновенной силы таланта (quis potis est pollenti pectore — quis valet tantum — qui possit — nemo erit mortali corpore cretus), чтобы воспеть (dignum carmen condere — verbis valet — fingere laudes) величие сокровищ, открытых Эпикуром: pro rerum maiestate — hisque repertis — pro meritis — talia parta — quaesitaque praemia — это все res gestae Эпикура, его научные подвиги, за которые и положена ему слава (gloria, laus).

В следующих стихах Лукреций снова раскрывает значение Эпикура.

Nam si, ut ipsa petit maiestas cognita rerum
Dicendum est, deus ille fuit, deus, inclute Memmi,
Qui princeps vitae rationem invenit eam quae
Nunc appellatur sapientia, quisque per artem
Fluctibus e tantis vitam tantisque tenebris
In tam tranquillo et tam clara luce locavit.

(V, 7—13)

Ибо, коль выразить мысль сообразно с величием дела
Богом он был, мой доблестный Меммий, поистине богом!
Он, кто впервые нашел ту основу разумную жизни,
Что называем теперь мы мудростью. Он, кто искусно
Жизнь из волнений таких и такой темноты непроглядной
В полную ввел тишину, озаренную ярким сияньем.

Дары, приписываемые древним богам (хлеб — Церере и вино — Вакху) не столь уж важны для человечества, раз некоторые народы живут без них (V, 13—17) [13]. Так же и подвиги древних героев (Геракла, Диомеда и др.) мало принесли пользы человеку (V, 22—42). Эпикур же, научивший людей бороться с человеческими пороками и слабостями, терзающими его душу (scindunt cuppidinis acres), показал, как можно жить счастливо с чистым сердцем и спокойной совестью (bene vivi — puro pectore, purgatumst pectus — V, 18—21; 43—48). Раз открытия Эпикура превосходят своим значением деяния богов и героев, то он по праву заслуживает носить имя бога:

Quo *magis* hic *merito* nobis *deus* esse videtur.

(V, 19)

Поэтому Лукреций так настойчиво повторяет слова deus, deus (V, 8) — numero divum (V, 51) — deus (V, 19) — divinitus (V, 52) — nemo mortali corpore cretus (V, 6).

Сущность эпикуровской мудрости подчеркивается еще и еще раз антитезами: fluctibus e tantis tantisque tenebris — tranquillo

[13] См. Цезарь о германцах (B. G. IV, 1; VI, 2).

tam clara luce (V, 11); quantae tum scindunt hominum cuppedinis acres sollicitum curae quantique perinde timores (V, 45) — dulcia permulcent animos solacia vitae (V, 21).

Лукреция особенно приводит в восхищение то, что Эпикуру все пороки человеческой души удалось победить *не оружием*, а *словом:*

Haec igitur qui cuncta subegerit ex animoque
Expulerit *dictis non armis* nonne dicebit
Hunc hominem numero divum dignarier esse?

(V, 49—51)

Лукреций и здесь снова говорит о том, что он следует за Эпикуром и пропагандирует его учение: «Cuius ego ingressus vestigia dum rationes persequor ac doceo dictis» (V, 55).

Похвала Эпикуру в V книге носит в основном этический характер: он открыл людям особую мудрость (sapientia), с помощью которой они обрели, наконец, спокойную светлую жизнь.

In tam tranquillo et tam dura luce locavit.

(V, 13)

И его деяния превосходят дары богов и героев. В этом еще раз сказывается антирелигиозный характер эпикуровского учения. VI книга начинается с восхваления Афин, родины Эпикура:

Primae frugiparos fetus mortalibus aegris
Dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae
Et recreaverunt vitam legesque rogarunt,
Et primae dederunt solacia dulcia vitae,
Cum genuere virum tali cum corde repertum,
Omnia veridico qui quondam ex ore profudit;
Cuius et extincti propter divina reperta
Divulgata vetus iam ad caelum gloria fertur.

(VI, 1—8)

Первые некогда злак, приносящий плоды, даровали
Жалкому роду людей осиянные славой Афины,
Жизнь обновили они и законы для всех учредили,
Первые подали всем утешения сладкие жизни,
Мужа родили, таким одаренного сердцем, который
Все объяснил нам, из уст источая правдивые речи.
Даже по смерти его откровений божественных слава,
Распространившись везде, издревле возносится к небу.

Лукреций превозносит значение Афин, давших людям и хлеб, и духовную пищу (dulcia solacia vitae — VI, 4-V, 21). Торжественность этого отрывка подчеркивается архаическим прилагательным в перифразе (frugiparos fetus) и эпитетом (praeclaro nomine). Эпикур здесь по-прежнему не назван по имени (vir), а о смерти его торжественно сказано «угас» (extincti). Лукреций здесь как бы

от серьезных государственных дел, как полагал Цицерон [17]. Так что идеальный герой Лукреция в своей основе является антиподом классического римского vir bonus.

Лукреций, познавший законы природы с помощью эпикуровского учения, чувствует себя счастливым от возможности предаваться научным изысканиям в области материалистической философии (efferre laborem suadet et inducit noctes vigilare serenas — I, 141 сл). Нет ничего приятнее, чем занимать ясные выси, укрепленные умами мудрецов:

Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere
Edita doctrina sapientum templa serena.

(II, 7)

Лукреций называет себя одним из первых исследователей эпикуровской философии в Риме (V, 335 сл.); он продолжает и развивает антирелигиозную и просветительную тенденцию эпикуровской философии (dictis . . . et carmine . . . *clara* tuae possim praepandere *lumina* menti, *res* quibus *occultas* peritus convisere possis — I, 143). Лукреций называет и врагов, с которыми ему приходится бороться. Это — теория противников (stolidi — I, 64; falsa ratio, falsum — IV, 48), религиозные и суеверные воззрения (religiones — V, 86) и, наконец, различные человеческие несчастья и пороки (turpis contemptus, acris egestas, invidia, mortis formido, avarities, honorum cupido — III, 59; cuppedines acres, curae timores, superbia, spurcitia, petulantia luxus desidiaeque — V, 44).

Здесь наряду с традиционными древнеримскими пороками [18] (luxus — роскошь, avarities — жадность, honorum cupido — честолюбие, superbia, petufantia — надменность, наглость, desidia — праздность). Лукреций указывает и на такие недостатки, как turpis contemptus — позорное презрение и acris egestas — крайняя бедность, которые делают человека несчастным. Но главным препятствием для достижения счастья являются religiones — религиозные заблуждения, что звучит как прямой вызов римскому обществу, оплотом которого была религия. Если традиционные пороки, такие как жадность и честолюбие, заставляют людей нарушать законы и превращают их в соучастников и слуг преступлений:

Quae miseros homines cogunt transcendere finis
Juris et interdum socios scelerum atque ministros [19], —

то религия с помощью внушаемого ею страха смерти (mortis formidine) низвергает и разрушает такие традиционные римские доблести, как стыдливость, дружбу и само благочестие.

---

[17] Cic. Pro Arch. VI, 12, 3.

[18] См.: С. Л. Утченко. Указ. соч., стр. 66 сл.

[19] Относительно социального значения терминов socii и ministri см. ст. Н. А. Машкина «Время Лукреция» (в кн. «О природе вещей», т. II. М., 1947, стр. 253).

Hunc vexare *pudorum*, hunc vincula *amicitiai*
Rumpere et in summa *pietatem* evertere suadet

(III, 83 сл.)

Из-за этого страха люди предавали даже родителей и родину (patriam carosque parentes prodiderunt — III, 85 сл.), т. е. основу основ древнеримского идеала.

Лукреций отдает должное и другим материалистам древности — предшественникам Эпикура. Так, напоминает laudes Эпикуру отрывок, посвященный Эмпедоклу (I, 716—733), который был близок Лукрецию по поэтическому восприятию природы и поэма которого безусловно привлекала внимание Лукреция. Лукреций в торжественном тоне рисует родину Эмпедокла — Сицилию, известную страшной Харибдой и Этной, но Эмпедокл прославил ее своим именем больше всего.

Nil tamen hoc habuisse viro *praeclarius* in se
Nec *sanctum* magis et *mirum carumque* videtur.

(I, 729 сл.)

Дальше он представлен почти богом (carmina divini pectoris, *vix* humana videtur stirpe creatus — I, 731 сл.).

Других материалистов Лукреций считает ниже и ничтожней Эмпедокла (inferiores, minores — I, 735), но, однако, и их открытия все же священнее вздорных прорицаний пифии (multa bene ac divinitus invenientes, *sanctius* et multo certa ratione — I, 736 сл.). Отдает должное Лукреций и священному мнению (*sancta* sententia — III, 371, V, 622) Демокрита. Восторг, восхищение и преклонение вызывают у Лукреция истинная мудрость, способствующая человеческому счастью; и средством возвеличивания Лукреций избирает прием поэтического обожествления. При этом интересно отметить, что по отношению к предшественникам Эпикура Лукреций употребляет слово sanctus — священный в различных вариантах [20], а по отношению к Эпикуру это слово не встречается, так как он затмил всех смертных, как солнце звезды (genus humanum ingenio superavit et omnis restinxit ut aetheius sol stellas exortus — III, 1042), поэтому он божественен (divinus, deus и т. п.).

В образе Эпикура Лукреций прославляет человеческий разум, сила и возможности которого безграничны. Разум — это ясный свет (clarum lumen), все озаряющий своим сияньем, и его идеи животворны (vivida vis animi).

Таким образом, четыре laudes Эпикуру — это гимн разуму, его проницательности, силе и смелости.

В античной литературе известен гимн Зевсу, написанный стоиком Клеанфом (331—232 до н. э.), в котором воплощением

[20] Лишь слегка намечает мотив божественности — divina pectoris, divinitus.

разума является Зевс. Клеанф считал разум особым даром богов. Лукреций своим гимном Эпикуру спорит с этим мнением и возвеличивает разум человека, который оказался способным проникнуть в тайны природы и тем самым и свергнуть власть богов. В этом глубокий исторический оптимизм и гуманистическая тенденция поэмы Лукреция.

Рассказав о борьбе и победе Эпикура над Религией, Лукреций спешит заверить читателя, что в его учении нет никакого нечестия и что оно не ведет к злодеяниям, как может показаться религиозному человеку, поскольку эта философия отрицает традиционное представление о богах. Напротив, именно сама Религия совершила немало преступлений

Illud in his rebus vereor, ne forte rearis
Impia te rationis inire elementa viamque
Indugredi sceleris. Quod contra saepius illa
Religio peperit scelerosa atque impia facta.

(I, 80—83)

Таким образом, убедительная градация в laudes Эпикуру: I — homo — victor; III — pater; V — deus; VI — vir объединяет все аспекты в значении образа Эпикура в поэме Лукреция: простой смертный человек оказывается не только достойным противником древних богов, но и смелым победителем в этой борьбе. Так, свет человеческого разума рассеял мрак религиозного невежества, и Эпикур совершил поистине не человеческий, а божественный подвиг. Такой человек не может не служить идеалом, образцом для подражания.

И. В. Шталь

ПОНЯТИЕ «ДРУЖБА» И ЭВОЛЮЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА В РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ I В. ДО Н. Э.

(по произведениям Цицерона и Катулла)

Цель работы — путем сопоставительного анализа трактовки понятия «дружба» (amicitia) в произведения Марка Туллия Цицерона и Гая Валерия Катулла установить смену этико-эстетического идеала человека в римской литературе середины I в. до н. э.

Произведения Цицерона и Катулла организуют две во многом противоположные художественные системы, из которых первая традиционна и нормативна для Рима века республики, вторая — нова и идет на смену первой.

То, как трактует дружбу (amicitia) признанный идеолог республиканского Рима Цицерон, достаточно известно. Дружба, по Цицерону, — это этический институт, нормы которого действительны для всех добропорядочных граждан республики, цель и смысл которого — благо государства.

Добропорядочный гражданин, друг (vir bonus, amicus) проявляет свою доблесть (virtus) и совершает свои подвиги (res gestae) в неукоснительном выполнении дружеских обязанностей, в законном и честном пользовании своими правами. Как награда за доблесть и подвиги к нему приходят хвала (laus) друзей, таких же viri boni, как и он сам, слава (gloria) в веках.

Общественное начало в дружбе (amicitia) подавляет, сводит фактически на нет начало личное: личную симпатию, чисто человеческую привязанность. Все определяется лозунгом: patriam amicitiae praeponendam esse. Друг мыслится прежде всего гражданином и ведет себя в дружеском кругу, в отношениях с друзьями как добропорядочный член коллектива города-полиса.

Подобная трактовка дружбы соответствует этико-эстетическому идеалу человека-гражданина, гражданина по преимуществу, идеалу традиционному, широко распространенному и официально апробированному в Риме I в. до н. э.

Практическое, образное воплощение этого теоретически осмысленного Цицероном идеала находим в римской литературе и более раннего периода. Действительно в творчестве римских комедиографов Плавта и Теренция (конец III—середина II в. до н. э.) соответствующие идеи воспринимаются как истинные, исконные

и единственно верные, как идеалы, которые следует защищать и охранять от надвигающейся возможной коррупции. Причем сама коррупция видится и проявляется не в переосмысливании норм amicitia, но в небрежении ими.

Художественное воззрение на мир, свойственное поэзии Катулла, выдвигает новую, по сравнению с предшествующими художественными системами, трактовку этико-эстетического идеала дружбы. Новое определяется тем, что та коррупция, которая в творчестве Плавта и Теренция мыслилась грядущей и давала лишь временами знать о себе, выступила здесь во всей силе и пошла не «вширь», но «вглубь», изменив содержание основных привычных и устоявшихся представлений. Осталась неизменной, при всей внешней несхожести, структура института дружбы, но изменилась сущность понятий, из которых он складывался. Институт дружбы стал нейтрален к обществу города-полиса, к коллективу граждан, к государству.

Вся эта трансформация живо и отчетливо прослеживается в лирике Гая Валерия Катулла.

В полном согласии с теорией Цицерона (26), adulescens otiosus Catulli видит основной стимул дружбы людей во внутреннем тяготении их друг к другу. Однако в восприятии лирического героя это вполне объяснимое и приемлемое чувство дружеской симпатии разрастается и гипертрофируется настолько, что заслоняет все остальные мотивы дружбы и как будто даже противостоит им. Почти каждое дружеское послание лирического героя Катулла снабжено пылким признанием в любви. То он утверждает, что любит друга «больше глаз своих» (plus oculis meis, XIV, 1 — оборот, ставший стандартным у Катулла для выражения наивысшей силы чувств), то переносит свою исключительную привязанность к друзьям на их маленькие памятные подарки (XII, 16), то обещает другу свое расположение, свою любовь (XIII, 9), то обижается, если друг, которого он любит, невнимателен к нему (XXXVIII, 6). В L стихотворении лирический герой рассказывает своему близкому другу Лицинию Кальву о том впечатлении, которое произвело на него их совместное занятие поэзией. Выражая желание вновь увидеться с Кальвом, он пародирует любовное томление и оперирует терминами, обычными для описания состояния влюбленного (7—13):

Atque illinc abii tuo lepore
Incensus, Licini, facetiisque,
Ut nec me miserum cibus iuvaret,
Nec somnus tegeret quiete ocellos,
Sed toto indomitus furore lecto
Versarer cupiens videre lucem,
Ut tecum loquerer, simulque ut essem.

«И я ушел оттуда, настолько взволнованный твоим изяществом и остроумием, что меня, несчастного, не утешила и еда и сон

не коснулся очей покоем, но с неукротимым неистовством метался я по ложу, с нетерпением ожидая дня, чтобы быть и говорить с тобой».

Ряд слов, встречающихся в этом отрывке, входит в специфическую любовную терминологию и имеет соответствующий второй смысл. Так, lepos, помимо «остроумие», означает «прелесть», «изящество», «красота». Однокоренное прилагательное lepida — «изящная», «прелестная» — служит непременным определением красоты возлюбленной (Plaut. Curc. 166; M. G. 871; 789; Poen. 1187; Cistell. 315; Epid. 43; и др.) и употребляется как обращение к предмету любви. Incensus от incendere — собственно не «взволнованный», «возбужденный, воспламененный» (Catull., LXIV, 253 — incensus tuo amore — воспламененный любовью к тебе). Miser — «несчастный» — нередко имеет смысл «несчастный от любви» (Plaut. Curc. 134; и др.), как и misere amare — страстно, исступленно любить, вызывая тем самым жалость к себе (Ter. Andr. 520; Heaut. tim. 189; Adelph. 667; и др.). Cupiens — от cupere — испытывать сильное, страстное желание обычно употребляется в приложении к исстрадавшемуся, горящему любовью и снедаемому нетерпением герою (Plaut. Mercat. 657; Poen. 155; Ter. Hecyra, 141; Catull. LXIV, 374; LXX, 4; LXI, 32; и др.).

И, наконец, общее состояние терзающегося героя Катулла: бессоница, потеря аппетита, смятение духа, нетерпеливое ожидание встречи — содержит все традиционные симптомы любовного безумия и полностью повторяет, если ограничить сопоставление лишь областью римской литературы, предшествующей Катуллу, любовное томление молодых героев Плавта и Теренция (Plaut. Cistell. 203—228; Curc. 134—136; Bacchid. 500—520; Ter. Andr. 241—245; и др.).

Весь этот видимый приоритет личного момента в дружеских посланиях героя поэзии Катулла дал повод исследователям настаивать на том, что дружба у Катулла — «везде . . . влечение сердца, ничего общего с политикой и государством не имеющее. Везде это личная, душевная склонность, дающая содержание жизни поэта»[1].

На самом деле, едва ли дело обстоит именно так. Если причина обостренного чувства внутренней приязни и кроется в специфике образа героя Катулла (речь об этом будет ниже), то усиленное нарочитое средоточие внимания именно на этой стороне отношений, именно на интимном чувстве как фундаменте дружбы, означает другое: молчаливую полемику (возможно, не до конца осознанную), реакцию на официально принятую этико-эстетическую концепцию дружбы с ее строго рациональным, сугубо общественным характером.

---

[1] «История римской литературы», под. общ. ред. Н. Ф. Дератани. М., 1954, стр. 201.

Достаточным доказательством этой мысли может служить приведенный выше фрагмент L стихотворения. Тон его, как мы смогли убедиться, носит временами чуть ли не эротический отпечаток и заставлял бы задуматься, если бы не был известен реальный адресат послания: Лициний Кальв, современник Катулла, поэт и оратор, человек строгой и безупречной жизни, аскет, носивший под платьем свинцовые вериги (Plin. Hist. nat. 34, 18). Так, что, очевидно, тон стихотворению был задан не реальным разгулом страстей, но намеренно преувеличенным чувством дружеской симпатии, продиктованным дерзостным желанием не только противопоставить общепринятому нечто совершенно противоположное, но и подать это противоположное в наиболее острой, полемической форме.

Новая система художественного мышления, новое вйдение мира, свойственное Катуллу, выдвигают и нового героя, которым становится не *гражданин* республики, но *человек*. Поэтому основным для дружеских связей внезапно оказывается как будто не сходство гражданских устремлений друзей, но нечто совершенно обратное — их личная приязнь.

Однако подчеркнуто полемическое утверждение личного момента в дружеских отношениях героев Катулла не может скрыть объединяющего их сходства во взглядах, желаниях, стремлениях и, что особенно важно, сходства в отношении к государству, к общественной жизни. В этом смысле они единодушны (unanimi sodales, amici — Catull. XXX, 1), что вполне согласуется с рассуждением Цицерона (Lael., 92): «. . . сила дружбы в том, чтобы из многих (душ) сделалась как-будто одна душа. . .» (. . . amicitiae vis sit in eo, ut unus quasi animus fiat ex pluribus . . .)

Лирический герой Катулла устрашен и повергнут в отчаяние несправедливостью, царящей в мире, неурядицей, завладевшей городом-государством. Терзаемый разочарованием и болью, он пытается отмежеваться от общества, укрыться от общественных бурь за не всегда выдержанным нейтралитетом, перенестись в сферу узко личных переживаний и чувств. И друзья лирического героя рисуются людьми общих с ним настроений: или равнодушными к общественной жизни или, в силу обстоятельств, этой жизнью неудовлетворенными. К последней категории относятся Фабулл и Вераний, неудачливые спутники проконсула Пизона [2] (XXVIII), с которыми Пизон, лицо официальное, обходился во время поездки в Македонию и по прибытии в Рим (XLVII) так же скверно, как некогда и Меммий вел себя по отношению к Катуллу, сопровождавшему его в Вифинию (X).

Как и сам лирический герой, его друзья резко противопоставлены поэтом добродетельным римским boni cives. Как и сам

[2] R. Westphal. Catull's Gedichte in ihrem geschichtlichem Zusammenhange. Breslau, 1870, IV; R. Syme. Piso and Veranius in Catullus. — «Classica et mediaevalia», 17, 1956, XVII, f. 1—2.

лирический герой, они изображены adulescentes otiosi, т. е., с общепринятой в республиканском Риме точки зрения, влюбленными и беспутными бездельниками, проводящими жизнь в пирах и наслаждениях, за вином, шуткой и любовью (L, VI, XXII, XXVII, XXV и т. д.).

Однако это исключительное (исходя из представлений предшествующей Катуллу этико-эстетической системы мышления) легкомыслие, шалопайство, даже порочность молодых людей с такой готовностью выставляется ими напоказ, так явно и охотно афишируется, что не вызывает к себе безусловного доверия. Подчеркнутая «испорченность», общая для всех adulescentes Катулла, несет на себе в рамках соответствующей этико-эстетической системы определенную смысловую нагрузку: она призвана направить внимание на единство жизневосприятия лирического героя и его друзей, противопоставить их окружающему «добропорядочному» миру. Правильность подобной трактовки образов подтверждается прежде всего собственными словами поэта, XVI стихотворением — программой его творческой деятельности (5—6):

«Ведь следует, чтобы был чист и добропорядочен сам поэт, а для стихов в этом нет необходимости. . .»

Nam castum esse decet pium poetam
Ipsum, versiculos nihil necessest.

Это сказано Катуллом о поэте и его стихах. Но в стихах поэта Катулла живет лирический герой, от лица которого ведется повествование, тоже поэт и тоже Катулл. И этому поэту, этому лирическому герою, следовательно, тоже можно и даже должно, сохраняя чистоту и нравственную безупречность своей жизни, изображать ее в несколько предосудительных тонах.

Кроме того, и это исключительно важно, при ином понимании сущности образов adulescentes Катулла окажется невероятным и необъяснимым тот факт, что этих прожигателей жизни, объединенных, казалось бы, лишь неприятием окружающего их мира, связывает еще и святая святых — литература, поэзия (I, XIV, XVI, XXII, XXXV, XXXVI, XCV, CV и др.). И эта страсть, поглощающая их силы и время, эта творческая работа над словом, к которой они относятся сугубо серьезно и в которой не терпят дилетантизма, заставляет смотреть на легкомысленных, казалось бы, жизнелюбцев иными глазами, поверить, что amicitia в понимании героев Катулла есть глубоко трагический союз интересных, содержательных и даровитых единомышленников, выброшенных из официального общества, чуждых коллективу города-государства, вынужденных и пытающихся с помощью amicitia создать свое собственное подобие общества, построенного на справедливости, дабы в нем найти выход своим созидательным творческим силам.

Среди стихотворений Катулла, помогающих определить и понять, что ищут в amicitia лирический герой и его друзья, как они проявляют, раскрывают себя на этом поприще и что они разумеют под понятием amicitia, наиболее важным оказывается XXX стихотворение. Оно является как бы программным, почти универсальным, вмещающим в себя почти все эти проблемы и проливающим свет на них.

Даем его перевод:

«Алфен, ты не помнишь (о дружеских обязанностях — inmemor) и неверен (falsus) друзьям, слившимся душой с тобой воедино (unanimi sodales). Нет теперь жалости у тебя, жестокий (durus) к твоему милому другу (amicus)? Теперь ты, вероломный (perfidus), не колеблясь, предаешь (prodere) и обманываешь (fallere) меня? Но небожителям противны несправедливые дела (inpia facta) лукавых людей (fallaces homines): ты же пренебрегаешь (этим) и покидаешь меня, бедного (miser) в несчастьях (in malis). Увы! Скажи, что делать людям, кому верить (habere fidem)? Ведь ты сам, отступник (iniquus — неровный в проявлениях, а потому — несправедливый), завязывая со мной дружбу (inducere in amorem), так просил меня вверить тебе душу, как будто все для меня было надежно (tuta omnia mi forent; tutus — от tueor — защищенный от опасности). А теперь ты уклоняешься (от выполнения законов истинной дружбы) и предоставляешь ветрам и летучим облакам развеивать все твои бесплодные слова и дела. Если ты забыл (об обязанностях друга), то помнят боги, помнит Верность (Fides); она заставит потом тебя раскаяться в содеянном тобой (factum tuum)».

Прежде всего, это стихотворение еще раз позволяет установить, что amicitia в восприятии лирического героя Катулла есть не просто обозначение определенного отношения одного лица к другому, но прочный и добровольный союз. Факт этот прослеживается, в частности, на той терминологии, которая употребляется для обозначения лиц, дружески связанных между собой.

В XXX стихотворении обманутый друг Алфена называет себя то sodalis (XXX, 1), то amiculus (XXX, 2) — уменьшительно-ласкательное от amicus. Точно так же в XXXV стихотворении Цецилий, а XLVII и IX Вераний именуются вне зависимости от контекста каждый попеременно, то amicus (XXXV, 6; IX, 1), то sodalis (XXXV, 1; X, VII, 6). Поэт Цинна, к которому герой сердечно расположен и ласково обращается «мой Цинна» — Meus Cinna — Zmyrna mei Cinnae (VC, 1) — означен как sodalis (VC, 9), а некий Камерий как amicus (LV, 14).

Отсюда, по-видимому, возможен вывод о смысловой тождественности в употреблении этих двух терминов. Кроме того, поскольку sodalis помимо «друг, товарищ, приятель» значит еще и «соучастник», член общества, «сообщник», то, при создавшемся положении, и слово amicus получает этот дополнительный оттенок.

Итак, amicitia в этико-эстетической концепции Цицерона (Cic., IV, 15) и amicitia в представлениях лирического героя Катулла имеют некий общий формальный момент: и там и тут amicitia представляется как союз единомышленников.

Дружеский союз героев Катулла силен той системой взаимоотношений, которая лежит в его основе. Члены дружеского коллектива, друзья, обладают, в полном формальном соответствии с теорией Цицерона (Lael., 44; 91—92 и др.) определенными правами и несут определенные обязанности. В права членов amicitia входит возможность всегда рассчитывать на помощь, поддержку, защиту друга; в обязанности вменяется непременно оказывать эту помощь, поддержку, защиту.

Так, в XXX стихотворении лирический герой обвиняет Алфена, своего друга, в вероломстве, обмане, предательстве, поскольку Алфен покинул его в несчастье (XXX, 5); а в LXVIII стихотворении amicitia совместно с officium hospitis (9/12) вынуждает героя удовлетворить несвоевременную малопривлекательную для него просьбу друга (150—151). Доказательством может служить также и XXXVIII стихотворение.

Однако права и обязанности друга в изображении Катулла в отличие от концепции, изложенной в трактате Цицерона (Laelius de amicitia, XI, 39), свободны от ограничений, налагаемых интересами официального общества, государства. Лирический герой не ощущает себя гражданином римского полиса. Поэтому вопрос о соотнесении общественных и личных обязанностей гражданина, т. е. обязанностей перед коллективом города-полиса, государством, и обязанностей друга, у героев Катулла не поднимается вовсе: он неактуален, уже решен и решен не в пользу обязанностей общественных.

Этические нормы, которые, в конечном счете, определяют права и обязанности друзей и которым в дружбе следует лирический герой Катулла, выражаются одним всеобъемлющим синкретичным понятием pietas — справедливость. Это понятие в пределах этико-эстетической системы мироосмысления Катулла [3] раскрывается главным образом с одной своей стороны: сводится к fides — преданности, верности долгу, людям, обетам [4].

---

[3] Pietas — fides для Катулла — это соблюдение определенных прав человека. Права меняются, но требование к соблюдению их остается. Когда Катулл в LXIV стихотворении говорит об отсутствии pietas, он разделяет воззрения правоверных республиканцев и с их позиции критикует общество, отошедшее от неких, принятых предками моральных норм. Для лирического же героя Катулла, т. е. непосредственно в рамках оригинальной системы художественного миропонимания Катулла pietas — fides имеет более конкретный, более узкий смысл: должно обозначать fides — верность лишь в отношении лиц и понятий, организующих, составляющих жизненный круг adulescentes otiosi Catulli. См. также: R. M. H e n r y. Pietas and Fides in Catullus. — «Hermathena», 75 (1950), May.

[4] E. F r a e n k e l. Zur Geschichte des Wortes Fides. — Rh. M., B. 71, H. 2.

В XXX стихотворении лирический герой определяет поведение своего недостойного друга как inpia facta — несправедливые, неправые дела (XXX, 4). Совершать inpia facta — это значит пренебрегать дружескими обязанностями; покидать друга в несчастьях (XXX, 5), нарушать верность: предавать его (prodere — XXX, 3) и обманывать (fallere — XXX, 3). Друг, чьи поступки inpia facta, по праву может быть назван inmemor — непомнящий (о своих обязанностях — XXX, 1), falsus — неверный (XXX, 1), perfidus — вероломный (XXX, 3), fallax — лукавый (XXX, 4), т. е., другими словами, не имеющим fides. Невыполнение обязанностей дружбы, нарушение fides влечет за собой разрыв дружеских отношений (LXXV, 11) и наказание (и мистическое и реальное).

Кальву, если он не откликнется на просьбы друга, грозит гнев богини Немезиды (L, 20), вероломному Альфену — месть богини Верности (XXX, 11—12), а предателю Руфу — общественный позор (LXXVII, 10).

Таким образом, стать другом — amicus и sodalis — «вступить в дружбу» может лишь тот, кто обладает fides, кто fidus по своей природе.

Однако друг должен быть не только fidus, но и aequus (XXX, 7) — постоянный, и constans — надежный (XCI, 3), и ни в коем случае не audax — дерзкий (L, 18). Таким образом, для определения понятия друг — amicus — лирический герой Катулла пользуется терминами, формально тождественными тем, к которым прибегал Цицерон для характеристики своего идеального гражданина vir bonus (Cic. Lael., 19). Как и его номинальный двойник, amicus Катулла проявляет свои необходимые достоинства и добродетели в соответствующем поведении, на деле — per facta (C, 6). Лирический герой определяет такое поведение как fecisse benigne — делать добро (LXXIII, 3). Но делать добро или, говоря иначе, «совершать подвиги» — res gestae, в представлении героя Катулла — это значит не нарушать этические нормы, существующие в дружеских связях. Это значит не пренебрегать просьбами друга. Иначе будешь audax (L, 18—21). «Теперь остерегись быть дерзким и, умоляю, опасайся, милый, отвергнуть мои просьбы, чтобы Немезида не наказала тебя. Богиня свирепа: остерегись раздражить ее».

Nunc audax cave sis, precesque nostras,
Oramus, cave despuas, ocelle,
Ne poenas Nemesis reposcat a te.
Est vemens dea: laedere hanc caveto.

Audacia, или иначе fastus, по отношению к другу — проступок столь великий, что adulescens едва смеет подозревать в нем amicus (LV, 1—2; 14): «Умоляю, если это случайно не секрет,

укажи, где ты спрятался?.. Неужели ты молчишь, друг, от великой надменности?».

Oramus, si forte non molestumst,
Demonstres, ubi sint tuae tenebrae.
Tanto te fastu negas, amice.

«Делать добро» — это значит не предавать друга, не бросить его в несчастьях, иначе лишишься fides (XXX — passim). Это значит держать свое слово, чувствовать ответственность за свои поступки, иначе окажешься iniquus, а не aequus. Так, в XXX стихотворении, упрекая своего бывшего друга Альфена в непостоянстве, переменчивости, герой называет его iniquus (XXX, 7) — понятие, противоположное aequus — ровный, спокойный, невозмутимый.

Наконец, «делать добро» — это значит быть в дружбе надежным — constans, твердо следовать определенным правилам и не затрагивать интересы друга (XCI, 1—3).

Amicitia в понимании adulescentes Catulli есть своего рода negotium. Друг совершает ради друга res gestae — добро, хороший поступок, подвиг и за это получает благодарность, признание, хвалу, славу в веках. Аллий — друг лирического героя (LXVIII, 9) оказал последнему немалую услугу: предоставил ему свой дом для свидания с Лесбией (LXVIII, 68). За это благодарный друг воздает Аллию хвалу и пытается закрепить за ним славу в потомстве (LXVIII, 41—50). Важно, что эта слава, это одобрение его деятельности героя исходит (совсем как в предшествующих этико-эстетических системах!) от близких ему по духу людей, с той лишь разницей, что таковыми являются не граждане полиса, но adulescentes otiosi Catulli, лица подчеркнуто необщественные.

Итак, фактически, amicus Catulli изображен, создан по той же самой модели, по той же самой схеме, что и amicus Ciceronis, vir bonus Ciceronis. Чтобы стать amicus, герой должен иметь ряд определенных свойств и качеств: верность — fides, справедливость — aequitas, постоянство — constantia (ср. Cic., Lael., 19), которые выявляет на деле — per facta. Эти поступки приносят ему при одобрении других amici славу в веках. Так что в изображении героя завуалированно проходит традиционная линия vir bonus — virtus — res gestae — laus, gloria.

Тем самым amicitia Catulli, также как amicitia Ciceronis, оказывается возможной лишь между людьми, обладающими некой суммой определенных качеств. Причем номинально качества amicus Катулла и amicus Цицерона совпадают и, тем самым, amicus vir bonus Катулла, по чисто внешним признакам, оказывается тождественным amicus vir bonus Цицерона. Это особенно хорошо прослеживается на инвективах LXXVII против Руфа и XCI против Геллия, где созданный отрицательный образ

лишен в одном случае fides, в другом constantia. И отсутствие этих качеств делает образ адресата инвективы антиподом сразу двух общественных идеалов: vir bonus Ciceronis и vir bonus Catulli. Между тем и другим идеалом человека есть отличие, и отличие огромное, по существу, по сути, по внутреннему содержанию. Все свойства vir bonus, civis Romanus Цицерона раскрываются в сфере общественной государственной жизни, а vir bonus, adulescens Катулла совершает свои res gestae, свои подвиги, проявляет себя лишь в жизни внеобщественной, в жизни частной.

Другими словами, amicitia Катулла — тоже союз viri boni, но в восприятии лирического героя Катулла понятие vir bonus имеет иное значение, чем у Цицерона; из этого значения исключен официально-общественный смысл.

Характерно, что с точки зрения героя Катулла истинная amicitia возможна лишь между viri boni Catulli. Не viri boni не умеют сохранить верность другу. Поэтому вполне ясно горькое восклицание лирического героя, завершающее рассказ о дурном отношении к adulescentes Меммия и Пизона (XXVIII, 13): pete nobiles amicos! («Вот тебе и знатные друзья!»). Друзьями — adulescentes временно стали люди, принадлежащие не к кругу adulescentes, но к официальному обществу, не к viri boni Catulli, но, как подчеркивает лирический герой, к nobiles. Отсюда, вполне естественно, что они оказались неверными друзьями, что они предали.

Образ amicus Catulli противоречив: adulescens — частное лицо в обществе официальном и гражданин в обществе неофициальном, в обществе себе подобных.

В amicitia, в дружеском союзе, герои Катулла ищут спасения от превратностей судьбы, от жестокого и страшного внешнего мира, от разбушевавшейся гражданской стихии. Достаточно ясное представление дают об этом 7—8 строки XXX стихотворения: «Ведь ты, отступник, сам, завязывая со мною дружбу, просил вверить тебе душу так, как будто все было для меня безопасным».

Certe tute iubebas animam tradere, inique, me
Inducens in amorem, quasi tuta omnia mi forent.

Tuta omnia — полная безопасность, надежность, прочность — вот то, что пытались обрести в amicitia adulescentes, лишенные в коллективе города-полиса и прочного положения и душевного покоя.

Amicitia adulescentium Catulli скрепляет некий особый мир, в котором adulescentes живут своей особой жизнью. Этот мир — неофициальный мир, и люди, его населяющие, изображены не как члены полисного коллектива, но как частные индивиды, к официальному обществу отношения не имеющие. В этом замкнутом мирке есть свое подобие общества, которое живет

жизнью своих членов, но у последних нет иной жизни, кроме личной, и поэтому события частной жизни становятся общественным достоянием.

Именно этим объясняются бесконечные обращения лирического героя к друзьям с просьбой открыть ему тайны личной жизни (VI, 15—17; LV, 1—2, 15—22).

Adulescens Catulli не только стремится быть particeps amoris своего друга (LV, 22), но и сам в друзьях ищет доверенных лиц для излияния своих собственных чувств. Он просит утешения в горестях любви у Корнифиция (XXXVIII), в отчаянных посланиях Целию (LVIII) и Катону (LVI) он не колеблется раскрыть всю подноготную нравственного падения любимой им Лесбии.

Вступая в дружеское общение с adulescentes otiosi Catulli, переносясь в идеальный добрый мир, лирический герой полностью растворяется в этом мире, полностью сливает свои интересы с интересами своих друзей, вверяет им свою душу — tradere animum (XXX, 7).

Общественные устремления лирического героя получают выражение в жизни для друзей. Личное становится общественным и общественное личным. Жизнь личная, частная в восприятии героев Катулла оказывается вариантом истинно гражданской жизни. Для adulescens otiosus, для amicus Catulli нет жизни вне общества его друзей, и в то же время жизнь каждого из друзей — достояние всего этого общества. Однако чтобы осуществить хотя бы на время подобное слияние индивида и общества, общественного и личного начал, adulescens Catulli вынужден уйти от общественной жизни полиса в жизнь частную и попытаться поднять частную жизнь до высот жизни гражданской. Тем самым, согласно художественному мироосмыслению поэта, за идеал принимается человек-гражданин, сочетающий служение общественным интересам с истинно человеческими качествами, побуждениями.

Лирический герой Катулла, vir bonus Catulli, обладает еще одной особенностью, резко отличающей его от предшествующих литературных героев, в частности от vir bonus Ciceronis, и тесно связанной с общей установкой образа adulescens otiosus Catulli. Речь идет об абсолютном отсутствии умеренности — moderatio (ср. Cic., Tusc. disp. III, 18), о подчеркнуто полном торжестве cupiditas — исступленности, жадности к минуте, к мгновению.

Дружба лирического героя к Целию не просто amicitia, но amicitia unica (C, 6) — исключительная, единственная в своем роде дружба. Вераний и Кальв не просто друзья, amici, но Вераний для лирического героя дороже всех его остальных друзей, дороже трехсот тысяч (IX, 1—2 — omnibus e meis amicis antistans mihi milibus trecentis), а Кальва, «самого милого», он любит «больше глаз своих» (XIV, 1—2).

Ni te plus oculis meis amarem,
Iocundissime Calve. . .

Прибытие друга из дальнего путешествия вызывает у adulescens бурную реакцию, заставляет его воскликнуть (IX, 10—11): «О все что ни есть счастливые люди! Что для меня радостнее и счастливее?»

O quantumst hominum beatiorum,
Quid me laetius est beatiusve?

Наибольшую муку adulescens испытывает от самого близкого друга (LXXIII, 6) — unus et unicus amicus.

И эта неумеренность в выражении чувств и эта качественная и количественная исключительность в восприятии и проявлении дружбы понятна, объяснима. Прежде всего она служит способом показать, что мир amici, viri boni — это особый мир, мир исключительный, отличный от серой, унылой, размеренной однотонности мира официального и ему противопоставленный. Это во-первых, а во-вторых, исступленность героя — это исступленность перед гибелью. Это подчеркнуто острое восприятие всего, готового исчезнуть. Сами герои Катулла чувствуют, что фантомный мир, созданный их усилиями, непрочен. Грубый натиск реальной жизни, реального общества, внешнего мира — и рушится дружба, изменяет лучший друг (LXXIII).

Общее неустройство проникло в маленький интимный мир, мир дружбы, разбило его. Остается лишь скорбь по утраченному (XCVI, 4): «. . . и плачем мы о разорванных некогда дружеских связях. . .» — atque olim missas flemus amicitias.

Итак, на первый взгляд кажется, что представление об amicitia у героев Катулла абсолютно самобытно и находится вне какой бы то ни было зависимости от традиций. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что институт дружбы adulescentes otiosi Catulli фактически построен по схеме, выдвинутой теорией Цицерона и практикой предшествующих художественных систем освоения мира, в частности римских комедиографов. Вместе с тем понятия, составляющие amicitia Катулла, при всем их внешнем сходстве с соответствующими понятиями, бытующими у Цицерона, Плавта, Теренция, имеют свой самостоятельный смысл, свое новое внутреннее содержание. И тем самым amicitia adulescentis Catulli становится новым по своей сути явлением. Это изменение во внутреннем содержании и во внешнем изображении amicitia героев Катулла тесно связано с изменением трактовки образа человека в системе художественного мышления Катулла и соответствует этому изменению.

Ф. А. Петровский

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ «ЭНЕИДЫ» И ЗАДАЧИ НОВОГО ЕЕ ПЕРЕВОДА

La critique est aisée,
L'art est difficile.

Первый полный перевод «Энеиды» на русский язык вышел в конце XVIII в. Это — «Еней. Героическая поема Публия Виргилия Марона. Переведена с латинского г-ном Петровым» (дата посвящения — 1 января 1770 г.). Перевод сделан «александрийским стихом», причем количество стихотворных строк приблизительно в полтора раза больше, чем в подлиннике. Перевод очень точный и красивый, но, само собою разумеется, для нас устарелый как по языку, так и по форме. Тем не менее этот перевод полезен для нового переводчика «Энеиды», так как безусловно может обогатить его язык, главным образом отдельными словами при тщательном и осторожном их выборе.

Второй полный перевод «Энеиды» — Шершеневича, вышедший отдельным изданием в Варшаве в 1868 г., т. е. почти через сто лет после перевода Петрова. Впервые он был напечатан в «Современнике» в 50-х годах прошлого столетия, в отдельном издании вышел «значительно исправленный и во многом измененный». Это первый полный перевод, сделанный гексаметром. В гексаметре переводчик пользуется и хореями (спондеями). Принципы перевода изложены подробно переводчиком в предисловии (стр. 8 сл.): «Это не подстрочный перевод, — говорит Шершеневич, — каждого стиха отдельно, со всевозможным сохранением порядка слов подлинника; это и не буквальный перевод. . .» «Образованные люди, — замечает переводчик, — требуют от переводчика рассказа живого, изложенного языком простым, доступным пониманию каждого». Следуя этому принципу, Шершеневич отказывается передавать «формы древней речи соответствующими формами нашей», так как при такой системе перевода «в точности выразить мысль писателя. . . дело немыслимое». «Задача переводчика воспроизвести подлинник, но не иначе, как в духе того языка, на который переводит». Кроме того, Шершеневич указывает, что «ничего не может быть проще и естественнее рассказов Гомера и Вергилия, и в этом заключается вся прелесть, вся обаятельная сила их произведений, облеченных притом в изящную форму стиха. Ясность идеи, облеченной в изящную форму, — это отличительные свойства всех художественных произведений

греко-римского мира». — Очень высокую оценку перевода Шершеневича дал профессор Модестов в «Лекциях по истории римской литературы». Но нас перевод Шершеневича уже не удовлетворяет. Не отрицая того, что этот перевод прост и доступен, мы никак не можем согласиться с тем, что он передает подлинник: Шершеневич, по существу дела, только излагает *содержание* подлинника, отказываясь от точной передачи его даже там, где это вполне возможно и необходимо; он заменяет образы Вергилия своими или же просто ими пренебрегает (например, classique immitit habenas, что вполне возможно передать достаточно близко на русском языке, Шершеневич переводит «и мчался на полных ветрилах»). Кроме того, язык перевода вялый, и стих плохой: недостаточное владение стихом заставляет Шершеневича прибегать к таким приемам, какие ни в коем случае не могут быть допустимы (например, «найболее» вместо «наиболее: «Это был город из всех найболее чтимый Юноной»). Непонятно, почему Шершеневич жертвует и самыми простыми выражениями Вергилия, допускающими вполне точную передачу на русском языке, например:

. . . pars densa ferarum
tecta rapit silvas inventaque flumina monstrat
. . . другие отправились к темному лесу, в жилища
диких зверей; иные пошли за текучей водою,

опуская такую подробность, как inventaque flumina monstrat.

Следующим за переводом Шершеневича вышел в 1878 г. перевод Соснецкого, сделанный анапестами и в полтора раза превышающий по длине подлинник. Упоминаю его только для библиографической полноты: достаточно прочесть любой отрывок из этого перевода, чтобы убедиться в его полной негодности.

Дальнейшие переводы «Энеиды» сделаны, как и перевод Шершеневича, гексаметром, но один из них — перевод Фета — с допущением хореев, другой — Квашнина-Самарина — чистыми дактилями.

Перевод Фета вышел впервые в 1888 г. В нем книга 6-я переведена совместно с Вл. Соловьевым, а книги 7-я, 9-я и 10-я одним Вл. Соловьевым.

Перевод Квашнина-Самарина вышел в 1893 г. Начат он был в 1875 г. Переводчик указывает, что сознательно не знакомился с переводом Фета, опасаясь невольных заимствований. Гексаметр он признает только чисто дактилический.

Оба эти перевода значительно ближе к подлиннику, чем перевод Шершеневича, но и они, как правильно указал Валерий Брюсов, не могут удовлетворить тем требованиям, какие в настоящее время предъявляются к переводам. Перевод Фета—Соловьева, вообще говоря, лучше перевода Квашнина-Самарина, но оба они страдают одними и теми же недостатками: переводчики не обра-

щают достаточного внимания на точность передачи Вергилиева текста, именно на *точность*, а не на дословность, которой порой очень страдает перевод Фета. В тех случаях, где у Вергилия метафорическое выражение, и Фет и Квашнин-Самарин его раскрывают, риторики Вергилия не передают и т. д. Поэтому нельзя не согласиться с Брюсовым, что если не всюду, то во многих случаях получился не перевод, а пересказ «Энеиды» в гексаметрах. Что же касается самого гексаметра, то ни Фет, ни Квашнин-Самарин не довели его до той высоты, какой мы вправе требовать после гексаметров Гнедича, Жуковского и Пушкина. Перевод Квашнина-Самарина страдает, кроме того, и тем недостатком, что излишне архаизирует речь Вергилия и снабжает ее неприсущими ей образами; так, iuvenum manus Квашнин-Самарин переводит почему-то «юношей *сонм*»; arces, quibus altus Apollo praesidet — «к *оным* замкам, что вышнему Фебу вечно (?) подвластны»; «из *коей* Делиец», «*коими* столько же *гласов*» и т. п. Там, где у Квашнина-Самарина не выходит стих, он не стесняется вводить слова от себя, уничтожать Вергилиевы и т. д. Нет сомнений в том, что в стихотворном, в поэтическом переводе допустимы некоторые вольности, но они никогда *не должны выходить за пределы поэтики подлинника*. Этого Квашнин-Самарин не соблюдает. О прямых ошибках этого перевода не стоит и говорить.

Перевод Фета страдает более или менее теми же недочетами. Кроме того, перевод Фета очень тяжел и неуклюж и по стиху (что, впрочем, свойственно всем почти переводам Фета, кроме ранних):

Не прибавляются ни начатые башни, ни юность
Не готовится в бой, ни порта, ни верной защиты
Не созидают для войн.

(IV, 86 сл.)

Стиль перевода Фета тоже какой-то странный и чрезвычайно смешанный:

Пусть это будет мой труд. Теперь, каким образом дело
Совершиться могло б, внемли, научу тебя кратко.

(IV, 115)

Все эти недостатки старых переводов (сделанных размером подлинника) вызвали ту ожесточенную критику, какой подверг их Брюсов. Но когда появился весь перевод «Энеиды» самого Брюсова (в 1933 г.), стало ясно, что и этот перевод, принадлежащий одному из крупнейших наших поэтов, никоим образом не может удовлетворить читателя. Я не буду повторять тех принципов, какие Брюсов считал необходимым положить в основу своего перевода — они разъяснены очень подробно в его статье, присоединенной к пе-

реводу. Но читатель вправе требовать соблюдения этих принципов в переводе. И вот он сразу натыкается на такие стихи:

Тучно елеем поверх поливая горящие туки
(VI, 254)

Очевидно, думает читатель, такой перевод оправдывается текстом подлинника? Нет. У Вергилия сказано:

pingue super oleum fundens ardentibus extis.

Правда, в большинстве случаев мы можем найти у Вергилия как бы оправдание того, как переводит Брюсов, но дело в том, что слишком уж часто необходимо искать это оправдание, чтобы понять, что хотел сказать Брюсов; иначе говоря, в очень многих случаях без помощи подлинника понять перевод Брюсова нельзя:

Каждый на пальцы ног немедленно стал опираясь.
(V, 426)

constitit in digitos extemplo arrectus uterque

или:

Тут порожденный Анхисом отец вынес равные кесты
И одинаковым длани оружьем опутал обоих.
(V, 423)

или:

Этим надменен и мня, что все отреклись от награды,
Стал он Энея у ног и тотчас, боле не медля,
Шуйцей быка за рог ухватил и это промолвил.
(V, 380)

Это не точный перевод Вергилия и не передача красот его языка, как хотел сделать Брюсов, а его искажение. И, наконец, еще один пример:

Движется между тем небосвод, с Океана встает ночь
И обнимает длинною тенью и землю и полюс.
(II, 250)

vertitur interea caelum et ruit Oceano nox
involvens umbra magna terramque pelumque.

Сравните с подлинником — очень ловко, читайте один русский текст. . . Scis, puto, quod sequitur!

Стремление Брюсова к точной передаче поэтики Вергилия привело его к обратному результату: художественно выработанный язык Вергилия обратился у Брюсова в тяжелый, трудно воспринимаемый, а порою прямо заумный. Те блестящие места, какие есть в этом переводе, нисколько не спасают его — он остается в целом неудобочитаемым. И все-таки великая заслуга Брюсова в том, что он дал много верных предпосылок для перевода

«Энеиды». Но главным несчастьем Брюсова было то, что он не отличал образов и словесных фигур, принадлежащих самому Вергилию, от образов и фигур, свойственных вообще латинскому языку и потерявших свою оригинальность; иными словами, Брюсов не делал различия в своем переводе между *идиомами латинского языка* и *идиомами Вергилия*. Такие образы и фигуры, свойственные какому-нибудь языку вообще, далеко не всегда можно сохранять в точности, а надо находить им *эквиваленты* в языке перевода; иначе они будут чрезмерно выпирать, будут вычурны, неестественны и отнюдь не передадут речи подлинника: получится перевод дословный и поэтому неизбежно неточный.

Что касается передачи Брюсовым собственных имен — Ве́нера, Рома (вместо Рим), Март (вместо Марс), Юпитер, с косвенными падежами Йова и т. д., то они, разумеется, никак у нас не привились. Скажу только, что приписывать Брюсову именительный падеж «Йов» несправедливо — в этом он неповинен, хотя Дератани и приписывает ему такую форму, не разобравшись как следует в принципах Брюсова.

Требования, которые должны быть предъявляемы к переводу «Энеиды» (да и не только «Энеиды»), очень велики, но все-таки это далеко не всегда те требования, какие предъявляет к переводу Брюсов. Не входя теперь в подробный разбор этих требований, замечу только одно: чрезвычайно странно, что такой poeta doctus, каким был Брюсов, не обратил внимание на построение стиха в «Энеиде», построение, отличающее и гексаметр других выдающихся поэтов «золотого века», а постарался передать в своем переводе как раз те особенности, какие далеко не всегда можно и должно передавать; так, он старательно передает такие ходы, как окончание гексаметра на односложное слово «с Океана встает ночь» (ruit Oceano nox — II, 250), но совершенно не считается с постоянными цезурами Вергилия, чему примером служит хотя бы непосредственно следующий за этим стих:

—◡◡ | — — || —◡◡ | —◡ || ◡ | —◡◡ | —⌒
И обнимает длинною тенью и землю и полюс.

(II, 251)

А ведь у Вергилия почти никогда не встречается женских цезур (на всю шестую книгу «Энеиды» чуть ли не одна), у Брюсова же они на каждом шагу.

Чтобы правильно передать «Энеиду», насколько это возможно в рамках перевода, надо первым делом точно передавать ее содержание, стараясь не упустить никаких существенных его оттенков. Это — первое и основное требование к переводу поэмы, автор которой не занимается формой ради формы и которая является замечательнейшим памятником латинской эпической поэзии. Содержание «Энеиды» теснейшим образом связано со словесным ее оформлением, и поэтому переводчик должен тщательнейшим

образом следить за всеми оттенками мысли Вергилия и за теми средствами, какими он пользуется для передачи своей мысли. Так, переводчик обязан приложить все старания к полной передаче эпитетов Вергилия, не вводить ничего от себя (вроде Квашнинского «вечно») и, во всяком случае, при необходимости несколько изменять текст Вергилия, следить за тем, чтобы вводимые образы, фигуры, тропы, эпитеты и т. д. полностью отвечали Вергилиевой поэтике. Нельзя, например, вводить отвлеченный образ вместо конкретного, слуховой вместо зрительного и т. д., как нельзя переводить Катуллова caesius leo «кровожадный лев», как это было сделано одним переводчиком.

Надо непременно держаться традиционной передачи собственных имен там, где такая передача прочно вошла в русский язык, вплоть до того, что, несмотря на всю «неправильность» имени «Цирцея», все же лучше сохранять эту форму, а не заменять ее формой «Кирка». Это необходимо.

Необходимо тщательно соблюдать то правило, что перевод не должен выходить за рамки подлинника; иными словами, перевод ни в коем случае не должен приукрашивать подлинника, что бывает иной раз очень соблазнительно и на что многие переводчики весьма падки. Это особенно важно при переводе «Энеиды» с ее скорее скуповатой, чем с богатой поэтической одеждой. Поэтика Вергилия прекрасно исследована, и переводчик обязан тщательно ее изучить. Необходимо изучить и дошедшие до нас древние комментарии к «Энеиде», потому что часто только благодаря им можно как следует понять мысль Вергилия и те реалии, которыми изобилует текст «Энеиды».

ВЕРГИЛИЙ

«ЭНЕИДА»

Книга 6, стихи 1—383

Перевод Ф. А. Петровского

Так говорит он в слезах, бразды кораблей напрягает
И пристает наконец к Евбейских Кум побережью.
В море носы обращают судов, вонзившийся цепко
Держит их якорный зуб, окаймляют округлые кормы
Взморье кругом. Бегут толпою юноши пылкой
По Гесперийской земле. Те ищут в жилах кремневых
Скрытые зерна огня, а эти грабят густые
Кровы зверей — леса и ведут к найдённым потокам.
Но благочестный Эней стремится к твердыням, где вышний
Властвует бог Аполлон, и сокрыт в необъятной пещере
Страшной Сибиллы тайник, где ее вдохновляет премудрым

Духом Делийский пророк и грядущее ей открывает.
К Тривии роще теперь, к золотой приближаются кровле.
Ходит молва, что Дедал, при побеге из царства Миноса,
На быстролетных крылах осмелясь ввериться небу,
Необычайным путем к холодным Медведицам выплыл
И наконец опустился легко на Халкидскую гору.
На землю здесь возвратясь, свои окрыленные весла,
Феб, посвятил он тебе и храм необъятный построил.
Смерть Андрогея здесь на дверях; и дети Кекропа
Должны, о горе! терпеть ежегодную казнь, отдавая
Жизнь семерых сыновей: уже вынуты жребьи из урны.
Кносская против земля поднялась навстречу из моря:
Здесь и жестокая страсть к быку, на свидании тайном
Вот Пасифая и с ней ублюдок ее двуобразный
Рядом стоит Минотавр — любви преступной улика;
Здесь изумительный дом — тайники западни безысходной;
Сам же однако Дедал, сострадая влюбленной царевне,
Хитросплетенья дворца раскрывает, ведя по невидным,
С помощью нити, следам. И в этом твореньи большую
Долю б имел ты, Икар, если б только позволило горе:
Дважды паденье твое ваять он из золота брался,
Дважды рука опускалась отца.
Да и всё по порядку
Их рассмотрели б глаза, не явись уже посланный раньше,
Тут перед ними Ахат и Феба с Тривией жрица,
Главкова дочь Деифоба, что так царю возвещает:
«Не на такое смотреть тебе зрелище ныне пристало!
Лучше из стада теперь, под ярмом не ходившего, в жертву
Семь принести бы тельцов и овец, по обету избра́нных».
Это Энею сказав, — и священную волю не медлят
Мужи исполнить, — зовет она тевкров к высокому храму.
В мощной стене Евбейской скалы прорыта пещера
С сотней просторных ходов и сотнею входов, откуда
Столько же там голосов раздается — ответов Сибиллы.
Только к порогу пришли, как дева воскликнула: «Время
Вам прорицаньям внимать. Се бог! Се бог!» И пред дверью
Вдруг у нее и черты и цвет лица изменились
И расплелись волоса; вздымаются перси удушьем,
Диким безумием — грудь; она кажется выше, и звуком
Голос не смертным звучит у нее; она приближеньем
Вдохновлена божества. «Ты медлишь с мольбой и обетом,
Медлишь, троянец Эней? А до этого ведь не откроет
Вещих уст очарованный дом!» И, это промолвив,
Смолкла. По твердым костям пробежал у тевкров знобящий
Хлад, и от сердца глубин их царь начинает моленья:
«Феб, сострадавший всегда тяжелым бедствиям Трои,
Ты, кто Париса рукой и стрелою дарданскою метко

Внука Эака сразил, с тобою вожатым я много
Разных морей посетил, омывающих мощные страны,
Дальних массильцев народ и закрытые Сиртами земли!
Вот уж Италии мы достигли брегов, убегавших, —
Пусть же троянской судьбой лишь доселе мы будем гонимы! —
И не постыдно теперь пощадить пергамское племя,
Боги, богини, всем вам, кому Илион и дарданцев
Слава помехой была! Ты, святая пророчица, коей
Ведомы судьбы, дозволь — не преступно я требую царства
Обетованного мне — поселиться в Лации тевкрам,
Их бездомным богам и гонимым святыням троянским.
Фебу и Тривии храм из крепкого мрамора будет
Мною основан тогда и во имя Фебово праздник.
Ждет тогда и тебя в нашем царстве покой величавый:
Буду я там сохранять прорицанья и тайные речи,
Что возгласишь моему ты народу, приставя избра́нных
К ним, всеблагая, мужей. Но листам не вверяй предсказаний,
Чтоб не смешались они и не стали игралищем ветров;
Пой их сама, я молю». И уста он смыкает, умолкнув.
    Но, непокорна еще воле Феба, пророчица дико
Мечется всё в пещере, с груди своей сбросить стараясь
Мощного бога: сильней он уста вдохновенные мучит,
Бурные перси теснит и сжимает ее, укрощая.
И растворились тут все сто выходов дома огромных
Сами собой и несут ответы пророчицы в воздух:
«О завершивший теперь испытания тяжкие в море —
Но на земле еще бо́льшие ждут — в Лавиния область
Дети Дардана придут — оставь об этом заботы, —
Но не на радость себе: я войны, жестокие войны
Вижу, и Тибр предо мной, вспенённый обильною кровью.
Ни Симоис не минует тебя, ни Ксанф, ни дорийский
Лагерь: в Латинской земле второй Ахиллес народился,
Тоже богини дитя; ни Юнона преследовать тевкров
Не перестанет нигде: в нужде не найдешь ты подмоги,
Сколько бы ты городов ни молил и племен италийских!
Зол этих корень — опять радушная тевкрам супруга,
Вновь с иноземкою брак.
Не отступай перед злом, но встречай его ты смелее,
Чем будет рок тебе твой дозволять. Дорога к спасенью —
Ты б и подумать не мог — начнется от города греков».
    Кумская так говоря из храмины тайной, Сибилла
Пеньем загадочных слов оглашает пещеру и правдой
В темном обличьи страшит. Дает исступленной поводья
Бог Аполлон и под грудь вонзает ей острые жала.
Лишь исступленье прошло и уста вдохновенные стихли,
Как начинает великий Эней: «Не встает предо мною,
Дева, картины трудов ни новой, ни мною нежданной:

Их я предвидел и всё в душе обдумал заране.
Просьба одна: если здесь пресловутый к царю преисподней
Вход, и болото лежит — Ахеронта унылая заводь,
Пусть дорогого родителя мне посетить и увидеть
Даруют. Путь укажи и открой мне заветные двери.
Я через пламя его и тысячи стрел настигавших,
Вынес на этих плечах и спас среди вражеских полчищ;
Сопровождая меня, все моря он вместе со мною
Переплывал и сносил все угрозы пучины и неба,
Немощный, сверх своих сил и под бременем старческой доли.
Сам он тебя умолять, к твоему припадая порогу,
И поручал и просил. Пожалей, заклинаю, благая,
Сына с родителем ты! Ведь ты всемогуща: Геката
Не понапрасну тебя к Авернским приставила рощам.
Ежели в силах Орфей был вызвать призрак супруги
Сладкими звуками струн своей фракийской кифары,
Коль, умирая в черед, Поллукс, чтобы выкупить брата,
Ходит туда и назад — к чему мне о мощном Тезее
Напоминать, об Алкиде? — я сам от Юпитера родом».
Так говорил, умоляя, Эней и алтарь обнимал он.
И отвечает она: «Троянец, рожденный Анхизом,
Крови божественный плод, легко нисхожденье к Аверну:
Дита угрюмого дверь отворена денно и нощно;
Но возвратиться назад и на вольный выбраться воздух —
Вот в чем задача, в чем труд. Немногие, коих Юпитер
Нежно любил, иль взнесла до небес их пылкая доблесть —
Дети богов — возмогли. Простирается лес посредине,
И окружает Коцит его вялый излучиной мрачной.
Но коль охвачен таким ты влеченьем и страстью такою,
Дважды проплыть по Стигийским волнам, дважды черный увидеть
Тартар, и любо тебе трудом обольщаться безумным,
Слушай, с чего начинать. На дереве темном таится
С гибким стеблём золотым и с такими же листьями ветка,
Что посвященной слывет преисподней Юноне, сокрыта
Рощею всей и туманных долин окутана тенью.
Но не дано никому спуститься в подземные недра,
Прежде чем он не сорвет златолиственный с дерева отпрыск.
Это прекрасная в дар повелела себе Прозерпина
Преподносить; в тот же миг за отломленной ветвью другая,
Вновь золотая, растет, расцветая тем же металлом.
Взором поэтому ты ищи наверху и находку
Благоговейно срывай: охотно пойдет она в руки,
Если ты призван судьбой; никакою ты иначе силой
Не одолеешь ее и не срубишь и острым железом.
Сверх того: тело лежит у тебя бездыханного друга —
О, ты не знаешь! — и флот оскверняется трупом в то время,

Как за ответом стоишь и медлишь на нашем пороге.
К месту покоя снеси ты его и предай погребенью.
Черный скот приведи: искупленьем да будет то первым.
Узришь ты только тогда Стигийские рощи и область,
Что недоступна живым». И, сомкнувши уста, замолчала.
Очи потупил Эней и с лицом, омраченным печалью,
Он из пещеры идет, о загадочных судьбах с собою
Сам размышляя в душе, провожаемый верным Ахатом,
Следом идущим за ним и охваченным той же заботой.
Много догадок они измышляли в беседе друг с другом,
Кто бездыханный собрат, чье велела пророчица тело
Похоронить. Как вдруг на сухом побережьи пред ними,
Видят, Мизен распростерт, недостойною отнятый смертью,
Сын Эола, Мизен, как никто поднимавший на битву
Звучною медью мужей, распаляя раскатами Марса.
Гектора мощного был он соратником, с Гектором рядом
Он на сражения шел, отличаясь и рогом и пикой.
После ж, как жизнь у вождя его отнял Ахилл-победитель,
Неустрашимый герой собратом дарданца Энея
Сделался, следом за ним не на меньшие подвиги идя.
В этот же день, когда полой раковиной оглашая
Море, безумец, трубил и на спор божества вызывал он,
Схвачен завистливым был Тритоном, коль верить сказанью,
И человек среди скал был в пенистых волнах потоплен.
Все обступили его и, громко рыдая, стонали;
Более всех благочестный Эней. Но, не медля, Сибиллы
Волю исполнить спешат и с плачем алтарь похоронный
Строят, деревья валя, и возвысить стараются к небу.
В лес стародавний идут, к звериным глубоким берлогам.
Падают пихты, трещит топорами подрубленный падуб,
Ясеня бревна и дуб на поленья колется ломкий
Клином, и катятся вниз стволы огромной рябины.
Не уступает Эней и первый в этой работе
Он поощряет своих, препоясавшись тем же оружьем,
Но про себя между тем размышляет со скорбью сердечной,
В лес беспредельный смотря, и так, на счастье, он молит:
«Пусть показалась бы мне золотая на дереве ветка
В зарослях этих теперь! Когда всё пророчица верно,
О, даже слишком, увы! о тебе, Мизен, предсказала».
Вымолвить он не успел, как тотчас пара голубок
Прямо под взором его опускается, с неба слетая,
И на зеленой траве садится. Герой достославный
Матери птиц узнает и радостно их умоляет:
«Будьте вожатыми мне, коль дорога тут есть, направляя
В рощи по воздуху путь, где роскошная ветвь осеняет
Тучную почву. И ты не покинь меня в смутную пору,
Матерь-богиня!» Сказав, он пускается следом за ними,

Глядя на каждый их знак и куда они обе стремятся.
Корм подбирая, они настолько вперед улетали,
Сколько могло проследить за полетом их острое зренье.
Только когда подошли к зловонной пасти Аверна,
Быстро вверх поднялись и, скользнув через воздух прозрачный,
Обе в желанных местах на двойном они дереве сели
Там, где ярко горит меж ветвей его золота отблеск.
Словно холодной зимой среди леса бывает омела
Свежей одета листвой, зарождаясь на дереве чуждом
И желтоватым ростком вкруг стройных стволов обвиваясь, —
Были такими на вид и листы золотые на темном
Падубе, так шелестеть начинали от легкого ветра.
Мигом хватает Эней и жадной рукою ломает
Косную ветвь и несет под кровлю вещей Сибиллы.
Не прекращали меж тем о Мизене у берега тевкры
Плакать, последний долг отдавая бездушному праху.
Прежде всего возвели из бревен смолистых и дуба
Пышный огромный костер, края у него заплетая
Мрачной листвой; перед ним похоронных чреду кипарисов
Ставят, а сверху его украшают блестящим доспехом.
Воду горячую сняв с огня в кипящих сосудах,
Моют остывший труп и его умащают елеем.
Стон раздается. Кладут, оплакав, тело на ложе
И одевают его багряницей, обычным покровом,
Сверху. Иные же одр поднимают на плечи тяжелый —
Горестный долг! — и держа по обряду отцов, отвернувшись,
Факел, костер подожгли. Приносимые в жертву пылают
Ладан и яства в огне и елеем налитые чаши.
После того как дотла всё сгорело и пламя утихло,
Смыли вином они прах и влагу вбирающий пепел,
Кости же взял Кориней и сложил их в медную урну.
Трижды потом он обнес соратников чистой водою,
Легкой росою кропя с плодоносной оливковой ветки, —
Этим очистив мужей, — и прощальным напутствовав словом.
Но благочестный Эней курган насыпает огромный
С бранным доспехом, веслом и трубою умершего мужа
Рядом с подошвой горы поднебесной, той, что Мизеном
Ныне слывет и во веки веков хранит его имя.
Сделав это, спешит он исполнить заветы Сибиллы.
Страшным отверстьем зиял глубокий провал каменистый,
Озером черным закрыт и зарослью мрачного леса;
И не могла ни одна над ним безнаказанно птица
Путь совершать на крылах: испаренья такие, из темной
Пасти его выходя, неслись высоко к небосводу.
[Вот почему и зовут это место греки Аорном].
Прежде всего четырех черношерстых пророчица телок
Ставит сюда чередой, на лоб им вино возливая;

И, сощипнув меж рогов у них с маковки самой щетину,
В пламя священных огней бросает, как первую жертву,
В голос Гекату зовя, госпожу и небес и Эреба.
В горла вонзают ножи, и полнит плоские чаши
Теплою кровью народ. Сам Эней чернорунную ярку
Матери дев Евменид и великой сестре ее также
Колет мечом, а тебе, Прозерпина, неплодную телку.
Ставит ночные потом алтари он Стигийскому богу,
Целые туши быков возлагает на пламень и сверху
Жирным елеем в огне утробы их поливает.
Вот, лишь забрезжил рассвет на заре восходящего солнца,
Вдруг загудела земля под ногами, лесные нагорья
Заколебались, и псы завыли во мраке, как видно,
Чуя богини приход. — «Нечестивые, прочь уходите!» —
Так восклицает пророчица, — «прочь удалитесь из рощи!
Ты же в дорогу скорей и выхвати меч свой из ножен:
Ныне отвага, Эней, ныне смелое надобно сердце!»
Молвила так и стремглав она вторглась в устье пещеры.
Он, не робея, идет с шагами вожатого вровень.
Боги, властители душ, и вы, молчаливые тени!
Хаос и ты, Флегетон! вы безмолвные области ночи!
Да не во грех я скажу о слышанном; мне вы дозвольте
Мир преисподней открыть, в глубокую тьму погруженный!
Шли одиноко они, сокрытые темною ночью,
Вдоль по хоромам пустым и владениям призрачным Дита.
Так, под неверной луной, при свете ее ненадежном,
Лесом дорога идет, когда небо Юпитер окутал
Тенью, и темная ночь у вещей отнимает окраску.
Прямо у входа во двор, в сенях обиталища Орка
Расположились Печаль и мстящие людям Заботы;
Бледные Недуги здесь обитают, унылая Старость,
Страх и внушающий зло тут Голод с гнусной Нуждою,
Образы, видом своим ужасные, Смерть и Страданье;
Тут же со Смертью — Сон, родной ее брат, тут и Страсти
Злобные; против — Война смертоносная там на пороге,
Рядом — железный чертог Евменид и безумная Распря,
Чьи волоса из ехидн заплетают кровавые ленты.
Мощно в средине свои вековыми объятьями ветви
Темный вяз распростер — Сновидений обманных обитель, —
Как говорят, — где они под каждым листком угнездились.
Множество кроме того там чудовищ в обличьи зверином:
В стойлах Кентавры стоят у дверей, двуобразные Сциллы,
С сотнею рук великан Бриарей, и Лернейская гидра
Жуткий шип издает, и пламенем дышет Химера;
Там и Горгоны, и Гарпии там, и призрак трехтелый.
Сразу хватает Эней в испуге внезапном оружье
И обнаженным мечом угрожает идущим навстречу;

И, не напомни ему его мудрая спутница тут же,
Что под личиной пустой здесь витают бесплотные души,
Бросился б он рубить клинком ничтожные тени.
  В Тартар отсюда ведет дорога к водам Ахеронта.
Илом здесь бурно кипит в бездонном водовороте
Мутный поток и в Коцит из пучин песок изрыгает.
Рек этих воды блюдет ужасного вида паромщик.
В страшной коросте Харон, у которого весь подбородок
Комом зарос седой бороды, глаза пламенеют,
А на плечах повязал он одежду грязную в узел.
Сам он шестом толкает ладью, паруса поднимает
И мертвецов на своем перевозит он ржавом пароме, —
Хоть и старик, но свежа и вынослива старость у бога.
К этим речным берегам вся толпа, приливая, валила —
Матери, с ними мужья и жизни лишенные трупы
Духом великих людей, тут же отроки юные, девы
И на глазах у отцов в могилу сошедшие дети —
Густо, как листья в лесу, что при первых осенних морозах
Падают вниз, облетев, иль как нá землю с омута стаи
Густо слетаются птиц, когда их холодное время
За море гонит бежать в края, согретые солнцем.
Каждый стоял и просил его первым из всех переправить,
Руки простерши, стремясь к отдаленному берегу страстно,
Грозный однако гребец то одних, то других принимает
И прогоняет иных с песчаного прочь побережья.
Тут изумленный Эней и смущенный сумятицей этой
«Дева, — промолвил, — скажи, что за скопище здесь у потока?
Что за стремление душ? Почему берега оставляют
Эти, а те бороздят свинцовую веслами воду?»
Краткий на это ответ дает долговечная жрица:
«О порожденный Анхизом, богов достойный потомок,
Заводь глубокую зришь — Коцита и Стикса болото,
Боги которым клянясь, опасаются клятву нарушить.
Это — несчастных толпа, не покрытых землею могильной,
Этот паромщик — Харон, по воде он везет погребенных;
С отмели страшной возить он по хриплым волнам их не смеет
Прежде того, чем покой обретут их кости в могиле.
Бродят они по сто лет и летают кругом побережья:
К заводи только тогда допускаются вновь вожделенной».
Остановился и стал, как вкопанный, отпрыск Анхиза
В думах о горькой судьбе, угрожающей душам усопших.
Смотрит: печальные там и лишенные чести посмертной —
Флота ликийского вождь — Оронт и Левкаспид, которых,
Плывших из Трои вдвоем по волнуемой ветром пучине,
Австра порыв сокрушил, и мужей и корабль потопивши.
  Вдруг он увидел, к нему Палинур приближается кормчий,
Что на недавнем пути от Ливии, следуя звездам,

В море упал с корабельной кормы и в волнах потерялся.
Только узнал он его, печального, в тени глубокой,
Так обратился к нему: «Кто тебя, Палинур, из всевышних
Отнял насильно у нас и бросил в морскую пучину?
О, расскажи! ибо мне, ни разу дотоле не лгавший,
Лишь на вопрос о тебе Аполлон ответил обманно:
Он возглашал, что моря безопасны тебе и прибудешь
Целым в Авзонию ты. Где же правда в его обещаньи?»
Тот же в ответ: «Ни тебя не обманывал Фебов треножник,
Вождь, сын Анхиза, ни я не потоплен был богом в пучине.
Ибо стремглав я упал с неожиданно вырванным страшной
Силой веслом кормовым, за которое крепко держаться
Должен был, правя ладьей. Но клянусь я морем свирепым,
Не за себя самого охватил меня страх: я боялся,
Как бы корабль у тебя, рулевого лишенный и снасти,
Не затонул в таких высоко вздымавшихся волнах.
Бурных три ночи меня неистовый Нот по безмерным
Водным пучинам носил, и лишь на четвертое утро
С самого гребня волны я увидел Италии берег,
Я подплывал понемногу к земле; да и выбрался было,
Но на меня, когда я под тяжестью мокрой одежды
Острые скалы хватал, скрючив пальцы, напало с оружьем
Лютое племя, во мне, по неведенью, видя добычу.
Ныне прибой меня бьет и катают по берегу ветры.
Светочем милым небес и воздухом я заклинаю,
Ради отца твоего и надежды растущей — Иула,
Вырви меня из этой беды, необорный! Ты можешь
Бросить земли на меня, отыскав Велийскую гавань,
Или, коль ведаешь путь, коль тебе таковой показала
Матерь-богиня, — ведь ты не без воли богов, я уверен,
Страшными реками плыть к Стигийским болотам собрался, —
Руку мне жалкому дай и с собой переправь через волны,
Чтобы хоть в смерти обрел себе я покой безмятежный».
Так он просил, но его пророчица так прерывает:
«Что за ужасная страсть тебя, Палинур, обуяла?
Непохороненный ты Стигийские воды увидишь
С грозной рекой Евменид и нá берег выйдешь без спросу?
Брось надежду мольбой изменить богов повеленья!
Но не забудь моих слов в утешение участи горькой.
Знай: соседний народ, по всем городам и селеньям
Знаменья видя с небес, упокоит навек твои кости,
Холм возведет и на нем ежегодный справлять будет праздник,
Место же это навек сохранит Палинурово имя».
Стихли заботы его от этих речей, и на сердце
Временно скорбь улеглась: он рад земле соименной.

И. Тренчени-Вальдапфель

МИМНЕРМ И ПРОПЕРЦИЙ

«Вопрос о том, был ли заимствован римлянами поэтический жанр любовной элегии непосредственно от александрийских поэтов или он был создан уже на римской почве, до сих пор остается не решенным» [1]. Это совершенно правильное заключение появилось в том превосходном обобщающем труде, в составлении и написании которого принял участие С. И. Соболевский, обладавший и в глубокой старости поразительной ясностью и свежестью ума. В моей памяти остались незабываемыми две встречи с этим большим ученым и мудрым человеком: один раз в Институте мировой литературы, другой раз у него дома, когда я был свидетелем любовной заботы, с которой он обсуждал вместе со своими сотрудниками готовившийся тогда большой труд. Теперь, когда я могу высказаться об одной из тех проблем, которыми занимался и С. И. Соболевский, я не могу, конечно, претендовать на то, чтобы дать удовлетворительный и окончательный ответ по давно обсуждаемому вопросу о происхождении римской элегии. Я ограничусь только несколькими мыслями по решению вопроса.

В тех греческих прообразах римской элегии, на которые в этот раз мы обращаем внимание, развертывается знаменитый спор Мимнерма и Солона о старости, — спор, отголосок которого проходит через всю античную литературу. И в этом споре академик С. И. Соболевский всей своей гармоничной бесподобно богатой жизнью, посвященной науке и гуманизму и охватывающей почти сто лет, высказывается в пользу справедливости Солона. Μηδέ μοι ἄκλαυστος θάνατος μόλοι — вместе с нашими советскими друзьями, с его учениками, коллегами и сотрудниками и мы издалека оплакивали его кончину. Но память о нем вызывает не только печаль в сердцах тех, что его уважал и любил, а и бессмертную умиротворенность в связи с красотой его примерной жизни.

Прежде чем мы перейдем к анализу нескольких данных, которые, по моему мнению, говорят в пользу греческих предпосылок римской элегии, мы должны высказать одно принципиальное положение. Все жанры римской литературы своими корнями

[1] Е. А. Беркова. Римская элегия.—В кн.: «История римской литературы», т. I. М., 1959, стр. 419.

Меллендорффом; он находил коренное сходство в жизнепонимании двух поэтов, но единственным конкретным доказательством подражания Проперцием Мимнерму признавал то, что Проперций подобно Мимнерму выбирает имя любимой женщины. Нанно — Цинтия в качестве заглавия цикла элегий [8]. Относительно этого обычая давать названия мы можем предполагать и эллинистическое посредничество («Леонтион» Гермесианакта, «Биттида» Филита и даже «Лида» Антимаха). Трудно поверить тому, что те параллели, которые прилежно отмечает Садецки-Кардошш, не заметил бы такой выдающийся знаток античной поэзии как Виламовиц-Меллендорфф. Скорее следует думать о том, что он не придавал особого значения таким общим местам в любовной поэзии.

Однако те места поэзии Проперция, на которые (не притязая на полноту) ниже мы обращаем внимание, не могут считаться общими местами. Правда, их связь с Мимнермом на первый взгляд не бросается в глаза: только анализ может раскрыть те нити, которые связывают римского поэта с греческим. Преимущество такого анализа заключается в том, что он показывает не только суггестивность передающего поэта, но и активную сторону восприятия. Творческий характер восприятия доказывается нашими примерами и у тех греческих поэтов, которые, вероятно, были посредниками в передаче мотивов между Мимнермом и Проперцием.

Очередь открывает Солон, великий современник Мимнерма, который вступает в спор с поэтом, не желающим жить без любви, предпочитающим смерть старости (фр. 22). «Пусть в шестьдесят лет постигнет меня смерть», — писал Мимнерм (фр. 6, Diehl). Солон умеет ценить и красоту старости, поэтому он любит длинную жизнь и призывает Мимнерма изменить свои слова на «Пусть в восемьдесят лет постигнет меня смерть». Противоречие является непреодолимым: за похвалой старости скрывается жизнь, посвященная обществу, а желание смерти, восстающее против старости, является результатом индивидуализма, возникшего в изнеженной среде ионических городов [9]. На основе Стобея (IV, 54) и Плутарха («Попликола», 24), указывающего точное местонахождение, четверостишие, сохраненное Диогеном Лаэртским (I, 60), может быть дополнено двумя строками, и на основе этого можно прийти к некоторым выводам относительно соответствующего фрагмента Мимнерма. Согласно этому, Солон противоречит Мимнерму не только относительно желаемого возраста, но и считает смерть более достойной, если есть кому оплакивать

[8] U. von Wilamowitz-Moellendorff. Sappho und Simonides. Berlin, 1913, S. 276—304.

[9] Этот тезис, высказанный в моей «Истории греческой литературы» (Budapest, 1944, p. 151) развил дальше Ш. Садецки-Кардошш: «A fiatalság és öregség Mimnermos költészeteben» [«Юность и старость в поэзии Мимнерма»]. — «Antik Tanulmányck—Studia Antiqua», 8 (1961), p. 55—64. A. Masaracchia. Solone. Firenze, 1958, p. 334—337.

покойного. Следовательно, стихотворение Солона «К Мимнерму» (оставим пока без внимания, проблематичный и по содержанию и метрически пентаметр, никоим образом не примыкающий к первым 4+2 строкам), приобретает следующий вид:

ἀλλ' εἴ μοι κἂν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτον,
μὴ δὲ μέγαιρ' ὅτι σεῦ λῷον ἐπεφρασάμην,
καὶ μεταποίησον, λιγυαιστάδη, ὧδε δ'ἄειδε·
'ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου'.
μηδέ μοι ἄκλαυστος θάνατος μόλοι, ἀλλὰ φίλοισι
καλλείποιμι θανὼν ἄλγεα καὶ στοναχάς.

Ввиду тесной связанности 1—4 и 5—6 строк Фр. Бласс [10] особо подчеркивал, что если Солон опровергал Мимнерма по пунктам, то нужно предположить, что строки 1069—1070 сборника Феогнида связаны с теми двумя строками (Фр. 6, Diehl), которые цитирует Диоген Лаэртский из стихотворения Мимнерма вместе с первыми четырьмя строками фрагмента Солона. Так полагал уже и Ницше [11]. Следовательно, то стихотворение Мимнерма, на которое ответил Солон, образуется следующим образом:

ἄφρονες ἄνθρωποι καὶ νήπιοι, οἵ τε θανόντας
κλαίουσ' οὐδ' ἥβης ἄνθος ἀπολλύμενον.
αἳ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων μελεδωνῶν
ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου.

Цицерон два раза ссылается на спор Мимнерма и Солона — без упоминания имени первого — а именно в «Катоне» (73) и в первой книге «Тускуланских бесед» (49); в последнем месте он цитирует стихотворение Солона в своем собственном переводе:

Mors mea ne careat lacrimis: linquamus amicis
maerorem, ut celebrent funera cum gemitu.

Но в обоих случаях Цицерон противопоставляет ему одобрительно желание Энния:

Nemo me lacrimis decoret neque funera fletu
faxit. . .

Уже старый издатель Мимнерма Н. Бах правильно отметил, что на самом деле Энний здесь является последователем Мимнерма [12]. Но, насколько я знаю, никто не проследил путь этой мысли в истории римской поэзии, несмотря на то, что на примере Проперция мы имеем основание верить, что авторы любовных элегий — а именно эллинистические образцы латинских поэтов — не только

---

[10] Fr. B l a s s. Solon und Mimnermos. — «Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik», 157 (1888), S. 742.

[11] Fr. N i e t z s c h e. Zur Geschichte der Theognideischen Spruchsammlung (1867). — «Nietzsche's Werke», XVII, Leipzig, 1910, S. 742.

[12] N. B a c h. Mimnermi Colophonii quae supersunt. Lipsiae, 1826.

чтили в Мимнерме «изобретателя» жанра (см. Проперций, I, 9, 11), но и вступали с ним в спор, следуя примеру Солона. Повторяю, Цицерон отвергает позицию Солона, и таким образом, хотя об этом прямо не говорит, примыкает к Мимнерму. Он исходит из того, что для философа смерть не может означать ничего плохого: после нашей смерти «мы или возвращаемся в наше вечное и настоящее жилище, или же избавляемся от ощущения и вместе с тем от всякого страдания» («Тускуланские беседы», I, 49). Но хотя цитата из Энния и вполне уместна для выражения безразличия философа к смерти, все же Цицерон достаточно умел чувствовать поэзию, чтобы знать: Солон говорил совсем о другом. Солон тоже не хотел делать болезненным представление о смерти, а изображением траура по поводу своих похорон он только стремился выразить желание быть любимым своими близкими (vult, credo, se esse carum suis. . . «Катон», 73). Разумеется при этом Солон в первую очередь думал о своих общественных заслугах, и под словом «suis» он понимал не столько своих друзей и родственников, сколько своих сограждан; а все-таки понятно, что элегические поэты, для которых верная любовь была высшим благом, в споре между Мимнермом и Солоном, в противоположность Цицерону встали не на сторону мастера любовной элегии, а на сторону поэта-политика.

Один отрывок Кальва делает очевидным, что уже с него, одного из первых зачинателей римской элегии, начинается ряд откликов на спор Солона и Мимнерма: forsitan hoc etiam gaudeat ipsa cinis (фр. 16 Baehrens). И во всяком случае Катулл послал дружеское утешение Кальву, оплакивающему Квинтилию (96):

Si quicquam multis gratum acceptumve sepulcris
    accidere a nostro, Calve, dolore potest,
quo desiderio veteres renovamus amores
    atque olim missas flemus amicitias:
certe non tanto mors immatura dolorist
    Quintiliae, quantum gaudet amore tuo.

У Проперция представление о своей собственной смерти часто сопровождается мечтою о том, чтобы его оплакивала возлюбленная и скорбью о том, что жестокая судьба даже в этом отказала ему:

Illic si qua meum sepelissent fata dolorem,
    ultimus et posito staret amore lapis,
illa meo caros donasset funere crines,
    molliter et tenera poneret ossa rosa;
illa meum extremo clamasset pulvere nomen,
    ut mihi non ullo pondere terra foret. . .

(I, 17, 19—24)

Non ego nunc tristes vereor, mea Cynthia, manes,
    nec moror extremo debita fata rogo;
sed ne forte tuo careat mihi funus amore,
    hic timor est ipsis durior exsequiis. . .

(I, 19, 1—4)

. . . sed tu potius precor ut me
demissis plangas pectora nuda comis.

(II, 24, 51—52)

Не случайно, что в двух последних отрывках мотив оплакивания покойного примыкает к представлению о старости — сначала девушки, а потом и поэта: at me non aetas mutabit tota Sibyllae (II, 24, 33); quamvis te longae remorentur fata senectae (I, 19, 17). Но самым характерным является полное переосмысление символики Тифона. Мимнерм (фр. 4, Diehl) считал страшнее смерти судьбу троянского царевича, который мольбами своей супруги, богини Зари, получил бессмертие, но без вечной молодости. Проперций дважды ссылается на этот миф, не без связи с применением этого мифа у Мимнерма, только римский поэт — или, может быть, неизвестный для нас непосредственный его греческий образец? — делает из этого мифа противоположный вывод, как это уже сделал греческий образец для «Cato maior» Цицерона, трактат «Tithonus» перипатетика Аристона [13]. Проперций обещает любить свою любимую, даже если будет таким старым как Тифон или Нестор (II, 25, 10). В другом случае он идет еще дальше, даже не принимая во внимание, что согласно гомеровскому гимну («К Афродите», 230) богиня держит престарелого любовника далеко от своей постели; он приводит пример бессмертной любви Зари и Тифона в доказательство того, что и старый человек может быть достоин счастья любви. Не мешает обратить внимание и на то, что эта ссылка появляется в рамках такой картины, которая в какой-то мере напоминает десятый отрывок Мимнерма, возможно связанный с четвертым фрагментом [14], указывающим на Тифона:

At non Tithoni spernens Aurora senectam
desertum Eoa passa iacere domo est:
illum saepe suis decedens fovit in ulnis,
quam prius adiunctos sedula lavit equos;
illum ad vicinos cum amplexa quiesceret Indos,
maturos iterum est questa redire dies;
illa deos currum conscendens dixit iniquos,
invitum et terris praestitit officium;
cui maiora senis Tithoni gaudia vivi,
quam gravis amisso Memnone luctus erat;
cum sene non puduit talem dormire puellam
et canae totiens oscula ferre comae.

(II, 18, 7—18)

---

[13] A. Dyroff. Der Peripatos über das Greisenalter. Paderborn 1939, S. 35—137. См. еще: H. Dahlmann. Bemerkungen zu Varros Menippea «Tithonus, περὶ γήρως». — «Studien zur Textgeschichte und Textkritik, G. Jachmann gewidmet». Köln—Opladen, 1959, S. 37—45.

[14] См. L. Polacco. Mimnermo. — «Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Atti». CV/2 (1947), p. 39.

И как-будто то же самое стихотворение отрицало бы красивую мысль ἀληθείη δὲ παρέστω — σοὶ καὶ ἐμοί, πάντων χρῆμα δικαιότατον, выраженную в восьмом отрывке Мимнерма: между влюбленными необходима не столько прямота, сколько тактичное умалчивание.

Si quid vidisti, semper vidisse negato;
aut si quid doluit forte, dolere nega!

Таким образом, из двадцати достоверных отрывков Мимнерма по меньшей мере три находят отголоски в одной лишь элегии Проперция (II, 18), и из этих трех отголосков два — полемические.

Трудно предположить, что это случайно. Или мы встречаемся с ученой сознательной поэтической игрой Проперция, или же, что более вероятно, у римского поэта перед глазами стояло такое греческое стихотворение, которое по жанру продолжало в латинской поэзии жанр Мимнерма — богато приправленную мифологическими намеками, но в основном все же субъективную любовную элегию — а по творческому методу, наоборот, примыкало к «Анти-Мимнерму» Солона, опровергая и развивая дальше мысли поэта-предшественника.

До сих пор мы не принимали во внимание отрывок, который Псевдо-Платон («Антераст», 133c) и Плутарх («Солон», 31) единогласно приписывают Солону, но без указания произведения: γηράσκω δ'αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος. Диль (фр. 22) и этот стих публикует как часть «Анти-Мимнерма», но Садецки-Кардошш считает такое предположение произвольным, потому что не находит его доказательства в традиции [15]. Мы тоже не можем привести доказательств; но все же на основе одного стихотворения Проперция можно предположить, что элегическая поэзия, спорящая с Мимнермом, воспринимает и этот мотив как один из аргументов Солона в защиту старости против Мимнерма.

«Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость?», — звучит горький вопрос Мимнерма в прекрасном переводе В. В. Вересаева (фр. 1, Diehl). И ответ на него:

Я бы хотел умереть, раз перестанут манить
Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе.
Сладок лишь юности цвет для мужей и для жен. . .[16]

По всей видимости, Проперций, следуя примеру Солона, «учившегося непрестанно и в глубокой старости», выступает против пессимизма Мимнерма. Проперций тоже мог наслаждаться прелестями юности, благодатью поэзии, любви, развеивающего заботы вина, но тем не менее он с надеждой смотрит на прибли-

---

[15] S. Szádeczky-Kardoss. Testimonia de Mimnermi vita et carminibus. Szegedini, 1959, p. 18—19.

[16] «Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева». М., 1963, стр. 285.

жающуюся старость, потому что если дряхлость лишит его Венеры, то он найдет свою радость в изучении законов природы:

Me iuvet in prima coluisse Helicona iuventa
Musarumque choris implicuisse manus:
me iuvet et multo mentem vincire Lyaeo
et caput in verna semper habere rosa.
atque ubi iam Venerem gravis interceperit aetas
sparserut et nigras alba senecta comas,
tum mihi naturae libeat perdiscere mores. . .

(III, 5, 19—25)

То, что пример старого Солона был перед глазами Проперция, доказывается тем обстоятельством, что эти строки напоминают и ту элегию Солона, которая характеризует периоды человеческой жизни (фр. 19, Diehl) и особенно тот его отрывок (фр. 20, Diehl), который Плутарх троекратно цитирует («О любви», 5, «Пир 7 мудрецов», 13; «Солон», 31), один раз — непосредственно рядом с пентаметром γηράσκω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος для доказательства того, что Солон умел использовать свободные часы во время своей старости («Солон», 31),

Ἔργα δὲ Κυπρογενοῦς νῦν μοι φίλα καὶ Διονύσου
καὶ Μουσέων, ἃ τίθησ' ἀνδράσιν εὐφροσύνας.

После этого нельзя считать случайным совпадением то, что Проперций в этой же элегии в один голос с Солоном заявляет о тщетности накопления богатства, хотя это и достаточно часто повторяющаяся мысль в греческой и латинской литературе:

Haud ullas portabis opes Acherontis ad undas:
nudus ad infernas, stulte, vehere rates.

(III, 5, 13—14)

У Солона (фр. 14, Diehl, 7—8):

ταῦτ' ἄφενος θνητοῖσι· τὰ γὰρ περιώσια πάντα
χρήματ' ἔχων οὐδεὶς ἔρχεται εἰς 'Αΐδεω. . .

Остается еще выяснить вопрос, эллинистическая ли традиция передала спор Мимнерма и Солона Проперцию, или же римский элегический поэт совершенно самостоятельно развил дальше то, что он нашел у обоих греческих поэтов. Частая повторяемость и многосторонность использования мотива, а также Энний, Цицерон и Аристон, перипатетический образец Цицерона, делают вероятным, что следует считаться с целой литературной традицией, связанной с «Анти-Мимнермом» Солона. Следующий факт, который до сих пор еще никем не был использован в истории античной элегии, прямо указывает на то, что эллинистическая поэзия уже знакома была с этой традицией, более того — она использовала ее именно в субъективной элегии.

Поэт, о котором нам следует говорить в этой связи, — Посидипп; о нем еще не упоминали до сих пор в истории античной элегии в результате своеобразных условий сохранения единственной его известной элегии. Ф. А. Петровский тоже упоминает о нем только как о поэте эпиграмм [17]. О. Вейнрейх и В. Пэк выяснили его биографию, опровергая необоснованные гипотезы более ранних исследователей: расцвет его деятельности падает на III в. до н. э., родился он в македонской Пелле, но, судя по целому ряду эпиграмм, долго жил в Египте при Птолемеях [18]. Одна его эпиграмма («Палатинская антология» — XII, 168) до сих пор считалась одним из эллинистических отголосков Мимнерма [19]. Однако при этом не принимали должным образом во внимание одну характерную черту этой эпиграммы: сам Посидипп в этой эпиграмме ставит себя в один ряд с автором «Нанно», Мимнермом, и с автором «Лиды», Антимахом. Он призывает к тому, чтобы первые два бокала наполнили в честь Нанно и Лиды, третий и четвертый бокалы — в честь воспевших их Мимнерма и Антимаха, на пятый бокал претендует он сам, шестой посвящает всем вообще влюбленным, а Гесиоду и Гомеру он предназначает только седьмой и восьмой бокалы, что опять-таки напоминает мысль Проперция:

Plus in amore valet Mimnermi versus Homero.
(I, 9, 11)

Здесь очень важно то обстоятельство, что Посидипп самого себя помещает сразу же после Мимнерма и Антимаха, но перед Гесиодом и Гомером: иными словами, он явно видит свои заслуги в том, что он является представителем любовной элегии своего времени, т. е. достойным продолжателем направления Мимнерма и Антимаха. Субъективного ли характера лирическую поэзию представляли его любовные элегии или такую эпику «объективного» мифологического содержания, которая, по мнению Немети и Якоби, царила в эллинистической элегической поэзии? Прямого ответа на этот вопрос мы дать не можем, так как ни одна любовная элегия Посидиппа не сохранилась. Но все же мы должны предполагать наличие субъективной любовной элегии у Посидиппа вполне вероятным, потому что единственная известная его элегия написана от первого лица и является субъективным лирическим стихотворением. Это уже само по себе является немаловажным обстоятельством, так как теория самостоятельности римской элегии отрицает не столько любовное содержание, сколько субъективный

---

[17] «История греческой литературы», т. 3. М., 1960, стр. 124—126; «Греческая эпиграмма». М., 1960, стр. 11—12.

[18] O. Weinreich. Die Heimat des Epigrammatikers Poseidippos. — «Hermes», 53 (1918), S. 434—439; W. Peek. PWRE XXII (1953), s. v. «Poseidippos».

[19] Szádeczky-Kardoss. Testimonia. . ., p. 35.

лиризм эллинистической элегии. Значение элегии Посидиппа усиливается для нас тем, что в ней — как и у Проперция — ясно прослеживается намек на то, чтобы вступить в спор с Мимнермом по поводу старости. Следовательно, наконец в наших руках находится хотя бы один пример эллинистической субъективной элегии, и этот пример опять-таки представляет собой звено в традиции спора между Солоном и Мимнермом.

Элегия Посидиппа сохранилась на одной двустворчатой восковой таблице, которая происходит из Египта начала Римской империи и находится в Берлинском музее. Впервые издал ее Г. Дильс в 1898 г. а затем, со значительными исправлениями и дополнениями, В. Шуберт в 1932 г.[20] Переписчик, по всей вероятности, работал по памяти, в результате чего, особенно в середине текста, имеется очень много лакун или неточностей. Дильс предполагал, что это собственное сочинение какого-нибудь престарелого гида или иного дилетанта из египетских Фив; наверно, это и привело к тому, что публикация таблицы не привлекла внимания в кругу литературоведов. Но то, что поэт, называющий себя Посидиппом (νῦν δὲ Ποσειδίππῳ στυγερὸν συναείσατε γῆρας), происходящим из Пеллы (Πελλαῖον γένος ἁμόν), является и автором известных эпиграмм — как правильно подчеркивал Пэк — навряд ли подлежит сомнению с тех пор как Вейнрейх на основе списка проксении из Термона доказал происхождение эпиграмматиста из Пеллы. Между прочим, уже Шуберт, а за ним Пэк, указали на несколько совпадений между фразеологией элегии и эпиграмм. Однако элегия заслуживает анализа также и по содержанию и по истории жанра, чего до сих пор не было сделано.

Поэт просит помощи у муз, чтобы они пели вместе с Посидиппом о страшной старости, написав на золотых страницах своих таблиц (γραψάμεναι δέλτων ἐν χρυσέαις σελίσιν) то, что подслушали у золотострунного Аполлона. Элегия, по всей вероятности, является старческим творением Посидиппа, и точно так же как Мимнерм, он считает старость страшной (στυγερόν; у Мимнерма: ὀδυνερόν, ἀργαλέον). Подобно Мимнерму он тоже завещает своим близким, чтобы они не проливали слез по нему (μηδέ τις οὖν χεύαι δάκρυον), однако мотивировка этого желания совершенно другого характера, чем у Мимнерма. С нашей точки зрения все же является характерным то, что этот переход в другое настроение происходит путем подчеркивания противоположных моментов, недвусмысленно указывающих на Мимнерма. По Мимнерму — лучше умереть, чем состариться (...γῆρας, ὃ καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου — фр. 4,), ведь старость делает человека отталки-

[20] H. Diels. Die Elegie des Poseidippos aus Theben. — «Berliner Sitzungsberichte», 54 (1898), S. 847—858; W. Schubert. Posidippus redivivus. — «Symbolae Philologicae O. A. Danielsson octogenario dicatae». Upsaliae, 1932, p. 290—298.

вающим, и его сердце терзают злые мысли (γῆρας, ὃ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ — фр. I, 6). Только очень короткое время можно наслаждаться цветом юности, быстро наступает старость со многими бедами: бывает, что у некоторых погибает дом и ждет их бедность; бывает, что некоторые, напрасно желавшие детей, одиноко возвращаются в подземелье, в Гадес (ἄλλος δ' αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς 'Αίδην — фр. 2, 13—14), наконец, бывает, что некоторых подтачивает болезнь (ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον — фр. 2, 15). Юноши ненавидят старого человека, женщины не ценят его (ἀλλ' ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν — фр. 1, 3), страшная и бесформенная старость делает мужчину отталкивающим и презренным, портит его глаза и его разум (βλάπτει δ' ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυθέν — фр. 5, 5). С Посидиппом происходило как раз противоположное. Он вступил на загадочный путь, ведущий к Радаманту, будучи доволен своей старостью, зная, что он оставляет после себя хорошую память в народе, что пока он жив, он не нуждается в посохе, речь его остается правильной, у него есть дети, для которых он может оставить свой дом и богатство. Следовательно, его постигла красивая старость, и так как он жил полной и счастливой жизнью, то пусть его никто не оплакивает, если он должен умереть:

Μηδέ τις οὖν χεύαι δάκρυον, αὐτὰρ ἐγὼ
γήρᾳ μυστικὸν οἶμον ἐπὶ 'Ραδάμανθυν ἱκοίμην
δήμῳ καὶ λαῷ παντὶ ποθεινὸς ἐών.
ἀσκίπων ἐν ποσσὶ καὶ ὀρθοεπὴς ἀν' ὅμιλον
καὶ λείπων τέκνοις δῶμα καὶ ὄλβον ἐμόν.

Перед нами на редкость интересный пример мимнермовской традиции в эллинизме, и это является особенно важным с точки зрения спорной проблемы происхождения римской элегии: это является красноречивым опровержением той концепции, которая отрицала жанр субъективной элегии в эллинистической поэзии и не могла перекинуть мост через столетия между Мимнермом и римской элегией. Вид, в котором дошло стихотворение Посидиппа, скорее усиливает, чем ослабляет силу доказательства. Если неопытная рука переписчика написала эту элегию по памяти, то это говорит о том, что она была достаточно известна в начальный период империи. А если эта элегия была обнаружена только на восковой таблице, происходящей из Египта, а не в средневековой рукописной традиции, то мы в праве утверждать, что и другие подобные ей произведения, быть может, только потому были забыты, что, по мнению составителей различных антологий, они по своим размерам выходили за рамки тех эпиграмм лирического характера, которые за редкими исключениями составляли единственный материал антологий.

Между прочим, из времени, близкого к берлинскому диптиху и вместе с тем к расцвету римской элегии, из времени начала империи мы можем привести еще одно доказательство того, что элегия Посидиппа была общеизвестной по крайней мере в такой степени, что один doctus poeta мог намекать на нее, рассчитывая на понимание публики. Эпиграмма Аполлонида Смирнийского (VII, 389) упоминает некоего Посидиппа; правда, и богатый комментарий П. Вальтца, и указатель имен в издании Г. Бекби прямо отличает этого Посидиппа от двух других Посидиппов — от эпиграмматиста и от комедиографа; это заставляет думать, что и после открытия элегии Посидиппа-эпиграмматиста ученые не решаются относить к нему эпиграмму Аполлонида. А ведь связь этой эпиграммы и элегии совершенно явная: Аполлонид говорит именно о том, что надежда обманула Посидиппа, он не мог завещать своим детям ни дома, ни богатства, потому что Гадес в один и тот же день захватил всех его четырех сыновей. Выражение τὴν πολλὴν παίδων ἐλπίδα χειραμένου ясно указывает на ту надежду, которая была выражена именно в элегии, обнаруженной на берлинской восковой таблице. Следует ли думать, что в результате этого мы получили достоверный факт из биографии поэта? Если это так, то следует дополнить биографические данные, собранные В. Пэком: поэт, который, кажется, до поздней своей старости был баловнем судьбы, на пороге могилы, может быть в результате какого-то несчастного случая или эпидемии, потерял всех своих четырех сыновей. Или, может быть, здесь мы имеем дело с какой-нибудь литературной новеллой? Если это и так, то все равно нам надо считаться в дальнейшем с эпиграммой Аполлонида среди фактов посмертной литературной жизни Посидиппа. Так или иначе, относительно тенденции эпиграммы Аполлонида сразу же следует отметить, что в вековом споре о старости в античной литературе Аполлонид клонится не к Солону, а к Мимнерму. Мимнерм причислял к отрицательным явлениям старости бездетность и — среди прочих признаков ослабления физической силы — ослабление зрения. Посидипп надеялся на то, что он может завещать свой дом своим детям, и вот он хоронит сразу четырех сыновей; он только что хвастался тем, что старость не сломила его сил, тем, что он не нуждается в посохе, а теперь горе лишает его даже зрения (πατρὸς δ' ὄμματα λυγρὰ κατομβρηθέντα γόοισιν ὤλετο). Аполлонид ссылается одновременно и на Мимнермово выражение βλάπτει δ' ὀφθαλμούς и на Посидиппово ἀσκίπων ἐν ποσσί; а это указывает на то, что Аполлонид, греческий современник римских элегических поэтов, еще знал, что элегия Посидиппа в свое время стремилась продолжать традицию «Анти-Мимнерма».

Подведем итог. Без всякого сомнения мы можем утверждать, что Посидипп в III в до н. э. знал и творчески развивал поэтическое направление Мимнерма. Берлинский диптих и эпиграмма

Аполлонида доказывают и то, что по крайней мере одна элегия Посидиппа была общеизвестной и в период расцвета римской элегии [21]; эта элегия во всяком случае была субъективным лирическим стихотворением, а в вопросе о старости точно так же занимала позицию против Мимнерма, как прочие элегии Проперция. Все это подтверждает те критические замечания, которыми среди прочих и М. М. Покровский снабдил теорию жанровой самостоятельности римской элегии: «Представителем любовной элегии у греков был еще древний поэт Мимнерм. Весьма вероятно, что она процветала и у александрийцев» [22]. Поэтому более уместна та более скромная формулировка относительной самостоятельности римской элегии, в которой О. Ф. Группе еще в первой половине XIX в. выразил свои во многом отношении новаторские взгляды: наряду с сатирой элегия, бесспорно, является тем поэтическим жанром, в котором римлянам удалось превзойти своих греческих учителей [23].

---

[21] В другом месте я доказываю, что одну из эпиграмм Посидиппа знал Гораций и использовал ее: «. . . Regalique situ pyramidum altius». — «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae», 12 (1964).

[22] М. М. Покровский. История римской литературы. М.—Л., 1942, стр. 226.

[23] O. F. Gruppe. Die römische Elegie. Leipzig, 1838, S. 404.

Е. М. Двойченко-Маркова

ИСТОЧНИКИ ЛЕГЕНДЫ ОБ ОВИДИИ В «ЦЫГАНАХ» ПУШКИНА

Интерес Пушкина к античному миру был не раз предметом исследования пушкиноведов [1]. Среди античных тем, отраженных в творчестве великого поэта, цикл его стихов об Овидии занимает особое место.

В лицейский период внимание Пушкина привлекала главным образом любовная лирика Овидия. В 1814 г. в послании «К Батюшкову» и позже в стихотворении «Сон» (1816) юный поэт говорит об Овидии как о певце любви, выделяя мотивы лишь ранних произведений римского элегика. И только во время ссылки Пушкина на юг России, в Бессарабии, образ и творчество Овидия полностью раскрылись русскому поэту.

В этом краю, куда, согласно местному преданию, был сослан Овидий, у Пушкина возникла аналогия, сопоставление своей собственной судьбы с судьбой римского поэта-изгнанника. В стихотворении «К Овидию» он писал:

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил;
И лиры нежный глас еще не онемел;
Еще твоей молвой наполнен сей предел ⟨. . .⟩
Да сохранится же заветное преданье:
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе.

В Бессарабии Пушкин с иными чувствами перечитывает Овидия, обращаясь к произведениям римского поэта, написанным в изгнании.

---

[1] Из них заслуживают внимания: П. Черняев. Пушкин и античный мир. Казань, 1899; Ф. Зелинский. Мотив разлуки. — «Вестник Европы», 1903, кн. 10, стр. 542—562; А. Малеин. Пушкин и Овидий. Пг., 1915; М. М. Покровский. Пушкин и античность. — «Временник Пушкинской комиссии», т. 4—5. М.—Л., 1939; Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина. — Там же, т. 6, 1941; З. А. Бориневич-Бабайцева. Овидиев цикл в творчестве Пушкина. — Сб. «Пушкин на юге», 1958, стр. 164—178.

Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял. . .

О том, что Пушкин сразу же после приезда в Бессарабию взялся за изучение Овидия, говорят мемуары кишиневского знакомца поэта, И. П. Липранди, который уверяет, что первой книгой, взятой у него Пушкиным, «был Овидий во французском переводе, и книги эти оставались у него с 1820 года по 1823 год» [2].

В 1821 г. в Кишиневе была получена январская книжка журнала «Отечественные записки», в которой появился первый из серии очерков о Бессарабии известного московского литератора П. П. Свиньина, совершившего в 1816 г. археологическое путешествие по Бессарабии, запрутской Молдавии и Буковине.

Одним из результатов этой поездки, как уверяли современники, «было определение ссылки Овидия в Аккерман» [3].

В то время относительно места ссылки Овидия существовало две версии. Опираясь на местные предания и на молдавские летописи, некоторые исследователи считали, что Овидий был сослан в Аккерман у Днестра, другие, приводя свидетельство самого Овидия, указывали на город Томис в устье Дуная.

В этих спорах принимал участие и Пушкин. В своих мемуарах Липранди пишет, что ему не раз «случалось быть свидетелем разговора об этом предмете Пушкина с В. Ф. Раевским и К. А. Охотниковым, разговора, к которому приставал иногда и я. Пушкин одинаково, как и мы все, смеялся над П. П. Свиньиным, вообразившим Аккерман местом ссылки Овидия и, вопреки географической истории, выводившего, что даже название одного близлежащего от Аккермана озерка сохранило название Овидиева озера, и на этом основании давал волю своему воображению до самых безрассудных границ» [4].

Тут следует отметить неточности Липранди: не Свиньин «вообразил» Аккерман местом ссылки Овидия. До него молдавские летописцы, в частности, хорошо известный и Липранди и Пушкину Д. Кантемир, указывали на Аккерман как на место пребывания там римского поэта. Они же «выводили» название «Овидиева озера» [5].

---

[2] И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. — «Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1267.

[3] Из воспоминаний И. П. Липранди о Пушкине. — «Летописи Государственного литературного музея», кн. 1. Пушкин. М., 1936, стр. 556.

[4] И. П. Липранди, Указ. соч., стлб. 1268.

[5] Димитрий Кантемир писал: «Последнее и славнейшее между всеми есть озеро Овидиево, от жителей Лакул Овидулуи называемое, при Аккермане — Alba Iulia — в Бессарабии наиболее в рассуждении имени известное; ибо сказывают, что славный римский стихотворец Овидий сюда в ссылку был изгнан» (Д. Кантемир. Историческое, географическое и политическое описание Молдавии. М., 1789, стр. 9, примечание 2). О знакомстве Пушкина с этим трудом Д. Кантемира упоминает Липранди в своих мемуарах («Русский архив», 1866, № 10, стбл. 1282).

Но Пушкин, действительно, не был сторонником «аккерманской» версии, на что указывает его примечание к элегии «К Овидию» (1821), перенесенное им в первую главу «Евгения Онегина»: «Мнение, будто бы Овидий был сослан в нынешний Аккерман, ни на чем не основано. В своих элегиях Ex Ponto он ясно назначает местом своего пребывания город Томис при самом устье Дуная».

Несмотря на насмешки над Свиньиным, Пушкин, как мы это увидим далее, отнесся к его очеркам о Бессарабии, и в частности к его рассказу об Овидии, с гораздо большим вниманием, чем об этом можно судить по словам Липранди.

Очерки Свиньина, появившиеся в «Отечественных записках» под названием «Воспоминания в степях бессарабских», были так основательно забыты, что нам представляется целесообразным привести целиком рассказ Свиньина о месте ссылки Овидия:

«В 20 верстах от Аккермана находится небольшое озеро, известное под именем Овидиева; в него впадает, извиваясь чрез розовые кусты, быстрый источник, называющийся также Овидиевым. Известно, что Овидий, коего память любезна всем поэтам и влюбленным, был сослан в дикие пустыни Гетские — в Czitate alba. И отсюда скоро удалился поэт в безмолвное лоно Природы, на берег небольшого озера, где все питало его горесть и несчастную любовь, где все согласовалось с мрачным его воображением и вдыхало ту томную меланхолию, которая разлита во всех его творениях. Может быть, под сению сего древнего тополя стояла хижина знаменитого изгнанника; может быть, страдалец отсюда, сидя на этом мшистом камне, обнимал взором зеркальные воды озера и в таинственных тенях, бродящих в сумерках по окружным холмам, — сладким голосом вдохновенной лиры приветствовал призрак обожаемой им Юлии; здесь, без сомнения, он забывал, презирал обманчивое счастье двора. Место сие достойно памятника, который поддержал бы предание, могущее без того утратиться. Во многих молдавских хрониках упоминается об нем; между прочим в одном сказано следующее:

«Притек с берегов Тибра муж, имеющий нежность младенца и доброту старца. Он непрерывно вздыхает и часто говорит сам с собою; но когда обращает речь свою к кому-нибудь — то кажется, мед изливается из уст его». Ссылаясь на III пос., 2 элегию, где Овидий говорит: «Nam didici Getice Sarmaticeque loqui», т. е. «я научился в ссылке говорить по-гетски и по-сарматски» — молдавские историки толкуют, что он говорил их языком; а находя в 13 его элегии следующий стих:

> . . . Scripti getico sermone libellum,
> Structaque sunt nostris barbara verba modis
> . . . Coepique poetae
> Inter inhumanos nomen habere Getas [6],—

[6] «Я написал гетским языком книжку, образовав варварские слова по

они с гордостью утверждают еще, что знаменитый поэт и писал на нем. Напротив того, известный летописец Матфей Триковский свидетельствует в 4 книге, что Овидий «навык в ссылке у сарматских народов славянскому языку и писал на нем охотно стихи.

Если так, то память его должна быть еще для нас драгоценнее, и вместе с тем место его ссылки еще достопамятнее — находясь теперь в пределах России» [7].

Что же в этом несколько неуклюжем рассказе об Овидии, в котором автор, по определению Липранди, «давал волю своему воображению до самых безрассудных границ», могло привлечь к себе внимание Пушкина? Несомненно, указание Свиньина на местное предание, которого Пушкин не нашел у Димитрия Кантемира, но которым широко воспользовался, углубляя тему изгнания римского поэта в поэме «Цыганы».

В поэме старик цыган рассказывает Алеко «старинное предание» о сосланном на берега Дуная старце, который «был уже летами стар, но млад и жив душой незлобной».

Сходство характеристики безымянного старца в молдавской легенде, переданной в очерке Свиньина, и в рассказе старого цыгана о безвестном изгнаннике — очевидно.

Как и в других пушкинских переработках молдавских преданий и песен, скупые наивные определения получают под пером великого поэта новое яркое поэтическое развитие. Пушкин не подражатель, а творец, перерабатывающий в своей творческой сущности воспринятое и воссоздающий его как плод собственного гения [8].

В рассказе старого цыгана Пушкин сохранил все элементы молдавского предания, переданного в очерке Свиньина. Но вместо неуклюжих «доброты старца» и «нежности младенца» или повествования о том, что изгнанник «непрестанно вздыхает и часто говорит сам с собой», или: «когда обращает свою речь к кому-нибудь, то кажется мед изливается из уст его», поэт создает неподражаемые строки:

Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной . . .
. . . Не разумел он ничего
И слаб и робок был, как дети . . .
. . . И все несчастный тосковал
Бродя по берегам Дуная,
Да горько слезы проливал . . .
. . . Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный . . .
. . . И жил он на брегах Дуная,
Людей рассказами пленяя.

нашему составу, и приобрел между бесчеловечными гетами имя поэта». (Примечание Свиньина.)

[7] П. П. Свиньин. Воспоминания в степях бессарабских. — «Отечественные записки», 1821, ч. 5, № 9, январь, стр. 7—10.

[8] Ф. Зелинский. Мотив разлуки. — «Вестник Европы», 1903, кн. 10, стр. 554.

В противоположность Липранди, который объявил все написанное Свиньиным плодом воображения автора, Пушкин отнесся с интересом и доверием к тексту молдавской легенды в очерке Свиньина «Воспоминания в степях бессарабских».

Но вряд ли Пушкину был известен первоисточник этого текста. Как мы упоминали, ни в одной из дошедших до нас молдавских летописей этой легенды нет. Нам, однако, удалось установить, что задолго до появления очерка Свиньина в 70-х годах XVIII в. эта легенда была включена в книгу французского литератора и политического деятеля Ж.-Л. Карра «История Молдавии и Валахии»[9]. Книга эта была переведена в 1791 г. на русский язык под названием «История Молдавии и Валахии с рассуждением о настоящем состоянии обоих княжеств».

При сличении текста Свиньина с рассказом Карра о месте ссылки Овидия, становится ясно, что Свиньин не только был хорошо знаком с произведением французского литератора, но и широко использовал его для своего очерка, причем молдавская легенда об Овидии была им переведена из книги Карра почти дословно.

Молдавская легенда об Овидии в передаче Карра осталась неизвестной исследователям этой легенды, начиная от статьи А. И. Яцимирского [10] и кончая книгой Г. Ф. Богача [11]. Но удивительно то, что ускользнул от их внимания и очерк Свиньина. А между тем, эти два текста легенды об Овидии были единственными письменными источниками, которыми мог воспользоваться Пушкин для создания своего замечательного повествования об Овидии, вложенного в уста старого цыгана.

В этом отношении значение первоисточника принадлежит тексту в книге Карра. Свой рассказ об Овидии французский литератор начинает с описания Аккермана, который, замечает он, был прозван римлянами Julia Alba, а молдаванами Czetate Alba. «Этот город, пишет далее Карра, прославился тем, что в него был сослан знаменитый поэт Овидий: там до сих пор находится озеро, называемое местными жителями Lacul Ovidului, т. е. Овидиево озеро». Далее, в обширной ссылке, Карра дает поэтическое описание края, в котором, по местному преданию, жил Овидий: «Этот замечательный писатель, память которого будет всегда дорога влюбленным и поэтам, находясь в ссылке в диких гетских странах (ныне Молдавия), жил некоторое время в Czetate Alba, а затем удалился за три мили оттуда в деревню, развалины которой видны и сейчас [12]. Близ хижины, в которой он жил, находится маленький

[9] J.-L. Carra. Histoire de la Moldavie et de la Valachie. Iassy. 1777. Книга вышла дополненным изданием в Невшателе в 1781 г.

[10] А. И. Яцимирский. Румынские параллели и отрывки в некоторых произведениях А. С. Пушкина. Варшава, 1901.

[11] Г. Ф. Богач. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963.

[12] У Свиньина: «Известно, что Овидий, коего память любезна всем поэтам и влюбленным, был сослан в дикие пустыни Гетские — в Czitate alba,

источник, который носит его имя так же, как и упомянутое озеро, на берегу которого он часто гулял [13]. Один из жителей этой страны уверял меня, что Овидий слагал стихи на молдавском языке [14]; я делал все возможное, чтобы достать хоть некоторые отрывки, но мне это не удалось. Память этого великого мужа так запечатлелась в сердцах народов этих краев, что они стали тщеславными. Они говорят, согласно легенде, «что пришел с берегов Тибра человек необыкновенный, имеющий нежность младенца и доброту отца; что этот человек непрестанно вздыхал и иногда говорил сам с собою; но что когда он обращался к кому-нибудь, то казалось мед истекал из его уст». Я удивляюсь, что князь Димитрий Кантемир и Николай Маврокордато, самые просвещенные из правителей этой страны, не воздвигли памятника в честь этого великого поэта, который почтил их печальные края своими несчастиями и воздыханиями [15]. Без сомнения, придет время, когда какой-нибудь князь, любитель искусства и великих мужей, выполнит этот столь законный долг. Место, где обитал Овидий, как бы создано, чтобы внушить глубокую печаль: я не мог без волнения взирать вокруг: мне казалось, что я видел тень его, скитающуюся то по озеру, то по холмам и близлежащим лесам [16]. Иногда я слышал ее воздыхающую под сенью смоковницы, близ любимого источника; толпы влюбленных в слезах, казалось, наполняли эти уединенные места в ожидании пробуждения их божественного певца. Пусть влюбленные и поэты вообразят весеннюю долину, усыпанную цветами, вдоль которой расположилось озеро полмили окружностью, опоясанную грядой неравноверхих холмов, покрытых буками, липами, яблонями, диким миндалем и большими дубами, небрежно разбросанными и как бы спешащими предложить восхищенному взору зелень ветвей и тяжесть плодов. Пусть их нетерпеливый взор ищет в том месте, где блистает заря, долину, склоняющуюся к берегу озера и окруженную с каждой стороны двумя холмами, покрытыми виноградниками. Там, близ источника, который течет, извиваясь, в озеро, стоят липы, под сенью которых стояла хижина божественного поэта [17]. Там его пленительная лира пела, вздыхая, вдохновленная любовью и сладкой печалью. Там, без сомнения, предал он холодному презрению

И отсюда скоро удалился поэт в безмолвное лоно Природы, на берег небольшого озера».

[13] У Свиньина: «В 20 верстах от Аккермана находится небольшое озеро, известное под именем Овидиева; в него впадает, извиваясь чрез розовые кусты, быстрый источник, называющийся также Овидиевым».

[14] У Свиньина: «Молдавские историки толкуют, что он говорил их языком. . . Они с гордостью утверждают еще, что знаменитый поэт и писал на нем».

[15] У Свиньина: «Место сие достойно памятника» и т. д.

[16] Скитающаяся тень Овидия заменена у Свиньина таинственными тенями, бродящими по окружающим холмам, в которых Овидий видел призрак Юлии.

[17] У Свиньина: «Может быть, под сенью сего древнего тополя стояла хижина знаменитого изгнанника».

обманчивую роскошь неблагодарного и растленного двора[18], где Виргилий и Гораций держались лишь превознося до небес колосс тирана, ежеминутно склоняя перед ним колена»[19].

Хотя книга Карра неоднократно переиздавалась и была переведена на русский язык, она не имела, по-видимому, широкого распространения в России. Если бы она находилась в числе книг о Турции, Молдавии и Валахии в библиотеке Липранди, последний не преминул бы обвинить Свиньина в явном плагиате. Если бы она попала в руки Пушкину, поэт мог бы ближе использовать текст Карра в своем рассказе об Овидии.

Свиньин мог познакомиться с сочинением Карра в Яссах, куда он совершил поездку вместе с молдавским писателем Костаке Стамати, кишиневским знакомым Пушкина[20]. Стамати сопровождал Свиньина и в его поездках по Бессарабии. Они вместе посетили Аккерман и оба были сторонниками «аккерманской» версии о месте ссылки Овидия. О том, что Стамати знал книгу Карра, свидетельствует его статья «О Бессарабии и ее древних крепостях», помещенная в 1848 г. в «Записках Одесского общества истории и древностей». В ней Стамати передает ту же молдавскую легенду об Овидии, в тех же словах, что и Карра и Свиньин, причем текст Стамати обнаруживает его близкое знакомство с книгой Карра. Стамати пишет:

«Почти при самой половине Днестровского лимана, который у Молдаван называется «Лако Овидулуи», а у Даков «Видову», возвышается Аккерман, древнейшая историческая крепость. . . От сей крепости, 18 верст ниже, где лиман соединяется с Черным морем. . . была известная греческая колония. . . Ниже сего, подле почтовой дороги, ведущей из Аккермана в Килию или Измаил, на возвышенности у селения Татарбунара, еще недавно находились развалины четыреугольного замка, названного Татар-Пунар (ключ татарский), из-под которого течет источник. . . Здесь кстати заметить, что по преданиям туземцев, Овидий находился или в сей крепости, или в Аккермане, потому что древние молдаване слышали от предков своих Дако-Румунов о каком-то странном человеке, которого они описывали так: «Приехал из

---

[18] У Свиньина: «Здесь, без сомнения, он забывал, презирал обманчивое счастье двора».

[19] J. L. Carra. Histoire de la Moldavie et de la Valachie. Neuchatel, 1781, p. 5—8.

[20] Книга Карра могла находиться и в библиотеке Стамати в Кишиневе. Но так как она содержала выпады против русских и молдаван (опущенные в русском переводе), то Стамати, очевидно, давал ее читать не всем. Во всяком случае, она не упомянута среди книг, которые брал у Стамати на прочтение современник Пушкина в Кишиневе, прапорщик Ф. Н. Лугинин, которому Стамати дал Овидия во французском переводе и который со слов Стамати записал в своем дневнике: «Бессарабия служила ссылкою Рима. Сюда был сослан Овид». (Из дневника прапорщика Ф. Н. Лугинина. — «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 672.)

Рима человек необыкновенный [21], который был невинен, как дитя и добр, как отец [22]. Этот человек всегда вздыхал, а иногда сам с собою говорил, но когда он рассказывал что-либо, то казалось истекал из уст его мед». По этому должно заключить, что Овидий, по какому-либо случаю во время своего десятилетнего изгнания, перешел из Томи в страны Бессарабии, где и скончался близ Аккермана» [23].

Сходство характеристики, данной Овидию молдавской легендой в передаче Стамати, с рассказом старого цыгана об Овидии в поэме Пушкина обратило на себя внимание исследователей. А. И. Яцимирский, цитируя текст Стамати, видит в нем подтверждение существования местного предания, которое могло лечь в основу пушкинского рассказа об Овидии [24].

Еще при жизни Пушкина в русской критике появились сомнения в возможности существования легенды об Овидии, сохранившейся в Бессарабии. Защитниками фольклорной основы пушкинского рассказа об Овидии выступали П. А. Вяземский и Белинский. В своей статье о «Цыганах» Вяземский спрашивал: «Почему преданию об Овидии не храниться всенародно в краю, куда он, по всей вероятности, был сослан?» [25]. Возражая сомневающимся, Белинский писал: «Старый цыган рассказывает в поэме Пушкина не *историю*, а предание, и не о поэте римском (цыган ничего не смыслит ни о поэтах, ни о римлянах), но о каком-то *святом* старике, который был «млад и жив незлобною душою, имел дивный дар песен и подобный шуму вод голос» [26].

Полемика по этому же вопросу возникла и значительно позже на страницах румынского литературоведения. Выступая в нашей румынской монографии о К. Стамати за возможность фольклорной основы рассказа старого цыгана об Овидии, мы сослались на текст молдавской легенды об Овидии из статьи Стамати о бессарабских крепостях [27]. Но в одной из рецензий на монографию было высказано предположение, что Стамати заимствовал эту легенду не из уст молдавского народа, а из «Цыган» Пушкина [28]. К этому мнению присоединился профессор румынской литературы

---

[21] У Карра: «un homme extraordinaire», у Свиньина просто «муж».

[22] У Карра: «la bonté d'un père», у Свиньина: «имеющий . . . доброту старца».

[23] К. Стамати. О Бессарабии и ее древних крепостях. «Записки Одесского Общества истории и древностей», 1848—1850, т. 2, стр. 808—809.

[24] А. И. Яцимирский. Румынские параллели и отрывки в некоторых произведениях А. С. Пушкина, стр. 8.

[25] П. А. Вяземский. «Цыгане» А. С. Пушкина. — «Московский телеграф», 1827, ч. 15, № 10, стр. 118.

[26] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 7, М., 1953, стр. 400—401.

[27] E. Dvoicenco. Viața și opera lui C. Stamati. București, 1933.

[28] Г. Л. Лозинский. Новое исследование о Стамати. — «Встречи», 1934, июнь, стр. 274; E. Dvoicenco. Opera lui Pușkin în Basarabia. — «Revista Fundațiilor regale», 1937, № 8, p. 322.

Бухарестского университета Д. Каракостя, усумнившийся в том, чтобы такое древнее предание могло сохраниться на румынской земле. В те годы Бухарест посетил и прочел лекцию об Овидии прославленный русский, а потом польский ученый-классик Ф. Ф. Зелинский. Он стал на сторону защитников фольклорной основы рассказа старого цыгана и высказался за возможность длительного существования молдавского предания об Овидии.

Нам представляется вполне вероятным, что Карр записал услышанное им в Молдавии устное предание об Овидии, либо почерпнул его в одной из не дошедших до нас молдавских хроник. Текст Карра послужил источником, как для Свиньина, так и для Стамати, а через Свиньина был использован Пушкиным как сырой материал для художественной переработки молдавской легенды об Овидии, вложенной поэтом в уста старого цыгана в поэме «Цыганы» [29].

---

[29] Очерки Свиньина о Бессарабии были использованы Пушкиным и в других его произведениях, на что указано в статье Б. А. Трубецкого «П. П. Свиньин в Бессарабии» («Уч. зап. Кишиневского гос. ун-та», 1959, стр. 64—65).

В. С. Соколов

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛАКТАНЦИЯ

Луций Целий Фирмиан Лактанций не может быть назван историком в точном смысле этого слова. Однако в своих разнообразных сочинениях он не раз близко подходит к историческому повествованию. Его труды показывают интересную и к тому же новую для своего времени тенденцию в римской историографии IV в., которой предстояло в дальнейшем пышное развитие и даже полная победа.

Обстоятельства жизни Лактанция немного помогут нам определить его заслуги перед античной наукой и литературой.

Главный источник наших сведений о Лактанции — сочинения и письма Иеронима. Мы узнаем, что Лактанций был африканского происхождения, учился у знаменитого в то время Арнобия, принявшего христианство в последних годах III в. и сам был ритором. Диоклетиан пригласил его в Никомедию для преподавания латинской риторики. Однако недостаток учеников заставил Лактанция прекратить преподавание и заняться сочинением книг. Это не было новым для него занятием. Еще в юности, в не дошедших до нас сочинениях, он описал на греческом языке какое-то пиршество и свое путешествие в Никомедию. Теперь же им были написаны книги, создавшие ему громкую славу одного из первых апологетов христианства, а также множество писем. Затем, уже в зрелых годах, он был в Трире наставником Криспа, старшего сына Константина, пока тот не был убит своим отцом.

Эти скудные сведения требуют некоторых разъяснений. Слава Арнобия как литератора, ритора и христианского апологета общеизвестна. Его сильное влияние на Лактанция бесспорно. Вполне понятна также забота Диоклетиана о латинской школе в Никомедии.

Никомедия была греческим городом, но присутствие двора и правительственных учреждений требовало подготовки чиновников, хорошо владеющих латинским языком. Вполне вероятно, что Диоклетиан обратился за советом к маститому Арнобию, а тот вместо себя направил в столицу своего способного ученика. Прекращение же преподавательской деятельности Лактанция

совпало, несомненно, с 303 г., когда Диоклетиан начал преследование христиан. Лишь тактичное поведение Лактанция и его скромность спасли ему жизнь. Иное было отношение к христианам со стороны Константина, находившегося, вероятно, под сильным влиянием своей матери, христианки Елены. Когда ему понадобился воспитатель для старшего сына Криспа, выбор его остановился на Лактанции.

В хронике Иеронима несколько раз упоминаются книги Лактанция, написанные в защиту христианского учения. Не всеми эти книги были приняты хорошо. Сам Иероним высказался в одном своем письме о книгах Лактанция так: «Это какой-то поток цицероновского красноречия; если бы он также успешно мог утверждать наше учение, как легко разрушает чужое!» (письмо 58, 10). Действительно, если обратиться к сочинениям самого Лактанция, то прежде всего получаешь впечатление, что это яркий представитель античной учености и знаток античной литературы.

Остановимся несколько подробнее на наиболее прославленных его работах. Первая из них, которую он написал, по-видимому, сейчас же, когда прервалась его преподавательская деятельность, была работа, носящая название «О творчестве бога» («De opificio dei»), хотя к содержанию ее более подходит название «О творении божием». Цель этого произведения — опровержение материалистического учения Эпикура и Лукреция. Лактанций не может принять материалистического объяснения возникновения и существования мира и противопоставляет ему сознательное творчество бога, т. е. промысел божий. Все в человеке представляется ему как нечто гармоничное, совершенное и разумное, отражающее в себе великий замысел творца. Беспомощность человека среди враждебной ему природы, блестяще изображенную Лукрецием, Лактанций объясняет как проявление высшего разума, который дал человеку более слабое тело, чтобы развить в нем сильный разум. Слабая способность человека к размножению объясняется Лактанцием как разумный стимул к объединению людей между собой, к созданию общества, а потом и государства. Подчас Лактанций договаривается до курьезов. Так, например, даже в строении человеческого носа он видит благость и разумность божьего замысла: верхняя часть носа сделана твердой, чтобы принимать и отражать наносимые врагами удары, а нижняя часть носа сделана мягкой, оказывается, затем, чтобы его удобно было очищать пальцами.

Другое его сочинение, не менее ценившееся древними апологетами христианства, — «О гневе божием» («De ira dei»). В нем он тоже опровергает учения стоиков и Эпикура о природе божества. Эпикур совсем не признает промысла богов и говорит о блаженном покое божества; стоики же признают за божеством только благость и не признают гнева. Лактанций берется рассмотреть этот вопрос по всем правилам диалектики: поскольку

благость (или милость) и гнев — явления противоположные, то и следует или признать присущим божеству и то и другое качество, или не признавать ни того, ни другого, потому что признание за ним только одной благости или только одного гнева лишает божество всеобъемлющей силы, делает его ограниченным и односторонним. Но вообще, по мнению Лактанция, вся древняя мудрость лжива, и прав был из мудрецов только один Сократ, сказавший, что он знает только, что ничего не знает. Близок к истине был и Платон, передавший потомству эти мысли Сократа, остальные все заблуждались, потому что не признавали единого бога, в котором только в одном есть истина и действительная мудрость. Лактанций охотно перебирает различные высказывания древних мыслителей о природе божества: мнения Сократа, Платона, академиков, перипатетиков, Цицерона (которого он высоко ценит и часто цитирует), стоиков и эпикурейцев. Затрагивает он при этом и другие вопросы: о природе человека, о его назначении; он не согласен с мнением стоиков, что все в мире создано для человека, — напротив, человек создан богом для того, чтобы он познавал своего создателя и любил его. Наконец, подходя ближе к главному вопросу своего сочинения, Лактанций снова приводит много определений понятия гнева и много различных случаев его проявления. Одно дело гнев тирана, другое дело гнев оскорбленного гражданина, гнев отца семьи против провинившихся членов его дома, гнев судьи и, наконец, гнев закона. Что же касается гнева бога, то Лактанций представляет его себе подобным гневу господина по отношению к его рабам. Для порядка в доме господин должен усердных рабов хвалить и поощрять, а нерадивых наказывать и устрашать. На этом материале Лактанций развивает свои дуалистические философские воззрения. Мир человека он разделяет на мир внутренний и мир внешний, мир духовный и телесный. Они — в антагонизме, в вечной борьбе между собой. Доблесть души часто приносит с собой горечь: она требует воздержания и отказа от наслаждений; процветание тела, наоборот, влечет с собой сладость наслаждений. Пороки привязывают человека к земле, а добродетель влечет его к небесам.

Далее Лактанций предполагает естественный вопрос: почему же бог допускает, чтобы люди порочные жили счастливо и в богатстве, а добродетельные — в нищете и беде. Но ответ на этот вопрос он предпочитает дать словами Овидия («Метаморфозы», XII, 135—137):

. . . Итак, человеку
Нужно дождаться последнего дня своей жизни, и раньше
Смертного часа никто не должен быть признан счастливым.

Завершает свой трактат Лактанций многочисленными цитатами из сивиллиных книг, подтверждающими его главную мысль,

что бог наказывает людей за дурные поступки и награждает за добрые дела. Интересно, что Лактанций, принимающий христианское учение и обрушивающийся с разрушительной критикой на античную философию и мифологию, беспрекословно признает все пророчества сивилл, считая их высшим для себя авторитетом. Интересно также отметить, что в этом трактате нет ни одной ссылки на Священное Писание христиан.

Основная работа Лактанция «Божественные установления» («Institutiones divinae») построена по такому же принципу, как и рассмотренные выше. Прежде всего он доказывает единобожие и для этого свою разрушительную критику обращает против античной мифологии. Он резко высмеивает антропоморфных олимпийцев и между прочим утверждает, что Меркуриев было пять, и именно пятый убил Аргуса и дал законы египтянам, отчего у них появился город Гермополис (I, 6, 6—15). Тут же он приводит много мест из сочинений античных авторов, в которых можно усмотреть свидетельства об единобожии. Переходя далее к обзору античной философии, он говорит, что она не обладает истинной мудростью, что в ней есть не столько sapientia, сколько opinatio. Истинная мудрость, по мнению Лактанция, содержится только в Священном Писании. А греки и римляне черпали свои знания из Египта и Вавилона и никогда не обращались за ними к хранителям истины — иудеям. Поэтому античная философия и пришла в упадок. К тому же мудрость философии — удел немногих, вера же доступна всем. Затем Лактанций переходит к рассмотрению христианской догматики, Безгрешное зачатие девы объясняется натуралистически и так же натуралистически толкуются все пророчества иудейских пророков, псалмы Давида и наряду с этим предсказания сивилл: именно, предполагается рождение двойное и двоякое, во плоти и в духе. Ветхий и Новый заветы при сравнении образно определяются как обрезание плотское и духовное. Смерть и вознесение Христа толкуются символически. Но тут же Лактанций приводит одно из первых возражений против этой легенды, именно: почему Христос не пришел в силе, почему бог допустил его страдания, суд, смерть? Он дает ответ: проповедь учителя, который остается благополучен, может вызвать протест и раздражение; учитель должен своим примером и своей судьбой подтвердить истинность своего учения.

V книга этого сочинения посвящена вопросу о нравственной жизни. И здесь учение Лактанция остается дуалистическим, что свидетельствует о сильнейшем влиянии на него манихейства, хотя сам он об этом нигде не говорит. Суть его учения выражается словами: «Добра не может быть в жизни без зла» (bonum sine malo in vita esse non potest). Добродетель познается в борьбе со страстями. Поэтому его учение не сходится ни с учением стоиков, которые не признают страстей в человеке, ни с учением перипатетиков, которые, хотя и признают, что страсти в человеке от бога,

но не ценят борьбу с ними, а считают нужным их ослаблять и умерять. Далее следует опять разбор мнений Цицерона, Сенеки, Платона и др.

Среди этих рассуждений Лактанций обращается, наконец, и к истории, но интерес его к ней несколько своеобразен. Он прежде всего интересуется историей и судьбой еврейского народа, изложенной в книгах Священного Писания, чтобы усмотреть в ней предсказания о грядущей судьбе Рима. Он начинает с того, как «князь евреев» из-за недостатка хлеба переселился со всем своим родом в Египет. Когда же потомство его с течением времени разрослось до численности великого племени, оно испытало на себе всю тяжесть рабства. Но бог захотел освободить свой народ, он поразил египтян тяжкими казнями и чудесным образом вывел евреев из Египта. В этом чудесном событии Лактанций склонен видеть прообраз еще более важного и грандиозного вмешательства бога в судьбы людей, которое произойдет в последний момент перед концом мира: он освободит свой народ от тяжелого рабства. Но когда был только один народ божий и в рабстве у одного Египта, то и поражен казнями был только один Египет, а теперь, когда божий народ (т. е. христиане) состоит из множества различных языков (народов) и угнетается господством неверных, то поражены будут карами небесными все народы, не признавшие бога, т. е. не принявшие христианства. С приближением конца мира жизнь человеческая будет хуже и хуже, так что теперешние несправедливости и грабежи по сравнению с будущими покажутся счастливым, чуть ли не золотым веком.

Лактанций очень красноречиво изображает бедствия перед концом мира. «Тогда пройдет по всей земле меч, — говорит он, — кося все, и повергнет все, как во время жатвы. Причиной такого разорения будет то, что имя римское, которое теперь всем управляет — страшно сказать, но я все же скажу, — будет стерто с земли, и власть снова вернется в Азию, и снова Восток будет властвовать над Западом. И никому не должно показаться странным, что царство, основанное с таким трудом, в течение долгого времени увеличивавшееся столь многими и славными мужами, укрепленное такими силами, когда-нибудь падет. Ибо никогда ничего не делали руки человеческие, что не могло бы быть ими же разрушено: создания смертных — смертны. . . Ведь и другие царства разрушались прежде, несмотря на то, что долго процветали. Ведь известно, что когда-то управляли всем миром египтяне, и персы, и греки, и ассирийцы, когда их власть была разрушена, управление всем миром перешло к римлянам. Хотя их власть превзошла обширность всех других царств, они падут с тем большей силой, ибо все, что достигает большей высоты, претерпевает более глубокое падение. Очень умно Сенека разделил все время существования Римского государства на возрасты, — продолжает Лактанций, — первый период при Ромуле он назвал

его младенчеством, далее, время при других царях, которые расширили Рим и обучили его разным наукам и учреждениям — его детством. В царствование Тарквиния Рим начал как бы мужать и не захотел терпеть рабства, а предпочел повиноваться законам — это была его юность. Когда с окончанием Пунических войн юность его миновала и силы окрепли, наступила его зрелость. Когда же был разрушен Карфаген, его долгий соперник, Рим протянул руки ко всему миру на море и суше. Покорив всех царей, когда уже не было больше условий для войн, он стал плохо пользоваться своими силами, и сам довел себя до упадка. Это было началом его старости. Раздираемый гражданскими войнами и подтачиваемый внутренними распрями, он снова обратился к единовластию, как бы вернулся к своему младенчеству, ибо, утратив свободу, которую он отстоял когда-то с Брутом во главе, он так состарился, что уже не мог сам себя поддерживать, не опираясь на власть своих правителей. При таких обстоятельствах чего же еще ждать, как не разрушения, которое всегда приходит вслед за старостью. И что это произойдет в скором времени — это объявлено в изречениях пророков, но под другими словами, чтобы нелегко было всем это понять. Однако сивиллы открыто говорят, что Рим погибнет по приговору бога, потому что имя Рима станет ненавистно, и из ненависти к справедливости он будет мучить народ, воспитанный в истине. Гистасп, который был в древности царем мидийцев и по имени которого названа река Гидасп, как говорят, передал памяти потомства свой удивительный сон, истолкованный ему одним юным снотолкователем в том смысле, что стерто будет с лица земли имя Римское; и это было предсказано намного раньше того, как обосновался в Италии прибывший из Трои народ» (V, 15).

Далее Лактанций указывает несомненные признаки приближения конца мира, причем все эти признаки напоминают реальные условия, сложившиеся в его время в Римском государстве. — Царство и власть разделены на части, обострились внутренние распри, увеличились военные силы, поля заброшены и останутся невозделанными и бесплодными. Это и есть начало разрушения. Затем придут враги из Азии и будут мучить всех людей, отменят законы и установят свои на погибель рода человеческого. Но наряду с этими признаками, которые Лактанций мог почерпнуть из окружающей его действительности, он указывает еще и другие, навеянные ему христианской эсхатологической литературой, например, «Откровением апостола Иоанна», где упоминаются десять царей (гл. 17), о которых говорит также и Лактанций. Будут землетрясения, дожди, морозы, нестерпимый жар, превращение воды в кровь и т. п.; будет частое падение звезд, помрачение солнца и луны, высочайшие горы упадут и сравняются с долинами, море станет непригодно для плавания, с неба раздастся трубный звук, который не даст людям покоя, они будут завидо-

вать умершим и призывать к себе смерть, но смерть не придет к ним. (Относительно трубного звука Лактанций приводит цитату на греческом языке из книг Сивиллы Эритрейской.) Род людской будет быстро вымирать (об этом тоже сказано в стихах Сивиллы): от всех людей останется едва десятая часть и, если куда-нибудь пойдет тысяча человек, назад придут сто человек. А из верных почитателей бога погибнут две трети, и спасется только одна третья часть людей, одобренных богом.

Но и этого всего Лактанцию мало. И вот в его словах обрисовываются образы каких-то царей, сначала доброго, который будет наставлять людей в истине, а потом злого, который придет на смену первому и будет мучить и преследовать праведных людей. Он будет творить чудеса, и многие соблазнятся и последуют за ним, и он наложит на них свою печать; а кто не захочет принять его, тех он погубит жестокой смертью. В этом образе мы, конечно, узнаем традиционный образ антихриста. Однако когда наступит уже последний момент, и антихрист окружит своей ратью гору, на которой соберутся последние праведники, они возопиют к богу о помощи, бог услышит их мольбы и пошлет им избавителя, великого царя, который поразит всех нечестивых огнем и мечом. Этот светлый мотив, оказывается, Лактанций заимствовал тоже из пророчеств сивилл; подтверждение он находит и у античных поэтов, главным образом у Вергилия. Лактанций усматривает различие между их свидетельствами лишь в том, что одни приписывают решающие суждения и их осуществление Юпитеру, а другие богу ветхозаветному или христианскому.

После такого крушения всего мира Лактанций предполагает воскрешение мертвых и суд над ними. И этой своей мысли он находит подтверждение как в христианской, так и в античной литературе. Так, например, об этом говорится в сочинениях философа Хрисиппа, а также, конечно, в книгах сивилл. Сюда же он привлекает и стихи Вергилия из VI песни «Энеиды» — о возвращении душ на землю после того как они, испив воды из реки Леты, забудут обо всем, что с ними было раньше. (В действительности, Вергилий, конечно, думал при этом о пифагорейском переселении душ, а вовсе не о христианском учении о воскрешении мертвых.)

Таков исторический экскурс в сочинении Лактанция (гл. 15). Он представляет для нас большой интерес. Это первая попытка осветить будущую судьбу Римского государства, исходя не из его предыдущей истории, а с точки зрения христианской эсхатологии. Рим дорог Лактанцию так же, как и историкам-язычникам, но у Лактанция как у христианина своя установка: он хочет, чтобы процветающий Рим был в мире и согласии с христианством, чтобы к его военной славе присоединилась слава столпа истины и справедливости и чтобы этим он заслужил милосердие божие.

И вместе с тем Рим не заслоняет один всего остального мира в глазах Лактанция. Не вдаваясь в подробности истории других народов, автор упоминает все же и такие страны, как Египет, Иудея, Ассирия. В этом отношении историческую концепцию Лактанция можно признать прогрессивной, предвещающей позднейший вид всеобщей истории, несмотря на то, что суеверное преклонение перед такими источниками, как книги сивилл и пророчества ветхозаветных пророков, производит впечатление какого-то помрачения ума. Интересно также его стремление примирить свидетельства античных авторов и Священного Писания. Ум и симпатии автора, безусловно, направлены в сторону последнего, однако его ученость связывает его крепкими цепями с античностью.

Среди сочинений, приписываемых Лактанцию, есть еще одно, полностью посвященное исторической тематике. Это «О гибели гонителей» («De mortibus persecutorum»). Авторство Лактанция не является общепризнанным. Его оспаривают Г. Крюгер в своей «Истории ранней христианской литературы» и М. Брандт, издатель сочинений Лактанция. С другой стороны, крупный исследователь О. Зеек в «Истории гибели античного мира» и М. Шанц в своей «Истории римской литературы» (т. 3) признают авторство Лактанция и идентичность этого сочинения с упомянутым у Иеронима сочинением Лактанция под заглавием «De persecutione». Одним из главных аргументов против авторства Лактанция является плохая сохранность текста этого произведения. В самом деле, имеется всего один список, найденный только в 1678 г.; он не имеет никакой связи с другими рукописями Лактанция и находится в очень неисправном состоянии. Смущает исследователей и то, что сам автор назван здесь Луцием Цецилием, в то время как в большинстве сочинений Лактанция он именуется Фирмианом или Фирмианом Целием. С другой стороны, содержание этого произведения, несомненно, указывает на автора, бывшего современником описанных в нем событий, последних годов III в. и первых годов IV в.; автор близко стоял к Константину и его окружению и явно был в оппозиции к противникам Константина (Максенцию и Галерию), а также прекрасно владел стилем латинского языка. Все эти признаки подтверждают авторство Лактанция. Что же касается несходства имен, то в этом может быть повинен какой-нибудь переписчик.

Книга написана в форме послания к некоему Донату; имя это часто встречается в христианских общинах в Африке, и трудно сказать, о каком Донате здесь идет речь. Названный здесь Донат, как это ясно из обращения к нему Лактанция, сам подвергался гонению за принадлежность к христианской церкви, 6 лет был в заключении, а потом получил свободу уже после издания известного Миланского эдикта в 313 г. В утешение своего друга наш автор излагает всю историю преследований христиан в Римской

империи и своим описанием гибели гонителей и торжества христианства вселяет в него уверенность, что больше тяжелых преследований христиан не будет.

В самом начале кратко излагается история возникновения христианства на основании, по-видимому, апокрифических евангелий, откуда автор извлек и точную дату дня смерти Христа: 10 апреля, в год, когда консулами были двое Геминов, т. е. в 29 г. нашего летосчисления. Отсюда день воскресения приходится на 12 апреля, а вознесение, через 40 дней, на 22 мая того же года. Упоминаются апостолы Петр и Павел, погибшие при Нероне. Гонение Нерона объясняется тем, что в его правление было слишком большое устремление к христианскому учению, так что приходилось опасаться оскудения язычества. Необычайный род смерти Нерона и отсутствие его могилы толкуется Лактанцием как кара божия за его жестокость и предсказание того, что Нерон может еще появиться среди людей в роли антихриста. От Нерона Лактанций переходит к Домициану, который также поплатился смертью за гонение на христиан. Следующим гонителем был император Декий уже в III в. Он был, по мнению Лактанция, наказан тем, что вместе со своим сыном погиб в бою с даками, и тела их не могли даже быть погребены. Потом гонения были при Валериане; в наказание он попал в плен к персам, а после его смерти персы содрали с него кожу и вывесили в храме для посрамления римлян. Аврелиана, следующего гонителя христиан, постигло безумие и ранняя смерть от недоверия друзей, так что его кровавые приказы не успели даже дойти до пределов империи.

В дальнейшем, начиная с правления Диоклетиана, Лактанций описывает события, свидетелем которых он сам был. Здесь для нас интересны картины экономического и социального упадка Рима. Разделение империи привело к непомерному увеличению военных кадров и чиновничества, участились междоусобицы, страны стали разоряться и число потребителей стало превышать число производителей (7, 2). Установление властями твердых цен на продукты вызвало дороговизну и спекуляцию; кроме того, было много несправедливостей при сборе податей и налогов. Недовольство народа приняло такие размеры, что закон о ценах пришлось отменить (23, 1 и 36). Другая тягость пришла от пристрастия правителей к строительству. Многое строилось и перестраивалось, для построек выбирали новые места, жители с них сгонялись, имущество их отнималось (7, 8). Сурово отзывается Лактанций о соправителе Диоклетиана Галерии, который объявлял себя сыном Марса, вторым Ромулом, и не хотел довольствоваться титулом цезаря. Мы узнаем об обстоятельствах, при которых Диоклетиан сложил с себя власть. Этот факт обычно прославляется, вокруг него создалась даже легенда; Лактанций же, живой свидетель этого события, говорит, что уход Диоклетиана от власти был не добровольный, а вынужденный: его принудил

Галерий, желавший сам занять место императора-августа. После этого прежний август уже именовался просто Диоклом (18, 41—42). Будучи близок к правящим кругам в столице Никомедии, Лактанций сообщает нам подробности политической и дворцовой жизни, каких мы не находим у других историков тетрархии. Так, в данном случае он сообщает нам, что у Диоклетиана не было злобы в душе и что первоначально его гонение на христиан ограничивалось наказанием розгами. Но Галерий, находившийся под влиянием своей матери, женщины жестокой и варварского происхождения, потребовал от него смертных казней христиан, и тот, не желая кровопролития, стал сжигать христиан на кострах. Когда же Галерий сам стал во главе государства, создался режим, превосходящий все представления о жестокости, произволе и разнузданности. Лактанций не скупится на краски, чтобы изобразить все ужасы, происходившие в то время в Римском государстве. Но еще не все бесчеловечные планы Галерия были выполнены. Лактанций утверждает, что их разрушил бог, вступившись за своих верных почитателей. Во всем он склонен видеть промысел божий, охранявший избранных им Констанция Хлора и сына его Константина, первого римского императора, принявшего христианство. Галерия постигает ужасная болезнь в наказание за его жестокость. От внутреннего гнойника все его тело начало гнить, распространяя зловоние не только на весь дворец, но и на улицы города (33, 7). В такой предсмертной агонии Галерий издал накануне 1 мая 311 г. эдикт о веротерпимости. Лактанций приводит его текст полностью, считая, что этим эдиктом Галерий хотел смягчить гнев христианского бога и облегчить свои страдания. Нам трудно как согласиться в этом с нашим автором, так и привести другое объяснение этого события. В эдикте сказано, что императором руководит желание привести к успокоению римское общество и предусмотреть, «чтобы христиане, отступившие от учения своих предков, вернулись к правильному образу мыслей, даже если по каким-то соображениям они и поддались желанию это сделать и ими овладело такое помрачение ума (stultitia), что они не стали следовать старым установлениям, которые вначале создали их предки, но сами создали для себя новые законы, согласно своим убеждениям и желаниям, вокруг которых объединились различные народы в разных странах. Наконец, когда был издан наш приказ, чтобы все вернулись к прежним религиозным установлениям, многие были принуждены к этому угрозами преследования, многие были сбиты со своих позиций, но многие продолжали упорствовать в своих заблуждениях, и мы увидели, что многие не почитают ни богов, ни должных законов, не почитают также и христианского бога: мы, исходя из твердо установленного нашего обычая оказывать снисхождение всем людям, сочли нужным и в этом случае предоставить всем в скорейшем времени терпимость, чтобы снова люди могли исповедовать хри-

стианскую веру и проводить свои собрания, лишь бы не делали ничего противозаконного. В другом нашем послании мы объявим всем судьям, чего им следует придерживаться, так чтобы, получив от нас такую терпимость, все должны были молиться своему богу о благополучии нашем и всего государства и о своем собственном, чтобы со всех сторон обеспечить нашему государству безопасность и чтобы все могли жить в своих домах в мире» (гл. 34).

Ко времени смерти Галерия, по свидетельству Лактанция, государство было совершенно разорено. Особенно все тяготились налогами как на наличное имущество, так и на выбывшее уже из строя (павший скот, сгоревшие дома и т. п.). После смерти Галерия в борьбе между Максимином и Лицинием Максимин обещал отменить ценз и этим расположил к себе народ. Он вышел победителем, но оказался тираном не лучше Галерия. Эдикт о веротерпимости был отменен, и опять начались гонения. Престарелый Диоклетиан даже не мог защитить свою дочь Валерию, вдову Галерия, от преследований Максимина и умер в 313 г., отказавшись от пищи. Лактанций убежден, что такая горестная судьба была послана Диоклетиану от бога за его преследования христиан.

Лактанций так описывает последний этап междоусобной борьбы правителей: «Максимин заключил союз с Максенцием против Константина. Сражение произошло на подступах к Риму у Мульвиева моста, и здесь Константин, будучи наставлен каким-то сновидением (in quiete commonitus), приказал изобразить на знаменах своих солдат крест. А между тем, в день боя в самом Риме начался народный мятеж. Максенций хотел отпраздновать пятилетие своего правления, но народ в Риме сочувствовал больше Константину, и среди него раздавались крики: «Константин не может быть побежден!» (гл. 44). Обратились к книгам сивиллы и там прочли, что «в тот день погибнет враг римского народа!» И действительно, Максенций утонул в тот день в Тибре, и сенат признал Константина первым правителем империи. Максимин тем временем вел войну с Лицинием. Решающее столкновение произошло у Адрианополя, и будто бы, утверждает Лактанций, ночью было Лицинию видение, и сказал ему ангел, что он победит, если научит своих солдат молиться, и тут же произнес слова молитвы. Проснувшись, Лициний сейчас же повторил слова этой молитвы перед секретарем, который их записал, и молитва была распространена по всему лагерю. На утро перед боем солдаты Лициния, стоя уже в строю, сняв шлемы и сложив щиты, громко стали молиться указанными словами, после чего и одержали блестящую победу над войском Максимина. Он бежал в одежде раба на восток. Лициний настиг его, и Максимин вынужден был отравиться. Однако, говорит Лактанций, из малодушия он так плотно наелся, что яд не подействовал сразу, а причинял невероятные мучения в течение четырех суток. В эти дни он будто бы

обратился к Христу и молил его о пощаде и милости. Такова была смерть последнего гонителя христиан.

Лициний, преследуя Максимина, опубликовал в Никомедии 5 июня 313 г. знаменитый эдикт от имени своего и Константина, известный в истории под названием Миланского. Лактанций полностью приводит текст этого эдикта в своем сочинении (48, 2—12). Заканчивает он свой труд опять обращением к Донату с утешительным подтверждением того, что все гонители наказаны богом и больше гонений на христиан не будет.

В качестве историографа Лактанций занимает особое место среди других римских историков: у него нет учителей или образцов, которым он мог бы подражать, и нет также прямых или непосредственных последователей или продолжателей. Его современниками были авторы «Истории августов» и панегиристы, но у него с ними не было ничего общего. Да то же самое можно, пожалуй, сказать про Лактанция и как про апологета христианства. Здесь его предшественниками были Тертуллиан, Минуций Феликс и Киприан. Но их произведения были написаны в обстановке гонений. Они обращались к широким кругам римского общества, стремясь вызвать в них сочувствие и милосердие к гонимым. Лактанций же пишет в период, когда гонения пришли уже к концу, и перед ним стояла другая задача, именно: примирить римское государство с христианской церковью. Он защищал не христианских мучеников, а христианское учение, и не перед толпой, а перед учеными кругами образованных римлян.

Так же и в области историографии. Он не хронист и не летописец. Он не стремится написать ни историю римского государства, ни биографии римских императоров. Исторические труды Лактанция, и в первую очередь, конечно, его сочинение «О гибели гонителей» — это острый политический памфлет, цель которого — показать, как промысел божий оберегает верных богу христиан. Как памфлетист, он, конечно, пристрастен: у него есть свои симпатии и антипатии к историческим деятелям. Например, он называет не всех императоров, проводивших гонения; симпатичных ему Адриана и Марка Аврелия он пропускает. Напротив, двух Декиев, отца и сына, он характеризует дурно, хотя у других историков оба эти правителя — мужественные воины, погибшие в боях с варварами, врагами государства, положительные фигуры в длинном ряду совершенно бесцветных императоров (Аврелий Виктор, гл. 29). Среди правителей первых десятилетий IV в. он сочувствует Константину и ненавидит его противников, особенно Галерия. Приписывая ему различные пороки, Лактанций неоднократно напоминает нам, что он был полуварвар (9, 2 и 18, 13): мать его была из задунайских варваров, язычница, «почитательница горных богов» (11, 1); она оказывала на сына дурное влияние, подстрекала его к жестокости. Этим как бы еще раз подчеркивается основной тезис Лактанция: гонителями христиан

были дурные правители и преимущественно варварского происхождения. Наоборот, в отношении своего патрона Константина Лактанций подчеркивает его происхождение от подлинно римских родов.

О заслугах «дурных» правителей в борьбе с варварами, об их экономических заботах Лактанций просто умалчивает или говорит даже с осуждением, как например, об установлении твердых цен на рынке. Он наблюдателен и правдив, но в качестве историографа он не проявляет широкого взгляда и не может, а, может быть, и не хочет вникнуть в общегосударственные нужды и интересы: он рассматривает и оценивает мероприятия тетрархов с точки зрения обывателя. Разделение империи между четырьмя правителями огорчает его прежде всего тем, что число чиновников и солдат, т. е. людей непроизводительного труда, стало значительно больше, чем при едином управлении (7, 2). От этого поля оказывались плохо обработанными, культурные земли превращались в пустыри или в лесные заросли (7, 2), а вслед за этим наступало и огрубение нравов и подавление демократических прав (22, 4—5). Попытки нормировать цены и упорядочить налоги Лактанций резко осуждает: оценщиков и сборщиков податей, разъезжавших по всей стране, он прямо называет грабителями или даже палачами (23, 31, 3—4).

Еще характерной чертой Лактанция как историографа является его преклонение перед Римом и уважение ко всему римскому. Нам даже неизвестно, знал ли он город Рим, жил ли в нем. Но в нескольких местах своего сочинения он отстаивает честь и славу этого города. Диоклетиану он делает упрек за то, что тот стремился Никомедию сделать равной Риму (7, 10 и 17, 2). Над Галерием он издевается за то, что он, будучи правителем государства, никогда не видел Рима и представлял его себе похожим на какой-нибудь восточный город. Ему же он приписывает стремление истребить даже самое имя Рима и переименовать государство из римского в Дакское (27, 2 и 8).

Р. Пишон в своей монографии о Лактанции подробно рассматривает сообщение Лактанция о том, что уход Диоклетиана от власти был вынужденным (18, 6). Это его свидетельство находится в противоречии со свидетельствами других историков об этом факте. Однако тщательное сравнение показывает, что в сообщении Лактанция есть зерно истины, и другие авторы по сути дела говорят о том же, только в несколько завуалированном виде. К тому же Лактанций стоял близко к правительственным кругам и мог знать о таких подробностях этих событий, которые оставались неизвестны другим. В рассказе Лактанция нет противоречий и недоговорок, в то время как свидетельства других писателей неизбежно вызывают недоумение: как могло случиться, что Диоклетиан, находясь на вершине своего могущества, добровольно отказался от власти? Между тем все становится понятным, если

согласиться с Лактанцием, что Диоклетиан был принужден к этому шагу Галерием. Понятным становится и то, что Максимиан подчинился ему в этом случае invitus, как это сказано у Аврелия Виктора и у анонимного автора «Эпитомы»; понятным оказывается также и то, что в дальнейшем Геркулий искал случая вернуться снова к власти, настаивая, чтобы вместе с ним вернулся к власти также и Диоклетиан. И если бы Зеек принял свидетельство Лактанция, то ему не было бы надобности создавать в своей книге целую теорию о том, что будто бы каждый август должен был слагать с себя власть после двадцатилетнего правления.

Итак, исторические сведения, сообщаемые Лактанцием в отношении фактов, — правдивы, а в отношении оценки их — пристрастны. Лучше всего его назвать мемуаристом-памфлетистом.

Много труда было положено на исследование вопроса об источниках исторических произведений Лактанция. На этом поприще трудились такие выдающиеся историки, как Г. Силомон, О. Зеек, Г. Роллер, Г. Эдмондс, А. Пиганьоль, Р. Пишон, наконец Моро в своем новом издании Лактанция (1961). Высказывая разные предположения, все сходятся на том, что до нас не дошли какие-то труды («Verlorene Kaisergeschichte»), которыми могли пользоваться, помимо Лактанция, еще и такие авторы, как Евтропий, автор «Эпитомы», Фест, Евсевий и др. Ведь известно, что пропали произведения Евнапия и Зосима, посвященные периоду тетрархии.

Не следует также забывать, что Лактанций был живым свидетелем событий на рубеже III и IV столетий и мог пользоваться сообщениями других свидетелей событий, происходивших в различных местах обширной Римской империи.

Лактанций обладал недюжинным талантом излагать исторические данные. Образы, обрисованные им, ярки и жизненны. Он руководствуется определенной идеей и упорно развивает ее на множестве конкретных примеров, он учитывает влияние экономических факторов и массовых движений народа. Однако, при всех этих положительных качествах, его оценка фактов и тенденций явно порочна, поскольку опирается на ложный принцип видеть во всем проявление промысла божества и его высокую руку. С другой стороны, несомненно прогрессивным следует признать, что интерес Лактанция как историка выходит за тесные пределы одного только Римского государства. Большинство римских историографов отказывается признать, что развитие римских провинций было не ниже, а в некоторых случаях и выше основных римских и даже греческих территорий. Наоборот, прогресс и дальнейшее развитие предстояли историографии, превращавшейся из истории Римского государства во всеобщую историю.

К сожалению, только классовый признак носителя новых идей выражен недостаточно ясно. Что можно сказать о происхождении

и классовой принадлежности Лактанция? Мы не имеем никаких об этом сведений. Только одно его несомненное африканское происхождение, да его сочувствие невзгодам простого народа, угнетаемого чиновничьим произволом и жестоким режимом первых лет IV в., позволяют нам высказать предположение, что он не был выходцем из римской, хотя бы и провинциальной знати и был тесно связан с демократическими кругами. Интересно также отметить, что он совсем не уделил никакого места в своем историческом очерке римскому сенату, будто бы его уже и не существовало. Выделяя среди правителей своего времени Констанция Хлора, а потом его сына Константина, он не славословит их и не льстит им, несмотря на то, что Константин был его заступником и покровителем. Остается лишь пожалеть, что Лактанций как историк охватил своим повествованием очень ограниченный отрезок времени. Наконец, поскольку произведение Лактанция «О гибели гонителей христиан» является по существу произведением историческим и написано автором не с правительственных позиций, а с позиций простого обывателя, живого свидетеля описанных событий, постольку оно отражает общественное мнение широких кругов римского общества. А так как автор придерживается убеждения, что всеми судьбами людей руководит промысел божий, то автор старается раскрыть признаки этого промысла, выявить какую-то предопределенность исторических событий, их причинную взаимосвязь, какие-то, так сказать, закономерности истории и тем кладет начало последующей философии истории. В этом большое историческое значение труда Лактанция, и в этом проявляется основная и характерная черта его исторической концепции.

Говоря о Лактанции, нельзя не упомянуть о блестящем его языке и стиле. Современники называли его христианским Цицероном. Его повествование читается чрезвычайно легко, его стиль резко отличается от манерной и витиеватой латыни других писателей, его современников (и особенно его земляков-африканцев).

Несомненно, такое блестящее владение латинским языком и дало повод заподозрить Лактанция в христианских интерполяциях таких авторов как Тацит, Светоний, Плиний Младший, потому что Лактанций с легкостью мог подражать стилю любого писателя. Такого мнения придерживается между прочим и профессор Р. Ю. Виппер в своих трудах по истории христианства. Этот вопрос требует, конечно, специального исследования. Мне же такое предположение кажется неправильным.

Во-первых, из сочинений Лактанция видно, что интерес его всегда был направлен на высказывания древних авторов по вопросам философии или космогонии, но не на биографию Христа, или историю христианского учения, хотя у него могло быть немало поводов для подобных экскурсов.

Во-вторых, если вспомнить, что он сам говорит о гонениях на христиан при Нероне, то бросается в глаза совершенно различная трактовка этого эпизода у Лактанция и у Тацита. У самого Лактанция сказано, что Нерон решил уничтожить христианство как религию, подрывающую существование язычества, а в интерполяции у Тацита сказано, что Нерон решил преследовать христиан как поджигателей Рима, чтобы скрыть свою собственную вину в пожаре. Едва ли оба эти эпизода имеют общего автора.

В. Д. Савукова

СОСТОЯНИЕ ЛАТИНСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ В ГАЛЛИИ ПЕРИОДА ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Последние столетия Римской империи (IV—VI вв. н. э.) характеризуются социально-экономическим кризисом всей рабовладельческой системы. Одновременно этот период является периодом становления новой феодальной формации, которая зарождалась в недрах античного рабовладельческого общества. Как отмечал еще В. И. Ленин [1], переходы от одной общественно-экономической формации к другой особенно сложны. Именно в это время происходит ожесточенная борьба старого и нового во всех сферах общественной жизни; причем в ходе этой борьбы старое, особенно в области идеологии и культуры, причудливо переплетается с новым.

Говоря о развитии культуры и идеологии этого периода, мы должны также помнить указание Ф. Энгельса [2] о преемственности и относительной самостоятельности идеологических форм; о том, что процессы и изменения, происходящие в области идеологии и культуры, хотя в целом и определяются социально-экономическими изменениями, однако не повторяют в точности всех этих изменений и не следуют шаг за шагом за ними.

В период поздней Римской империи социально-экономический кризис с неизбежностью привел к упадку и разложению античной культуры и идеологии, но не к гибели всей культуры вообще, как это старались изобразить идеологи старого уходящего рабовладельческого общества. Нет, этот процесс был одновременно процессом зарождения, становления новой, вначале еще слабой, неразвитой, феодальной культуры и идеологии. В создании этой новой идеологии все бóльшую и бóльшую роль начинает играть церковь.

Кризис империи способствовал усилению влияния церкви, которая после признания ее государством [3] стала сильной социальной организацией, располагающей собственной экономической базой, администрацией и собственной идеологией.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 378.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1947, стр. 462 сл.

[3] Миланский эдикт 313 г., изданный императором Константином и его соправителем Лицинием.

Быстро растущее влияние христианской религии предопределило и ведущую роль христианской литературы, которая к этому времени оформилась и активно повела наступление на языческую культуру. Но в этой борьбе старого с новым античная литература, обладающая многовековыми традициями и поддерживаемая консервативными представителями старого рабовладельческого общества, не уходит бесследно, она так или иначе продолжает оказывать влияние на христианскую литературу.

Борьба нового и старого в области культуры и образованности отличалась сложностью и своеобразием: с одной стороны, были ярые приверженцы отмиравшей языческой культуры, которые не хотели никаких компромиссов с христианской идеологией и были враждебно настроены к ней (например, Макробий, оратор Симмах и его кружок, галльский поэт Рутилий Намациан и др.), с другой — существовала отдельная группа писателей, в воззрениях которых причудливо сочетались черты старой античной образованности с чертами христианской идеологии (поэт Сидоний Аполлинарий, ставший позже епископом). В этом отношении характерно, что некоторые из них, уже став епископами, все же оставались по своему духу и складу характера в сущности светскими людьми. Наконец, существовали писатели, убежденные поборники вновь нарождающейся христианской идеологии, правоверные приверженцы христианства (Лактанций, Иероним и др.). Эти христианские писатели, получившие образование в риторских и философских школах, вынуждены были знакомиться с античной литературой и с ее художественными формами, которые они использовали в своих поэтических и прозаических сочинениях, направленных против язычества.

Приступая к конкретному исследованию интересующей нас темы, мы считаем своим долгом оговориться, что не ставим перед собой задачи дать обзор состояния культуры и образованности во всей Римской империи этого периода, а стремимся только проследить (насколько позволяют дошедшие до нас источники) состояние латинской образованности в одной из наиболее значительных провинций — в Галлии.

Именно в Галлии, особенно в южной части ее, сохранялся вплоть до падения Западной Римской империи сравнительно высокий уровень античной культуры и образованности.

Рассмотрение этого процесса в Галлии важно потому, что именно в это время происходит перемещение экономического центра из Рима в провинции, а с разделением империи на Западную и Восточную (IV в. н. э.) Галлия становится резиденцией некоторых императоров (Максимиана, Константина, Констанция Хлора, Грациана, Евгения и др.) и приобретает известный вес и значение как северный бастион в борьбе с нашествиями «варваров». Перемещение экономического и политического центра из Рима

в провинции повлекло за собой и соответствующее перемещение культурного центра. Именно этот период (IV в. н. э.) характеризуется угасанием собственно римской литературы и значительным развитием латинской литературы в таких провинциях, как Галлия и др.

Галлия к V в. н. э. была вполне романизирована, а особенно на юге. Народный латинский язык вытесняет кельтский и становится живым разговорным языком. Распространению латинского языка в Галлии способствовало то обстоятельство, что он был языком римской культуры, римских чиновников, судей, торговцев, а позже (с III в. н. э.) — языком церкви. Кроме того, распространению латинского языка в Галлии способствовали и школы, где преподавание велось на латинском языке. По словам Страбона [4], латинские школы в Галлии возникли вскоре же после завоевания ее Римом. Уже в начале I в. н. э. процветали школы в Марселе и Отене. К сожалению, о постановке дела в элементарных школах, предназначенных, по-видимому, для довольно широких кругов населения, мы не имеем сведений. Сравнительно больше сведений дошло до нас о характере обучения в так называемых больших школах, предназначенных для знатных лиц. Эти школы имели своей целью готовить представителей местной администрации, должностных лиц господствующего класса.

В Галлии в то время высшее общество, т. е. галло-римская знать и интеллигенция, несмотря на то, что христианство было признано официальной религией, оставалось верным языческим традициям. Оно всячески старалось поддержать угасавшую римскую литературу. В сохранении античной культуры, главным образом римской, значительную роль сыграли риторские школы. Школы также оставались вплоть до падения Западной Римской империи языческими. Христианское общество в то время еще не имело своих школ.

Особенно возрастает роль школ в Галлии в IV в. н. э. в период временного расцвета Римской империи (правление Констанция Хлора, Юлиана, Грациана). Именно в это время во многих городах Галлии возникают и процветают так называемые большие школы, славившиеся своими риторами и философами. Наибольшей известностью пользовались школы в Трире, Ангулеме, Пуатье, Бордо, Лионе и др. Особенно хорошо известна нам Бордосская школа, воспоминание о которой оставил поэт Авсоний (IV в. н. э.)[5]. Некоторые известные поэты и риторы Галлии того времени являлись воспитанниками этих школ (Авсоний — IV в. н. э., Сидоний Аполлинарий — V в. н. э.).

Школы пользовались покровительством императоров и отдельных представителей высшего общества. О важности школ как

[4] Strabo — IV, 1, 5.

[5] D. Magnus Ausonius Burdigalensis—Commemoratio professorum Burdigalensium.

очагов старой пришедшей в упадок античной культуры говорит ряд императорских эдиктов, регламентирующих жизнь школ, главным образом жизнь и деятельность профессоров. Профессор со своей семьей освобождался от налогов, от воинской повинности и от обязанностей постоя. Он получал от правительства большое содержание натурой (annona) в зависимости от занимаемой должности. Интересно законоположение от 374 г. Грациана Августа, посланное Антонию, префекту претория в Галлии:

«В больших городах, которые по всей провинции, порученной твоему великолепию, процветают и блистают знаменитыми наставниками, пусть занимаются воспитанием юношества лучшие (мы говорим о риторах и грамматиках, преподающих на римском и аттическом языках); пусть ораторы получают от казны в жалованье по двадцать четыре порции, учителям же грамматики, греческим и латинским, будет по обычаю выдаваться меньшее количество, двенадцать порций. Пусть города, пользующиеся правами метрополий, выбирают знаменитых преподавателей, и, так как мы не думаем, чтобы каждый город был в состоянии платить своим риторам и учителям по своему желанию, мы оказываем знаменитому городу Триру еще следующую милость: пусть в нем ритор получает тридцать порций, латинский грамматик и греческий грамматик, если найдут способного, — двенадцать»[6].

Школа открывала доступ к административным должностям. В этом сказывалась классовая направленность школ. Так, например, по словам Авсония, Бордосская школа приготовила тысячу своих воспитанников для судебной деятельности и две тысячи для сената с его тогами, обшитыми пурпуром.

Mille foro dedit haec juvenes, bis milia Senatus
Adiecit numero, purpureisque togis [7].

Ритор или поэт, преподающий в школе, кроме обычной популярности, мог достичь также высокой государственной должности. Так, поэт Авсоний из преподавателя грамматики сделался консулом.

Тот же Авсоний сообщает нам имена некоторых известных для того времени преподавателей-риторов: так, он говорит об ораторе Викторе Минервии, лекциями которого гордились некогда Константинополь, Рим и, наконец, его родина, правда, не могущая равняться с величием тех городов [8]. Кроме того, Авсоний называет нам Лампридия, преподавателя Бордосской школы, знаменитого деятеля литературы того времени, Сапауда, известного

---

[6] Codex Theod., кн. XIII, т. 3. § 11 (цит. по кн: Г и з о. История цивилизации во Франции, т. 1. Перевод П. Г. Виноградова. М., 1877, стр. 75).

[7] Aus., Prof., I, Vers. 5—8. (Тогу с пурпурной каймой — toga praetexta — носили курульные магистраты в Риме и должностные лица в муниципиях и колониях.)

[8] Aus., Prof., I, versus 1—5.

ритора г. Вьенны, которого Сидоний Аполлинарий ставит рядом с Квинтилианом [9].

Наконец, он говорит об Эксуперии, тулузском риторе, уроки которого за дорогую цену брали племянники императора Константина. Этот Эксуперий, отдавая дань вычурным вкусам тогдашних слушателей, больше отличался эффектностью формы изложения, нежели содержанием своих речей. Впрочем, это увлечение формальной стороной ораторского искусства было характерно для большинства риторов того времени. По словам Авсония, Эксуперий звучными словами, прикрывавшими бедность внутреннего содержания, легкостью изложения и важной осанкой умел производить сильное впечатление на многочисленную аудиторию [10].

В Лионе и Марселе, по свидетельству Сидония Аполлинария, пользовались известностью преподаватели Марий Виктор Марсельский и Севериан, галльский поэт [11].

Способного преподавателя, умевшего угодить слушателям, города даже переманивали друг у друга [12]. Сидоний Аполлинарий в книге VIII (письмо 11) пишет, что Луп, поэт и ритор, преподает то в Ажене, то в Перигоре, чтобы удовлетворить требования того и другого города.

Некоторые же менее удачные преподаватели в погоне за успехом сами меняли кафедру, но, как говорит Авсоний, без успеха.

«И ты, Конкордий, покинув родину, в другом городе переменил (только) бесполезную для тебя кафедру» [13].

Что же касается характера обучения в этих школах, где получала образование, как правило, галло-римская знать, то мы можем судить о нем на основании воспоминаний того же Авсония (он был учеником, а затем преподавателем грамматики и риторики в Бордосской школе).

В обычных школах преподавали грамматику и риторику, а в IV в. н. э. в больших школах, как например Бордосская школа, ввели, кроме того, преподавание философии и права.

Грамматика делилась на две части: искусство правильной речи и толкование греческих и латинских авторов. Из греческих авторов на первом месте стояли Гомер и Менандр, из римских — Вергилий, затем Гораций и Теренций.

Преподавание риторики ограничивалось комментированием предложенных текстов и развитием поставленных тем. Говоря о вырождении риторики, как впрочем и всей римской литературы этого времени, необходимо отметить, что этот процесс начался не в рассматриваемое нами время (IV—V вв. н. э.), а значительно

---

[9] Sid., Epist., V, 10.
[10] Aus., Prof., XVII.
[11] Sid., Epist., IX, 15, 37.
[12] С. В. Ешевский. Сидоний Аполлинарий. М., 1855.
[13] Aus., Prof., X, praef.

раньше. Его начало восходит к I в. до н. э. и к I в. н. э., о чем свидетельствуют уже «Контроверсии» Сенеки Старшего, «Декламации» Квинтилиана и др. Внутреннее смысловое содержание речей отходило на второй план. Риторов занимала теперь только внешняя сторона красноречия.

Общий упадок римской литературы и образованности накладывает свою печать и на школы, стремившиеся поддержать и сохранить эту образованность. Как преподаватели, так и ученики старались путем различных средств избежать необходимости долгого и усиленного занятия науками. Они предпочитали заниматься извлечениями по части истории, философии, грамматики, риторики, составлением стихов из различных произведений римских поэтов и т. д. Таким эксцерптором был, например, Макробий (IV в. н. э.).

К тому же следует иметь в виду, что все эти знания усваивались ими не для распространения в массах, а для нужд и запросов замкнутого круга лиц, для развлечения знати.

Упадок школ нашел также свое выражение к V в. как в уменьшении числа самих школ, так и в сужении круга лиц, обучающихся в этих школах. «Школы, — писал Гизо, — посещали преимущественно молодые люди высших классов, а эти классы подверглись разложению. Школы падали вместе с ними»[14].

Аристократический характер этих школ сказывался и на всем их режиме. По словам Гизо, здесь отсутствовала всякая инициатива, всякая свобода в обучении и преподавании. Преподаватели контролировались и смещались императором в любое время. Характерно, что народ был настроен против преподавателей аристократических школ, так как эти замкнутые, языческие по своей природе, школы были ему чужды. Низшие слои общества, принявшие христианство, не посещали школ: во-первых, в них преподавателями были большей частью язычники, и, во-вторых, науки — грамматика и риторика, ведущие свое начало со времен античности, находились в противоречии с христианской идеологией этих слоев общества.

Из рассмотренного видно, что большие школы этого периода, в которых обучались дети знатных галло-римских семей, носили классово-сословный характер. В них, в отличие от низших школ, преподавали, кроме грамматики и риторики, философию, право и литературу. Преподавание здесь отличалось изысканностью и оторванностью от жизни, что несомненно свидетельствовало об упадке этих школ. На их известный консерватизм указывает и то обстоятельство, что они стремились сохранить вопреки духу времени чистый латинский язык, который становился все менее и менее понятным народу.

---

[14] Гизо. История цивилизации во Франции, т. I, стр. 27.

Но, несмотря на замкнутый классово-сословный характер больших школ, несмотря на их консерватизм, они сыграли и определенную положительную роль. Так или иначе они являлись очагами и хранилищами античной культуры и тем самым способствовали преемственности двух культур — отмирающей античной и нарождающейся феодальной. Из этих школ вышло немало известных писателей, поэтов и деятелей церкви (епископы и др.), которые являлись носителями и выразителями новой феодальной культуры.

Кроме школ, сыгравших известную роль в формировании вкусов и взглядов отдельных представителей галло-римской знати (поэты Авсоний, Авит, Эннодий, Сидоний Аполлинарий), большую роль в сохранении античной культуры и латинской образованности играли поэты и знатные галло-римляне, которые отгородились от политической жизни, проводили большую часть своего времени в загородных виллах, где предавались праздности, развлечениям и занятиям литературой.

В V в. положение школ изменилось к худшему. В течение V в. в Галлию постоянно вторгались варвары, чьи набеги приносили много бедствий: постоянные стычки и сражения приводили к разрушению античных построек. Не меньший вред античной культуре наносило и христианство. Священники, из которых многие были настроены фанатично, повсюду участвовали в разрушении античных храмов и статуй. Отдельные представители высшего общества, чтобы получить какую-либо должность, становились епископами и, оставляя занятия античной литературой, способствовали тем самым еще большему падению латинской образованности. «Немногие теперь почитают науки», — жалуется Сидоний Аполлинарий [15]. Варвары, наводнившие Галлию, сливались с местным населением, вносили в быт свои нравы и обычаи. Теперь, по словам Сидония, отличием римлянина от варвара становилась образованность, и эту образованность старались поддержать отдельные представители галло-римской знати.

Несмотря на общий упадок культуры в V в. н. э., в крупных городах еще существовали светские школы. В них преподавали те же предметы, что и в школах IV в. н. э. Если Авсоний дал нам характеристику школьного образования в IV в. н. э., то некоторые сведения о характере преподавания в школах V в. мы черпаем из писем и стихотворений Сидония Аполлинария, который получил воспитание в Лионе, этом «gymnasium mundi», по выражению современников. В частности, он дает нам сведения о характере преподавания философии, которая в то время процветала в Галлии более, чем где-либо. В школах изучали философию Аристотеля и Платона.

---

[15] Sid., Epist., V, 10.

Учитель Сидония Евсевий объяснял философию Аристотеля и, по-видимому, на греческом языке [16], но философия Платона была более распространена, так как она находила себе последователей среди христианских ученых. Последователи Платона составляли братство «Collegium Complatonicorum», как называет его Сидоний.

Знаменитым представителем Лионской школы был Мамерт Клавдиан, священник Вьеннской церкви. Сидоний в одном из своих писем подробно говорит о философских беседах Мамерта с учениками [17].

К философии, как это видно из стихотворения Сидония, относились, кроме диалектики, также арифметика, геометрия и музыка. «. . . я утверждаю, что музыку и астрологию, которые являются следующими, после арифметики, составными частями философии, нельзя рассматривать без упомянутых выше»[18], — писал Сидоний.

Кроме философии в главных городах Галлии изучали право. Из преподавателей права славился Леон Нарбоннский, перед которым, по словам Сидония, замолчал бы сам Аппий Клавдий, услышав его объяснение XII таблиц:

> . . . Sive ad doctiloqui Leonis aedes
> (quo bis sex tabulas docente juris)
> ultro Claudius Appius lateret
> claro obscurior in decemviratu [19].

Но главными предметами преподавания оставались грамматика, риторика и поэзия. Изучение греческого языка к тому времени уже упало, даже в Марселе в V в. были только латинские грамматики и риторы.

Правда, Сидоний упоминает имена некоторых преподавателей, знающих греческий язык. Так, он сообщает, что Леон Нарбоннский славился более своими греческими стихотворениями, чем латинскими [20]. Сам Сидоний знал греческий язык и перевел сочинение «Жизнь Аполлония Тианского» [21].

В изучении риторики большую роль играла декламация; внутреннее содержание речей еще в большей степени, чем в IV в. н. э., отходило на второй план.

Риторы V в., как и поэты этого периода, сравнивают друг друга с античными ораторами и поэтами; пытаясь поддержать свой падающий престиж, они называют себя то Квинтилианами, то Гракхами, то Аяксами и т. д. (сам Сидоний получил от Лампридия прозвище Феб). Однако светская литература того времени, обращающая исключительное внимание на форму, тщательно

---

[16] Sid., Epist., IV, 1.
[17] Sid., Epist., IV, 2.
[18] Sid., Carm., XIV, Praef. ad Polem., § 2.
[19] Sid., Carm., XXIII, 446 sq.
[20] Sid., Epist., IX, 15.
[21] Sid., Epist., VIII, 3.

отделывающая каждую фразу и выражение, доживала свой век. Она уступала место христианской литературе, пользующейся теми же формами и риторическими приемами, но гораздо больше отвечавшей духу времени, так как она выражала собой новое мировоззрение господствующего класса нарождавшегося феодального общества.

Поэты V в. чувствовали наступающую гибель латинской образованности. Сидоний Аполлинарий, письма и панегирики которого дают картину быта галло-римской знати и состояния культуры V в., видел, что римская культура все более и более растворяется в варварском окружении. В своем письме к Катуллину [22] он пишет: «К чему ты велишь мне писать поэму в честь Фесценнинской Венеры, мне, который должен находиться среди волосатых толп, выносить германские слова и снова и снова угрюмо хвалить песню объевшегося бургунда, с волосами, намазанными протухшим маслом? Талия презирает шестистопный стих с тех пор, как видит семистопных патронов».

Сомневаясь в будущем Рима, Сидоний обращает свое внимание на просвещение, на последних представителей латинской образованности в Галлии и призывает их спасти ее.

«В тебе одном, — пишет он одному из своих друзей, — нашла пристанище латинская речь, теперь, когда военная сила Рима потерпела кораблекрушение» [23].

В письме к Арвогасту он пишет: «Хотя латинский язык уничтожен в Бельгике и Рейнских землях, в тебе сосредоточилась образованность, и, хотя римская власть на границе пала, латинская речь не умолкла» [24].

Но Сидоний сознавал, что возродить римскую образованность трудно; в одном из писем он сообщает: «Количество бездеятельных увеличилось настолько, что, если бы вы, немногие, не очистили неподдельной латинской речи от ржавчины обычных варваризмов, мы бы уже оплакивали ее как уничтоженную навсегда. Так все пурпурные краски славных речей теряют свой блеск благодаря нерадивости черни» [25].

Но народ, который Сидоний называет чернью, как раз в это время начинает вырабатывать элементы новой, в том числе и языковой культуры применительно к новым общественным условиям, новым отношениям нарождающегося феодального общества.

Современник Сидония Клавдиан Мамерт в одном из писем так же красочно рисует состояние современной науки: «Я почти уже готов в печальной эпитафии оплакать смерть науки. . . потому что я вижу, как римляне не только пренебрегают латин-

---

[22] Sid., Garm., XII, Ad Cat., 1—12 (см. перевод в кн. Л. П. Карсавина «Из истории духовной культуры падающей империи». Спб., 1908, стр. 52).

[23] Sid., Epist., VIII, 2, § 1 (перевод Карсавина).

[24] Там же, IV, 17, § 2.

[25] Там же, II, 10, § 1.

ским языком, но как будто стыдятся его. Грамматика — почти варварская, но и ту гонят солецизмами и варваризмами, отталкивают ногой; диалектики боятся, как амазонки с обнаженным мечом, стремящейся в битву; риторика, как знатная госпожа, не находит приема в убогом жилище, от музыки, геометрии и арифметики отворачиваются, как от трех фурий; наконец, философию считают едва ли не за какое-либо зловредное животное» [26].

К концу V в. гражданские школы, остававшиеся вплоть до конца Римской империи по своей сущности языческими, постепенно вытесняются христианскими, а падение Западной Римской империи (476 г. н. э.) и образование на ее территории варварских королевств повело за собой уничтожение последних остатков античной цивилизации. «Здесь мы стоим, — говорит Энгельс, — у ее могилы» [27].

Если германцы (варвары), по выражению Энгельса, вдохнули в умирающую Европу новую жизненную силу [28], то в культуру на первых порах они принесли необразованность. Они с презрением относились к образованию. Дело гота, говорили они, владеть мечом, а не пером. Такой выдающийся вождь германцев, как Теодорих, который вынужден был признать силу и значение римской культуры и даже старался сохранить ее, сам был неграмотен. Для подписи бумаг ему подавали шаблон с вырезанными буквами, и он мазал по нему черной краской.

Галло-римская знать, смешиваясь с варварами, подражала их нравам и впитывала в себя презрение к образованию.

Единственно, что приняло варварство из рабовладельческого общества — это христианство. Христианская церковь не погибла, она перешла на сторону варварских королей и даже помогала в уничтожении римской культуры. За свою поддержку в завоеваниях варварских королей она получала от них земельные пожалования, превращаясь таким образом в крупную экономическую и политическую силу.

Церковь приспосабливала свое миросозерцание, полное грубых суеверий, к диким нравам и взглядам варваров и этим еще более способствовала падению культуры.

Известно, что христианская церковь со времен Миланского эдикта всячески стремилась ограничить распространение влияния античной литературы и образованности. Позднее это привело к тому, что невежественные, фанатично настроенные служители церкви, выскабливали ценнейшие рукописи древних авторов, которые они использовали для написания распространенных тогда житий святых. Но даже среди этих невежественных служи-

---

[26] Claud. Mamertus, Epistola ad Sapaudem (цит. перевод по книге С. В. Ешевского «Сидоний Аполлинарий», стр. 36.

[27] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 146.

[28] Там же, стр. 155.

телей церкви находились отдельные любители древности, которым мы обязаны сохранением многих произведений античности.

Таким образом, так или иначе церковь вынуждена была нести с собой и некоторые остатки античной цивилизации. Полностью отрицать ее она не могла. Ей нужны были некоторые знания, так как она была единственным идеологическим и культурным центром нового формирующегося феодального общества. Ей нужны были знания и для того, чтобы бороться с еретическими течениями, которые в то время были распространены.

В Галлии в VI в., когда образовалось королевство франков, церковь, получив большие земельные пожалования от короля Хлодвига за то, что она прославляла его завоевания, стала играть большую политическую и идеологическую роль. Повсюду церковь открывала свои, так называемые духовные, кафедральные или епископские школы. Наряду с епископскими школами были и монастырские. Епископские школы готовили певцов и проповедников для богослужения, монастырские — образованных клириков. В них обучали письму, чтению и пению. Здесь уже не преподавались «семь свободных искусств», как в риторских (светских) школах; риторика, диалектика, грамматика, геометрия, астрология преподавались здесь только в связи с богословием. Так, математика и астрономические познания нужны были лишь для того, чтобы определять переходы церковных праздников и для составления пасхальных циклов.

Если в V в. епископы, вышедшие из высшего общества и получившие образование в риторских школах (Сидоний Аполлинарий, Эннодий, Авит), старались поддержать латинскую образованность, то уже к концу V в. и началу VI в. встречаются случаи отказа от занятий языческой литературой.

Так, была создана легенда о том, как пророческое видение отвратило епископа Цезария Арльского от занятий языческой литературой. Плечо и рука, как рассказывается в легенде, прикасавшиеся к книге, над которой он заснул, были изъедены, как ему снилось, страшными драконами. Эта легенда весьма характерна для умонастроения людей того времени.

Само папство относилось отрицательно к изучению светских наук и даже грамматики. Так, Дезидерий, епископ города Вьенны, преподававший грамматику в своей кафедральной школе, получил письмо от папы Григория Великого, в котором папа порицал его за преподавание грамматики.

«. . . Дошло до нас, — писал он, — о чем мы не можем вспомнить без стыда, а именно, что ты обучаешь кого-то грамматике. Известие об этом поступке, к которому мы питаем глубокое презрение, произвело на нас впечатление очень тяжелое, так что все то, о чем я говорил выше, обратилось для меня в горе и печаль; одними устами нельзя воздавать хвалу Христу вместе с хвалами Юпитеру. Ты сам подумай, как преступно и неприлично поступают

епископы, воспевающие то, что не согласится воспевать даже светский набожный человек. . . Если вы докажете, что не занимаетесь вздорными светскими науками, то мы будем прославлять господа нашего» [29].

Церковные деятели всячески боролись со старым мировоззрением, старались доказать ненужность знаний по античной литературе.

«Церковь, — пишет св. Одоэн, — говорит не с праздными поклонниками философов, а со всем человеческим родом. К чему нам Пифагор, Сократ, Платон и какую пользу принесут христианской семье басни безбожных поэтов, как Гомер, Вергилий, Менандр, истории, которые рассказывает язычникам Саллюстий, Тит Ливий, Геродот?» [30].

Классово-социальный смысл высказанных здесь идей состоит в том, что церковь, отказываясь от античной культуры и образованности, которая в последние годы империи становилась достоянием все более узкого круга лиц из числа господствующего класса, старалась утвердить свою идеологию и авторитет в широких народных массах. Таким образом, ценою известного принижения уровня культуры и образованности все в большей и большей мере достигалось влияние церковной идеологии на широкие массы народа. Вот почему церковь и церковная идеология позднее превращаются в такую огромную идеологическую и политическую силу, которую используют господствующие феодальные классы.

О резком падении латинской образованности в Галлии в VI в. свидетельствует и такой крупный историк Меровингской эпохи, как Григорий Турский. Меровингские короли, военная и даже духовная знать проводили время в междоусобных войнах, грабежах и пирах. Грамотность резко упала, образованные люди становились исключением.

Григорий Турский в «Historia Francorum» дает яркую запоминающуюся картину состояния культурного уровня Галлии того периода: «Так как приходит в упадок или лучше сказать погибает в городах Галлии занятие свободными науками, то среди добрых и злых деяний, там совершавшихся в то время, когда варвары предавались дикости своих нравов, а короли — своему бешенству . . . в то время, когда церкви попеременно то обогащались благочестивыми людьми, то предавались ограблению неверными, нельзя найти ни одного грамматика, искусного в диалектике, который попытался бы описать эти события прозой или стихами. Поэтому многие сетовали, говоря: «Горе нашим дням,

---

[29] Gregorius I, papa, Registrum epistolarum, XI, XIV, Berolini, 1887—1899 (Цит. по кн.: «Средние века», т. I. М., 1941, стр. 166).

[30] Цит. по кн.: «Общая история европейской культуры», под ред. И. М. Гревса, т. VII. СПб., 1913, стр. 417.

ибо исчезло у нас занятие науками, и нет никого, кто бы мог рассказать в своих сочинениях о делах нашего времени» [31].

Но даже в этих условиях всеобщего упадка культуры и образованности VI в. н. э. ее элементы все же проникали в общество. Дело в том, что самые образованные люди того времени, как например Григорий Турский, получали некоторые сведения по античной литературе в семьях, где римские традиции были еще живучи. Григорий нам сообщает, что к восьми годам он выучился читать и писать; из античных авторов он знал Вергилия и Саллюстия, ссылки на которых встречаются в его произведениях; этим ограничивается его классическое образование; по его словам, он бросил грамматику и литературу ради священных книг. Греческого языка Григорий не знает, да и его латинский язык страдает отклонениями и изменениями (с точки зрения классической латыни), свойственными народному латинскому языку VI в. Сам Григорий говорит, что он пишет деревенской латынью; он чувствует, что понимание падежей и родов исчезает. «Невежественный и глупый человек, — говорит он себе, — ты не умеешь различать имен, ты употребляешь мужской род вместо женского и наоборот. Ты плохо ставишь предлоги и путаешь их, ставя acc. вместо abl. и abl. вместо acc.» [32].

В другом месте Григорий просит прощения у читателей за свои ошибки в грамматике, так как «недостаточно в ней обучен»:

. . . de qua adplene non sum imbutus [33].

Отрицание светских наук привело к полному господству церковной идеологии и литературы, которая в то время была представлена многочисленными житиями святых, наставлениями, проповедями, толкованиями на священные книги, религиозными легендами. Вся эта литература ставила перед собой единственную цель, а именно — доказать истинность христианской веры, повлиять в умственном отношении на людей, добиваясь укрепления авторитета церкви. Интересы церкви и религии пронизывают все эти виды христианской литературы. Представители ее ничего не знают, да и знать не хотят сверх «вещей божьих». Даже Григорий Турский, цитируя Вергилия, тут же напоминает, что святой Иероним был жестоко наказан за то, что слишком часто читал хитросплетения Цицерона и лживые бредни Вергилия [34].

«Иероним, священник и после апостола Павла выдающийся учитель церкви, сообщает, что он предстал перед вечным судом господа, где был жестоко наказан за то, что часто читал хитросплетения Цицерона и лживые бредни Вергилия и что здесь он

---

[31] Greg. Tur., Hist. Franc., I, 1, praef.
[32] Greg. Tur., In glor. confes., praef.
[33] Greg. Tur., Hist. Franc., V, VI.
[34] Greg. Tur., Glor. mart., I, praef.

дал обет в присутствии святых ангелов господних в том, что он никогда не будет читать произведения этих авторов и что он будет заниматься только тем, что угодно богу и церкви» [35].

Что же касается варварского общества, то в то время оно еще ничего не могло дать в области образования. Сами меровингские короли, хотя и стремились по мере сил подражать римским императорам, были безграмотны и невежественны. Григорий Турский сообщает, что король Хильперик, желая казаться образованным человеком, сочинял стихи, которые хромали на обе ноги: «Хильперик сочинил две книги стихов, подражая Седулию, но его стихи не могли удержаться на слабых ногах; он в этих стихах, не понимая, ставил краткие слоги вместо долгих, и вместо долгих — краткие. Кроме того, и другие его работы — гимны и мессы — никак нельзя понять» [36].

И в другом месте Григорий упоминает о стихах Хильперика, не подходящих ни к какому размеру: «Тот же король сочинил другие стишки, следуя Седулию: но эти стихи вовсе никак не подходили ни под какой размер» [37].

Более того, Хильперик, желая показать свою ученость, решил провести реформу в алфавите, введя в него четыре новых буквы для обозначения германских звуков. Он разослал приказ о немедленном их употреблении. Но это нововведение Хильперика не имело никакого успеха.

Однако даже и в этот период (VI в. н. э.) гораздо большего упадка культуры и образованности по сравнению с IV—V вв. н. э. можно было встретить, хотя и редко, людей, сохранивших вкус к античной литературе (это свидетельствует о преемственности и живучести идеологических форм общественного сознания). Некоторые из этих людей, находясь в затруднительном положении, вынуждены были заниматься частным воспитанием детей в знатных семьях. Таких воспитателей называли praeceptores. Можно было встретить образованных людей и среди епископов. Григорий называет некоторых епископов, считая их образованными и искусными в риторике. В конце VI в. н. э. Григорий сообщает об епископе Ферреоле, который сочинил несколько книг писем на манер Сидония. Кроме того, он говорит о преемнике епископа Ремия, который, как и сам Ремий, был обучен риторике и в искусстве стихосложения никому не уступал. Как правило, эти люди происходили из знатных галло-римских семей, где, как было сказано, сильны были староримские традиции.

Итак, мы проследили, как с падением Римской империи, с разложением старого рабовладельческого общества и с переходом его к феодализму пришла в упадок римская культура и латинская

---

[35] Hier., Epist. ad Eust., 22, 30.
[36] Greg. Tur., Hist. Franc., VI, 46.
[37] Там же, V, 44.

образованность. На смену ей шла новая (преимущественно церковная) феодальная культура и образованность.

Но это становление вновь нарождающейся феодальной культуры и образованности не означало простого отбрасывания всей античной культуры. Здесь имел место сложный процесс переработки и усвоения некоторых элементов античной культуры, необходимых для становления новой феодальной культуры.

Говоря об этом усвоении некоторых элементов античной культуры, необходимо подчеркнуть, что усваивались, главным образом и прежде всего, его формы, в которые вкладывалось новое содержание, отвечающее потребностям вновь возникшего господствующего класса феодального общества. Но особенно широкое и творческое усвоение наиболее рациональных элементов античной культуры и образованности начинается только в эпоху Возрождения, которая характеризуется зарождением элементов нового, капиталистического способа производства. Деятели Возрождения очень много сделали для распространения забытого, искаженного в средние века античного культурного наследства.

Они в отличие от церковных деятелей раннего средневековья использовали не только стиль, построение, риторические приемы, но и философское, литературное, историческое содержание произведений греческих и римских авторов.

Преемственность наиболее рациональных элементов античной культуры и вновь нарождающихся элементов буржуазной культуры сыграли огромную роль в развитии всей современной, в том числе и социалистической, культуры и цивилизации.

Е. А. Беркова

ВЛИЯНИЕ ШКОЛЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВКУСОВ СИДОНИЯ АПОЛЛИНАРИЯ

Для исследователя литературы и формирования литературных вкусов под влиянием школьного образования галло-римского общества V в. н. э. личность Сидония Аполлинария представляет несомненный интерес. Сама биография Сидония Аполлинария была типичной для той эпохи: начав свою общественную и служебную карьеру с занятий литературой, но не сумев занять должного, по его мнению, положения в государственной жизни империи, Сидоний, будучи уже в зрелом возрасте, стал одним из наиболее известных епископов Галлии и был не только свидетелем важнейших событий своего времени, но и непосредственным участником многих из них.

В V в. в Галлии, так же как и в других римских провинциях, можно было наблюдать появление новой общественной прослойки, пришедшей на смену старым аристократическим родам, почти утратившим к тому времени свое влияние. Это была новая «интеллигенция», чьи вкусы и настроения получили свое яркое отражение в творчестве и миросозерцании Сидония. Огромное значение в создании этой интеллигенции сыграли школы, дававшие своим питомцам соответствующее образование, которое резко отделяло их от остальной мало просвещенной, а часто и совсем необразованной массы.

Ожесточенная борьба язычества с христианством и явный перевес на стороне последнего, как политический, так и идеологический, привели к тому, что античная культура переживала тяжелые времена. Тем не менее в Галлии в V в. н. э. хотя и не существовало никакого официального центра, объединяющего любителей античности, сохранилось еще много ее поклонников среди наиболее образованных слоев общества. Лица, известные своей ученостью или литературными талантами, пользовались большим вниманием и уважением. Об этом можно узнать из письма Сидония к клермонтскому ритору Иоанну: «Современники или потомки наши должны страстно желать увековечить теперь тебя статуями или картинами, как второго Демосфена или второго Цицерона. Питомцы, воспитанные и обученные тобою, сохранят память о далеком прошлом среди столь непобедимого народа.

Ведь когда уничтожены различные ранги, по которым можно было отличить человека высшего сословия от людей низшего, то только одно образование будет признаком благородного происхождения» (письмо VIII, 2).

Создание новой интеллигенции, проникнутой идеями космополитизма, соответствовало интересам политики императоров, стремившихся сгладить национальные различия, выдвигавших на государственные посты и ответственные должности людей, получивших соответствующее образование и воспитание в многочисленных риторских школах. Воспитанники этих школ, образованные галло-римляне, пользовались влиянием и авторитетом не только у римских правителей, но даже у варваров, все шире распространявших свое влияние и власть на территории римской империи. Так, например, бывший нарбоннский профессор, знаменитый юрист Леон был министром при дворе могущественного готского короля Эвриха.

Школы в V в. были чрезвычайно популярны: в них стремились в равной степени и те, кто готовил себя к светской карьере, и будущие церковные деятели. Среди духовенства того времени встречалось много образованных людей, славившихся своими знаниями, которые прошли ту же школьную подготовку, как и их светские сверстники.

Не ставя перед собой задачи дать исчерпывающий анализ жизни и деятельности Сидония или выявить во всей полноте его общественные и политические взгляды, мы хотели бы в этой краткой статье показать, как формировались его научные и литературные вкусы.

На основании рассмотренных писем Сидония и анализа его поэзии можно сделать некоторые выводы об образовании, полученном им и его современниками, с таким увлечением отдававшимися впоследствии литературным занятиям. Преподавание в школах до известной степени сохраняло то же направление, как и во времена Цицерона: школы знакомили учащихся с языческой литературой, древними языками и философией, но объем изучаемых наук значительно уменьшился. Риторическое образование, о котором с таким жаром говорил Сидоний в своем письме к Пробу, вспоминая своего учителя ритора Евсевия (письмо IV, 1), дало ему и его сверстникам весьма поверхностные знания. Знакомство с рядом дисциплин проходило в основном по кратким извлечениям (эксцерптам) по истории, философии, грамматике, риторике, праву и т. д., что не давало учащимся обстоятельного знакомства с изучаемым предметом. Школа с ее риторами и грамматиками не ставила своей целью приучить учащихся к серьезным обобщениям при изучении исторических и литературных фактов, а давала лишь неполные, самые общие знания.

Сидоний в школе познакомился с трудами крупнейших философов древности — с Аристотелем и Платоном, но не проявил

большого интереса ни к тому, ни к другому. Вообще в своих письмах Сидоний часто говорит о различных философах, но он не разбирает их учения, а ограничивается упоминаниями об их внешности или привычках. Так, мы можем встретить у него такие традиционные образы, как смех Демокрита, вечно опущенный взор Спевсиппа, плачущего Гераклита, неопрятного Диогена и т. д.

Философия во времена Сидония понималась уже главным образом как наука о физике, морали и логике. Вопросам морали, по мнению Сидония, должно было уделяться большое внимание при воспитании детей, которых следовало поучать изречениями из классических авторов. Таким образом, подрастающее поколение одновременно училось бы и добродетели, усваивая понятия добра и зла, справедливости, любви к отечеству, и вместе с тем приобретало бы навыки в греческом языке. Что же касается логики, то она сводилась к искусству речи, к диалектике, которая служила в основном для Сидония и его современников орудием, с помощью которого можно было бы опровергнуть рассуждения противника путем хитроумных софистических высказываний. Физика для Сидония не затрагивала вопроса о начале мира и существующих вещей, а сводилась преимущественно к астрономии и астрологии.

Большое значение Сидоний придавал учению Пифагора о гармонии чисел, считая, что арифметика, геометрия, астрология и музыка являются не чем иным, как ответвлением философии. В молодые годы Сидоний, как и многие другие римляне, отдал дань увлечению астрологией, считая ее также наукой, тесно соприкасавшейся с философией. Но в конце жизни, став христианином, он осудил эту лженауку как противную христианскому учению (VIII, 11).

Познания Сидония по философии не были достаточно углубленными, что же касается такой науки как история, то он рассматривал ее в основном, как собрание занимательных рассказов, которыми широко пользовались в риторических школах для поучения воспитанников и укрепления в них высоких моральных качеств. Это были главным образом повествования о добродетельной бедности предков, о храбрости первых римлян и об их любви к отечеству. Именно все эти темы Сидоний широко использовал в своей поэзии, отдавая дань мужеству Муция Сцеволы или восхищаясь скромностью Цинцинната, собственными руками обрабатывающего свое поле. История для Сидония — это прежде всего благодарный материал для его поэм, недаром он изложил в стихах всю историю Рима (песни VII, 55—116, II, 440—478), доведя ее до конца I в. н. э. Касаясь истории более позднего времени, Сидоний обычно ограничивался лишь краткими упоминаниями о событиях. Он противопоставлял таких «достойных» императоров, как Август, или благочестивый Траян, или победитель Веспа-

сиан, «недостойным» правителям вроде Нерона, Калигулы и им подобных (песни VII, 92—95; V, 450—461; I, 317—327; VII, 104—115). По-видимому, Сидоний подобно Квинтилиану (X, 1, 311) считал, что история — это ораторское произведение, сходное по своему назначению с поэзией, предназначенной своим высоким стилем возвышать душу слушателей. Вместе с тем Сидоний любит приводить различные занимательные подробности полумифического характера, вроде того, что, терпя страшный голод, солдаты Митридата пожирали трупы своих товарищей перед битвой у Кизика, или рассказывал об ужасных обстоятельствах смерти Кира (песня IX, 29—30). Сидония живо интересовали анекдоты, помещенные у Светония и Юстина, но о таких крупнейших историках, как Саллюстий, Цезарь или Аммиан Марцеллин, он вспоминает лишь вскользь. Иногда их имена служили лишь поводом для удачной игры слов, как например, упоминание о Таците, где сопоставлялось имя писателя «Тацит» с глаголом «tacere» («молчать»).

Столь же неглубоко знакомство Сидония с географией, так как он рассматривал ее так же, как и большинство его современников, не как науку о каких-то конкретных странах, находящихся в точно установленном месте и на определенном расстоянии от данного лица или объекта, а как перечень рек, гор, областей и городов, чаще всего упоминаемых в произведениях поэтов. Восток в представлении Сидония — это сказочная страна, полная богатств и охватывающая огромное пространство. Воспевая подвиги римлян, Сидоний смело переносит Ганг в Аравию, отождествляет его с Гидаспом, а упоминая об индийцах, смешивает их с жителями Африки — эфиопами. Смутны представления Сидония и о Скифии. Скифы для него (так же, как и для Клавдиана) — это гунны, которых он помещает то на Дунай, то на Дон (Танаис). Даже в отношении Германии, расположенной не так далеко, Сидоний допускает ряд географических неточностей. Образованность для Сидония вполне исчерпывается знанием литературы и языков, поэтому он так высоко и ставил ученого Мамерта Клавдиана, музыканта и геометра, крупного знатока священных книг, кроме того прекрасно знавшего греческую и римскую литературу (письмо IV, 11).

Наибольшее внимание в школах уделялось литературе и языку. Из писем Сидония явствует, что греческая литература изучалась значительно хуже, чем латинская. Хотя Сидоний уверял, что такие видные литераторы своего времени, как Консенций, Леон Нарбоннский, Лампридий, Мамерт Клавдиан и другие, владели греческим языком как прирожденные греки (письма IX, 15; IX, 13; VIII, 11; IV, 11), это заявление вряд ли можно считать вполне достоверным. Сидоний, как известно, не скупился на преувеличенные похвалы своим друзьям, и, если сопоставить его высказывания со свидетельством Авсония в его «Professores»

(8, ст. 15), то можно сделать вывод, что греческий язык в то время хорошо знали очень немногие. Цитат из греческой литературы у Сидония встречается мало, хотя о самых известных греческих авторах он упоминает довольно часто. Он говорит вскользь о Гомере, Гесиоде, Пиндаре, Архилохе, Сапфо и Алкее, характеризуя их всех без исключения лестными эпитетами. Такое же поверхностное знакомство мы видим у него и в отношении знаменитых греческих трагиков — Эсхила, Софокла и Еврипида (письмо IX, 212 и сл.). Что же касается комедиографов, то бросается в глаза полное отсутствие высказываний об Аристофане. Зато Сидоний относительно часто упоминает о Менандре, наиболее знакомом образованной публике по комедиям Теренция, изучаемым в школах.

Говоря мимоходом об ораторах Демосфене, Эсхине и Демаде (письма IV, 3, 6; VIII, 1, 2), Сидоний совершенно не называет имен историков. Мы не найдем у него ни Фукидида, ни Ксенофонта; вероятно, с греческими прозаиками Сидоний имел мало дела и вряд ли глубоко их изучал. Большой любовью пользовалась у Сидония «Жизнь Аполлония Тианского» Филострата (письмо VIII, 3). Вероятно, Сидония привлекала личность самого Аполлония Тианского, так как Сидоний в знак особой похвалы сравнивал с ним своего покровителя Леона Нарбоннского. Что же касается труда Филострата, то, по-видимому, это произведение увлекало Сидония главным образом как роман приключений, так как сама апология язычества, красноречиво излагаемая в этом романе, не должна была бы прельщать христианского епископа.

В школах латинским авторам уделяли намного больше внимания, чем греческим, но тоже далеко не всем. Для усвоения основ латинского языка изучали Невия и Плавта, для знакомства с искусством привлекался Варрон, как основоположник римского красноречия высоко почитался Цицерон и некоторые другие.

Наряду с классиками античной литературы несомненный интерес у образованной публики вызывали авторы более позднего времени. Они привлекали своих последователей условностью поэзии, пластичностью в изображении деталей и ученостью, делающей литературное произведение понятным только для избранных.

У Сидония мы находим довольно частые упоминания о поэтах «золотого века» римской литературы, а из более ранних авторов встречаем многочисленные цитаты из комедий Теренция. Что же касается Цицерона, то Сидоний, далекий по своему стилю от цицероновских требований к литературе, не собирался подражать самому блестящему стилисту древности и скромно заявлял, что столь знаменитый писатель, как Цицерон, является для него недосягаемым идеалом. Влияние Цицерона на Сидония по существу было незначительным и похвалы ему носили риторический

характер. Личные склонности Сидония влекли его к таким авторам, как Фронтон, Авсоний, Апулей, Лукан, Клавдиан и в особенности Стаций. Творчество последнего имело много привлекательных черт для поэтов последних лет империи и в частности для Сидония. Нельзя не заметить большого сходства между восхваляющими Домициана стихотворениями Стация, написанными по различным официальным поводам, и панегириками Сидония, к которым он неоднократно прибегал, чтобы снискать благосклонность правителей. Склонность Стация к версификации, а также тематика его стихов, лишенных как социальных мотивов, так и подлинных глубоких переживаний, находили отзвук в творчестве Сидония. Поэт не скупился на похвалу Стацию, называл его «Papinius meus» (песнь IX, 226) и даже придумал для его похвалы лестный, новый эпитет «vir ille praeiudicatissimus» («муж преосмотрительнейший»). Подражая придворному поэту Стацию, Сидоний снабдил прозаическими предисловиями две свои поэмы — XIV и XXII, а его вступление к панегирику, написанное в честь императора Антемия, сильно напоминает славословия Стация XVII консулату императора Домициана (ср. Сидоний, песнь II, и Стаций, «Сильвы», IV, 1) и т. д. Вместе с частыми реминисценциями из Стация Сидоний перенял у него и множество греческих названий и постоянных упоминаний о греческих и латинских богах и героях, которыми Стаций любил украшать свои стихи. На Сидония помимо Стация заметное влияние оказали Лукан и Клавдиан: у Лукана Сидоний заимствовал ряд географических данных и общих сведений по истории (ср. Лукан, «Фарсалия», X, 131 с письмом Сидония I, 2; или «Фарсалия» V, 322 с письмом Сидония I, 11); от Клавдиана Сидоний перенял его манеру чрезвычайно широко пользоваться мифологическими образами, а также злоупотреблять сложными аллегориями в своих панегириках (ср. Сидоний, песнь II и Клавдиан, песнь I; или: Сидоний, песнь I и Клавдиан, песнь VII). Сидония так же, как и его современников, интересовали такие авторы, которые отличались своей изысканностью и причудливостью. Сидоний в хвалебных выражениях упоминал об авторах, известных в литературе под названием «малых поэтов»: об Арунтии Стелле, современнике и панегиристе императора Тита, или о Лентуле Гетулике, слагавшем вольные эпиграммы в первые века христианства. Грамматик Теренциан Мавр, живший в конце II в. и считавшийся признанным авторитетом по части версификации, также удостоился высшей похвалы Сидония наряду с виднейшими античными писателями.

В формировании литературного вкуса и стиля Сидония Аполлинария, кроме упомянутых выше поэтов, сыграли свою роль прозаики Плиний Младший и Симмах, а также Апулей и Фронтон. Если в своих письмах Сидоний подражал в первую очередь Плинию Младшему и Симмаху, то Фронтон представлял интерес для него и других писателей позднего времени из-за архаического

стиля и бесчисленных словесных трюков и парадоксов. Поиски нового словарного состава, который Фронтон пытался почерпнуть из архаического языка, были созвучны интересам писателей поздней империи. Что же касается Апулея, то полет его фантазии, пышность языка и ритмический стиль его прозы находил самый живой отклик у Сидония, высоко ценившего талант Апулея, который сочетал в себе философа и занимательного рассказчика.

Получая соответствующую подготовку в риторской школе, оказавшую влияние на формирование его писательского таланта, Сидоний, однако, не мог оказаться совсем в стороне и от молодой христианской литературы. Хотя Сидоний никогда не находился в рядах воинствующих деятелей христианства, он безусловно был знаком с христианскими авторами, и творения святых отцов Августина или Иеронима привлекали его внимание с чисто литературной точки зрения, так же, как и речи Василия Кесарийского, Григория Назианзского и Иоанна Златоуста (письмо IV, 3), которых он характеризовал в лестных выражениях. Из христианских писателей Сидоний больше всего тяготел к Оригену, которого он читал в переложении Руфина (письма II, 9; IX, 2), увлекаясь аллегорическим методом, применяемым Оригеном в толковании священных книг (письмо IX, 2). Последний считал, что их следует изучать в трех планах: с точки зрения литературной, затем рассматривать со стороны морали и, наконец, в плане мистическом. Остроумные объяснения аллегориста Оригена были в большой чести у образованных кругов общества, и Сидоний разделял это общее увлечение. В письмах Сидония в последний период его жизни изредка встречаются то ссылки на отдельные книги Ветхого Завета или Псалмы, то упоминания о различных библейских пророках. Новый Завет был представлен преимущественно в виде цитат из Евангелий и посланий апостолов (письма VII, 9; VI, 1; V, 15). В бытность свою епископом Сидоний старался избегать ссылок на светскую литературу. Но привычки и вкусы часто брали верх над благочестивыми намерениями, и Сидоний тогда прибегал к хорошо знакомым для него мифологическим сравнениям и цитатам из языческих авторов, забывая о своем священном сане.

Литература позднего времени отличалась искусственным характером не только в отношении стиля, но и словарного состава. Склонность к редким и замысловатым словам, многочисленным неологизмам и архаизмам, идущая еще от Фронтона, — создавала особый язык, манерный и претенциозный, но вызывавший восхищение любителей искусственной литературы и необходимый для блестящей светской беседы. То, что приукрашенный стиль высоко ценился, можно видеть из переписки Сидония, где он восторгался письмами своего друга Лампридия и называл их «полными нектара, цветов и драгоценных камней» (письмо VIII, 9). А говоря о письмах Руриция, Сидоний затруднялся

определить, чего в них больше: «остроумия или меда» (письмо IV, 16), характеризуя их как «нектарные», «медовые» и «сладкие на вкус».

Условность и манерность в литературных произведениях являлась до известной степени реакцией против вульгаризации языка и литературы в связи с внедрением в римскую империю многочисленных варварских племен. В аполитичном обществе Галлии V в., весьма скептически относившемся к варварам-завоевателям, литература приобретала большое значение. В лице Сидония Аполлинария мы видим новый тип писателя, характерного для своего времени по воспитанию, образованию и общей культуре. Литература для него, как и для многих его современников, давала возможность проложить широкую дорогу к достижению успехов в обществе и созданию карьеры. Пышно расцветший в это время новый поэтический жанр панегириков весьма способствовал этому, и Сидоний своими стихами сумел добиться признания своего таланта и высокого положения сначала у римских правителей, а позже снискал благосклонность даже у готского короля Эвриха, написав в честь его панегирик. Вполне закономерным явлением стало то, что в литературе начали ценить не глубокое содержание, а легкость стиха, изящество формы и искусное применение разнообразных стихотворных размеров. Что же касается жанра художественной эпистолографии, также нашедшего свое яркое выражение в письмах Сидония Аполлинария, то он в еще более явной степени носил на себе печать глубоко усвоенной и искусно примененной риторической науки, полученной в свое время в школе. Сидоний Аполлинарий, следуя классическим образцам, достигал в некоторых случаях высокого мастерства в отношении формы, но литература приобрела у него черты искусственности и условности, утратив простоту и непосредственность, столь привлекательную в художественной литературе более раннего периода.

С. И. Радциг

О НЕКОТОРЫХ АНТИЧНЫХ МОТИВАХ В ПОЭЗИИ А. С. ПУШКИНА

Гениальность великого художника проявляется не только в том, что он создает новые сюжеты, живые образы, оригинальные мотивы, но и в том, как он перерабатывает чужие влияния и художественное наследие прежних времен, как он пользуется тем и другим для своих целей. Если поэт чутко воспринимает впечатления окружающей действительности, то не меньшее значение имеют также и образы, взятые из литературной традиции, и знания, накопленные научной работой, так как все это создает необходимый арсенал творческих средств, с помощью которых писатель получает возможность ярче воспроизводить волнующие его чувства. Изучение этой стороны художественного творчества помогает нам уяснить его умственный кругозор и идейный багаж, дает возможность заглянуть в творческую лабораторию.

Это положение в полной мере приложимо и к творчеству А. С. Пушкина и, в частности, к вопросу об использовании им богатого наследия античной культуры. Нередко оно служит ему аллегорией настоящего. Именами Августа и Тиберия в переписке с друзьями он называет Александра I. Сеян служит ему иносказанием вместо Аракчеева. Вспоминая в «Цыганах» ссыльного Овидия, он имеет в виду собственную судьбу. В стихотворении «К Овидию» (1821), которое он сам высоко ценил (ср. письмо к брату от 30/I 1823 г.), он говорил применительно к самому себе:

Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял.

А далее он еще более ясно подтверждает эту мысль:

Не славой, участью я равен был тебе.

Все стихотворение приобретало уже прямо политический смысл [1].

Под видом переводов с латинского в стихотворениях «Лицинию» (1815) и «На выздоровление Лукулла» (1835) он клеймит

---

[1] Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина. — «Временник пушкинской комиссии», № 6. М.—Л., 1941, стр. 142.

нравы своего времени, в последнем случае дает сатиру на С. С. Уварова. В «Вакхической песне» (1825) он проводит глубокую просветительную идею: «Да здравствует солнце, да скроется тьма». Показательно и стихотворение «Арион» (1827), в котором Пушкин, исходя из античного сказания о чудесном спасении греческого поэта, «разрушает традиционную фабулу и на ее элементах создает совершенно новый образ», высказывает свое отношение к декабристам. «Этот своеобразный сплав античной и современной манеры, поэтического выражения, — пишет исследователь творчества Пушкина, — и обусловливает огромную впечатляющую силу пушкинского Ариона» [2]. С другой стороны, в описании петербургского наводнения в «Медном всаднике» Пушкин пользуется некоторыми мотивами из Горация («Оды», I, 2) и из Овидия («Метаморфозы», I, 281—312) [3]. Однако в прямую противоположность этим поэтам, про себя он говорит («Из письма к Гнедичу», 1821 г.):

Октавию [4] в слепой надежде
Молебнов лести не пою.

В распоряжении поэта оказывается целый арсенал традиционных образов и форм, заимствованных из античной литературы: Аполлон и музы, лира, алтарь, треножник, жертвоприношение и т. п.[5]

Хотя об отношении Пушкина к античности написано немало специальных исследований (С. И. Любомудров, А. И. Малеин, М. М. Покровский, П. Н. Черняев, Д. П. Якубович, Н. Ф. Дератани и др.), все-таки многое остается еще не выясненным и частью даже вовсе не затронутым. Это и дает нам основание остановиться на некоторых вопросах такого рода. Сюда мы относим вопросы: 1) о пророческой миссии поэта, 2) об античных реминисценциях в стихотворении «Памятник», 3) об откликах греческой «анакреонтической» поэзии, 4) об источнике мотива: «истину надо искать на дне колодца».

* * *

Уже в 1826 г., в период реакции после подавления восстания декабристов, Пушкин в гневном протесте против гнусной действительности провозгласил свой идеал поэта-пророка, получающего назначение свыше: «обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».

---

[2] Г. С. Глебов. «Об Арионе». — Там же, стр. 294—305; Н. Л. Бродский. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937, стр. 480.

[3] Л. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. — «Временник пушкинской комиссии», № 4/5. М.—Л., 1939, стр. 102.

[4] Т. е. Александру I.

[5] Н. Л. Бродский. Указ. соч., стр. 81, 87, 210, 546.

О смысле этого стихотворения высказывались различные мнения [6]. Некоторые полагали, что этот образ заимствован из Библии («Исаия», 6) или даже из Корана, которым интересовался поэт, как видно из его «Подражаний Корану» (1824) [7]. Библейский образ повторяется у него в стихотворении 1832 г., обращенном к Н. И. Гнедичу: «С Гомером долго ты беседовал один. . .», где в начальной части Гнедич уподобляется библейскому Моисею, беседовавшему на горе Синае с самим богом. С этим сходится и мысль в заключительной строфе «Памятника»: «Веленью божьему, о муза, будь послушна» [8]. Интересно, что еще А. И. Герцен указывал на римское происхождение образа поэта как пророка. В «Былом и думах» (ч. IV, гл. 25) он писал: «Поэты в самом деле, по римскому выражению «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, что неизвестно, что есть в в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем» [9]. Нам представляется, что Пушкин совместил в своем произведении все эти три струи, но объединил их так, что в общем выразил свои личные чувства и переживания, особенно под впечатлением казни декабристов в июле 1826 г.[10]

Еще ранее такие образы неоднократно применялись Г. Р. Державиным — например, в стихотворении «Каллиопа» и др. С этим связывается и мотив бессмертия поэта. В стихотворении «Эхо» он писал: «Ввек бессмертно эхо лир». В стихотворении «На смерть графини Румянцевой» он провозглашает: «Я пиит — и не умру». Сравним также его стихотворения «Памятник», «Лебедь», «Похвала сельской жизни» и др., написанные явно в подражание Горацию. Тема пророка развита позднее Лермонтовым. Она нашла яркое выражение в романтической поэзии, например у В. Гюго, который называет поэта prophète, le rêveur sacré [11]. Уподобление поэта пророку восходят еще к Пиндару, который поэзию считает «мудростью» — σοφία, а поэта пророком — προφάτας. Но Пушкину ближе была римская литература, с которой он был основательно

---

[6] Н. В. Фридман. Образ поэта-пророка в лирике Пушкина — «Уч. зап. МГУ. Труды кафедры русской литературы», II, 1946, стр. 84; ср.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 344—346; В. Я. Брюсов. Мой Пушкин. М.—Л., 1929, стр. 279—297.

[7] П. Н. Черняев. Пророк Пушкина в связи с его же подражаниями Корану. М., 1898 (отд. оттиск из журн. «Русское обозрение»). Обзор литературы см.: в ст. Н. О. Лернера в издании сочинений Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. IV, стр. I—X, и в кн.: Н. В. Фридман. Указ. соч., стр. 83—107.

[8] Н. В. Фридман. Указ. соч., стр. 106.

[9] А. И. Герцен. Собр. соч., т. IX, М., 1956, стр. 37.

[10] Первым указал на это А. Мицкевич. См. в воспоминаниях П. А. Вяземского (Соч., т. VII. Спб., 1882, стр. 326).

[11] А. А. Шахов. Очерки литературного движения в первую половину XIX века. СПб., 1907, стр. 134. О знакомстве Пушкина с произведениями Гюго см.: Н. О. Лернер. Пушкинологические этюды. — В сб. «Звенья», № 5. М.—Л., 1935, стр. 134—136; Н. Л. Бродский. Указ. соч., стр. 705.

знаком с лицейской поры. У римских поэтов ходячим было выражение в этом смысле vates — «пророк» (ср. например, у Горация «Оды» — I, 1, 36; II, 6, 24; III, 19, 15; IV, 3, 15; 6, 44; 8, 27; 9, 28; «Эподы», 16, 66; 17, 44: «Послания» I, 7, 11; II, 1, 119; 1, 133; II, 2, 80; 94; 102; 217; 249; «К Писонам», 24; 400). Поэт представляет себя пророком и жрецом Аполлона и муз («Оды», I, 31, 2; III, 1, 3). Мифического поэта Орфея Вергилий называет пророком («Энеида», VI, 645), а за ним и Овидий («Метаморфозы», X, 12; XI, 2). Тибулл говорит о себе как о поэте (II, 5, 1):

Phoebe, fave: novus ingreditur tua templa sacerdos

Подобным же образом называет себя и Овидий («Песни любви», III, 8, 23):

Ille ego, Musarum purus Phoebique sacerdos. . .

(Ср. «Метаморфозы,» XV, 155, 282, 622, 867, 879.)

Нетрудно в таких выражениях узнать источник пушкинских образов в стихотворении «Поэт»: «Пока не требует поэта *к священной жертве Аполлон. . .*» (1827) и в стихотворении «Поэту» (1830):

Так пускай толпа его бранит,
И плюет на *алтарь*, где твой огонь горит.
И в детской резвости колеблет твой *треножник*.

Сравним такой же мотив в стихотворении «Поэт и толпа» (1828 г.), направленном против ханжеской морали:

Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?

Ряд понятий, чуждых современной действительности, прямо указывает на их античное происхождение.

Уже со времен Гомера песня считается даром муз и Аполлона («Одиссея», VIII, 488). Поэтическое вдохновение ниспосылается самими богами. Этим объясняется традиционное обращение к музе в начале поэм. Пиндар в начале своей замечательной I Пифийской оды прославляет чарующую силу песни, которая покоряет сердца не только людей, но и богов. А Феогнид сулит бессмертие даже тем людям, которых прославляет поэт:

Песнь о тебе будет жить и у нас, и у всех, кому милы
Песни, доколе земля с солнцем на месте стоит.

(251—252)

Из Греции эта мысль перешла и в римскую литературу. Уже у одного из поэтов ранней поры — у Квинта Энния мы находим стихи, в которых он отклоняет мысль о получении по смерти погре-

бальных почестей — «Почему»? — Потому, что я живым буду порхать на устах людей». Эта мысль почти буквально повторена в стихах Горация («Оды», II, 20, 21—24);

Absint inani funere naeniae,
luctusque turpis et querimoniae:
compesce clamorem et sepulcri
mitte supervacuos honores.

«Не надо причитаний, жалких воплей и жалоб на пустых (т. е. мнимых) похоронах; сдерживай крик и оставь ненужные погребальные почести». Такие обычаи ему кажутся ненужными, так как он, поэт, не умрет.

Теоретическое обоснование своей мысли Гораций дает в «Науке поэзии». Ссылаясь на миф об Амфионе, который звуками своего голоса и лиры приводил в движение даже камни и таким способом сложил стены Фив, и на другие подобные же мифы, Гораций показывает действенное значение поэзии, равное пророческому служению. Свою мысль он заканчивает следующими словами («К Писонам», 400 сл.):

Sic honor et nomen divinis vatibus atque
carminibus venit.

«Так и приходит почетное звание к божественным пророкам и их песням».

Из сказанного видно, что идея пророческого служения поэта в нашей литературе навеяна произведениями античной поэзии. Пушкин обогатил ее библейскими чертами и придал ей глубокое общественное значение, применив к живым запросам своего времени. Эта сторона станет еще более понятной, если припомним набросок Пушкина от 1828 г.:

Толпа холодная поэта окружала
И равнодушные хвалы ему жужжала,
Но равнодушно ей, задумчив, он внимал
И звучной лирою рассеянно бряцал.

В этих стихах нетрудно узнать первоначальный набросок известного стихотворения «Поэт и толпа». Оно подвергалось жестоким нападкам со стороны Д. Н. Писарева. Теперь выяснена его глубокая подлинная сущность [12]. Оно откликается на жгучие споры и обвинения злобных ханжей и невежд. Поэт именует себя «небес избранником», «божественным посланником», не хочет иметь дела с тупой «чернью», с «бессмысленным народом». Защищая свободу поэтического творчества, он восклицает: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас?» Кого разумеет он, отгораживаясь

[12] В. Я. Кирпотин. Александр Сергеевич Пушкин. М., 1937, стр. 76—82.

так от людей? Несколько ранее, в 1827 г., он обращался к З. А. Волконской со стихами, где так говорится о ее интересе к литературе:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.

Можем представить себе, что чувствует поэт, когда к нему на великосветском балу, «при толках виста и бостона» у той же княгини З. А. Волконской гости — эта «знатная чернь» — обращаются с небрежными вопросами о литературе. В такой обстановке приобретает особый смысл его ответ: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас?» Сюда принадлежит и его объяснение: «В другой раз не станут просить» [13]. Дополнением может служить отрывок из «Египетских ночей» (1820), где от лица Чарского Пушкин явно передает собственные впечатления: «Публика смотрит на него» (поэта. — *С. Р.*) как на свою собственность, по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы чего-нибудь новенького?» и т. д. А далее ставится и интересующая его тема: «Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением». Еще ранее, в 1819 г., свое удаление из города, от «общества» он объяснял (в стихотворении «Деревня») желанием «роптанью не внимать толпы непросвещенной. . .»

«Выдвинутые в «Пророке» мысли об активной, действенной роли поэзии, — замечает один из новейших исследователей, — сохранили для Пушкина свою силу, несмотря на то, что плоский эстетический утилитаризм «черни» подчас заставлял его резко выступить против примитивно понятой «пользы», которую желала извлечь из литературы «толпа», вполне удовлетворенная тусклой реальностью последекабрьской поры» [14].

Стихотворение «Поэт и толпа», содержащее ряд античных мотивов, имеет латинский эпиграф: «Procul este, profani», взятый из «Энеиды» Вергилия (VI, 258); по смыслу же оно весьма близко к стихам Горация:

Odi profanum vulgus et arceo.
Favete linguis: carmina non prius
audita musarum sacerdos
virginibus puerisque canto.

«Я ненавижу чернь непосвященную и сторонюсь ее. Благоговейте! [15] Я, жрец муз, пою девам и юношам песни, неслыханные прежде»

[13] Н. Л. Бродский. Указ. соч., стр. 540—552, ср. 705 и 831.
[14] Н. В. Фридман. Указ. соч., стр. 104.
[15] Ср. Вергилий, «Энеида», V, 71; Овидий, «Фасты», I, 71; Тибулл, II 2, 2; Сенека, «О счастливой жизни», 27; Стаций, «Леса», III, 3, 13.

(«Оды», III, 1) В этих словах есть религиозно-культовая формула, которой, как отмечает Цицерон («О гадании», I, 102), перед началом богослужебного обряда жрец призывал присутствующих воздержаться от всяких не подобающих серьезности момента речей, споров и брани. Она означала призыв к благоговейному молчанию. Эту формулу и имеет в виду Гораций, когда возвещает о намерении дать читателям или слушателям ряд песен нового, «еще неслыханного» характера. Позднее Петроний в своем романе ссылается на эти слова Горация, выражая этим желание избегать какой-либо «пошлости» выражений: «Effugiendum est ab omni verborum, ut ita dicam, vilitate» («Сатирикон», 118).

Цитированное стихотворение Горация так близко по содержанию к стихам Пушкина, что не оставляет сомнения в источнике последних. А собственные слова Пушкина об А. А. Дельвиге, что тот «Горация изучил под руководством профессора Кошанского», вполне приложимы к нему самому. Из Горация он перевел стихотворение «К Помпею Вару» («Оды», II, 7) и начало оды «К Меценату» (I, 1), а отдельные реминисценции рассеяны повсюду.

Сравнение с Пушкиным может уяснить нам и точку зрения Горация. Под словом vulgus Гораций разумел, конечно, не простой народ: ведь сам он был невысокого общественного положения — внук вольноотпущенника. Следовательно, он клеймит тех людей из высшего общества, которые не могли понять и оценить его поэзии и от которых он старался отмежеваться. Так, в оде «К Меценату» (I, 1) он характеризует разные увлечения своих современников — это слава победителей на состязаниях, честолюбие политических деятелей, богатство и страсть к наживе, веселое препровождение времени или безделье, наконец, война или охота. В противоположность этому он ставит свои поэтические занятия: «Меня — рассуждает он, — на один уровень с богами ставят венки из плюща — награда ученых голов (т. е. поэтов. — *С. Р.*); меня отделяет от народа (т. е. толпы. — *С. Р.*) прохладная роща и легкие хороводы нимф с сатирами, если только Эвтерпа (муза. — *С. Р.*) не отказывает в флейтах и Полигимния (другая муза. — *С. Р.*) не избегает натягивать струны лесбийского барбита (разновидность лиры. — *С. Р.*). Поэтому, если ты (Меценат. — *С. Р.*) сопричисляешь меня к лирическим пророкам (поэтам. — *С. Р.*), я достигну звезд высоко поднятой головой» (I, 129—36). Близкая к этому мысль выражена в другом стихотворении: «На кого ты, Мельпомена, благостным оком взглянешь при рождении, того не прославит подвиг кулачного бойца на Истмийских играх» и т. д. («Оды», IV, 3), «Мне нелживая Парка (богиня судьбы. — *С. Р.*), — говорит Гораций в другой оде (II, 16, 37—40), — дала небольшой участок земли, нежный дух греческой Камены (музы. — *С. Р.*) и право презирать злобную чернь».

Эти слова придется вспомнить нам, когда обратимся к юношескому стихотворению Пушкина «Городок» (1815), где в духе Дер-

жавина и Горация автор заявляет: «Бессмертен ввек пиит». А далее читаем:

Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью.

Этот мотив мы встречаем еще в первоначальном наброске к 2-й главе «Евгения Онегина»:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, о друзья:
Воздвигнул памятник и я!

Любопытно, что Пушкин сначала написал тут в последнем стихе: «Exegi monumentum» — те самые слова Горация, которые позднее поэт поставил в качестве эпиграфа к стихотворению «Памятник». Это и подводит нас прямо к его первоисточнику. Уже до Пушкина переводом или переложением стихотворения Горация занимались М. В. Ломоносов, В. В. Капнист и Г. Р. Державин, причем допускали отступления от подлинника, заостряя внимание на оттенках, особенно интересных для современников.

Сличая оба «Памятника» Пушкина и Горация, мы убеждаемся что наш поэт не перевел свой оригинал, а переработал и притом весьма свободно. Он отбросил автобиографические подробности из жизни самого Горация — о низком его происхождении, о месте его рождения (берег бурной речки Авфид, где, по сказаниям, когда-то правил древний царь Давн); откинул образ римской богини погребения Либитины, власти которой избегнет поэт в силу своего бессмертия и т. д. Словом, устранено все то, что могло казаться непонятным русскому читателю, а вместо этого внесены новые образы. Если Гораций продолжительность своего посмертного существования определяет сохранением культа Весты: «Доколе на Капитолий с безмолвной девой (весталкой. — *С. Р.*) будет восходить верховный жрец», — то Пушкин вводит другой образ: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». А известность поэта, по его убеждению, будет длиться, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Нашли отклик у Пушкина и некоторые внешние черты современности. Свою славу он сопоставляет не с высотой пирамид, как Гораций, а с Александрийским столпом, который незадолго перед тем был воздвигнут и который на все лады льстиво прославляли раболепные писаки. Но главное внимание Пушкин сосредоточил на раскрытии своего собственного понимания задач поэта. Это — знаменитые стихи, которые воспроизведены на его памятнике в Москве:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Для Пушкина в 1836 г., когда он писал это стихотворение, характерна в высшей степени мысль об общественном служении поэта и о его всенародном значении. Поэтому он и высказывает уверенность, что к его памятнику «не зарастет народная тропа». Он далек, таким образом, от представления о «чистом искусстве», свободном, как думали некоторые, от «житейского волненья» (ср. «Поэт и толпа»). Он готов принимать деятельное участие в общественной жизни и, как подлинный «мудрец», он будет стоять выше всех мелких страстей, полный сознания своей высокой миссии — «обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно. . .» Идеал мудреца, намеченный тут, вполне отвечает представлениям школы стоиков, нашедшим выражение в сочинениях Сенеки, а отчасти у Цицерона и в поздних произведениях Горация.

По сравнению с «Памятником» Горация у Пушкина новой чертой является перечисление народов, которые будут называть впоследствии имя поэта. Это перечень народов, входивших в состав царской России:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык —
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей — калмык.

У Горация называется лишь небольшой уголок в окрестностях его родины — Венусии, и таким образом пределы его известности представляются тут весьма ограниченными. Однако этот мотив получает у Горация еще более широкое значение в другом стихотворении — «К Меценату» (II, 20). Поэт и тут повторяет мысль об ожидающем его бессмертии. Он пользуется для своей цели древним греческим культовым представлением, имеющим тотемическую основу, — о лебеде, священной птице Аполлона, которая будто бы перед смертью поет чудную «лебединую» песню [16]. Гораций и говорит про себя, будто вместо смерти он превратится в эту птицу и облетит весь мир: «Вот уже, пролетая с бо́льшей безопасностью, чем Дедалов Икар [17], я звонкоголосой птицей навещу берега стонущего Боспора, гетульские Сирты и гиперборейские поля. Меня узнает и колхидянин, и дакиец, скрывающий страх перед когортой марсов, и гелоны, живущие на краю света; узнает просвещенный иберец, и тот, кто пьет воду Родана» (II,

[16] Об этом мифе см.: Эсхил, «Агамемнон», 1444; Еврипид, «Геракл», 110; подробнее: Платон, «Федон», 35; Цицерон, «Тускуланские беседы», I, 73.

[17] Принимаем чтение tutior. Рукописное ocior не годится в метрическом отношении. Конъектура notior при всей близости к рукописному чтению не подходит по смыслу, так как напоминает о падении Икара.

20, 13—20) [18]. Этим конкретным перечислением обозначаются народы почти всего света, известного во времена Горация. Данное стихотворение было переложено Г. Р. Державиным под названием «Лебедь» и В. В. Капнистом с заголовком «Пиит-Лебедь», а впоследствии А. А. Блоком опять под названием «Лебедь». Хорошо показал значение этого стихотворения Д. Д. Благой: «В замечательном стихотворении «Лебедь» Державин гордо рисует картину своей посмертной славы среди многочисленных населяющих Россию народов в чертах, прямо ведущих нас к тому же пушкинскому «Памятнику» [19].

Пушкин прекрасно знал и любил Горация. Поэтому едва ли можно себе представить, чтобы он не обратил внимания на это стихотворение, тем более что оно неоднократно привлекало внимание предшественников — Ломоносова, Державина и Капниста. Выделяя эти черты, унаследованные от предшественников, мы тем самым получаем возможность лучшего понимания мыслей нашего поэта: он хочет служить народу, быть поэтом народным, так чтобы к его памятнику «не заросла народная тропа», он хочет пробуждать в народе чувства добрые, прославлять свободу и призывать милость к падшим. Таким образом, само это пользование старой традицией служит средством для провозглашения новых благородных идей.

* * *

Другой ряд античных реминисценций связан с мотивом желания быть близким со своей красавицей. Сюда принадлежит, например, тема восхищения дамской ножкой, ножкой балерины, «ножкой Терпсихоры» (музы танцевального искусства). Фантазия неожиданно переносит поэта на берег моря. Свою мысль он так представляет в 33 строфе первой главы «Евгения Онегина»:

Я помню море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами.

---

[18] Сирты Большой и Малый — два залива у северного берега Африки. Гетулы — африканский народ у края Сахары. Гиперборейцы — сказочный народ, живший, по предположению древних (Геродот, IV, 13, 33 сл.; Плиний, «Естественная история», IV, 12, 89), на крайнем севере. Марсы — особенно воинственное племя в Италии; здесь они названы как наиболее грозная сила римского войска. Гелоны — народ, живший частью в Скифии на Днепре (Геродот, IV, 108), частью на Дунае (Вергилий, «Георгики», III, 461). Иберцы — народ в Испании на реке Эбро, уже приобщившийся к римской культуре. Родан — современная Рона; имеются в виду жившие тут галлы.

[19] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII в. Изд. 4. М., 1960, стр. 433; ср. его же статью в «Истории русской литературы», т. IV, ч. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 419 сл.

Совершенно аналогичный случай находим в юношеском стихотворении 1814 г., озаглавленном «Красавице, которая нюхала табак»:

Ах! если, превращенный в прах
И в табакерке, в заточенье
Я в персты нежные твои попасться мог,
Тогда б в сердечном восхищеньи
Рассыпался на грудь под шелковый платок. . .

Стихотворение (так называемый мадригал) заканчивается сожалением:

Ах! отчего я не табак!

В обращении к артистке Нимфодоре Семеновой Пушкин выражает желание быть ее покровом или даже собачкой и т. д. В «Исторической поэтике» А. Н. Веселовского собрано немало аналогичных примеров из мировой поэзии, в том числе и из античной — из Феокрита, Катулла, Овидия и др., а в позднейшей — из Гейне и Мицкевича [20].

Д. И. Писарев, критикуя и даже высмеивая кажущуюся оторванность поэзии Пушкина от жизни и в то же время желая показать ее неоригинальность, ссылался на распространенную в 60-х годах песенку:

Вдруг я вижу, чья-то ножка
Оперлася на бревно.
Я влюблен был в эту ножку,
Но вам это все равно. . .
И сказал я чрез окошко:
Ах! зачем я не бревно? [21]

Припомним этот же мотив в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама», где Томский поет арию (на слова стихотворения Г. Р. Державина): «Если б милые девицы все могли летать, как птицы. . . я желал бы стать сучочком» и т. д.

А источник этого, получившего такое распространение мотива мы найдем в греческой литературе среди так называемой «анакреонтической поэзии», № 22. Вот это стихотворение и возможно в точном переводе: «Дочь Тантала (Ниоба. — *С. Р.*) некогда превратилась в камень на холмах Фригии. Дочь Пандиона (Прокна. — *С. Р.*) некогда стала летать птицей — ласточкой. Мне же хотелось бы стать зеркалом, чтобы ты всегда в меня смотрелась. Стать бы мне хитоном, чтобы ты всегда меня носила! Хочу я превратиться в воду, чтобы омывать твое тело. Как бы мне, женщина, стать маслом, чтобы умащать тебя! Как бы мне стать лентой у тебя

---

[20] А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Л., 1940, стр. 365.
[21] Д. И. Писарев. Сочинения в 4-х томах М., 1956, стр. 311, 319 и 548.

на груди, перлом на шее или сандалией — одного меня попирай своей ножкой!»

Мотив этот повторяется в двустишии неизвестного поэта эпохи эллинизма, сохраненном в схолиях к Диону Хрисостому:

О, почему я не алая роза? Меня бы ты ручкой
На белоснежную грудь для украшенья взяла [22].

Приведем еще типичный пример из поздней эпохи — из известного романа Лонга «Дафнис и Хлоя», где этот мотив повторяется несколько раз. Хлоя, влюбленная в пастуха Дафниса, мечтает: «Если бы мне и сделаться свирелью, чтобы он в меня дул! Если бы стать мне козою, чтобы он меня пас!» (I, 14) Точно так же и виноградари желали бы превратиться в овец, чтобы Хлоя их пасла (II, 2). Наконец, гнусный парасит (прихлебатель) Гнафон, прельщенный красотой Дафниса, готов превратиться в козу и питаться травой и листьями, чтобы только слушать его и иметь его своим пастухом (IV, 16).

Из приведенных примеров видно, что подобная форма желания превратиться в какой-нибудь предмет, соприкасающийся с милым человеком, является формулой для выражения своей страсти и имеет корни в народном творчестве. Пушкин не останавливается, чтобы подробнее развить эту тему, вводит ее мимоходом, предполагая ее достаточно понятной. А это есть ясное свидетельство, что он брал ее как вполне готовую форму, известного рода поэтический трафарет.

Интерес Пушкина к анакреонтической поэзии, в которой в его время еще не отличали подлинного Анакреонта от его подражателей разных эпох, объединяемых под общим названием «анакреонтической поэзии», с несомненностью виден из ряда подражаний, почти переводов, как «Поредели, побелели кудри, честь главы моей. . .», «Кобылица молодая, честь кавказского тавра. . .», «Узнают коней ретивых по их выжженным таврам. . .», «Что же сухо в чаше дно?» — и в лицейских стихотворениях «Гроб Анакреона» (1815), в котором оригинальные стихи перемешиваются с подлинными древними анакреонтическими, и «Фиал Анакреона» (1816). Примем во внимание, что уже до Пушкина этой поэзией занимались многие писатели — А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, полный перевод их был издан Н. А. Львовым в 1794 и 1798 гг. (параллельно с греческим текстом), а затем в 1801 и 1829 гг. был выпущен прозаический перевод И. И. Мартынова.

Таким образом, источник данных мотивов у Пушкина не может уже оставлять сомнения.

---

[22] E. Diehl. Anthologia lyrica Graeca, v. II. Lipsiae, 1925, стр. 188.

* * *

К лицейской поре, именно к 1816 г. относится стихотворение под заголовком «Истина», не печатавшееся при жизни поэта. Приводим из него интересующие нас стихи:

Издавна мудрые искали
Забытых истины следов
И долго, долго толковали
Давнишни толки стариков,
Твердили: «Истина нагая
В колодезь убралась тайком»,
И, дружно воду выпивая,
Кричали: «Здесь ее найдем».

Заканчивается это стихотворение комическим контрастом: кто-то

Подумал первый о вине
И, осушив до капли чашу,
Увидел истину на дне.

Поэт — уже от себя — высказывает комическое предположение, что подумавший о вине был «чуть ли не старик Силен». Вводя это имя, Пушкин скорее всего имел в виду образ вечно пьяного воспитателя Вакха — Силена, каким он представлен, например, в «Метаморфозах» Овидия (XI, 90—99).

Сходную мысль находим в стихотворении «Послание Лиде» (1816). Это шутливое стихотворение ярко свидетельствует о знакомстве, хотя, может быть, и беглом с главными течениями древнегреческой философии — с гедонистической философией Аристиппа, с «химерами» Платона (ср. у В. И. Ленина — «архивздорная мистика идей»), с стоической философией Зенона, Катона Младшего, Эпиктета (который назван «скучным рабом Эпафродита»), а также Сенеки и Цицерона; приводится и известный рассказ о кинике Диогене из Синопы, который будто бы странствовал по свету в поисках мудрости с фонарем (ср. Диоген Лаэртский, VI, 2, 41); упоминание же Платона, что Сократ учился красноречию у Аспасии («Менексен», 3, 235 E; 22, 249 C), перетолковывается в эротическом смысле. Есть намек на романические отношения Гликеры и Менандра, известные по вымышленной переписке их в сборнике Алкифрона («Письма», II, 3—4, ср. I, 29). Стихотворение заканчивается замечанием о кинике Диогене, который, по рассказу, увидав мальчика, черпавшего рукой воду для питья из источника, убедился, что можно обходиться без чаши, и забросил ее:

И, воду, черпая рукою,
Не мог зачерпнуть счастья он.

Здесь на место истины поставлено счастье, которое тоже оказывается в глубине какого-то водохранилища. Наконец, еще вариант этой мысли имеется в одном из лицейских стихотворений, входящих в цикл «Фавн и Пастушка» (VI, «Фиал»): «Так забвенье в кувши́не почерпа́й».

Источником последних стихов «Истины», очевидно, является новолатинское выражение in vino veritas, которое в начале XX в. было повторено А. А. Блоком в стихотворении «Незнакомка». Гораздо труднее вопрос об источнике начальной части рассматриваемого стихотворения «Истина». Сам поэт как будто указывает на античный источник: «Издавна мудрые искали. . .» До сих пор исследователям не удавалось установить, чью именно мысль имеет тут в виду Пушкин.

Мы в настоящей статье и берем на себя задачу по мере возможности выяснить этот источник.

Выражение Пушкина «истина нагая» находит полное соответствие в словах Горация nuda veritas в оде «На смерть Квинтилия Вара», обращенной к Вергилию (I, 24, 7). Оплакивая покойного, поэт спрашивает: «Когда же Стыд и сестра Справедливости, нагая Истина, найдут кого-нибудь равного ему?»

. . . cui Pudor et Iustitiae soror.
incorrupta Fides nudaque Veritas
quando ullum inveniet parem?

Вопросу о сущности и происхождении понятия «истины» посвящает внимание вся античная философия с древнейших времен, но разные школы разрешают его по-разному, и в результате у некоторых рождается мысль о безнадежности и, следовательно, даже какой-то бесплодности занятия этим вопросом. Таким духом веет от известного ответа Пилата на слова Христа, который сказал, что пришел свидетельствовать об истине. Пилат на это скептически спрашивает: «А что такое есть истина?» (Иоанн, 18, 38).

Уже в конце VI в. до н. э. Ксенофан, первый представитель элейской школы, приходил к выводу, что человеку не дано познать истину и что для него возможно лишь мнение (фр. 34). Его точку зрения развил далее его последователь Парменид. Последний различал в философии два направления: одно по пути истины, другое по пути мнения (Диоген Лаэртский, IX, 2, 22). Одно имеет в виду подлинное сущее, другое — лишь становление (фр. I; 8). Сознание слабости, несовершенства и обманчивости внешних чувств, которыми познается окружающий мир, приводит к пессимистическому заключению о невозможности познания истины. На этот путь, кроме элейцев, стали Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, софисты, Сократ и многие другие.

Вот как резюмирует эти учения Цицерон: «Как мы знаем, Аркесилай (глава Академической школы среднего периода. — . *Р*.) завел весь спор с Зеноном (представителем школы стоиков. —

С. Р.) не из-за упрямства или стремления к превосходству, — как мне по крайней мере кажется, — а вследствие неясности этих вещей, которые уже ранее заставили признаться в своем незнании Сократа и до него еще Демокрита, Анаксагора, Эмпедокла и вообще почти всех древних; они говорили, что ничего нельзя познать, понять, знать и что чувства ограничены (angustos), умственные способности слабы (imbelillos animos), жизненное поприще кратко и, как выразился Демокрит, истина утонула в глубине (in profundo veritatem esse demersam), все держится мнениями и установлениями (opinionibus et institutis omnia teneri), ничего не остается для истины, и затем сейчас же все окуталось мраком (deinceps omnia tenebris circumfusa esse)» (Cic., Acad. poster., I, 12, 44) [23].

Такая же мысль повторяется у Цицерона и в другом месте: «Вини правду, что она, как говорит Демокрит, *совершенно скрыла истину в глубине»* (naturam accusa, quae in profundo veritatem, ut ait Democritus, penitus abstruserit) (Cic., Acad. priora.) II, 10, 32) [24].

Близкое к этому выражение употребляет Сенека: «Едва можно дойти до глубины, в которой находится истина, а истину мы теперь ищем на поверхности земли, да и то легкой рукой (vix ad fundum veniretur, in quo veritas posita est, quam nunc in summa terra et levi manu quaerimus») (Nat. Quaest., VII, 32).

Цицерон в другом месте объясняет мысль Демокрита так, как будто он вообще отрицал не только возможность познания истины, но и ее существование: Ille esse verum plane negat sensusque idem non obscuros dicit, sed tenebricosos: sic enim appellat (Cic., Acad. priora, II, 23, 73; H. Diels. Fragmente der Vorsokratiker, Bd. II, стр. 93 сл.) [25]. Однако другие иначе толковали его учение, а именно: «он прямо сказал, что истина и явление есть одно и то же и что истина ничем не отличается от того, что является чувственному восприятию (τῇ αἰσθήσει), но что являющееся и кажущееся каждому — это и есть истина» (Филопон, «О душе», стр. 71, 19) [26].

Демокрит представлял познание в двух видах: одно — через чувственное восприятие — «темное», другое — через разум; его он считал «подлинным» (Секст Эмпирик, VII, 138 сл.) [27]. Катего-

---

[23] H. Diels. Fragmente der Vorsokratiker. 4. Aufl., Bd. I, S. 396, фр. 95. А. О. Маковельский («Древнегреческие атомисты». Баку, 1946) не приводит этого места — вероятно, не считает его подлинным.

[24] H. Diels. Указ. соч., т. II, стр. 83, фр. 117. А. О. Маковельский (указ. соч., стр. 236, фр. 87), переводя это место и цитату из Диогена Лаэртского, добавляет от себя в скобках «в глубине (моря)», чего не видно в подлинном тексте.

[25] О. А. Маковельский. Указ. соч., стр. 237; H. Diels. Указ. соч., т. II, стр. 93 сл.

[26] H. Diels. Указ. соч., т. II, стр. 37, фр. 113.

[27] H. Diels. Указ. соч., т. II, стр. 60, фр. 11.

рию истины, по его мнению, образует то, что существует по природе [28]. Характеризуя учение Демокрита, А. О. Маковельский пишет: «Эмпирическое многообразие явлений природы есть, по Демокриту, тот исходный пункт, от которого единственно может отправляться философское умозрение, если оно хочет, чтобы его построения не были воздушными замками». Далее наш ученый говорит: «Раскрыть подлинное сущее можно лишь, умозаключая от чувственных данных к скрытому, поскольку последнее служит их объяснением». Между миром Истины и миром мнения существует закономерная связь [29].

Это все свидетельствует о том, что Демокрит не был агностиком, как могло бы показаться на основании заметки Цицерона, приведенной выше. У самого Демокрита, разъясняет далее А. О. Маковельский, не принципиальный скептицизм, а сознание всей сложности познавательной проблемы и оценка состояния научного знания в его время» [30]. Он не считал истину непознаваемой вовсе, а только трудно познаваемой, и к такому пониманию как раз и подходит образное выражение, будто Истина скрывается где-то в глубине. К. Маркс в своей диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» отмечал противоречивость взглядов Демокрита на познание [31].

Это образное выражение об Истине, скрытой где-то в глубине, повторяется не раз у античных писателей и чаще всего с ссылками на Демокрита, например у Лактанция (Inst. III, 28, 30; 13, 6). Диоген Лаэртский приводит точно его слова: «Доподлинно мы ничего не знаем: истина находится в глубине» (ἐτεῇ δὲ οὐδὲν ἴδμεν· ἐν βυθῷ εἶναι ἀλήθειαν — Diog. Laert., IX, 72).[32] Одним из последователей Демокрита был Антифонт, автор сохранившегося, хотя и отрывочно, сочинения «Об истине» (Περὶ ἀληθείας) [33].

Сознание несовершенства и обманчивости чувственных восприятий, через которые познается окружающий мир, нашли выражение в релятивизме софистов. Основным положением Протагора, высказанным в недошедшем сочинении «Об истине, или Разящие речи» было: «человек — мера всех вещей». Оно прямо вытекает из признания недостоверности наших чувств и дает основание

---

[28] А. О. Маковельский. Указ. соч., стр. 65, ср.: С. Я. Лурье. Очерки по истории античной науки. Греция эпохи расцвета. М.—Л., 1947, стр. 141.

[29] А. О. Маковельский. Указ. соч., стр. 66, 68.

[30] Там же, стр. 69.

[31] К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 31, 33.

[32] H. Diels. Указ. соч., т. II, стр. 83, фр. 117. С. Я. Лурье («Очерки по истории античной науки») перевел это место слишком свободно: «Отчетливо мы ничего не знаем: истина на дне глубокого колодца». По-гречески βυθός означает лишь «глубину», «бездну»; ср. у Цицерона in profundo (см. выше). А. О. Маковельский (указ. соч., стр. 236, фр. 87) также допустил неточность, переводя: «лежит на дне моря».

[33] С. Я. Лурье. Указ. соч., стр. 291.

каждому человеку претендовать на предпочтительность своего мнения перед чужими. Да и рассуждение Сократа: «Я знаю только то, что я ничего не знаю» (Cic., Acad. priora, II, 23, 74), направленное против самомнения, самоуверенности и субъективизма софистов, недалеко уходит от скептицизма. Правда, оно не содержит полного отрицания самой возможности познания, а указывает лишь на крайнюю трудность этого. Зато, с другой стороны, Платон, объективный идеалист [34], представляет мир вечных, прекрасных, неизменных сущностей — «идей», находящихся в ином мире (ἐν τόπῳ νοητῷ), постигаемом только силой разума. Но и тут подлинное познание оказывается уделом лишь немногих избранных умов. Сенека повторяет эту мысль в слегка измененном виде: «Истина таится, закутанная, в глубине» (involuta veritas in alto latet) (de benef., VII, 1, 6).

Так, эта мысль, что истина, хотя и существует, но скрыта от людей, получила распространение в поздней античности, а затем и в позднейшие времена. Формулировка Демокрита, что истина скрыта где-то в глубине (ἐν βυθῷ, in profundo), могла получить некоторого рода уточнение, так что истина оказалась на дне колодца. Явный отклик такого представления мы находим в знаменитом романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где в уста первого из этих героев вкладывается следующее рассуждение в беседе с английским ученым Таумастом: «Мы совместно побеседуем о твоих сомнениях и будем искать их разрешения на дне неисчерпаемого колодца, где, как сказал Гераклит, скрыта истина» [35]. Та же мысль повторяется дальше в словах Панурга: «Мне кажется, что я опустился в темный колодец, на дне которого, по словам Гераклита, сокрыта истина» [36]. Необходимо, однако, отметить, что в наших источниках нигде нет указания, чтобы это была мысль Гераклита. Очевидно, Рабле цитировал это выражение на память и одного философа смешал с другим.

Образ Истины на дне колодца встречается еще у Байрона в «Дон-Жуане» (II песнь, 84), где поэт рассказывает о крайней жажде пловцов, застигнутых в море безветрием и оставшихся без пищи и без воды:

Кому в Испании б иль Турции пришлось
Бывать, иль на плоту ждать смерти с моряками,
Иль услыхать в песках звонков верблюжьих звон, —
То страстно к Истине — в колодец — рвался б он.

(Перевод Г. А. Шенгели)

Правда, эти стихи Байрона появились в свет позже, чем Пушкин написал свое стихотворение, и, следовательно, не они были

---

[34] «История философии», т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 155.
[35] Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод В. Пяста. М.—Л., 1929, стр. 171.
[36] Там же, стр. 294.

источником для нашего поэта [37], но они свидетельствуют о широком распространении самого образа. Любопытно убедиться, что такое представление об истине стало бытовать позднее и в нашем фольклоре. Упоминание о нем находим мы в одной из сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина «Путем — дорогою». Там приводится такой разговор: «А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор. — И я тоже не однова спрашивал у людей: где мол Правда, где ее отыскать? — А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана» [38].

Конечно, Пушкин мог заимствовать мысль об истине у Рабле, однако вернее будет предположить тут влияние лицейских учителей и в особенности Н. Ф. Кошанского (1785—1831), большого знатока античной и новой литературы. Во всяком случае, этим достаточно определяется историко-литературный горизонт Пушкина в его лицейские годы.

* * *

Сделанный нами анализ некоторых античных мотивов в поэзии Пушкина свидетельствует не только о широте его литературных познаний, но в частности и о роли в его творчестве античного наследия. Нельзя при этом не вспомнить меткой характеристики его мастерства, данной В. Г. Белинским в четвертой статье о его творчестве: «Великие реки составляются из множества других, которые, как обычную дань, несут им обилие вод своих. И кто может разложить химически воду, например, Волги чтоб узнать в ней воды Оки или Камы? Приняв в себя столько рек, и больших и малых, Волга пышно катит свои собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде» [39]. Если нам удастся «химическим» анализом выделить некоторые античные мотивы, то мы этим лишний раз подчеркнем его несравненную способность художественного претворения и переосмысления, в котором античные реминисценции оказывались важным средством.

---

[37] Н. Л. Бродский. Указ. соч., стр. 159.
[38] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. XVI. М., 1937, стр. 215.
[39] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, стр. 266.

И. У. Кобов

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА ФРАНКО

Великий украинский писатель, ученый, критик, общественный деятель, революционный демократ Иван Яковлевич Франко (1856—1916) был не только страстным любителем античности, но и ее глубоким знатоком и исследователем. Неоценимы его заслуги как переводчика и редактора переводов многочисленных памятников греческой и римской литературы, начиная с Гесиода и кончая поэмой Мусея «Геро и Леандр». У Франко никогда не угасал интерес к античному искусству, науке и литературе. Но дважды в течение его жизни этот интерес особенно обострялся. Первый период увлечения античностью связан с гимназическими и университетскими годами молодого Франко. Вторично к углубленному изучению античности он возвращается уже на склоне своих лет. Это обстоятельство помогает нам понять не только то, как складывались взгляды Ив. Франко на античность, какое место находили они в его творчестве, но и ту эволюцию, которую они претерпевали в связи с общим идейным развитием писателя.

Еще в классической гимназии в Дрогобыче Франко проявил исключительный интерес и склонность к греческому и латинскому языкам, античной литературе, мифологии, древней истории. Сохранившиеся до наших дней некоторые школьные тетради с сочинениями молодого Франко свидетельствуют о его хороших познаниях в области литературы, классических языков, античной истории, а также о литературном даровании молодого писателя [1]. В это время его увлекала история древнего Рима, полная драматических событий, напряженных социальных конфликтов. Сам Франко много лет спустя упоминает о том, что им был сделан пересказ истории древнего Рима до царствования Туллия Гостилия [2]. Но, к сожалению, пересказ этот не сохранился. Доказательством интереса гимназиста Франко к древнеримской истории могут служить уцелевшие его сочинения, написанные в старших классах гимназии. Так, в 1873 г. Франко, будучи учеником шестого

[1] Часть гимназических тетрадей Франко хранится в Архиве Ив. Франко при Институте литературы АН УССР в Киеве.

[2] В предисловии к повести «Петрии и Довбущуки», 2 изд. Черновцы, 1913, стр. 5.

класса гимназии, написал на безукоризненном польском языке драму «Югурта» и стихотворную «Легенду о прибытии Энея в Италию». Эти работы получили высокую оценку учителя польского языка. Из стихотворной драмы «Югурта» сохранились только второе и третье действия. Сюжет «Югурты» почерпнут из монографии Саллюстия «Война с Югуртой». В этой работе Франко изобразил борьбу за престол в Нумидии, умерщвление Югуртой законных престолонаследников Гиемпсала и Алгербала и начало царствования Югурты. «Югурта» является одной из первых попыток Франко создания драматического произведения. Франко упоминает о том, что в гимназические годы он написал в стихах на немецком языке как классное сочинение драматическую сцену «Ромул и Рем» [3].

К этому времени — годам обучения в Дрогобычской гимназии — относится и начало его переводов из классической литературы. Франко перевел трагедии Софокла «Антигону» и «Электру» и две песни «Одиссеи» Гомера.

Все это — несомненные доказательства интереса Франко к античной литературе и истории древнего мира. Любовь к филологии привела Ив. Франко в 1875 г. на философский факультет Львовского университета, где он начал изучать украинскую и классическую филологию [4]. Франко живо интересуется историей Греции и Рима, античной литературой, в особенности поэзией и драматургией, греческими и римскими древностями. Он слушает лекции и посещает семинарские занятия профессоров классической филологии Зигмунда Венцлевского и Людовика Цвиклинского, но метод преподавания Венцлевского вызвал у молодого Франко разочарование (к счастью, не отвращение к классической филологии в целом, ибо античностью Франко интересовался до конца своей жизни и двух своих сыновей Андрея и Тараса послал учиться классической филологии). Много лет спустя в письме М. Драгоманову Франко, вспоминая свои студенческие годы, писал: «Лекции в университете совсем не заинтересовали меня и ничего не дали мне — ни метода, ни знаний. Я слушал классическую филологию у покойного Венцлевского и зевал. . .» [5] В другом месте Франко прямо указал, что Венцлевский отнял у него желание штудировать классическую филологию [6].

Во Львовском областном архиве хранится уникальный документ — студенческий реферат Ив. Франко, написанный им по-латыни в 1877 г. во втором полугодии на II курсе под руководством профессора-эллиниста Л. Цвиклинского на тему «Лукиан

---

[3] В предисловии к повести «Петрии и Довбущуки», стр. 5.

[4] См.: М. Н. Пархоменко. «Іван Франко — студент Львівського університету». — В сб. «І. Франко, статті і матеріали», V (1956), стр. 181 и сл.; Т. Франко. Про батька, 2 изд. Киев, 1963, стр. 56 и сл.

[5] І. Франко. Твори в двадцяти томах, т. 1. Київ, 1955, стр. 15.

[6] Там же, стр. 416.

и его эпоха». Работа Франко, найденная в 1956 г., представляет несомненную ценность не только для уяснения, в какой степени Франко овладел классическими языками, но и для понимания его научных интересов и общественно-политических взглядов. В этой работе Франко обнаружил обстоятельную осведомленность в вопросах греческой литературы и хорошие познания в области истории древнего Рима. Франко, знакомый уже в это время с марксистской литературой, сумел нарисовать правильную картину эпохи, в которой жил Лукиан: он указал на тяжелое положение рабов и крестьян, симптомы экономического кризиса, деморализацию общества, обеднение науки, литературы, искусства и другие симптомы надвигающейся гибели античного мира, разоблачая миф буржуазной историографии о «золотом веке» Антонинов. Семинарская работа «Лукиан и его эпоха» — свидетельство самостоятельного мышления студента Франко.

Усиление интереса к изучению истории древнего Рима и античной литературы связано с последними годами жизни великого писателя. В 1913 г. в своей работе «Данте Алигьери» Франко, характеризуя в первом разделе средние века, нарисовал яркую картину античной культуры, распавшейся вследствие трех факторов — внутреннего разложения, распространения христианства и нашествия варваров. Особенно много места посвятил Франко изучению роли христианства в уничтожении античной культуры.

В последние месяцы своей жизни Франко особенно интенсивно занимался историей древнего Рима, читая в оригинале греческих и римских историков, причем главное внимание он обратил на царскую эпоху и ранний период республики. Результатом этих занятий было создание серии стихотворных рассказов по мотивам древнеримской истории, начиная с основания Рима и кончая принципатом Августа, но преобладающее большинство этих картин относится к древнейшим полулегендарным временам истории древнего Рима, полным героических событий и мужественных граждан с благородными порывами, с великим и чистым сердцем.

Франко, как явствует из его собственных слов, ставил перед собой задачу создать по мотивам истории древнего Рима цикл поэтических произведений, напоминающих средневековые баллады. «Я чувствую себя вправе, — говорит писатель, — дать собственную, по возможности психологически и исторически слаженную композицию, что-то вроде баллад средневековой и позднейшей Европы». Франко работал над римскими балладами с 9 августа 1915 г. по 15 марта 1916 г. с большим напряжением, упорно, несмотря на то, что болезнь отнимала у него последние силы. Серьезное ухудшение состояния здоровья в марте 1916 г. было причиной того, что писатель совсем уже не мог закончить свою последнюю работу. Поэтому Франко не успел не только издать, но даже отредактировать свои рассказы. Написаны они строфическим стихом, преимущественно рифмованным.

Долгие годы материалы Ив. Франко лежали забытыми, неопубликованными, пока ими не занялись советские литературоведы — научные сотрудники Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР в Киеве И. И. Басс, Л. А. Кочубей и сын писателя Т. И. Франко.

Результатом их долголетней работы было издание в 1963 г. третьего тома «Литературного наследства» Ив. Франко под названием «Поэтические произведения по мотивам истории Древнего Рима» [7]. Материал для своих баллад Франко брал у античных авторов (главным образом, у историков) Дионисия Галикарнасского, Кассия Диона, Плутарха, Гая Юлия Цезаря, Тита Ливия, Гигина, Геллия, Валерия Максима, Макробия, из которых главными источниками Франко были; Дионисий Галикарнасский, Кассий Дион, Тит Ливий и Гай Юлий Цезарь. Франко учел даже фрагменты римских анналистов Туберона, Квадригария, Писона Фруги и др. Писатель создает балладу, придерживаясь, как правило, одного автора, изредка комбинирует два источника. К последним случаям относятся: «Похищение сабинянок», «Горации и Куриации», «Демарат и Лукумон», «Война Цезаря с Ариовистом» и др. Характерно, что Франко в ряде случаев отдавал предпочтение греческим авторам перед римскими, считая их более достоверными и объективными в то время, как римляне, по его мнению, искажали исторические факты. В конце каждого рассказа указана дата его написания, многие рассказы снабжены примечаниями, указывающими, из произведения какого автора взят сюжет, какое издание использовано и т. д. Из этих примечаний можно сделать вывод, что Франко критически оценивал источники, объяснял, почему следует той или иной версии. Так, например, в рассказе «Война Цезаря с Ариовистом» (стр. 104—130) выступление Цезаря на военном совете перед битвой с Ариовистом Франко изложено по речи Цезаря в «Истории римлян» Кассия Диона (кн. XXXVI, гл. 36—40), а не по произведению самого Цезаря, так как Франко считал текст Кассия «заслуживающим популяризации ввиду исключительного политического содержания»[8]. В основу баллады «Горации и Куриации» (стр. 222—229) автор положил рассказ Ливия (I, 22—25), в сочетании с версией Дионисия Галикарнасского (III, 1—20), более поздней, искаженной вымыслами как самого Дионисия, так и его предшественников [9]. Наоборот, в стихотворении «Тарквиний и Лукреция» (стр. 316—326) писатель предпочел Ливию греческих авторов Дионисия Галикарнасского и Кассия Диона, считая их версию более простой и естественной, а рассказ Ливия слишком искус-

---

[7] «Літературна спадщина, т. III; Іван Франко. Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму». Київ, 1963, 674 стр.

[8] Там же, стр. 111.

[9] Там же, стр. 229.

ственным [10]. Таких примеров критической оценки писателем своих источников можно привести очень много.

Иван Франко, хорошо ознакомленный с марксистской литературой и сыгравший исключительную роль в деле распространения социалистических идей в Галиции, отразил в своих «римских» рассказах классовую борьбу в древнем Риме — борьбу плебеев с патрициями и антагонизм между рабами и рабовладельцами. Симпатия автора на стороне трудящихся масс, угнетенных и эксплуатируемых. С презрением выведены образы эксплуататоров-тунеядцев. В стихотворении «Похороны Менения Агриппы» изображена классовая солидарность и великая моральная сила простых людей-плебеев, собравших деньги для погребения защитника интересов плебеев Менения Агриппы и отказавшихся принять помощь — милостыню от патрицианских сенаторов, поставив их этим самым в неловкое положение.

Изображению классовой борьбы в древнем Риме посвящены: «Чем дальше в лес, тем больше дров», «Если не сабиняне, то латиняне», «Первый диктатор в Риме», «Мужественное дело Марка Красса», «Консул Спурий Кассий», три баллады о Гае Марции Кориолане и др. Предметом названных стихотворений является негодование народных масс, лишенных политических прав и экономических выгод, но обязанных нести тяжести войны. В образе Кориолана украинский писатель показал типичного представителя патрицианской верхушки, злейшего врага римских плебеев, жестокого самодура, угрожающего народным трибунам беспощадной расправой. В рассказе «Мужественное дело Марка Красса», написанном на основе Плутарха, Красс назван «беспримерным спекулянтом», и с нескрываемой симпатией нарисован талантливый руководитель восставших рабов Спартак, наделенный великой физической силой, отвагой, готовностью помогать бедным, образованностью. В новелле «Америй Руф», в основу которой положен рассказ Валерия Максима (I, 7.), гладиатор, вместо того, чтобы для удовольствия рабовладельца Америя Руфа драться с товарищем и убить его, пронзает мечом ненавистного хозяина.

Необычайно драматичны рассказы «Смерть Сервия Туллия», «Тарквиний и Лукреция», три повести о Кориолане и др. Особенно удачным является портрет античной леди Макбет, демонической Туллии, дочери царя Сервия Туллия, не брезгующей никакими средствами, даже смертью отца для достижения своей цели — захвата царской власти. Полна драматического пафоса сцена встречи Кориолана с матерью и женой. Писатель с большим мастерством сумел передать тончайшие переживания, происходящие в душе Кориолана во время беседы с родными.

---

[10] «Літературна спадщина, т. III. Іван Франко, Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму», стр. 326.

Добросовестно передавая содержание античных источников, украинский писатель для мотивирования действий исторических лиц, отсутствующего в античной традиции, вводит целый ряд психологических моментов (диалогов, монологов, эпизодов), ссылаясь на право поэтической фантазии [11].

Так, например, новшеством у Франко является разговор Туллии, дочери Сервия Туллия, с Луцием Тарквинием, в котором она толкает его к убийству его жены и ее собственного отца.

Сборник содержит небольшие социально-бытовые новеллы, изображающие обычаи, быт, верования, политические институты древних римлян. Сюда относятся: «Консул Манлий и его сын», «Халатная весталка», «Весталки в Риме», «Фециалы», «Упрямые боги», «Верные рабы», «Порядочный работник», «Изображение Юноны Монеты», «Ворота Януса в Риме» и др.

Особую (правда, небольшую) группу образуют в сборнике шутливые стихотворения-анекдоты и остроумные высказывания римского императора Августа («Из шуток императора Августа»), в основу которых легло знакомство с Валерием Максимом и Макробием.

С целью отражения римского колорита автор ввел латинские слова и выражения, например: pereat (стр. 21), fides Punica (стр. 25), Fidei publicae (стр. 219), salve rex, vicus sceleratus (стр. 293), ingrata persona (стр. 329), fiat horrendum (стр. 330), Brutus стр. 351), species facti (стр. 353), evohe, ovatio (стр. 380), Cloelia sum, fui prima (стр. 373), edicta (стр. 426), valete (стр. 565), ager publicus (стр. 657) и др.

Третий том «Литературного наследства» Ив. Франко, содержащий сочинения по мотивам исторических рассказов и легенд древнего Рима, является наиболее ярким документом интереса классика украинской литературы к истории древних римлян. Свидетельствует он о неиссякаемой энергии, широком диапазоне поэтических и научных интересов автора, его симпатиях к античному миру, редкостным знатоком и страстным любителем которого Франко был на протяжении всей своей жизни. Ив. Франко создал художественные произведения, сочетающие в себе правду истории, психологическую достоверность характеров и очарование большой и настоящей поэзии.

---

[11] Там же, стр. 392.

М. Л. Гаспаров

АНТИЧНЫЙ ТРИМЕТР И РУССКИЙ ЯМБ

Переводы были школой художественной формы едва ли не для всех литератур нового времени. К переводам поэзии, где неразрывная связь содержания и формы особенно ощутима, это относится прежде всего. В частности, для европейских литератур в качестве материала для перевода особенную роль всегда играла античная поэзия. Проверка способности национального стихосложения воспроизвести звучание античного стиха была для метрики новых литератур чем-то вроде экзамена на полноценность. Достаточно вспомнить, какие живые и бурные прения возбуждал в пушкинские времена вопрос о создании русского гексаметра — и это несмотря на то, что ни тогда ни после гексаметр в русской поэзии не имел сколько-нибудь самостоятельного значения, и круг его применения ограничивался переводами и стилизациями.

Это позволяет нам обратить внимание и на то, какую судьбу имел в русской поэзии второй после гексаметра распространеннейший стих античной литературы — ямбический триметр, размер трагедий и комедий. Такой вопрос представляет двоякий интерес: теоретический — как пример усвоения метрического размера тоническим стихосложением, и практический — так как современным переводчикам античных трагедий и комедий может быть небезразличен опыт их предшественников.

1. Проблема. Теоретическая сущность вопроса о русском триметре связана с проблемой ударной константы в русском тоническом стихе.

Исследования стиховедов XX в. (А. Белый, Б. Томашевский, С. Бобров, Г. Шенгели, М. Штокмар, С. Бонди, К. Тарановский) показали, что русский ямб (и хорей) имеет двухстепенной ритм: первичный и вторичный. Первичный ритм — это чередование сильных (четных) и слабых (нечетных) *слогов*: сильные слоги могут нести ударение, слабые, как правило, не могут. Вторичный ритм — это чередование сильных и слабых *стоп*: сильные стопы несут реальное ударение чаще, слабые — реже. Последняя стопа в стихе несет ударение всегда — является *ударной константой*; вторая стопа от конца стиха несет ударение реже всех, третья от конца — опять чаще, четвертая — опять реже и т. д., причем по мере

удаления от конца стиха разница между этими «чаще» и «реже» постепенно слабеет; это чередование сильных и слабых стоп образует *ритмическую волну*, которая начинается от ударной константы и затухает к началу стиха. Если в стихе есть явная или скрытая цезура, то в нем может появиться вторая, более слабая ритмическая волна, начинающаяся перед цезурой («малая ударная константа») и распространяющаяся на первое полустишие. В конечном счете, ритм русского ямбического стиха определяется именно положением постоянного последнего ударения, ударной константы, от которой начинается волнообразное чередование сильных и слабых стоп.

Своеобразное положение триметра в системе русских ямбических размеров объясняется именно тем, что место ударной константы в этом стихе было спорным.

Античный ямбический триметр (по крайней мере, в своей более строгой форме — у греческих трагиков и у римлян после Катулла) был также стихом с двухстепенным ритмом. Он состоял из шести ямбических стоп, группирующихся попарно в три диподии; в каждой диподии первая стопа несла более сильное ритмическое ударение, чем вторая. (В настоящее время принято думать, что более сильное ударение в диподии несла не первая, а как раз вторая стопа; но в школьную практику XIX—начала XX в. эта теория не вошла и на истории русского триметра не отразилась.) Таким образом, первичный ритм античного триметра — это обычное чередование арсисов и тесисов, вторичный ритм — чередование простых (стопных) и усиленных (диподийных) ударений. Последнее стопное ударение падало на шестую, последнее диподийное ударение — на пятую стопу. Какое из них должно было определить место ударной константы в русском ямбическом триметре?

Первичный ритм русского ямбического триметра не вызывает сомнений: это стих из 12 слогов, в котором четные слоги могут нести ударение, а нечетные — не могут. Вторичный ритм этого стиха будет всецело определяться тем, на пятой или шестой стопе будет стоять ударная константа. Здесь возможны 4 случая:

1) константа стоит на 5 стопе (К 5);

2) константа стоит на 6 стопе (К 6);

3) константа стоит и на 5 и на 6 стопе (двухконстантный стих, К 5—6);

4) константа не стоит ни на 5, ни на 6 стопе (бесконстантный стих, без К).

В первом случае стих окажется 5-ст. ямбом с дактилическим окончанием (на последнем слоге которого возможно факультативное ударение — вольность, традиционная в русском белом стихе с дактилическими окончаниями: «Бахариана» Хераскова, «Бова» Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, не говоря уже об имитациях былинного стиха). Во втором случае стих

окажется 6-ст. ямбом с мужским окончанием. В третьем и в четвертом случаях стих будет иметь формы, в русском стихосложении беспрецедентные.

Русские стихотворцы, пытаясь воспроизвести античный ямбический триметр, испробовали каждый из этих четырех возможных случаев. Из этого состязания четырех типов русского триметра победителем вышел первый тип — 5-ст. ямб с дактилическим окончанием. Как это произошло, покажет нижеследующий обзор.

2. *Материал и метод.* Античные трагедии и комедии воспроизводились на русском языке многократно и многообразно; нас, понятным образом, интересуют только те случаи, где перелагатель не пользовался традиционными формами русского драматического стиха (6-ст. «александрийским» ямбом, 5-ст. белым ямбом), а пытался создать новый стих, непосредственно воссоздающий стих оригинала. В истории таких попыток можно различить три периода.

Первый период — это вторая половина XIX в. Из этого времени нами разобрано 8 текстов:

1) А. Овчинников, перевод II части «Фауста» Гете (1851): в этой диковинной перелицовке Гете на манер казака Луганского мы находим первый образец русского триметра (монолог Эрихто в «Классической Вальпургиевой ночи»; сцены с Еленой автор передает обычным 5-ст. ямбом). Таким образом, В. Брюсов был неправ, считая начинателем русского триметра Холодковского.

2) и 3) А. Баженов, отрывки из «Ос» и «Лягушек» Аристофана, посмертно опубликованные в 1869 г.

4) и 5) Два первые перевода II части «Фауста», где сцены с Еленой переданы триметром: Н. Холодковского (1878) и А. Фета (1883).

6), 7) и 8) Из дилетантской продукции конца XIX в. взяты как образцы переводы М. Георгиевского («Ахарняне» Аристофана, 1885), Е. Шнейдера («Альцеста» Еврипида, 1890) и В. Краузе (Филоктет» Софокла, 1895).

Второй период — это начало XX в. Из этого времени нами разобрано 6 текстов:

1) и 2) В. Иванов, «Тантал» (1905) и В. Брюсов, «Протесилай умерший» (1913) — две первые и единственные попытки применить триметр не в переводе, а в стилизации античной драмы.

3) А. Артюшков, «Ион» Еврипида — из его книги переводов (все — ямбическим триметром) «Котурн и маски» (1912).

4) Я. Голосовкер, перевод стихотворения о женщинах из Семонида Аморгского (1913).

5) С. Радлов, «Близнецы» Плавта (1916).

6) В. Иванов, «Агамемнон» Эсхила: над переводами Эсхила В. Иванов работал в 1915—1917 гг., напечатан был только перевод «Орестеи» и только в 1950 г. (сб. «Греческая трагедия». М., 1950, без имени переводчика).

Третий период — это советское время. Разобрано 9 текстов:

1) и 2) А. Пиотровский: из его многочисленных переводов выбраны «Ахарняне» Аристофана (1923) как образец комедии и «Агамемнон» Эсхила (1937) как образец трагедии.

3) А. Артюшков: из его поздних переводов римской комедии выбраны «Братья» Теренция (1934).

4) С. Шервинский, «Антигона» Софокла (в сотрудничестве с В. Нилендером, 1935; впоследствии Шервинский заново перевел трагедии Софокла обычным 5-ст. ямбом).

5) Г. Церетели, «Третейский суд» Менандра (1936; первый вариант переводов Церетели из Менандра, 1908 г., был выполнен традиционным 6-ст. ямбом с переменными окончаниями, но без рифм).

6) Б. Пастернак, перевод «Фауста» (1952) — сцены с Еленой.

7) и 8) С. Апт: взяты «Ахарняне» (1954) и «Агамемнон» (1958) как образец комедии и трагедии.

9) Ю. Шульц, «Трагоподагра» и «Быстроног» Лукиана (1962).

Как правило, для разбора брался начальный отрывок текста объемом в 500 триметров. Меньше этой нормы оказалось лишь в текстах Радлова (423 стиха), Шульца (406), Баженова («Осы» — 229, «Лягушки» — 100), Голосовкера (142) и Овчинникова (57).

При разборе учитывались два признака: 1) частота ударений на каждом сильном слоге и 2) частота словоразделов после каждого слога стиха. Образцом служил анализ 5-ст. ямба Пушкина в книге Б. Томашевского «О стихе» (Л., 1929, стр. 138—253). Для первого приближения такой суммарный анализ оказался достаточным, поэтому более детальные вычисления (статистика ритмических «форм» или «модуляций» и словоразделов в них) не производились. В вечном вопросе о тонировании и атонировании мы придерживались, в соответствии с традицией, принципа максимального тонирования сильных слогов; только для последней стопы триметра с константой 5 мы наряду с максимальным тонированием отмечали и минимальное (на таблице — в скобках).

В качестве сравнительного материала были привлечены, во-первых, цифры по немецкому тексту «Фауста» (400 стихов без трехсложных замен), и во-вторых, модели 4 типов (и одного подтипа) русского триметра, рассчитанные теоретически на основании ритмических норм русской прозы. Исходные данные о ритмическом составе русской прозы см. в нашей статье о ритмике русского 3-ударного дольника («Теория вероятностей и ее применения», 8 [1963], стр. 102—108), описание хода вычислений — у Б. Томашевского («О стихе», стр. 100—102).

Результаты подсчетов даны в нижеследующих таблицах. Последовательность материала в таблицах соответствует последовательности дальнейшего обзора. Все цифры — в процентах: в первой таблице с точностью до 0,1%, во второй — до 1%.

Ударения в русском триметре

Ударения на слогах:	2	4	6	8	10	12
1. Теоретически при К 6	83,0	55,3	59,5	67,6	40,9	100
2. Теоретически при К 6 с цезурой	80,7	57,3	59,4	89,4	32,2	100
3. Баженов, «Осы» (1869)	85,5	73,0	84,5	92,3	42,3	98,0
4. Баженов, «Лягушки» (1869)	77,0	95,0	73,0	92,0	67,0	96,0
5. Георгиевский (1885)	87,7	82,0	76,5	76,8	66,6	95,5
6. Шнейдер (1890)	84,2	72,8	74,2	78,2	54,6	99,2
7. Краузе (1895)	87,6	79,5	75,0	77,4	57,7	93,0
8. Голосовкер (1913)	88,5	68,2	70,5	95,0	41,5	100
9. Теоретически при К 5—6	85,0	52,2	70,0	40,4	100	100
10. Овчинников (1851)	93,0	86,0	75,5	61,5	72,0	100
11. Шульц (1962)	85,3	81,0	99,9	37,2	98,7	98,5
12. Теоретически без К	83,5	54,2	62,9	58,0	68,0	54,4
13. Goethe, «Faust»	86,5	81,0	88,5	74,8	89,5	73,0
14. Фет (1883)	80,2	75,6	79,6	72,0	77,8	80,8 (71,6)
15. В. Иванов, «Тантал» (1905)	84,8	88,0	71,6	69,0	88,8	76,0 (72,8)
16. Теоретически при К 5	84,5	52,6	68,2	43,7	100	31,5
17. Холодковский (1878)	91,6	74,0	95,8	56,4	100	40,8 (31,6)
18. Артюшков, «Ион» (1912)	100	58,6	100	47,0	100	58,0 (48,0)
19. Брюсов (1913)	87,0	80,8	84,6	57,4	97,4	55,2 (47,2)
20. Радлов (1916)	76,0	81,7	75,5	61,5	100	50,5 (42,2)
21. В. Иванов «Агам.» (1915)	95,6	73,4	93,2	47,0	100	66,8 (62,0)
22. Артюшков, «Братья» (1934)	89,0	66,6	93,0	54,0	98,2	50,8 (43,8)
23. Церетели (1936)	80,2	79,6	85,6	73,2	99,4	26,4 (20,8)
24. Шервинский (1935)	76,0	79,2	77,8	59,2	100	44,4 (36,2)
25. Пиотровский, «Ахарн.» (1923)	83,0	75,8	81,2	57,6	99,8	34,6 (30,2)
26. Пиотровский, «Агам.» (1937)	81,2	82,4	78,4	60,2	99,8	47,2 (44,2)
27. Апт, «Ахарняне» (1954)	80,2	75,6	77,2	64,4	99,8	16,4 (9,6)
28. Апт, «Агамемнон» (1958)	83,6	78,2	85,2	59,8	99,8	27,4 (26,4)
29. Пастернак (1952)	84,2	71,0	80,4	66,2	100	2,4 (0)

Словоразделы в русском триметре

Словоразделы после слогов:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Теоретически при К 6	29	35	33	67	34	30	28	40	48	16
2. Теоретически при К 6 с цезурой	26	35	26	7	100	0	19	41	43	12
3. Баженов, «Осы» (1869)	35	42	36	26	99	2	28	48	42	16
4. Баженов, «Лягушки» (1869)	30	46	85	7	44	28	85	10	38	26
5. Георгиевский (1885)	40	41	41	41	38	40	38	38	50	28
6. Шнейдер (1890)	35	39	41	35	42	35	28	37	48	22
7. Краузе (1895)	44	38	36	42	37	37	37	37	43	22
8. Голосовкер (1913)	27	50	35	14	100	0	21	48	42	25
9. Теоретически при К 5—6	26	37	32	26	25	37	44	18	71	30
10. Овчинников (1851)	39	51	37	35	37	40	35	33	51	28
11. Шульц (1962)	43	37	49	38	0	97	21	16	65	34
12. Теоретически без К	22	35	26	30	31	30	32	34	25	8
13. Goethe, «Faust»	25	54	35	57	16	65	34	47	23	47
14. Фет (1883)	35	34	45	40	32	39	42	32	38	27
15. В. Иванов, «Тантал» (1905)	41	37	36	57	19	44	47	32	37	29

16. Теоретически при К5	26	37	30	28	28	33	40	25	24	10
17. Холодковский (1878)	35	37	66	28	27	53	46	27	20	20
18. Артюшков, «Ион» (1912)	32	51	53	22	20	64	48	15	35	24
19. Брюсов (1913)	46	29	45	45	9	68	37	27	37	18
20. Радлов (1916)	37	28	43	46	16	53	47	23	23	27
21. В. Иванов, «Агам.» (1915)	45	39	35	50	10	70	35	25	36	30
22. Артюшков, «Братья» (1934)	30	45	45	34	27	53	45	23	32	19
23. Церетели (1936)	36	38	48	27	68	24	46	32	14	12
24. Шервинский (1935)	40	32	32	52	9	62	41	25	27	17
25. Пиотровский, «Ахарн.» (1923)	40	33	46	39	20	54	40	26	18	17
26. Пиотровский, «Агам.» (1937)	35	38	38	51	15	49	38	37	26	21
27. Апт, «Ахарняне» (1954)	39	33	49	38	31	38	48	28	7	10
28. Апт, «Агамемнон» (1958)	38	35	48	40	28	44	42	30	18	9
29. Пастернак (1952)	35	34	50	31	34	41	40	36	1	2

3. Стих с константой на 6 стопе (в таблицах — строки 1—8).

Так как античный триметр при всех своих диподических особенностях все же является прежде всего последовательностью шести ямбических стоп, то первым русским размером, который напрашивается для перевода, оказывается 6-ст. ямб — стих с константой на шестой стопе.

Действительно, первые русские переводчики — Овчинников (чей стих, в силу одной особенности, будет рассматриваться позднее) и Баженов — обратились именно к 6-ст. ямбу. Но тут им пришлось столкнуться с неожиданной трудностью. В чем она состояла, покажет сравнение двух переводов Баженова — более ранних (по-видимому) «Ос» и более поздних «Лягушек».

Вот отрывок из «Ос»:

Я вам хочу открыть хозяина болезнь —
Его измучила страсть к тяжбам и к судам.
До смерти любит он судить — готов реветь,
Коль в суд не попадет на первую скамью.
Не знает по ночам ни крошечки он сна,
А чуть сомкнет глаза — несется мыслью он
В судилище сейчас, все к водяным часам. . .
. . . Увидит где-нибудь на двери надпись он —
«О Пирилампа сын, прекрасный Демос мой!» —
Напишет: «Черепки прекрасные мои!». . .

Вот начало «Лягушек»:

— Постой-ка, я вот здесь сейчас кой-что скажу,
Над чем давно привыкли все так хохотать.
— Болтай, знай, все, лишь не тверди: как тяжело!
Подобных фраз и слышать я уж не могу.
— Что ж? чем смешить? — Не говори: я надорвусь.
— Как, не сказать смешных всех штук? — И говори
И делай все, лишь одного. . . — Еще чего?

— Вьюк не бросай, чтоб за нуждой при всех сходить.
— И не сказать, что если вьюк не снимут с плеч
Моих долой, пожалуй, я не удержусь. . .
— Ах, замолчи! Прошу тебя! Меня тошнит!

Даже на слух чувствуется, что звучат эти два отрывка поразному. Причина этого следующая. В русской поэзии XVIII—XIX вв. употреблялся 6-ст. ямб лишь с цезурой после 6 слога («александрийский стих»). К этому стиху и обратился Баженов в своем первом переводе: стих «Ос» по ритмике повторяет типичный для середины XIX в. цезурованный 6-ст. ямб умеренно-симметричного типа (по терминологии Тарановского), достаточно близкий к теоретической модели (в таблице — строка 2). Опыт оказался неудачным: «александрийская» цезура ломала стих пополам, тождество полустиший усиливалось постоянством мужских окончаний, всякое подобие диподической структуры исчезало.

Поэтому во втором своем переводе Баженов сосредоточил внимание на передаче диподийной трехчленности. Он отказывается от «александрийской» цезуры и вместо этого резко усиливает словоразделы после 4 и 8 слога, четко членя стих на три диподии. Однако константу на шестой стопе он сохраняет, поэтому сильное место в диподиях у него перемещается с первой стопы на вторую.

В результате получается парадоксальная ритмическая волна с повышениями на четных стопах и понижениями на нечетных: это как бы ритм теоретических моделей, вывернутый наизнанку. Непривычный и поэту и читателю, этот стих звучит отрывисто и неуклюже, но ритмическая четкость в нем есть, и думается, что под рукой хорошего мастера разработка баженовского эксперимента дала бы интересные результаты.

Однако разработки этот эксперимент не получил. Переводчики конца XIX в., пользовавшиеся стихом с константой 6, — Георгиевский, Шнейдер, Краузе — были лишены всякого ритмического слуха и не чувствовали потребности ни в каком вторичном ритме. Цезуру и двухчленный ритм они отвергли, но ничем не заменили; кривая их ритмической волны сглаживается почти в прямую линию, словно они стараются равномерно обеспечить ударениями все стопы, и слабые и сильные. Эта бесформенность стиха обычно сопровождается безвкусицей стиля и бессвязностью синтаксиса: ср. у Краузе:

Возьми и береги мой лук: ведь погружусь
Я в сон ко времени, как болям миновать.
Нельзя унять их раньше. Но мне нужно дать
Заснуть спокойно. Если ж той порой сюда
Прибудут те, я именем богов прошу
Лук не отдать ни пред насильем, ни добром,
Равно и хитрости, чтобы себя со мной —
К твоей заслуге кто прибег — не погубить.

Попытку найти выход из этой ритмической бесформенности предпринял в 1913 г. Я. Голосовкер, но его выход оказался лишь попыткой возврата к цезурованному «александрийскому» ямбу «Ос», без всякого подобия диподийности:

Внимай, дитя, над всем — один властитель: Зевс.
Как хочет, так вершит гремящий в небесах.
Не смертным разум дан. Наш быстролетен день,
Как день цветка, и мы в неведенье живем. . .

На этом круг поисков замкнулся, и для передачи триметра стих с константой на шестой стопе более не привлекался.

4. *Стих с двумя константами* (в таблицах — строки 9—11).

Единственный бесспорный образец такого стиха дает Шульц. По существу, это тоже попытка сохранить константу на шестой стопе, но избежать при этом «александрийской» двухчленности. Цезуры после шестого слога Шульц решительно избегает: для него это тем более необходимо, что третья стопа у него несет ударение почти всегда (так что, по сути, его стих имеет даже не две, а три константы) и, следовательно, серединная цезура сразу разломила бы его на два 3-ст. ямба с мужскими окончаниями. Это повышение ударности на третьей стопе и понижение словораздела после шестого слога не задано моделью (в таблице — строка 9) и представляет собой результат стремления переводчика к повышенной четкости вторичного ритма. Пример:

Сколь ненавистно имя всем богам твое,
Подагра, дочь Коцита, сколько слез в тебе!
В глубинах черных Ада родила тебя
Эринния Мегера и вскормила там
Своею грудью; после молоко, как яд,
Жестокому младенцу Аллекто дала.
О самый гнусный демон, кто дерзнул тебя
Пустить на свет? Погибель ты приносишь нам.

Другой текст, в котором можно усмотреть попытку (хотя и не удавшуюся) создать стих с двумя константами — это текст Овчинникова, в котором ударность пятой стопы необычно высока, а четвертой стопы необычно низка для 6-ст. ямба, чем решительно меняется весь рисунок ритмической волны. Эта повышенная ударность предконстантной стопы и кажется попыткой создать вторую константу. Скудость материала (57 стихов) не позволяет судить, был ли этот сдвиг ударного минимума с пятой на четвертую стопу намеренным или случайным; но во всяком случае, 6-ст. ямб монолога Эрихто вовсе не похож на обычный рифмованный 6-ст. ямб Овчинникова, в котором у него всегда соблюдается и «александрийская» цезура и даже постоянное ударение

перед ней (неожиданное воскрешение 6-стопника Тредьяковского). Вот начало этого монолога:

На страшный праздник этой ночи я опять,
Ерихта мрачная, пришла — не столь гадка,
Как стихотворцы злобные чрезчур меня
Чернят, пятнают: никогда хвалить, хулить
Они не перестанут. . . Предо мной в глуби
Долины восстает наметов серый вал. . .

5. *Соперничество стиха с константой на пятой стопе и стиха без константы* (в таблицах — строки 12—21).

История этого соперничества распадается на два этапа. В первом этапе антагонистами выступают Фет и Холодковский, во втором — В. Иванов и Артюшков. Так как Фет и Холодковский разрабатывали свой стих на одном и том же материале — на переводе «Фауста», то сравнение их решений особенно показательно.

Вот образец немецкого оригинала (в ст. 3 и 6—7 отметим трехсложные замены ямбических стоп, о которых речь еще будет):

Alt ist das Wort, doch bleibet hoch und wahr der Sinn:
Daß Scham und Schönheit nie zusammen, Hand in Hand,
Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad.
Tief eingewurzelt wohnt in beiden alter Haß,
Daß wo sie immer irgend auch des Weges sich
Begegnen, jede der Gegnerin den Rücken kehrt. . .
. . . Wer Gegenwarts der Frau die Dienerinnen schilt,
Der Gebietrin Hausrecht tastet er vermessen an:
Denn ihr gebührt allein, das Lebenswürdige
Zu rühmen, wie zu strafen, was verwerflich ist. . .

Вот образец перевода Холодковского:

Старо, но вечно верно слово мудрое,
Что стыд с красой по-дружески, рука с рукой,
Вовек не шли по полю жизни светлому.
Глубоко в них таится злая ненависть:
Когда они сойдутся на пути своем —
Спиной тотчас друг к другу обращаются,
И каждый вновь идет своей дорогою:
С печалью стыд, краса с надменной гордостью. . .

Вот те же строки в переводе Фета:

Высок и непреложен смысл старинных слов,
Что красота и стыд нейдут рука с рукой
Зеленою тропою по лицу земли.
Глубоко скрыта в них взаимная вражда,

Так что при встрече каждый из противников
Спиной к другому тотчас обращается.
Затем поспешно каждый продолжает путь,
Стыд в горе, красота же с дерзостным челом. . .

У Гёте перед нами стих без константы: в нем ударения могут пропускаться как на пятой, так и на шестой стопе. В нем заметна слабая, но отчетливая ритмическая волна, началом которой служит пятая стопа. В подробное рассмотрение гётевских кривых мы не входим, так как это увело бы нас слишком далеко в анализ языковых основ немецкого ямба. Заметим все же, что наша кривая непохожа на кривую, выведенную Б. Томашевским для 5-ст. ямба «Марии Стюарт», где волнообразности вовсе нет.

У Холодковского перед нами стих с константой на пятой стопе, т. е. 5-ст. ямб с дактилическим окончанием (на котором возможно факультативное ударение). По-видимому, Холодковский и воспринимал этот размер как разновидность 5-ст., а не 6-ст. ямба. Поэтому он разрабатывает его в полном соответствии с ритмической традицией ходового 5-ст. ямба русских драматических переводов XIX в., не осложненной никакими влияниями немецкого оригинала или античных прототипов. Отсюда у него повышенная ударность третьей стопы и повышенная частота словоразделов после четвертого слога — наследие цезурованного ямба (по Тарановскому, для 5-ст. ямба середины XIX в. характерны 85—90% ударения на третьей стопе и 60—90% словоразделов после четвертого слога). Это дает отчетливую ритмическую волну с размахом раза в два с половиной шире, чем в подлиннике. Срединный словораздел (после шестого слога) не избегается, и это, как будет показано, также сближает стих Холодковского с 5-ст. ямбом.

Наконец, Фет дает первый образец русского стиха без константы, в котором смешиваются строки 6-ст. ямба с мужским окончанием и 5-ст. ямба с женским окончанием. По-видимому, Фет сознательно соперничал с Холодковским, стараясь точнее воспроизвести ритмику подлинника. При этом он впадает в противоположную крайность: если у Холодковского ритмическая волна подлинника усиливается, то у Фета она ослабляется: ее размах раза в полтора у́же, чем в подлиннике. Можно думать, что Фет, знаток и переводчик античных поэтов, старался воссоздать не только гётевский оригинал, но и его прототип — метрический стих, в принципе не знающий пропуска ритмических ударений.

Поэтому-то у него ударность всех стоп выше, чем в модели, разница между сильными и слабыми стопами стерта, и четные словоразделы преобладают над нечетными, стремясь отчетливее членить стих на стопы (в противоположность немецкому подлиннику).

В экспериментах начала XX в. продолжателем Фета выступает В. Иванов, продолжателем Холодковского — А. Артюшков. Вот начало «Тантала» В. Иванова:

Встань, Солнце, из-за гор моих! Встань озарить
Избыток мой и вознесенный мой престол,
Мой одинокий, и сады моих долин!
Встань, око полноты моей, и светочем
Уснувший блеск моих сокровищ разбуди
И слав моих стань зеркалом в поднебесьи,
Мой образ-Солнце! Вечный ли Титан тебя,
Трудясь, возводит тяжкой тучей предо мной,
Иль Феникс-птица мне поет свой вещий гимн,
Паря под сводом раскаленным меж двух зорь —
С тобой, мой брат, я одинок божественно!

Сходство триметра «Тантала» с триметром Фета, по-видимому, объясняется не столько прямым влиянием, сколько общей установкой на воспроизведение античной метрики. Здесь В. Иванов идет даже дальше Фета: у него резко усиливается словораздел после пятого слога (на месте античной цезуры), а сверхсхемные ударения скапливаются на первом, пятом и девятом слогах (на местах античных спондеев; ср. положение слов «встань» и «стань» в цитированных строках). Однако ритмической трехчленности в триметре В. Иванова не возникает: напротив, вторая стопа звучит даже немного сильнее первой, вопреки и античному ритму, и русской модели; чем объяснить эту особенность, мы не знаем.

Стих Артюшкова звучит совершенно по-иному:

День радостный, в который я нашел тебя,
Отпразднуем обедом, принесем богам
И жертвы. И пока я угощу тебя,
Как гостя, не как сына, и в Афины ты
Войдешь сейчас, как странник, посторонний мне.
Не следует, конечно, огорчать жену
Бездетную завидным нашим счастием.
Со временем надеюсь убедить ее
Признать тебя законным мне наследником.

Здесь тенденции Холодковского доведены до предела, трехчленная периодичность ритма достигает полной отчетливости: сильные стопы дают 100% ударности (так что фактически перед нами стих с тремя константами — на первой, третьей и пятой стопах), слабые — минимальный процент; словоразделы подчеркивают эту трехчленность, резко учащаясь после четвертого и восьмого слогов, на границах ритмических периодов. В послесловии к «Котурну и маскам» (стр. 377—379) Артюшков решительно утверждает, что именно такой стих передает диподическое строение триметра («в нем может быть шесть ударений, но логических ударений должно быть три, на определенных местах. . . и часто фактически стопы его из ямбических превраща-

ются в четырехсложные с ударением на втором слоге»), и даже требует, чтобы реальные ударения на слабых стопах стушевывались в чтении.

Авторитет знаменитого Фета и скромного Холодковского, блестящего поэта В. Иванова и старательного переводчика А. Артюшкова, конечно, был несоизмерим. Но несмотря на это, в борьбе двух типов русского триметра победителем остался не стих Фета и В. Иванова, а стих Холодковского и Артюшкова. Дело в том, что у стиха с константой было важнейшее преимущество: сверх первичного ритма он имел и вторичный и потому был легче — волнообразная смена сильных и слабых стоп придавала стиху единство и облегчала его восприятие. Наглядный показатель этого — тот факт, что в стихе с константой Холодковского на пятьсот стихов нет ни одного неправильного, у Артюшкова — тоже ни одного, между тем как опытнейшие поэты В. Иванов и Фет допустили на пятьсот стихов по семь неправильных (5-ст. и 7-ст.), и даже в немецком триметре Гёте два стиха из пятисот неправильны (8816 и 10039).

Удача артюшковского опыта была признана скоро. В 1913 г. появляется «Протесилай» Брюсова, в 1916 г. — «Близнецы» Плавта в переводе Радлова; оба автора решительно принимают константу на пятой стопе, и лишь в первом полустишии предпочитают более свободный ритм, не скованный трехконстантностью Артюшкова. «Протесилай» писался еще в 1911 г. (см. письмо Брюсова в кн.: К. Чуковский, Из воспоминаний, М., 1959, стр. 456); неясно, знал ли уже Брюсов об опытах Артюшкова, изданных лишь в 1912 г., но если и нет, то он самостоятельно пришел к тому же типу стиха. Но еще более выразительным признанием победы «артюшковского» стиха оказался перевод «Орестеи», выполненный В. Ивановым в 1915—1917 гг.: здесь поэт полностью отказывается от стиха «Тантала» и пользуется стихом, разительно схожим со стихом «Котурна и масок» — с константой на пятой стопе и резкой разницей между сильными и слабыми стопами: по размаху ритмической волны стих «Агамемнона» уступает только Артюшкову. Признанный классик русского триметра, отрекающийся от созданного им стиха без константы, чтобы принять разработанный безвестным переводчиком стих с константой, — лучшего свидетельства о победе «артюшковского» стиха нельзя найти.

Практическая победа стиха с константой на пятой стопе была теоретически закреплена учебниками стиховедения. В. Брюсов в «Основах стиховедения» (1918—1923) заявляет, что русский «ямбический триметр почти безисключительно ипостасует последнюю стопу диподией с дактилическим окончанием» (стр. 70 по изд. 1924 г.). Б. Томашевский в 1919 г. говорит об этом еще прямее, иронически упоминая «практикующийся ныне 5-ст. ямб с одними дактилическими окончаниями, носящий громкое название ямбического триметра» («О стихе», стр. 158). Г. Шенгели

(«Техника стиха», М., 1960, стр. 131) по традиции рассматривает триметр в разделе о 6-ст. ямбе, но и он отмечает: «шестая стопа его часто замещается пиррихием, т. е. строка фактически превращается в 5-ст. ямб с дактилическим окончанием». Единственным «голосом против» такой трактовки было выступление В. Пяста («Современное стиховедение». Л., 1931, стр. 199 и 214—215), который настаивал на разнице «между дактилическим окончанием и окончанием, ослабленным на античный образец», и ссылался на строки «Тантала» с пропуском пятого ударения. По-видимому, эти взгляды Пяста представляют собой запоздалый отголосок лекций В. Иванова о стихе, читанных в начале века в кружке поэтов, участником которого был Пяст.

6. *Дальнейшее развитие стиха с константой на пятой стопе* (в таблицах — строки 22—29).

На этом кончается экспериментальный период истории русского триметра. Единственным употребительным его типом остается стих с константой на пятой стопе. Переводчики используют его без труда, их индивидуальные различия стираются. Однако сравнивая переводы различных лет, можно уловить направление дальнейшего развития этого стиха. В нем можно выделить три признака.

Во-первых, это — окончание стиха. Здесь с течением времени все более и более ослабляется ударность последнего, двенадцатого слога. У В. Иванова, Брюсова и Артюшкова («Ион») она никогда не падает ниже 50%, у писателей нового периода никогда не поднимается выше 50%; даже у Артюшкова в поздних «Братьях» она ниже, чем в раннем «Ионе». При этом в переводах трагедий ударность двенадцатого слога неизменно выше, чем в переводах комедий. Переводы 1930-х годов (Пиотровский, Шервинский, Церетели) дают в среднем 45,8% для трагедии и 30,5% — для комедии; переводы 1950-х годов (Апт) 27,4% — для трагедии и 16,4% — для комедии. Наконец, в переводе «Фауста» Пастернака ударность последнего слога падает до нуля — на пятьсот стихов приходится только двенадцать ударений на последнем слоге, но и те без малейшей натяжки атонируются. Так триметр все более становится 5-стопником с «чистым» дактилическим окончанием: последняя тень 6-стопности исчезает.

Во-вторых, это — количество и распределение ударений по стопам. С падением ударности на дактилическом окончании падает общее число ударений в 12-сложном стихе: в триметре начала века (В. Иванов, Брюсов, Артюшков) на один ударный слог приходится 1,56 безударных, в триметре 1930-х годов (Пиотровский, Шервинский, Церетели) — 1,71, в триметре 1950-х годов (Апт, Пастернак) — 1,88 безударных. Однако по сравнению с падением ударности окончания это общее понижение ударности идет более медленным темпом. Это значит, что сокращение числа ударений на окончании компенсируется некоторым повышением

числа ударений внутри стиха. Заметнее всего такое повышение ударности на второй стопе: у большинства авторов она сравнивается по ударности с первой и третьей стопой, так что ритмическая волна в начале стиха сглаживается; здесь переводчики нового периода идут не за Артюшковым, а за Брюсовым и Радловым.

В-третьих, это — срединный словораздел. Недостаточная изученность сложного вопроса о словоразделах в русском стихе не позволяет нам подвергнуть анализу всю сложную кривую словоразделов, но особая роль срединного словораздела в триметре достаточно ясна. В начальном периоде, пока ударность на двенадцатом слоге высока, словораздел после шестого слога явно избегается (Брюсов, В. Иванов, Шервинский, отчасти Пиотровский), так как в сочетании с конечным ударением он дал бы недопустимую в триметре инерцию цезурованного «александрийского» стиха. (Ср. почти полное отсутствие срединного словораздела в двухконстантном стихе Шульца.) За счет понижения словораздела на шестом слоге повышаются смежные словоразделы на пятом и седьмом слогах — это естественное следствие ритмического строя языка; теоретический расчет показывает, что при нуле словоразделов на шестом слоге оказалось бы на пятом слоге 37% словоразделов, а на седьмом слоге — 47%; поэтому говорить о сознательном стремлении переводчиков воспроизвести женскую цезуру античного триметра (как правило, после пятого слога) можно, пожалуй, лишь для «Тантала» В. Иванова и «Агамемнона» Пиотровского. Затем, с течением времени, по мере падения ударности на окончании, опасность возникновения инерции «александрийского стиха» исчезает, и словораздел на шестом слоге избегается все менее, подконец даже превосходя уровень модели (у Апта и Пастернака). Особняком стоит лишь стих Церетели с его неожиданным максимумом словоразделов именно на шестом слоге. Но эта особенность имеет простое объяснение: первоначально (1908 г.) его перевод Менандра был сделан 6-ст. цезурованным ямбом с мужскими и женскими окончаниями, и лишь потом (для изд. 1937 г.) переделан в триметр; переделка изменила ритм ударений, но почти не коснулась ритма словоразделов, и максимум после шестого слога остался следом цезуры 6-ст. ямба.

Таковы признаки, позволяющие решительно утверждать (вслед за Томашевским), что русский триметр все более и более определяется как 5-ст. ямб с дактилическим окончанием.

7. *Трехсложные стопы в триметре.* Как известно, в античном триметре двухсложные ямбические стопы могли заменяться не только двухсложными же стопами (спондеями), но и трехсложными (трибрахий, дактиль, анапест) и даже четырехсложной (прокелевсматик). Возможны ли такие замены в тоническом триметре? Безусловно, возможны: правда, изохронность замен в стихе, вообще не знающем изохронности стоп, сохранена быть не может, но расположение ритмических ударений

по слогам стиха может быть передано в точности. Следовательно, различие между дактилем, анапестом и т. д. в трехсложной замене утратится, но отличие самой трехсложной стопы от обычных двухсложных останется. Получится тот редкий размер, который Ломоносов называл ямбо-анапестическим (приводя искусственный пример: «*На восхо*де солнце как зардится, *Вылета*ет вспыль*чиво хищ*ный Всток. . .»), а современное стиховедение определяет как дольник на двухсложной основе.

В немецком тоническом триметре трехсложные замены употребительны издавна; мы видели их примеры в «Фаусте». В русском триметре, за исключением одной строки в «Тантале» («Коль смертен ты — бог смертен, о человекобог!») и нескольких строк с собственными именами в переводах Шервинского, переводчики лишь дважды обращались к использованию трехсложных замен: Б. Ярхо — в переводе поэмы Петрония о взятии Трои («Сатирикон», гл. 89), и пишущий эти строки — в переводе басен Федра. В пространном обосновании перевода, предпосланном изданию «Сатирикона» (М., 1924, стр. 36—37), Б. Ярхо писал, что кажущаяся неуклюжесть этого размера объясняется лишь его новизной и необычностью, в принципе же он не труднее для восприятия, чем традиционный в русском гексаметре дактиль с хореическими заменами. С этим можно согласиться. Вот начало перевода Ярхо:

Уже фригийцы жатву ви*дят деся*тую
В осаде, в жутком страхе; и колеблется
Доверье эллинов к Калханту вещему.
Но вот влекут по слову бо*га Делий*ского
Деревья с Иды. Вот *под секи*рой падают
Стволы, из коих стро*ят коня* зловещего.
Разверзлись недра, вскрыт *потайной* ковчег коня,
Чтоб в нем укрыть отряд мужей разгневанных. . .

Скудость материала не позволяет углубляться в анализ трехсложных замен в русском триметре. Отметим лишь один любопытный момент: соотношение словоразделов в трехсложных стопах. Здесь возможны семь случаев:

<table>
<tr><td>Схема сл.-разд.</td><td>|⌣⌣–</td><td>⌣|⌣–</td><td>⌣⌣|–</td><td>|⌣⌣⌣</td><td>⌣|⌣⌣</td><td>⌣⌣|⌣</td><td>⌣⌣⌣|</td><td>Всего</td></tr>
<tr><td>Ярхо (на 65 ст.)</td><td>24</td><td>11</td><td>4</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>40</td></tr>
<tr><td>пер. Федра (на 500 ст.)</td><td>37</td><td>29</td><td>9</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>11</td><td>92</td></tr>
<tr><td>Гёте (на 500 ст.)</td><td>29</td><td>27</td><td>56</td><td>—</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>115</td></tr>
</table>

Известно, что, по ритмическим данным русского языка, в двухсложных междоударных интервалах женский словораздел всегда преобладает над мужским и дактилическим (отношение М : Ж : Д по теоретическому расчету — 25 : 60 : 15, по прозе Чехова [подсчеты С. П. Боброва] — 28 : 57 : 15, по 3-ст. анапесту Блока — 32 : 50 : 18). Между тем, в двухсложных интервалах, получающихся при трехсложных заменах в триметре, женский слово-

раздел решительно избегается, уступая первенство мужскому (в русском стихе) или дактилическому (в немецком стихе). Повидимому, это объясняется тем, что для правильного восприятия трехсложной стопы среди двухсложных (по крайней мере, на первых порах) желательны словоразделы, подчеркивающие границы стоп (т. е. в ямбе — мужские), и нежелательны словоразделы, рассекающие стопу (т. е. женские). Объяснить преобладание дактилических словоразделов у Гёте мы не беремся.

8. *Заключение.* В общих чертах история становления русского ямбического триметра представляется теперь так.

Задача, стоящая перед русским стихосложением, определялась так: нужно было создать 12-сложный ямбический стих, нерифмованный, по возможности — с трехчленным ритмом. Подойти к решению этой задачи можно было от одного из двух размеров, уже освоенных русским стихом — от 6-ст. или 5-ст. ямба. И тут, вопреки первому впечатлению, менее удобным «стихом-основой» оказался 6-ст. ямб и более удобным — 5-ст. ямб.

6-стопный ямб употреблялся в русской поэзии в очень твердой традиционной форме: с цезурой, с переменными мужскими и женскими окончаниями и с рифмой. Чтобы он отвечал основному условию задачи, нужно было прежде всего отнять у него чередование окончаний и рифму. Это сделали Баженов в «Осах» и Голосовкер. Результат оказался неудовлетворительным: цезура слишком напоминала о первоначальном, традиционном облике стиха, и получившийся размер казался не новым, а испорченным старым (особенно в драме, где слух особенно ожидал традиционных парных рифм «александрийского стиха»). Кроме того, дополнительное условие оставалось невыполненным: двухчленный ритм цезурованного стиха не передавал трехчленного ритма образца.

Потребовался следующий шаг в сторону от традиционного «стиха-основы». Этот шаг сделали Георгиевский, Шнейдер, Краузе, отказавшись от цезуры 6-ст. ямба; еще дальше шагнули Фет и В. Иванов, отказавшись и от константы 6-ст. ямба. Получившийся стих звучал своеобразнее и воспринимался уже как новая форма, а не как испорченная старая. Недостаток его был в том, что он был лишен вторичного ритма и должен был улавливаться слухом не в два или три приема, а разом; это было трудно и порождало ошибки в счете стоп. В то же время трехчленность попрежнему не была достигнута.

Стало ясно, что вторичный ритм традиционного «александрийского» 6-стопника недостаточно устранить, а необходимо заменить новым. В этом направлении был сделан единственный опыт — в «Лягушках» Баженова. Опыт оказался удачным: вторичный ритм появился, и трехчленность была достигнута. Но развития этот опыт не получил — может быть потому, что расположение сильных мест на второй, четвертой и шестой стопах ближе всего на-

поминало 6-ст. хорей «камаринского» типа, в стиховом сознании прошлого века с античной тематикой никак не вязавшийся. И на этом эксперименты, исходившие из 6-ст. ямба, иссякли.

Между тем 5-ст. ямб с середины XIX в. представлял очень выгодное поле для стихотворных опытов. Во-первых, он особенно часто употреблялся именно в драме, именно без рифм и именно в виде однообразных окончаний (женских, лишь время от времени перебиваемых мужскими). Во-вторых, он был свободен от цезуры и поэтому обладал большей ритмической гибкостью; при этом трехчленные ритмы (типа «Утешится безмолвная печаль И резвая задумается младость») были в нем едва ли не господствующими, тогда как в 6-ст. ямбе трехчленные ритмы (типа «Под гильотиною Версаль и Трианон») попадались лишь изредка. Если стихотворцы-дилетанты, вроде Краузе, ничего не слышавшие в ямбическом стихе, кроме первичного ритма, естественно, искали русский триметр в 6-ст. ямбе, то стихотворец-профессионал с развитым слухом, улавливавшим в стихе волну вторичного ритма, столь же естественно должен был искать русский триметр в трехчленности 5-ст. ямба. Иными словами, первичный ритм античного триметра требовал передачи русским 6-стопником, вторичный ритм — русским 5-стопником; и то, что 5-стопник в конце концов возобладал, лучше всего свидетельствует о значении вторичного ритма в русском стихе.

Чтобы из 5-ст. ямба получился триметр, достаточно было взять обычный в русской драме нерифмованный стих с женским окончанием и надставить его с конца на один слог. Это сделали Холодковский и Артюшков, создавшие тот 5-ст. ямб с дактилическим окончанием, которым пользуются теперь все переводчики античного триметра. На последнем слоге дактилического окончания по традиции допустимо факультативное ударение; если поэт от этой вольности отказывается, то перед нами стих Пастернака с чистым дактилическим окончанием; если поэт делает эту вольность нормой, то перед нами стих Шульца с двумя константами (главная из них — на пятой, а не на шестой стопе, ибо именно она определяет ритмическую волну); в широком промежутке между этими двумя крайностями лежат все остальные образцы современного триметра. Любопытно, что трехчленному ритму после первых опытов все меньше уделяется внимания, и ритмическая кривая первого полустишия сглаживается: трехчленный ритм сделал свое дело, подсказав поэтам обратиться к 5-ст. ямбу вместо 6-стопного, и более его услуги им не нужны.

Этот обзор не может дать ответа на вопрос «как писать русским триметром?»; он лишь рассказывает, «как писали русским триметром». Стиховедение — наука не нормативная, она не дает предписаний, а исследует факты. Опыты дальнейших переводов триметра подтвердят или опровергнут наши предварительные наблюдения над ритмическими тенденциями этого размера.

Дополнение. Когда настоящая статья уже печаталась, проф. К. Тарановский любезно сообщил нам результаты своих подсчетов по ямбическому триметру Фета, Холодковского, Пастернака (переводы «Фауста») и В. Иванова («Тантал»). К. Тарановский подсчитывал раздельно стихи без ударения на 12-м слоге (5-ст. ямб с дактилическим окончанием) и стихи с ударением на 12-м слоге (6-ст. ямб с мужским окончанием). Результаты следующие:

Ударения на слогах:	2	4	6	8	10	12	Число стихов
ФЕТ:							
5-ст. ямб:	86,3	73,7	84,6	61,1	100	0	95
6-ст. ямб:	81,5	76,4	75,9	76,9	72,0	100	432
в среднем:	82,4	75,9	77,4	74,0	77,0	82,0	527
ХОЛОДКОВСКИЙ:							
5-ст. ямб:	93,1	78,1	93,9	63,1	100	0	347
6-ст. ямб:	88,6	70,3	98,2	49,8	100	100	219
в среднем:	91,3	75,1	95,6	58,0	100	38,7	566
ПАСТЕРНАК:							
5-ст. ямб:	81,9	71,0	78,5	67,1	100	2,2	587
В. ИВАНОВ:							
5-ст. ямб:	87,2	82,7	73,7	62,6	100	0	179
6-ст. ямб:	87,1	90,0	69,4	77,9	88,6	100	710
в среднем:	87,2	88,5	70,3	74,8	90,9	79,9	889

Словоразделы после слогов:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Число стихов
ФЕТ:											
5-ст. ямб:	43	31	43	40	25	39	61	23	0	0	95
6-ст. ямб:	33	36	43	40	34	39	40	35	48	35	432
в среднем:	35	35	43	40	33	39	44	33	39	29	527
ХОЛОДКОВСКИЙ:											
5-ст. ямб:	37	40	63	32	28	48	46	37	0	0	347
6-ст. ямб:	31	36	63	29	30	55	43	21	43	57	219
в среднем:	35	38	63	31	28	51	45	29	17	22	566
ПАСТЕРНАК:											
5-ст. ямб:	33	35	48	32	35	39	40	37	1	1	587
В. ИВАНОВ:											
5-ст. ямб:	40	38	34	56	17	43	45	32	0	0	179
6-ст. ямб:	41	42	33	60	22	41	49	36	52	38	710
в среднем:	41	41	33	59	21	42	49	35	41	30	889

Эти цифры особенно интересны тем, что они намечают дальнейшие перспективы исследования ямбического триметра: изучение взаимовлияния двух ямбических размеров, из которых он вырастает.

ГРЕЧЕСКИЙ И ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫКИ

А. Н. Попов

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ДРЕВНИЕ

«С кем ты имеешь сношения, Демосфен?» С таким вопросом в письменной форме обращался гимназист IV класса дореволюционной гимназии к знаменитому афинскому оратору [1]. Впрочем, не нужно думать, что это действительно интересовало нашего четвероклассника: просто он вынужден был спросить об этом (разумеется, не ожидая ответа) по прихоти составителя учебника. Да и тому ничуть не было важно знать подробности жизни Демосфена, его задача проще: поймать ученика — поставит он дательный падеж без предлога («с кем») или нет, да сумеет ли он образовать звательный падеж от Δημοσθένης.

Дальше ученик заявляет: «Я буду пользоваться бочкой вместо жилища» [2]. Но так как, по-видимому, таковую можно было достать, предварительно выселивши из нее Диогена, то и это не было оставлено без внимания составителем учебника. Гимназист должен был — опять-таки в письменной форме — решительно заявить: «Должно доставить Диогену другую бочку» [3]. Вот такой своеобразный обмен жилплощадью служил когда-то материалом для изучения греческого языка.

Не лучше обстояло и с латинским. «Тулл Гостилий победил Альбу Лонгу, а твои лукавые планы, Метий Фуффетий, приготовили гибель твоему отечеству» [4]. С такой укоризной обращался второклассник к неизвестному ему адресату.

Естественно возникает вопрос: как же относились учащиеся к переводам таких фраз? Многолетние наблюдения убедили меня совершенно определенно в том, что подавляющее большинство учащихся совсем даже не вникали в смысл того, что они переводят, а только трепетали, как бы не наделать ошибок. Все внимание сосредоточивалось или на отдельных словах, или на грамматических формах, в поисках тех капканов, которые были весьма

---

[1] «Упражнения по греческой этимологии», ч. II. Составил Э. Кох. М., 1891, стр. 24, № 63. 4.

[2] Указ. соч., стр. 38, № 77.5.

[3] Указ. соч., стр. 25, № 65.7.

[4] «Латинская христоматия (sic!) для II и III кл. гимназий». Составил П. Виноградов. М., 1892, стр. 2.

искусно расставлены. Так, например, я иногда умышленно привлекал к переводу вышеупомянутого Метия Фуффетия с тем, чтобы проверить, видит ли учащийся в данном примере что-нибудь другое, кроме того, что звательный падеж будет оканчиваться на i, а не на ie. И что же оказалось? Фразу переводили, но никто меня не спрашивал, кто такой Метий Фуффетий, а когда я сам задавал вопрос, кто это такой, то, разумеется, не находилось никого, кто бы имел хоть какое-нибудь представление об этом таинственном незнакомце. Да никому это и не нужно было! [5]

Возникает другой вопрос: «А нужно ли при обучении древним языкам вообще заниматься переводами с русского языка на латинский и греческий?» Учитывая небольшое количество учебных часов, отводимых в наше время на изучение древних языков, многие, даже горячие сторонники классического образования, утверждают, что переводы с русского — это излишняя роскошь, не дающая в методическом отношении того эффекта, которого следовало бы ожидать соответственно затраченному на это времени. Сторонники такого взгляда считают более целесообразным перенести центр тяжести исключительно на латинские и греческие тексты, не признавая за переводами с русского почти никакого значения. Много по этому вопросу и писалось, и говорилось, стало быть, во всех подробностях повторяться здесь не стоит, и потому я позволю себе лишь вкратце остановиться на двух основаниях, в силу которых, по моему глубокому убеждению, переводы с русского, при условии правильной их постановки, необходимы.

Во-первых, как это может на первый взгляд показаться несколько странным, они необходимы для быстрого и правильного понимания точного смысла читаемого латинского или греческого текста, а во-вторых, что может показаться еще более странным, они необходимы для перевода иностранного текста хорошим литературным русским языком. И в том, и в другом смысле отрицательное отношение к переводам с русского может нанести непоправимый вред. Об этом скажу дальше.

Для правильного понимания читаемого иностранного текста прежде всего надо точно воспринимать синтаксическую конструкцию как в рамках простого независимого предложения (здесь главным образом речь идет о функциональном значении падежей), так и в сложно-подчиненных предложениях.

Если преподаватель убедится — сначала на очень простых и кратких примерах, — что учащиеся в состоянии безошибочно перевести на латинский (или греческий [6]) язык нехитрую фразу,

[5] А ведь какой трагический эпизод, так ярко рассказанный Ливием (I, 28), связан с этим именем!

[6] Принимая во внимание, что в настоящее время в большинстве вузов преподается только латинский язык, тогда как греческий систематически изучается лишь на классических отделениях филологических факультетов,

содержащую наиболее часто встречающиеся синтаксические обороты — предложения с союзами ut, cum, косвенные вопросы, acc. и nom. c. inf., abl. abs. и т. п., то можно быть уверенным, что эти конструкции воспринимаются при чтении латинского текста сознательно. Тогда незачем при чтении автора спрашивать, какое здесь ut, какое cum, почему стоит coniunctivus и т. п. и т. п. Все это не только замедляет чтение авторов, но и убивает интерес к нему.

Проверить же степень точного восприятия латинской конструкции только на латинском тексте нельзя: нет гарантии, что перевод сделан не по догадке, а такой перевод, не только сплошь да рядом неверный, приучает еще и к верхоглядству, к «приблизительному» пониманию читаемого.

Привыкнув к такому, с позволения сказать, «переводу» [7], отвыкнуть от него уже трудно, а подчас и невозможно.

Что переводы с русского способствуют быстрому и правильному пониманию текста и дают возможность читать античных авторов в большем количестве, это можно считать бесспорно установленным.

Но откуда черпать материал для переводов с русского? Конечно, на первых порах фразы будут простые, но при первой возможности надо материал для переводов сделать интересным.

Если преподаватель откажется от традиционных текстов, связанных с древней историей (которую, к слову сказать, многие из наших учащихся знают плохо, и фразы такого содержания у них почти не вызывают никакого представления) и от набивших оскомину «воспитательных сентенций» [8], и обратится к русской поэзии — пусть даже это будут популярные песни или пословицы, — то это окажет значительную услугу и при переводе с древних языков на русский. Дело в том, что при переводе русских классиков, особенно поэтов, отказ от попыток буквального перевода неизбежен. Приходится искать эквиваленты в текстах древних авторов. И наоборот: при переводе с древних языков на русский следует постараться припомнить, нет ли соответствующего образа в русской литературе, и как он, этот образ, выражен.

Положим, дается для перевода на латинский язык вопрос Онегина к Ленскому: «Неужто ты влюблен в меньшую?» Как перевести «влюблен»? Преподаватель объясняет, что «быть влюблен-

---

да кое-где на исторических факультетах, то, говоря о латинском (или греческом) языке, я имею в виду оба древних языка.

[7] В данном случае под словом «перевод» имеется в виду не второй момент перевода — выражение мысли подлинника на ином языке, а первый, т. е. только уразумение мысли подлинника.

[8] «Избегайте сообщения (sic!) с теми, коих нравы не нравятся добрым людям» («Упражнения в переводе с русского языка на латинский», составленные В. Г. Зубковым. М., 1890, стр. 30); «За добродетель мы по праву бываем хвалимы» (там же, стр. 33).

ным в кого-нибудь» по-латыни, между прочим, можно выразить глаголом ardere с abl.: Num minore natu ardes? Поэтому, когда учащимся придется читать Горация, то donec non alia arsisti [9] уже не покажется малопонятным оборотом и будет воспринято сразу: «пока ты не был влюблен в другую».

Еще пример. Дал как-то я своим студентам для перевода на греческий язык: «В вечерний час пришел ко мне однажды простой пастух». Стали думать, как перевести «в вечерний час». Сразу это показалось чем-то замысловатым. Предложил посмотреть «Анабасис» Ксенофонта, II. 2. 17 и IV. I. 10, и все стало просто: Ἦλθέ ποτε ὡς ἐμὲ ποιμήν τις σκοταῖος. Далее: «В младых летах, — сказал он, — я ослеп». Опять некоторое замешательство, как перевести «в младых летах». Снова прошу обратиться к тому же Анабасису I. 9. 2. Получилось совсем просто: Ἔτι παῖς ὢν τυφλὸς ἐγενόμην. Стало быть, встретив где-нибудь в греческом тексте ἔτι παῖς ὢν, учащийся не сочтет для себя обязательным ограничиться стандартным «будучи еще ребенком», а привыкнув переводить не слова, а мысли, будет свободнее пользоваться русской литературной речью.

Но при переводе вышеприведенных фраз меня удивило вот что: никто не мог сказать, какому русскому поэту принадлежат эти строки и из какого произведения они взяты. Все были весьма смущены, когда услыхали, что автором является не кто иной, как Пушкин, а слова эти взяты из «Бориса Годунова» (монолог патриарха в царских палатах). При этом выяснилось нечто неожиданное: оказалось, что не все читали «Бориса Годунова», а если и читали, то плохо помнят. Дело в том, что в числе произведений Пушкина, знание которых обязательно для поступающих в вузы, «Борис Годунов» не упомянут, равно как не упомянуты ни «Полтава», ни «Медный всадник» [10]. Слабое знание студентами русской классической прозы и поэзии XIX в. не секрет, и надо видеть, с каким удовольствием переводят студенты отдельные фразы, а иногда и небольшие отрывки (часто с неизбежными пропусками) из таких не значащихся в программе произведений, особенно когда расскажешь им, в чем дело.

Некоторые резко возражают против переводов русской поэзии на древние языки, считая это чуть ли не глумлением над Пушкиным, Лермонтовым и другими нашими поэтами, но ведь не глумимся же мы над Гомером или Горацием, когда прозой переводим их на русский язык. Как Гомер и Гораций навсегда останутся Гомером и Горацием, так и наши великие поэты останутся самими собой, и никому в голову не придет утверждать, что перевод Пушкина есть подлинный Пушкин.

---

[9] Hor., Carm., III, 9.5—6.

[10] «Программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1963 г.», утвержденные Министерством высшего и среднего специального образования СССР. Изд-во МГУ, стр. 4.

Конечно, есть отдельные места, которые должны остаться неприкосновенными, а посягать на них — nefas. К числу таких мест следует отнести, между прочим, и вступление к «Медному всаднику», хотя и оттуда можно взять — «Люблю тебя, Петра творенье!» Вообще же для переводов предпочтительнее выбирать отрывки повествовательного характера, например: «Выходит Петр; ему коня подводят» и т. д.

Ясно, что ученическому переводу, да и то под обязательным контролем преподавателя, подлежит только то, что может быть изложено правильным латинским языком. За то же, что учащимся не по силам, не следует и браться. Бывали случаи, что, увлекшись попытками переводов русских стихов на латинский язык, учащиеся сами, без совета и руководства со стороны преподавателя, выбирали стихи, которые им особенно понравились, и старались перевести их на латинский язык. Вот тут действительно могло получиться издевательство и над поэтом, и над грамматикой.

В качестве профилактики, не с тем, чтобы отбить охоту самостоятельно выбирать и переводить на латинский язык все, что захочется (laudanda voluntas), но с тем, чтобы показать, как переводили Пушкина наши ученые-классики, не мешает познакомить молодежь с некоторыми переводами, даже в отрывках, сделанных Коршем и Зенгером. В качестве примера можно взять хотя бы начало известного стихотворения Пушкина «Поэт, не дорожи любовию народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. . .» и т. д.

Корш:

O vates, populi favor
    ne sit cura tibi: nam simul ac brevis
laudis transierit fremor
    stulti iudicium plebis et audies
risus indocilis. . . [11]

Зенгер:

Ne nimium, vates, tribuas popularibus aures:
    plausibus et studiis quam cito finis adest!
Censuram nosces fatui turbaeque cachinnos;
    haec quoque fer placidus propositique tenax. . . [12]

Оба перевода представляют собой прекрасный материал, на котором следует отчетливо показать учащимся, как при переводах одна и та же мысль принимает разные, часто по внешности совсем непохожие, формы не только в разных языках, но даже

[11] Th. K o r s c h. Stephanos: carmina partim sua Graeca et latina, partim aliena ab se conversa elegit. . . Hauniae, 1886, p. 16.

[12] «Метрические переложения на латинский язык Григория Зенгера». СПб., 1906, стр. 7.

в пределах одного и того же языка допускает стилистические варианты, строго подчиненные грамматическим и фразеологическим требованиям.

Наряду с переводами Корша и Зенгера, отличающимися чистотой и правильностью латинской речи, в качестве образца безответственного отношения к тексту русского поэта небезынтересно привести перевод стихотворения А. К. Толстого «Средь шумного бала», сделанный одним из преподавателей латинского языка. Вот, что получилось:

Convivi tumultu repente,
dum vanitas mundi fremebat,
te vidi, sed umbra arcana
os tuum vultumque tegebat. . .

Последняя строфа русского подлинника, дышащая такой нежностью —

И грустно я так засыпаю,
и в грезах неведомых сплю. . .
Люблю ли тебя, я не знаю, —
но кажется мне, что люблю!

получила вид:

Si iaceo et obdormisco
Somnisque circumvolat sensus,
amore an flagrer, ignoro,
sed videor esse incensus.

Такого рода упражнения ни в каком случае не допустимы, и если мы говорим о русской поэзии как о материале для перевода на латинский язык с целью научить латинскому языку, то прежде всего надо не забывать завета Горация:

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam
Viribus et versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant umeri. . .[13]

Мне кажется наиболее правильным приемом при пользовании текстами русских авторов в учебных целях будет такой.

Если найти отдельную законченную по мысли и форме фразу, представляющую тот или иной интерес в грамматическом отношении, легко поддающуюся переводу правильным латинским языком, можно ее взять в неприкосновенном виде. Из 200 басен Крылова таких фраз найдется не меньше 20—30. Например: «Делом, не сведя концов, не следует хвалиться» («Синица») — Re imperfecta gloriandum non est, или Res imperfecta laudanda non est [14]; «Кого нам хвалит враг, в том верно проку нет» («Лев и

---

[13] Hor., Epist., II. 3. 38—40.

[14] Как в этом, так и в других случаях я беру примеры, где перевод не должен быть слово в слово.

барс») — Qui ab hoste laudatur, nullius pretii est, или: nihil utilitatis in eo est; «Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей» («Плотичка») — Tempus autumno appropinquante pluviosius est, garruliores homines senescentes — «Где силой взять нельзя, там надобна ухватка» («Два мальчика») — Ubi vis adhiberi non potest, arte opus est; «К стыду из нас не всякий сравнится в верности с собакой» («Собака, человек, кошка и сокол»). Как в данном случае сказать по-латыни «к стыду»? На помощь придет Овидий: Turpe quidem dictu. . . (Pont., II, 3. 7) и т. д. и т. д.

Но иногда, чтобы полностью осмыслить данную фразу, басню надо прочесть целиком. «Нет, Федя,[15] те каштаны не про нас!» («Два мальчика») — Heu, amice carissime, non nobis sunt illae castaneae! Выхваченная из контекста фраза (а она является неплохим примером на dativus commodi) непонятна, а если преподаватель прочтет своим слушателям эту, сравнительно мало известную, басню, все станет ясным. Впрочем, эту басню можно использовать и как пример на coniunctivus hortativus: «Пойдем-ка, да нарвем себе каштанов».

Можно себе представить, как будет изумлен человек, не знающий басни «Мышь и крыса», если ему безапелляционно заявят, да еще заставят перевести на латинский язык, что сильнее кошки зверя нет. А ведь среди наших студентов не мало иностранцев, не имеющих понятия о существовании этой басни. Некоторые басни (конечно, с небольшими купюрами) почти целиком пригодны для перевода. Таковы «Осел и соловей», «Два приятеля» и др. Кое-что можно взять из лермонтовского «Мцыри», например: «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Не говоря уже о том, что эта фраза в грамматическом отношении вообще хороший пример на acc. c. inf., надо учащимся объяснить, что в латинском языке она должна быть обязательно выражена в страдательной конструкции. Non semel, senex, audivi me a te morte liberatum. Иначе получилась бы двусмыслица — кто кого спас! Но тут еще и ablativus в чистом виде — morte.

Легко поддаются переводу отдельные места из стихотворения «Бородино». Стихотворение надо прочесть вслух[16], останавливаясь на тех местах, откуда можно начать перевод. «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». — «И умереть мы обещали и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой!» — Milites, nonne Mosqua a tergo est? Moriamur igitur apud Mosquam, ut fratres nostri moriebantur. Polliciti nos morituros esse, fidemque in pugna Borodinensi solvimus. Употреблением собственных имен смущаться незачем.

---

[15] По поводу передачи собственных имен скажу несколько ниже.

[16] Вообще я очень рекомендую преподавателям читать вслух как можно больше, постепенно приближаясь к месту, предназначенному для перевода.

Ведь не останавливает нас при переводе античных авторов наличие имен, которых нет в русском языке. И если эти имена при переводе мы руссифицируем, то отчего же и нас лишать права латинизировать русские имена или оставлять их в корявой, несклоняемой форме Ruslan, Svetozar и т. п. Неужели из-за этого отказаться от частичного перевода такого прекрасного стихотворения Лермонтова, как «Беглец», отличающегося высоким патриотизмом: «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла. . .» Много можно взять и из «Горе от ума»: «Хотел объехать целый свет, и не объехал сотой доли! — Totum orbem terrarum peragrare in mente habueram, sed ne centesimam quidem partem peragravi. А какой благодарный материал представляет собой «Песнь о вещем Олеге»! Частично ее можно использовать уже при самых первых занятиях: «Победой прославлено имя твое», «Воителю слава — отрада», «Примешь ты смерть от коня своего». А когда учащиеся больше овладеют языком и явится возможность давать более сложные фразы, преподаватель убедится, что это великолепное стихотворение с некоторыми купюрами вполне может быть использовано для перевода. Надо только ревниво оберегать латинский язык. Так, «Твой щит на вратах Цареграда» нехорошо перевести: Scutum tuum in porta Constantinopolis est, надо сказать: portae Constantinopolis scutum tuum affixum est. Образ получается ярче.

Не менее ценный материал дает и «Полтава». Но преподавателю и самому надо немало поработать как в поисках подходящего текста, так и над его переводом.

Можно было бы без конца приводить подобные примеры, но это уже дело преподавателя, убедившегося, какую положительную роль играют переводы русской поэзии при обучении древним языкам. Многие наши ученые — филологи-классики (в том числе проф. Ф. Ф. Зелинский) [17] при объяснении каких-либо вопросов грамматики древних языков пользовались произведениями русских поэтов. Но никто другой из наших крупнейших ученых не пользовался этим методом так широко, как С. И. Соболевский, что, между прочим, было отмечено в рецензии на его учебник греческого языка, в котором говорилось, что «такой материал и занимателен, и очень полезен: учащийся приучается находить нужные эквиваленты оборотов, отыскание которых бывает так затруднительно при переводе с древних языков» [18].

Настоящая небольшая статья является как бы иллюстрацией и конкретизацией, как на практике ближайшие ученики незабвенного С. И. Соболевского, к которым имею честь принадлежать и я, выполняют его заветы при преподавании древних языков.

---

[17] Ф. Зелинский. Из жизни идей. Древний мир и мы. СПб., 1905, стр. 42—43.

[18] ВДИ, 1949, № 2.

Г. С. Кнабе

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ АБСОЛЮТНЫХ ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

Абсолютным причастным оборотом называется равнозначная придаточному предложению синтаксическая группа, состоящая из причастия и имени, согласованного с ним в падеже и обозначающего субъект действия, выраженного причастием; в такую синтаксическую группу могут входить также второстепенные члены, находящиеся в синтаксической зависимости от этого причастия или этого имени.

Подобные причастные обороты отмечаются в древних письменных памятниках многих индоевропейских языков. Различия в их оформлении в каждом из языков и низкая употребительность их в древнейших памятниках заставляют предположить, что они развились в каждом языке самостоятельно. В то же время они предстают перед нами во многих родственных языках как явление в общем аналогичное, и это наводит на мысль о происхождении их из одного общего источника. По-видимому, появление абсолютных причастных оборотов было результатом определенной тенденции в развитии строя индоевропейского предложения в целом, реализовалась же эта тенденция в каждом языке по-своему, в соответствии со специфическими особенностями его синтаксического строя.

Выяснению общих предпосылок появления самостоятельных причастных оборотов и их связи с магистральными тенденциями в развитии индоевропейского предложения было посвящено много работ, в значительной степени разъяснивших этот вопрос [1]. Конкретные же условия образования этих оборотов в отдельных языках, и в частности в древнегреческом, по сути дела, не выя-

[1] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. I—II. М.' 1959; т. III. Харьков. 1899; Д. Н. Овсянико-Куликовский. Синтаксические этюды. — ЖМНП, май 1897, июнь 1898, июнь 1899; С. Д. Кацнельсон. Историко-грамматические исследования, т. 1. М.—Л., 1949; Г. С. Кнабе. Еще раз о двух путях развития сложного предложения. — «Вопросы языкознания», 1955, № 1; Г. С. Кнабе. Абсолютный причастный оборот во французском и латинском языках. М., 1955; В. Г. Адмони. Завершенность конструкции как явление синтаксической формы. — «Вопросы языкознания», 1958, № 1; В. Г. Адмони. Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963 (особенно стр. 20—26).

снены. В этой области предлагались решения многих очень авторитетных исследователей [2], но в большинстве случаев без развернутой аргументации, поэтому объяснить с их помощью некоторые факты оказывается невозможным. Ввиду этих причин представляется целесообразным проанализировать употребление и форму абсолютного причастного оборота в ранних памятниках одного определенного индоевропейского языка и попытаться проследить становление этой конструкции в данных конкретных условиях. Благодарный материал для такого исследования дают, в частности, поэмы Гомера.

I

В поэмах Гомера содержится всего 78 абсолютных причастных конструкций — 46 в «Илиаде» [3] и 32 в «Одиссее» [4]. В это число не входят 6 (3 в «Илиаде» [5] и 3 в «Одиссее» [6]) оборотов так называемого «самостоятельного именительного»: все обороты, составляющие материал настоящего исследования, представляют собой конструкции «родительного самостоятельного» — т. е. и причастие, и согласованное с ним имя стоят в родительном падеже.

Самостоятельные обороты выражают у Гомера адвербиальные отношения времени, причины, условия, сопутствующих обстоятельств; кроме того, во многих случаях абсолютный оборот фактически содержит самостоятельное высказывание, уточняющее не тот или иной член личноглагольного предложения, а все это предложение в целом. Примеры:

«Одиссея», XVI, 373:

τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε —

«. . . *пока он жив*, наши замыслы не осуществятся» (обстоятельство времени).

---

[2] Fr. Miklošich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, Bd. IV. Wien, 1868—1874, S. 615; F. de Saussure. L'emploi du génitif absolu en sanskrit. Genève, 1881; B. Delbrück. Altindische Syntax. Halle, 1888, p. 389; B. Delbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. II Theil. Strassburg, 1897, S. 493—494; F. Sommer. Vergleichende Syntax der Schulsprachen. Leipzig und Berlin, 1921, S. 103; A. Meillet ey J. Vendryès. Traîté de grammaire comparée des langues classiques. Paris, 1924, p. 552, 557; Stolz-Schmalz. Lateinische Grammatik. 5. Auflage, 1928, S. 446.

[3] I, 88; II, 551; V, 203, 500, 865; VII, 63—64; VIII, 37, 164, 537; IX, 426, 574; X, 246, 356; XI, 459, 509; XIII, 409; XIV, 100; XV, 191, 328, 548; XVI, 306; XVII, 265, 393, 532; XVIII, 10, 606; XIX, 62, 75, 210; XX, 405; XXI, 290, 437, 523; XXII, 47, 164, 288, 384, 432; XXIII, 521, 599; XXIV, 244, 248, 289.

[4] I, 16, 390, 404; IV, 19, 393, 717; V, 287, 390; X, 470; XI, 248, 295; XIV, 162, 294, 450, 475; XVI, 373, 439; XVII, 296; XVIII, 268; XIX, 19, 153, 153, 195, 195, 306—307, 519; XX, 25, 218, 232, 312, 312; XXIV, 507, 535.

[5] III, 210; X, 224; XII, 400.

[6] XVIII, 95—96; XIX, 230—231; XXIV, 483—484.

«Илиада», XIX, 75:

ὣς ἔφαθ', οἱ δ' ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλείωνος —

«. . . ахейцы возрадовались, *так как великий душою Пелид оставил* свой гнев» (обстоятельство причины).

«Илиада», XIV, 99—100:

. . . οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλαδ' ἑλκομενάων

«ибо ахейцы боя не выдержат, *если суда повлекутся на волны*» (обстоятельство условия).

Одиссея, XIV, 475:

νὺξ δ' ἄρ ἐπῆλθε κακὴ Βορέαο πεσόντος —

«наступила недобрая ночь, *дул северный ветер*» (оборот выражает сопутствующие обстоятельства).

«Одиссея», I, 16—17:

ἀλλ' ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι —

«*Но протекали года*, и уж год наступил, когда было сыну Лаэрта богами назначено в дом свой вернуться» (абсолютный оборот играет роль независимого предложения).

Самая распространенная синтаксическая функция абсолютных причастных оборотов в обеих поэмах — выражение адвербиальных отношений времени. В «Илиаде» в роли обстоятельства времени выступают 23 оборота из 46, в «Одиссее» — 19 из 32. Частота употребления абсолютных оборотов в других синтаксических функциях характеризуется следующими цифрами: оборот, равноценный самостоятельному предложению, в «Илиаде» 7 раз, в «Одиссее» — 8 раз; сопутствующие обстоятельства — соответственно, 5 и 2; причина — 6 и 1, условие — 3 и 1; два раза в «Илиаде» и один раз в «Одиссее» синтаксическая функция абсолютного оборота не поддается однозначному определению — ниже эти случаи будут разобраны подробнее.

Родительные самостоятельные, выражающие обстоятельство времени, в свою очередь делятся на две группы. К одной относятся обороты, причастие которых обозначает действие, *предшествующее* действию личного глагола, к другой — конструкции, где действие причастия *одновременно* с действием глагола. Естественно, что в оборотах первого типа используются главным образом причастия аориста, в оборотах второго типа — причастия настоящего времени и перфекта.

Анализ тех и других показывает, что значение одновременности легко переходит в значение сопутствующих обстоятельств или независимости, а предшествование легко получает более или

менее сильный оттенок каузальности или — если оно отнесено к будущему действию — условности.

Такой комплексный, нерасчлененный характер выражаемых абсолютным оборотом синтаксических отношений хорошо виден на следующих примерах.

«Илиада», VIII, 536—538:

. . . ἐν πρώτοισιν, ὀίω
κείσεται οὐτηθείς, πολέες δ'ἀμ φ' αὐτὸν ἑταῖροι,
ἠελίου ἀνιόντοσ ἐς αὔριον —

. . .но, надеюся, завтра меж первых
Будет пронзенный лежать, с неисчетными окрест друзьями,
Он перед солнцем всходящим.

Подчеркнутый абсолютный оборот может с равными основаниями рассматриваться как обстоятельство времени и как выражение сопутствующих обстоятельств. Он выражает здесь и первое, и вторoe, второе через первое.

Столь же неуловима граница, отделяющая обороты, которые выражают одновременность или сопутствующие обстоятельства, от оборотов, фактически играющих роль самостоятельного высказывания.

«Илиада», XVII, 391—396:

δεξάμενοι δ' ἄρα τοίγε διαστάντες τανύουσιν
κυκλόσ', ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει
πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό —

Те, захвативши ее и кругом расступившися, тянут
В разные стороны; влага выходит, а тук исчезает,
И, от многих влекущих, кругом расширяется кожа.

Причина и условие являются такими же видоизменениями понятия предшествования, как сопутствующие обстоятельства и независимость — видоизмененными понятиями одновременности.

«Одиссея», XXIV, 535:

πάντα δ' ἐπὶ χθονὶ πίπτε, θεᾶς ὄπα φωνησάσης.

Здесь равно можно усмотреть в подчеркнутом обороте и временное значение предшествования: «все пали на землю, после того как раздался голос богини», — и причинную связь — «пали оттого, что раздался голос богини». Как показывает приведенный выше пример («Илиада», XIV, 99—100), условное значение возникает при отнесении тех же отношений предшествования к будущему или гипотетическому действию.

В отдельных случаях нерасчлененность выражаемых абсолютным оборотом адвербиальных отношений доходит до того, что синтаксическую функцию, выполняемую оборотом в предложении, становится невозможно определить. Такое положение отмечается, например, в «Илиаде», XIX, 210.

424

Мы видим, таким образом, что указанные выше многообразные адвербиальные значения абсолютных причастных оборотов стягиваются в две больших группы: (1) одновременность — сопутствующие обстоятельства — независимость и (2) предшествование — причина — условие. В анализируемых памятниках перед нами, по сути дела, лишь два главных типа родительных самостоятельных — те, что выражают одновременность, с ее внутренними разновидностями, и те, что выражают предшествование, с его внутренними разновидностями.

Из этих двух типов наиболее характерен для языка Гомера первый, для языка классической прозы V—IV вв. — последний.

Из 23 родительных самостоятельных, которые в «Илиаде» играют роль обстоятельства времени, 14 выражают действие, одновременное с действием личного глагола, и 9 — предшествующее ему; в «Одиссее» соответственно — 16 и 3. Всего оборотов, связанных с понятием одновременности, в обеих поэмах 52; оборотов, связанных с понятием предшествования, — 26. Соотношение причастий настоящего времени и перфектных, с одной стороны, и аористных причастий, с другой — 53 и 20 [7].

Различие между абсолютными причастными оборотами обеих указанных разновидностей касается не только грамматики, но и стиля. Ситуация, существующая одновременно с главной, легко переходит в иллюстрацию к ней, а иллюстрация — в параллельно существующую самостоятельную картину, как то показывает приводившийся выше пример из «Илиады», VIII, 536—538 и многие ему подобные. Обороты из «сферы одновременности» поэтому естественно входят в описательную речь, изобилующую живописными картинами и развернутыми сравнениями. Не случайно, что в «Илиаде», например, из 46 абсолютных причастных оборотов 10 входят в состав столь характерных для Гомера развернутых сравнений [8]; предикативный член в этих оборотах в 9 случаях выражен причастием настоящего времени, в одном случае — прилагательным.

В оборотах, адвербиальные значения которых производны от понятия предшествования, явственно ощутима совершенно иная стилистическая окраска. Поскольку предшествование во времени всегда более или менее осложнено причинными и условными значениями, которые зачастую становятся основными, обороты этого рода выявляют логическую — каузальную или временную — связь между главным и второстепенным сообщениями. Тем самым в изложении на первый план выдвигается не живописный, а логический момент, и оно становится более строгим, деловым и точным.

---

[7] В пяти случаях роль предикативного члена абсолютного оборота играют прилагательные.

[8] V, 500, 865; VII, 63—64; XVII, 265, 393; XX, 405; XXI, 523; XXII, 164; XXIII, 521, 599.

Предложение, содержащее абсолютные обороты первого типа, представляет собой во многих случаях сочетание нескольких параллельно существующих картин, и не всегда ясно, какая из них главная. Предложение, содержащее обороты второго типа, тяготеет к четкому подчинению второстепенного сообщения, выраженного причастным оборотом, главному, выраженному предложением с личным глаголом в сказуемом. Преобладание в «Илиаде» и «Одиссее» самостоятельных причастных оборотов первого типа говорит о той значительной роли, которую играют в языке обеих поэм предложения, объединяющие ряд относительно самостоятельных сообщений о параллельно существующих ситуациях.

Nihil est in grammatica quod non fuerat prius in stylo. Стилистические различия в употреблении абсолютных оборотов обоих указанных видов оказываются соотнесенными с определенными особенностями в структуре гомеровского предложения. Связь причастного и личноглагольного действий по линии предшествования является гораздо более тесной, чем по линии одновременности. Дело в том, что связь по одновременности всегда может превратиться в констатацию простого сосуществования двух явлений, т. е. перестать восприниматься как связь в собственном значении этого слова, и мы видели, что в ряде случаев абсолютные причастные обороты действительно фактически находятся с личноглагольным предложением в отношениях сочинения. Точно так же и все другие адвербиальные значения, производные от понятия одновременности, в той или иной степени тяготеют к тому же. Поэтому естественной сферой употребления такого рода оборотов является паратактический ряд или во всяком случае предложение с ослабленной централизацией. Обороты же, где действие причастия предшествует действию личного глагола, в которых связь абсолютных конструкций с главным высказыванием и их подчиненность последнему ощущаются постоянно и ясно, принадлежат гипотактическому строю речи с характерным для него четким, единым и централизованным предложением.

Мы можем подвести некоторые итоги.

Абсолютные причастные обороты используются в поэмах Гомера главным образом для выражения синтаксических отношений, производных от понятия одновременности (время — сопутствующие обстоятельства — независимость), что связано, с одной стороны, с живописным, описательным характером повествования, а с другой — с паратактическими тенденциями в строе предложения. Адвербиальные отношения, производные от понятия предшествования (время — причина — условие), акцентирующие логические связи внутри предложения, а тем самым — гипотактические элементы в его структуре, и выступающие в позднейшем языке как основная функция абсолютных оборотов, у Гомера играют явно подчиненную роль.

II

Абсолютные обороты, выражающие синтаксические отношения, производные от понятия одновременности, наиболее распространены в «Илиаде» и «Одиссее» потому, что они теснейшим образом связаны со структурой гомеровского предложения, отражающей в свою очередь особенности древнего индоевропейского предложения в целом. Это последнее можно характеризовать как предложение, в котором паратактические черты сосуществуют с гипотактическими, аппозитивные связи и примыкание слов преобладают над управлением; и в этом смысле оно является синтаксическим построением, единство и централизация которого выражены несравненно менее резко, чем в современных европейских языках. Этот децентрализованный, паратактический характер высказывания находит непосредственное выражение во многих особенностях гомеровского синтаксиса. Эти особенности не раз отмечались и анализировались в специальной литературе [9]. Нас сейчас будут интересовать лишь три из них.

1. *Употребление причастий* в поэмах Гомера во многом обусловлено специфическими особенностями предложения в древних индоевропейских языках. Причастий у Гомера необычайно много, гораздо больше, чем в произведениях классической аттической прозы, где они, в свою очередь, встречаются несравненно чаще, чем в новых языках: около 3500 в «Илиаде», несколько меньше, 3000 — в «Одиссее» [10]. Это значит, что причастия встречаются в среднем через 4—5 стихов, т. е. в каждом или каждом втором предложении. При этом в основной массе причастия употребляются не как определения, а в роли participium conjunctum: на 360 аттрибутивных причастий в «Илиаде» и на 300 в «Одиссее» приходится соответственно 3200 и 2400 participia conjuncta.

Такое обилие participia conjuncta (которые иногда называют также предикативными или аппозитивными причастиями) есть явление весьма примечательное.

Причастие, как известно, потому и называется причастием, что оно есть частично имя прилагательное, частично глагол. В тех случаях, когда в нем преобладают элементы прилагательного, оно тяготеет к функции определения, тесно примыкающего к определяемому слову и согласованного с ним; там, где в нем превалирует глагольное содержание, оно выражает действие, связанное с личноглагольным сказуемым и уточняющее его. Вся история причастий в большинстве европейских языков проходит

---

[9] См. всю литературу, указанную в сноске 1, и, кроме того, книгу А. Мейе и Ж. Вандриеса, указанную в сноске 2. Сводка и некоторая дополнительная литература приведены в статье автора («Вопросы языкознания», 1955, № 1).

[10] Все цифры в этом разделе взяты из прекрасной книги Классена: Johann C l a s s e n. Beobachtungen über den Homerischen Sprachgebrauch. Frankfurt a. M., 1879, S. 52.

под знаком все большего разделения этих двух функций, все большего обособления аттрибутивного причастия от адвербиального, представляет собой, другими словами, историю ликвидации причастия именно как *причастия*. Процесс этот далеко не везде и не во всем закончен, но в общем его направлении сомневаться не приходится. Русское деепричастие и аналогичные ему несогласуемые причастные формы в других славянских языках, формы на -nd — в итальянском, испанском и португальском, французский «жерондиф», английские аналитические причастия, литовское «полупричастие» — все эти формы, в прошлом *причастные* к обеим указанным выше функциям, теперь полностью вошли в систему уточнителей сказуемого и не могут играть роль определений. Наоборот, простые страдательные причастия прошедшего времени в большинстве перечисленных языков лишь спорадически используются в роли обстоятельств, играют, главным образом, роль определений и в ряде случаев стали неотличимы от прилагательных. В результате этого разделения причастные формы используются *либо* как определения (относящиеся чаще всего к подлежащему), *либо* как уточнители сказуемого. Они никак не затрагивают единство и централизацию предложения, в которое входят, и играют в нем роль второстепенного члена, подчиненного одному из главных.

Participium conjunctum у Гомера стоит еще в самом начале этого пути, оно еще *причастие* в собственном смысле слова и имеет поэтому совершенно особое синтаксическое содержание.

«Илиада», I, 5—7:

. . . Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐ ρ ί σ α ν τ ε
'Ατρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος 'Αχιλλεύς.

. . . совершалася Зевсова воля, —
С оного дня как, *воздвигшие спор*, воспылали враждою
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный.

Подчеркнутое аористное причастие выступает в функции participium conjunctum. Для языка Гомера это значит, что оно как определение связано с обоими подлежащими, согласовано с ними в числе и падеже, т. е. обозначает признак предмета, и *в то же время* тесно связано с глаголом, обозначает признак действия, характеризует подлежащее не вообще, а в момент действия сказуемого. Оно поэтому выражает признак подлежащего, но признак, существующий во времени как бы параллельно действию личного глагола, сопровождающий его, создающий своего рода второй план изображения. Такое причастие — неподчиненный член группы подлежащего или группы сказуемого, входящий в единое, централизованное предложение; оно стоит в аппозиции ко всему предложению, а поэтому ослабляет единство, цельность и стройность его структуры, делает отношения слов в нем более свобод-

ными и, в этом смысле, паратактическими. Отмеченное выше крайнее изобилие аппозитивных причастий находится, таким образом, в связи с ослабленной централизацией гомеровского предложения.

2. *Грамматически неупорядоченные построения*, в которых один из членов не находится в синтаксической связи с остальными, также являются частным выражением автономии слов и нередко встречаются в языке Гомера. При этом в ряде случаев мы имеем дело не с простым нарушением системы синтаксических связей в данном предложении, а с созданием дополнительного центра высказывания. В роли такого дополнительного сообщения, лишь очень слабо связанного с остальным предложением и в этом смысле паратактического, может выступать, в частности, причастие в родительном падеже, не зависящем ни от одного из окружающих слов.

«Илиада», XV, 189—192:

τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ'ἔμμορε τιμῆς.
ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ
π α λ λ ο μ έ ν ω ν 'Αΐδης δ' ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα
Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν —

Натрое все делено, и досталося каждому царство:
Жребии бросившим нам, в обладание вечное пало
Мне волношумное море, Аиду подземные мраки,
Зевсу досталось меж туч и эфира пространное небо.

Переводя причастие παλλομένων старинным русским оборотом дательного самостоятельного, Гнедич совершенно правильно передал общий смысл фразы. Структура предложения, однако, и синтаксическая роль причастия в русском переводе и греческом подлиннике различны. Причастие, стоящее в падеже, в котором в данном языке обычно ставится абсолютный причастный оборот, в греческом действительно есть, но ни своего подлежащего, ни своего дополнения оно у Гомера не имеет — и то, и другое добавлены переводчиком. В греческом перед нами не абсолютный оборот, а изолированное причастие, стоящее вне синтаксических связей, охватывающих остальные члены предложения; вводимое им сообщение содержит некоторую дополнительную информацию и входит в предложение паратактически.

Комментаторы «Илиады» обычно объясняют подобные причастия как родительные самостоятельные, в которых субъект настолько очевиден из контекста, что мог быть опущен. Для такого взгляда оснований по сути дела нет. Во-первых, субъект причастия в случаях, вроде разобранного выше, отнюдь не сам собой и не прямо восстанавливается из контекста. Нужно хорошо подумать, чтобы понять, что́ означает изолированно стоящее причастие. Тем более, что это выражение не является традиционным,

идиоматическим, и встречается в обеих поэмах один-единственный раз.

Во-вторых, есть ряд случаев, в которых субъект действительно вполне очевиден из контекста и опустить его, если бы такая практика существовала, было бы весьма естественно, чего однако не происходит. Таково положение, например, в «Одиссее», V, 287 и ряде аналогичных мест.

В-третьих, в ряде случаев предложения, содержащие такого рода изолированные причастия, имеют в своем составе имя, обозначающее субъект действия этого причастия, и тем не менее причастие не находится с ним в правильных синтаксических отношениях, а стоит в ничем, казалось бы, не мотивированной форме родительного падежа; о таких построениях подробно пойдет речь ниже. Представляется поэтому более естественным, исходя из всего сказанного ранее, согласиться с тем, что паратактическая природа гомеровской фразы допускает наличие внутри предложения дополнительных, образующих как бы его второй план, центров высказывания; в роли этих дополнительных центров могут выступать не только слова, находящиеся в правильных грамматических отношениях с тем или иным членом предложения; в частности, в гомеровских поэмах в этой функции может использоваться изолированное причастие, стоящее не в падеже, требуемом грамматическим контекстом, а в родительном.

3. *Casus duplex*, т. е. синтаксическая группа, состоящая из двух имен, связанных согласованием или аппозицией, в условиях современного языка принципиально отлична от предложения. Предложение, как правило, представляет собой сочетание имени и глагола, содержит некоторую предикацию, и может быть употреблено как относительно самостоятельное высказывание; casus duplex состоит из двух имен, отношения между его членами не предикативны, и употребить такую группу как самостоятельное высказывание нельзя. Положение это есть результат гипотактической структуры современного предложения: главное сообщение отделено в нем от второстепенных, уточняющих его и подчиненных ему деталей; глагольное предложение есть грамматическая форма такого независимого высказывания, casus duplex есть грамматическая форма несамостоятельного и в этом смысле подчиненного словосочетания. В принципе в языке Гомера дело обстоит уже именно таким образом. В фразе ὁ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν («Илиада», I, 9—10) слова ὁ и ὦρσε, связанные предикативными отношениями, образуют основу предложения, а слова νοῦσον κακήν связаны согласованием и образуют подчиненную синтаксическую группу.

В то же время в языке Гомера нередко бывает так, что аппозитивные группы в пределах простого предложения, особенно если в них входят причастия, могут быть весьма самостоятельны и фактически становиться эквивалентами придаточных. Это про-

исходит в случаях так называемого «предикативного» употребления причастий, стоящих при косвенных дополнениях определенных глаголов; конструкции эти хорошо известны и детально описаны в литературе [11]. Достаточно напомнить основные случаи.

Уже в построениях типа: γαῖα δ'ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ χωομένῳ («Илиада», II, 781) причастие, согласованное с существительным, фактически образует с ним вместе эквивалент придаточного предложения: «земля застонала оттого, что *разгневался* Зевс громовержец». Самостоятельность причастия выступает в данном случае особенно ясно, благодаря употребленному параллельно с ним прилагательному, которое обозначает постоянный признак и тем самым оттеняет предикативность причастия. Группа casus duplex здесь не просто деталь главного высказывания, уточняющая его и полностью ему подчиненная; это сообщение, которое, по сути дела, содержит самостоятельную предикацию. Оно вносит во фразу известное «двоецентрие», хотя синтаксическая подчиненность его главному высказыванию сохраняется. Имя, с которым согласуется причастие и которое выражает субъект действия, этим причастием обозначенное, может стоять не только в дательном, но и в других падежах, например в винительном: εἰρωτᾷς μ'ἐλθόντα «ты спрашиваешь меня, почему я пришел» («Одиссея», V, 97).

Реже заходит речь в научной и учебной литературе о предикативном причастии в именительном падеже. Оно используется лишь, когда надо обозначить действие, выполняемое несколькими людьми, которые далее перечисляются. Употребляясь в именительном падеже, такое причастие становится еще более самостоятельным, чем в перечисленных выше случаях, и вообще представляет собой иное, принципиально от них отличное явление.

«Одиссея», XVIII, 95—97:

δὴ τότ' ἀ ν α σ χ ο μ έ ν ω ὁ μὲν ἤλασε δεξιόν ὦμον
Ἶρος, ὁ δ' αὐχέν' ἔλασσεν ὑπ' οὔατος, ὀστέα δ' εἴσω
ἔθλασεν.

Стали сходиться бойцы. В плечо Одиссея ударил
Ир. Одиссей же по шее ударил под ухом и кости
Все внутри раздробил.

Подчеркнутое причастие стоит в форме двойственного числа. Его подлежащими являются те же местоимения, которые играют роль подлежащих и при обоих личных глаголах. Характерно, однако, что при ἤλασε два повторяющих друг друга подлежащих, и одно из них, оказавшись как бы лишним, неизбежно сближается с причастием, тяготея вместе с ним к созданию отдельного пред-

---

[11] С. И. Соболевский. Древнегреческий язык. М., 1948, § 1387 сл'

хожения. Это синтаксическое своеобразие греческого подлинника хорошо отражено в переводе.

Бывают случаи, когда эта тенденция доходит до конца и причастие в такой конструкции получает свое подлежащее, стоящее вне синтаксических связей с другими словами во фразе. Самостоятельность такого причастия становится максимальной, и сочетание его с именем начинает играть роль независимого предложения.

«Илиада», XII, 400:

τὸν δ' Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ' ὁ μὲν ἰῷ
βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν
ἀσπίδος ἀμφιβρότης —

Тевкр и Аякс разрушителя встретили вместе: стрелою
Первый уметил ремень его светлый, на персях держащий
Щит в человеческий рост;

Проведенный анализ показывает, что синтаксическая группа, состоящая из причастия и согласованного с ним имени, может входить паратактически в предложение, внося в него новое самостоятельное сообщение. Родительный самостоятельный стоит в ряду других синтаксических явлений, выражающих это своеобразие гомеровского предложения.

III

Среди грамматических построений, с которыми нам до сих пор приходилось иметь дело, встречались либо самостоятельные причастия в родительном падеже, не имевшие своего субъекта, либо причастия, имевшие свой субъект, образовывавшие вместе с ним эквивалент придаточного, но не стоявшие в родительном падеже. Среди этих построений, таким образом, не было причастий, которые относились бы к какому-либо члену предложения, стоящему в родительном падеже, которые *с ним* образовывали бы эквивалент придаточного [12] и тем самым являлись бы исходным пунктом для развития родительного самостоятельного. Этот исходный пункт следует искать в другом месте.

Разбиравшиеся выше конструкции были связаны с неполной централизацией гомеровского предложения и паратактическими тенденциями в его структуре. С той же неполной централизацией и теми же паратактическими тенденциями связана, как мы видели, и основная масса встречающихся в обеих поэмах абсолют-

[12] Тем самым опровергается точка зрения Дельбрюка (указ. соч., 1897, стр. 494), Зоммера (указ. соч., стр. 102—103) и других исследователей, согласно которой родительные самостоятельные в древнегреческом возникли из сочетания какого-либо члена предложения, выраженного именем в родительном падеже, и относящегося к нему предикативного причастия. Таких конструкций у Гомера, насколько можно судить, нет.

ных причастных оборотов. Есть, следовательно, основания полагать, что все эти явления стоят в одном и том же ряду и что самостоятельные причастные обороты возникают из автономных конструкций, разбиравшихся в предыдущем разделе, возникают как одна из частных их разновидностей. Задача заключается в отыскании связующих звеньев, промежуточных между описанными выше построениями с автономными причастиями и оборотом родительного самостоятельного.

Среди грамматически неупорядоченных синтаксических построений, столь характерных для синтаксиса Гомера, обращают на себя внимание обороты такого типа:

«Одиссея», IV, 646:

ἦ σε βίῃ ἀ έ κ ο ν τ ο ς ἀπηύρα νῆα μέλαιναν

Силой ли взял, *против воли твоей*, он корабль чернобокий.

Подчеркнутое причастие стоит в родительном падеже, хотя такая форма не требуется от него ни управлением, ни согласованием, ни с одним другим членом предложения. С этой точки зрения оно напоминает разбиравшиеся в предыдущем разделе автономные причастия в родительном падеже типа: «Илиада», XV, 189—192; «Илиада», XI, 456—458 и др. Здесь, однако, появляется новая черта: действие причастия имеет свой субъект — личное местоимение 2 л. ед. ч. — σε. Слово это, являясь прямым дополнением к сказуемому ἀπηύρα, стоит в винительном падеже и не находится в каких-либо правильных синтаксических отношениях с причастием, вместе с которым, однако, образует группу с определенным субъектно-предикативным содержанием. Такую конструкцию можно рассматривать и как разновидность разбиравшихся выше оборотов с предикативным причастием, вроде εἰρωτᾷς μ'ἐλθόντα («Одиссея», V, 97), с той, правда, существенной разницей, что причастие здесь приняло форму родительного падежа, вышло из согласования с именем, выражающим субъект, и стало тем самым еще более независимым.

Следующий шаг к обособлению причастного оборота происходит в предложениях, вроде следующего:

«Илиада», XVI, 530—531:

Γλαῦκος δ' ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσί γήθησέν τε,
ὅττι οἱ ὦκ' ἤκουσε μέγας θεὸς ε ὐ ξ α μ έ ν ο ι ο

Сердцем почувствовал Главк и восхитился духом, что скоро
К гласу *его моления* бог преклонился великий.

Как и в предыдущем случае, причастие стоит вне синтаксических связей с другими членами предложения, но в отличие от предыдущего примера и субъект действия причастия (οἱ) здесь тоже совершенно обособлен: его дательный падеж так же неоправдан структурой предложения, как и родительный падеж прича-

стия — глагол ἀκούω, насколько известно, дополнений в дательном падеже не принимает. По сути дела — это абсолютный причастный оборот, отличающийся лишь тем, что оба главных его члена формально не связаны не только с остальным предложением, но и друг с другом. Единственная связь субъекта такого оборота с остальным предложением заключается в *смысловой* зависимости его от подлежащего Γλαῦκος, которое он как местоимение заменяет. Синтаксически он не связан ни с причастием, ни с главным подлежащим, по смыслу — связан с ними обоими. Стóит этой связи ослабеть, и мы получим такое предложение:

«Одиссея», XXII, 17—18:

ἐκλίνθη δ' ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
β λ η μ έ ν ο υ αὐτίκα δ' αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν.

На бок упал Антиной; покатилася по полу чаша,
Выпав из рук; и горячим ключом из ноздрей засвистала
Черная кровь;

Местоимение οἱ здесь связано уже только с причастием βλημένου; имя, которое оно заменяет, стоит несколькими стихами раньше, за пределами данного предложения; перед нами — абсолютный причастный оборот с главными членами, стоящими в разных падежах.

Обороты, подобные только что разобранным, встречаются у Гомера несколько раз: «Илиада», I, 430; XIV, 25—26; XVI, 530—531; XX, 413—414; «Одиссея», IV, 646; VI, 155—157; IX, 256—257; IX, 458—459; XIV, 526—527; XVII, 231—232. Каковы их главные отличительные черты? Во-первых, по своей синтаксической функции они обычно играют роль независимых вводных высказываний или сопутствующих обстоятельств, т. е. представляют ситуацию, существующую параллельно с главной и во многом независимую от нее. Во-вторых, во всех конструкциях этого типа субъект причастия выражен личным местоимением. В-третьих, падежом независимого причастия всегда является родительный; падеж местоимения, которое выступает в роли субъекта, никак не мотивирован структурой предложения и, по сути дела, безразличен.

В этих условиях приобретает принципиальную важность тот факт, что среди оборотов родительного самостоятельного у Гомера необычно высок процент конструкций с субъектным членом, выраженным местоимениями; 11 — в «Илиаде», 9 — в «Одиссее». Это значит, что каждый четвертый оборот имеет местоименный субъект, в то время как в классической аттической прозе, а тем более в новых языках, абсолютные конструкции с местоимением в роли субъекта встречаются крайне редко. Но родительный самостоятельный с местоименным субъектом, выражающий адвербиальные отношения одновременности, сопутствующих

обстоятельств или независимости — это и есть частная разновидность тех конструкций, о которых у нас сейчас идет речь; он тоже представляет собой стоящее в генитиве автономное причастие, которое присоединило к себе местоимение, но только не в дательном или винительном падежах, как было в рассмотренных выше случаях, а в родительном: мы ведь видели, что падеж этого местоимения синтаксически не мотивирован и практически может быть любым.

Чтобы убедиться в этом, сопоставим два предложения.

(1) «Илиада», XX, 413—414:

> τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
> νῶτα π α ρ α ΐ σ σ ο ν τ ο ς —
>
> Медяным дротом младого его Ахиллес быстроногий
> *Мчавшегось мимо*, в хребет поразил.

(2) «Одиссея», V, 286—287:

> ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
> ἀμφ' Ὀδυσῆι ἐ μ ε ῖ ο μ ε τ' Α ἰ θ ι ό π ε σ σ ι ν ἐόντος —
> Дерзкий! Неужели боги, *пока я в земле эфиопов*
> *Праздновал*, мне вопреки, согласились помочь Одиссею.

В последнем случае перед нами обычный абсолютный оборот, т. е. причастие в родительном падеже, при нем субъект действия причастия, выраженный местоимением в том же падеже; вместе они изображают ситуацию, существующую одновременно и параллельно с действием личноглагольного предложения. Местоимение, играющее роль субъекта, употреблено здесь плеонастически — оно заменяет только что упомянутое подлежащее и стоит в прямой речи, ведущейся от этого же лица. При отсутствии его мы имели бы конструкцию с автономным причастием в родительном падеже типа: «Илиада», XV, 189—192. В данном случае это причастие получило субъект, в сущности, плеонастический, тоже в родительном падеже.

В первом из двух только что упомянутых примеров («Илиада», XX, 413—414) точно такое же автономное причастие точно так же присоединило к себе субъект, выраженный местоимением, так же употребленным плеонастически: о юноше, которого поразил копьем Ахиллес, говорится в непосредственно предшествующих стихах. Оборот τὸν... παραΐσσοντος тоже независим от остальных членов предложения, тоже представляет ситуацию, развивающуюся одновременно и параллельно с главной. Различие же в падеже субъектного члена не имеет принципиального значения — местоимение, плеонастически называющее субъект действия при автономном причастии в генитиве, может, как мы видели, быть любым косвенным падежом.

Нет оснований рассматривать описанные явления в плане диахронии, как *процесс*, ведущий к образованию абсолютного

оборота. И автономные причастия в генитиве, и те же причастия со своим несогласованным подлежащим, и обладающие предикативным содержанием группы casus duplex, и родительные самостоятельные сосуществуют в языке Гомера. Абсолютный причастный оборот есть лишь одно из выражений общего характера гомеровского строя речи, породившего и все эти синтаксические явления. Другое дело, что автономные генитивные причастия, получившие местоименное подлежащее не в дательном или винительном, а в родительном падеже, оказались более жизнеспособными, стали принимать в качестве субъекта не только плеонастически употребленные местоимения, но и любые имена, стали выражать не только ситуацию, существующую параллельно с главной и во многом независящую от нее, но и второстепенные логические предпосылки главного действия. Синтаксическая группа с правильно согласованными главными членами больше чем грамматически неупорядоченное сочетание разнородных падежей соответствовала магистральной тенденции в развитии предложения — от неполной централизации к полной, от живописной свободы в отношениях между словами и синтаксическими группами к единству, организации и порядку.

IV

Рассмотренные факты дают, по-видимому, основания сделать следующие выводы.

1. Синтаксическая структура предложения Гомера отличается от синтаксической структуры предложения в позднейшие периоды языкового развития неполным единством, ослабленной централизацией и меньшей грамматической упорядоченностью в отношениях между своими членами — словом, сильными элементами паратактического строя речи, сосуществующими с элементами гипотактическими.

2. Из абсолютных причастных оборотов в поэмах Гомера наиболее распространены те, которые выражают ситуацию, существующую одновременно и параллельно с действием личного глагола, иллюстрирующую его и способную становиться более или менее от него независимой — словом, обороты, связанные с паратактическими особенностями гомеровского предложения.

3. К числу синтаксических явлений, в которых проявляется неполная централизация гомеровского предложения, относится необычно широкое распространение причастий с ослабленной зависимостью от других членов предложения и могущих образовывать в сочетании с именами субъектно-предикативные группы, равнозначные придаточным.

4. Среди автономных причастий такого типа встречаются причастия, стоящие в форме родительного падежа, не мотивированного системой синтаксических связей в пределах данного пред-

ложения. Анаколуфный характер этой конструкции позволяет причастию соединяться как со своим субъектом, с местоимением, падежная форма которого тоже не мотивирована структурой предложения, т. е. может быть любой (кроме именительного падежа). Такое местоимение не является необходимым членом предложения и употреблено в нем плеонастически. Объединяясь с причастием по чисто смысловой линии, оно передает в сочетании с ним содержание придаточного предложения, иллюстрирующего действие главного.

5. Оборот родительного самостоятельного возникает там, где падеж местоимения, присоединившегося к такого рода автономному причастию, оказывается тоже родительным. Бо́льшая грамматическая упорядоченность такого оборота, в котором предикативное причастие и его субъект находятся между собой в правильных синтаксических отношениях согласования, обеспечивает ему бо́льшее соответствие нарастающим гипотактическим тенденциям в развитии предложения и тем самым бо́льшую жизнеспособность.

6. Это усиление гипотаксиса приведет позже к преимущественному распространению абсолютных оборотов, выражающих логические предпосылки главного действия, а в дальнейшем к резкому снижению употребительности абсолютных конструкций вообще и замене их придаточными. В языке Гомера, напротив того, еще явственно ощущается связь родительного самостоятельного с автономными, грамматически не всегда упорядоченными конструкциями в составе мало централизованного предложения, из которых он вышел.

М. Н. Славятинская

О ПРИНЦИПАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВ ПРЕЗЕНСА И АОРИСТА В ГОМЕРОВСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследователи с давних пор уделяют большое внимание категории вида древнегреческого глагола. Однако нельзя сказать, что вопрос о значении видового соотношения основ греческого глагола решен окончательно.

Трудность в решении этого вопроса заключается в том, что уже в самых ранних памятниках древнегреческого языка мы имеем развитую систему *временных* форм глагола. Определив их значение, сравнив их между собой и сопоставив с фактами других родственных языков, исследователи выясняли *видовое* значение той или иной глагольной основы.

Сразу нужно сказать, что сопоставление с другими, даже древними языками, не может намного прояснить картину спряжения глагола в исследуемом языке, так как уже с третьего тысячелетия до н. э., а может быть и раньше, такие языки, как греческий, хеттский и др., развиваются самостоятельно.

Кроме того, наличие категории вида в общеиндоевропейском языке сейчас подвергается сомнению. Так, в хеттском языке вид является новой формирующейся категорией [1]. Противопоставление по перфективности/имперфективности, которое характеризует классический санскрит, не обнаруживается в более ранних системах этого языка [2]. Добавим к этому слова Ю. С. Маслова о праславянском языке: «В настоящее время неясно, каким именно было видовое содержание противопоставления презенс — аорист — перфект в индоевропейском праязыке и, в частности, в тех его диалектах, из которых развился праславянский язык, и даже вообще нельзя считать доказанным, что это противопоставление повсюду носило подлинно видовой характер» [3]. А следовательно, видовые значения глагольных основ древнегреческого глагола сформировались, очевидно, самостоятельно в том индоевропейском диалекте, на базе которого возник древнегре-

[1] В. В. Иванов. Хеттский язык. М., 1963, стр. 142.
[2] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Санскрит. М., 1960, стр. 115.
[3] Ю. С. Маслов. Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. — Сб. «Исследования по славянскому языкознанию». М., 1959, стр. 17.

ческий язык, и могут существенно отличаться от видовых значений основ в других индоевропейских языках, в том числе и в древнеиндийском.

Наибольшей неясностью отличаются принципы противопоставления основ презенса и аориста в древнегреческом языке. Полагают, что они противопоставлены как основы, обозначающие действие во времени и действие просто как факт, безотносительно к его протеканию [4].

При этом нужно отметить, что значение глагольных основ презенса и аориста в древнегреческом языке считается неизменным на всем протяжении его развития. Так, П. Шантрен пишет в «Исторической морфологии греческого языка» о глагольных основах этого языка вообще, безотносительно к какому-либо периоду, следующее: форма настоящего времени обозначает действие как «длящийся процесс, аорист обозначает его в полном отвлечении от длительности; перфект, стоящий несколько особняком и постепенно утрачивающий в греческом языке свое первоначальное значение, а затем и вовсе исчезающий, обозначает состояние субъекта и объекта действия» [5]. Такое же определение дает он и глагольным основам в гомеровском языке: «Аорист противопоставлен презенсу и имперфекту, так как презенс обозначает действие в процессе его развития, аорист же — чистое действие, абстрагированное от какой-либо длительности» [6]. В настоящее время большинство ученых согласно с этим мнением, причем, повторяем, данное соотношение в значении основ презенса и аориста считается неизменным.

Однако, если с этой точки зрения рассматривать употребление, например, имперфекта и аориста у Гомера, то мы часто будем поставлены в затруднительное положение, потому что трудно объяснить, почему поэт, ведя повествование в имперфекте, т. е. рисуя все действия как развивающийся процесс, вдруг употребляет аорист и наоборот, причем размер чаще всего не играет тут никакой роли.

Итак, с одной стороны, видовое значение основ греческого глагола вряд ли унаследовано им от общеиндоевропейского состояния и поэтому вряд ли должно быть схожим с видовым значением основ в родственных языках, с другой стороны, мы предполагаем, что в самом греческом языке это видовое значение не было постоянным, о чем свидетельствует хотя бы история перфекта.

При сравнении основ презенса и аориста мы видим, что основа презенса имеет более сложную структуру, чем основа аори-

---

4 А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 212—213.

5 П. Шантрен. Историческая морфология греческого языка. М., 1953, стр. 128.

6 P. Chantraine. Grammaire homérique, v. II. Paris, 1953, p. 183.

ста. Считается, что на общеиндоевропейской ступени центром глагольной системы был радикал, от которого образовывалось несколько парадигм, не связанных друг с другом [7]. Позднее положение меняется: «Принцип парадигматической эквивалентности постепенно, но неуклонно заменяется принципом парадигматической субординации: распыленность парадигматических образований уступила место их спайке в определенные парадигматические ряды на основе принципа парадигматической иерархии. Отныне в центре парадигматического ряда находится уже не радикал, а *основа*. . . В различных ареалах индоевропейских языков в глагольной подсистеме в ведущем положении оказались разные основы: так, в греческом языке в центре глагольной парадигмы оказалась основа аориста, в германских же языках в центре глагольной парадигмы оказалась основа презенса» [8].

В гомеровском языке мы находим иную картину. В центре спряжения находится основа презенса, от которой, как правило, образуется сигматический аорист. Первоначальное значение суффикса — σ — не установлено. Ясно, что на определенном этапе развития глагольной системы он был словообразовательным элементом. Отмечается как одна из особенностей сигматического аориста образование форм с фактитивным значением.

Естественно предположить, что такая коренная перестройка в морфологической структуре спряжения должна быть связана с определенными семантическими изменениями в значении глагольных основ.

Сравним значение основ презенса и аориста у двух групп гомеровских глаголов, явно относящихся к разным хронологическим пластам: у глаголов на — μι I класса, которых всего четыре и которые одинаково оформлены структурно, и у отыменных глаголов на — ζω, которые встречаются в поэмах Гомера в ограниченном количестве, а потому легко поддаются обозрению.

Основа презенса глаголов первой группы характеризуется особым структурным признаком — удвоением, временные формы этих глаголов отличает чередование огласовки в единственном и множественном числе: τίθημι—τίθεμεν. Но помимо этого внимание исследователей всегда привлекали формы аориста этих глаголов, с которыми, по замечанию П. Шантрена, связаны особые проблемы: этот аорист содержит в единственном числе действительного залога расширение — κ—, сходное с таким же расширением в перфекте (кроме ἵστημι).

При подсчете форм этих глаголов, сопоставимых по виду, залогу и некоторым другим показателям, оказалось следующее.

---

[7] П. Шантрен. Указ. соч., стр. 127.

[8] Э. А. Макаев. Морфологический строй общегерманского языка. — Сб. «Проблемы морфологического строя германских языков». М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 56.

Глагол δίδωμι в поэмах Гомера встречается в таких формах: имперфект активный — 25; аорист активный — 205; причастие презенса активного — 4, аориста активного — 1; инфинитив активного презенса — 1, инфинитив активного аориста — 40; итеративные формы от основы аориста — 5.

Хотя последние формы и не противопоставлены аналогичным формам от основы презенса, мы считаем необходимым обратить на них внимание, так как образование итеративных форм от той или иной основы характеризует ее в видовом отношении.

Как мы видим, глагол δίδωμι очень употребительный глагол в поэмах Гомера. Но сразу можно заметить огромный перевес форм аориста над формами, образованными от основы презенса.

Проанализировав употребление имперфекта глагола δίδωμι в контексте, мы обнаружили, что 12 раз имперфект сочетается с прямым дополнением во множественном числе или с несколькими прямыми дополнениями (Е 165; Z 219; Θ 129; I 334; К 260; М 241; Р 130; τ 367; ϑ 63, 545; σ 191, 323), и следовательно, имеет значение действия охватывающего не один, а много объектов; 4 раза имперфект имеет значение неоднократного действия (Х277; ρ 411, 367; ξ 286).

Думается, что уже на основании этих фактов можно предположить, что имперфект глагола δίδωμι выражает неединичное интенсивное действие.

Разберем остальные случаи. Для объяснения употребления имперфекта в стихах Р 596, 627; κ 236 нам придется обратиться к более широкому контексту.

В XVII песне «Илиады» два раза встретился имперфект в выражении νίκην Τρώεσσι δίδου (Р 596, 627). Внимательно прочитав всю песню, мы увидим, что речь идет о вторичной победе троянцев в описываемом эпизоде. Таким образом, и тут говорится о повторном действии: снова Зевс «*даровал* победу троянцам» и вселил этим ужас в ахейцев.

С подобным значением имперфекта сталкиваемся мы и в κ236, где описывается расправа Одиссея с женихами: уже не раз грозила ему смертельная опасность, но Афина, желая проверить мужество Одиссея и Телемаха, *не торопилась* прийти к ним на помощь.

По-видимому, близко к значению интенсивного многократного действия значение имперфекта в ϑ 64: хотя Демодок лишился зрения, он не был несчастлив, так как на всю жизнь ему *было дано* искусство пения.

В нескольких случаях имперфект, очевидно, не имеет никакого специального значения (Н 305; Z 129; Λ 226; Ψ 897). Поэт употребляет разные формы для того, чтобы не повторить рядом двух одинаково звучащих слов (везде речь идет о единичном действии). В том же случае, если по содержанию поэту важен именно тот смысл, который имеет форма имперфекта, он не употребит

форму аориста, даже если ему приходится повторять две совершенно одинаковые формы (ср. ϑ64 и 63).

Итак, по нашему мнению, разница в значении имперфекта и аориста глагола δίδωμι состоит в том, что имперфект в подавляющем большинстве случаев употребляется для обозначения интенсивного, «широкого», многократного действия. Посмотрим, является ли это значение собственным значением имперфекта или же таково значение основы презенса.

Остановимся на формах инфинитивов. Как указывалось, в поэмах Гомера мы лишь один раз встречаем инфинитив презенса (Ω 425), где он явно имеет значение много раз повторяющегося действия, в то время как инфинитив аориста имеет нейтральное значение (ср. α 316, 317).

Известно, что причастия от основ презенса и аориста обозначают разное соотношение с действием спрягаемого глагола. Но исследователи гомеровского языка уже давно отмечали наличие лексической разницы в значении этих причастий [9]. Действительно, причастие презенса в λ 117 и I 699 совершенно очевидно имеет усилительный оттенок: в первом примере Гомер рассказывает о женихах, преследовавших Пенелопу своими домогательствами, «дарами брачными ей докучая», а во втором Диомед настаивает на том, чтобы Агамемнон больше не уговаривал Ахилла принять дары и перестать гневаться. Причастие же аориста не имеет этого экспрессивного оттенка.

Итак, в употреблении форм от основы презенса и от основы аориста глагола δίδωμι играла большую роль семантика глагольных основ, которые еще различались по способу действия. Разумеется, в силу действовавшей уже продолжительное время тенденции к унификации спряжения мы не можем провести абсолютную границу в значении форм от основы презенса и от основы аориста, но все же лексическая разница между ними отчетливо ощущается.

Усилительное значение основы презенса подтверждает и то, что формы с итеративным суффиксом —σκ— образуются только от основы аориста (I 331; Ξ 382; Σ 546; ρ 420; τ 76). Основа презенса и без того имела такое значение, которое позволяло ей выражать многократность, повторяемость, т. е. те значения, которые придавал глагольным формам суффикс -σκ-. Образование итеративных форм только от основы аориста доказывает ее нейтральность.

Обратим также внимание на полное отсутствие форм с приставками от основы презенса, что опять-таки доказывает, что она имела одно специальное значение.

Оговоримся, что в данной статье мы рассматриваем только

---

[9] D. B. Monro. Homeric Grammar. Oxford, 1891, p. 67; P. Chantraine. Grammaire homérique, v. II. Paris, 1953, p. 189.

активные формы, так как анализ разных залоговых форм не даст нам ничего существенно нового для установления видового значения основ, зато поставит ряд вопросов, связанных с категорией залога.

Полную аналогию глаголу διδωμι представляет собой глагол τίθημι, у которого мы рассмотрим следующие активные формы: имперфект-49, аорист-254; императив презенса-1, аориста-7; инфинитив презенса-1, аориста-25; причастие презенса-4, аориста-14. Мы видим, что и у глагола τίθημι огромное большинство составляют формы от основы аориста, причем в формах от основы презенса приставочные образования весьма редки (α112).

Более половины случаев употребления имперфекта глагола τίθημι приходится на обозначение действия, распространяющегося на многие объекты. В других стихах контекст подсказывает нам присутствие «множественного» объекта. Так, в Σ 550 хотя и говорится ἐν δ'ἐτίθει τέμενος βαθυλήιον, однако из дальнейшего описания ясно, что поэт в данном случае может употребить форму только имперфекта, которая указывает на то, что далее последует подробное описание рисунка, который Гефест изображает на щите Ахилла. Форма аориста была бы здесь неуместна, так как она исключает «растекание» действия. Привлекает к себе внимание несколько раз встречающееся выражение ἐν χερσὶ τίθει (Λ 441, 446, 585; Ψ 565; ϑ 406; ο 120), хотя в этих случаях исключена мысль о множественном объекте. Такое же выражение встречается и с аористом, но интересна одна деталь: с имперфектом — ἐν χερσὶ, с аористом — ἐνχερὶ (см. Ω 101). Может быть, поэту в первом примере важно подчеркнуть «в собственные *руки*», а во втором он просто констатирует действие. Но подобные рассуждения могут увести нас в область весьма субъективного толкования языковых фактов, поэтому мы не настаиваем на таком объяснении употребления имперфекта в указанных стихах. Скажем только, что при анализе употребления форм имперфекта и аориста глагола τίθημι у нас сложилось представление о том, что основа презенса этого глагола, так же как и глагола δίδωμι, обозначала интенсивное действие. Эта интенсивность приобретала в контексте значение действия, распространяющегося на многие объекты, причем «множественность» объекта может быть подсказана контекстом, а иногда ясна из значения слова, обозначающего объект. Так, в I 90 под словами μενοεικέα δαῖτα естественно подразумеваются многочисленные кушанья.

Посмотрим, подтверждается ли наше предположение другими формами. Единственный случай употребления императива от основы презенса относится к эпизоду, когда Фетида умоляет Зевса до тех пор помогать троянцам, пока Ахилл не будет отомщен — экспрессивное значение многократного повторения (A 509).

Обратимся к причастиям (E 384; Θ 171; Λ 413; ω 419). Снова мы видим, что причастия презенса отличаются от причастий

аориста не просто соотношением с действием спрягаемого глагола, а и своим лексическим значением, обозначая действие, совершающееся многократно, или действие, затрагивающее многие объекты (в данном случае — людей).

Рассмотрим также инфинитивы (бесприставочные). Экспрессивное значение инфинитива презенса ясно ощущается в контексте: в первом примере тень Патрокла умоляет Ахилла не хоронить его кости отдельно от останков Ахилла (объект — ὀστέα), во втором — Ахилл говорит о том, что он не будет воздвигать над останками Патрокла большого могильного холма, а вот когда умрет и он сам, тогда ахейцы над ними обоими воздвигнут широкий (εὐρύν) и высокий (ὑψηλόν) курган.

Сравнительный анализ всех активных форм глагола τίθημι показал, что основа презенса не обозначала ни развивающегося, ни длительного, ни незавершенного действия, а обозначала действие более «выразительное», экспрессивное, захватывающее несколько объектов. Именно эта «выразительность» препятствовала соединению презентной основы с приставками, в то время как более нейтральная основа аориста соединялась с ними очень легко.

Глаголы δίδωμι и τίθημι, как мы отмечали выше, очень похожи по типу употребления форм от основ презенса и аориста. У глаголов же ἵημι и ἵστημι есть свои особенности в значении видовых форм.

У глагола ἵημι мы рассматриваем следующие формы: 53 имперфекта и 169 аористов, 3 инфинитива презенса и 6 — аориста, 15 причастий презенса и 3 аориста (как и у ранее рассмотренных глаголов сопоставляются только формы индикатива активного залога).

Сразу нужно отметить, что и основа презенса, и основа аориста этого глагола одинаково «охотно» соединяются с приставками. Обратимся к формам без приставок. Если имперфект глагола ἵημι переводится как «посылать, пускать», то аорист чаще всего переводится глаголом «бросить», а также «посылать»: либо Зевс бросает молнию (Θ 76), либо победитель бросает голову побежденного (N 204) и т. д.

Следовательно, основа презенса и основа аориста глагола ἵημι имеют определенную лексическую разницу в значении, но эта разница уже другого характера, чем у глаголов δίδωμι и τίθημι: аорист выражает действие более сильное, чем имперфект (бросать — посылать).

Помимо этого формы имперфекта и аориста рассматриваемого глагола имеют еще одну особенность. Как мы упоминали, среди них есть много форм от сложных глаголов. Разница в значении форм имперфекта и аориста в этих случаях состоит в том, что в имперфекте они всегда имеют конкретное значение, а в аористе часто употребляются в переносном значении: так, ἐφίημι значит

«насылать на кого-либо что-то» — в имперфекте в буквальном смысле «насылать стрелы» (O 444), в аористе в переносном «насылать» (несчастье, например). Προίημί в имперфекте имеет значение «посылать вперед» буквально (Г 355), в аористе — «отпускать» (H468) и т. д.

Сравним инфинитивы. Без приставки встречается один инфинитив презенса (X 206) и один инфинитив аориста (N 638).

X 205-206: λαοῖσι δ'ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς οὐδ' ἔα *ἵέμεναι* ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα

N 636-639: πάντων μὲν κόρος ἐστί καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος, μολπῆς τε γλυκερῆς, καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται, ἐξ,ἔρον *εἶναι* ἢ πολέμου. Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.

Как мы видим, эти инфинитивы прежде всего отличаются тем, что инфинитив презенса обозначает конкретное, наглядное действие, в противоположность инфинитиву аориста.

Сравним инфинитивы сложных глаголов (противопоставляются только инфинитивы глагола μεθίημι — N 114, Δ 351 и Λ 283). Здесь мы наблюдаем такое же противопоставление по прямому и переносному значению.

Что касается причастий, то из них сопоставимы только причастия глагола ἀνίημι, все остальные образованы от глаголов с разными приставками, поэтому не сравнимы по значению. Причастия различаются только соотношением с действием глагола в личной форме. Здесь это тем более ясно, что речь идет об одном и том же событии (E 422; E 761), но в первом примере ἀνιεῖσα обозначает действие, одновременное с действием спрягаемого глагола, а во втором ἀνέντες — предшествующее.

Таким образом, анализируя видовые формы глагола ἵημι, мы обнаружили, что, с одной стороны, основы презенса и аориста обозначают как бы разные степени одного и того же действия, с другой — основа презенса всегда более конкретна по своему значению, чем основа аориста.

Последний из рассматриваемых глаголов на — μι I класса ἵστημι характеризуется новым типом видовых отношений и новым соотношением форм, встречающихся в поэмах Гомера. Мы можем анализировать 7 имперфектов, 32 сигматических аориста и 203 аориста II (опять имеются в виду только формы изъявительного наклонения и активного залога). Несмотря на большое количество причастий и инфинитивов, они не поддаются сопоставлению, так как от основы презенса все формы, кроме семи имперфектов, употреблены в медиальном залоге.

Сигматический аорист часто имеет фактитивное значение (см. Σ 344, ϑ 434). По-видимому, это значение ясно чувствовалось у аориста ἔστησα в гомеровском языке, который к тому же является переходным. Аорист II всегда противопоставляется аористу сиг-

матическому как непереходный («стать» или «встать, остановиться») — переходному.

Что касается имперфекта, то в трех (B525; γ182; σ307) случаях он имеет значение «ставить, расставлять» (глаголом «расставлять» удобно передать распространение действия на несколько объектов), в Ω515 и 689 употреблен глагол ἀνίστημι в специальном значении «поднимать», а в двух последних случаях (Σ346 и ϑ435) мы обнаруживаем яркое противопоставление сигматического аориста в фактитивном значении и имперфекта, формы совершенно свободной от значения фактитивности.

Σ 343-346 (см. ϑ 433-435): ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἀμφὶ πυρὶ *στῆσαι* τρίποδα μέγαν, ὄφρα
τάχιστα Πάτροκλον λούσειαν ἀπὸ βρότου
αἱματόεντα. Οἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ' *ἵστασαν*
ἐν πυρὶ κηλέῳ...

Уже этих беглых данных вполне достаточно для того, чтобы показать, что основы презенса, аориста I и аориста II связаны иным типом видовых отношений у глагола ἵστημι, чем у трех рассмотренных выше глаголов, которые имеют одну форму аориста с суффиксом -κ-. В то же время глагол ἵστημι обнаруживает известное сходство с глаголом ἵημι. В силу фонетических причин у обоих глаголов в гомеровскую эпоху не ощущалось удвоение в основе презенса, и хотя его влияние еще чувствовалось в употреблении некоторых презентных форм этих глаголов, значение многократности, интенсивности, широты действия в основном было уже утрачено. Именно поэтому глагол ἵστημι образует итеративные формы от обеих основ (см. τ 574 и Σ 160 Γ 217).

Подводя итоги, мы можем сказать следующее. Даже у такой «компактной» группы глаголов, какими являются глаголы на -μι I класса, значения видовых основ не поддаются сведению в одно бинарное противопоставление. У глаголов, сохранивших ясное удвоение в основе презенса, она обозначает интенсивное, многократное, «объемное» действие (контекст всегда подскажет конкретное значение презентной формы). Напомним, что функция удвоения довольно единодушно определяется исследователями так: «Удвоение, возможно, использовано было первоначально для выражения интенсивности, со значением которой может быть связано и значение достигнутого результата. Для выражения же интенсивности удвоение очень широко используется в самых различных языках, принадлежащих к различным семействам» [10]. Очевидно, у всех приведенных выше глаголов основа аориста была противопоставлена основе презенса по такому типу значения: давать — раздавать, посылать — рассылать, ставить —

---

[10] П. С. Кузнецов. Генезис видовременных отношений древнерусского языка. — «Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. II, 1953, стр. 134.

расставлять, класть — раскладывать. Основа презенса обозначала весьма конкретный вид действия, поэтому она позже основы аориста начала соединяться с приставками, что особенно ясно видно у глаголов δίδωμι и τίθημι.

Вероятно, здесь мы имеем дело с первой стадией формирования видовых отношений, когда различие по виду является по существу различием по способу действия.

По-видимому, способы действия выполняют не одну грамматическую функцию на протяжении истории языка, в данном случае древнегреческого. С одной стороны, они способствовали образованию различных типов глаголов от радикала и продолжают выполнять эту функцию до сего дня. С другой стороны, на определенном этапе развития глагольной системы они явились основой видовых отношений. В этом случае уже оформившийся, независимый от радикала глагол использовал определенный способ действия не для образования самостоятельного глагола, а для образования зависимой от него новой глагольной основы. Таким образом, обе основы были противопоставлены друг другу по определенному признаку, который относился к способам действия, но играл теперь качественно иную роль. Специальное значение основы презенса вело на первых порах к гораздо более редкому употреблению ее по сравнению с основой аориста, имевшей нейтральное, а следовательно, и более гибкое значение.

Перейдем теперь к анализу отыменных глаголов. Напомним еще раз, что в данной работе мы приводим данные, касающиеся только форм активного залога, образованных от простого глагола. Если же сопоставляются формы с приставками, то лишь с одинаковыми, не вносящими ничего нового в значение грамматической формы. Рассмотрим интересующие нас глаголы в алфавитном порядке.

1. ἀκαχίζω. У этого глагола в поэмах Гомера нет форм, которые можно было бы непосредственно противопоставить друг другу. Но сравнив значение форм от основы презенса (презенс инд. π 432; императив Ζ 486; λ 486) и форм аористов (сигматический аорист инд. Ψ 223; аорист II инд. π 427; Π 822; ο 357), мы увидели, что если основы презенса и аориста II приблизительно одинаковы по значению, то сигматический аорист единственный раз употреблен при описании безмерной скорби Ахилла по убитому Патроклу, где его горе сравнивается с горем родителей, потерявших сына. Из всех случаев описания раздражения, огорчения, горя, которые выражены глаголом ἀκαχίζω, этот эпизод самый сильный.

2. ἀκοντίζω. Здесь мы можем сравнить следующие формы: 1 имперфект и 25 аористов (там, где мы не оговариваем, сильный это аорист или слабый, всегда имеется в виду сигматический аорист). Если имперфект имеет значение «размахивать копьем», то аорист — «бросать копье в кого-либо», «поражать копьем». Это различие близко к различию по предельности/непредельности.

3. ἀλαπάζω. Сопоставим один имперфект и четыре аориста. Имперфект описывает действия Гектора, который νέων δ' ἀλάπαζε φάλαγγας (Λ 503), т. е. «расстраивал (сминал) вражеские фаланги». Сигматический же аорист употребляется тогда, когда речь идет о полном разрушении: города (I 328), жизни (λ 750), счастья (ρ424 и τ 80). По-видимому, сигматический аорист выражал действие в его высшем проявлении. Может быть, в данном случае не лишне сравнить и причастия, которые у рассматриваемого глагола противопоставлены не только по основам или залогам, но тем, что причастия презенса образованы от простого глагола ἀλαπάζω (Ε 166), а причастия аориста — только от глагола ἐξαλαπάζω (δ 176; Ξ 251), у которого приставка ἐξ- еще более подчеркивает силу изображаемого действия.

4. ἁρμόζω. У этого глагола мы можем отчасти сопоставить императив презенса (ε 162) и три аориста (ε 247; Γ 333; Ρ 210). Первую форму мы находим в речи Калипсо, когда она позволяет ему отправиться домой, а для этого пусть он готовит (ἁρμόζεο) себе плот. Аорист же имеет значение «прилаживать», «укреплять», «удобно устраивать».

5. ἀτιμάζω. Все формы этого глагола, кроме одной, образованы от основы презенса. Единственная форма сигматического аориста Α11 называет действие Агамемнона, оскорбившего жреца Аполлона Хриса, и, очевидно, имеет значение «смертельно, непростительно оскорбил». Формы от основы презенса значат не столько «оскорблять», сколько «пренебрегать» (ср. ζ 283, ϑ 309 и др.).

6. δαΐζω. Сопоставимы только инфинитивы: инфинитив презенса Φ 33, инфинитивы аориста — Β 416, Π 841. Основа аориста имеет здесь значение «разрывать», основа презенса — «уничтожать», «поражать».

7. δικάζω. Мы можем сравнить формы имперфект (Σ 506) — аорист (λ 547) и императив презенса (Θ 431) и императив аориста (Ψ 574). Формы от обеих основ различаются по совершенности/несовершенности: от основы презенса «судить», «вершить суд», от основы аориста — «присуждать», «выносить решение». Можно понимать это различие как различие по предельности/непредельности.

8. ἐναρίζω. Несмотря на большое количество форм имперфекта (10) и аориста (25), они довольно трудно сопоставимы, так как имперфект употребляется преимущественно от простого глагола (с приставкой лишь один раз Ε 842), а аорист, наоборот, только один раз встречается без приставки. В употреблении имперфекта обращает на себя внимание то, что он употребляется только с прямым дополнением во множественном числе, аорист — с объектом и в единственном, и во множественном числе. При анализе значений указанных форм у нас создалось впечатление, что формой имперфекта обозначается конкретное действие «снимать доспехи», формой аориста — «овладевать доспехами» (Ρ 187) или же этот глагол употребляется как синоним глагола «убивать».

9. κλάζω. Хотя у этого глагола есть формы причастия презенса (П 429) и аориста (К 276 и М 207), они ничего не говорят нам о значении соответствующих основ, так как различаются только соотношением с действием спрягаемого глагола.

10. κομίω. Противопоставлены одна форма имперфекта (ρ 113) и формы аориста, а также три императива презенса, которые являются одной и той же формой в одном и том же значении, повторяющейся три раза (α 356; φ 350; Ζ 490), и один императив аориста (π 82). Формы от основы презенса имеют значение «наблюдать, обращать внимание на что (кого)-либо», формы от основы аориста — «заботиться, воспитывать» или «нести, приносить, доставлять». По-видимому, основы презенса и аориста этого глагола противопоставлены степени проявления действия: в основе аориста степень проявления действия сильнее, чем у основы презенса.

11. μερμερίζω. Здесь мы можем сравнить 6 имперфектов и 20 аористов, причем различие в их значении видно довольно четко. Имперфект имеет значение «раздумывать, размышлять», аорист — «придумывать, замышлять».

12. ὀνειδίζω. Мы можем сравнить причастие презенса (σ 380; В 255; Н 95) и одно причастие аориста (I 34). Как всегда, выявлению разницы глагольных основ по формам причастий мешает необходимость выражать соотношение с действием глагола в личной форме. Однако сравнив эпизоды, в которых употребляются все указанные формы, мы обратили внимание на то, что ὀνείδισας произносит Диомед, отвечая Агамемнону на обвинение в невоинственности. Эта форма имеет здесь, очевидно, значение «глубоко, сильно оскорбить» (глубоко оскорбив меня, ты говоришь, что я слаб и не умею воевать). Причастие же презенса имеет значение «порицая». Экспрессивное значение аористного причастия видно и из того, что по смыслу оно обозначает здесь действие, одновременное с глаголом в личной форме: Агамемнон говорил, что Диомед слаб и труслив и этим самым оскорбил его; форма ὀνείδισας вовсе не обозначает, что Агамемнон оскорбил героя чем-то раньше, а теперь продолжает стыдить его.

13. ὀνομάζω. У этого глагола мы сравним формы имперфекта (44) и аориста (1). В тех случаях, когда мы имеем дело с таким большим перевесом форм от одной основы, мы заранее можем предположить, что у этих форм обнаружится разница либо в значении, либо в употреблении: известный закон Ципфа относится и к глагольным формам. Действительно, если в имперфекте ὀνομάζω имеет просто значение «звать», то в единственной форме аориста он значит «называть по имени» (ω339): Эвмей, подробно рассказывая маленькому Одиссею о деревьях, «назвал поименно» каждое из них.

14. ὀπάζω. Данный глагол имеет несколько рядов форм, противопоставляемых в зависимости от основы глагола. Так, мы можем сравнить значение и употребление имперфекта (5) и аориста

(17), инфинитивов от основы презенса (2) и аориста (2), причастий презенса (3) и аориста (2), императивов презенса и аориста (2—3). Анализ всех этих форм показывает, что основа презенса обозначала «сопровождать», «идти по пятам». Основа же аориста имела каузативное значение: «давать в провожатые», «снабжать».

15. πελεμίζω. Здесь мы сопоставим имперфект (N 443) и аорист (φ 125; и Φ 175). В формах рассматриваемого глагола, как и в предшествующем глаголе, наблюдается противопоставление по каузативности (аорист — «гнуть», «дергать») и некаузативности (имперфект — «дрожать», «трепетать»).

16. σφάζω. У рассматриваемого глагола противопоставляются 3 имперфекта и 6 аористов. Примечательно, что имперфект употребляется тогда, когда прямой объект является существительным во множественном числе, а аорист — при прямом дополнении в единственном числе (γ 454; ξ 425; Ω 622) или во временных предложениях с союзом ἐπεί, в которых еще по наблюдению Д. Монро ставится аорист. Таким образом, здесь мы сталкиваемся со случаем синтаксического употребления видо-временной формы. Но подобные факты требуют отдельного рассмотрения, и здесь мы укажем лишь на возможность подобного употребления. Помимо этого ограниченное количество противопоставленных форм не позволяет нам сказать определенно, каким именно было различие форм имперфекта и аориста: различием только по употреблению (число объекта предопределяло форму прошедшего времени) или уже видовым различием по совершенности — несовершенности (аорист «зарезать» — естественно, что поэтому он чаще употреблялся с объектом в единственном числе: зарезать одну овцу, например, а имперфект — «резать», поэтому «резать овец, быков и т. д.). А возможно, мы имеем дело со становлением видового различия по перфективности — имперфективности, которое основано на противопоставлении широты охвата действием нейтральному действию, что мы видели еще у глаголов на -μι. Мы лишь указываем на возможные объяснения употребления имперфекта и аориста данного глагола, так как поддержка любого из них потребовала бы привлечения массы других примеров.

17. φράζομαι. Этот глагол мы приводим в форме медиального залога, хотя в поэмах Гомера встречается одна форма активного сигматического аориста (λ 22) и 22 формы активного аориста II, но формы, образующие противопоставления, имеют только медиальную форму: 5 имперфектов и 25 аористов сигматических. Если имперфект имеет значение «обдумывать, советовать, замышлять», то аорист — «замыслить, принять решение, знать».

18. χάζομαι. У этого глагола противопоставляются формы имперфекта (24) и аориста (1 сигматический и 2 эпических), а также формы причастий от основы презенса (2) и основы сигматического аориста (8). Последние различаются только соотношением с действием спрягаемого глагола. Имперфект же отличается от аориста

тем, что он имеет значение «начал отступать», в то время как единственный аорист значит «отступил» (N 193).

Подводя итог беглому сравнению глаголов на -μι и глаголов на -ζω, мы хотим обратить внимание на следующее. При сопоставлении видовых значений основ презенса и аориста этих глаголов мы как бы имеем дело с двумя разными микросистемами видовых отношений. Это говорит о том, что хотя ко времени появления поэм Гомера в древнегреческом языке существовало четко оформленное спряжение глагола, разные в морфологическом отношении группы глаголов (формирование которых, следовательно, относится к разным периодам развития греческого языка) сохраняют различие в значении видовых противопоставлений. Следовательно, нельзя рассматривать все греческие глаголы как одну группу: при определении видовых значений необходимо соблюдать принцип относительной хронологии. Причем относительная хронология для выяснения видовых отношений греческого глагола должна применяться в двух случаях: во-первых, глагольную систему греческого языка нельзя рассматривать вообще, безотносительно к определенному периоду (это особенно важно для определения значения форм от основ презенса и аориста), во-вторых, и в пределах ограниченного периода греческого языка нельзя выявлять значение основ презенса и аориста безотносительно к морфологическому строению основ, которое сигнализирует о разном времени появления тех или иных глаголов.

Но и рассматривая структурно одинаково оформленную группу глаголов, мы не можем сказать, что основы презенса и аориста противопоставлены здесь по какому-то одному признаку. Мы говорили об этом при анализе глаголов на -μι. Мы повторяем это, заканчивая рассмотрение значения основ презенса и аориста у сравнительно поздних глаголов на -ζω. Здесь мы видим различие по степени проявления действия (ἀκαχίζω, ἁρμόζω, ἀτιμάζω, κομίζω, ὀνειδίζω), различие по предельности / непредельности (ἀκοντίζω), противопоставление, близкое к противопоставлению по совершенности / несовершенности (δικάζω, μερμερίζω), по фактитивности / нефактитивности (ὀπάζω, πελεμίζω), есть различия, объясняемые особенностями синтаксиса (употребление аориста после ἐπεί, при объекте в единственном числе, при глаголе δύναμαι, за исключением тех случаев, когда глагол не имеет формы аориста, и т. д.).

Таким образом, нельзя говорить о существовании единого видового противопоставления основ презенса и аориста в греческом языке гомеровской эпохи: существовало видовое противопоставление по нескольким признакам, которые определялись, например, лексическим значением глагола, его морфологической структурой, синтаксическим употреблением и другими признаками.

В. Ф. Беляев

ЭНЕЙ ТАКТИК КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ГРЕЧЕСКОЙ КОЙНЭ

I

Трактат Энея Тактика «De obsidione toleranda», написанный около 357 г. до н. э., составляет одну из частей его обширного сочинения, охватывавшего различные стороны военного дела древних. Каких-либо биографических сведений об авторе трактата не сохранилось; лишь на основании тщательного изучения текста можно сделать вывод, что Эней был родом из Пелопоннеса, скорее всего из Аркадии; он был профессионалом — военным, обладавшим достаточным собственным опытом, приобретенным в различных частях греческого мира, что нашло несомненное отражение в языке писателя. Для историка военного искусства трактат является наиболее ранним из всех дошедших до нас от классической древности памятников военной мысли; с точки зрения социально-политической истории Греции он служит превосходным дополнением к другим литературным источникам, наглядно иллюстрируя состояние того хаоса, в котором находилась общественная жизнь Греции в период после Пелопоннесской войны; наконец, в языковом отношении сочинение это весьма интересно для исследования истории формирования общегреческого языка — κοινή [1].

II

Для того, чтобы более четко определить отношение Энея Тактика к общегреческому языку и место писателя в ряду его предшественников, уместно будет упомянуть основные этапы истории образования койнэ и отметить характерные ее особенности, тем более что относительно состава и происхождения ее в науке высказывались различные мнения: в то время как одни считали койнэ лишь испорченным аттическим, другие определяли ее как пестрое смешение различных греческих диалектов [2].

---

[1] О личности Энея Тактика, его военной доктрине, оценке сообщаемых им исторических сведений, истории изучения текста, изданиях трактата и т. д. смотри подробнее в нашей статье в ВДИ, 1965, № 1; там же, № 1 и 2, опубликован перевод текста трактата на русский язык.

[2] A. Thumb. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Straßburg, 1901, S. 202—203.

Процессы, которые привели в конце концов к образованию единого общегреческого языка, подготавливались длительное время всем ходом греческой истории. Начальным звеном в этой цепи можно считать Делосский союз, превратившийся в скором времени в морскую державу Афин (V в. до н. э.), господствующее положение которых способствовало, естественно, также и распространению аттического говора в качестве языка межплеменного общения, причем, однако, и сам он испытывал на себе влияние других греческих диалектов [3].

Решающую роль в распространении общего языка сыграла мировая империя Александра Македонского, в которой греческая культура и греческий язык были одним из важнейших связующих элементов; после ее распада, в последние столетия до христианской эры, роль проводников в распространении греческого языка взяли на себя империи преемников Александра — диадохов [4]. Наконец, большую роль в этом процессе сыграло христианство, к первым столетиям существования которого относится окончательное оформление общегреческого языка [5].

Образованию общего языка способствовали греческие колонии, олимпийские игры, поощрявшиеся в императорское время [6], а также уменьшение численности населения метрополии, повлекшее за собой уменьшение сопротивляемости исконных греческих диалектов, которые, в силу своей консервативности, замедляли процесс развития койнэ в самой Элладе, в то время как в эллинизированных областях, где смешение диалектов давно завершилось, процесс этот не встречал препятствий [7].

В основе общегреческого языка лежит аттический диалект, от которого, в частности, унаследованы закономерности в постановке придыхания, в слиянии звуков, а также системы склонения и спряжения [8].

Помимо аттического, существенную роль в формировании койнэ сыграл лишь ионийский диалект, вклад которого особенно велик в области лексики [9], в то время как в области фонетики и морфологии он довольно ограничен [10]. Ионийским по своему происхождению является также и присущий общегреческому языку способ выражения, свойственный поэтической речи, что, однако, отнюдь не представляет собой искусственного воспроизведения поэтической фразеологии, но отличительную черту в развитии

---

[3] Там же, стр. 234—235.
[4] Там же, стр. 238.
[5] Там же, стр. 249.
[6] Там же, стр. 247.
[7] Там же, стр. 248—249.
[8] Там же, стр. 200 (см. также стр. 62).
[9] L. W. Hunter, S. A. Handford. Aeneas on Siegecraft. Oxford, 1927, p. XLVII; A. Thumb. Указ. соч., стр. 233.
[10] A. Thumb. Указ. соч., стр. 209.

греческого языка как такового в данный период [11]. Так, употребление поэтических слов в произведениях Полибия, Диодора, Иосифа Флавия является не подражанием поэтическому стилю, но, наоборот, приближением к разговорному языку эллинистической эпохи [12], в который соответствующая лексика вошла в качестве органической составной части. Точно так же совершенно исключено, что переводчики Ветхого Завета и создатели Нового Завета сознательно подбирали поэтические слова [13].

Явственно прослеживается влияние ионийского на общегреческий и в словообразовании, например в увеличении количества слов среднего рода на -μα (которые были весьма употребительны также в аттической поэзии, особенно в трагедии) [14].

Диалекты, лежащие за пределами Аттики и Ионии, не оказали значительного влияния на формирование койнэ, влияние же на этот процесс негреческих языков было совершенно ничтожным [15]. Тем не менее, совершенно не принимать во внимание этих воздействий не представляется возможным, поскольку некоторые черты общего языка, например отдельные изменения в его фонетической системе, нельзя свести к какой-либо одной причине и следует объяснить влиянием целого ряда факторов, восходящих к различным греческим диалектам [16].

Вполне естественным, например, является усвоение общегреческим тех произносительных норм, которые были общи как ионийскому, так и аттическому; с другой стороны, в тех случаях, когда произношение в обоих упомянутых диалектах различалось, — брала верх та форма, которая имела опору в других говорах: так аттическое ᾱ взяло верх над ионийским η после ε, ι, ρ, в то время как ионийское σσ возобладало над аттическим ττ [17].

Особенно неубедительным представляется возведение к тому или иному из диалектов флективной системы койнэ; скорее всего, многие изменения в этой области следует истолковывать, исходя из общей тенденции койнэ к упрощениям [18].

Наличие такого рода общих тенденций в развитии языка и присущих этому периоду характерных черт не дает права говорить о подражании одних писателей эллинистической эпохи другим на том лишь основании, что у них обнаруживаются одинаковые нововведения [19].

---

[11] A. Thumb. Указ. соч., стр. 221; L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч., стр. XLVIII.
[12] L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч., стр. XLIX; A. Thumb. Указ. соч., стр. 224.
[13] A. Thumb. Указ. соч., стр. 224 и 219.
[14] L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч., стр. XLVII.
[15] A. Thumb. Указ. соч., стр. 244.
[16] Там же, стр. 229.
[17] Там же, стр. 242.
[18] Там же, стр. 230.
[19] Там же, стр. 224—225.

III

Язык и стиль Энея Тактика и отношение этого писателя к греческой койнэ подвергались в филологической литературе совершенно различной оценке как с точки зрения диалектной принадлежности, так и литературных достоинств.

При этом следует заметить, что первые исследователи трактата Энея допускали особенно много субъективного в оценке языковых особенностей этого писателя, а порой и просто подвергали текст произвольным изменениям в соответствии со своими предвзятыми воззрениями.

Колебаниям и ошибкам при оценке трактата Энея Тактика способствовала недостаточная изученность его текста, усугубляемая плохим состоянием рукописей, а также неразработанность некоторых более общих вопросов, — например взаимоотношений литературного аттического языка и греческих диалектов, закономерностей образования койнэ и т. д.

Один из наиболее ранних и наиболее резких отзывов о языке Энея принадлежит Яну Рейске (1716—1774): «Грубый, изобилующий неправильностями писатель Эней, который не знает, как высказывать свои мысли, но выражает их туманно, словно задавая загадки, и не умеет говорить по-гречески» [20].

Причиной столь резкой характеристики было, надо полагать, то непосредственное впечатление, которое создавалось при чтении крайне испорченного рукописного греческого текста, поскольку в то время не было возможности подвергнуть текст всестороннему анализу на должном филологическом уровне.

Отзывы подобного рода, независимо от того, насколько они справедливы, находят себе по крайней мере естественное объяснение, чего нельзя сказать о некоторых филологах более позднего времени, предвзятой точке зрения которых трудно найти оправдание. Одним из этих последних был, например, Херхер, который a priori был убежден в том, что Эней должен был писать аттическим языком, в соответствии с чем филолог этот и старался отредактировать текст в своем издании Энеева трактата [21]; поскольку, однако, далеко не всегда удавалось привести текст сочинения в соответствие с правилами аттической грамматики, волей-неволей приходилось многое считать не принадлежащим Энею и вставленным в трактат в более поздние времена. Не достигнуто согласия в оценке Энеева трактата и среди современных филологов, хотя в общем они делают более объективные выводы из дошедшего до нас материала.

Невозможность сделать какие-либо более определенные заключения относительно языковых особенностей объясняется тем,

---

[20] Цит. по editio maior Херхера, стр. 128 (см. следующую сноску).

[21] «Aeneae Commentarius poliorceticus, Rudolphus Hercher recensuit et adnotavit». Berolini, 1870 (editio maior et editio minor).

что в филологической литературе до сих пор нет не только монографического исследования по языку Энея в целом, но и сколько-нибудь обстоятельных работ по частным вопросам (за исключением лексики), хотя автор этот представляет первостепенный интерес для изучения языкового развития Греции IV в. до н. э. и истории формирования койнэ.

IV

Эней писал не на своем родном наречии, он стремился использовать в качестве средства выражения аттический диалект, который имел престиж носителя более высокой цивилизации и был доступен бо́льшему кругу читателей. При этом, естественно, он не достиг совершенства, и язык его сохраняет ряд особенностей, являющихся следствием как происхождения писателя, так и тех разнообразных влияний, которым он подвергался в течение своей жизни, сталкивавшей его, профессионала-военного, с людьми самого разнообразного происхождения. Одни из своих языковых особенностей Эней разделяет с некоторыми другими писателями, в частности с Ксенофонтом, другие характерны лишь для него самого; при этом особенности языка Ксенофонта, афинянина по происхождению, мы можем с полным правом назвать *отклонениями* от аттической нормы, в то время как у Энея они являются недостаточно умелой попыткой *приблизиться* к этой норме.

V

В отношении произношения эпоха Энея Тактика характеризовалась крайней неустойчивостью, которая усиливалась распространением в это время аттического диалекта среди различных греческих племен в качестве средства межплеменного общения [22].

Из чисто фонетических особенностей трактата Энея Тактика, сближающих его с койнэ, следует отметить прежде всего гораздо более частое употребление форм с σσ, чем с принятым в новоаттическом языке ττ, а также οὐθείς вместо οὐδείς, ἕνεκεν вместо ἕνεκα; следует обратить внимание и на неаттическую огласовку некоторых собственных наименований, о чем подробно будет сказано ниже, в связи с вопросом об упоминаемых в трактате диалектных различиях между греческими племенами.

Определить более или менее точно все фонетические особенности, присущие языку автора трактата, весьма затруднительно по той причине, что фонетика древнего (мертвого) языка вообще известна нам лишь постольку, поскольку она нашла себе отражение в графике, тем более что орфография рукописей трактата крайне непоследовательна, а во многих случаях и самый текст явно искажен.

---

[22] L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч., стр. LV.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что количество данных, характеризующих особенности Энеевой фонетики, которые можно извлечь из трактата, ни в какое сравнение не может идти с материалом, относящимся к морфологическим, синтаксическим или стилистическим его особенностям, а тем более к его лексике.

VI

Из особенностей языка Энея Тактика, которые отличают его от аттического, можно отметить следующие [23].

Употребление активных форм глагола в тех случаях, где аттические писатели предпочитают медиальные, например ἐνθυμεῖν (ἐνθυμήσας) — замышлять (XXXVII, 6), προνοεῖν (προνοοῦντα) — (заранее) заботиться (XVII, 1), παρασκευάζειν (αὐτοὶ παρεσκεύαζον) — приготовлять (XVII, 2); с другой стороны, автор употребляет медиальные и пассивные формы, не имеющие соответствий в современном ему литературном языке, такие как ξενοκρατεῖσθαι — быть под властью наемников (XII, 4), ἐκφερομυθεῖσθαι — быть разглашаемым (XXII, 5), ἐνεδρεύεσθαι (τὰς ἐνεδρευομένας ὁδούς) — быть облагаемым засадами (XXIV, 11), ἐξαυτομολεῖσθαι (ἐξαυτομολοῖτο τὸ σύνθημα) — быть предаваемым перебежчиком (XXIV, 16), ὁμηρεύεσθαι (πόλεως δ' ὁμηρευομένης) — давать заложников (X, 23), а также πεμπόμενος в med. или pass. в значении 'человек, к которому посылают (письмо)' (XXXI passim), что служит свидетельством гораздо более свободного употребления медиальных и пассивных форм у Энея. Встречается в трактате и редкий в греческом языке безличный пассив, например νυκτοφυλακεῖσθαι — ночная стража должна быть несома (XXII, 1), ξενοτροφηθείη (XIII, 4) от ξενοτροφέω — содержать наемников.

Для имени прилагательного, в образовании степеней сравнения, характерен компаратив на -έρως, -όνος, что свойственно также и языку Ксенофонта.

Из наречий встречаются такие редкие в аттической прозе образования, как πάμπαν — совсем (XVI, 2; XX, 1), ионическая форма πανσυδίῃ — всеми силами (XV, 9), а также ἅμα — вместе, дважды (XII, 1 и XXII, 10), употребленное как наречие места, а не времени, хотя в последнем случае можно допустить двоякое толкование.

Среди предлогов следует отметить свойственное ионийскому диалекту употребление ἀνά во временных выражениях, например ἀν' ἔτη πολλά — в течение многих лет (XXXI, 24)[24], и ἐν после глаголов в тех случаях, где, с точки зрения греческого языка, более естественным было бы εἰς, например ἀθροίζεσθαι ἐν

---

[23] Более подробно см.: L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч., стр. LXXII сл.

[24] Необходимо заметить, что пример этот представляет собой конъектуру английских издателей текста трактата.

τῇ ἀγορᾷ — собираться на площадь (IV, 3), γράφειν ἐν δέλτῳ ξύλῳ — писать на деревянной дощечке (XXXI, 14). Что касается встречающегося в трактате выражения κατὰ τὰ ὅπλα — при оружии, с оружием (XXVII, 5) в смысле обычного в греческом παρὰ τὰ ὅπλα или ἐπὶ τῶν ὅπλων, то не представляется возможным сказать уверенно, относится ли этот пример к своеобразию языка автора или является просто ошибкой переписчиков.

Столь же сомнителен пример с плеонастическим союзом ὡς при последующем инфинитиве в косвенной речи: ἐξοιστέον ... ὡς ... κίνδυνον εἶναι — необходимо сказать, что представляет опасность (II, 7). Однако вообще ὡς употребляется Энеем при инфинитиве вместо ὥστε, чтó свойственно также и Ксенофонту (но не аттическому языку в целом).

Дважды употреблено характерное для ионического πρὶν ἤ: πρὶν ἢ τὰ ἔξω προερευνηθέντα ἐμφανισθῆναι — прежде чем прилежащая местность не обследована путем предварительной разведки (XXVII, 15) и πρὶν ἢ ἐξερευνηθῇ τὰ περὶ τὴν πόλιν — пока не обследована окружающая город местность (XXVIII, 4).

В нескольких случаях употребляется излюбленное Ксенофонтом сочетание καὶ ... δέ: καὶ ἄλλοσε δέ (XXIV, 2), καὶ γενομένου δέ (XXXI, 8), καὶ παρασκευάζεσθαι δέ (XXXII, 5).

Наиболее характерная особенность в употреблении инфинитива Энеем заключается в том, что обычному аттическому ὥστε с инфинитивом или participium futuri он зачастую предпочитает простой инфинитив, иногда эпексегетического характера, порой явно инфинитив цели: ἔλαβε τῶν γυναικῶν τὰς ἐπιτηδειοτάτας συμπλεῦσαι — взял женщин, наиболее подходящих для плавания (IV, 10); παρῆν ὁ στρατηγός κλεῖσαι τὰς πύλας — явился военачальник запереть ворота (XVIII, 16).

Аналогичное употребление свойственно также и Ксенофонту, например τὸ δὲ ἥμισυ κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον — половину он оставил охранять лагерь (An. V, 2, 1).

В некоторых случаях Эней опускает причастие там, где в аттическом было бы вероятным его наличие: πρὸς τοὺς ὑπομένοντας μετὰ συσσήμων (IV, 5), т. е. μετὰ συσσήμων, πρὸς τοὺς ὑπομένοντας προσυγκειμένων — с условными сигналами, согласованными с остающимися в городе; προσδεχόμενοί τινας ἐφ' ἑαυτούς (т. е. τινας ἐπιόντας) — ожидающие какого-либо нападения на себя (XVI, 4),

В числе особенностей употребления падежей может быть отмечено плеонастическое употребление винительного внутреннего объекта как следствие склонности Энея к отглагольным именам: τὴν δευτέραν ἐπίθεσιν ἐπιτίθεσθαι — совершать вторичное нападение (XI, 7); βοηθοῦντας ... ἄτακτον βοήθησιν — выходящих на вылазку неорганизованно (XVI, 4); βοηθείας βοηθεῖν — устраивать вылазки (XVI, 14).

Встречается также винительный места, являющегося ареной происходящего действия, который охотно употребляет также

и Ксенофонт: τὴν δίωξιν ... ποιεῖσθαι τὰς αὐτὰς ὁδούς — производить преследование по тем же самым дорогам (XVI, 11); τὰς ἁμαξηλάτους ὁδοὺς βοηθεῖν — делать вылазки по проезжим дорогам (XVI, 14); ἄγειν (στρατιὰν) στενὰς ἢ πλατείας ὁδούς — вести войско узкими или широкими дорогами (Xen. Cyr. I, 6, 43).

Широко употребляется Энеем Тактиком родительный разделительный падеж, свойственный вообще греческим историкам: τῶν συλλεγέντων ἀποστελοῦσι — пошлют (тех или иных) из собравшихся (III, 6); ἀφαιρεῖσθαι τοῦ κηροῦ — удалять (часть) войска (XXII, 25); προάγειν τῶν πολεμίων — завлекать (часть) противников (XXIX, 1).

Причастие в genetivus absolutus часто употребляется самостоятельно в тех случаях, когда имя или местоимение может быть легко дополнено: μετὰ συσσήμων καὶ μὴ ἀγνοουμένων πρὸς ἀλλήλους — (отправляться) с условными сигналами, чтобы не быть в неведении одним относительно других (IV, 12); τῶν ἄλλων ... εἰς ἐκκλησίαν παρακληθέντων — из созванных па сходку (XI, 15).

Такого рода конструкция свойственна в особенности Ксенофонту, например προϊόντων ... δρόμος ἐγένετο — при продвижении их начался бег (Anab. I, 2,17).

Точно так же характерно для Энея и опущение подлежащего в тех случаях, где оно легко может быть дополнено или является неопределенным: ᾗ δ'ἂν ἄλλῃ φαίνηται (подразумевается τὶς) — поэтому, если кто-нибудь окажется в другом месте (X, 13); προενθυμεῖν, ... μὴ ... ἀσύμφερον (подразумевается τὶ) ... ᾖ — заранее заботиться, чтобы не произошло чего-либо непужного (XXIV, 18). Часто встречающееся у Ксенофонта техническое выражение ὅταν σημήνῃ показывает, каким образом развились подобного рода конструкции, получившие значительное распространение в трактате Энея.

Весьма часты в трактате изменения в конструкции предложения; в некоторых случаях они аналогичны тому, что мы находим, например, у Фукидида, в других случаях они насильственны и неуклюжи и обязаны своим происхождением недостаточному литературному мастерству писателя или его небрежности, а зачастую свидетельствуют также и о неустойчивости употребления тех или иных форм в греческом языке тех дней. Последнее может быть проиллюстрировано примером предложения, где одновременно встречаются τὰς ἐγγυτάτας ῥύμας, τὰς ἐγγυτάτω ῥύμας, τὰς ἐγγύτατα εὐρυχωρίας — наиболее близко находящиеся улицы, площадки (III, 5) (здесь определение существительного, имеющее одно и то же реальное значение, выражено тремя различными грамматическими формами), а также случаями употребления, без различия в значении, выражений ἐπί τῷ τείχει или ἐπὶτ οῦ τείχους — на стене (XXVI, 5), также νύκτωρ, XXIII, 11, νυκτός III, 4; IX, 1 и др. или ἐν τῇ νυκτί XVIII, 9 — ночью.

Примерами анаколуфов могут служить следующие предложения: τὰ δ' ἐλάσσω τούτων ἀδικήματα ... δεσμὸς ἡ ζημία — за менее значительные их проступки наказанием должна быть тюрьма (X, 19); οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστά τις δύναιτο τοῖς ἔξω προδιδοὺς δηλοῦν τι<. . .>μὴ προειδότες — ведь так менее всего возможно было бы какому-нибудь предателю сообщать что-либо находящимся снаружи ... не зная ... (XXII, 7) (перемена числа); δεῖ παρηγγέλθαι <. . .> τοῖς κεκτημένοις ... ὡς οὐκ εἰσαξόντων — должно быть дано распоряжение обладающим, что нельзя вводить (X, 1) (перемена падежа); οἷς δ'ἂν μὴ ὑπάρξῃ ξενία παρ' οὓς θήσονται — если у кого не окажется друзей, к которым можно будет поместить (имущество) (X, 2) (перемена рода κατὰ σύνεσιν, так как ξενία = ξένοι).

Могущая возникнуть в понимании предложения неясность, являющаяся следствием несовершенства его построения, заставляет автора прибегать к такому примитивному средству, как повторение местоимения αὐτός (например, в X, 21—22 оно употреблено восемь раз).

В ряду синтаксических особенностей, сближающих Энея с Ксенофонтом, можно отметить и употребление при подлежащем среднего рода глагола-сказуемого во множественном числе, например ἅπερ ἔμελλεν τοῖς προδιδοῦσι καὶ ἐπιθεμένοις συνοίσειν — что могло быть в дальнейшем наруку предателям и заговорщикам (XI, 5)[25].

Напротив, совершенно необычно для других авторов то значение, которым Эней наделяет существительное σῶμα, употребляемое им во множественном числе для обозначения воинских подразделений (I, 1; 5; II, 1; IX, 1; XXII, 16; XXIII, 10; XXXII, 1; XXXVIII, 1); наиболее близкое соответствие этому употреблению можно, пожалуй, найти в современной русской военной терминологии, где имеется выражение *живая сила* (в противоположность *технике*). Отсюда вытекает обычное употребление среднего рода вместо мужского в тех случаях, где речь идет о воинских подразделениях: τὰ τειχήρη καὶ πολιτοφυλακήσοντα — находящиеся внутри стен и предназначенные для обороны граждан (I, 3); τὰ ἀποστελλόμενα — посылаемые, отправляющиеся (IV, 5); τὰ ὑπερβαίνοντα — поднимающиеся, переходящие (XXXVI, 1).

При употреблении определения, выраженного родительным падежом существительного, Эней ставит генетив на первом месте, перед относящимся к определяемому членом: τοῦ λιμένος τὸ κλεῖθρον — заграждение гавани (XI, 3); τῶν πολιτῶν τοῖς προέχουσι — выдающимся из граждан (XVII, 3); πρὸς τοῦ Διονύσου τὸν βωμόν — к жертвеннику Диониса (XVII, 5); τῶν δεσποτῶν τὰς θυγατέρας — господских дочерей (XL, 3).

---

[25] Ксенофонт употребляет эту конструкцию особенно в тех случаях, где речь идет о животных.

К числу редких, но весьма любопытных случаев относится употребление ἄν с futurum infinitivi, встречающиеся в трактате дважды: οὐδένα ᾤετο ἄν ἀμνημονήσειν — полагал, что никто не забудет (XXVII, 9); οὕτω γὰρ ἄν ᾤετο μάλιστα πολεμιωτάτους ἔσεσθαι — таким образом, полагал он, они будут наиболее враждебны (XL, 3).

VII

Наиболее примечательны и вместе с тем сравнительно полно описаны в литературе [26] характерные особенности лексики Энея Тактика. В словаре писателя отчетливо выступают ионийские элементы, столь типичные для койнэ, хотя лексические его нововведения относятся в значительной мере не к области общелитературной лексики, а представляют собой чисто технические термины.

По подсчетам Ван Гронингена, в трактате Энея Тактика встречаются в общей сложности 280 слов, чуждых аттическому диалекту; из них 65 впервые появляются у Энея, 41 употреблено вообще лишь в его сочинении, причем из этих 106 «новых» слов 70 относятся к области специальных (технических) терминов. Из остальных 174 слов неаттического происхождения 20 заимствованы автором у Гомера, 49 у Геродота, 22 у Фукидида, 71 у Ксенофонта, в то время как слов, свойственных лексике Платона, в трактате встречается лишь 4. Такого рода неравномерность в количестве лексических совпадений с различными авторами находит себе объяснение в круге интересов автора и тематике его произведения. Поставив себе основной целью создание практического полезного наставления по обороне города, Эней вместе с тем стремится придать своему произведению наиболее подходящую, по его представлению, форму и для достижения этого следует (в данном случае в отношении лексики) тем образцам, которые, по его представлениям, являются наиболее близкими по тематике и литературным достоинствам. Естественно, что при этом несравненно большее количество лексического материала Эней мог заимствовать у авторов исторических сочинений, чем философских трактатов.

Не имея возможности подвергнуть рассмотрению весь лексический состав Энеева трактата, тем более что это с достаточной полнотой было сделано в упоминавшихся работах Мальштедта и Ван Гронингена, следует тем не менее упомянуть отдельные частности, представляющие интерес с той или иной точки зрения, на которые не было обращено должного внимания предшествовавшими исследователями.

Одним из подобных примеров является употребление частицы ἤδη. Обычно ἤδη считается наречием времени со значением *уже*,

---

[26] Ch. Mahlstedt. Über den Wortschatz des Aineias Tacticus. Jena, 1910; B. A. van Groningen. Le vocabulaire d'Enée le Tacticien. — «Mnemosyne», 6, 1938; L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч.

как раз, сейчас, теперь, еще, наконец; в действительности, однако, ἤδη представляет собой определительную частицу, состоящую из ἤ + δή, первое из которых выражает уверенность, а второе — очевидность, и в целом может быть переведено, в зависимости от контекста, посредством *очевидно, в самом деле, действительно, определенно, как раз, решительно, поистине, известно*[27].

Особенность Энеева употребления этой частицы заключается в том, что ею он сплошь и рядом начинает исторические иллюстрации, которыми изобилует его трактат (например, IV, 1; X, 25; XV, 7; XVIII, 5; 12; 22; XXIII, 4; XXIX, 1; XXXI, 14; XXXVII, 4), причем ἤδη сочетает в этом случае свое обычное временно́е значение со значением «вводности» конкретного примера, подобно αὐτίκα в аттической прозе или *однажды, так например, бывало* в русском языке.

Из морфологических элементов представляет интерес словообразовательный суффикс — τήρ, входящий в состав многократно употребляемого в трактате существительного διαδεκτήρ — промежуточный пост для передачи сигналов (VI, 4; VII, 2; XXII, 22), что находит себе соответствие в языке Ксенофонта, употребляющего собственные имена на — τήρ.

К числу лексических особенностей автора (кроме большого числа технических и других специальных терминов) относится выражение δηλωτικῶς γέγραπται — ясно, точно описано (XIV, 2) вместо обычного в этом значении аттического σαφῶς или ἀκριβῶς γέγραπται[28].

Следует отметить также такое слово несомненно варварского происхождения как μόσυν (ξύλινοι μόσυνες — деревянные башни (XXXIII, 3), вошедшее в обиход со времени похода десяти тысяч, во время которого грекам пришлось видеть у Черного моря народ, живший в деревянных постройках, похожих на башни (Xen. An. V, 4—5).

Из староаттического словаря Энеем заимствован один грамматический термин: так, букву ε он называет (XXXI, 18) не привычным, более поздним по происхождению, наименованием ἒ ψιλόν, а по-староаттически εἶ[29].

VIII

Общая оценка писательского мастерства Энея Тактика удачно выражена в словах его английских исследователей, сказавших, что ему мало свойственны как достоинства, так и пороки литера-

[27] F. Passow. Handwörterbuch der griechischen Sprache. Leipzig, 1841—1857, s. v.

[28] В классическое время δηλωτικῶς встречается лишь у Гиппократа.

[29] K. W. Krüger. Griechische Sprachlehre für Schulen, 6. Auflage. Leipzig, 1890, S. 11, примечание 7; E. Schwyzer. Griechische Grammatik, Bd. I. München, 1939—1953, S. 140.

турного стиля [30]. Действительно, с одной стороны для характеристики стиля Энея нет более надобности прибегать к тем крайне резким выражениям, в которых отзывались о нём некоторые из прежних филологов, считавшие стиль писателя полуварварским, в лучшем случае отличающимся солдатской небрежностью; с другой стороны, разумеется, нельзя приписывать ему нарочитой изысканности профессионального литератора и стараться во всех случаях подвести под аттическую норму, как то пытались сделать некоторые другие исследователи трактата.

Стиль Энея Тактика отличается своей пестротой: иногда он отдает дань риторике, иногда пишет как чисто технический автор. Для него характерно также отсутствие сколько-нибудь строгой систематизации излагаемого материала, и в описаниях он то и дело переходит от одного предмета к другому; это отсутствие последовательности неизбежно ведет к повторениям и длиннотам и в целом к громоздкости изложения.

Эней охотно употребляет, например, описания, состоящие из существительного и глагола вместо простого глагола: κωλυταὶ ἔσονται — будут служить помехой, вместо κωλύσουσι — помешают (III, 3); τὴν μάθησιν λαμβάνειν — брать знание, вместо μανθάνειν — учиться (VII, 4).

Возможно, что здесь чувствуется влияние Фукидида, хотя такого рода тенденции вообще присущи позднему греческому языку [31].

Характерным для Энея является также употребление двух слов для выражения одной и той же мысли, причем слова эти не являются вполне синонимичными, второе из них обычно дополняет или ограничивает первое: ἀγῶνες καὶ κίνδυνοι — битвы и опасности (Prooem. 1); πολλῶν καὶ παντοίων ἔργων — многих и разнообразных дел (Prooem. 3); ἡλικίᾳ καὶ νεότητι — по возрасту и молодости (I, 8); ἐπὶ παραδείγματος καὶ μαρτυρίου — на основании примера и свидетельства (IV, 7).

Только что упомянутый способ выражения близок к фигуре речи, называемой ἓν διὰ δυοῖν [32], которая точно так же встречается в трактате, например τὴν κλεῖσιν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι (XX, 1) вместо обычного τὴν ἐπιμέλειαν τῆς κλείσεως ποιεῖσθαι — проявлять заботу о запирании (ворот).

Иногда изложение чисто технических приемов автор оживляет юмором и иронией — говорит ли он о «страже города» (ὁ τῆς πόλεως φύλαξ — XVIII, 20), передававшем противнику сведения о караульной службе, или о своем собственном изобре-

---

[30] L. W. Hunter, S. A. Handford. Указ. соч., стр. LXXXI.

[31] Там же, стр. LXXXI.

[32] «Фигура, в которой одно сложное понятие выражается двумя равносильными словами, не подчиненными одно другому, но соединенными посредством союза *и*» (С. И. Соболевский. Грамматика латинского языка. М., 1950, § 1321).

тении — одном из способов зашифровки сообщений, — при котором истолковать зашифрованное будет, пожалуй труднее, чем зашифровать его (XXXI, 19).

Порою автор поднимается до подлинно художественного описания событий. Едва ли не лучшим примером этого рода служит рассказ о том, как Писистрату удалось предотвратить нападение мегарцев на афинских женщин, собравшихся на празднество в Элевсине (IV, 8—11), который замечателен необыкновенной рельефностью изображения происходящего [33].

Несомненным достоинством Энеевой манеры повествования является его непосредственность, которая воздействует на читателя более глубоко, чем профессиональное литературное мастерство.

IX

В дополнение к обзору основных особенностей языка и стиля Энея Тактика следует упомянуть также о нашедших в его трактате отражение диалектных различиях и отдельных особенностях говоров Эллады той эпохи. Хотя эти отрывочные свидетельства и не вносят чего-либо существенно нового в наше представление о греческих диалектах, их несомненная ценность в том, что они служат непосредственной и наглядной иллюстрацией того, как их должны были принимать во внимание даже люди, сугубо практичные, для которых филология сама по себе не представляла никакого интереса. Так, автор трактата говорит о необходимости иметь в виду различную степень употребительности у разных племен тех или иных синонимических или близких по значению наименований, как собственных (Διόσκουροι — Τυνδαρίδαι, Ἄρης — Ἐνυάλιος, Ἀθηνᾶ — Παλλάς), так и нарицательных ξίφος (меч) — ἐγχειρίδιον (кинжал), λαμπάς (факел) — φῶς (огонь), которая в войске, состоящем из уроженцев различных местностей, может быть прямой помехой при обмене паролями (XXIV, 1—3), что иллюстрируется далее (XXIV, 13) весьма убедительным примером.

Необходимо отметить также, что название острова Керкиры передается автором как Κόρκυρα (XI, 13), т. е. в его туземной огласовке; если отсюда нельзя делать вывода о том, что Эней бывал в этих краях, то едва ли можно сомневаться, что произношение этого топонима было им усвоено непосредственно от аборигенов острова, с которыми его сводила солдатская профессия, а не из литературных источников, где название это употребляется в форме Κέρκυρα [34].

---

[33] Познакомившись с этим эпизодом в описании Энея Тактика, С. И. Соболевский выразил сожаление по поводу того, что не включил его в свое время в греческую хрестоматию.

[34] Латинская форма Corcȳra отражает произношение аборигенов, географически более близких к Италии, чем собственно Греция.

X

В оценке языковых особенностей и литературных достоинств трактата Энея Тактика современная нам филологическая наука отвергает те крайние мнения, которые высказывались филологами прошлого, одни из которых считали язык трактата полуварварским (Рейске), другие — чисто аттическим (Херхер). Успехи, сделанные за последние десятилетия в изучении греческих диалектов и процессов образования греческой койнэ, позволяют дать более трезвую и вместе с тем отличающуюся бóльшей осторожностью оценку трактату Энея, в соответствии с которой язык этого писателя никак не может быть признан аттическим — несмотря на его стремление пользоваться литературным языком, — точно так же, как и произведение его в целом нельзя отнести к художественной прозе; вместе с тем, нет оснований давать чересчур суровую оценку литературному мастерству Энея.

Трактат представляет собой, с точки зрения языка, один из наиболее ранних неаттических памятников того периода, когда в Элладе происходил процесс образования общегреческого языка — κοινή; по содержанию это произведение является не литературно художественным, а техническим и несет на себе, особенно в области лексики, отпечаток профессиональной принадлежности автора.

Б. Б. Ходорковская

СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ В ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ БОСПОРСКИХ НАДПИСЕЙ

Система падежей греческого языка и происходившие в ней на протяжении почти трехтысячелетней истории греческого языка изменения издавна привлекали к себе внимание исследователей. Известно, что четырехпадежная система древнегреческого языка уступила место трехпадежной системе новогреческого языка. Синтаксические функции исчезнувшего датива принял генитив. В современном литературном языке два оставшихся косвенных падежа, аккузатив и генитив, противопоставляются функционально следующим образом: 1) аккузатив выполняет функцию прямого дополнения: τὸ λέω — я говорю это; 2) генитив выполняет функцию косвенного дополнения: τοῦ λέω — я говорю ему.

Помимо приглагольного употребления, генитив используется и в конструкциях при имени существительном, выполняя здесь другую свою основную функцию определения существительного: τὸ βιβλίο τοῦ — его книга.

Но как показывает французский лингвист Мирамбель [1], в северо-восточных диалектах греческого языка, от Фессалии и до Фракии, на островах северной части Эгейского моря и в части Азии, противопоставление синтаксических функций аккузатива и генитива идет совсем по другой линии: 1) аккузатив выполняет функции и прямого, и косвенного дополнения, 2) генитив — функцию определения.

Такое распределение функций связано и с разграничением сфер употребления обоих падежей: аккузатив употребляется при глаголе, генитив же исключительно при имени.

Как же исторически объясняется наличие двух падежных систем с различным распределением синтаксических функций падежей в современном греческом языке?

Мирамбель указывает, что употребление аккузатива на месте датива наметилось еще в эллинистической койнэ и спорадически появлялось в различных областях греческого мира. Но как конкретно шел этот процесс, в каких синтаксических условиях про-

---

[1] A. M i r a m b e l. Dialectes néo-helleniques et syntaxe. — BSL, 1963, т. 58, fasc. I.

ходила замена одного падежа другим? Предшествовали ли изменениям в области синтаксиса какие-то сдвиги в морфологическом строе греческого языка?

В связи с этими вопросами представляет интерес изучение системы падежей в языке позднегреческой койнэ первых веков нашей эры, когда отклонения от норм литературного классического языка становятся все более заметными. Очевидно, что более ценными для такого исследования окажутся тексты, отражающие разговорный язык. С тех пор как греческий язык стал интернациональным языком на значительной части средиземноморского бассейна, тексты, наименее подверженные влиянию норм литературного языка, принадлежат негреческим народам или грекам, живущим в окружении иноязычных народов. Не случайно именно тексты, найденные на окраинах греческого мира, в Египте [2], Карфагене, Риме [3], сообщили много нового и ценного историкам греческого языка.

Для настоящего исследования были взяты греческие надписи северного Причерноморья, опубликованные В. В. Латышевым в трех томах «Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini (IOSPE) I, II, IV и в «Известиях Археологической комиссии» (ИАК). В этих изданиях собраны надписи греческих городов и поселений северного побережья Черного моря, начиная от городов, расположенных на западе Черноморского побережья Тиры и Ольвии и кончая городами на востоке Причерноморья, Горгиппией и Танаисом.

Особые случаи функционирования падежей, отличные от нормативного их употребления, наблюдаются не во всех причерноморских надписях, но главным образом в надписях городов, расположенных в северо-восточном углу Причерноморья, а именно в Танаисе, Горгиппии, отчасти Пантикапее и Фанагории. Историками доказано, что в этих городах Боспора и особенно в Боспорской колонии Танаисе население издавна было смешанным. «К концу II в. н. э. да и ранее, уже давно исчезло на Боспоре различие между греками и бывшими «варварами». И население Боспора было вполне смешанным, причем весьма вероятно, что «варварский» элемент в нем преобладал над элементом греческим и римским» [4]. В условиях смешения разных этнических групп и культур ряд новых явлений обнаруживается и в языке.

Характерным для языка боспорских надписей является употребление в одних и тех же синтаксических условиях, при сохранении одной и той же синтаксической функции разных падежей. Сам по себе этот факт говорит о неустойчивости семантических

---

[2] E. Mayser. Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemeerzeit. Bd. I, 1906; Bd. II. Berlin, 1934.

[3] R. Wünsch. Sethian. Verfluchungstafeln aus Rom. 1898.

[4] С. А. Жебелев. Северное Причерноморье. Боспорские этюды. М.—Л., 1953, стр. 213.

границ между отдельными падежами. С другой стороны, изучение таких дублетных синтаксических конструкций может выявить скрытые тенденции дальнейшего развития синтаксического строя языка. Поэтому случаям синтаксической вариативности уделяется особое внимание.

В области морфологии имен в языке боспорских надписей первых веков н. э. особых изменений не происходит. Парадигмы склонения имен существительных сохраняют в основном те же черты, которые были им присущи в классический период греческого языка.

В области же синтаксиса падежей наблюдаются изменения, описание которых и составляет задачу настоящей статьи.

Синтаксические функции падежей изучаются в синтаксических конструкциях; отдельно рассматривается употребление падежей при глаголе и при имени существительном. Методически важным является стремление при изучении синтаксических функций падежей пользоваться критериями, выходящими за границы отдельной морфемы, учитывать синтаксическое окружение падежа и позицию его в синтаксической конструкции.

I. ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1. КОНСТРУКЦИИ С НОМИНАТИВОМ

В конструкции при глаголе номинатив выполняет обычную синтаксическую функцию подлежащего, независимо от формы глагола.

IOSPE, II, 427, 5 (Танаис, 188 н. э.): Διδυμόξαρθος... καὶ Ῥόδων... χρόνου καταφθαρέντα τὸν πύργον ἀνοι[κ]οδομήσαντες ἀπεκατέστησαν τῷ ἐμπορίῳ διά ἐπιμελητῶν...

«Дидимоксарт... и Родон... отстроив разрушенную временем башню, восстановили (ее) для города через попечителей...»

Глагол имеет форму действительного залога. IOSPE, II, 48 (Танаис, 225 н. э.): ἀνεσχευ [άσθη ὁ] πύργος ἐκ θεμελίων δι' ἐ[πιμελείας] Ἰουλίου — «отстроена башня от основания попечением Юлия». Глагол имеет форму страдательного залога. Ср. IOSPE, II, 49; IV, 464.

Однако в позиции при глаголе, имеющем форму страдательного залога, иногда встречается аккузатив. IOSPE, II, 434, 5 (Танаис, 236 н. э.): χρόνῳ ἠμεληθεῖσαν τὴν κρήνην [ἀ]νοικοδομήθη ἐκ θεμελίων καὶ γέγονε πύργος ἐπὶ πρεσβευτῇ ... καὶ ἑλληνάρχῃ ... καὶ διαδόχῳ ... καὶ διά ἐπιμελητῶν ... — «заброшенный источник отстроен от основания и сделана башня при посланнике... (имя) и эллинархе (имя) ... и диадохе ... (имя) ... и через попечителей...»

Синтаксическая позиция аккузатива τὴν κρήνην при глаголе ἀνοικοδομήθη в IOSPE, II, 434 совпадает с позицией номинатива

ὁ πύργος при глаголе ἀνεσκευάσθη в IOSPE, II, 48, так как оба глагола имеют не только одинаковую форму страдательного залога, но и одинаковое лексическое значение. Общий контекст того и другого предложения тоже сходен. Естественно поэтому предположить, что синтаксическая функция аккузатива в данном случае совпадает с функцией номинатива, т. е. что аккузатив выполняет роль подлежащего.

Помимо данной надписи среди танаисских надписей имеются еще две, где при глаголе страдательного залога употреблен аккузатив. Обе надписи одинаковы по содержанию и поэтому помещены Латышевым во II томе IOSPE под одним номером 431. IOSPE, II, 431, 8 (Танаис, 220 н. э.): χρ[όνῳ κ]αταφθαρέντα τ[ὸ τ]εῖχο[ς ἀνῳκ]οδομήθη ἐ[κ θ]εμελή[ων] δ[ιά ἐπιμε]λητ[ῶν] — «временем разрушенная стена отстроена от основания через попечителей». IOSPE, II, 431 bis: χρ[όνῳ κατα]φθαρέντα τὸ [τεῖχος ἀνῳ]κοδομήθη ἐ[κ θεμελίων διά] ἐπιμελη[τῶν].

В тексте надписей форма существительного τὸ τεῖχος недостаточна для выяснения падежа, поскольку в среднем роде номинатив и аккузатив совпадают по форме. Но причастие καταφθαρέντα, служащее определением этого существительного, ясно указывает на форму аккузатива. Наблюдаемое здесь частичное нарушение согласования причастия с существительным, а именно в роде, отнюдь не представляет собой единственного случая в причерноморских надписях. Ср. IOSPE, I, 98, 13, 113, 13; 116, 9; 24, 12; ИАК, вып. 37, стр. 72, № 3, 8[5].

Таким образом, по форме причастия καταφθαρέντα, согласованного с существительным τὸ τεῖχος в падеже и числе[6], можно установить падеж существительного, т. е. признать τὸ τεῖχος аккузативом.

Малочисленность примеров[7] употребления аккузатива при пассивной форме глагола как в танаисских надписях, так и в греческой койнэ вообще затрудняет анализ этой конструкции. Несколько позже, однако, в II—VI вв. н. э., это употребление, как показывает исследование греческого языка папирусов Капсоменакиса, становится более частым.

---

[5] О нарушениях правила согласования в роде причастия с существительным в языке греческих папирусов первых веков н. э. см.: St. Kapsomenakis. Voruntersuchungen zu einer Grammatik der Papyri der nachchristlichen Zeit, 1930, S. 107.

[6] В грамматике греческого языка Швицера-Дебруннера указывается, что нарушение согласования чаще всего приходится на тот случай, когда не совпадают признаки рода определяющего и определяемого слова. См.: Schwyzer Ed.—Debrunner. A. Griech. Gramm. II, S. 602. München, 1950.

[7] В грамматике греческого языка Швицера-Дебруннера приводятся лишь три примера употребления аккузатива при пассивной форме глагола, разделенные при том очень большими интервалами времени: один пример из папируса III в. до н. э., второй — из папируса 193 г. н. э. и третий пример из документа 1591 г. См.: Schwyzer Ed. — Debrunner. A. Указ. соч., S. 239—240.

Вот некоторые из примеров Капсоменакиса: ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἐγράφη Par. 18, 12/3 (II в. н. э.) — «это письмо было написано»; ἐμετρήθησαν ... ἀρτάβας ἑξήκοντα ... καὶ ... ἀρτάβας τρεῖς — Fay. 85, 6/II (247 н. э.) — «было отмерено шестьсот артаб ... и ... три артабы»; ἀλλοτρίαν γυναῖκαν ἐκληρονόμησεν αὐτὸν — Oxy. VII, 1067, 7/9 (III в. н. э.) — «он получил в наследство чужую жену»; μὴ εὑρεθείη τε οἱανδήποτε βλάβην — Cairo Masp. I, 1, 23 (514 н. э.) — «пусть не встретится никакая беда» [8].

Приведенные примеры показывают, что существительное в форме аккузатива и глагол оказываются согласованными в числе. Такая синтаксическая связь между членами конструкции совпадает с обычным согласованием в числе существительного — подлежащего и глагола-сказуемого и, напротив, никогда не отмечается в конструкции глагола с существительным-дополнением. Таким образом, тексты папирусов первых веков н. э., как и анализ танаисской надписи, приводят к одному и тому же выводу: у аккузатива в конструкции с глаголом страдательного залога появляется новая синтаксическая функция — подлежащего.

2. КОНСТРУКЦИИ С ДАТИВОМ

Основной синтаксической функцией датива в первые века н. э. остается функция косвенного дополнения. В этой функции датив употребляется при многих глаголах со значениями «дарить, посвятить, поставить, восстановить, показать» и др. В многочисленных посвятительных и надгробных надписях Боспора повторяется ставшее формулой выражение: ἀνέστησαν τινί το — «поставили тому-то то-то». В некоторых надписях глагола нет, но потенциально позиция глагола сохраняется, так что синтаксическая конструкция не меняется.

IOSPE, II, 351, 4 (Фанагория, 123 н. э.): ἀνέστησαν τὸν τελαμῶνα θεῶι Ἀπόλλωνι — «поставили столп Аполлону».

IOSPE, II, 363 (Фанагория, 307 н. э.): Μ. Αὐρηλίῳ Ἀνδρονείκῳ... ἄρχοντες τὴν στήλην τειμῆς χάριν — «Марку Аврелию Андронику... архонты (поставили) плиту почести ради».

В той же позиции при глаголе ἀνέστησα употребляется в Боспорских надписях на месте датива аккузатив. Наряду с конструкцией V—N_1dat—N_2acc [9] (порядок следования членов конструкции может быть любым) мы имеем: V—N_1acc—N_2acc. ИАК вып. 37, № 1 (Боспор, римское время): Ἡ σύνοδος... Ἥλιον Παυλείνου ἀνέστησεν τὴν στήλην τειμῆς χάριν — «Сход... поставил Гелия Павлинова сына (=Гелию) плиту почести ради».

---

[8] St. Kapsomenakis. Указ. соч., стр. 107.

[9] V—verbum (глагол); N — nomen (имя); N_1 — наименование лица, N_2 — наименование предмета.

IOSPE, IV, 211 (Пантикапей, конец III в. н. э.): Ἡ σύνοδος <...> ἀνέστησεν Ἡ...ην Εὐαρέστου στ[ήλην μνήμ]ης χάριν — «Сход... поставил Г...ия Эварестова на память».

IOSPE, II, Addenda, № 199 (Боспор, I в. н. э.): Σάσαν ὀπλίτην γυνὴ Ταμύρα ὑπὲρ τοῦ ἀτῆς ἄνδρός ἀνέστησεν τὴν στήλην· χαῖρε — «Саса гоплита (= Сасу гоплиту) поставила жена Тамира плиту над своим мужем. Прощай».

Весьма возможно, что употребление двойного аккузатива при глаголе ἀνίστημι возникает в результате контаминации двух распространенных в боспорских надписях формул: 1) поставил тому-то то-то: V—N_1dat—N_2acc и 2) поставил того-то: V—Nacc. Например, IOSPE, II, 60 (Пантикапей, римское время): Ἡ σύνοδος... καὶ οἱ λοιποί συνοδεῖται Ἀχαιμ[έ]νην Ἀγαθοκλέους μνήμης χάριν — «Сход и остальные члены схода (поставили) Ахемена Агафоклова на память».

Частотность обеих формул в надписях одинакова. Любопытно, однако, что распределение их в надписях разное: формула V—Nacc встречается преимущественно в надписях коллегий (14 раз из 19), тогда как формула V—N_1dat—N_2acc в надписях частных лиц (16 раз из 19) [10]. Вследствие контаминации этих двух формул могла возникнуть третья с двумя аккузативами: V—N_1acc—N_2acc — «поставил того-то то-то».

В связи с этим привлекает внимание надпись III в. до н. э. из Херсонеса, где в одной синтаксической конструкции чередуются аккузатив и датив, причем окончание датива имеют причастия, служащие определением существительного, стоящего в форме аккузатива. IOSPE, I, 418: Ὁ δᾶμος Ἀγασικλῆ (Acc) κτη[σία]. Εἰσαγησαμένωι (Dat) τάν φρου[ρά]ν καὶ κατασκευάξαντι (Dat) — «Народ (поставил) Агасикла сына Ктесия. Предложившему декрет о гарнизоне и устроившему его». В тексте этой надписи одна формула, видимо, перекрывает другую, вызывая нарушения языковой нормы.

Но каковы бы ни были причины возникновения нового употребления аккузатива, факт остается налицо: в причерноморских надписях отмечаются две синонимические конструкции с глаголом, где используются как синтаксические альтернанты два падежа: датив и аккузатив.

Альтернация датива и аккузатива наблюдается и в конструкциях с другими глаголами. При глаголе τιμᾶν — «почитать» употребляются согласно языковой норме аккузатив прямого дополнения и инструментальный датив. IOSPE, I, 325, 7 (Ольвия, III в. д. н. э.): ὁ δῆμος [αὐτ]όν... ἐτίμησεν δωρεαῖ — «народ почтил его подарком». Но в надписях встречается также конструкция глагола τιμᾶν с двумя аккузативами. ИАК, вып. 37 (Горгиппия, 174—210 н. э.): [ἐ]τείμησεν ὁ βασιλεὺς τόν θεόν καὶ τὸν

[10] A. Kocewalow. Syntaxis inscriptionum antiquarum coloniarum graecarum orae septentrionalis Ponti Euxini. «Eos». Supplementa, vol. 12. Leopoli, 1935.

θέασον [ἐξ]αγώγιον ἀρταβῶν χειλίων — «Царь почтил бога и фиас (правом беспошлинного) вывоза тысячи артаб (зерна)».

Глагол νικᾶν «быть победителем» чаще всего конструируется с дативом для указания вида спорта, в котором одержана победа. IOSPE, I, 130 (Ольвия): ἐν[είκα λ]όνχαι, δίσκωι — «одержал победу (в состязании) копьем, диском». Есть же надписи, где при глаголе νικᾶν ту же функцию выполняет аккузатив. IOSPE, IV, 432 (Горгиппия): Οἵδε... δόλιχον ἐνίκησαν — — «они оказались победителями (в состязаниях) по бегу» — ср. IOSPE, I, 434. Наличие двух синонимических конструкций глагола νικᾶν с дативом и с аккузативом известно уже в классическом греческом языке.

Например, Herod. 7, 10: νικήσαντες ναυμαχίῃ — «победив в морском сражении»; Isocr. 12, 257: ναυμαχίαν ἐνίκησαν. В греческом же языке первых веков н. э. альтернация датива и аккузатива в глагольных конструкциях возрастает, захватывая конструкции с глаголами ἀνίστημι и τιμάω, что уже противоречит языковой норме.

Итак, в некоторых глагольных конструкциях, где датив используется в чисто грамматических значениях (адресат действия, орудие действия), у него появляется синтаксический альтернант — аккузатив.

Но датив в греческом языке служит и для выражения адвербиальных значений (время и место действия). В этом употреблении у датива имеется другой синтаксический альтернант — генитив. Так при обозначении времени действия «в таком-то году, такого-то месяца», в надписях употребляются параллельно генитив и датив: μηνός и μηνί, ἔτους и ἔτει. Оба последних выражения ἔτους и ἔτει известны и литературному греческому языку, из двух же первых выражений в литературном языке встречается только μηνός. Примеры из причерноморских надписей могут быть приведены следующие. IOSPE, II, 400, 6 (Горгиппия, 41 н. э.): ἔτους ηλτ', μηνὸς Δείου — «года 338, месяца Дия». ИАК, вып. 10, № 98 (Пантикапей, 285 н. э.): βπφ' ἔτει καὶ μηνὶ Λ(ώ)ῳ — «года 582 и месяца Лоя». Наряду с выражениями μηνὶ τῷ δείνι и μηνὸς τοῦ δεῖνος в надписях распространен еще и третий вариант: μηνὶ τοῦ δεῖνος, где значение времени передается дативом μηνί, а генитив, указывающий название месяца, служит, видимо, определением существительного μηνί. IOSPE, II, 310 (Пантикапей, 208 н. э.): μηνὶ Γορπιαίου — «месяца Горпиэя» ср. ИАК, вып. 10, № 23; вып. 37, № 1; вып. 23, № 32; IOSPE, II, 447, 451 и др. Об устойчивости употребления этого оборота в Причерноморье свидетельствует одна очень поздняя надпись из Херсонеса 915 г. н. э. ИАК, вып. 27: κεκοίμηται δὲ μηνὶ Ἰουλίου κθ' ἔτους, ϛυκγ' — «почил месяца июля 29-го года 6423».

Альтернация датива и генитива в одном и том же окружении отмечается в следующих надписях. IOSPE, II, 428, 7 (Танаис,

192 г. н. э.): χρόνῳ καταφθαρέντα τὸν πύργον. . . ἀπεκατέστησαη и IOSPE, II, 427, 7 (Танаис, 188 н. э.): χρόνου καταφθαρέντα τὸν πύργον . . . ἀπεκατέστησαν — «восстановили разрушенную временем башню», где обычно формой выражения является датив, а его синтаксическим альтернантом генитив.

При выражении адвербиальных значений несравненно чаще употребляется предложный оборот. Например, при указании месяца составления надписи генитив μηνός встречается 7 раз, датив μηνί — 5 раз, а предложный оборот ἐν μηνί — 25 раз.

Анализ предложных оборотов также обнаруживает вариативность используемых падежей. Так, при обозначении времени правления некоего лица используется сочетание предлога ἐπί с дативом и с генитивом. IOSPE, II, 434, 8 (Танаис, 236 н. э.): καὶ γέγονε πύργος ἐπί πρεσβευτῇ . . . καί ἑλληνάρχῃ . . . καί διαδόχῳ — «была сделана башня при посланнике . . . (имя) . . . и эллинархе . . . (имя) . . . и диадохе . . . (имя) . . .» Ср. IOSPE, I, 98; IOSPE, II, 430, 431. ИАК, вып. 63, № 3 и др. IOSPE, I, 4, 43.

В тексте одной танаисской надписи чередуются генитив и датив в обороте с предлогом ἐπί. IOSPE, II, 31 bis (Танаис, римское время) ['Επί β]ασιλεῖ 'Ρησκουπό[ριδι] . . . κα[ὶ Ζήνω]νος . . . τῷ ἐπὶ τῶ[ν 'Ασ]πουργιαν[ῶ]ν καί πρεσβευ[τῇ βασ]ιλέως 'Ρησκουπόριδ[ος] καί Χοφρά[ζ]μου . . . τὸ [τεῖχος ἀνῳ]κοδομήθη — «При царе Рискупориде . . . и Зиноне, стоящем во главе аспургиан и посланнике царя Рискупорида, и Хофразме . . . была восстановлена стена».

Альтернация падежей в обороте с предлогом ἐπί при обозначении времени правления некоего лица наблюдается только в причерноморских надписях. В литературном греческом языке нормой в этом случае было употребление предлога ἐπί с генитивом, и оно сохранялось в диалектальных надписях и в папирусах.

Возможно, что альтернация генитива и датива в обороте с ἐπί появляется по аналогии с другими распространенными на Боспоре выражениями, где чередуются оба падежа (ср. μηνός и μηνί, ἔτους и ἔτει, χρόνου и χρόνῳ), поскольку все они относятся к одной сфере обозначения времени.

Альтернация датива и генитива наблюдается еще в одном предложном обороте с σύν, при обозначении лица, вместе с которым производится действие. IOSPE, II, 86 (Пантикапей, I в. н. э.): σὺν τῶι Μηνεόδωρος . . . κέκλιται — «с ним брат Минеодор». IOSPE, II, 401 (Горгиппия, конец I—начало II в. н. э.): Τιμόθεος . . . σύν ἀδελφῆς Ἦλιδος — «Тимофей с сестрой Элидой». Ср. IOSPE, II, 297, 301, 383. В литературном языке с предлогом σύν употребляется только датив, и появление генитива в этом обороте может объясняться влиянием синонимического оборота с предлогом μετά и генитивом.

Итак, синтаксис приглагольных падежей по текстам боспорских надписей характеризуется некоторыми изменениями в упо-

треблении падежей. Увеличивается число синтаксических конструкций с использованием аккузатива, вторгшегося в области функционирования номинатива и датива. Но чередования номинатива и датива с аккузативом имеют место только в определенных синтаксических конструкциях. Аккузатив вместо номинатива отмечается в конструкции с глаголом, имеющим форму страдательного залога. Датив чередуется с аккузативом в тех глагольных конструкциях, где уже употреблен другой аккузатив, и таким образом, оказываются синонимичными конструкции $V—N_{dat}—N_{ac}$ и $V—N_{acc}—N_{acc}$. Именно этот вид чередования наблюдается в конструкциях с глаголами ἀνίστημι, τιμάω, νικάω.

С другой стороны, отмечается альтернация датива с генитивом как в беспредложных, так и в предложных оборотах. Сравнение этих конструкций с фактами литературного языка показывает, что в одних случаях альтернация связана с употреблением датива там, где согласно языковой норме употреблялся генитив, в других случаях, наоборот, альтернация объясняется распространением генитива.

Поэтому утверждать, что в период первых веков н. э. датив вытесняется другими падежами, нельзя. Но потенциально предпосылки для последующей трансформации всей падежной системы уже имеются, и свидетельство этого — многочисленные синтаксические альтернации датива с аккузативом и генитивом.

II. ИМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Альтернация падежей наблюдается и в одном типе приименных конструкций, — в конструкции аппозиции. Конструкция аппозиции состоит в том, что одно существительное N получает определение другим существительным N'. Синтаксическая связь между N и N' выражается обязательным согласованием падежных окончаний определяемого и определяющего существительного.

В боспорских надписях первых веков н. э. отмечаются многочисленные нарушения правила согласования падежных окончаний обоих членов конструкции аппозиции. Для того, чтобы выяснить, в чем суть этих отклонений, рассмотрим отдельные виды конструкции, группируя их в зависимости от падежной формы определяемого существительного N.

1. N nom

1.1. Nnom—N'nom

IOSPE, II, 433, 6 (Танаис, 236 н. э.): [Δημή]τριος 'Απολ[λωνίου Ταvα]είτης — «Димитрий сын Аполлония танаит». Ср. IOSPE, II, 431, 432.

1.2. Nnom—N'acc

ИАК, вып. 37 (Горгиппия, 174—210 н. э.): θεασεῖται· Πανταλέων Φαρνάκου στρατηγόν — «Члены фиаса: Панталеон, сын Фарнака, стратег».

1.3. $Nnom—N'_1N'_2N'_3$ ...

Если N' представляет собой комплекс из однородных членов, то либо все имена ряда имеют, согласно языковой норме, окончания номинатива, либо первые члены ряда имеют окончание аккузатива, а последующие — окончание номинатива.

$N\ nom — N'_1\ acc\ N'_2\ acc\ N'_3\ nom\ N'_4\ nom$...

IOSPE, II, 451, 8 (Танаис, 228 н. э.): καὶ οἱ λοιποί θιασῶται. Μήθαχον Στρατονείκου, Πόπλιον Δημητρίου, Φαδιαρόαζος Ποπλίου и другие имена с окончанием номинатива.

IOSPE, II, 448, 10 (Танаис, 225 н. э.): καὶ οἱ λοιποί θιασῶται· Δημήτριον Φαζινάμου, Στοσάραχος Φίδα и другие имена в форме номинатива.

Таким образом, альтернация номинатива и аккузатива в аппозитивной конструкции при Nnom может быть связана с позицией N' в ряде однородных членов.

2. N gen
2.1. Ngen—N'gen

IOSPE, II, 437 (Танаис, 188 н. э.): βασιλέοντος βασιλέως Τιβερίου 'Ιουλίου Σαυρομάτου, υἱοῦ μεγάλου βασιλέως — «В царствование царя Тиберия Юлия Савромата, сына великого царя».

2.2. $Ngen—N'_1acc\ N'_2acc\ N'_3acc$

IOSPE, II, 443 (Танаис, II в. н. э.): [ἡ σύνοδος περί] ἱερέα . . . καί συν[αγωγ]όν . . . καί φιλάγαθον . . . καί παραφιλάγαθον . . . καὶ τῶν λοιπῶν θιεσειτῶν· Δροῦσον Πασίωνος, Χαρίξενον Τρύφωνος . . . — «Синод во главе с жрецом . . . (имя) . . . синагогом . . . (имя) . . . филагатом . . . (имя) . . . парафилагатом . . . (имя) . . . и из других членов: Друса Пасионова, Хариксена Трифонова и др.»

Отдельно нужно рассмотреть вид аппозитивной конструкции, где определяемый член представлен предложным оборотом с генитивом.

2.3.1. διά $Ngen—N'_1gen\ N'_2gen\ N'_3gen$ ...

IOSPE, II, 427, 11 (Танаис, 188 н. э.): ἀπεκατέστησαν . . . διά ἐπιμελητῶν Συνεκδήμου . . . καὶ Μάη . . . καί Θαυμάστου — «Восстановили . . . через попечителей Синекдима . . . и Мая . . . и Тавмаста».

2.3.2. διά $Ngen—N'_1acc\ N'_2nom\ N'_3nom$

IOSPE, II, 430, 12 (Танаис, 220 н. э.): ἀπεκατέστησα ... διά ἐπιμελητῶν· Ζήνωνα ... Φαρνόξαρθος ... Φαλδάρανος — «восстановил ... через попечителей Зинона, Фарноксарта, Фалдарана».

Любопытна надпись из Танаиса 236 г. н. э., где определяющие существительные имеют окончания то генитива, то аккузатива, а в конце перечня — номинатива. IOSPE, II, 434, 12: διά ἐπιμελητῶυ Πάπα (Gen.)... καί 'Αντίμαχον (Acc.)... καί ''Ερωτος (Gen.)... Σαμβατίωνα (Acc.)... Μενέστρατον (Acc.)... Φιδάνους (Nom.)... 'Αφθαίμακος (Nom.) и другие имена в форме номинатива.

Следовательно, синтаксическими альтернантами в аппозитивной конструкции при Ngen являются генитив, аккузатив и номинатив. Когда альтернация падежей имеет место в тексте одной надписи, — а это возможно лишь при N', состоящем из ряда однородных членов, — обнаруживается, что первые члены ряда имеют окончание генитива или аккузатива, а последующие члены — окончание номинатива. Распределение падежей оказывается таким же, как при Nnom.

3. Ndat

3.1. Ndat—N'dat

IOSPE, II, 351, 4 (Фанагория, 123 н. э.): ἀνέστησαν τόν τελαμῶνα θεῶι 'Απολλώνι — «поставили столп богу Аполлону».

3.2. Ndat—N'gen

ИАК, вып. 37 (Горгиппия, 174—210 н. э.): Θεῷ Ποσειδῶνος — «богу Посейдону». IOSPE, II, 67 (Пантикапей): 'Αντιγένες ... Εὐτυχείδου πατρὶ καί Θεονείνῃ μητρί καί Εὐτυχείδου τέκνῳ — «Антиген ... Евтихиду отцу, Феонине матери и Евтихиду сыну», где дважды стоит генитив вместо датива ИАК, вып. 63, № 4 (Тамань. Римское время): Μόκ(κ)ος πατρὶ Καλ(λ)ιστράτου χαίρειν — «Мокк отцу Каллистрату. Прощай». Ср. IOSPE, IV, 425, ИАК. вып. 63, № 4.

3.3.1. ἐπί Ndat—N'dat

IOSPE, II, 430, 2 (Танаис, 220 н. э.): ἐπί βασιλεῖ 'Ρησκουπόριδιῒ υἱῷ μεγάλου βασιλέως — «при царе Рискупориде, сыне великого царя».

3.3.2. ἐπί Ndat—N'gen

IOSPE, II, 431, 2 (Танаис, II—III вв. н. э.): ἐπί βασιλεῖ 'Ρησκουπόριδος — «при царе Рискупориде».

IOSPE, II, 423 (Танаис, 193 н. э.): ἐ[πί σ]τρατηγῷ πολειτῶ[ν Ζή]νωνος — «при стратеге Зиноне».

3.3.3. ἐπί Ndat—N'acc

IOSPE, II, 434 (Танаис, 236 н. э.): καὶ γέγονε πύργος ἐπί πρεσβευτῇ Χόφρασμον ... καί ἑλληνάρχῃ Ψυχαρίωνα ... καί διαδόχῳ 'Ηρακλείδαν... — «была построена башня при посланнике Хофрасме и эллинархе Психарионе и диадохе Ираклиде».

Таким образом, при Ndat синтаксическими альтернантами в аппозитивной конструкции являются датив, генитив и аккузатив. Употребление генитива как падежа аппозиции при Ndat значительно превышает употребление в этой же функции аккузатива. Очевидно, альтернация датива и генитива характерна именно для аппозитивных конструкций при Ndat, так как обратного явления — использования датива в аппозитивной конструкции при Ngen — не наблюдается.

4. Nacc
4.1. Nacc—N'acc

IOSPE, II, 453, 13 (Танаис, 230 н. э.): καὶ τοὺς λοι[πούς συν]οδεῖτας Σαύν[ασον] . . . Εὔνωνα. . . καί Δαναράσμακον.

4.2. περί N_1acc—N_1'acc καί N_2acc—N_2'nom

IOSPE, II, 448, 2 (Танаис, 225 н. э.): Ἡ σύνοδος ἡ περὶ θεόν . . . καὶ ἱερέα . . . Καλλισθένην καί συναγωγόν Ψυχαρίων — «Сход, имеющий во главе бога. . . и жреца Каллистена и синагога Психариона». ИАК, вып. 37 (Горгиппия, 174—210 н. э.): Θεασεῖται περὶ ἱερέα Ἀθηνόδωρον . . . καί φροντίστας Κόσσουν . . . καί Φαρνάκην . . . ἱερῶν οἰκονόμος — «члены фиаса, имеющие во главе жреца Афинодора . . . и попечителей Коссу и Фарнака, храмового казначея».

Номинатив в аппозитивной конструкции при Nacc появляется при некотором перечислении имен, служа определением одного из этих имен.

В результате исследования различных видов аппозитивной конструкции можно прийти к следующим выводам. В тех случаях, когда вопреки языковой норме отсутствует согласование падежных окончаний обоих членов конструкции, определяющее существительное N' чаще всего имеет окончание аккузатива независимо от того, в каком падеже стоит определяемое существительное N.

Окончание аккузатива у N' становится синтаксическим показателем отношения между обоими членами аппозитивной конструкции, показателем подчинения второго члена первому. Синтаксическая функция аппозиции, таким образом, выражается не согласованием падежных окончаний обоих членов конструкции, при котором окончание определяющего существительного все время меняется в зависимости от падежного окончания определяемого существительного, но одним постоянным окончанием аккузатива. Аккузатив становится специальным падежом аппозиции. В этой своей новой функции аккузатив чаще встречается в тех видах аппозитивной конструкции, где определяемый член представлен предложным оборотом.

В предложном обороте синтаксическая функция выражается двумя морфемами, падежным окончанием и предлогом, — и син-

таксическое значение падежного окончания в известной степени ослабевает. В этих условиях определяющему существительному аппозитивной конструкции достаточно иметь самый общий показатель его подчинения, — окончание аккузатива.

С аккузативом как специальным падежом аппозиций конкурируют генитив и номинатив. Сфера употребления генитива ограничена. Он используется в конструкции аппозиции только при Ndat. Такое ограниченное его употребление в аппозитивной конструкции и чередование генитива и датива в приглагольных конструкциях свидетельствует о довольно значительном проникновении генитива в область функционирования датива.

В отличие от генитива употребление номинатива в аппозитивной конструкции не ограничено одним каким-либо видом конструкции. В этом отношении употребление номинатива сходно с употреблением аккузатива. Но сравнение того и другого и особенно случаи параллельного использования аккузатива и номинатива в тексте одной надписи показывают, что номинатив употребляется преимущественно там, где определяющий член аппозитивной конструкции представляет собой комплекс однородных членов. Окончания номинатива имеют при этом имена, стоящие в конце перечня, когда синтаксическая функция всего комплекса уже выражена окончаниями аккузатива его начальных членов. Функция номинатива сводится к наименованию лица.

Таким образом, в конструкции аппозиции номинатив имеет лишь лексическую функцию, тогда как синтаксическая функция его нулевая.

В языке боспорских надписей номинатив с нулевой синтаксической функцией наблюдается не только в конструкции аппозиции.

В различных синтаксических конструкциях, где есть ряд параллельных членов, неначальные члены ряда могут иметь окончание номинатива, независимо от того, в каком падеже стоят начальные члены ряда.

Например, IOSPE, II, 428, 11 (Танаис, 192 н. э.): τὸν (π)ύργον ἀνοικοδομήσαντες ἀπεκατέστησαν τῶ ἐμπορίῳ δι[ά] ἐπιμελείας Ῥόδωνος Φαζινάμου καὶ Ῥόδωνος Χαρίτωνος καὶ Ἄττα Ἡρακλείδου καὶ Εὔιος Δάδα — «восстановили для города башню попечением Родона Фазинамова, Родона Харитонова, Атты Гераклидова и Эвия сына Дады».

Конструкцию образуют существительное ἐπιμελείας и ряд имен в форме генитива. Последний член ряда Εὔιος имеет форму номинатива.

Пример подобного же употребления номинатива могут представить предложные обороты, где с одним предлогом сочетается ряд существительных.

IOSPE, II, 441 (Танаис, 220 н. э.): [Ἡ σύ]νοδος ἡ περὶ [ἱερέα . . .] *καί πατέρα συ[νόδου . . . καί συναγωγόν . . .] . . . καί φιλάγαθος* — «Сход,

имеющий во главе жреца ... (имя) и отца синода ... и синагога ... (имя) ... и филагата».

Подводя итоги, можно сказать, что функционально-структурные связи внутри падежной системы изменились в первые века н. э. по сравнению с классическим периодом. Возросло употребление аккузатива как в глагольных, так и в именных конструкциях. В конструкции аппозиции аккузатив получает совершенно новую синтаксическую функцию, становясь специальным падежом аппозиции. Употребление других косвенных падежей, генитива и датива примечательно тем, что увеличивается число конструкций, где наблюдается синтаксическая альтернация датива и аккузатива, датива и генитива. Особое употребление получает номинатив, имея в некоторых конструкциях нулевую синтаксическую функцию.

Таким образом, в четырехпадежной системе греческого языка максимально нагруженным в функциональном отношении оказывается аккузатив, минимальную же нагрузку имеет датив, что не может свидетельствовать о шаткости его позиций в системе.

Возникает вопрос, не является ли такое состояние падежной системы характерным только для греческого языка на Боспоре. Подробный анализ этого вопроса невозможен в рамках данной статьи, но материалы многих исследований греческого языка периода койнэ и средних веков показывают, что процесс разрушения старой падежной системы проходит раньше или позже, в той или иной форме во всех областях распространения греческого языка.

Смешение номинатива и аккузатива как в морфологии, так и в синтаксисе греческого койнэ в Египте отмечалось известным исследователем языка греческих папирусов Э. Майзером [11–12]. На синтаксическое чередование номинатива и аккузатива в папирусе II в. до н. э. обращал внимание Вайнрайх [13]. Хатзидакис отмечает употребление аккузатива в позднегреческой койнэ там, где «хорошая проза» использовала генитив или датив или предложный оборот и называет аккузатив объектным падежом κατ' ἐξοχὴν [14].

На употребление генитива и аккузатива в аппозитивной конструкции при определяемом существительном, имеющем форму датива, обращает внимание Д. Табаховиц [15], анализируя особенности синтаксического строя позднегреческого языка. О заменах

[11–12] E. Mayser. Указ. соч., Bd. II, S. 187.

[13] O. Weinreich. — «Philolog. Wochenschrift», № 34, 1922.

[14] Hatzidakis. Einleitung in die neugriechischen Grammatik, 1892, S. 220.

[15] D. Tabahowitz. MH 3 (1946), S. 151.

датива аккузативом и генитивом пишут К. Дитрих [16], Л. Радермахер [17], Ж. Эмбер [18].

Таким образом, изменение функций падежей в греческом языке Боспора не представляет собой изолированного явления в истории греческого языка и, возможно, является начальным этапом того процесса, который привел в северо-восточных диалектах современного греческого языка к созданию особой схемы функционирования падежей.

---

[16] K. Dietrich. Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache, 1898, S. 131, 151.

[17] L. Radermacher. Neutestamentliche Grammatik, Wien, 1925.

[18] J. Humbert. La disparition du datif en grec. 1930.

Н. А. Вишневская

ГРЕЧЕСКИЕ СЛОВА В БАСНЯХ ФЕДРА

В результате многовекового общения народов Рима и Греции в латинский язык проникло большое количество греческих слов. Первоначально греческие слова усваивались устной речью путем непосредственного общения с греками, особенно с теми, которые жили на юге Апеннинского полуострова. Затем во II в. до н. э. приток греческих слов неизмеримо вырос в связи с завоеванием Греции Римом и включением ее в состав римского государства. Этот период как раз совпал со временем становления латинского литературного языка. Греческие предметы проникали во все сферы римской жизни, часто в латинском языке для них не было соответствующих обозначений, и греческие слова получали широкое распространение и в разговорном языке, и в литературном [1].

В данной статье делается попытка систематизировать все имеющиеся данные и высказать свою точку зрения об использовании греческих слов в баснях Федра.

Специальной работы, посвященной анализу всех греческих слов в баснях Федра, нет. Исследователи языка Федра касаются этого вопроса лишь попутно.

Первый из них, Ш. Козерэ, приводит в своей работе [2] свыше 30 существительных греческого происхождения, уже вошедших в литературный язык со ссылками на авторов. Он также выделяет 5 существительных, впервые употребленных Федром: antidotum — I, 14, 3; pera — IV, 10, 1; strophae — I, 14, 4; sophus — III, 14, 9; tribas — IV, 15, 1.

Г. Зассен в своей диссертации [3] отмечает лишь, что существительные melos (III, 18, 11) и toxicum (I, 14, 8) до Федра употребляются только поэтами. Он также приводит список неологизмов Федра, в общем повторяющий перечень Козерэ. С двумя исключениями: 1) Зассен не включает в число неологизмов Федра бездоказательно, как мы считаем, существительное strophae и 2) вводит новый неологизм pycta.

[1] F. O. Wiener. Die griechischen Wörter im Latein. Leipzig, 1882.

[2] C. Causeret. De Phaedri sermone grammaticae observationes. Paris, 1886, p. 33.

[3] H. v. Sassen. De Phaedri sermone, diss. Marburg, 1911.

Третий исследователь языка Федра, И. Бертшингер в своей диссертации[4] дает классификацию греческих слов, встречающихся у Федра. В первую категорию он включает греческие слова, полностью вошедшие в латинский язык и не имеющие соответствующих синонимов в латинском языке. Этих слов 23. Они употреблялись как в литературном, так и в разговорном языке. Вторая категория — греческие слова, имевшие в латинском языке синонимы, — Бертшингером не разбирается совсем, так как Федр употреблял и греческое слово и его синоним. Подробно разбирает Бертшингер только 9 слов третьей категории. Это греческие слова, имевшие в латинском языке синонимы, но употребляемые Федром не в латинском, а в греческом синонимическом варианте. Такое предпочтение, оказываемое греческим словам, несмотря на наличие латинских синонимов, Бертшингер считает доказательством широкого употребления этих слов в разговорном народном языке.

Все указанные работы не свободны от недостатков. Так, напрасно в своей работе Зассен исключает существительное strophae из числа неологизмов, тогда как до Федра это слово ни у одного автора не встречается, а после него встречается у Петрония, 60. Существительное toxicum Зассен считает словом поэтического языка, не делая ссылок на авторов. Однако это слово встречается в эподе Горация (17, 61) и у Плавта («Купец», 472). Плавт часто употреблял народные слова, встречаются они и в сатирах и в эподах Горация; поэтому, в данном случае, правильнее будет утверждение Бертшингера, относящего toxicum (venenum) к просторечному языку.

Козерэ в своем перечне греческих слов дает несколько греческих слов, не указанных другими исследователями. Это dolo — III, 6, 3; draco — IV, 21, 3; nenia — III prol., 10; IV, 1, 14 (не в распространенном значении cantus lugubris, а в измененном значении «пустая грубая песня»; в этом же значении употребляет существительное nenia и Гораций, «Послания», I, 1, 62); obsonia — III, 4, 2; triclinium — IV, 25, 28. Однако нельзя согласиться с Козерэ относительно существительного cuniculus, которое он считает греческим. Скорее можно предположить, что напротив, латинское cuniculus вошло в греческий язык и дало ὁ κόνικλος у Полибия.

Система Бертшингера имеет недостатки и не всегда выдержана. Так, существительное melos у него внесено в категорию не имеющих синонимов слов, хотя оно имеет синонимы cantus, carmen. В баснях Федра употребляются и melos (III, 18, 11; IV, 21, 2) и cantus (III, 16, 11). В ту же категорию Бертшингер помещает существительное tribas, в то время как это слово имело в латинском языке синоним frictrix и до Федра у авторов не встречалось. Среди

---

[4] J. Bertschinger. Volkstümliche Elemente in der Sprache des Phaedrus, diss. Bern, 1921.

греческих слов разговорного языка, употреблявшихся Федром, несмотря на наличие латинских синонимов, встречаются, например sophus (III, 14, 5; IV, 13, 8; App., II, 2) и sapiens (III, 14, 3; 17, 11) причем sophus обычно употребляется с оттенком иронии.

Из советских ученых лексики Федра касается М. Л. Гаспаров [5]. Он отмечает чистоту языка Федра, упоминает о греческих словах, уже усвоенных латинским языком, и о греческих словах, не встречающихся у более ранних писателей; но в целом ограничивается подведением итогов предшествующих работ, не предпринимая самостоятельных разысканий.

Названные ученые, однако, не выявили полностью всех греческих слов в баснях Федра. При написании этой статьи удалось обнаружить свыше 40 греческих слов, никем не отмеченных, и этот список, наверное, будет еще продолжен.

Вот перечень этих существительных:

1. adytum App., 6, 4 (ἄδυτον τό)	Lucr.
2. amphora III, 1,1 (ἀμφορεύς ὁ)	Naev., com.
3. astrum II, 6, 12 (ἄστρον τό)	Cic., Tusc.
4. aura V, 7, 1 (αὔρα ἡ)	Enn.
5. charta IV, ep., 5 (χάρτη ἡ)	Lucil. (chartus).
6. chorda App., 12, 2 (χορδή ἡ)	Lucr.
7. comoedia V, 1, 9 (κωμῳδία ἡ)	Plaut.
8—9. elephantus App., 2, 5 (ἐλέφας ὁ)	Plaut.
10. eunuchus IV, 4, 1 (εὐνοῦχος ὁ)	Ter.
11 hora III, prol., 5 (ὥρα ἡ)	Lucr.
12. hymenaeus App., 14, 10 (ὑμέναιος ὁ)	Plaut.
13. latro II, 7, 7; V, 2, 1 (λάτρις ὁ)	Plaut.
14. lag(o)ena I, 26, 3 (λάγυνος ὁ)	Plaut.
15. leo App., 2, 5 (λέων ὁ)	Plaut.
16. lyra App., 12, 1 (λύρα ἡ)	Horat.
17. margarita III, 12, 2 (μαργαρίτης ὁ)	Cic.
18. marmar V, prol., 6 (μάρμαρος ὁ)	Enn.
19. mulus II, 7, 1; mula III, 6,1 (μύχλος ὁ)	Plaut.
20. myrtus-murtus III, 17, 3 (μύρτος ὁ)	Verg.
21. oliva III, 17, 9 (ἐλαία ἡ)	Plaut.
22. panthera III, 2, 2 (πάνθηρ ὁ, ἡ)	Lucr.
23. philosophus App., 4, 22 (φιλόσοφος ὁ)	Plaut.
24. poena IV, 11, 8 (ποινή ἡ)	leg. XII tab.
25. poeta (ποιητής ὁ)	Plaut.
26. pompa App., 14, 10 (πομπή ἡ)	Plaut.
27. sarcophagus App., 13, 2 (σαρκοφάγος ὁ)	Iuv.
28. scarabaeus App., 30, 7 (σκαραβαῖος ὁ)	
29. sceptrum App., 2, 11 (σκῆπτρον τὸ)	Pacuv.
30. schola III, prol., 20 (σχολή ἡ)	Cic.
31. scopulus II, 6, 5 (σκόπελος ὁ)	Enn.
32. spelunca IV, 21, 3 (σπήλυγξ ἡ)	Lucr.
33. stilus III, prol., 29 (στυλός ὁ)	
34. thalamus App., 6, 14 (θάλαμος ὁ)	Cat.
35. thesaurus II, 27, 3 (θησαυρός ὁ)	Plaut.
36. tragicus I, 7, 7 (τραγικός ὁ)	Plaut.
37. nauta IV, 18, 7 (ναύτης ὁ) [6]	Plaut.

[5] М. Гаспаров. Федри Бабрий. (Дисс., машинопись.) М., 1962, стр. 70.
[6] Этимология Бензе; другие полагают nauta из *navita om navis.

31*

38. castor App., 28, 2 (κάστωρ ὁ) Plin.
39. hydrus I, 2, 22 (ὕδρα ἡ) Lucr. (hydra)
40. Причастие stomachans (от stomachari) (ὀστόμαχος).
41. Глагол nauseare (nausiare) производный от nausea (ναυσία) Федр употребляет в переносном значении.

Многие греческие слова настолько прочно вошли в латинский язык, что давали производные по законам латинского словообразования. Существительное panthera употребляется Федром не в аналогичной греческому πάνθηρ форме panther, а в форме существительного I склонения женского рода panthera, в какой она впервые встречается у Лукреция (IV, 1016).

Встречаются у Федра отыменные глаголы I спряжения, образованные от существительных греческого происхождения. Такое образование говорит о широком употреблении данных греческих существительных в латинском разговорном языке; образование отыменных глаголов обычно I спряжения — также одна из характерных особенностей разговорного языка.

Остался вне поля зрения исследователей и интересный вопрос о способах передачи латинским языком некоторых звуков, характерных для греческого языка. Так как передача чуждых латинскому языку звуков греческого языка в различные эпохи была различной, то по способам передачи этих звуков можно установить примерно время появления того или другого слова в латинском языке, а также отчасти и область его употребления, т. е. употребляется ли оно в литературном или в народном языке.

В латинской фонетике не было звуков, соответствующих греческим φ, χ, ϑ, ζ и υ, соответственно и в латинском алфавите не было соответствующих знаков для их изображения. Поэтому эти звуки в разные времена передавались в латинском языке различно: в древнейшую эпоху, еще до образования латинского литературного языка, греческие слова передавались сообразно звуковым законам латинского языка; поэтому в греческих словах, еще в древности попавших в латинский разговорный язык путем непосредственного общения с носителями греческого языка,

ϑ передается через t (turibulum от древнейшего заимствования ϑύος > tus, ср. в литературном языке thus), χ передается через c (χάλιξ > calx — V, 7, 37); греческое υ передавалось через u (κυβερνήτης > gubernator — IV, 13, 8; σπήλυγξ > spelunca — IV, 21, 3; μύχλος > mulus — II, 7, 17).

Дифтонг αι передавался через ae (αὐλαία > aulaeum — V, 7, 23; κίναιδος > cinaedus — V, 1, 15). Впервые встречается у Федра существительное scarabaeus, греческое σκαραβαῖος. Передача αι через ae говорит о том, что, по-видимому, в разговорном языке это слово жило с древнейших времен. Принадлежность scarabaeus к разговорному языку подтверждается параллелями из романских языков: ит. scarafaggio, исп. escarabajo. В некоторых случаях дифтонг αι передается через īv: ἐλαία > oliva — III, 27, 9.

Однако большинство (свыше 30) слов греческого происхождения, встречающихся у Федра относится к словам, появившимся в латинском языке во II—I вв. до н. э. и вошедшим в литературный латинский язык.

Для этого периода характерна передача греческих звуков ближе к их собственному звучанию:

φ передавалось через аспират ph (σαρκοφάγος > sarcophagus) — всего 7 слов;

ϑ через th (ϑαλαμος > thalamus) — всего 8 слов;

χ через ch (χορδή > chorda) — всего 7 слов;

υ через y (ἄδυτον > adytum) — всего 11 слов.

В древнейшую эпоху не только звуковая сторона греческих слов передавалась сообразно законам латинского языка, но и грамматические формы греческого языка заменялись латинскими. Плавт передавал греческие слова с латинскими окончаниями. Начиная с Акция римские писатели проявляют стремление произносить греческие слова так, как они произносились на их родине и писать их с греческими окончаниями. Об этом мы имеем свидетельство Варрона [7]. Сам Варрон разделял эту точку зрения и писал слова с греческими окончаниями. Однако греческие слова настолько прочно вошли в латинский язык, что уже не воспринимались как иностранные, поэтому естественнее было произносить их с латинскими окончаниями. Один из лучших представителей чистого латинского языка Цицерон стоял за то, чтобы слова давались, как в древности, по законам латинского языка. В эпоху Августа поэты употребляли греческие слова во всех падежах с греческими окончаниями. Квинтилиан (I, 5, 24) сообщает о том, что вопрос о произношении греческих слов по-гречески, еще в его время не был снят.

Анализ употребления греческих слов Федром показывает, что Федр следовал литературной традиции Цицерона, хотя та и считалась в его время устаревшей, и употреблял греческие слова с латинскими окончаниями.

Мы видели, что различная передача в разные периоды греческих звуков φ, ϑ, χ, υ, не свойственных латинскому языку, дает возможность установить время и способ появления греческих слов в латинском языке, однако наличие сочетания ch или y, например, не всегда говорит о греческом происхождении слова, так как под влиянием греческого языка сочетание ch стало употребляться в таких латинских словах, как pulcher, Gracchus и др., буква y — в таких латинских словах, как lacryma, clypeus. Поэтому более точными признаками греческого происхождения слов являются признаки фонетические и грамматические.

---

[7] Varro. De l. Lat., X, 70: «Accius haec in tragoediis largius a prisca consuetudine movere coepit et ad formas graecas verborum magis revocare».

Законы словообразования различны в латинском и греческом языках. Так, греческие суффиксы τηρ и της в латинском языке передаются как ta: ποιητής > poeta.

Суффикс σι для существительных женского рода, в латинском языке — ti (vestis, sitis): βάσις > basis — II, ep., 2 (французское base). Суффиксы ant, ent, ont служат в греческом языке для образования существительных. Исходя из этого признака, слово elephantus — греческого происхождения. В латинском языке ant, ent служат для образования Participium praesentis activi.

Греческие слова в большом количестве усваивались латинским разговорным языком и жили, давая производные, в продолжение многих лет. Латинские авторы, особенно поэты, во все периоды развития латинского языка брали из народного языка необходимые им яркие слова, часто греческие слова оказывались удачнее своего латинского синонима и получали более широкое распространение. Особенно много греческих слов введено в литературный язык Плавтом. В более позднюю эпоху — во время установления новых национальных жанров в литературе охотно пополнял свою лексику словами народного языка Катулл. Широко использует греческие слова и Федр — основоположник римской литературной басни. Пользуясь в основном словами, уже вошедшими в литературный язык, он добавляет и новые греческие слова из разговорного языка. Употребление греческих слов является одной из характерных особенностей его лексики.

Е. В. Федорова

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАТИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

(Эволюция букв K и C в архаическом латинском письме)

Греческое происхождение латинской письменности не вызывает сомнений. Однако спорным является вопрос о путях и времени проникновения греческой письменности в Лациум.

Существует две теории в решении этого вопроса.

Согласно одной теории латины заимствовали письменность из Кампании, из греческого города Кумы, основанного в VIII в. до н. э. поселенцами из эвбейского города Халкиды.

Эта теория, выдвинутая в первой половине XIX в. О. Мюллером и Клаузеном, была поддержана и развита Т. Моммзеном и в науке получила его имя [1]. К мнению Моммзена примкнули многие специалисты латинского языка[2]. В России горячим сторонником этой теории был В. И. Модестов, твердо веривший в доримское происхождение латинской письменности. В своей докторской диссертации он писал: «Мы не можем не прийти к заключению, что латинская письменность не изобретена в Риме, но что происхождение ее относится еще к доримским временам. Нет никаких следов, указывающих на происхождение латинского письма в самом Риме; напротив, оно появляется там как нечто готовое, сложившееся и существующее в употреблении, как царская власть, сенат, как ауспиции авгуров и т. п.»[3].

Считая Кумы исходным пунктом распространения письменности в Лациуме, В. И. Модестов в то же время обращает внимание на мнение Моммзена о том, что проникновение греческой письменности в Лациум следовало бы отнести скорее к XIV в. до н. э., чем к VIII в. до н. э.[4]

Однако это предположение противоречит кумской теории, так как Кумы были основаны лишь в VIII в. до н. э. Таким образом, и Моммзен и Модестов, веря в глубочайшую древность ла-

---

[1] T. Mommsen. Die unteritalischen Dialecte. Leipzig, 1850, S. 39.

[2] E. Hübner. Römische Epigraphik. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft hrsg., von I. Müller. 2 Aufl. München, 1892; J. E. Sandys. Latin epigraphy. 2 ed. Cambridge, 1927; В. М. Линдсей. Краткая историческая грамматика латинского языка. Перевод Ф. А. Петровского. М., 1948.

[3] В. И. Модестов. Римская письменность в период царей. Казань, 1868, стр. 9—11.

[4] Там же.

тинской письменности, не дали последовательного решения вопроса об истории ее появления.

В настоящее время как в советской, так и в зарубежной науке господствует другая теория, согласно которой письменность в Рим пришла от этрусков [5]. Впервые эта мысль была высказана в XVIII в.[6] В России в конце прошлого века ее отстаивал и И. В. Нетушил [7].

Этрусская теория базируется главным образом на одном факте, который представляется необъяснимым при непосредственном заимствовании письменности у греков.

Принято считать, что в латинском языке издавна существовало различие между звонким и глухим заднеязычными звуками «г» и «к»[8], между тем как римляне в древности при письме не различали этих звуков. Буква G появилась только в III в. до н. э., буква K почти совсем вышла из употребления, а буква C, в классическую эпоху передававшая звук «к», в древности могла обозначать звук «г», следы чего сохранились в традиционном сокращенном написании личных имен Гай и Гней (Gaius — сокращенно C., Gnaeus — сокращенно Cn.), а также в параллельном написании числительных vicesimus и vigesimus, tricesimus и trigesimus. Это явление находит себе объяснение в фонетике этрусского языка, не различавшего звонких и глухих заднеязычных звуков. Отсюда следует естественный вывод, что латинское письмо происходит от этрусского [9] и в архаическую эпоху сохраняет этрусский порядок употребления букв C, K и Q (греческие гаммы, каппы и коппы): гамма — перед e, i, каппа — перед a и согласными,

---

[5] И. М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. М., 1960, стр. 69; Д. Дирингер. Алфавит. Перевод с англ. М., 1963, стр. 610; Р. Гюнтер. К развитию социальной и имущественной дифференциации в древнейшем Риме. — ВДИ, 1959, № 1, стр. 82; M. Hammarström. Beiträge zur Geschichte des etruskischen, lateinischen und griechischen Alphabets. «Acta societatis scientiarum Fennicae», 49, 1920, № 2; A. C. Moorhouse. The triumph of the alphabet. A history of writing, N. Y., 1953, p. 135.

[6] Об истории вопроса см.: В. Модестов. Несколько необходимых возражений проф. Нетушилу по поводу его заявлений о песни братьев Арвальских. — ФО, 13, кн. 1. М., 1897, стр. 50 сл.

[7] И. Нетушил. О времени введения латинского алфавита (Ответ на «Возражения» проф. Модестова). — ФО, 13, кн. 2. М., 1897, стр. 93 сл.

[8] В кавычках употребляются только русские буквы для обозначения латинских звуков.

[9] Родство этрусского алфавита с греческим бесспорно. Принято считать, что этруски заимствовали письменность у греков. Против этого традиционного мнения возражает Вл. Георгиев: «финикийский, греческий и этрусский алфавиты происходят непосредственно и независимо один от другого от минойского слогового письма. Однако позднее финикийское письмо оказало известное влияние на греческий и этрусский алфавиты, а вслед за тем и греческий алфавит, в свою очередь, воздействовал на этрусский (и латинский)». («Вопросы языкознания», 1952, № 6, стр. 81.) Последние слова говорят о том, что В. Георгиев относится к числу сторонников этрусского происхождения латинской письменности.

коппа — перед о, u [10]. Благодаря этому соображению этрусская теория снискала немалое число сторонников.

Однако, если мы обратимся к памятникам архаического латинского письма, то картина предстанет в ином свете.

Согласно этрусской системе слово «фефакед» (= сделал) на пренестинской фибуле [11] должно быть написано через гамму, так как далее следует звук «э», однако здесь употреблена каппа FHEFHAKED. Судя по опубликованному факсимиле [12], каппа здесь имеет самое привычное для нас начертание: наклонные штрихи смыкаются в одной точке почти в середине вертикального штриха. Каппа повернута влево, как и все буквы этой надписи.

По этрусской системе в слове «эго» («я») в надписи на урне из Цере (совр. Черветери) должна быть употреблена коппа, однако слово это написано через гамму ECO [13].

Согласно этрусской системе личные имена Гай и Гней должны начинаться с каппы, поскольку далее следуют звуки «а» и согласный. Однако традиционные сокращения C. и Cn. говорят о том, что имена эти писались через гамму.

Все эти факты находятся в противоречии с этрусской системой.

В другой архаической латинской надписи, найденной в 1899 г. на римском форуме под так называемым «черным камнем» (lapis niger)[14] каппа встречается три раза, гамма — один, причем каппа

---

[10] И. М. Тронский. Очерки по истории латинского языка. М., 1953, стр. 141; И. М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. М., 1960, стр. 69—70.

[11] Надпись на золотой fibula Praenestina считается одной из самых ранних латинских надписей. Эта фибула (застежка, булавка, пряжка) была найдена в 1871 г. в Пренесте в одном из древних погребений. Она датируется концом VII или VI вв. до н. э. Надпись однострочная, написана греческими буквами справа налево. Ее текст: MANIOS MED FHEFHAKED NVMASIOI (Маний сделал меня для Нумерия).

[12] Факсимиле см. J. E. Sandys. Указ. соч., стр. 38.

[13] Эта надпись, датируемая концом VII—серединой VI в. до н. э. опубликована в журнале «Studi etruschi» 1950—1951, vol. XXI, p. 397—400, Firenze. Ее текст: ECOYPNATITAVENDIASMAMAP... Конец надписи не сохранился. Словоразделительные знаки отсутствуют. Буква R имеет греческое начертание P, буква M имеет пятилинейную форму. Проф. М. Паллоттино, опубликовавший эту надпись, переводит ее на классический латинский язык следующим образом: «Ego urna Titiae Veneriae Mamerci (filiae sive uxoris)» — «урна Титии Венерии, дочери (или жены) Мамерка». На опубликованной там же фотографии надписи отчетливо видно, что имя Мамерк обрывается на букве P (MAMAP). М. Паллоттино, однако, дает текст надписи, кончая словом Mamarc. . ., произвольно добавляя букву C (в значении звука «к»). Если подобную небрежность мог допустить столь видный ученый, то это, несомненно, служит свидетельством недостаточного внимания, уделяемого буквам K и C, которые имеют первостепенное значение для воссоздания картины формирования и развития латинской письменности.

[14] Это самая древняя латинская надпись, найденная в Риме. Она может быть датирована по обломкам керамики и других предметов, обнаруженных рядом с ней; археологи относят их к VII—VI вв. до н. э. В настоящее время

пишется в тех словах, где в классическую эпоху был звук «к», а гамма — в слове, имевшем звук «г».

Через каппу написано слово SAKPOS[15], представляющее собой архаическую форму классического sacer (посвященный богам, священный, проклятый). В восьмой и девятой строках в слове KALATOPEM (класс. calator слуга, служитель) каппа имеет своеобразное начертание: наклонные штрихи не смыкаются в середине вертикального штриха, но между точками их соприкосновения остается небольшое пространство K. Та же самая форма каппы с не смыкающимися наклонными штрихами заметна в одиннадцатой строке в слове KAPIA [16], сопоставляемом с корнем глагола capere (брать).

Гамма встречается в пятой строке в слове PEGEI, обычно понимаемом как форма дательного падежа единственного числа слова царь (класс. regi).

Следовательно, в надписи форума звуки «к» и «г» различаются, но каппа по начертанию отличается от каппы пренестинской фибулы.

Форма каппы с не смыкающимися в середине наклонными штрихами в надписи форума не может быть расценена как простая случайность.

Подобное начертание каппы встречается более чем в двадцати архаических греческих надписях [17]. Это явление имеет место в самых различных областях Греции: на севере, в Локриде (№ 321), в средней Греции, в Беотии (№ 298а), в Мегарах и в Коринфе (№№ 11, 20/40) и особенно в южной Греции, в Аркадии (№№ 68, 101), Арголиде (№ 27а, стр. 171) и на островах Эгейского моря (№ 341, 343, 403, 404, 407, 409, 451, 454). Встречается такая каппа и в греческих надписях Италии — в Метапонте (№ 540), в Калабрии (№ 543).

Каппа с несмыкающимися штрихами в одних и тех же надписях соседствует с обыкновенной каппой, т. е. со смыкающимися штрихами, которая представляет собой преобладающую форму. Так в большой надписи № 321 из Локриды обыкновенная каппа встречается 77 раз, каппа с несмыкающимися штрихами — 18 раз, каппа неясного начертания — 15 раз.

Надо думать, такая форма получалась при письме непроизвольно; очевидно, не всегда удавалось резцом или острием на-

---

это место в Риме официально называется могилой Ромула. Объяснение надписи дано И. М. Тронским в кн.: «Очерки по истории латинского языка». М., 1953, стр. 148 сл.

[15] Буква R в этой подписи имеет греческое начертание.

[16] Буква P здесь представляет собой переходную форму от греческого nu к латинскому P незамкнутой формы: это греческое nu с сильно укороченным штрихом.

[17] H. Roehl. Inscriptiones graecae antiquissimae praeter atticas in Attica repertas. Berolini, 1882, №№ 11, 20/40, 68, 101, 113, 114, 298a, 321, 341, 343, 403, 404, 409, 451, 454, 484, 534, 540, 543, 27a (p. 171).

нести на камень штрихи так, чтобы они точно смыкались в одной точке. Это хорошо видно на надписи № 298а из Беотии, где у каппы верхний конец нижнего наклонного штриха заметно вышел за пределы вертикального штриха и соответственно образовался заметный разрыв на основном вертикальном штрихе между точками соприкосновения наклонных ‹. На надписи № 114 хорошо видно, как наклонные штрихи смыкаются за пределами вертикального.

Каппа с несмыкающимися штрихами встречается в надписях, написанных справа налево и бустрофедоном (№№ 341, 343, 407, 454, 484), что служит свидетельством их глубокой древности. На надписи № 407, найденной на Делосе, написанной бустрофедоном, каппа встречается пять раз, причем только в начертании с несмыкающимися штрихами, обыкновенной каппы в этой надписи нет.

Эволюция начертания каппы в Риме заметна в так называемой Дуэновой надписи [18]. Здесь слово «фекед» (класс. fecit — сделал) написано через очень своеобразную букву, которая уже не является привычной нам каппой, но это еще и не гамма, от которой, как известно, происходит латинская буква C. Буква имеет вертикальный штрих, но наклонные штрихи уже разошлись очень далеко друг от друга и приняли еще заметное закругление; небольшие концы вертикального штриха вверху и внизу буквы видны отчетливо: K.

В слове «пакари», сопоставляемом с класс. pacare (примирять) интересующая нас буква также имеет вертикальный штрих, но наклонные штрихи расходятся уже столь широко, что соприкасаются с вертикальным у самых его концов, так что каппа, которая здесь должна быть, становится очень похожей на гамму: K [19].

Очевидно, мы имеем здесь дело с фактом эволюции каппы, которая по начертанию заметно приближается к гамме, так что совпадает с ней.

---

[18] В 1880 г. в Риме у Квиринала были найдены необычной формы сосуды. Один из них представляет собой три скрепленных вместе сосуда, по выпуклым бокам которых вьется справа налево трехстрочная надпись. Она получила название Дуэновой, так как в ней встречаются слова «дуэнос мед фекед» (меня сделал Дуэн). Впоследствии было установлено, что это не собственное имя, а архаическая форма слова bonus (добрый, хороший), но по традиции надпись сохранила старое название. Она датируется V—IV вв. до н. э.

[19] На публикуемом обычно рисунке Дуэновой надписи допущена ошибка, вместо этой буквы нарисована буква E, повернутая в обратную сторону. Ошибка допущена также в третьей строке в слове MALO, где вместо L нарисована вторая буква A; на фотографии видна остроугольная буква L. Публикация этого рисунка с незамеченными ошибками даже в новых изданиях (например, в книге Д. Дирингера «Алфавит». М., 1963, стр. 610) свидетельствует о том, что начертание архаических латинских букв исследуется без должного внимания.

Факт одновременного употребления буквы С для передачи звуков «к» и «г» засвидетельствован в надписи на cista Praenestina в словах FECID (сделал) и MACOLNIA (собственное имя, сопоставляемое с Magulnia) [20]. По мнению В. И. Модестова, эта надпись не древнее 300 г. до н. э.[21]

Засвидетельствован также факт передачи звука «к» одновременно через буквы К и С. На одной монете III в. до н. э. из Канузия, название города обозначено буквами СА, на другой такой же монете то же самое название передают буквы КА[22]. Буква С в значении звука «г» встречается в слове SEIC (ninom) на монете из Сигнии, датируемой первой половиной III в. до н. э. (до 268 г. до н. э.)[23].

Таким образом, можно утверждать, что только около IV—III вв. до н. э. буква С могла передавать и звук «г» и звук «к».

Но поскольку в живой речи звуки «к» и «г» всегда различались, то явилась необходимость избежать возможного их смешения при письме. В первой трети III в. до н. э. в латинских надписях появляется буква G, созданная путем прибавления к старой гамме короткого вертикального штриха [24]. Если мы признаем факт совпадения начертания каппы с гаммой в IV—III вв. до н. э., то появление буквы G в первой трети III в. до н. э. представляется вполне закономерным.

Буква G в латинском алфавите утвердилась не сразу; так, ее еще не было в элогии в честь Гая Дуилия, который относится к середине III в. до н. э. Этот элогий в честь победителя карфагенян в морской битве при Милах в 260 г. до н. э. дошел до нашего времени в копии I в. н. э., сделанной, однако, с сохранением архаического языка и написания CARTACINIENSIS, LECIONES, MACISTRATOS и т. д.[25]

Новая буква G заняла в латинском алфавите место дзеты, которая в конце IV в. до н. э. вышла из употребления в связи с появлением и признанием ротацизма (переход интервокального s в r). Цензор 312 г. до н. э. Аппий Клавдий настоял, чтобы в подобных случаях там, где в живой речи уже слышался звук «р», писалась бы буква R, а не дзета, как было раньше.

Гамма сохранила свое место третьей буквы алфавита, но изменила свое значение, сделавшись знаком для звука «к».

---

[20] F. Ritschelius. Priscae latinitatis monumenta epigraphica. Corpus Inscriptionum Latinarum, v. I: Tabulae lithographae. Berolini, 1862, tab. I.

[21] В. И. Модестов. Римская письменность в период царей. Казань, 1868, стр. 5, 24.

[22] F. Ritschelius. Указ. соч., стр. 9.

[23] A. Ernout. Recueil de textes latins archaïques. Paris, 1947, p. 10.

[24] Буква G есть в надгробии Луция Корнелия Сципиона Барбата, который был консулом в 298 г. и цензором в 290 г. до н. э. См.: J. E. Sandys. Указ. соч., рис. 1.

[25] H. Dessau. Inscriptiones latinae selectae, v. I. Berolini, 1892, S. 65.

Каппа тоже осталась в алфавите в своем прежнем начертании и значении.

Латинский алфавит знает примеры сосуществования одной буквы в двух начертаниях, в архаическом и в новом. Так, в классическую эпоху употреблялось архаическое пятилинейное ꟿ, которое служило знаком сокращения личного имени Маний, а в остальных случаях употреблялось четырехлинейное М.

Сохранению архаического начертания каппы, очевидно, способствовали два момента. Во-первых, К —начальная буква слова «календы», необходимого слова календаря, который был в ведении жрецов. Документы жреческих коллегий в полном соответствии с консервативной природой религии и культа даже во времена империи сохраняли в высшей степени архаичный язык, примером чему может служить гимн коллегии Арвальских братьев. Слово «календы» сокращенно писалось KAL, KL или просто К. Во-вторых, буква К служила сокращением для личного имени Кезон, в то время как буква С, прежде обозначавшая звук «г», осталась сокращением для имени Гай. Очевидно, поэтому римлянам было неудобно расстаться с каппой в ее архаическом начертании.

В надписях классической эпохи и позднее буква К встречается не только в словах Kalendae и Kaeso, но и во многих других [26].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что архаическое латинское письмо не следовало этрусской традиции в употреблении каппы и гаммы и при письме различало звуки «к» и «г». Совпадение начертания каппы с гаммой привело на некоторое время к смешению этих звуков при письме, которое, однако, никогда не было полным (если буква С стала передавать звуки «г» и «к», то буква К никогда не передавала звук «г»). Создание в скором времени буквы G ликвидировало эту временную путаницу.

Таким образом, для объяснения истории букв К и С нет никакой необходимости привлекать этрусков, между тем как именно это составляет главный аргумент сторонников теории этрусского происхождения латинской письменности.

Другим аргументом в пользу этрусков являются соображения относительно буквы X. Д.Дирингер в своей книге «Алфавит» на стр. 611 пишет: «Отсутствие в раннем латинском алфавите особого знака для сочетания x(ks), который существовал в греческом алфавите, в том числе и в халкидском его варианте, но которого не было в этрусском, служит лишним доказательством того, что латинский алфавит ведет свое начало от этрусского».

Однако двумя страницами ранее (стр. 609, рис. 280, 2) помещена фотография древнейшей найденной в Риме латинской надписи под черным камнем, где в слове IOYXMENTA отчетливо видна буква X в форме креста. Если в этрусском алфавите буквы

---

[26] R. Cagnat. Cours d'épigraphie latine, 4 ed. Paris, 1914, p. 439.

X не было, то надпись под черным камнем свидетельствует как раз о полной независимости древнейшего латинского письма от этрусского.

С этим выводом согласуются свидетельства античных авторов, у которых нет упоминания о происхождении латинского письма от этрусского.

Тацит пишет, что этруски научились письму от грека Демарата, а местные жители, аборигены, т. е латины, от аркадийца Эвандра, и форма латинских букв соответствовала форме древнейших греческих [27].

Интересно, что по Тациту получается, будто к латинам греческое письмо пришло намного раньше, чем к этрускам, ибо Демарата от Эвандра отделяют по меньшей мере шесть веков. Прибытие Демарата из Коринфа в этрусский город Тарквинии, очевидно, можно отнести к VII в. до н. э., так как по свидетельству Ливия и других источников [28], он был отцом Лукумона, который впоследствии стал римским царем под именем Тарквиния Приска, правил 38 лет и скончался в 578 г. до н. э.[29]

Аркадиец же Эвандр, по свидетельству древних авторов, прибыл из Греции в Италию еще до Троянской войны, которая датируется XII—XIII вв. до н. э.

Дионисий Галикарнасский пишет, что, по словам римлян, примерно за 60 лет до Троянской войны, Эвандр, уроженец города Παλλάντιον в Аркадии, вместе со своей матерью, вещей Карментой, приплыл в Италию и основал маленький городок на холме недалеко от Тибра, назвав его Παλλάντιον по имени своего родного города; теперь, как говорит Дионисий, римляне зовут это место Παλάτιον, так как время несколько изменило название [30]. Таким образом, Палатинский холм в Риме сохранил первоначальное имя города. Дионисий добавляет, что сам видел в Риме алтари Эвандра и Карменты, один — под Капитолийским холмом, другой — у Авентина. Этот Эвандр со своими аркадийцами и принес впервые греческое письмо в Италию [31]. Подобный рассказ содержится также у Ливия, который называет Эвандра «мужем, почитаемым за дивное искусство письма, вещи новой среди людей, неопытных в ремеслах и искусствах [32]. Ливий пишет и о том, что Палатинский холм получил свое название от аркадского города Паллантия (a Pallanteo)[33]. Поэтическое описание прибытия в Италию

[27] Tac. Ann., XI, 14.

[28] Liv., I, 34.

[29] Наука вполне допускает историчность личности Тарквиния. См.: Н. А. Машкин. История древнего Рима, М., 1948, стр. 75, рис. 18, стр. 89.

[30] Dionys. Hall., I. 31 sqq.

[31] Там же, I, 33. Заметим, что та архаическая греческая надпись, в которой каппа становится очень похожей на вторую каппу Дуэновой надписи, происходит как раз из Тегеи, находившейся близ Паллантиона.

[32] Liv., I, 5; 1, 7.

[33] Liv. I, 5.

Эвандра и Карменты дает Овидий в «Фастах», где в перечне праздников содержится упоминание о празднике Карменты за три дня до январских ид (11 января) [34]. Страбон прямо называет Рим аркадской колонией [35].

У античных авторов нет ни малейшего сомнения в доримском происхождении латинской письменности. Плутарх, ссылаясь на римского историка III в. до н. э. Фабия Пиктора и на неизвестного нам Диокла с Пепаретоса, упоминает о письменах на лохани, в которой были найдены Ромул и Рем; Рем, рассказывая об этом Нумитору, говорит: «Лохань эта цела до сих пор, и на ее медных скрепах — полустершиеся письмена» [36]. Плутарх также передает, что «младенцев Ромула и Рема перевезли в Габии и там обучили грамоте»[37].

Первые римские цари широко пользовались письменностью. Ромул ввел законы [38], заключил договор с сабинами об объединении и перемирие с Вейями на 100 лет [39], у Тулла Гостилия (671—640) были договоры с латинами [40] и с альбанцами, относительно последнего у Ливия есть прямое указание на его письменную форму, он был написан на таблицах, которые вслух прочел Спурий Фузий [41].

Сам Тулл Гостилий, человек грубый, воинственный и не склонный к ученым занятиям, по словам Ливия, развертывал свитки с записями Нумы Помпилия (ipsum regem tradunt volventem commentarios Numae)[42]. Тулл пытался совершать обряды в честь Юпитера, согласно записям Нумы, но сделал что-то не так и погиб, пораженный молнией.

Трудно сказать, что представляли собой эти commentarii Нумы, однако рассказ о них весьма любопытен. Нума был похоронен в каменном саркофаге, а часть его сочинений была погребена в другом саркофаге. О дальнейшей их судьбе Плутарх рассказывает следующее: «Антиат сообщает, что в гробу было двенадцать жреческих книг и еще двенадцать философских, на греческом языке. Около четырехсот лет спустя, в консульство Публия Корнелия и Марка Бебия, проливные дожди размыли могильную насыпь и обнаружили гробы. Крышки свалились, и когда заглянули внутрь, один оказался совершенно пуст, без малейшей частицы праха, без всяких остатков мертвого тела, а в другом нашли книги, которые прочел, говорят, тогдашний претор Петилий, и, прочтя, доложил сенату, что считает противным законам

---

34 Ovid. Fast. I, 461—586.
35 Strab. V, 3, 3.
36 Plut. Rom. 7.
37 Там же, 6.
38 Там же, 15.
39 Liv. I, 13, 4; I, 15, 5; I, 30, 7; Plut. Rom. 15.
40 Liv. I, 32, 3.
41 Liv. I, 24, 7.
42 Указ. соч., I, 31, 8.

человеческим и божеским доводить их содержание до сведения толпы. Итак, книги отнесли на Комитий и сожгли»[43].

Гораций и Дионисий Галикарнасский упоминают о том, что в их время договоры римских царей были еще целы [44].

Таким образом, у античных авторов нет ни слова о появлении письменности у римлян в связи с этрусками. Но, как это ни странно, в современной исторической и лингвистической науке теория этрусского происхождения латинской письменности является общепринятой, более того, о ней говорят вскользь, даже не допуская сомнений в ее истинности.

Такая неправомерная уверенность проистекает не только из неясности истории букв К и С, но и из чрезмерного преувеличения культурной роли этрусков в VII—VI вв. до н. э.

Проблема этрусков — один из сложнейших и интереснейших вопросов древней истории, так как до сих пор их язык остается неизвестен, и письменные памятники почти не поддаются чтению. Естественно, что эта проблема привлекает всех наиболее страстных и увлекающихся исследователей. Однако увлечение этрусками в данном случае, в вопросе о происхождении латинской письменности, впадает в крайность, приписывая этрускам такое культурное влияние, какого они не имели.

Особенно ярко это проявилось в работе Р. Гюнтера над исследованием истории Рима эпохи царей. Конец VII и весь VI в. до н. э. (время царствования Тарквиниев) Гюнтер считает периодом полного господства этрусков в Риме и временем появления письменности [45].

Однако можно ли столь безоговорочно считать время Тарквиниев временем господства этрусков в Риме? Можно ли род Тарквиниев категорически называть этрусским родом?

По Ливию и другим источникам, Лукумон, ставший впоследствии римским царем и вошедший в историю под именем Тарквиния Приска, был не этруском, а сыном грека Демарата, волею судеб вынужденного переселиться из Коринфа в Этрурию, в городок Тарквинии. По Тациту, именно Демарат принес греческое письмо к этрускам.

Побуждаемый своей честолюбивой женой Лукумон перебрался в Рим, благо врата его были широко распахнуты перед всеми, и человеку энергичному легко было там выдвинуться. Лукумон, прозванный в Риме Тарквинием, стал советником царя Анка Марция, но никаких элементов этрусской образованности он с собой не принес. Напротив, как пишет Ливий, он под руководством Анка Марция изучил римские законы и римские обычаи (Romana iura,

---

[43] Plut. Num., 22, перевод С. Маркиша.

[44] Dion. Hal., A. R., IV, 26; IV, 58; Hor. Epist., II, 1, 23 sqq.

[45] Р. Гюнтер. К развитию социальной и имущественной дифференциации в древнейшем Риме. — ВДИ, 1959, № 1, стр. 60, 82.

Romanos ritus)[46] и, прося римлян избрать его царем, убеждал их в том, что он чужой им только по происхождению, что с Римом он связан более, чем с прежней своей родиной.

У Ливия нет речи о превосходстве духовной культуры этрусков; упоминая о них, он говорит только, что они сильнее на суше и на море, чем все остальные народы [47]. Впоследствии, уступив римлянам в военной мощи, они не смогли им ничего противопоставить, и если действительно более высокую греческую культуру римляне не смогли уничтожить, даже завоевав Грецию, то с этрусками они справились сравнительно легко, культура этрусков не выдержала столкновения с римской культурой, так что и язык этрусский в конце концов вышел из употребления, чего никогда не случалось с языком греческим.

Что в области духовной культуры заимствовали римляне у этрусков? Ромул для того, чтобы придать своей власти больше внушительности, перенял у этрусков внешние атрибуты власти: 12 ликторов, курульное кресло и претексту. Тарквиний Приск учредил в Риме конные ристания на колесницах и другие игры, пригласив из Этрурии кулачных борцов. Кроме того, римляне усвоили некоторые этрусские приемы гадания и элементы военной организации. Все это не дает никаких оснований считать этрусков хозяевами Рима и с ними связывать появление письменности.

К сожалению, в исследовании этого вопроса не учитываются в достаточной мере одновременно данные археологии, эпиграфики и историко-литературных источников. Работы историков, в частности Гюнтера, основываются главным образом на археологическом материале.

Нет ничего удивительного в том, что археологические находки говорят об очень сильном влиянии в Риме этрусского ремесленного производства. Рим с самого момента своего основания был открыт для всех, а Этрурия была рядом; было бы удивительно, если бы продукция этрусских мастеров не наводнила Рим.

Опираясь преимущественно на археологию и отчасти на историко-литературные источники, Гюнтер удивительным образом обращается с данными эпиграфики. На 59 стр. вышеупомянутой статьи Гюнтер, ссылаясь на Паллотино, Бранденштейна и Фурманна, пишет: «На Форуме была найдена ваза буккеро с этрусской надписью. Эта надпись относится к VI веку и, таким образом, она является самой ранней надписью из известных древнейших латинских надписей города». Здесь каждое слово вызывает удивление. Этрусская надпись VI в. оказывается древнейшей латинской надписью! Но ведь этруски и латины — разные народы, с разными, непохожими языками! Можно ли столь категорично отождествлять древних римлян с этрусками?! Кроме того, древнейшие

---

[46] Liv. I, 35, 5.
[47] Liv. I, 23, 8.

латинские надписи относятся предположительно к более раннему времени, к концу VII—VI вв. (пренестинская фибула, надпись на столе римского Форума под черным камнем, надпись на урне из Цере). Полное недоумение вызывает продолжение: «При исследовании ближайшего окружения lapis niger были открыты бронзовые фигурки. Они на несколько десятилетий старше упомянутой выше вазы с надписью. . .» Но именно вместе с этими фигурками, которые старше VI в., именно под lapis niger была найдена стела Форума с древнейшей надписью Рима, следовательно она должна быть старше вышеупомянутой этрусской латинской надписи VI в., которая в таком случае никак не может считаться древнейшей.

Фактически только на таком невнимательном обращении с эпиграфическим материалом базируется этрусская теория происхождения латинской письменности.

К сожалению, мы располагаем очень немногими документальными памятниками древнейшей латинской письменности. Однако даже то немногое, что сохранилось, свидетельствует о ее глубочайшей древности. Лаконичная надпись на пренестинской фибуле «Маний сделал меня для Нумерия» говорит о том, что уже в VII—VI вв. до н. э. письменность получила широкое распространение, она вошла в быт: и заказчик Нумерий и мастер Маний были грамотными людьми. Из истории мы знаем, как медленно распространяется грамотность, этот процесс растягивается на века, и если в VII—VI вв. до н. э. обыкновенные жители Лациума умели читать и писать, то это наводит на мысль о гораздо более раннем появлении у них письменности.

Нет никаких веских данных, говорящих о появлении письменности у латинов только в период так называемого «этрусского влияния». С этим не согласуются ни античная традиция, ни дошедшие до нас памятники архаической латинской письменности, напротив, они свидетельствуют о непосредственных и более ранних связях письменности жителей древнего Лациума с письменностью древних греков.

Т. А. Карасева

О ТРАКТОВКЕ НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ФОНЕМ АРХАИЧЕСКОЙ ЛАТЫНИ

Описание определенных изменений фонетической системы латинского языка раннероманского периода предпринималось неоднократно разными исследователями. В настоящее время есть и отдельные работы по фонологии классической латыни [1]. Представляется не менее интересным заняться описанием изменений фонетической системы архаической латыни от эпохи первых письменных памятников и до эпохи Цезаря и Цицерона, используя при этом методы современной структурной лингвистики. Такое описание требует проведения серии работ. В данной статье излагаются замечания о возможной методике подобного исследования и описываются отдельные результаты начального этапа этой работы, которые, естественно, не могут считаться окончательными.

Известно, что изменение системы данного языка можно проследить путем сопоставления систем нескольких последовательных относительно коротких периодов («синхронных срезов»). Эти пери́оды обычно выделяются таким образом, что каждый из них существенно отличается по языку от предыдущего.

В латинском языке до середины III в. до н. э. произошли многочисленные фонетические изменения (процессы в серединных и конечных слогах, начало монофтонгизации дифтонгов, ротацизм, ослабление конечных согласных)[2]. Если бы от этих веков до нас дошло большое количество памятников письменности, то, вероятно, следовало бы выделить для эпохи VI — середины III вв. до н. э. несколько (во всяком случае не меньше двух) «синхронных

---

[1] Так, например, новый подход к описанию исторической фонетики латинского языка имеется в известной книге проф. И. М. Тронского «Историческая грамматика латинского языка». М., 1960. В монографии чешского лингвиста Я. Горецкого «Фонология латыни» (Ján H o r e c k ý. Fonologia latinčiny. Bratislava, 1949) подробно исследуется система фонем классической латыни методами пражской школы. В 1963 г. в сборнике «Романское языкознание» (Кишинев) появилась статья А. В. Широковой «Развитие фонетической системы балканской латыни», являющаяся первым опытом описания латинской фонетической системы в терминах дифференциальных признаков.

[2] См.: И. М. Т р о н с к и й. Указ. соч., стр. 39.

срезов». Однако вся эта эпоха представлена исключительно надписями, и притом немногочисленными. С середины III в. история латинского языка документируется уже не только эпиграфической, но и литературной традицией, а для середины II в. период, к которому относится, например, творчество Теренция (6 комедий в течение 166—160 гг. до н. э.) мог бы послужить настоящим «синхронным срезом». Наконец, использование серий памятников середины I в. до н. э. дало бы возможность сопоставить предыдущие состояния системы фонем с состоянием классической системы.

Так как число надписей, относящихся к периоду до середины III в. до н. э., ограничено, то любые выводы, касающиеся строения фонологической системы языка указанного периода, будут иметь характер предположений. Определяя степень достоверности этих предположений, кроме всего прочего, следует, вероятно, учитывать следующие обстоятельства: 1) согласуются ли эти предположения с данными, полученными в результате применения сравнительно-исторического метода, и подкрепляются ли они фактами современных языков (или диалектов), в данном случае, например, романских; 2) были ли установлены в этой работе закономерности графики [3] указанных памятников.

Можно предполагать, что эпоха первых дошедших до нас латинских надписей являлась тем периодом развития письменности у людей, говорящих по-латыни, когда они начали приспосабливать заимствованный ими алфавит [4] к фонетической системе своего языка, стихийно ориентируясь на его фонемный состав. Эту мысль можно проиллюстрировать историей употребления букв K, C, Q и G.

Если на основании данных сравнительно-исторического языкознания принять для архаической латыни наличие фонемы k с вариантами k, k', k^{u} (последний мог расцениваться как отдельная фонема) и фонемы g с вариантами g, g', g^{u}, то в графике наиболее архаических надписей эти варианты передаются следующим образом;

для k — буквы K и C	для g — буква C
для k' — буква C	для g' — буква C
для k^{u} — буквы Q и C	для g^{u} — буква C

Такие соотношения устанавливаются на основе дистрибутивностатистического анализа букв в надписях. В древнейших

[3] Графика — это, как известно, способы обозначения фонем и их сочетаний при помощи букв. См.: Л. Р. Зиндер. К вопросу о фонологической интерпретации данных древней письменности (на материале древневерхненемецкой письменности). — Сб. «Вопросы теории и истории языка», изд. ЛГУ, 1963, стр. 144; см. также замечания Л. Р. Зиндера на стр. 146.

[4] Мы не ставили перед собой задач затронуть сложную проблему происхождения латинского алфавита. Мы можем только принять, как доказанное, предположение о том, что этрусский алфавит был связующим звеном между западно-греческим и латинским алфавитом. См.: Д. Дирингер. Алфавит. М., 1963, стр. 610—611.

надписях K встречается главным образом перед A, перед R и в конце слова: Kalatorem, kapta, sakros, hok (надпись форума, VI в.), kapillor (надпись из Тибура, V—IV вв.), pakari (надпись Дуэноса, IV в.). Один раз K встречается перед E в слове feked (надпись Дуэноса) и один раз в слове fhefhaked на пренестинской фибуле [5]. Буква C встречается перед всеми гласными, кроме V, Q встречается только перед V и O.

Правая часть приведенной выше таблицы показывает, что варианты фонем могли не учитываться (для всех вариантов фонема *g* — одна буква C).

Исследователи указывают, что соблюдение в отдельных надписях буквы K перед A, а C перед I, E отражает элементы этрусской графики [6]. Вполне возможно, что эти заимствованные элементы графики в какой-то степени соответствовали определенной фонетической реальности, т. е., что звук [k], обозначаемый буквой K, акустически и артикуляционно отличался от звука [k], обозначаемого буквой C. Недаром, по Ричлю [7], поэт Акций хотел закрепить правилами употребление K перед A. Но стихийное выделение говорящими именно фонем, а не их вариантов приводило к тому, что эти правила, если они и были введены, почти не соблюдались. В надписях уже с конца IV в. перед A наряду с K употребляется буква C. Например, Caso, Cantovio, casontonio (бронза Фуцинского озера, конец IV в.), castorei (бронзовая пластинка из Мадонеллы, возможно, V в.).

Постепенно для *k* принимается главным образом буква C, для *k'* — буква C, для k^{u} — буквы Q, QV, а иногда тоже C.

Таким образом, соотношение для вариантов фонемы *k* уподобляется соотношению для вариантов фонемы *g*. Отсутствие разницы между графическими манифестантами разных фонем приводит к тому, что уже в начале III в. до н. э. для вариантов фонемы *g* вводится буква G и устанавливаются следующие обозначения:

для *k* — буква C	для *g* — буква G
для *k'* — буква C	для *g'* — буква G
для k^{u} — буквы QV [8]	для g^{u} — буква G, изредка Q

---

[5] Но следует учитывать, что последняя надпись носит диалектальный характер. Выведенные соотношения для вариантов фонемы *k* соответствуют и свидетельству Теренция Скавра, который отмечает, что буква K называлась в древности «ка», а буква C — «се», и обе служили в свое время для обозначения слогов, например, писали krus (вместо ka—rus), cra (вместо ce—ra). См.: W. M. Lindsay. Die lateinische Sprache, ihre Laute, Stämme und Flexionen. Leipzig, 1897, s. 7.

[6] Например: В. Нетушил. Заметки к надписи с римского форума.— ФО, т. 20, кн. 1 (1901), стр. 22.

[7] Opusc. IV, 482; Anm., 687; См.: W. M. Lindsay. Указ. соч., стр. 8. См. также: И. И. Холодняк. К надписи Сципионов. — ЖМНП, 1884, № 1, стр. 45.

[8] В том, что вариант k^{u} всегда имел в латыни особый графический знак, отражается, по-видимому, фонемная значимость этого варианта. В клас-

Так, в 49 рассмотренных надписях, относящихся к периоду от середины III до середины II в. до н. э., буква К встречается всего один раз перед А и четыре раза в сокращениях. Для обозначения вариантов *k* и *k'* применяется буква С, которая встречается перед всеми гласными и перед согласными L, R и Т (перед А 18 раз, перед Е 41 раз, перед I 37 раз, перед О 50 раз, перед слоговым V 4 раза, перед L 6 раз, перед R 12 раз, перед Т 8 раз и в конце слова 4 раза). Но С не употребляется перед неслоговым V. Перед V (u̯) встречается уже только Q (94 раза), причем вариант $k^{u̯}$, обозначаемый QV, фонологизируется (см. ссылку 8). G употребляется так же, как С, перед всеми гласными и перед R. Изредка для варианта $g^{u̯}$ применяется буква Q, например, в слове eqo (класс. ego, CIL I^2 474 и I^2 479).

Процесс приспособления латинского алфавита к составу фонем (а не их вариантов) находит определенное завершение в графике классической латыни, где состав графем почти соответствует составу фонем [9]. В архаических надписях, где по существу еще нет орфографии как таковой [10], часто отражалась и непосредственная фонетическая реальность. В этом большая ценность этих надписей. Но если на основе данных архаической эпиграфики пытаться восстановить систему фонем путем дистрибутивно-статистического анализа букв, то следует, как нам кажется, учитывать закономерности графики классической латыни, т. е., если, например, варианты фонемы *g* передаются в наиболее архаических надписях при помощи буквы С, то для таких вариантов следует ввести обозначение С/*g*; если вариант фонемы *b* передается буквой Р (в чем, возможно, отражается элемент этрусской графики), то такой вариант мы обозначаем через Р/*b* и т. д. Число таких С/*g* и Р/*b* при подсчетах всех G или В мы должны прибавить соответственно к числу всех G/*g* и В/*b*.

Как было сказано выше, для эпохи VI—середины III вв. до н. э. вследствие небольшого количества сохранившихся надписей невозможно выделить «синхронный срез». Сумма знаков в этих надписях может рассматриваться только как сумма множеств знаков для нескольких «синхронных срезов», а любая схема, построенная с привлечением подсчетов по этим надписям, должна рассматриваться как некая «архисхема». Вероятно, такую схему можно сравнить с другой «архисхемой», построенной с привле-

---

сической латыни, как показал Я. Горецкий (указ. соч., стр. 21), сочетание QV является монофонемным. Фонема $k^{u̯}$ маркирована признаком лабиальности по отношению к фонеме *k*.

[9] Как отмечает И. М. Тронский (указ. соч., стр. 72). Интересно, что И. Фишер, исследуя соотношения гласных фонем и графем в классической ионийско-аттической орфографии (Studii clasice, III. Bucureşti, 1961, стр. 32), также приходит к выводу, что фонетическое (в действительности фонологическое) письмо по возможности употребляет количество знаков, соответствующее количеству фонем.

[10] Ср. с выводами в указ. статье Л. Р. Зиндера, стр. 144—145.

чением статистических данных по надписям следующего относительно большого периода. Таким периодом условно можно считать период от середины III до середины II в. до н. э. Выбор столь длительных периодов может быть оправдан только небольшим числом сохранившихся надписей. Однако, рассматривая надписи, одни из которых относятся к концу одного века, а другие — к началу следующего, мы наблюдаем сосуществование начала и конца определенных изменений и можем выделить переходные моменты.

Если ставится задача проследить развитие системы фонем латинского языка, то на первых порах, естественно, кажется необходимым отбирать надписи только латинские или, во всяком случае, не содержащие, по мнению специалистов, ярко выраженных особенностей других италийских языков или диалектов. Но, как известно, во многих архаических латинских надписях встречаются диалектизмы и рустицизмы. Значит, любая система, построенная с привлечением данных архаической латинской эпиграфики, должна рассматриваться как некоторая «архисистема», вероятно, включающая в себя несколько функциональных систем, которые могут различаться территорией распространения, но могут сосуществовать и на одной территории [11].

На данном этапе работы мы придерживались следующих критериев отбора надписей: 1) брать надписи только датированные (хотя бы приблизительно); 2) не брать архаические надписи, подновленные в более позднюю эпоху (например, надпись на ростральной колонне); 3) не брать архаические тексты, дошедшие до нас в передаче римских писателей (например, тексты законов XII таблиц); 4) по возможности не брать надписи, имеющие ряд диалектальных особенностей.

В результате для первого периода (от VI до начала III в. до н. э.) было отобрано всего 13 надписей [12] с общим числом знаков 655, включая лакуны, а также обозначенные и не обозначенные пробелы между словами. Для второго периода (от середины III до середины II в. до н. э.) было взято 49 надписей с общим числом знаков 5576, также включая лакуны и пробелы между словами.

Для обоих периодов были составлены две дистрибутивностатистические таблицы, в которых вверху и слева соответственно

---

[11] О понятии «архисистема» в этом смысле см. в работе Э. Косериу «Синхрония, диахрония и история» (Сб. «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 175).

[12] Надпись на пренестинской застежке (CIL, I^2, 3, VI в. до н. э.); надпись с римского форума (CIL, I^2, 1, приблизительно 500 г.); бронза Фуцинского озера (CIL, I^2, 5, VI—V вв.); надпись из Тибура (CIL, I^2, 2658, V—IV вв.); надпись Дуэноса (CIL, I^2, 4, приблизительно IV в.); бронзовая пластинка из Мадонеллы близ Лавиния (F. C a s t a g n o l i. Studi e materiali di storia delle religioni, XXX, 1959, p. 109, приблизительно IV в.); надпись на фикоранском ларце (CIL, I^1 54 или I^2 561, конец IV в.) и шесть надписей на монетах, относящихся к концу IV и началу III в. до н. э. (CIL, I^1, 1, 5a, 11, 14, 17, 24 a, в).

друг другу (с применением указанных выше обозначений) были написаны буквы классического латинского алфавита.

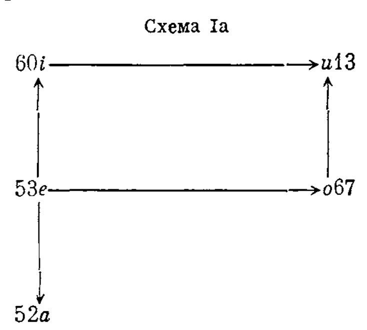
Во второй таблице по этимологическому словарю Эрну-Мейе выделялись отдельно краткие и долгие гласные соответственно в открытом и закрытом слоге, отдельно выделялись удвоенные согласные, слоговые и неслоговые варианты фонем *u* и *i*, сокращения, лакуны.

В первой таблице (по наиболее древним надписям) отдельно выделялись гласные и согласные варианты фонем *u* и *i*, сокращения, буквы, которые читаются неясно, не обозначенные согласные на стыке слов, лакуны и т. д. Точно сосчитать количество долгих и кратких гласных соответственно в закрытых и открытых слогах здесь было трудно вследствие значительного числа лакун (особенно в надписи с форума). Поэтому долгие и краткие гласные в этой таблице не выделялись. Но если учесть, что долгий гласный мог приравниваться к дифтонгу или к кратному гласному плюс имплозивный согласный [13], то для последующего сопоставления с системой классической латыни условно можно считать общую частотность каждой из гласных соответственно общей частностью кратких гласных.

На основании данных, собранных в этих двух дистрибутивно-статистических таблицах, были построены схемы, отражающие соотношения между фонемами.

Для первого периода была построена такая схема гласных [14]:

Схема Ia



Цифры здесь указывают абсолютную частотность графических манифестантов фонем, а стрелки — прибавление дифферентора.

Можно предположить, что гласные в этот период имели следующие дифференциальные признаки:

1) бемольность (или лабиальность) — небемольность: бемольные *u*, *o* по отношению к небемольным *i*, *e*;

---

[13] См.: И. М. Тронский. К вопросу о латинском ударении. — Сб. «Памяти академика Л. В. Щербы». Л., 1951, стр. 276 сл.

[14] В этой схеме, так же как и в схеме IIa, учтены только слоговые варианты фонем *u* и *i*.

2) диффузность (или закрытость) — недиффузность: диффузные *i*, *u* по отношению к недиффузным *e*, *o*;
3) компактность (или открытость) — некомпактность: компактное *a* по отношению ко всем остальным гласным.

При определении маркированности мы учитываем общую частотность дифферентоида в речи. Так, всего бемольных (*u*, *o*) — 80, а небемольных (*i*, *e*) — 113. Маркированными следует считать бемольные, так как обычно те члены противопоставления, которые имеют более ограниченную сферу употребления, воспринимаются как имеющие добавочный признак [15]. Стрелки в схеме направлены от *i* к *u*, от *e* к *o*.

Всего диффузных (*i*, *u*) — 73, а недиффузных (*e*, *o*) — 120. Маркированными считаются диффузные, стрелки идут от *e* к *i*, от *o* к *u*.

Противоречие схемы Iа состоит в том, что прибавление дифферентора у отдельных фонем не соответствует уменьшению их частотности. Так, например, маркированное *o* должно встречаться реже немаркированного *e*, но оно в этот период, вероятно, встречалось чаще. С другой стороны, частотность *u* намного ниже частотности всех остальных гласных. Из 80 бемольных на *u* приходится лишь 13, а на *o* — 67. Этот участок системы является наиболее подверженным изменению.

Равновесие в системе может установиться, если отношение маркированного *u* к немаркированному *i* будет относительно пропорционально отношению *o* к *e*, а отношение маркированного *u* к немаркированному *o* будет пропорционально отношению *i* к *e*. То есть система будет стремиться к соотношениям:

$$u : i = o : e$$
$$u : o = i : e$$

Для установления таких соотношений необходимо, в первую очередь, чтобы увеличилась частотность *u* именно за счет уменьшения частотности *o*.

Таким образом, мы считаем, что одним из условий перехода краткого *o* в краткое *u* в конце III в. до н. э. являлось указанное противоречие в архаической системе фонем [16].

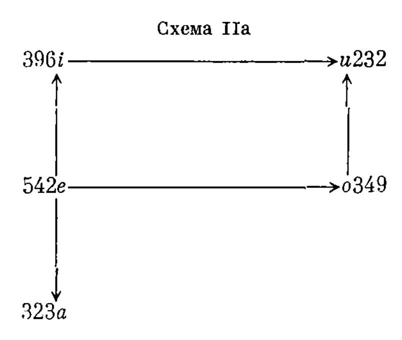
---

[15] См. об этом: Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962, стр. 337. Ср. также с основными положениями ст. О. С. Широкова «О соотношении фонологической системы и частотности фонем» — «Вопросы языкознания», 1964, № 1, стр. 55.

[16] Возможно, что подобные же условия следует учитывать при трактовке переходов типа ou̯ → ū, oi̯ → ū (т. е. ou̯ → uu̯, oi̯ → uu̯), но структурное описание изменений латинских дифтонгов, которые, вероятно, невозможно рассматривать в отрыве от изменений долгих гласных, требует особого детального исследования.

Подсчеты, произведенные по надписям второго периода, позволили построить такую схему гласных:

Схема IIa



Эта схема показывает, что в системе гласных в течение второго рассматриваемого периода устанавливается относительное равновесие. На синтагматической оси увеличивается частотность *u* и уменьшается частотность *o*. Вследствие этого меняется соотношение между *e* и *o* и между *i* и *u*. Прибавление дифференторов соответствует уменьшению частотности: стрелки идут от *i* к более редкому *u*, от *e* к более редкому *o*, от *e* к более редким *i* и *a*, от *o* к более редкому *u*.

В схеме IIa налицо увеличение частотности *e*, казалось бы частично за счет уменьшения частотности *o*. Однако следует учесть, что повышение частотности *e* в этой схеме может быть обусловлено высокой частотностью таких слов, как velet, dedet, mereto(d), частицы que и др., а не переходом *o* → *e* в позиции после *v* перед *r*, *s* или *t*. Этот процесс начинается позднее, с середины II в. до н. э. Но для нас важно, что схема Ia уже указывает тенденции и к этому изменению. Уточнить же схему IIa должны подсчеты, которые будут произведены по литературным текстам середины II в. до н. э.

Необходимо отметить, что мы не считаем единственным условием описанных изменений нарушение равновесия системы фонем. Отношения между фонемами накладываются на определенные просодические отношения между элементами латинского слова. Как известно, под влиянием специфического качества первого слога *o* переходит в *u* именно в конечном закрытом слоге; этот процесс, как показывает эпиграфический материал, начинается раньше и идет интенсивнее в тех позициях, где после *o* следует бемольная (лабиальная) согласная *m*, т. е. в формах родительного падежа множественного числа разных основ и в формах винительного падежа единственного числа основ на *o*. Всего в рассмотренных надписях второго периода *u* встретилось в конечном слоге многосложных слов перед *m* 33 раза, а *o* — 22 раза, в то время как частотность *u* перед *s* в конечном слоге — 22, а *o* — 21.

Если обратиться к согласным, то для первого периода можно построить такую схему «прерывных взрывных»:

Схема Iб

$2b \longleftarrow p12 \qquad 37d \longleftarrow t26 \qquad 5g \longleftarrow k22$

Можно предполагать, что *b*, *d*, *g* в архаической латыни обладали дифференциальным признаком звонкости по отношению к *p*, *t*, *k*. Схема Iб показывает, что частотности *b* и *p*, а также *g* и *k* соответствуют направлению маркированности, но на участке $d \leftarrow t$ в системе имеется противоречие, которое направляет изменение в сторону уменьшения частотности *d* и увеличения частотности *t*. В течение второго периода (от середины III до начала II в. до н. э.) устанавливаются следующие соотношения:

Схема IIб

$76b \longleftarrow p128 \qquad 178d \longleftarrow t310 \qquad 44g \longleftarrow k194$

Равновесие в данном участке системы восстановлено [17]. На синтагматической оси интенсивно идут процессы замены конечного *d* окончанием *t* у глаголов и отпадения конечного *d* у имен.

Действительно, в течение первого периода (до середины III в. до н. э.) функциональная нагрузка фонемы *d* очень велика: *d* — это «вторичное» окончание 3 лица единственного числа глаголов, окончание императива будущего времени, окончание отложительного падежа единственного числа существительных и местоимений, окончание винительного падежа единственного числа местоимений и т. д.

Развитие системы фонем идет в таком направлении, чтобы функциональная нагрузка *d* не нарушала равновесия грамматической системы.

Соотношение встречаемости *d* в различных словоформах по рассмотренным надписям двух указанных периодов приведено в таблице на следующей странице.

Цифры в таблице показывают относительную частотность встречаемости окончания *d* в каждой функции. Общее количество словоформ по надписям первого периода — 94, по надписям второго периода — 850.

Как «вторичное» окончание глаголов *d* в рассмотренных надписях второго периода не встречается, оно заменено окончанием *t*.

Спорные случаи обусловлены наличием лакун на конце слова, где могло стоять *d*.

В этой статье приведены примеры трактовки лишь двух изменений фонетической системы архаической латыни. При этом нам пришлось «вырвать» из всей системы фонем определенные ее участки и описывать отношения между фонемами этих участков,

[17] Относительно высокая частотность *b* в схеме IIб по сравнению с частотностью *b* в схеме Iб обусловлена тем, что в самых больших надписях второго периода часто встречаются такие слова, как Barbatus, Bacanal и др.

оставляя другие вне поля зрения. Но такое рассмотрение мы допускаем только временно, поскольку структурное описание всех изменений архаической системы фонем требует, как уже было сказано, проведения серии исследований.

Грамматическая форма	До середины III в. до н. э.		С середины III в. до н. э. до середины II в. до н. э.		
	наличие *d*	отсутствие *d*	наличие *d*	отсутствие *d*	спорные случаи
3 л. sing. («вторичное» окончание)	5,319	1,068	—	5,470	—
Imperat. futuri	1,068	—	0,471	0,353	0,118
Abl. sing. существительных	5,319	—	2,823	2,570	0,353
Abl. sing. местоимений	1,068	—	0,235	0,235	—
Acc. sing. местоимений	6,383	—	0,235	0,118	—
Начало слова не сохранилось	4,255	—	—	—	—

Т. П. Корыхалова

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РЯДА -OR-ĒRE-IDUS В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В рядах -or-ēre-idus нашли свое выражение лексико-семантические связи и деривативные отношения между именами на -or, глаголами на -ēre и прилагательными на -idus. Ряды эти сложились не сразу, но в результате длительного и постепенного развития словообразовательных элементов, перегруппировки системных отношений, затрагивающей основные лексико-грамматические классы слов: существительное—глагол—прилагательное.

Ряду -or-ēre-idus предшествовали другие соотношения, следы которых сохранились в латинском языке. Еще в период индоевропейской общности к глаголам примыкали прилагательные на -to-, вошедшие впоследствии в глагольную систему италийских языков в качестве причастий (ср. древнее, не пассивное значение таких форм, как potus, tacitus, desperatus и некоторых других). Остатки причастий на -to- при глаголах acēre, olēre можно усматривать в acētum, olētum. Рано сложилась соотнесенность глаголов на -ēre с образованиями на -r-: acer—acēre, macer—macēre, piger—piget, miser—maerēre, taeter—taedet. Вместе с именами существительными на -ies они составляли ряд типа macer—macies—macēre. В дальнейшем активизация суффиксальных форм на -or (до ротацизма -os) при глаголах на -ēre и прилагательных на -idus, специфически италийских или даже латинских образованиях[1], выступающих в функции причастия интранзитивных глаголов второго спряжения[2], обусловила возникновение иного соотношения, такой структурно-лексической модели, как трехчленный ряд -or-ēre-idus.

Количественное соотношение трехчленных рядов -or-ēre-idus с его первыми членами — с именами существительными на -or- показывает, что на 108 образований на -or приходится 41 ряд -or-ēre-idus. С присоединением к ним рядов -or-ĕre-idus (fluor—fluĕre—fluidus, fremor—fremĕre—fremidus, ningor—ningĕre—ninguidus, sapor—sapĕre—sapidus) численность их составляет немногим менее половины от общего количества имен на -or.

[1] F. Mezger. Latin — idus and —tudo. — «Language», 22 (1946), p. 194.

[2] F. Stolz, J. Schmalz. Lateinische Grammatik, bearb. M. Leumann und J. Hofmann. München, 1926, S. 225.

Остальные имена с этим суффиксом, за исключением изолированных форм (cremor, nidor и др.), соотносятся обычно с глаголами на -ēre (ср. terror—terrēre и т. д.), редко с глаголами на -āre (amor—amāre, clamor—clamāre и др.) и на -ĕre (angor—angĕre, canor—canĕre и др.; ср. также vagor—vagīre), образуя своего рода двучленные соотношения -or-ēre и реже -or-āre, -or-ĕre.

Установившиеся типы системных отношений до некоторой степени нарушаются деноминативными образованиями от адъективной основы. Однако деривативная связь между прилагательными и именами на -or не препятствует соотношению отыменных существительных на -or с глаголами на -ēre, производными от тех же прилагательных. Так, aegror, будучи производным от aeger, соотносится с глаголом aegrēre. Наличие nigror и nigrēre, производных от одной адъективной основы, приводит к соотнесенности nigror—nigrēre. Соотношение piger с pigror как прилагательного с его дериватом не исключает соотнесенности pigror—pigrēre. Lentor (от lentus) образует с lentēre двучленный ряд: lentor—lentēre. Таким образом, соотнесенность деноминативных имен на -or с глаголами на -ēre представляется вполне закономерной, соответствующей тем системным отношениям, которые сложились внутри данного словообразовательного типа существительных. Более того, деривативные взаимоотношения между прилагательным, составляющим как бы центр ряда, и его производными могут быть зафиксированы в трехчленном ряде имя на -or— прилагательное — глагол на -ēre (как исключение на -āre): aegror—aeger—aegrēre, nigror—niger—nigrēre, pigror—piger—pigrēre, lentor—lentus—lentēre; ср. также такой ряд как curvor—curvus—(se)curvāre с глаголом в интранзитивном значении.

Дальнейшее развитие подобных рядов зависело по большей части от расширения деривативных возможностей прилагательного, не всегда осуществимых в силу устойчивости трехчленного ряда -or-ēre-idus и прежде всего таких его компонентов как имени на -or и глагола на -ēre. Так, при наличии, например, прилагательного acer был бы возможен ряд: acror—acer—acrēre. Но acror оказывается поздним образованием (Fulg., Diosc., Isid.), *acrēre — не существующая в языке, хотя и потенциально возможная форма. При устойчивости ряда acor (засвидетельствовано с Colum., но, видимо, существовало и ранее, см. ниже) — acēre (Cato)—acidus (с Plaut., Cato) не было необходимости в дублировании уже имеющихся лексем и, следовательно, в отыменных дериватах и деноминативном ряде. Такого рода ряды появляются лишь в тех случаях, когда они заменяют собою прежде существовавшие ряды, как произошло, например, с рядами nigror—niger—nigrēre и aegror—aeger—aegrēre, как бы «вторичными» по отношению к первоначальным, не за-

фиксированным в письменной традиции рядам[3]. Вместе с тем следует отметить, что ограниченная сфера употребления деноминативных образований, принадлежащих преимущественно к поэтическому языку, отнюдь не способствовала ни продуктивности имен на -or, ни развитию деноминативных рядов. Так, aegror встречается у Акция: 349 Persuasit maeror, anxitudo, aegror, dolor; затем у Лукреция: 6, 1131—1132 venit... et iam pigris balantibus aegror. Глагол aegreo засвидетельствован только у Лукреция (3, 106; 3, 824). В стихотворных жанрах складывается деноминативное соотношение nigror—nigrēre. Nigror находится у Пакувия: 412 noctisque et nimbum obcaecat nigror; у Луцилия, повторяющего то же сочетание: 209 nigror noctis (а также у него же frg. 1218 algu atque nigrore) и затем у Лукреция, но в ином сочетании: 3, 39 mortis nigrore. Глагол nigreo засвидетельствован у Пакувия: 88 Solis exortu capessit splendorem, occasu nigret; у Акция: 260 Nimbis interdum nigret. То же самое можно сказать о pigror—pigrēre. Глагол pigreo находим у Энния: Ann. 425 post aetate pigret sufferre laborem и у Акция: 31 Omnes (se) gaudent facere recte, male pigrent. Pigror засвидетельствовано как ἅπαξ λεγόμενον у современника Акция—Луцилия, причем среди имен на -or (ср. подобную кумуляцию персонифицированных существительных у Акция, 349): Sat. 391 Languor et oppressit pigror, torporque quietem[4].

Трехчленные ряды -or-ēre-idus, наряду с примыкающими к ним двучленными соотношениями or-ēre и деноминативными рядами, включают слова, значение которых связано преимущественно со сторонами чувственного познания объектов и явлений внешнего мира. В лексемах этих рядов закрепляются прежде всего такие объективные качества или свойства предметов и явлений реальной действительности как цвет и свет, горечь и сладость, запах, тепло и холод, влага или сырость. Имя существительное качества (свойства или состояния), интранзитивный глагол состояния и качественное прилагательное — таков состав лексем каждого трехчленного ряда, взятого в семантическом плане. Таким образом, можно выделить следующие лексико-семантические группы рядов:

---

[3] W. Meyer-Lübke. Zur Geschichte der lateinischen Abstracta. — «Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik», B. VIII, 1893, S. 315: «... по-видимому, nigrescere и nigror уже у Пакувия под влиянием niger выступали вместо старых nigescere, nigor (ср. Nigidius?), а aegror, aegrescere вместо aegor, aegescere (ср. латыш. ig—ti) были преобразованы по aeger».

[4] При отсутствии отыменных глаголов от адъективных основ или в результате вытеснения этих глаголов инхоативными формами (ср. dulcescere, tardescere, позд. amarescere вместо *dulcēre, *tardēre, *amarēre) отыменные образования на —or как производные от основ прилагательных оказываются в одном ряду с именами на —tas, —tudo, -itia (—ities); ср., например, от amarus формы: amaror (Lucr. 4, 224; 6, 934; Verg. ge. 2, 247; ср. Gell. 1, 21, 6), amaritudo (Varr. r. r. 1, 66; Plin. 24, 127 и др.), amarities (Catull. 68, 18), amaritas (Vitr. 2, 9, 14).

1) Ряды со значением цвета: candor—candēre—candidus, livor—livēre—lividus, luror—*lurēre[5]—luridus, pallor (в значении «блеклый цвет», ср. у Лукреция 4, 311)—pallēre—pallidus, rubor—rubēre—rubidus[6] наряду с ruber. К ним можно присоединить деноминативные ряды: albor—albēre—albidus, все компоненты которого — производные от albus, хотя структурно этот ряд примыкает к приведенным выше рядам; nigror—niger—nigrēre; ср., кроме того, ряд: viror—virēre—viridis[7]. Особняком, т. е. вне рядов, стоят малодостоверные формы fulvor (см. Thesaurus linguae latinae) и salor (Mart. Capella, I, 8).

2) Ряды со значением светового излучения: fulgor—fulgēre—fulgidus, nitor—nitēre—nitidus, splendor—splendēre—splendidus и, наконец, lucor—lucēre—lucidus, где форма lucor появляется лишь в позднем языке (см. ниже, стр. 11).

3) Ряды со значением вкусовых ощущений: acor—acēre—acidus и деноминативный ряд: dulcor (поздн.) — dulcis—*dulcēre, но ср. dulcescere; вне рядов — деноминативные образования amaror и acror. Самое слово «вкус» — sapor — стоит рядом с sapidus (Apul., Apic.) и sapĕre вместо *sapēre[8].

4) Ряды лексем со значением запаха: faetor (faetor, fetor)—foetēre—foetidus, odor (odos)—olēre—olidus[9], putor—putēre—putidus наряду с putrēre—putridus (от puter), rancor (поздн.) — rancēre—rancidus[10].

5) Ряды, обозначающие тактильные ощущения: squalor («шероховатость»)[11] squalēre—squalidus (ср. также squalus у Enn. Sc. 311); horror—horrēre—horridus, когда речь идет о короблении, искривлении ровной поверхности (Lucan. 5, 446 pontus non horrore tremit), ср. также деноминативный ряд: lentor (Plin.)—lentēre (Lucil.). Вне ряда стоит отыменное образование

---

[5] L. Havet. Elurescere. — «Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik», I (1884), p. 444.

[6] Ср. Suet. Vitel. 17, 3 facies rubida plerumque ex vinulentia, но у Плавта с долгим u: Cas. 316 In furnum condito, atque ibi torreto me pro pane rubido; Sti. 230 Rubiginosum strigilem, ampullam rubidam.

[7] О viridis см.: А. Грушка. Этюды по латинскому именному основообразованию. М., 1906, стр. 216 сл.

[8] Форма *sapēre предполагается на основании перфектной формы sapui и данных романских языков, см.: W. Meyer-Lübke. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1911, 7586.

[9] Чередование d/l наблюдается в формах общего происхождения (см.: М. Нидерман. Историческая фонетика латинского языка, М., 1949, стр. 86). Olor встречается лишь у Варрона: l. l. 6, 83 littera commutata dicitur odor olor.

[10] Изолированными формами предстают nidor «чад», «запах» (собств. жареной пищи) из *cnidos (ср. древнегреч. атт. κνῖσα — «запах сжигаемого жира», Гомер. κνίση, древнеисл. hniss) и из народноразговорного языка фамильярная форма paedor.

[11] Но ряд squalor («грязь») — squalēre—squalidus примыкает к ряду sordor (поздн. вместо sordes) — sordēre—sordidus.

lēvor (Lucr. 2, 423 и 4, 552, затем Plin., например, NH, 13, 78), противопоставляемое как антоним форме asperitas[12].

6) Ряды со значением тепла и холода: calor (ср. caldor у Varr. l. l. 5, 59; r. r. 1. 41, 1; 1, 55, 6; 3, 9, 15, далее Gell., Arnob.)—calēre—calidus; fervor—fervēre—fervidus; tepor—tepēre—tepidus, torror (поздн.)—torrēre—torridus; algor (но ср. algus)—algēre—algidus, frigor (поздн., но ср. frigus и поздн. frigdor по образцу caldor)—frigēre—frigidus, rigor—rigēre—rigidus. Сюда относится также ряд ardor—ardēre—aridus (ardus) с прилагательным, выпадающим из этого ряда в семантическом отношении[13].

7) Ряды со значением сырости, влажности: mador—madēre—madidus, mucor—mucēre—mucidus, umor—umēre—umidus, uvor[14]—*uvēre (ср. uvescere Lucr. 1, 306) — uvidus, а также ряд liquor «жидкость» — liquēre—liquidus[15].

Кроме перечисленных рядов, следует привести еще две группы рядов: 1) со значением страха, боязни: horror—horrēre—horidus, pallor—pallēre—pallidus, pavor—pavēre—pavidus, timor—timēre—timidus; см. также terror—terrēre—territus; 2) обозначающих боль и различного рода болезненные состояния (слабость, вялость) и их проявление: dolor—dolēre—dolidus

---

[12] Лексемы, связанные со слуховыми ощущениями и обозначающие звуковые и шумовые эффекты, соотносятся с глаголами на —ĕre, составляя с ними по большей части двучленные ряды типа canor—canĕre; реже встречаются соотношения типа sonor—sonāre; ср. также трехчленный ряд fremor—fremĕre—fremidus.

[13] Aridus первоначально принадлежало к ряду *aror—*arēre—aridus, см.: A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4—ème éd., t. I. Paris, 1959.

[14] Некоторые исследователи (см., например: L. Stuenkel. De Varroniana verborum formatione. Strassburg, 1875, p. 20) считают uvor новообразованием Варрона на том основании, что оно используется им в трактате «О латинском языке» для установления этимологии слова: l. l. 5, 104 uvae ab uvore и нигде более не встречается. Между тем незасвидетельствованность uvor у других авторов может быть случайной и объясняется скудостью дошедших до нас памятников доклассического периода. Что же касается использования имени на —or для этимологических целей, изучение языка Варрона показывает, что он употребляет в таких случаях — наряду с несомненно принадлежащими ему новообразованиями (ср. curvor: l. l. 5, 104 cucumeres dicuntur a curvore ut curvimeres dicti; 7, 25 cornua a curvore dicta, quod pleraque curva) — давно бытовавшие в языке имена на —or, ср., например, putor, засвидетельствованное начиная с Катона (Agr. 157, 3, см. ниже прим. 2 на стр. 19) и встречающееся у Варрона в его этимологических экскурсах: l. l. 5, 25 Puteoli... a putore..., quod putidus odoribus s<a>epe ex sulphure et alumine. По-видимому, uvor относится к числу издавна существовавших, но почти исчезнувших из языка слов.

[15] Ср. также изолированные формы на —or: cremor (этимология неясна, см.: A. Ernout et A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine), cruor (см.: A. Ernout. Philologica, Etudes et commentaires I. Paris, 1946, p. 99 sq.; ср. также его же, Aspects du vocabulaire latin, Etudes et commentaires 18, Paris, 1954, p. 119 sq.), lymphor у Луцилия в значении lympha (=aqua): inc. 86 inpermixtum lymphorem, а также sudor, соотносящееся с sudāre.

(поздн.), flaccor (поздн.)—flaccēre—flaccidus (ср. flaccus), languor—languēre—languidus, marcor—marcēre—marcidus, stupor—stupēre—stupidus, torpor—torpēre—torpidus, tumor—tumēre—tumidus, turgor—turgēre—turgidus; ср. также macor (но обычное macies)—macēre при macer и двучленные деноминативные ряды aegror—aegrēre и pigror (в значении «слабость»)—pigrēre. Наконец, семантически обособленными оказываются следующие два ряда: pator—patēre—patidus (поздн.), placor (поздн.)—placēre—placidus[16].

Приведенные группировки, рассматриваемые как совокупность рядов, общность компонентов которых обусловливается лексико-семантическим единством значений, предстают внутри словообразовательного типа на -or в виде своеобразных смысловых систем с присущими им особенностями семантических изменений. Каждая из этих систем может явиться объектом специального изучения. Однако в рамках настоящей статьи ограничимся анализом соотношения рядов, сложившихся в ранней латыни, и рядов, часть компонентов которых засвидетельствована, начиная с классической латыни и даже позднее.

К рядам, принадлежащим к раннелатинской лексике и одновременно употребительных у классических авторов, относятся следующие: algor (с Plaut., ср. algus с Plaut.)—algēre (с Plaut.)—algidus (с Naev.); calor (с Plaut.)—calēre (с Plaut.)—calidus (с Plaut.); candor (с Naev.)—candēre (с Enn.)—candidus (с Plaut.); horror (с Plaut.)—horrēre (с Plaut.)—horridus (с Plaut.); languor (с Plaut.)—languēre (с Lucil,, Acc.)—languidus (с Acc.); liquor (с Plaut.)—liquēre (с Plaut.)—liquidus (с Naev.); nitor (с Plaut.)—nitēre (с Plaut.)—nitidus (с Plaut.); pallor (с Plaut.)—pallere (с Plaut.)—pallidus (с Enn.); pavor (с Liv. Andr.)—pavēre (с Enn.)—pavidus (с Plaut.); putor (с Cato)—putēre (с Plaut.)—putidus (с Plaut.); splendor (с Plaut.)—splendēre (с Plaut.)—splendidus (с Enn., Cato); squalor (с Plaut.)—squalēre (с Plaut.)—squalidus (с Plaut.); timor (timos с Naev.)—timēre (с Plaut.)—timidus (с Plaut.); tumor (с Cato)—tumēre (с Plaut.)—tumidus (с Cato); umor (с Plaut.)—umēre (с Plaut.)—umidus (с Varr., но у Плавта есть umide в Mo 146 а, стало быть, у него же имелось и umidus).

Как смешанные предстают ряды, часть лексем которых встречается начиная с ранней, часть — с классической латыни или позднее: acor (с Colum.)—acēre (с Cato)—acidus (с Plaut.); dolor (с Plaut.)—dolēre (с Plaut.)—dolidus (с Cael. Aurel.); fer-

---

[16] Приведенная классификация рядов базируется на основных значениях лексем. С учетом транслятивных значений внутри каждой группы рядов можно выделить лексико-семантические подгруппы (ср., например, развитие значений в цветовой группировке: livor («зависть») — livēre («завидовать»)—lividus («завистливый») и т. д.).

vor (с Lucr., Varr.)—fervēre (с Naev.)—fervidus (с Acc.); flaccor (Cass. Felix)—flaccēre (с Enn.)—flaccidus (с Lucr.); foetor (с Cic.)—foetēre (с Plaut.)—foetidus (с Plaut.); frigor (с Aug.)—frigēre (с Liv. Andr.)—frigidus (с Plaut.); fulgor (с Acc.)—fulgēre (с Enn.)—fulgidus (с Q. Cic.); livor (с Plaut.)—livēre (с Verg.)—lividus (с Plaut.); lucor (Oribas.)—lucēre (с Plaut.)—lucidus (с Lucr., но perlucidus с Plaut.); luror (с Lucr.)—*lurēre (но elurescere с Varr.)—luridus (с Plaut.); mador (с Sall.)—madēre (с Plaut.)—madidus (с Naev.); mucor (с Colum.)—mucēre (с Cato)—mucidus (с Plaut.); odor (с Plaut., olor Varro)—olēre (с Lucr.)—olidus (с Plaut.); pator (Apul., Scribon.)—patēre (с Plaut.)—patidus (Mulomed. Chiron.); placor (Vulg.)—placēre (с Plaut.)—placidus (с Plaut.); rigor (с Plin.)—rigēre (с Cic., Lucr.)—rigidus (с Enn.); rubor (с Rhet. Her., Cic.)—rubēre (с Catull.)—rubidus (с Plaut.); sordor (Oribas.)—sordēre (с Plaut.)—sordidus (с Plaut.); stupor (с Catull.)—stupēre (с Ter.)—stupidus (с Plaut.); tepor (с Catull.)—tepēre (с Cato)—tepidus (с Enn., Cato); torpor (с Lucil.)—torpēre (с Plaut.)—torpidus (с Liv.); torror (Cael. Aur.)—torrēre (с Plaut.)—torridus (с Lucr.); turgor (Mart. Cap.)—turgēre (с Plaut.)—turgidus (с Plaut.); uvor (у Varr.)—*uvēre (но uvescere с Lucr.)—uvidus (с Plaut.), а также деноминативный ряд: putror (Arnob.)—putrēre (Pacuv., Acc.)—putridus (Cic., Plin.).

Наконец, существуют ряды, совсем выпадающие из раннелатинской лексики: marcor (с Cels. 3, 20, 1 для передачи λήθαργος)—marcēre (с Lucr., Varr.)—marcidus (с Ovid.); rancor (с Pallad., Fulg.)—rancēre (с Lucr. в форме rancens)—rancidus (с Lucr.) и деноминативный ряд: albor (с Apic.)—albēre (с Caes.)—albidus (с Ovid.).

Можно полагать, что «полных» рядов в архаической латыни было, по всей вероятности, больше, поскольку взаимосвязанность имен на -or с глаголами на -ēre и прилагательными на -idus начала складываться очень рано, еще в период италийской общности. Самый характер семантических группировок лексем, связанных преимущественно с чувственной стороной познания, свидетельствует о том, что такого рода ряды по большей части появляются уже в раннелатинском языке. Это позволяет говорить о «потенциально полных» рядах в тех случаях, когда языковые формы оказываются незасвидетельствованными в дошедших до нас памятниках.

Возьмем, например, ряд mador—madēre—madidus. Две последние формы встречаются уже в ранней латыни, существительное же mador впервые засвидетельствовано во фрагментах «Истории» Саллюстия: 2,36 ingens terror erat ne ex latere nova munimenta madore infirmarentur (ср. Plaut. Mo. 165 madent iam in corde parietes, pariere haec oppido aedis), затем находится у Апулея (Met. 1, 13), Арнобия (5, 185 mador terrae) и в поздней латыни (Ammian. 20,6 Lapides recens structi et madore infirmi и др.).

Самый факт наличия этого слова у Саллюстия и Апулея, при отсутствии его в классической латыни, заставляет предполагать, что mador заимствовано из раннелатинского языка. Использование слов раннелатинской лексики писателями архаистического направления, с одной стороны, и нередко наблюдаемое сходство в лексическом отборе у раннелатинских авторов и в той части послеклассической литературы, в которой была сильна струя народноразговорного языка, с другой, способствовали тому, что в произведениях писателей-архаистов и в элементах sermonis plebei послеклассических памятников нашли место лексемы раннелатинского периода, отвергнутые классической латынью. Еще древним Саллюстий был известен как подражатель языка Катона и других архаистических писателей [17]. Авл Геллий называл Саллюстия verborum novator (N. A., I, 15, 18), подчеркивая тем самым его роль как обновителя устаревших слов (ib. XI, 7, 2; nova autem videri dico etiam ea quae sunt inusitata et desita, etsi sunt vetusta). Одним из таких новых, т. е. обновленных, слов и является mador. Таким образом, можно утверждать, что все компоненты ряда mador-madēre-madidus, включая и форму на -or встречались уже в доклассической латыни.

Небезынтересно привести еще одно косвенное подтверждение в пользу существования в раннелатинской лексике формы mador. Аналогичную судьбу, т. е. незасвидетельствованность в ранних памятниках могло бы разделить со словом mador и существительное algor, если оно не встречалось бы у Плавта: Rud. 215 algor, error, pavor me omnia tenent (ср. такую же кумуляцию имен на -or у Акция и Луцилия, см. выше, стр. 4—5). В классический период algor воскрешается Саллюстием: Cat. 5 Corpus patiens inediae, algoris, vigiliae (но ср. Cic. Cat. I 10, 26 famis, frigoris, inopiae rerum omnium). Вслед за ним повторяет эту форму испытавший влияние саллюстианского стиля Тацит: Hist. 3, 22 confectum algore atque inedia hostem. В поэтическом языке это слово не предано забвению благодаря Лукрецию (3, 623: neque in igni gignier algor), у которого среди имен на -or встречаются довольно редкие формы с этим суффиксом — ср., например, luror, засвидетельствованное впервые у Лукреция (4, 308), затем у Апулея (Met. 9, 30, 2). И, наконец, algor встречается в сельскохозяйственном трактате Варрона, не отличавшегося чистотой стиля с точки зрения литературной нормы классической латыни: r. r. 2, 5, 15 algor . . . eas et famis macescere cogit; 2, 7, 10 ne frigidis locis sint, quod algor maxime praegnantibus obest; ср. далее у Плиния Старшего, например: nat, 14, 23 magis . . . aestu quam algore vexantur (подраз. vites). Все это дает достаточные основания к тому,

---

[17] См., например: G. B r ü n n e r t. De Sallustio imitatore Catonsi Sisennae aliorumque veterum historicorum Romanorum, Diss., Ienae, 1873. См. также: W. K r o l l. Die Sprache des Sallust, —«Glotta», 15, 1927, стр. 280 сл.

чтобы отнести algor к раннелатинской лексике, даже если эта форма оказалась бы не засвидетельствованной у Плавта [18].

Или другой пример — ряды: acor—acēre—acidus, foetor—foetēre—foetidus, mucor—mucēre—mucidus. В силу своей семантики лексемы этих рядов распространены в сельскохозяйственных трактатах и в «Естественной истории» Плиния, затрагивающего в своем труде вопросы сельского хозяйства. Благодаря общности содержания язык этих произведений характеризуется сходством лексических средств выражения, связанных с обозначением одних и тех же процессов и объектов сельскохозяйственного производства и домашнего быта. Это сходство лексем отчетливо прослеживается и на примере указанных рядов.

Глаголы aceo и muceo встречаются в «Земледелии» Катона: agr. 148, 1 Vini singulae urnae dabuntur quod neque aceat neque muceat. Инхоативные формы этих глаголов находятся у Колумеллы: 12, 20, 1 quin etiam diligenter factum defrutum, sicut vinum, solet acescere; 12, 26, 1 in quo agro vinum acescere solet (ср. также Hor. ep. 1, 2, 54 acescit); у Плиния: nat. 7, 64 acescunt . . . musta и в других местах у него же (ср. также coacesco у Варрона: r. r. 1, 65 mature coacescit и у Цицерона: De sen. 65 ut enim non omne vinum, sic non omnis natura vetustate coacescit); 14, 131 proprium . . . vino mucescere autin acetum verti; 18, 98 lurido colore mucescit. Лишь чистой случайностью можно объяснить отсутствие у Катона глагола foeteo (ср. Plaut. Asin. 5, 894 an foetet anima uxoris?), но ср. Colum. 9, 14, 3 abstineat. . . foetentibus acrimoniis alii vel ceparum; Mart. 5, 4 Foetere multo Myrtale solet vino. Прилагательные на -idus из этих рядов встречаются: acidus у Катона agr. 76, 2 casei ovilli p(ondo) XIV nec acidum et bene recens in aquam indito; ср. ib., 108, 2 si (подраз. vinum) subacidum erit; далее у Колумеллы, например, r. r. 5, 10, 15 acidum. . . fructum; у Плиния, например: nat. 28, 135 acido lacte; foetidus у Катона: agr. 3, 4 oleum foetidum fiet; у Варрона: r. r. 1, 55, 6 oleum foetidum fit. И хотя mucidus не засвидетельствовано у Катона, вполне возможно, что в «Земледелии» нашли бы свое место и mucida vina (Mart. 8, 6), и mucida . . . panis . . . frusta (Iuven. 14, 128), если только в этом была бы необходимость.

Простота языка «Земледелия», в котором прилагательные magnus и bonus выступают в качестве самых употребительных определений всего того, что примечательно своей величиной или качеством [19], проявилась и в ограниченном использовании имен

---

[18] Algor выступает собственно в качестве дублета algus, встречающегося у Плавта не один раз, причем дважды наряду со словами fames и sitis: Mo. 193 nisi ego illam anum interfecero siti fameque atque algu; Rud. 312 ut peritis? Ut piscatorem aequomst, fame sitique speque alguque; Vid. frg. 2. inopiam, luctum, maerorem, paupertatem, algum, famem; Rud. 582 tu vel suda vel peri algu.

[19] J. Marouzeau. Quelques aspects de la formation du latin littéraire. Paris, 1949, p. 109.

на -or. Специфика трактата как практического наставления, адресованного италийскому землевладельцу, обусловила своеобразие его стиля и форму изложения. Именно формой изложения (предписаниями — «рецептами») продиктовано, например, явное преобладание глаголов. Это можно проследить и на тех из них, которые соотносятся с именами на -or и прилагательными на -idus. Так, в «Земледелии» при наличии глаголов: algeo (5, 2), ardeo (130), ferveo (125; 156, 2; ср. также fervefacio в гл. 156, 6; 157, 11; ferve bene facito в гл. 157, 9), madeo (85; ср. madefacio 157, 9; conmadeo 156, 5); niteo (1, 2 дважды), tepeo (69, 2) и уже приводившихся aceo и muceo (148, 1) отсутствуют соответственно имена algor (но ср. frigus), ardor, fervor, mador, nitor, tepor и интересующие нас acor и mucor [20].

Такие слова, как acor или foetor или mucor могли, казалось бы, найти применение в «Земледелии» в тех случаях, когда речь идет о запахе или вкусе прокисшего или заплесневевшего вина, кислого молока или творога, об устранении запаха навоза или о предохранении продуктов от плесени. Между тем все эти образования на -or встречаются у Колумеллы, дающего, например, следующие советы: r. r. 12, 18, 3 cella . . . vinaria omni stercore liberanda et bonis odoribus suffi(ci)enda nequem redoleat fetorem acoremve [21]; 12, 13, 1 casei deportati per aestum acore vitiantur; 7, 8, 1 lac requietum vel aqua mixtum celeriter acorem concipit; 12, 12, 4 Locum esse debere a sole quam frigidissimum et quam sicissimum ne situ penora mucorem contrahant; 12, 12, 17 situm aut mucorem contrahere. Напротив, у Катона такое, например, слово, как acor, применительно к запаху не встречается. В своем словоупотреблении автор «Земледелия» оперирует сочетаниями — «хороший запах» (соответственно «хорошо пахнущее», «хорошо пахнуть») или «плохой запах». Он советует, как уничтожить плохой запах в вине: 110 Odorem deteriorem demere vino. Si demptus erit odor deterior, id optime; si non, saepius facito, usque dum odorem malum dempseris; рекомендует, чем обмазывать края долиев: ut bene odorata sint et nequid viti in vinum accedat (107); приводит способ приготовления вина с хорошим запахом: 113, 1 ut (sc. vinum) odoratum bene siet, sic facito; дает рецепт, как из терпкого вина (vinum asperum) получить вино lene et suave et bono colore et bene odoratum (109). Кроме того, в противоположность Колумелле, трактат которого представляет собою своего рода сельскохозяйственную энциклопедию, Катон не ставит своей целью охватить все стороны сельского хозяйства и домоводства.

---

[20] Наблюдается также отсутствие в трактате candor—candeo, liquor—liqueo, splendor—splendeo, foetor—foeteo, хотя имеются прилагательные candidus (88, 1; 38, 2), liquidus (72; 73; 157, 13), splendidus (splendidior 98, 2 дважды) и упоминавшееся выше foetidus.

[21] Ср. acidus, встречающееся уже у Луцилия в значении запаха: frg. 100 exhalat tum acidos ex pectore ructus; далее Plin. nat. 30, 27; Mart. 6, 93, 9.

Так, например, он считает излишним обучать тому, как из молока получить творог или сбивать масло [22], или уберечь продукты от плесени. И это обстоятельство в свою очередь послужило одной из причин выпадения из лексики «Земледелия» приведенных имен на -or [23].

Известную роль в незафиксированности и, может быть, даже в отсутствии некоторых имен на -or в ранней латыни сыграло наличие параллельных суффиксальных форм. В период становления латинского литературного языка, когда процессы словообразования протекали особенно бурно, это обстоятельство могло отчасти воспрепятствовать распространению отдельных имен с суффиксом -or или даже задержать их образование и, следовательно, привести либо к меньшей степени вероятности их засвидетельствования в ранних памятниках, либо вообще к более позднему их появлению.

В архаической латыни благодаря приведенному Геллием (N. A., XI, 2) фрагменту Катона сохранилась форма torpedo [24] в значении torpor: Jord. 83, 7 si nihil exerceas, inertia atque torpedo plus detrimenti facit, quam exercitio. И хотя в таком же значении это слово употребляется подражателем Катона Саллюстием: Ep. ad Caes. 11, 8, 7 stupor . . . atque torpedo; Hist. I, 77, 19 si tanta torpedo animos obrepsit; III, 48, 20 cuius torpedinis erat decipi; 48, 26 occupavit nescio quae vos torpedo, а затем встречается и в «Истории» Тацита: Hist. III, 3, 63 Tanta torpedo invaserit Vitellii animum (но ср. ib. 2. 99 Accedebat huc Caecinae ambitio vetus, torpor recens nimia fortunae indulgentia soluti in luxum), тем не менее уже у Луцилия вместо torpedo стоит torpor: 391 languor. . . pigror torporque. Классическая латынь достаточно четко разграничивает словоупотребление обеих форм, как это видно из трактата Цицерона: nat. d. 2, 50 bestiae aliae fuga se, aliae

---

[22] Но ср. Plin. nat. 11, 239; densantes id (sc. lac) alioqui in acorem iucundum et pingue butyrum.

[23] В трактате Катона насчитывается всего девять имен на -or. Почти половина их встречается в 157-ой главе, содержащей советы народной медицины: calor (157, 1), tumor и putor в «результативных» значениях, т. е. для обозначения того, что образуется в процессе вспухания и нагноения: 157,3 ad omnia vulnera tumores («нарывы») eam (sc. brassicam) contritam imponito; 157,3; ea (sc. brassica) omnem putorem («гной») adimet (ср. здесь же прилагательные на -idus: eadem tumida concoquit, eadem erumpit, eadem vulnera putida. . . purgabit), dolor (ib., 3; 4, а также в 125-й главе, где дан способ приготовления миртовой настойки для лечебных целей). Остальные имена на -or — изолированные формы: color (39, 2; 109), cremor (86; 87), labor (3, 6), odor (110 трижды; 113, 1), а также соотносящиеся с umidus (157, 1) существительное umor (161, 1). Только putor и calor входят у Катона в ряды: putor-putescĕre (3, 4; 64. 1; 98, 2 вместо puteo) — putidus и calor—calēre—calidus.

[24] Слово это собственно означает название рыбы — так называемого электрического угря. Ср. Varro l. l. 5, 77 vocabula piscium pleraque translata a terrestribus . . . alia a coloribus, ut haec: asellus, umbra, turdus; alia a vi quadam, ut haec: lupus, canicula, torpedo.

occultatione tutantur, atramenti effusione sepiae, torpore torpedines, где за torpedo сохраняется обозначение рыбы, torpor же указывает на ее свойство, используемое в целях самозащиты [25]. Форму torpor находим также у Вергилия: Aen. 12, 867 Illi membra novus solvit formidine torpor; у Овидия: Met. 1, 548 torpor gravis alligat artus; Pont. 1, 2, 29; у Плиния: nat. 29, 65 Aspides percussos torpore et somno necant и у других. Таким образом, в доклассическом языке слово torpor оттеснялось, по-видимому, вариантной формой с суффиксом -edo, либо употреблялось наравне с последней [26].

Подытоживая наблюдения над изучением ряда -or-ēre-idus, можно отметить, что: 1) ряды -or-ēre-idus представляют собой род системных структурно-семантических отношений, свойственных словообразовательному типу на -or в целом; 2) отыменные образования на -or не нарушают структурной соотнесенности в рассматриваемом словообразовательном типе, образуя так называемые деноминативные ряды; 3) ряды -or-ēre-idus составляют лексико-семантические группировки, связанные преимущественно с чувственной стороной познания; 4) ранняя латынь имела, по всей вероятности, больше имен на -or, чем зафиксировано их в дошедших до нас памятниках.

---

[25] Но ср. у Плиния Старшего об особенностях этой рыбы: nat. 9, 143 novit torpedo vim suam ipsa non torpens, mersaque in limo se occultat, piscium qui securi supernatantes obtorpuere, corripiens. Id. 32, 7 etiam procul et e longinquo, vel si hasta virgave attingatur, quamvis praevalidos lacertos torpescere, quamlibet ad cursum veloces alligari pedes?

[26] Из раннелатинских форм на -edo можно привести из Плавта gravedo (Asin. 796, ср. также Cic. Att. 16, 11, 3; 10, 16, 6; Cels., Plin., Apul. и др.) и шуточное образование absumedo (Capt. 904). В классический период имена с этим непродуктивным суффиксом встречаются лишь в редких случаях, причем у авторов, для языка которых характерны необычные формы, ср. у Varr.: frigedo (Sat. Men. 77), у Lucr.: cupedo (1, 1082) и у него же в других местах. Лишь позднее форм на -edo становится несколько больше (см.: F. T. Cooper. Word formation in the Roman sermo plebeius. N. Y., 1895, p. 45).

И. Ирмшер

ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ О ДРЕВНОСТИ В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Когда идет речь о древности и о науке о ней, то у людей, мало знакомых с этим предметом, часто возникает представление, что дело идет о чем-то давно прошедшем, далеком от проблем нашего времени; занятия этой темой представляются каким-то пиететом, который коренится в сознании, что необходимо сохранять старую, почтенную традицию. Это воззрение при ближайшем рассмотрении весьма скоро оказывается поверхностным и ошибочным, и притом по многим причинам.

В первую очередь следует установить, что тот фактический материал, на котором основываются различные разделы науки о древности, непрерывно возрастает, и никоим образом нельзя считать его полностью исчерпанным. Это касается не только памятников материальной культуры, которые непрерывно появляются на свет, благодаря случайным находкам и систематическим археологическим раскопкам, это касается и памятников письменности. Напомню хотя бы об античных надписях, многие из которых в настоящее время становятся доступными, но многие все еще лежат неизданными в лапидариях и музейных хранилищах; напомню также о папирусах, касающихся повседневной жизни древнего мира, среди которых наряду с новыми приобретениями имеются немалые довольно старые фонды, ожидающие еще своего использования; напомню, наконец, о таких крупных находках текстов, как «Дискол» Менандра, рукописи Кумрана, гностические произведения Наг-Хаммади, — я сознательно упоминаю только о тех новых источниках познания древности, которые открылись уже после второй мировой войны. Не стоит доказывать, что такие поступающие в наше распоряжение материалы проливают новый свет на то, что уже было известно ранее, а это уже известное обрисовывается все более ясно и резко путем постоянной интерпретации на новой основе.

Следует еще подчеркнуть, что вследствие взаимопроникновения классической науки и ориенталистики, а также вследствие более тесной связи этих обеих научных отраслей со смежными

науками, как-то первобытной историей, этнографией, а в первую очередь вследствие материалистического освещения исторических явлений перед нами возникли неожиданно многочисленные новые факты и в то же время вытекающие из них новые вопросы и проблемы. В высшей степени политически актуальная задача — познать закономерности исторического процесса, чтобы сознательно участвовать в его развитии, — встала перед исследователями древности и ее основной социально-экономической формации — рабовладельческого общества. Это тем более необходимо, что по крайней мере для некоторых областей древнего мира арена исторических событий достаточно обозрима. Относительно благоприятное положение с наличием исторических источников позволяет здесь более эффективно и наглядно показать взаимодействие базиса и надстройки, чем применительно к другим историческим периодам. Таким образом, история древности может сыграть роль примера, который до настоящего времени привлекал к себе слишком мало внимания.

Материалистическое понимание истории являлось и является, однако, не только методом науки: оно действовало и действует гораздо нагляднее как революционная сила, которая качественно преобразует общество, претворяясь в политическую энергию. Это преобразование, первой ступенью которого является диктатура пролетариата и создание экономической основы социализма, означает в дальнейшем сознательное развитие социалистической экономики, а также социалистическую культурную и идеологическую революцию, которая является закономерной частью социалистической революции вообще. При этом именно для наук, относящихся к изучению древности, возникают проблемы в высшей степени важные. Ибо социалистическая культурная революция не отрицает культурных достижений прошлого, а включает в построение новой социалистической культуры национальное и интернациональное культурное наследие, которое в прежние времена являлось привилегией господствующих классов, а в настоящее время становится достоянием всего общества. К этому культурному наследию относятся и объекты науки о древности. Греко-римская античность, в особенности ее литература, искусство и философия в течение многих веков являлись для буржуазии культурным фондом, которому придавалось исключительное значение, да и в наши дни они нередко ставятся на службу мифу о «западной культуре» и тем самым на службу самой мрачной и самой опасной политической реакции. Неужели поэтому мы должны наложить запрет на это культурное наследие — если прибегнуть к крайнему решению вопроса — или же лучше последовать указанию видного деятеля нашей культурной политики Альфреда Курелла: «Одна из известных догм декаданса гласит, что нам уже античность ничего дать не может . . . Это один из приемов борьбы с реалистическим искусством. Этому может про-

тиводействовать только усиленная пропаганда красоты и величия античной классики, понятой, конечно, в ее исторических связях».

Предметы, которые изучала история древнего Востока, никогда не оказывали на современную культуру такого же интенсивного влияния, как греко-римская античность, — кроме изучения библии, которая по совершенно иным причинам занимала особое место. Восток представлялся чем-то колоссальным, далеким, своеобразным, чем-то, что вызывало удивление, а не влечение сердца. А некоторые другие исторические области тем более не принадлежали и не принадлежат ни в Германии, ни в других странах Европы к общеизвестному культурному наследию: их воздействие ограничивалось и ограничивается до нашего времени кругом ученых специалистов и немногочисленными любителями. При таком положении вещей должна ли культурная революция — и вместе с нею наука — нивелировать разницу между этими областями истории и во имя мнимой «высшей справедливости» ставить их все на одну доску, а различное их воздействие и различный к ним интерес объявить сознательным упущением со стороны прежнего общества? Или характеристика, которую дает грекам Фридрих Энгельс, называя их тем маленьким народом, «универсальная одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории развития человечества, на которое не может претендовать ни один другой народ», сохраняет свою силу и до нашего времени? (На практике это означало бы, между прочим, что, говоря об исторически необходимом и — по сравнению с предшествующим родовым строем — прогрессивном рабстве, не следует проходить мимо Парфенона и «Илиады», мимо античной трагедии и всеобъемлющих трудов Аристотеля, которые все в совокупности не могли бы быть созданы без наличия рабства. Последнее обстоятельство, однако, следует, конечно, в противоположность всяким идеализирующим античность взглядам, особенно резко подчеркивать).

Когда мы поставим перед собой подобный вопрос, то становится ясным, что само определение понятий, разграничение отдельных научных дисциплин и их включение в систему наук является не просто делом привычки или условности, к которым можно относиться и так, и иначе. Эти вопросы не могут быть разрешены без предварительного теоретического выяснения.

Что обозначает в таком смысле само понятие «наука о древности»? Значение его сейчас несомненно уже, чем значение термина «история рабовладельческих обществ»: ибо наше понятие опирается прежде всего на нашу научную традицию, и поэтому под наукой о древности мы в первую очередь понимаем науки о ранней истории культуры Средиземноморского бассейна — даже при самом широком понимании этого понятия.

При этом в центре оказываются «классические страны», — Гре-

ция и Рим: их особое положение в нашей культурной традиции едва ли может быть охарактеризовано лучше, чем вышеприведенными словами Энгельса, а кроме всего прочего, они предоставляют в наше распоряжение в своих историографических памятниках первоклассные источники и для истории древнего Востока. Наука о древности, понимаемая в таком смысле, непрерывно расширяет круг своего действия и включает в себя все больше и больше таких научных областей, которые до настоящего времени были изолированы. Тем самым раскрываются самые разнообразные связи, скрытые от глаз прежних исследователей. Такому развитию науки следует всемерно содействовать, и на этом пути могут быть найдены новые формы общей работы для специалистов. Конечно, чрезвычайно важен и теоретический анализ исторических формаций в целом, в данном случае — всех древних рабовладельческих обществ, их общих черт и их особенностей. И тем не менее, я полагаю, едва ли и в будущем сможет быть создан тип историка-специалиста по рабовладельческим обществам, который в равной мере мог бы исследовать древнюю Индию, древнюю Америку и классическую античность. Вероятно, и в будущем знание отдельных языков, которое одно открывает доступ к источникам, — по-прежнему будет определять круг индивидуальной исследовательской работы каждого, между тем как в то же время более тесный контакт между отдельными дисциплинами раскроет больше возможностей для сравнительного и обобщающего изучения истории, чем в прежние времена.

Сохранять хорошие и плодотворные традиции, не скатываясь при этом к бесплодному эпигонству, внимательно относиться ко всему прогрессивному и открывающему новые пути, не впадая при этом в иконоборство и «р-революционность», — вот какая задача стояла и стоит перед наукой о древности в Германской Демократической Республике. Эта наука во всех своих отраслях обладает у нас традициями, которые следует сохранить, чтобы иметь возможность выполнить наши обязательства перед мировой наукой, и которые в то же время должны оправдать себя по отношению к задачам текущего дня с учетом требований, которые общество предъявляет к науке.

Этими традициями нельзя пренебрегать. Они возникли вместе с гуманизмом, при котором латинская школа стала оплотом образования ранней буржуазии, и достигли своего апогея в XIX в., отголоски которого чувствуются еще и теперь. К этому течению относятся: германский классицизм с художественными и литературно-теоретическими сочинениями Лессинга, гуманистическими идеями Гердера, преклонением перед греками Гёте, Шиллера и Гельдерлина, архитектурными произведениями Шинкеля и исторической философией Гегеля, а также с научными достижениями основателя истории античного искусства, Иоганна Иоахима Винкельмана; в этом же русле идут работы Фридриха Августа

Вольфа, который поставил перед всем последующим веком гомеровский вопрос, Фридриха Шлейермахера, классического переводчика сочинений Платона, Августа Бека, который основал изучение античной экономики и создал в Corpus inscriptionum Graecarum основной источник для этой области знания, Бартольда Георга Нибура, отца критической историографии и историка раннего Рима, Франца Боппа, санскритолога и компаративиста, и Карла Фридриха Савиньи, главы исторической школы права.

Между тем, как все перечисленные исследователи были сильны, в основном своими личными достижениями, во второй половине минувшего столетия и в науке выявились новые формы работы, обусловленные всеобщим развитием производительных сил. Возникли научные институты, научные коллективы, которые имели возможность поставить перед собой задачи, по своему характеру и объему превосходящие как индивидуальные возможности, так и срок жизни одного человека. Как говорил Теодор Моммзен, один из основоположников этих форм труда, в это время возникли крупные «научные предприятия», которые подчинялись индивидуальному руководству, но в которых трудились многие. Параллельно с этим совершался и иной процесс развития. Подобно тому как капиталистическая форма хозяйства в стадии империализма разрослась над национальными хозяйствами до размеров хозяйства мирового, так же под знаком энциклопедического историзма, который избегал всяких оценок и порой был даже враждебен им, возникали все новые и новые отраслевые и частные дисциплины. Это происходило и в области изучения древности и тем самым все более терялся нормативный «классический» и «гуманистический» характер.

В последние десятилетия XIX в. и в первые десятилетия XX в. наука о древности добилась весьма высокого положения в мировой науке с вышеупомянутых точек зрения, и даже, пожалуй, в некоторых своих отраслях вышла на первое место. Instituto di corrispondenza archeologica, основанный Эдуардом Герхардом в 1829 г. в Риме, открыл путь организованной работы по археологическим раскопкам. Основными моментами на этом пути были: раскопки в Олимпии, руководимые Эрнстом Курциусом, открытие Пергама Карлом Гуманом, раскрытие античных монументальных архитектурных памятников Робертом Кольдевеем, раскопки Теодора Виганда в Милете, Баальбеке и других местностях Малой Азии, археологическое освещение гомеровской эпохи в работах Генриха Шлимана и Вильгельма Дерпфельда, а также экспедиции в Египте под руководством Рихарда Лепсиуса и Генриха Карла Бругша, и наконец, открытие руин столицы хеттского царства около Богазкёя. В области филологии возникли такие объемистые собрания, как греческие и латинские эпиграфические корпусы, как «Тейбнеровская библиотека греческих и римских писателей»,

собрания текстов по античной медицине, произведения греческих отцов церкви, берлинское издание Аристотеля, издание фрагментов досократиков и доксографов, приготовленное Германом Дильсом, монументальный Thesaurus linguae Latinae и соответствующий ему египетский словарь. Однако с помощью этих «крупных научных предприятий» были раскрыты не только источники; была поставлена задача подобным же образом дать энциклопедический свод всех достижений науки того времени. Достаточно напомнить о «Паули-Виссова», многотомной энциклопедии науки о классической древности, о «Сводном обзоре всей науки о классической древности», изданном Иваном фон Мюллером; этот труд после первой мировой войны был расширен Вальтером Отто в «Обзор всей науки о древности», что весьма характерно для развития научной концепции истории. К произведениям такого рода относится и «Словарь германских древностей», изданный Иоганном Хоопсом, а также «Словарь ассириологии». В других частных дисциплинах, в особенности посвященных Востоку, такие сводные труды были созданы не германской наукой.

Преобладающее положение германской науки о древности после первой мировой войны в целом было утрачено: а то, что удалось сохранить, представляло собой солидную специальную работу, которая протекала по путям, уже предначертанным традицией. Этой работе нередко грозила опасность коллекционировать голые факты без всякой связи между ними, превратиться в «микрологию», упускающую из виду цель исследования. Фашистский режим стремился провести всюду свой расистский биологизм, в первую очередь — в истории древнего мира (превознесение Спарты и «римской доблести»), а также и в истории древнего Востока («недооценка» культурных достижений семитских народов) и, конечно, в особенности в ранней истории германцев. Не было недостатка в научных работниках, которые подчинились этому давлению. Научным кадрам, политически неблагонадежным, а также всем ученым еврейского происхождения возможность научной работы была закрыта, молодежь по большей части пала во второй мировой войне. В довершение, вторая мировая война уничтожила многие музеи, библиотеки и исследовательские институты. Одним из самых роковых ее последствий был раскол Германии на два государства, совершенно различных по своей сути.

Таково было то положение, в котором оказались представители различных специальностей и руководители научной политики ГДР, когда они поставили перед собой задачу построить на обломках минувшего новую германскую науку, служащую идеям общественного прогресса и взаимопонимания между народами. Прежде всего, была налицо все еще общепризнанная традиция, в особенности в области издания источников; мировая наука ожидала продолжения их издания, и это налагало серьезные

обязательства. Во-вторых, необходимо было свести счеты с недалеким прошлым и преодолеть фашистские фальсификации. Однако важнее всего было предоставить достойное место всему новому, а именно — социалистической идеологии, которая перестраивала в корне всю общественную жизнь республики. Она должна была преобладать, чтобы выполнять свою социальную функцию. В связи с этим стояла задача определить гуманистическую установку отдельных областей науки о древности и их место в культурном строительстве и системе образования в республике. Из раскола Германии возникали тоже особые проблемы научно-организационного характера, уже не говоря о тех трудностях, которые проистекали из неблагоприятных дипломатических условий: так, например, в университетах должно было быть открыто преподавание многих дисциплин, которые прежде не преподавались в университетах восточной Германии.

В настоящее время организационная работа по созданию новых научных отраслей в основном закончена. Не может быть и речи о том, чтобы основывать новые академии, университеты или даже музеи, или открывать в них дополнительные отделения. Требование настоящего дня состоит только в том, чтобы использовать насколько возможно рационально то, что мы имеем, повысить качественно и количественно научную квалификацию кадров и их трудовые достижения. Поэтому в дальнейшем я не буду говорить о развитии наших научных учреждений, о чем уже неоднократно сообщалось, и перенесу внимание на изображение ситуации и перспектив в отдельных областях нашей науки, и буду по возможности краток. Выполнение такой задачи становится возможным только благодаря тому, что секция науки о древности в Германской Академии наук и некоторые другие органы (как-то: соответствующие комиссии при государственном секретариате высшего и специального образования, научный совет Министерства Народного Просвещения, а также Немецкое историческое общество) уже занимались более или менее интенсивно долгосрочным перспективным планированием порученных им областей науки, так что мы можем наметить с достаточной достоверностью основные линии предстоящего развития.

Мы начнем с науки о классической древности, — не для того, чтобы предоставить ей какое-то исключительное положение, а лишь ввиду ее исторического приоритета, ее большей распространенности и более широких рабочих возможностей. На историко-филологическом поприще неоспоримо уже достигнута подготовка материала — источников и документов; Тейбнеровская «Библиотека», в настоящее время располагающая сотрудниками из более чем 20 стран, стремится к тому, чтобы в течение одного или двух поколений снова достигнуть уровня до некоторой степени законченного собрания текстов по классической филологии. Издатели «Inscriptiones Graecae» и «Corpus inscriptionum Latina-

rum» продолжают свою целеустремленную работу и могут с удовлетворением констатировать, что план создания корпуса, который должен быть осуществлен на основе равноправного международного сотрудничества, снова встречает все возрастающее сочувствие и понимание. Подобным же мероприятием является предложение, исходящее от руководящих итальянских кругов, снова начать издание «Corpus inscriptionum Etruscarum» путем сотрудничества Института изучения этрусской культуры во Флоренции и Института изучения греко-римской древности Германской Академии наук. Корпусы сочинений по античной медицине тоже продолжаются изданием, и в дальнейшем в них будут включены переводы, чтобы и в этой исторической области было обеспечено теснейшее сотрудничество представителей общественных и естественных наук. Папирологам же предстоит решение задач по изданию папирусов из имеющихся собраний, в первую очередь, из собрания государственных музеев в Берлине, — еще на многие десятилетия.

Перед филологами стоит теперь, однако, не только задача издания античных авторов, а в первую очередь их интерпретация: в наше время надо прежде всего понять литературу как продукт окружающего ее общества и в то же время постигнуть ее воздействие (субъективное и объективное) на породившее ее общество. На этом поприще в центре внимания стояла поздняя античность, хотя и ранние периоды обеих литератур привлекали к себе большой интерес (классические эпохи изучались меньше). В области философии как Аристотель, так и послеаристотелевские школы нашли своих истолкователей; различные явления истории образования в античности были освещены с новых точек зрения. Весьма интенсивно изучались, в особенности на теологических факультетах, древняя история религий, раннее христианство и история древней церкви. Следует стремиться к рассмотрению этих явлений в более тесной связи с явлениями общественной жизни. Имеются уже некоторые примеры такого плодотворного изучения, побуждающие к подражанию.

Тем самым мы можем уже перейти к тем дисциплинам, которые разрастаются вокруг истории древности. Особое значение приобретает здесь выработка установки по отношению к прошлому и теоретическое выяснение основ нашей науки. В специальных институтах при Лейпцигском и Берлинском университетах в особенности глубоко разрабатывались эти проблемы, и уже достигнуты первые синтетические обзоры их, подтверждающие выработанные категории наличным материалом источников. За этими трудами, несомненно, последует дальнейшее исследование как специальных проблем, так и более обширных разделов истории. При этом политическая и военная история, в прежнее время игравшая в историографии, безусловно, первенствующую роль, должна на ближайшее время в известной мере отступить на зад-

ний план по сравнению с историей социальной и экономической, историей классовой борьбы и историей производителей материальных благ. Зато совершенно не обосновано пренебрежение к истории античного права; напротив, именно с вышеприведенных точек зрения оно обещает дать чрезвычайно важные выводы. Поэтому мы горячо приветствуем, что она снова включена в переработанные планы юридического образования; мы надеемся, что это мероприятие пойдет на пользу и научно-исследовательской работе.

С большим вниманием надо будет отнестись и к развитию отдельных технических дисциплин нашей специальности. Сравнительно хорошо обстоит дело с античной нумизматикой: ее важнейшая материальная база находится в Берлинском кабинете нумизматики. Идет вперед также и изучение античной техники, вернее, средств производства греко-римского рабовладельческого общества, где уже намечаются ценные результаты. Однако систематического планирования на этом в высшей степени важном участке пока не имеется. В противоположность этому почти что остаются вне круга изучения — по причинам внешнего характера — античная география и топография (если не считать образцовых картографических изданий государственной типографии Хаак в Готе).

Не слишком хорошо обстоит дело (правда, не только у нас, но и в международных масштабах) с работами в тех областях, которые, по старинной терминологии и устаревшим воззрениям, обозначаются как «древности», т. е. со всеми дисциплинами, занимающимися реалиями частной и общественной жизни античности. Здесь необходима в самых широких масштабах совместная работа историков, филологов и, не в последнюю очередь, археологов. Кроме того, и при истолковании свидетельств античного искусства такое сотрудничество, ломающее границы отдельных дисциплин, становится все более необходимым. Ибо наряду с изучением и разработкой форм и типов должно идти включение произведений изобразительного искусства в их историческую обстановку, т. е. то же самое, чего мы требуем от исследователей литературы. Образцы такой разработки материала дали публикации Археологического института при Иенском университете.

Вообще говоря, пришло время, как мы уже установили, расширить область работ классической археологии на памятники всей материальной культуры в целом. Само собой разумеется, археолог должен владеть техникой проведения раскопок, но дипломатическая изоляция ГДР от «классических стран» отражается на этом деле особенно невыгодно. Только благодаря помощи Болгарской Академии наук стало возможным провести три экспедиции по раскопкам позднеантичного укрепления Иатрум около Дунайского вала в Мезии; работы велись с постепенно увеличивающейся долей участия немецких археологов в раскоп-

ках и в ответственности за их результаты, и таким путем удалось создать коллектив археологов, хотя и не большой. В 1963 г. в первый раз открылась возможность присутствовать при археологических работах в Ольвии, и можно надеяться, что еще будет возможность создать работников археологических экспедиций из молодой смены ГДР.

Отметив, что в области истории античной музыки (включая музыку Византии) уже работают молодые исследовательские кадры, перейдем к задачам изучения риторики, метрики и лингвистики. И в этих областях в последние годы замечаются некоторые пробелы, которые следует как можно скорее ликвидировать: по всей вероятности, это будет не слишком трудно, поскольку полного разрыва традиции здесь не было. Зато следует отметить как крупное достижение, что молодая дисциплина — наука об эгейской культуре — нашла приют именно в нашей республике, и мы имеем возможность показать наши собственные достижения, вносящие поправки во многие общепринятые мнения.

И в других областях науки о древности, которые не имеют при себе эпитета «классические», имеется немало достижений. В связи с изучением первобытной истории ведутся работы по германистике, в первую очередь, конечно, на территории ГДР. Напротив, число специалистов по римско-германским вопросам и исследованию римского вала, к сожалению, сильно отстает. Кельтология недавно вернулась к возобновлению прежних научных традиций. Что древнеафриканские культуры в наш век ликвидации колониализма скоро окажутся в центре научного внимания, хорошо известно всем африканистам ГДР. Не столь общепризнана, в противоположность этому, необходимость путем тесного сотрудничества связать решение целого ряда подобных задач с традиционными дисциплинами ориенталистики, о которых мы теперь и будем говорить.

В области египтологии закончен большой словарь египетского языка, производятся грамматические исследования, изучается история религии, а также история медицины; музейные коллекции систематизируются согласно требованиям современной науки и, что особенно ценно, история царства Мероэ получила новое освещение после произведенных нами раскопок, давших весьма существенный новый материал. Египтологи ГДР участвовали в раскопках с целью консервации древнеегипетских памятников при построении Асуанской плотины.

Возможность производства раскопок в широких масштабах пока не была предоставлена представителям дисциплин, посвященных переднему Востоку. Здесь производились работы в первую очередь по изданию и истолкованию археологических и филологических памятников, наряду с реставрацией коллекций и организацией широкой публикации источников в международном масштабе. Отдельные отраслевые дисциплины представлены в раз-

личной степени. Благодаря теологическим факультетам, наука о библии и примыкающие к ней дисциплины — я напомню особенно о работах по Кумрану при Лейпцигском и других университетах — а также и юдаистика представлена достаточно хорошо, между тем как шумерология, ассириология и хеттология оставляют желать еще многого. Еще чувствительнее ощущаются пробелы в области классической арабистики, истории ислама и тюркологии. Филологи, изучающие так называемый христианский Восток, обосновались, кроме других институтов, в Институте византиноведения университета в Галле; как здесь, так и в других местах имеются в этой области крупные достижения, например по открытию коптских памятников в Наг-Хаммади. Иранистика создала многочисленные молодые кадры в Берлинском институте Передней Азии. Индология развивается в Иене на материале традиционного санскритоведения; в Галле — преимущественно изучается история индийского искусства, в Берлине — история культуры и литературы Индии. (Я не касаюсь здесь тех отраслей этой и других востоковедческих дисциплин, которые занимаются современной эпохой. За это время они стали самостоятельными науками, которые, правда, не могут быть оторваны от своей древней основы, но в более тесной связи состоят с другими предметами, как то: с политической экономией, историей нового времени, историей колоний, и вследствие этого требуют, конечно, совершенно иных методов изучения.) О науках, занимающихся древней историей Китая, Японии, Индонезии, Средней и Южной Америки, я не буду говорить ничего, так как их связь с традиционными разделами науки о древности является чисто спорадической.

Констатируя все вышесказанное, мы должны поставить перед собой решающую проблему, которая приведет нас к последнему разделу нашего обзора и даст нам возможность подвести определенные итоги. Несмотря на все критические замечания, на все отмеченные пробелы и недостатки, мы в общем и целом пришли к положительным результатам. Нам удалось после ликвидации фашизма и вопреки акциям холодной войны сохранить в основном наши традиционные научные обязательства, связать их с задачами нашей социалистической действительности и заложить таким образом прочный фундамент для дальнейшего строительства. В настоящее время перед нами стоит задача путем необходимого освещения частных вопросов стремиться к синтезу, причем этот синтез должен явиться столь обобщенным, чтобы из него могли быть сделаны хорошо обоснованные теоретические выводы. Мы подчеркивали в начале нашей работы, что абсолютная необходимость в изучении ряда языков, а также непрерывно растущий материал повлекли за собой узкую специализацию, которая, конечно, неизбежна. Тем более важно, чтобы те опасности, которые скрываются в такой специализации, были компенсированы

обзорными работами в форме учебных пособий и энциклопедических сводов. То обстоятельство, что почти во всех областях нашей науки полностью отсутствуют произведения, которые давали бы итоги исследований в освещении исторического материализма, свидетельствует о важности этого пожелания и в то же время о трудностях, стоящих на пути к выполнению его. Наряду с этим требованием стоит не менее важная задача — содействовать обмену опытом и результатами отдельных дисциплин науки о древности; традиционные границы должны быть преодолены, и общие закономерности исторического процесса должны быть познаны и изложены. Институт по исследованию древности в Галле и в частности его отдел, занимающийся ранней историей Востока, уже сделали первые шаги в этом направлении.

Не только искусство, но и наука существует не ради самой себя. Правильно понятая, она является критерием и мерой оценки практической общественной деятельности. Поэтому популяризация научных достижений не является более или менее обременительной случайной задачей для исследователя, это — необходимая составная часть его работы. Если не считать обучения древним языкам, широкие области науки о древности в буржуазном обществе относились к образовательному фонду только господствующих классов. Изменение наших представлений о мире, поразительные успехи естествознания и техники привели к тому, что в нынешней системе образования этот круг знаний потерял свое первенствующее положение, и в настоящее время надо установить, какую функцию и какой объем может он иметь в социалистической школе — в первую очередь с точки зрения профессиональной подготовки. Однако независимо от этого, перед нами стоит важная задача — в духе социалистической культурной революции, воспринимающей и сохраняющей все ценные достижения прошлого, сделать доступными всем членам общества результаты науки о древности. Музеи и коллекции, а также издательства республики приняли на себя это обязательство, и остается только пожелать, чтобы к этому примкнули и такие организации, как Общество по распространению научных знаний и Немецкий Союз культуры, которые должны объединить в себе всех друзей науки о древности.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВДИ	— «Вестник древней истории»
ЖМНП	— «Журнал Министерства народного просвещения»
ФО	— «Филологическое обозрение»
AP, Anth. Pal.	— «Anthologia Palatina»
CIA	— «Corpus Inscriptionum Atticarum»
CIL	— «Corpus Inscriptionum Latinarum»
CP	— «Classical Philology»
CR	— «Classical Review»
Ig	— Inscriptiones Grecae
JDAJ	— «Jahrbücher der Altertumswissenschaft und Jugendbildung»
JHS	— «Journal of Hellenic Studies»
MH	— «Museum Helveticum»
PWRE, RE	— «Pauly's Realencyklopädie, hrsg. v. G. Wissowa [u. a.]»
RhM	— «Rheinisches Museum»

СОДЕРЖАНИЕ

ГРЕЧЕСКИЙ И ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫКИ

2р.40к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»